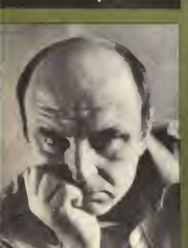
Подвиг

Василий Владимирович Быков. Роднлся а селе Бычки Витебской области в 1924 году. Воевал, был ранеи и считался погнбшим. Демобилизовавшись, работал в газете. Тогда и иачал писать первые рассказы.

В. Быкоа — автор повестей «Жураалиный крик», «Фронтоаая страница», «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Западия», «Атака с ходу», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и ие аернуться», «Зиак беды» и других произведеиий.

Владимир Федорович Тендряков. Родился в 1923 году а деревие Макароаская Вологодской области. На следующнй день после выпускиого вечера в школе добровольцем ушел на фронт. В 1944 году после ранения был демобнлизоваи. Работал учителем а школе, секретарем райкома ВЛКСМ. В 1951 году закоичнл Литературиый иистнтут нмеин М. Горького. Умер а 1984 году.

Его перу принадлежат ромаиы н повести «Свидание с Нефертитн», «Тугой узел», «Падеиие Иваиа Чупроаа», «Не ко даору», «Чудотаориая», «Суд», «Три мешка сориой пшеиицы», «Расплата», «Чистые воды Китежа», «Покушение иа миражи» и другие.



Виктор Алексеевич Пронин. Роднлся а 1938 году в городе Диепропетровске. После окоичаиня школы закоичил гориый институт. Долгое аремя работал журиалнстом. Миого езднл по стране по задаииям редакций, тогда же начал писать и художествениую прозу. Первая кинга Внктора Проииия вышла на Украине а 1968 году.

Его перу прниадлежат повести: «Слепой дождь», «Тайфун», «Ошнбка а объекте», «Будет что вспомннть», «Голоса родных н близких», «Особые условия» н другне пронзведення.

БИБЛИОТЕКА

ГЕРОИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

5

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

В. ТЕНДРЯКОВ
В. БЫКОВ
В. ПРОНИН

ГВАРДИЯ"

МОСКВА 1989

В. ТЕНДРЯКОВ

I

Эшелон в последние сутки гнал без остановок. Сейчас он ползет по рельсам, ощупывает колесами стык за стыком, стык за стыком — тягостно долго. Но вот тормозной скрип, лязг буферов — встал! В набитой теплушке смачный басок возвещает:

— Приехали!

Приехали не куда-нибудь, а на фронт.

У каждого из нас путь к фронту наверняка не прямой, а с загибами.

Я окончил школу за полтора часа до начала войны. В два часа ночи мы, переставшие быть десятиклассниками, разошлись с выпускного вечера, в три тридцать, как известно, немецким войскам был отдан приказ перейти нашу границу — «час Ч» по их планам.

В двенадцать дня это стало известно всем. Полчаса потребовалось ребятам нашего класса сбежаться к школьному крыльцу, полчаса мы митинговали друг перед другом, еще через полчаса с торжественно-патриотическими физиономиями вступили в военкомат: «Требуем немедленно отправить нас на фронт!» Военком до обидного легкомысленно отнесся к нашему похвальному патриотизму: «Отправим, не засидитесь».

Мои товарищи не засиделись, всех их быстро направили в училища — кого в пехотное, кого в танковое, кого даже в авиационное. У меня врачи обнаружили черт-те что, астигматизм — плоховато, оказывается, вижу правым глазом. Военком посочувствовал: «Попробую тебя в интендантское». Меня это «попробую» возмутило до глубины души: «Портянки считать? Ни за что! Пойду рядовым».

И целых два месяца ждал.

Отправили по первому снежку с партией парней из дальних деревень пешком с котомочкой до станции. Свои восемнадцать лет я встретил на пересыльном пункте. И верилось тогда — до фронта рукой подать.

Но... «Со средним образованием шаг вперед!» — в дивизионную школу младших командиров.

На головокружительно высоком берегу реки Вятки горделивый старинный собор. В нем в три этажа — едва не до купола — дощатые нары. В нем незримо присутствует дух великого Суворова, бросившего в свое время неосторожную фразу: «Тяжело в учении, легко в бою!» А потому у нас ежедневно строевые занятия, время от времени изнурительные броски по сто километров и больше и не слишком обременительное обучение воинскому мастерству.

Учимся прямо на нарах, там, где спим. Помкомвзвода простуженным голосом читает Устав караульной службы, косит начальственным глазом — кто дремлет?

— Курсант Тенков! И шо я казав?

Еще не проснувшись, оказываешься в стойке «смирно», руки по швам, только не по-уставному на коленях — на нарах не вытянешься во весь рост по форме.

— Один наряд вне очереди!

Отметок в школе не ставят, знания поощряются нарядами. В ночном карауле чаще всего стоят те, кто не освоил Устав караульной службы.

По военному времени срок подготовки младших командиров сокращен. Через два месяца мы прикалываем к полевым петлицам сержантские треугольники — в часть! Теперь-то на фронт?.. Нет, погоди. У части пока есть только номер, самой части не существует. Повезли на формировку за Вологду. Делим черные, свинцово-тяжелые сухари, хлебаем вместо супа мутную водичку, промерзаем до костей на ночных часах, еле таскаем ноги и мечтаем: скорей бы на фронт, обрыдло!

В очередной раз среди ночи подымают по тревоге, ведут на станцию, нас ждет эшелон. Наконец-то!

Черной ночью минуем Москву, в великом городе ни одного огонька. Настраивались на дальний путь, а высаживают очень быстро — под Тулой. Фронт здесь был, но в прошлом году далеко ушел. Осталась разгромленная усадьба Ясная Поляна, у входа подбитый немецкий вездеход, продырявленные пулями бочки из-под горючего. А уже вовсю весна — ярая грязь на дорогах и захлебываются соловьи. Потомки тех соловьев, которых слушал Лев Николаевич Толстой, когда писал сцену смерти Хаджи-Мурата. Нам же не до соловьев — мокро, холодно, кружим, не понять, зачем, по толстовским местам, месим грязь, спим в полях по ометам соломы.

Новая станция, новый эшелон — вот теперь-то уж без обмана на юг, там большие бои. Куда нас бросят, под Харьков или под Ростов?..

И крепко пригревает весеннее солнышко, бойко стучат колеса.

На разъездах нагоияем другие эшелоиы, солдаты высыпают из теплушек, пояаляется обшарпаиная балалайка. Эх!..

Барыня, барыня, барыня-сударыня!..

Топчут кирзоаые сапоги шлакоаую земельку между путями. Но далеко не доехали до Харькоаа, тем более до Ростоаа, как поскучиели сводки Соаинформбюро — немец прорвал фронт. Колеса теплушек застучали медлеинее, на какой-то стаициюпке загнали нас на запасные пути — прочно застряли.

Наступило лето, пока мы иакоиец тронулись...

— Приехали!

Загромыхали отодаигаемые даери, толкаясь, переругиваясь, похохатыаая, сыплются солдаты из теплушек. Взвиваются заливистые голоса помкомазводов:

— Пе-р-рвый аг-невой! Выгружаться!

— Вта-арой аг-неаой!..

— Взаод упраалення, строиться! Быс-стр-ра!

Мутио-голубой, неохаатио плоский мир. Тяжело отдуаается пароаоз, за иим хаост — пыльио-бурые аагоиы, платформы с зачехлеиными пушками. Рельсы аперед, рельсы назад, а вокруг пустота, ни намека на какое-либо строение, ни кособокой будки, ни объездных путей, только затумаиениая предрассветная степь да пепельиый купол неба. Дымчатые дали загадочны, распахнутый мир безучастен к нашему приезду. Хоть какое-нибудь шевелеиие, хоть бы ветерок подул. Не по себе от покоя, война идет!

Но гремят копыта коней по сходиям, суетятся ездовые, покрикиааот огнеаики:

— Р-раз-даа! Взя-ли!

Пушки покачиааот зачехленными пламегасителями, степенно сползают аниз.

Все-таки приехали. Война где-то рядом.

Пушки к бою едут задом,
Это сказано давно.

С царским почетом, попарно цугом шесть лошадей тянут одно длинностаольное семидесятишестимиллиметроаое орудие. А их шестнадцать, четыре батареи, восемь огнеаых взаодоа — солидно аыглядит колониа диаизиона. Нахохлиашись, торчат на конях ездоаые, орудийиые расчеты, как воробьи, тесио на лафетах и зарядиых ящиках, а азаоды упраалення — разаедчики и саязисты — пешком. Марш! Марш!

Дорога как бы скачет по степным волиам, появляется на гребне, тонет, аноаь пояаляется, чем дальше, тем тоиьше, призрачней, пока ие растаорится а зыбкой просини. Ездоаые ападают в дремоту, коии шагают сами, подшевеливать не надо, и стволы орудий важио киааот чехлами: марш, марш!

А я оглядыааюсь назад, поражаюсь ясному спокойстаию неба за спиной. Оио еще не подрумянено, еще не пробились лучи

солнца, не подпалили закраину неба, но скоро, скоро оно займется... Замечаю, оглядываются и другие. На то, что было...

У каждого за спиной дом, мать, отец, братья, сестры, либо жена, либо девчонка, с которой целовался у калитки. Я с девчонкой у калитки пока не целовался, еще не успел. Но дом за спиной есть. Он в далеком, далеком отсюда селе Подосиновец, окна выходят на травянистый пустырь, на старую, со сквозной колокольней церковь, на грозово-синие лесные заречные дали. Глава и законодательница в доме мать, она всегда командовала отцом, мной, моим младшим братишкой. Теперь под ее началом только брат. Отец был комиссаром в гражданскую войну, в эту его призвали сразу же, на второй день. И вот уже восьмой месяц от него нет писем... Пусто в доме, неуютно матери, жалуется на брата — непослушен. Есть еще одна живая душа, рыжий кот, гуляка и лиходей, давит соседских цыплят, промышляет по кладовкам...

Оглядываемся назад, на свое прошлое, но даже поезда, который нас привез, уже нет, спешно отбыл, чиста степь. Порвано с прошлым. Марш! Марш! К Линии Фронта!

Мы встречались с теми, кто уже успел побывать возле Нее, жадно расспрашивали, но эта Линия, пересекающая теперь нашу страну от Черного моря до Ледовитого океана, так и осталась загадкой из загадок. Никому не по силам было рассказать о Ней. Скоро Ее сами увидим. Она там, где небо смыкается со степью, но как ни размашиста степь, а часа за два пересечем ее. Тянут кони пушки, мы идем.

Вбивая в слежавшуюся пыль тупые короткие ноги, шагает наш помкомвзвода Зычко, из пухлой спины растет крутой, как булыжник, подбритый затылок. Время от времени Зычко оборачивается всем сбитым корпусом, хозяйски озирает нас недремлющими совиными очами.

— Пыд-тя-нысь!

Так, для порядку, никто не отстает. После долгой жизни в тесной теплушке приятно размяться по свежему занимающемуся утру.

С ленцой, вразвалочку выступает Сашка Глухарев, рослый разведчик. С него хоть картину пиши образцово-показательного бойца — комсоставский ремень туго стягивает тонкую талию, гимнастерочка заправлена без морщинки, на широком плече небрежно болтается карабин, на бедре шашка, на ногах не кирзачи, как у всех нас, а яловые, гармошкой, еще не тронутые пылью сапоги. И лицо у Сашки внушительное, треть его уходит на квадратный подбородок с тщательно выбритой ямкой посередине. Даже Зычко остерегается командовать Сашкой, а сам командир дивизиона майор Пугачев при встрече здоровается с ним за руку.

Как всегда, рядом с Сашкой Чуликов, тоже разведчик, но совсем другого покроя. Поход только начался, а он уже в запарке — мотня галифе сползла до колен, сапоги с широкими голенищами воюют нескладно со свисающей шашкой, острый нос из-

под каски напряжен. Спотыкающийся на каждом шагу Чуликов — студент из Москвы, и никто лучше него не делает расчеты для стрельбы: без всяких таблиц мгновенно соображает в уме и никогда не ошибается. Сашка опекает Чуликова и забавляется им.

— Чулик, у тебя баба была?

— Пошел к черту!

— Нет, серьезно, сколько их перебрал за жизнь?

— Не считал.

— Так много? Со счету сбился!

— Отстань, жеребец!

— Отстаю, Чулик, отстаю. Ты вон каков, со счету сбился. Где мне за тобой угнаться.

Плечо в плечо со мной телефонист-катушечник Ефим Михеев, над костистым носом кустистые пшеничные брови, закрывающие глаза. Молчун, хозяйственный мужичок-кулачок, Ефим частенько выручает меня по мелочам. Отвалилась пуговица от гимнастерки, потерялась звездочка с пилотки, нужна чистая тряпочка для подворотничка — все появляется из его вовсе не объемистого вещмешка. По армейской разнарядке я его прямой начальник, но он зовет меня сынком, а я его батей. Мне никогда не приходится ему приказывать, да и просить тоже. Батя раньше меня соображает, что нужно выполнить, и выполняет на совесть.

Сейчас к нему липнет Нинкин — тоже мой телефонист, тычет под костистый нос ножичек с наборной ручкой.

— Вещь али не вещь? Взгляни.

Ефим молчит, не смотрит.

— За одну ручку осьмушку отвалят. Мастер делал.

Ефим молчит.

— А я с тебя на пять заверток табачку прошу. Грабь, пока не раздумал.

Ефим выдавливает ухмылочку.

Нинкин мал ростом, суетлив, физиономия смуглая, нос с горбинкой, густые, сросшиеся над переносицей брови: «Меня мама с цыганом прижила». Наверно, так оно и есть. Сейчас Нинкин в подозрительно замасленной гимнастерке, потасканные галифе с аляповатыми заплатами на коленях, да и вместо сапог стоптанные башмаки с обмотками. А ведь на формировке всех обмундировали в новенькое. И уже можно не сомневаться, запасной пары белья в мешке Нинкина нет. Все он изловчился сменять, пока ехали к фронту, на самогон да «на закусь».

Степь вздрогнула, шевельнулась, зарумянилась полосами, старчески покрылась морщинами. Все заоглядывались, все, даже ездовые на конях. И на медных лицах радостные розовые оскалы. Краешек солнца, оторвавшись на пядь, висел над землей. Багровый глаз изумленно взирал на нас. И даже взбитая на дороге пыль зацвела.

Но это происходило у нас за спиной, а там, куда мы шли — марш! марш! — упрямо держалась угрюмая просинь, ночной

неразвеяиный осадок. Солице подымется вверх, привычно прошествует по небу, и закатится оно **там**. Но мы опередим его, **там** будем много раиьше. Вкрадывается тихая до ужаса мысль: кто-то из иас ие доживет до заката. Идем в бой, боев без жертв не бывает.

Уверенно вбивает короткие ноги в дорогу помкомвзвода Зычко. С ним у меня старые счеты, еще по дивизиоииой школе — и там был моим помкомвзвода, постояиио гоиял по нарядам.

Красавец Сашка Глухарев легко несет себя по земле, еле поспевает за ним путающийся в шашке Чуликов.

Нинкии пристает к бате Ефиму:

— Три заверти табачку. Грабь, жила!

С ними на марше и я.

Кто-то из нас... И никто почему-то не обмирает от неизвестности. Идем в бой.

Возле иас вспыхивает веселье...

Сзади натужно вызревает солнце, на дороге зашевелились теии, степь улыбчиво рдеет местами высокими взлобками, низинки же, как озера, заполиеиы тающими сумерками. И троиулся ветерком воздух, прогладил по степи, в ней серым козликом заскакало перекати-поле, спутанный клубок колючек. Радостен белый свет, прекрасна выпавшая тебе жизнь.

Огневики не выдержали, попрыгали со своих насестов — приятней шагать, чем трястись на лафетах. Оии сразу внесли оживлеиие в колонну, заметили отчаянно воюющего со своей шашкой Чуликова.

— Эй, разведка, продай селедку!

Это избитый повод для шуток, но вовсе не безобидиый для разведчиков. По старой традиции разведчикам в артиллерии на коиной тяге положены кавалерийские шашки. Их выдали, а коней иет. Шашки старые, в облезлых ножнах, тупые, как доски, тяжелые, что стволы противотанковых ружей, украшеньице. Что может быть нелепее, чем кавалерист без коня. Коиями же в походах пользуются орудийные расчеты, не сиабжеиные шашками. Кому досада, кому забава.

Приятель крикнувшего участливо спрашивает:

— И зачем тебе, Вася, селедка?

— От мух отмахиваться.

Огневики ржут, разведчики помалкивают.

— Выиь клииок, фараон, чё зубы скалят.

— Ой, ой! Разбежимся. Кто из пушек стрелять будет?

— Оии селедками немецкие таики порубят.

— Как бы ие затупились.

— Наточат. Эвон у Зычко зад, что жериов.

Зычко вышагивает, выставив грудь, презрительно воздев подбородок — бог и царь в своем взводе, над разудалыми огиевиками ои власти ие имеет. Но Чуликова смутила столь наглая дерзость, в очередной раз спотыкается о злосчастиую селедку и...

— Ох-ох! Не порежься!

— Га-га-га!..

Все грохнули — растянулся.

Смеемся мы, связисты, смеется Сашка, смущенно улыбается подымающийся Чуликов. Ему сочувствуют:

— Сестричка-то с норовом, солдатик.

Один Зычко хмур и важен, топчет дорогу, не обращает внимания на веселье.

Высокий тенор полудурашливо-полувсерьез заводит:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши сестры-ы?..

Несколько бодрых голосов охотно подхватывают:

Наши сестры — сабли востры,
Вот кто наши сес-стры-ы!..

Пожарно разгораясь, пошло, пошло по колонне. Вступают и те, кто вдали, в веселье не участвовали:

Наши гости лезут сюда в злости.
Раз-зомнем им кос-сти-и!

Без спешки, уверенно выступают в ременной оснастке кони, качаются стволы орудий. Степь все румянится и румянится, молодеет, яснеет и раздвигается небо, к нему несется счастливо-заносчивый — трын-трава! — вызов:

Наши пушки — тоже не игрушки,
Грянем в наши пуш-шки!

И я, безголосый, самозабвенно пою. Легок мой шаг, просторно в груди, высоко держу голову, радость жизни распирает меня. Впереди война, кого-то из нас ждет смерть, идем ей навстречу — и трын-трава, все нипочем. Знать, правда, есть что-то сильней смерти.

Первое серьезное открытие в наступающем дне.

Дорога оживилась. Только что шли одни, вольно шагали — марш! марш! — и не заметили, как стало тесно. То и дело слышится скачущая по колонне команда:

— Принять вправо!.. Вправо принять!..

Нас обгоняют танки, устрашающе высокие «КВ», обдают пылью, бензиновой гарью, натруженным теплом, земля дрожит, до того тяжелы ходячие крепости. Они в лязге и грохоте исчезают вдали, будут раньше нас. Давай, родимая силушка, выручай страну, а мы поможем: «Наши пушки — тоже не игрушки...»

— Принять вправо!

Нагруженные грузовики один за другим. Уступи мотору, конная тяга! Ездовые усердствуют кнутами:

— Вороти, сатана! Тудыть тебя в селезенку!

— Принять апраао!

Новые машнны жмут нас на обочину. На каждой какое-то сооружение, укрытое брезентом, похоже на складные пожарные лестницы. Что ж, асе может быть, где стреляют, там и горит. Только что-то чересчур многоаато пожарных машин... А по колонне уже летит почтительное:

— «Катюши»... «Катюши»...

Эге, еще те пожарники — не тушат, а жгут. Под Москаой припекли немца. Таинстаенное оружне, в тылу о нем ходят дивные сказки, дух захватыаает.

«Катюши» тоже раньше нас будут на месте. Тесно на дороге, снла идет, берегись, фриц!

Солнце уже аысоко, жжет сквозь гимнастерку, от пыли першит в горле, ао фляжке у пояса вода, однако терпи. До Лннии Фронта шагать да шагать...

Но через несколько шагов фронт вдруг оказался рядом, прямо над каской.

С неба упал тягучий моторный вой, приглушенная очередь. На дороге легкий сбой, солдаты натыкаются друг на друга, задирают лица.

— Эх, мать честна! «Мессер» «кукурузннка» давнт.

Внснт в стороне над степью самолетик — два крыла этажерочкой, растопыркой колеса. Он отчаянно стрекочет, но это ему мало помогает, ползет, буксует в воздухе. А возле самого солнышка, коршуньи-темный, разворачивается другой самолет. Подставился на секунду солнцу, слоано похвастался — я вовсе не темный, я целиком серебряный, — ринулся с занебесной высоты на стрекочущего тихохода...

Кони раанодушно тянули пушки, а люди завороженно застыли, запрокинув каски.

Медлительный «кукурузник», андать, соасем обезумел, лег на крыло, повернул наастречу.

Не ругань, короткие аыдохи с дороги:

— Куд-ды?!

— Смерти ищет!..

Косо падающий убнйца выпустнл туманные, как паутнна, нитн. С запозданием злой пулеметный перестук...

— У-ух!!! — обаальный вздох.

Промах. Убнйцу с ревом занесло далеко в конец степн, и там, гневно стеная, с натугой стал разворачиааться. «Кукурузннк», усердно стрекоча, пытается удрать, жмет к земле. Но где ему, буксующему. Хищнику тесно в просторном небе, рыча от натугн, он сноаа начинает падать. Тихоход неподатлиао трудится над степью и... почти на месте поворачнвается, успевает нырнуть под паутинную полосу трассирующнх пуль. На вемле рождается несмелое веселье:

— Мастак, едрена Матрена!

— Сердит кот, да и мышка ловка.

— Опять, гад, круто берет.

— Авось с маху арежется.

— Вот ба...

Но в землю врезался прижатый «кукурузник», видно было, как он игрушечно перекувырнулся среди степи. «Мессер» с победным ревом низко прошел над жертвой, не подымаясь вверх, косо пересек степь, завис впереди над дорогой. В моторный гул вплелась длинная ожесточенная очередь.

— Наломает дров, сволочь!

Кони последней батареи невозмутимо тянули пушки, качались длинные зачехленные стволы. Никто не тронулся, все вслушивались, вглядывались. Самолет удалялся, побоище впереди затихало.

— Напакостил и смылся.

— Чего наши молчали? На бреющем шел, в упор бей.

— Из трехлинеек? У него брюхо бронированное.

— А «кукурузник»-то не горит. Не видать дыму.

— Поди, и летчик цел.

— Гляньте, не оттуда ли спешат?

По степи к дороге, то исчезая, то выныривая, прыгал «виллис», болотно-зеленый, пятнистый, сумасшедшая лягушка.

— Давят вовсю.

— Раненого спасают.

— Шибко раненного с бережением бы везли.

— Ужо увидим. Похоже, мимо проскачут.

— Пошли, братцы, догонять пушки.

Прошли совсем немного, впереди показался «виллис», требовательно сигналя, обойдя по обочине порожнюю полуторку, проскочил мимо, обдав пылью. На заднем сиденье, втиснутый между двух ярко-зеленых гимнастерок, человек в кожанке, белым марлевым лбом вперед. Из широкого марлевого обруча мечущаяся на ветру волна волос.

— Дев-ка!.. Летчик-то — дев-ка, ребята!

— Фриц с бабой воевал.

— Ловко она с ним танцевала.

— На одинаковых бы машинах им встретиться, кто б сверху был, кто б внизу лежал?

— Умотала молодца с брюхом бронированным... на спичечной коробке.

— Жива, любушка, жива! Сидит, не валится.

— Женский пол, что кошки, живуч.

И долго не могли успокоиться. Огневики, связисты, разведчики спешили за удалившимися пушками, оживленно беседовали, на ходу творили легенды:

— Шибко-то худо про «кукурузник» не думайте, он вроде волка воздушного, по ночам охотится. Вылетит вот такая Дуняша, когда потемней, мотор выключит и планирует над немецкими окопами, а сама фонари вешает...

— Фонари? Куда?..

— На воздух, дерево, на воздух. На парашютиках фонарики. Спускаются себе и светят, хоть иголки собирай внизу. А что выше их, не проглядишь, глаза слепят. Летит себе поверху Ду-

няша, выглядывает огневые точки противника. Каски торчат, пулемет на бруствере — все видно. Белой ручкой Дуняша кап на них противотанковую гранатку — были да нет, мокрое местечко на память.

— Ну и брехлив. Тебе б вместо собаки дом стеречь.

— Поползаешь по передовой, поверишь и не в такое.

— Эй, чтой-то дымит впереди!..

Вдали по дороге лениво полз в небо неопрятно черный дым.

— А гад с бронированным брюхом пустил-таки петуха, — подосадовал рассказчик о Дуняше с белой ручкой.

Никто ему не ответил, лишь прибавили шагу.

Горел танк «КВ», один из тех, что шли мимо меня, и земля дрожала. Он теперь не выглядел мощным — ходячая крепость, — посреди дороги громоздилась гора копотно-черного металла, из щелей сочился грязный дым, в его жирных клубах купалось тускло-красное солнце. Угарно воняло жженой резиной.

Солдаты топтались, отстраненно разглядывали, было известно, экипаж спасся, а сам горящий танк явно не вызывал сочувствия.

— Из пушки, что ли, «мессер» шарахнул иль от пули загорелся?

— Эти «КВ», жестяные хоромины, от спички горят.

— Велика Федула, да дура.

— Новые танки, вот те хвалят.

— Хороши кони в заводе, да на пашне их нет.

В стороне от чадящего танка убитая лошадь, рыжая и ребристая, на обочине перевернутая повозка, по щетинистой пыльной траве раскидано армейское барахло — коробки с пулеметными лентами, сиреневое трикотажное белье... Были, наверное, и убитые, и раненые, их успели прибрать. Поразбойничал молодец с бронированным брюхом.

На лоснящемся жеребце вырос возле пушек командир дивизиона майор Пугачев в косо сидящей каске, автомат на шее, бронзовое лицо, широкие плечи, зычный голос.

— Вправо с дороги! Побатарейно в степь! Интервал триста метров!

Сворачиваем не только мы, но и машины, и обозы — подальше от опасной дороги.

Буро-ржавая степь до удушья пахнет распаренной полынью. Сквозь подметки сапог чувствую, как круто спеклась земля. Давно уже сорвал с головы накаленную каску, пилотка насквозь мокра от пота, пытаюсь поймать лбом ветерок, но воздух недвижим, лишь плавится от зноя, колеблет степные дали. И режет плечо ремень вдруг потяжелевшего карабина.

Горящий «КВ» и солдатские осуждающие разговоры нежданно-негаданно отравили меня. Всегда свято верил в нашу силу, с восторгом смотрел в кино, как слитно маршируют наши вой-

ска: одна нога шагает вперед — тысячи с ней, подымается одна рука — с ней в едином взмахе тысячи. И я, мальчишка, незаметно живущий в далеком от Москвы, ничем не прославленном селе, всей душой там, в общем марше. Тысячи таких сел, миллионы таких, как я, весь советский народ как один человек. Мои войска шагают, мои танки идут. Самые мощные, самые грозные из них — «КВ», больше всех ими восторгался, больше всех в них верил. Счастье было встретить их на дороге — идут к фронту, будут там раньше нас, надежно прикроют, со мной сила! А не прошло и получаса, как один «КВ» вышел из строя, горит, не дошел до фронта. Мои старшие товарищи, оказывается, ничуть не удивлены: грозные «КВ» от спички горят, «велика Федула...». Немцы здесь, в глубине страны. Мы сильны, верю в то, не могу сомневаться, но какая же сила тогда прет на нас?..

Мучительные мысли — «КВ», моя надежда, мой старый кумир, подвел меня. Без мучений с кумирами не расстаются.

— Воз-дух!

Мучительные мысли разом вылетели из головы.

Одни ездовые закричали, заулюлюкали, нахлестывая лошадей, без нужды заворачивали их в сторону. Другие скатывались с конских спин на землю, растерянно приседали, задирали головы. Огневики рассыпались по степи, стаскивали карабины. Я тоже сорвал карабин, припал к горячей полынной земле, жадно вглядываясь в небо. Лишь один майор Пугачев не покинул седло, замер на жеребце посреди степи.

Самолет шел прямо на нас, самолет-одиночка с неровным, монотонно качающимся звуком мотора. Не спеша, не снижаясь и не набирая высоту, он рос на глазах и странно преображался, с каждой секундой становясь все диковиннее. Это был не один самолет, скорей два, сросшихся воедино. Два туловища на одном просторном крыле! Во сне не приснится...

Все держали на изготовку карабины, жалкое оружие против воздушного нападения. Но никто не стрелял, забыли, смотрели, завороженные, снизу. И самолет не проявлял угрозы, плыл ровно, с безразличным равнодушием, на одной ноте, на одной высоте.

Странное сооружение пронесло над нами свой раздвоенный хвост, казалось, не обратив на нас, на наши пушки никакого внимания, презрительно дозволяя глазеть на себя. И мы изумленно глазели с распахнутой земли на невиданное чудо, забыв об опасности.

И только, когда оно удалилось, раздалось несколько бестолковых выстрелов вслед да неподалеку от меня кто-то витиевато матерно выругался с явным облегчением.

Повскакали, возбужденно заговорили:

— Чтой это, братцы?

— Огорожа у немцев летает.

— И зачем им такой урод?

Но в солдатской массе всегда найдется сведущий, и уж он не утаит. Через минуту разнеслось:

— Слышь, Фока Вульф какой-то.

— Рама. Корректировщик.

— По какой надобности?

— По доглядыванию.

— Гляди, не жалко, только вниз не плюй.

— Э-э, деревня! Он вот глянул и уже доносит — полоротые с пушками по степи идут. Жди коршунов, они не спустят.

— От гад раздвоенный. Убираться надо скорей отсюда.

— Эг-ге! А это еще чего?..

Под наши сапоги на спаленную траву начали ласково ложиться белые листки. Синее небо было заполнено лениво кружащимися блестками.

— Листовки!

— Письмецо от милашки.

— В любви, поди, признается.

С охотой хватали, с любопытством вчитывались.

На скупом кусочке папиросной бумаги под растопыренным орлом, сидящим на свастике, как на яйце, подслеповатый текст:

«Спеши спасти свою жизнь!

Жиды и коммунисты ведут тебя к гибели. ШВЗ — штык в землю!

Эта листовка является пропуском при переходе к нам в плен».

Раньше пуль до меня донесся голос врага. Он не только возмутил меня, он поразил своей откровенной тупостью. С оскорбительной спесивостью предлагает — «Спеши спасти свою жизнь!» — и рассчитывает, что сразу послушаюсь, воткну штык в землю. От отца уже восемь месяцев нет писем. Он убит. Ими! ШВЗ — штык в землю. Как же, сейчас... И эта бесцеремонная грубость — «жиды и коммунисты» — должна мне нравиться? И непристойная игра на простачка — пропуск даем, пользуйся... До чего же, оказывается, глуп мой враг. Родилось брезгливое к нему презрение. А уж того, кого презираешь, бояться нельзя.

Кто скажет, какими неуловимыми приметами питается наша интуиция? Не с этой ли первой немецкой листовки моя мальчишеская слепая вера в победу превратилась в убеждение?

Никкин подкатил к бате Ефиму.

— Не скареднчай же ты немца. Ась? Он мне бумажку дал, а ты, что ль, табачку пожалеешь?

И Ефим полез за кисетом.

— Ну и оторва ты.

Выстроились в походную колонну, снова двинулись по степи в полынном дурмане, под сатанеющим солнцем. Вдали погромыхивало, не я один невольно поглядывал на край неба — не выползет ли тучка, не нанесет ли дождя? Небо было чисто, дали прозрачны. Погромыхивает... Марш! Марш! Мы слышим войну.

Встретились первые раненые. У перегревшегося грузовичка с откинутым капотом двое в скудной тени кузова на корточках.

Один баюкал руку на перевязи, у другого в марлевой шапке с охватом до подбородка голова, сверху петушиным гребнем грязная пилотка. Оба ярко белоглазые, иконно черноликие, дремуче заросшие, братски похожие друг на друга.

Их бесцеремонно обступили.

— Отвоевались, мужички.

— Подождешь, так вернемся, встретимся. Нас быстро заштопают.

— Тебе голову чинить будут али новую выдадут?

— Голова цела, уха нет.

— Немец-падла откусил?

— Осколочком сбрило.

— Не горюй, поросячье пришьют.

За табачок — по закрутке на брата, все из того же неистощимого кисета бати Ефима — раненые поведали: позавчера тут надавили на немца, отбили два хутора, впереди по дороге торчит немецкая пушка и пушкарь при ней, полюбуетесь.

Новость понесли дальше, и каждый при этом стеснительно скрывал затаенную надежду: а вдруг да... большое-то начинается с малого, с каких-нибудь отбитых назад двух хуторов.

Никаких хуторов в обзоре не было видно, степь да степь кругом, а пушка без обману торчала за первым же взлобком. Она косо завалилась на обочине, тоскующе целилась коротким стволом в нашу незавоеванную сторону. И он при ней в пыльной лебеде, рослый, соломенно-рыжий парень в мундирчике незнакомого цвета жирной, с прозеленью болотистой грязи. Из задранных штанин высовывались тощие, с голодными лодыжками ноги в сползших носках... Первый из врагов перед нами воочию.

Я лелеял в себе мстительное чувство, заранее подогревал его — не этот, так похожий на него убил моего отца. Отцу теперь бы исполнилось пятьдесят лет, он был грузен, страдал одышкой, прошел через две войны, отличался прямотой, честностью, горячо верил во всемирную справедливость. Для меня не существовало более достойного человека, чем мой отец. Могу ли я не ненавидеть его убийцу?! Я стоял над врагом и испытывал только брезгливость... Но брезгливость не в душе, брезгует мое телесное нутро, а в душу просачивается незваная, смущающая жалость. У этого парня было все-таки небронированное брюхо, коли лежит в лебеде. Так далеко шел, чтобы умереть до тошноты некрасивой смертью. Помню отца, не забыл, но ненависть не накипает.

Все кругом, как и я, хмуро молчали. И только один Нинкин сердито сплюнул.

— Тьфу! Падаль.

Но и в его голосе не было силы, выдавил из себя по обязанности.

Первым Ефим, за ним все отвернулись, двинулись догонять пушки. Я вырвался из отравленного воздуха, дышал с наслаждением, прочищал легкие. Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп.

Среди погромыхивания уже отчетливо слышались путаные выстрелы — из края в край, перегораживая степь между нами и ними.

В застойно жарком воздухе над нашими головамн что-то прошуршало, пришепетывая, что-то невиднмое, шерстистое. Бравый Сашка Глухарев, шагавший передо мной, удивленно повел запрокинутой каской и вдруг поспешно осел. Далеко за колонной ухнул и покатился по степи взрыв.

— О-он... — выдохнул Сашка, затравленно глядя на меня.

Странно, образцовый солдат Сашка Глухарев был испуган, даже не пытался скрывать того передо мной. И я, постоянно ему завидовавший, почувствовал тщеславное превосходство, не удержался, чтоб показать его, обронил с пренебрежением:

— Шалый снаряд... — И для пущей убедительности добавил чужие, давно слышанные слова: — Кидает в белый свет, как в копеечку.

— То-то, что шалый... По-шальному вот вкатится.

У Сашки был слабый, вылинявший голос, а на чеканной физиономии вплоть до могучего подбородка свинцовый оттеночек.

Через минуту он пришел в себя, снова приобрел осаночку — грудью вперед выступал, небрежно придерживая на плече ремень карабина, но голос так и не стал прежним, Сашкиным, усмешливым. Он словно оправдывался передо мной:

— Сдуру влепит, а ты лежи в лопухах... как тот немец.

Ах, вот оно что! Им, Сашкой, всегда все любовались — видный, ладный, загляденье. И такому красивому вдруг — в лопухах! Любого другого легко представить, но только не его. Сашка привык отличать себя от других — ладный, загляденье, — а вот шальной снаряд разницы енать не знает, для него все равны, что Сашка, что Чуликов. Вспаникуешь, коли сильно себя любишь.

А Чуликова рядом не было. Он всегда держался Сашки. Я невольно стал искать глазами по колонне... Не сразу узнал его — не та походка, шагает со свободной отмашкой, даже мотня штанов, похоже, не очень болтается.

— Эй, Чулик!

Он обернулся. Его узкое лицо всегда было потухше серым, тонкие губы в кисленькой складочке, сейчас же потно румяно, а глаза блестят.

— Где твоя селедка, Чулик?

Ноздри тонкого носа дрогнули в хитрой, затаенной улыбочке.

— Какая селедка? — невинное удивление.

— Забыл, как с ней миловался?

— Вид оружия — селедка? В современных войсках? Тебе померещилось, сержант.

— Давай, давай поиграем в дурочку.

Он приблизил ко мне свои блестящие глаза, они неожиданно лукаво-карие, хохотнул счастливо.

— Даже Сашка селедку бросил, а уж он-то ее любил. К фигуре шла.

Не слишком-то почтительные слова. Бравому Сашко сейчас не по себе. Чуликов весел и самостоятелен. Все кругом выворачивалось наизнанку.

Мы только еще подходили к фронту, а люди уже менялись. Изменился ли я?..

Мы выехали на истоптанную бахчу. Вбитые в пыль узорные листья, и кое-где чугунно темнеют не налившиеся, с кулак арбузы.

Мы выехали на бахчу, и в воздухе запели пули. Сколько я читал о свистящих над головой пулях, герои книг слушали их без содрогания, но подразумевалось — нужна сила воли, чтоб без содрогания, нужно мужество. Теперь не в книгах, не в кино, исполнилось наяву — над моей головой свистят пули, и вовсе не зловеще, на удивление нежно, застенчиво. Мне нисколько не страшно, даже весело, и никакой силы воли не прилагаю, получается само собой. Может, я исключительная натура, из тех, кто вообще не ведает страха? Но со мной рядом никто не страшится, хотя пули звинмают всех, задирают вверх небритые подбородки, оживленно переговариваются.

— Птички божии, не наслушаешься.

— Петь пой, да не клюй.

— Эти пеночки поверху летают. Услышим еще и низовых, что позлей.

Нехитрое пророчество сбылось через несколько шагов. Внезапный, взахлеб яростный визг, я ныряю каской вперед, в смущении поспешно распрямляюсь. Распрямляются и другие, озадаченные и тоже смущенные. Сашка Глухарев отряхивает с колен пыль, прячет лицо.

— Она самая, низовая пташечка.

— Целы?..

— Вроде бы никого.

Неигранное конфузливое веселье, но что-то остается на солдатских физиономиях, что-то одинаковое для всех, какие-то несвойственные прежде складочки и морщинки. Даже у Чуликова...

Он неожиданно возмущается:

— Это глупо!

— Что, умная голова?

— Пулям кланяться.

— А ты сейчас не кланялся?

— То-то, что кланялся. Зачем? Пуля летит быстрее звука. Ту, что клюнет, мы не услышим.

— Ходи себе гоголем, а я уж на всякий случай поклонюсь. Голова не отвалится.

— Ничего, ребята, оклемаемся, пообвыкнем.

— Ежели успеем.

Но спокойно шагают кони в упряжке, тянут себе пушки, не остерегаются. Только ездовые уже не сидят на них верхом, со-

скочили вниз, ведут передних в упряжке под уздцы, так все-таки ближе к земле, надежнее. Пока никого еще не зацепило, никто не ранен.

Появились первые окопы, из них торчат каски. Зарылась в прокаленную землю пехота, лица черные от въевшейся окопной пыли, сверкают зубы да белки глаз. Устроились они, однако, по-хозяйски — брустверы замаскированы травкой, кое-где накрыты плащ-палатками, чтоб не сыпался песочек вниз, и торчат из канавок-бойниц вороненые стволы ручных пулеметов. А позади окопов даже противотанковая пушечка-сорокапятка обвешена, опять же для маскировки, растрепанными арбузными плетями. Бахча обрела суровый фронтовой вид.

Но это лишь задворки фронта, если наши кони с пушками идут дальше. И поют «верховые песочки», и по сторонам ухают снаряды, а бой впереди, наше место где-то там, ближе к роковой Линии, что пересекает страну, она означена выстрелами.

Шуточки внезапно замолкают. Лицо каждого теперь устремлено вдаль. Даже цыганистое лицо Ниикина, трепача и безобидного ловчилы, сейчас, право же, возвышенно строго. Неизвестность подошла вплотную, от нее уже нельзя отмахнуться, нельзя обманывать себя, что не замечаешь. Неизвестен зловещий мир, в который ты вступил. Растравляюще неизвестна твоя судьба — абы скоро, абы нет, будешь, не будешь? И неизвестно, как все обернется, новыми страданиями или искуплением от них... Убежден, в эти минуты великое ощущал не только я, мальчишка с претензией на культуру, но и Ефим Михеев, и Нинкин — все. Каждый на свой лад.

Людям не свойственно терпеть неизвестность. Если они не в силах были что-то объяснить, то спасались самообманом. Неведомо, что там за пределами жизни каждого, а потому придумали рай и ад. Неведомо, когда и как кончится бытие рода людского, и вообразили себе Страшный суд. Пусть жуткий ад, пусть беспощадный суд с ужасами светопреставления, но только не неизвестность. Она противна природе, не совместима с человеческим духом. Но бывают критические моменты, когда она, неизвестность, столь близка и столь зрима, что уже не спрячешься от нее за самообман, принимай как есть. Тогда каждый отметает в себе случайное и наносное, обращается к одинаково тревожному для всех, главному, великому...

После окопов мы с конями и пушками оказались одинокими в необъятной степи. Обманчивое одиночество. Степь только с виду ровна и необжита. Она капризно складчата, и едва ли не каждая ее складочка потаенно населена. Куда-то же делись шедшие по дороге обозы, машины, «катюши» и эти грозные с виду и не слишком надежные «КВ», собратья сгоревшего. А дорога гнала силу сюда и вчера, и позавчера, всех укрыла ровная степь, всем нашлось в ней место. Найдется и нам. Но пока мы до него не добрались, пока ни с кем не связаны, ни с кем еще не сроднились, блудные дети. Не терпится сродниться, тогда неизвестность перестает быть мучительной.

Натыкаемся на окопно-земляночный городок, не спеша шествуем мимо этого скудного степного оазиса — марш, марш! А в нем своя жизнь: млеют на солнце часовые, кучка солдат, голых по пояс, умываются. Они благодарно гогочут, звонко шлепают друг друга по спинам, увидев нас, прерывают веселое занятие, смотрят, окликают:

— Эй, артиллерия, бог войны! Заворачивай, перекурим!

Наши стряхивают завороженность, охотно отзываются:

— Прикурка не для вас. Немцу везем!

— Не ожгитесь, божьи ангелы. Он тоже дает прикурить!

Даже лошади пошли веселей, даже ездовые полезли на конские спины, хотя здесь «верховые пеночки» поют назойливей и чаще срываются на злобный визг. Марш! Марш! Бодро взяли вверх по выжженному склону, под повизгивание «пеночек» прошли открытый плоский перевал, скатываемся на рысях вниз.

А внизу тесно скучились несколько спешившихся конных. Вижу среди них рослого командира дивизиона майора Пугачева, вижу командира своего взвода лейтенанта Смачкина. Он невысок, наш лейтенант Смачкин, подобран, у него слегка кривые — кавалерийские — ноги в мягких сапожках из выгоревшей плащпалатки и пузырящаяся каска на голове, и автомат с биноклем на шее.

Сашка Глухарев переглядывается с Чуликовым, Чуликов со мной, я с батей Ефимом — здесь! Балка не балка, долина не долина, просто малозаметная вмятина на обширном теле степи — наше место.

— Марш! Марш! — кричат вдохновенно ездовые.

Кони на рысях гонят пушки. Последние метры марша.

Лейтенант Смачкин стал командиром нашего взвода уже после формировки, по пути к фронту. С разведчиками он успел както познакомиться, провел несколько занятий, экзаменовал, а проэкзаменовав, оставил в покое. И никто не мог сказать, что он за человек, взводный, строг или добр, толков или нет? «Дураком вроде не назовешь, а так кто его знает...» Нас, связистов, Смачкин просто не замечал. Связистами занимался Зычко, «наш фетфебель», как звал я его, за глаза, разумеется.

Зычко жил вместе с нами, из одного с нами котла получал кулеш в котелок, лежал на одних нарах в теплушке, раздавал наряды, следил за чистотой подворотничков, за надлежащей заправкой и выправкой, за ухоженностью карабинов, за бодростью духа и, уж конечно, за дисциплиной, которую понимал не иначе, как беспрекословное повиновение своей особе. За все время всего раз или два он показывал нас Смачкину. Тот появлялся перед строем, влитый в длинную кавалерийскую шинель, в фуражке с черным околышем, свежевыбритый, рассеянный, не замечающий усердно тянущегося перед ним Зычко.

После «здравствуйте, товарищи бойцы» один и тот же вопрос: «Жалобы и претензии есть?»

Жаловаться себе дороже, пришлось бы иметь дело с Зычко, а тот не спускал: «Бога святаго и батьку риднаго вам замещаю!»

Сейчас на нас налетел Смачкин, обожженный солнцем, пропыленный, внушительно вооруженный — автомат «ППШ» на шее, пистолет «ТТ» на поясе да еще бинокль и беспокойно болтающийся планшет на боку.

— Со мной пойдут: Чуликов, Глухарев, Тенков, Михеев и еще... ну, хотя бы Нинкин! Макарыч, ты как, выдержишь? И бегать, и на брюхе ползать придется.

Диво дивное, держался от нас в стороне, а на́ вот, и в лицо, и по фамилиям всех знает: батю Ефима, надо же, по отчеству величал, Макарычем. Даже я Ефима по отчеству не знал.

— Разведчики берут стереотрубу и треногу. Связисты — телефон и по катушке на брата. Карабины и саперные лопатки с собой. Вещмешки и противогазы оставить здесь.

Разведчикам надлежит выбрать НП, нам, связистам, протянуть до него связь. На огневой остается Зычко, он уже уверенно распоряжается — кому рыть щели, кому тянуть кабель от батареи к батарее, кому отправляться в обоз за резервными катушками. Я Зычко уже не подчинен, сам Смачкин меня к себе призвал.

Идем по прямой, Смачкин изредка сверяется по компасу, ведет нас к какой-то, только ему известной точке. НП обычно располагается на самой передовой. Пока мы не обоснуемся, пушки слепы, а потому спешим. За моей спиной повизгивает несмазанная катушка, связь тянем прямо на ходу. Скрипит катушка, выбрасывает на сухую траву кабель...

Поле пшеницы. Оно, по-степному бескрайнее, остается от нас в стороне, мы задеваем лишь угол. Но даже за малый путь по нему, за каких-нибудь сотню-полторы шагов успеваем увидеть, как жестоко изранено это величавое поле, все в рубцах от колес машин, повозок, гусениц танков, черные подпалины возле рваных воронок. Израненное поле продолжало, однако, зреть, налившиеся колосья прижимались по-солдатски к земле. Я срываю на ходу колос, разглядываю. Выросший в лесном краю, таких хлебов я еще в жизни не видел. Каждое зерно янтарно-прозрачно, как слеза доисторического животного, превратившаяся в драгоценный камень... И никто эти драгоценные зерна уже не соберет — спалят, вытопчут...

— Урожайный год ноне. Страсть, — говорит Нинкин.

Батя Ефим глухо роняет:

— Война клятая!

А Смачкин торопит издали:

— Ножками, ребятки, ножками! Пушки наши молчат.

Мы работаем ножками, сгибаясь в три погибели. Теперь уже стреляют кругом — и впереди, и сзади, и с боков. Где-то неподалеку упорно погромыхивает, вдали гневается басовитый пулемет. И пули тоскующе стонут по непролитой крови, стонут и яростно визжат. Иногда россыпью громкий треск по земле, то немец пустил очередь разрывных. Завывая, проходят над нами

дружной стаей мины н — кррак! Кррак! Кра-ра-ррак! — вперегонки лопаются за спиной.

— Шевели ножками!

А гимнастерка насквозь промокла от пота, каска на голове раскалена, коснись, обжигает руку. Ломит плечо от катушки, и сильно мешает ненужный карабин.

После очередной пробежки Смачкин объявляет:

— Минутный перекур!

Мы мешками падаем на землю. Вправо в выжженном степном запа́дке — минометная батарея. Должно быть, та, что погромыхивала в стороне. Громыхает и сейчас, минометы размеренно бьют.

— Ждите. Выясню обстановочку, — приказывает Смачкин, низко сгибаясь, бежит к минометчикам.

Благостно отмякает измученное тело. Только солнце нещадно жжет, от него не спрячешься. Нинкин канючит у Ефима:

— Под богом ходим. Не жмись. Убьет вот, и табачок в запас не понадобится.

Я наблюдаю за минометчиками, они нам сверху хорошо видны. Минометы, как самоварные трубы, стоят в ряд на короткой дистанции друг от друга. Возле каждого из них дружная работа — одни подносят ящики, вскрывают их, другие выхватывают из ящиков мины, кидают третьим, не ловят, заученно скупым движением опускают в трубу. «Огонь!» Миномет плюется и приседает, а над ним уже занесена новая мина... Деловито, без суеты шуруют, как кочегары у паровозной топки. А ближе к нам под штабелем пустых ящиков и совсем мирная картина — под минометные выстрелы обедают, обрабатывают котелки ложками, усердно жуют, с ленцой болтают, кто-то, уже отвалясь, всласть смакует цигарочку. Вот, оказывается, как воюют — без паники, без надрыва, не на «ура», шуруют и хлеб жуют. Просто. Меня до зависти поражает такая налаженная, обжитая война — не столь уж и страшен черт, как его малюют. И мы приспособимся...

Смачкин возвращается к нам на четвереньках, нарушает наш покой:

— Пошли. Тут уже недалеко.

Выскакиваем на раскатанную степную дорогу и натыкаемся на такое, чего никак не ждали. Со всех сторон стреляют, пули ноют в воздухе, пули стригут по траве, мы двигаемся перебежками, низко гнемся, поминутно падаем, а посреди дороги тяжелая повозка, пара коротконогих лошаденок, дремотно понурившись, отмахиваются хвостами от слепней. И дюжий парень-повозочный в мешковатой обмундировочке, с опущенным кнутом в руке стоит, не таясь, во весь рост, с надеждой на распаренной физиономии встречает нас.

— Заплутался, братцы. Свою батарею никак не найду.

— Вот увидят да всадят, и вовсе к богу в рай закатишься.

— Чего уж... — вяло отмахивается кнутом повозочный. —

Знать бы, куда податься... Девяиосто пятая полковая... Срочно мнны доставить приказаио.

— Мннометиая батарея? Так ты мимо проехал.

— Энтих я видел, энти не наши.

Его невиимание к пулям заражает н нас, распрямляемся, переминаемся, глядим с осуждением и сочувствнем.

Давящнй — дотерпеть нельзя — вой. Возрос и обрубнлся. На миг тишина. Предсмертная — ни мысли, ни дыхання. И земля рвется к небу.

— С дороги! Ложись!

Крик Смачкина настигает меня в косом, стелющемся, диковинном прыжке, краем глаза успеваю уловить рвущихся с места лошадей. Гремя катушкой, карабииом, шмякаюсь на жесткую землю, путаясь в оснастке, переворачиваюсь раз, другой, ползу вслепую подальше от дороги, зарываюсь лицом в полынь. А позади рвется и рушится: грохот — вой... грохот, грохот — вой, сиова грохот н сиова вой, но уже не столь ожесточеиный, напористый... И взрыв на удалении, и тишина.

Освобождаюсь от полынного удушья, подымаю голову. В степи, задрав головы, несутся лошади, груженую повозку кидает из стороны в сторону. За ней, далеко отстав, бежит парень-повозочный, размахивает рукавами... Жив курнлка.

В воздухе иадо мной явственный шепот, косноязычный, убеждающий меня в чем-то. Ближе, настойчивей, сердитей — шлеп! Рядом с моей рукой на земле осколок, черный, рваный, потерявший снлу. Будь он в силе, не только руку, полголовы бы снес, и каска не помогла б... Тянусь к нему — ах, черт! — горячий.

— Быстро все ко мне! — совсем близко голос Смачкиuа.

Мы сползаемся. У Сашкн Глухарева лицо странно костистое, глаза слепые, глубоко запалн. Остальные словно виноваты — невзиачай нашкодили, только батя Ефим, как всегда, суровосерьезен.

— Вперед! — нетерпеливо приказывает Смачкнн.

— Нет! — возражаю я. — Связь надо проверить, товарищ лейтенант.

Смачкин с досадой крякает.

— Давай быстреиько. Там ждут, а мы путаемся...

С помощью Ефима торопливо прнсоединяю телефон к кабелю.

— Фиалка! Фиалка!..

Не успеваю сообщить, что связи нет, как, кряхтя, подымается Ефим.

— Перебило на дороге. Пойду пошарю концы.

Дорога пристреляиа, и за ней сейчас наверняка пристально следят, только покажись, сиова ударят. Мне кажется, что батя идет на верную смерть. Остаиовить, пойти самому?.. Но пока я колеблюсь, Ефим уползает, оставив во мне едкое чувство вины.

Все, как одии, приподнявшись, вытяиув шеи, следим за удаляющимися подметками сапог Ефима. Он, даже пластаясь на животе, сохраияет степенность, не торопится. В глазинцах Саш-

ки рядом со мной тоска, столь угрюмая, что даже пугает меня. А Чуликов звонко произносит:

— Вот так-то...

На него удивленно оглядываются, он смущается.

Ефим подполз к самой дороге, задержался, поворочал каской вправо-влево, не спеша перебрался и исчез на другой стороне. Его долго нет, я страдаю.

— Товарищ лейтенант, разрешите помочь ему.

— Лежать!

Концы перебитого кабеля могло разбросать взрывом, не так-то просто их отыскать в траве. Я понимаю, бессмысленно толкаться там вдвоем, буду только мешать бате, но ждать и страдать свыше моих сил.

— Товарищ лейтенант!..

— Лежать!

Наконец-то каска Ефима показывается над дорогой. Я хватаюсь за трубку.

— Фиалка! Фиалка!..

Фиалка сразу же отзывается невозмутимым голосом Зычко:

— Оце добре, Василек. Вже на мисте?..

— Больно скоро. Просто проверка. — Я теперь могу себе позволить говорить с Зычко на равных. И он, похоже, это понимает, не обрывает меня начальнически.

Снова двигаемся короткими перебежками — рывок на десяток шагов, падение, секунда оглядки, вновь рывок... Рядом со мной с обстоятельной старательностью бежит и падает Ефим. У меня не проходит ощущение: я что-то оставил на дороге, что-то такое, из-за чего следует вернуться. Батя Ефим рядом, батя цел и невредим, что мне еще?.. И вспоминаю — линия-то через дорогу не перекопана! Мало ли какого дурака на повозке снова занесет туда, зацепит за кабель, оборвет... Но остановить Смачкина я не решаюсь. Пушки молчат, пушки ждут нас на НП.

Трудно сейчас представить ручей, бегущий в раскаленной степи. Но и в ней бывает весна, тают снега. Не один, а, должно быть, несколько ручьев, сливаясь здесь, пробуравили бочажок, и вода кружила в нем, ища выхода. Бочажок давно высох и густо зарос высокой травой с сизыми метелками, мы удобно устроились в нем.

Мы, связисты — батя Ефим, Нинкин и я, — тесно друг к другу вокруг подключенного к кабелю телефона. Смачкин с Чуликовым и Сашкой Глухаревым отправились выбирать место для НП — их, разведчиков, дело. Пока не выберут, мы не нужны, наслаждаемся законным отдыхом.

Шагах в двадцати-тридцати, совсем рядом, траншея стрелкового взвода. Это и есть самый передний край фронта, за ними уже никого из наших нет, за ними нейтральная полоса, ничей-

ная земля, а дальше противник. День в разгаре, в самом разгаре и бой.

Только издалека кажется, что передовая охвачена трескучим пожаром. Вблизи пожара не чувствуешь, идет работа. Слева бьет короткими нервными очередями пулемет, на отдалении справа второй, но никак не нервно, не частит, с явной прикидкой и примеркой. Еще реже вступает третий, как раз напротив нас, зато заводится надолго, обстоятельно, вероятно, не ручной, а станковый. И винтовочные выстрелы не беспорядочны, а набегающими вспышками — кто-то хлопнет раз, другой, и сразу двое или трое поддержат его, разбежится быстрый говорок на всю длину траншеи, постепенно увянет до нового звонкого выстрела...

Для нас скрыта жизнь этого кусочка фронтового края. Изредка над траншеей проплывет каска, не спеша, с покачиванием в такт шагов. Нет-нет да донесутся выкрики, ничуть не сплошные, так, по необходимости:

— Остапенко!.. Где Остапенко? Младший лейтенант зовет!

В двух местах копают, осторожненько выбрасывают наверх рыжую глину.

Эти чудо-богатыри, что первыми встречают напирающего противника, те, на кого с надеждой смотрит вся великая страна, которых поддерживает мощный тыл с многочисленными пушечными батареями, танковыми соединениями, колоннами машин, обозами, подсобными подразделениями, стараются быть как можно неприметнее, зарываются в землю. Для них мир выше бруствера враждебен. Здесь не слышно тоскующих пуль, здесь пули неистово яростны, жалят черствое тело степи, брызжут сухими комьями, с треском рвутся в траве — немцы часто бьют разрывными.

Пули визжат и над нами, но теперь и мы неплохо укрыты, в сухом травянистом бочажке нас не продувает. Правда, по сторонам, там и сям саднящe лопаются мины, но авось — бог не выдаст, свинья не съест — прямым попаданием не всадят. Как мало, однако, надо солдату — минутку покоя и углубление в земле. И еще чтоб не грызла душу забота.

Я прирос к телефонной трубке, постоянно выкрикиваю:

— Фиалка! Фиалка!..

Мне отвечают:

— Фиалка слушает...

Связь есть, и это, право, удивительно. Наш выброшенный на бегу кабель проложен в нарушение всех правил — не по кратчайшей прямой, с разными загибами, без выбора места. И ни на минуту не забываю о дороге, кабель там лежит наверху, не перекопан... Все-таки забота грызет, отравляет покой, но...

— Фиалка! Фиалка!..

— Фиалка слушает...

— Порядочек!

Я не телефонист-катушечник, а радист. Нет, конечно, не классный, а ускоренной военной «выпечки», на ключе работаю сла-

бовато. Да в полевой артиллерии не так уж это и важно, тут некогда возиться с морзянкой, кричи в микрофон. Зато никакой тебе проволоки, никаких пудовых катушек и проклятых порывов, выкинул антенну, повернул ручку настройки: «Фиалка! Фиалка! Фиалка!» Летит твой голос через степь над дорогами и оврагами, сквозь пули и снаряды... Не оснащен еще наш дивизион радиостанциями.

Но не мечтай попусту и не отравляй покой, насладись минутой. Она скоро кончится, а что будет потом, бог весть. Быть может, нам и не придется больше вот так блаженствовать вместе. Напустив на глаза брови, распустив на лице задубевшие складки, отдыхает батя Ефим. Ерзает, подергивается беспокойный Нинкин — продувной черный глаз с искрой, тонкий, строгого рисунка нос с горбинкой, сквозь коросту пыли проглядывает свежая смуглота подвижной физиономии. А ведь Нинкин-то красив!.. Меня захватывает острое чувство братства. К Нинкину тоже.

— Ты кем на гражданке был, Нинкин?

Он ничуть не удивляется моему вопросу, словно даже ждал его.

— Ты, сержант, спроси, кем Нинкин не был.

Ефим-молчун хмыкает и отверзает уста:

— В начальстве ходил, разе не видно.

— А что? Был. Не долго, конечно, три дня всего.

— Ужли?.. Кем?

— Заготовителем! — отчеканивает Нинкин. — Ты, елка дремучая, поди, и слова-то такого не слыхивал.

— А три дня почему? — интересуюсь я.

— День-ги!.. — вздыхает Нинкин. — Век с ними не лажу. А тогда мне три тысячи отвалили с хвостиком на закуп кожсырья. Пропил, говорили... Да разве можно столько сразу пропить и живу остаться. Пропил я, сержант, совсем чуть-чуть — хвостик. А три тысячи приятели хорошие вынули. Ну и вышло — три дня работал, три года получил. Повезли Нинкина лес валить...

— Во! — удивился Ефим. — Уметь надо.

У Нинкина на чумазой личине задорно блестят глаза, редкозубый рот до ушей — доволен неудавшейся высокой службой. Кто как жил раньше — самая распространенная тема при редком армейском досуге. Только об этом и говорили на нарах дивизионной школы, на привалах в походах, в теплушках во время пути. И не было случая, чтоб кто-нибудь непохвально отозвался о своем прошлом. Все сладко ели, широко гуляли, любили с выбором баб и даже неудачи вроде нинкинской, вспоминали с умилением. Несчастных не было и в помине, жили в счастливом времени, в счастливейшей стране.

И я тоже был неправдоподобно счастлив, хотя и не решался тем хвастаться. Ну кого удивишь, что никогда не думал, как появлялся обед на столе и та одежда, которую носил, и книги, какие запоем читал. Кого удивит, что мне пришлось жить в селе,

где вплотную протекают не одна, а две речки, кругом просторные леса, молочные туманы под луной и раздольные закаты по вечерам. А золотые окуни, попадавшие мне на переметы, а ядреные рыжики осенью по пожням... Кого этим удивишь, если не пил и не веселился наудалую, не сходился с женщинами, не ездил по большим городам, не сорил там деньгами. Высмеют. Я ревниво оберегал свое прошлое немудреное счастье.

Повизгивают сторонние пули, у пехотинцев в траншее захлебывается станковый пулемет, давит, должно быть, огневую точку противника.

Ефим вздыхает.

— Да-а... Хоть и пустяковая жизнь, но и та хороша.

Нинкин обижается.

— Пустяко-вая-а... Ты-то что видел в своей жизни, мужик?

— Работу видел. Я с девяти лет в работе, что конь.

Нинкин не успел восторжествовать. Истеричный вопль, рвется мина! На меня сверху обрушивается что-то грузное, вминает в землю. Секунду не смею дышать. Придавивший груз заворочался, едва не ломая мне кости, жалобно помянул бога-мать, втиснулся между мной и Ефимом. Из наползшей каски серый нос и угловато-тяжелый, темный от щетины подбородок — Глухарев Сашка. Он плотно прижат ко мне, и я ощущаю, как крупно дрожит его сильное тело.

— Ты не ранен?

Сашка лишь беззвучно оскалился. Выпрастываюсь, тянусь к телефону, вызываю:

— Фиалка! Мы отключаемся.

— Об... об-божди!.. — стонет Сашка и вдруг вскипает: — В-вы! Припухаете тут, а я тащись за вами на карачках! Там снайпер бьет, тут мины... Чуликова он бережет! Чуликова, видишь ли, убить может, а меня ему не жаль, я отпетый!.. Чуликов-то в армии без году неделя, а я кадровую ломал!..

Сашка кричит, но в голосе бессилие. Я обрываю его:

— Цел? Тогда веди.

— Убьют меня, ребята! Чую, убьют...

Нинкин хохотнул.

— За мои штаны держись. Я заговоренный.

Ефим начал подыматься.

— Э-э, семи смертям не бывать, одной не миновать. Давай, парень, по обмятой дорожке. Мы за тобой по одному.

Затравленно отвернувшись, Сашка через силу зашевелился, длиннорукий, нескладно костистый, словно старая лошадь, полез наружу.

Сначала пехотная траншея отступала от нас косо, как бы нехотя, но скоро словно провалилась под землю. Мы одни, открытые противнику, ползем по полого вздымающемуся куску степи. Впереди Сашка, я за ним. Движения у Сашки судорожные, но не бестолковые, пластается, приспособляясь к каждому бугор-

ку, каждой вмятинке, даже к растрепанным полынным кустикам. Я повторяю в точности его путь, волоку за собой разматывающуюся катушку — третью, последнюю из взятых. Похоже, нас не замечают, пули проходят стороной, мины рядом не падают.

Но пологий подъем кончается, впереди крутой ровный склон, Сашка не двигается. Я осторожно подползаю к нему вплотную. Он не глядит на меня, прерывисто дышит.

— Там... наши. В бурьяне, — сквозь сведенные челюсти, невнятно.

— Что ж, рванем, — говорю я. — Ждут...

— По этому месту снайпер бьет, сука.

— Хочешь, я первый?..

— Сси-ди! — цедит Сашка.

И вдруг срывается по-звериному, на четвереньках, быстро, быстро! Я не успеваю пошевелиться, как он скрывается в бурьяне. Резкий свист, фонтанчик пыли у самой заросли. Сашка цел.

Я напружиниваюсь для броска, но крепкая клешня стискивает мой сапог.

— Повремени, сынок... — голос Ефима.

— Но Сашка-то проскочил.

— А ты ляжешь... Тот там сейчас на изготовочке, пусть разveется.

Ефим придвигается, держит меня, собрав на лбу складки, вздернув кустистые соломенные брови, внимательно изучает склон. Впервые без помех вижу его глаза, они молочно-голубенькие, с острым, точечным зрачком.

— Скинь для начала метров пятнадцать кабеля, чтоб катушка не тормозила, — советует Ефим.

Послушно спускаю с катушки кабель метр за метром, стараюсь подавить нетерпение, а сам мысленно вновь и вновь пробегаю по склону.

Где-то далеко-далеко, на той, запредельной стороне враг-невидимка. Он не знает о моем существовании, но ждет меня. Он не может испытывать ко мне злобы, но собирается убить. И, кого убьет, он никогда не узнает. Все это так странно, что я никак не могу вообразить его человеком — с лицом, с телом, с руками, держащими винтовку с оптическим прицелом. Он нечто, бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или не моей?..

— Что, пора?.. — спрашиваю шепотом.

Ефим помолчал, подышал и выдохнул:

— Давай!

Дремотный мир воспрянул, хищно кинулся на меня, зашумел, закружился. В центре его я, неистовый, сам на себя непохожий. Вне этого взбесившегося мира лишь путаная заросль — к ней, к ней! Врываюсь и падаю в жесткие, колючие объятия, поспешно ползу, зарываюсь все глубже и глубже.

Я так и не знаю, успел ли тот, бесплотный, послать в мою сторону пулю!

Сюда, наверно, когда-то сгоняли пасшийся по степи скот — на высоком взлобке продувало, не так мучили слепни и оводы. На унавоженной земле поднялся бурьян и даже торчало несколько искривившихся кустов терновника. Стояла прежде и саманная сторожка, от нее остался лишь кусок шершавой стены, затянутый все той же колючей травой.

На месте бывшей сторожки и обосновался НП, обвалившаяся стена скрывала стереотрубу на треноге. Это пока, на первое время. Смачкин и Чуликов наметили границы окопа. Предстояло пробить его в заскорузлой земле, а внизу саманной стены выбрать окно в длину стереотрубы, тогда уж с той стороны сам черт не обнаружит наблюдательный пункт.

Все складывалось благополучно — Ефим с Нинкиным проскочили вслед за мной, я подключил телефон, Фиалка отозвалась. Смачкин, сбросивший с себя каску и автомат, пилотка на затылке, гимнастерка расстегнута, лицо запаренное, отрывисто командовал:

— Чуликов, к телефону за трубку! Связистам рыть окоп!.. — И вдруг спохватился: — А лопата?.. Глухарев, где штыковая лопата?..

Оказывается, посылая за нами Сашку, Смачкин наказал завернуть к пехотинцам, выпросить у них большую лопату, лучше две. Пробивать окоп нужно под стеной, а там утоптанный пол бывшей сторожки, он как железный, малыми лопатками не пробьешь.

Сашка, сцепив мощные челюсти, тускло глядя мимо Смачкина, выдавил скупое:

— Минометный обстрел...

— Ну и что?

— Не пробраться было к пехоте.

— Ты пробовал?

Поигрывая желваками, Сашка молчал. Смачкин разглядывал его выбеленными глазами.

— Не первый год в армии, Глухарев, знаешь, за невыполнение приказа в боевой обстановке наказание одно...

— Стреляйте. Так даже лучше, терпеть не надо.

И снова Смачкин внимательно ощупывал сутулящегося Сашку стеклянным взглядом.

— Вот как бывает — дохлую ворону за орла принимали... Нинкин!

— Я, товарищ лейтенант!

— Добудешь?

— Попробую, товарищ лейтенант!

— А если откажут: самим, мол, надо?..

— Украду, товарищ лейтенант!

— Иди, Глухарев, землю долбить. Выручай, Нинкин.

На НП началась работа. Чуликов завладел телефоном, Смачкин стереотрубой, переговариваются, похоже, даже не соглашаются друг с другом. Ай да Чуликов! Спорит, и лейтенант не ставит его на место. Спор кончается тем, что они меняются мес-

тами — Чулнков прнлипает к стереотрубе, а Смачкнн ведет озабоченные разговоры с огневой... Связь есть! Пока есть.

Согнувшийся Сашка ожесточенно бьет землю, крупный, угловатый, прячет лицо, не подымает головы, гнмнастерка мокра на лопатках. Мы с Ефнмом ковыряем без азарта — пол сторожки крепче квмня, нужиа кирка, чтоб взломать его, ну хотя бы штыковая лопата. Ниикин, еслн повезет, обернется за полчаса, никак не раиьше. Но с тех пор, как он ушел, мииут двадцать уже утекло.

Громкий голос Чулнкова заставляет нас с Ефимом переглянуться — начали! Чулнков снова у телефона, выкрикивает заклииаиия. Для иас они непонятная тарабарщина: квадрат, азимут, прицел... все пересыпано цифрами. Но на огиевой у пушек началась горячка... Только бы не подвела связь! Наша линня ненадежиа...

Сашка продолжает долбнть с глухой яростью, а мы бросаем лопаткн, приподымаемся, тянем шеи, вглядываемся в степную рыжую даль, жадно ждем.

Степь полого скатывается к овражку, неровно рваному, капризно изгибчнвому, заросшему густо кустаринком и низенькими корявыми деревцами. Должно быть, это и есть та самая, рассекающая страну Линия Фронта. У нас она выглядит так, в других местах, разумеется, иначе. За овражио-кустарииковой линией степь сиова нехотя полает вверх до мглистого горизонта. И там она спеченно ржава, неохватно пуста, однако я-то знаю, какой обманчиво безжнзиеииой может казаться степь. Где-то в ней скрыты ощетнннвшиеся окопы, наведениые на нас пушки, минометные батарен, таики... Смачкнн с Чуликовым что-то разглядели, иначе какой смысл им передавать заклннания.

— Летят званые!.. — сообщает Ефим.

Через нас в знойно-сиием воздухе с угрожающим шорохом потекла невндимая река. В вслнкую игру вступили и наши пушки. А я вместе со Смачкиным, Чуликовым, Ефимом, блуждающим на стороне Нинкиным и горбатящимся над землей Сашкой начал свою войну.

Посреди потусторонней степи беззвучно вызрели грязно-белые грибы-дождевнки — один, другой... много! Беглый огонь едва ли не всех наших батарей. Понеслись сглаженные расстоянием перекатные взрывы.

Смачкин, скорей озабочеииый, чем торжествующий, оторвался от бинокля, Чуликов, приподнявшийся от телефона, сиова взялся за трубку. Началось все сиачала — переговоры и заклинания. И новый шнрокий поток иад нами... Только бы ие подвелв линия, только бы не услышать: «Связи нет!»

Согнувшнсь, долбит землю взмокший Сашка Глухарев, никого не видит, ни на что не обращает внимания. Приннмаемся зв работу и мы с Ефнмом. А Ниикинв все иет. Что-то долго он несет лопату.

— Пожалуй, я сползаю... — говорю я Ефиму.

— Куда?

— Взгляну на склон. Не застрял ли там Нинкин.

Ефим хмурится, лезет за кисетом, не спеша сворачивает цигарку.

— Взгляни, только не нарывайся.

Продираюсь ползком в колючем бурьяне, походя поправляю кабель. Он местами висит на спутанной траве — ухнет рядом снаряд, даже не осколком, а взрывной волной может порвать. Эта нехитрая работа отвлекает меня от беспокойного предчувствия...

Кустики бурьяна редеют, земля подается на уклон, осторожно раздвигаю высохшие плети и... взгляд упирается в каску.

Он не дотянул двух шагов, всего двух! Он лежал вдоль кабеля, уткнувшись лицом в рыжую проплешину среди чахлой травки, рука отброшена в сторону на черенок лопаты. Гимнастерка коробом на спине от черной крови, от этого он кажется горбатым. Каской ко мне — рукой дотянись. Встреча.

— Нинкин... — без надежды зову я.

Но откинутая рука землиста, ногти на ней уже синие.

А небо ослепительно яростное, под ним усталая от жары степь. День уже перевалил за половину, но еще далеко до заката. Мы вместе с ним встречали восход солнца. Первый...

Только жестоким усилием заставляю себя продвинуться вперед, тянусь к лопате. Непреодолимо содрогание живой плоти перед зримой смертью...

Никто не обратил внимания на мое возвращение. Сашка Глухарев с прежним ожесточением стучал саперной лопаткой. Ефим сидел за телефоном. Смычкин и Чуликов были в мыле, уже сами не хватались за трубку, а выкрикивали со стороны заклинания, Ефим повторял... Сейчас гул в небе не прекращался, тупые взрывы утрамбовывали степь за овражной линией. Некому удивляться, что я держу в руках штыковую лопату и что Нинкина рядом нет.

Нинкину не везет даже после смерти — запоздало узнают, между делом легко переживут. Остаются в памяти павшие герои, но их единицы, а война тысячами тысяч уносит незаметных. Кто потом вспомнит, что рядовой связист Нинкин погиб при исполнении задания, которое никак нельзя назвать особо важным или даже значительным — достань лопату?

Я торчу с этой лопатой, добытой ценой жизни. Сашке удалось расковырять лишь угол окопа, НП не оборудован.

— Вот... — протянул я Сашке.

Он с трудом поднял голову, уставился на лопату, медленно повел глазами в одну сторону, в другую, и на грязной мослоковатой физиономии проступил ужас.

— Да, — сказал я мстительно, — лежит на склоне.

Сказал и пожалел. Сашка отвернулся, плечи обвалились, широкая, пятнисто-мокрая спина обмякла. Он хотел бы, да не может быть другим, врожденный порок сильней его. Я ударил ниже пояса.

— Ладно уж, передохни, я порою.

— Т-ты!! — Сашка развернулся, кинулся на меня, выхватил лопату. — Ид-ди ты к... — зло, взахлеб, выругался.

В это время раздалось то, чего я давно ждал:

— Связи нет!

Смачкин повернул ко мне опаленно-медное лицо.

— Вот так, сержант. Двигай!

Чулков расстегнул ремень, в гимнастерке распояской блаженно растянулся под треногой.

— Будем загорать, товарищ лейтенант... Что там о снарядах говорили?

Пристраиваясь к Чуликову, Смачкин ворчал:

— Ни черта не понял. На полуслове оборвалось... Везут... Почему везут?.. Не могли же весь запас выпустить... Да потеснись ты! Не по чину развалился...

До чего же уютно на НП, здесь даже пули вроде бы поют высоко. У самой передовой, а война стороной обтекает. Так не хочется отрываться от своих, но связисту на фронте часто приходится воевать в одиночку.

. . . .

Еще раз пришлось встретиться с Нинкиным. Мимо него я скатился вниз, счастливо не замеченный снайпером. И сразу же забыл... Да, забыл Нинкина и потом почти не вспоминал о нем. Многих пришлось мне оставить в войну — на обочинах дорог и в развороченных окопах, у речных переправ и на разбитых улицах Сталинграда, на зеленых лугах под малоизвестным местечком Батрацкая Дача. Нинкин из них был вовсе не самый мне близкий. И только спустя несколько десятилетий он стал всплывать в памяти каждый раз, когда мне приходилось останавливаться у могилы Неизвестного солдата. Он, первый из мною потерянных — Нинкин.

Кабель тянется через степь, несложное хозяйство, оно вышло из строя, и я отвечаю за него. Кабель тянется через степь, уводит меня в тыл.

Я прополз на животе каких-нибудь триста метров и понял, что миновал опасную зону, поднялся на ноги. Меня уже не увидят из немецких окопов, ни снайпер, ни пулеметчик не возьмут на мушку, может настичь лишь шальная пуля, а от шальной прятаться бессмысленно. Никто мне не говорил, где тот рубеж опасного и безопасного, я сам его определил. И никто не учил меня, как угадывать по свисту мины, далеко она упадет или близко. Ни в одном уставе этого не записано. Но я угадываю, рождается свист, я иду, свист нарастает, не знаю, где именно взорвется мина, знаю только, не рядом со мной. Слышу взрыв и даже не оборачиваюсь в его сторону. Но вот свист с некоторым давлением, не спешу падать, он еще должен показать себя... Показывает, близко не близко, однако на всякий случай припадаю к земле, мина коварна, ее осколки разносятся по поверхности,

поражают издали. Снаряд бьет сильней, но не столь опасен, выносит вверх и земляное крошево, и осколки. Иногда нарастающий свист резко обрывается — немедля падай, вжимайся, только это спасет тебя от близкого взрыва.

Всего несколько часов я на войне, но уже мню себя обстрелянным солдатом, настолько, что начинаю верить в свою неуязвимость. Особенно здесь, отступя от передовой. Здесь визжат пули, рвутся мины и снаряды, но для меня это уже тыл.

Вот наконец-то и памятная дорога. Пустынно и тихо, кругом безжизненная степь, накаленная за долгий день солнцем, как гигантская сковорода. Кажется, давным-давно мы были тут, мы, новички, сгибавшиеся от страха. На дороге рвались снаряды, и мы ничком лежали в стороне, не надеясь остаться в живых. А с каким ужасом я провожал батю Ефима, возвращающегося на страшную дорогу, не надеялся увидеть его в живых. Смешон теперь детский перепуг. И рваные воронки у дороги сейчас ничуть не портят дремотной картины.

Мое чутье меня не обмануло — порыв линии был здесь. На укатанной колее следы гусениц — прошел танк, зацепил кабель. Секундное дело стянуть концы кабеля, срастить их с перехлестом. Если дальше кабель в порядке, то связь уже есть, пушки могут стрелять. Но нужно перекопать дорогу, загнать кабель в землю, иначе он при любой оказии будет рваться, особенно ночью, когда тут наверняка начнется оживленное движение. Я вынимаю из чехла лопатку, опускаюсь на колени...

Дорога пристреляна. С какого-то далекого немецкого НП вооруженные биноклями и стереотрубами наблюдатели наверняка и сейчас следят за ней. Но я теперь достаточно прозорлив, чтоб страшиться. Навряд ли батареи откроют огонь по одному человеку, но даже если и откроют... Как только завоют снаряды, я перемахну в кювет, осколки в нем не достанут, а прямое попадание едва ли...

Земля дороги красна, как кирпич, как кирпич, тверда, врубаюсь в нее, выбиваю кусочек по кусочку, не поддается. А степь — пышущее пекло, и каска раскалена, и гимнастерка жестяно ломка от соли, я даже разучился потеть, вся влага из меня выжата. Хочу пить, давно изнемогаю. Котелок воды — мечта о невозможном. Бью, бью кирпичную землю, кирпичного цвета пятна плывут перед глазами... Вот оно, начало моих воинских подвигов!

За все время на фронте я ни разу не был в рукопашной, всего раз или два по случаю выстрелил в сторону противника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество землянок и окопов, таскал пудовые катушки и еще более тяжелые упаковки питания радиостанции, прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным и автоматным огнем, изнывал от жары, коченел от холода, промокал до костей под осенними дождями, страдал от жажды и голода, не смыкал глаз по неделе, считал счастливым блаженством пятиминутный отдых в походе. Война для меня, мамень-

киного сынка, неусердного школьника, лоботряса и белоручки, была прежде всего тяжелый и рискованный труд, до изнеможения, труд рядом со смертью.

И никогда не ведал, что преподнесет мне новая минута...

Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки — ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками. Сначала разглядел я лишь легкие прорези в небе, неровный пунктир. Он рос, ширился, призрачные прорези на небосводе становились материальными, обретали форму. Завороженный, я глядел и не смел шевельнуться. Качающийся моторный гул крепчал, в нем проступало утробно-басовитое, угрожающее. Самолеты двигались прямо на меня медлительно, уверенно, упрямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг... Прямо на меня! Ошибки быть не могло. И уже различались линейные кресты на крыльях.

С усилием на секунду оторвался, оглянулся на залитый солнцем степной мир. Обреченный мир. Никого в нем нет. Никого, кроме меня!

Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, но некуда спрятаться — плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу. Но, кроме нее, родной земли, нет спасения, и я упал, однако краем глаза воровски выглядывал — не пройдут ли мимо, не пренебрегут ли мной, ничтожным? Нет, не блажь, не сон, прямо надо мной заваливался на бок передний самолет, неестественно громадный, с отточенно серебряными на солнце крыльями. Он заваливался, и водопадно-гневный рев обрушился на меня. Я уткнулся лицом в душную колючую полынь...

А в ней, полыни, свой покойный травяной мир, своя потаенная жизнь — по сухой былинке мечтательно полз жучок, мелкий, но хвастливо-нарядный, позолоченно-черный.

Вверху же творилось невероятное — надсадный рев, истошное завывание, жуткий шабаш злых машин. Не вижу их, не хочу видеть, но не могу не слышать. Одна тень, другая скользнули по мне. Надо мной! Над моею открытой спиной! Велико мое тело, и земля не пускает его в себя. Ползет перед глазами жучок, позолоченный монашек, никуда не торопится, ему нет дела до шабаша в небе. Он мал! Он скрыт! Не собирается гибнуть вместе со мной...

Вот в рыке и вое проступил невнятный слабенький свист. Она! Сброшена... Мой конец. Тонкий свист оборвется — меня не будет.

С грохотом колыхнулась земля и не успела встать на место, как новый сотрясающий грохот. Все кругом стало ломаться, раскалываться, биться в истерике, свет померк, а кусок степи, обнятый мною, корчился в конвульсии. На мгновение проскальзывало затишье, зыбкое, как солнечный зайчик. Оно не успевало родить надежды — снова вой, обвальный грохот, конвульсии земли. Еще, еще, еще!.. Хватит! Больше уже невозможно! Но

еще, еще... Я ослеп, я оглох, я перестал себя чувствовать, смирнлся с коицом.

Затишье, столь же неверное, как н прежде. Грохот, ие столь давящий, удалеиный. И пауза. Она тянется и тяиется. Лишь перекатное урчание моторов да щемящий звон в ушах. Кусок обнятой миой степн снова стал земиой твердью. А в потаенном травяном мире недоуменно застыл на полпути знакомый позолоченный жучок, вслушивается, поводит усиками. Он явио жнв... Похоже, н я...

Долго лежу в изиеможении, отдыхаю в заповедиом мнрке, успеваю даже проводить золоченого монашка до вершины былннки, тнхо порадоваться его победе. Наконец иабираюсь сил, приподымаюсь иа подламывающихся руках...

Я ждал — мнр разрушен, верил — увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыиовнему прнкрывал своим телом. Милость спасення выпала нам двоим — жучку-монашку и мне.

Но, на удивление, мир во все стороны был цел, даже ин единой новой воронки рядом — раскаленная, с плывущим вверх волнистым воздухом степь, дорога, а иа ней, как утверждение покоя, забытая мною саперная лопатка. Где же тогда пронсходило светопреставление? Да было лн оно? Не пригрезилось ли мне в страшиом кошмаре?

Я добросовестно закончил свою работу, упрятал в землю кабель. Вернувшийся к жизнн, я снова почувствовал изнурительность жары и мучительную жажду... Благодатно прохладный котелок воды! Но придется терпеть до огиевой. Тем более что с нее иикто ие вышел мне навстречу, а должны бы выслать. Двинулся дальше по кабелю.

Еще не сделав н сотни шагов, я прозрел, где именно было светопреставление!

Немецкне самолеты бомбили знакомую минометную батарею.

В пологой лощннке метались, возбужденно и зло кричали солдаты, ставнли опрокинутые миномeты, перетаскнвали и складывали в штабеля ящики, лихорадочно, в иесколько лопат раскапывали заваленные щели. И все это вокруг величествено безобразной, глыбасто-рваной глубокой воронки. Несколько зияющих воронок по склонам. У одной в стремительно бегущей позе убитый, зеленая гимнастерка перехлестнута портупеей, должно быть, командир.

Ближе ко мне заросшнй рыжей щетиной санинструктор обрабатывал раиеного. Болтался распоротый, тяжелый от крови рукав, вызывающе сняли белые бинты на черной руке. Санинструктор кричал с неестественным надрывом:

— Кучкни! А Кучкин! Слышншь меия?

Раненый Кучкин мотал пыльной, коротко стриженной головой, не отвечал.

— Оклемаешься, Кучкин! Ничего, что пришибло! Оклемаешься, брат! А рана твоя пустяковая, Кучкин!.. Шевельни пальцами! Шевельни, говорю!.. Во! Ше-ве-лят-ся!!

Я не смел приблизиться. В моей помощи тут никто не нуждался, справлялись сами. И какой я помощник, до сих пор чувствую слабину в коленках. А еще считал себя обстреляниым — неуязвим, не боюсь.

Санинструктор суетился и почти восторженно орал над пыльной макушкой раненого:

— В санбате живо поправят, будешь как новеиький! И снова таскай плиту, Куч-кин!..

Возле раненого стоял котелок с водой, почти полный. Нет, я не решился попросить — счастливый у потерпевшего, здоровый у раненого. Ну нет!

А ведь здесь не было светопреставления. Погром — да. Но люди продолжали деятельно жить. Кто знает, сколь много может вынести человек?..

Я уходил, а надрывный крик санинструктора провожал меня:

— Кучкин! А Кучкин! Повезло тебе, братец! Месяц прокантуешься. Может, и два!..

На огневой все смешалось. Орудийные расчеты на руках — р-раз-два, взяли — выкатывали с позиций на открытые места пушки, цепляли к ним зарядные ящики. Ездовые, мешая друг другу, подавали задом лошадей, лошади сбивались в кучу, путались в постромках. Запарениые командиры не по-уставному кричали на орудийщиков, орудийщики на ездовых, ездовые на коней — крепкие выражения, толкотня, хлопанье кнутов, ржание, острый запах конского пота. Не отступление, нет, и не паника перед противником, срочный приказ — сниматься на новое место, ближе к передовой.

Словно из-под земли вырос Зычко, охомутан шинельной скаткой, карабин на плече, вещмешок за спиной — готов к походу, — скуластое лицо бронзово и непроницаемо.

— Бачишь оцей кабель? По нему до хозчасти... И швыдче, швыдче! Возьмешь две полные катушки тай разом обратно. Отсюда потянешь связь к новой огневой. Чув?.. Повторить приказание!

— А НП?..

— Яки тоби НП? Пушки сымаются, НП тоже.

— Как же они связь смотают? Никикин убит. Старик Ефим с тремя катушками надорвется.

Зычко цепко взял меня за пуговицу, притянул вплотную, жарко дыхнул.

— О себе гребтуй, хлопец. Война не маты ридна. Шо був добреньким, забудь. Спасибочки говори — не назад гоню к пулям, а в тыл, от пуль подале. Минутку да выгадаешь.

— Может, сам сходишь?.. В тыл-то, от пуль подальше. А я навстречу бате связь мотать стану.

— Па-ав-та-рить приказание, сержант Тенков!

— Где здесь напиться?

— В хозчасти напоят.

В тыл, подальше от пуль. Хотя какой уж тыл — хозчасть рядом, рукой подать. А пуль здесь хватает, воздух стонет от них. Пожар на передовой, похоже, разгорается не на шутку.

Развернутой неровной цепью идет по степи мне навстречу часть пополнения. Свеженькие. Они на добрых полдня позже нас вылезли из теплушек, только-только приближаются к фронту.

Впереди, заломив утопающую в каске голову, бойцовски выставив узкую грудь, вышагивает лейтенант. Он весь новенький, как только что отчеканенный двугривенный. Гимнастерка, ремень, кобура пистолета, кирзовые голенища сапог — все нескладно топорщится, все не притерлось. Видать, сразу бросили из училища сюда, ничуть не старше меня годами. На круглой свежей, еще не тронутой степным загаром физиономии так и впечатано: «Видите, мне все нипочем!» Слишком отчетливо, слишком наглядно, чтобы быть правдой. Наверняка жадно ловит посвист каждой пули, гадает, какая ближе, какая дальше, несет в себе нетающую глыбу страха, но грудью вперед, молодцевато несет свое «мне все нипочем». Изредка, шевельнув плечиками, оборачивается, петушиным голосом отечески подбадривает:

— Вперед! Вперед! Не отставать, братцы!

За ним солдаты, пожилые и молодые, на одно лицо, усталые.

Дюжий, глубоко сутулящийся парень натужно выступает на полусогнутых. Он почему-то ошарашенно глядит на меня и неожиданно опускается на корточки. Крупные, раздавленные работой руки с силой сжимают между колен винтовку, конец штыка замысловато выписывает в воздухе нехитрое откровение. Из-под пузырящейся каски сияя тоска усталых глаз — доверчиво мне в зрачки, в дно души. И тихий, с придыхом, недоуменный, страдающий вопрос:

— И зачем?.. Ну, зачем люди воюют? А?..

Я, старожил фронта, обремененный шестичасовым — не менее! — опытом, побывавший на передовой, на всякий манер обстрелянный, я выпрямляюсь, чтоб не показать усталости, величаво марширую мимо, не снисхожу до ответа.

Да он и не ждал его...

Война есть, никуда не денешься, размышлять о ней поздно. Умей бороться — да, с ней, да, против смерти, да, за жизнь.

Нет, не тогда в моей зеленой, не созревшей до осмысления голове родились такие слова. Слова появились теперь, спустя с лишком сорок лет. Но навряд ли они и сейчас передают хотя бы приблизительно тот биологический иммунитет против отчаяния, возникший у меня в первые фронтовые часы. Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания. Мое сознание и до сих пор пасует перед роковым вопросом, вырвавшимся у встречного парня с винтовкой...

Нагруженный катушками, я вернулся на покинутую огневую, там меня ждал Ефим. Он потемнел, усох, стал морщинистее, брови выгорели, выглядели седыми. Казалось, так давно расстались, что у бати наступила глубокая старость — как есть дед, прокопченный, жилистый и еще более замкнуто мудрый. Но мы оба живы и снова вместе.

Время, в которое мы теперь окунулись, не схоже с обычным, здесь минуты равны мирным неделям, часы — годам. А потому и встречи необычны, впечатляющи — ну-ка, изменились, но целы, могли б и не свидеться, уже подарок.

— Как ты там с тремя катушками справился?

— Справился. Я семижильный... Пошли, что ль?

Косматое солнце перевалило на сторону немца, висело над степью и уже не палило с прежней силой. Через степь из края в край гремящий поток, крутая кипень выстрелов и скачущее эхо взрывов. В небе, не затихая, шелестят снаряды — к нам, к нам, партия за партией, без отдыху.

Мы ползем по ровному полю, подминая под себя спелые хлеба, окруженные сатанинскими всплесками рвущихся пуль. В гуще пшеницы разрывные пули не столь и страшны, они больше пугают, действуют на нервы, для них даже встречная соломинка, тем более налитой колос, уже препятствие — рвутся, встречая их на пути. Но немцы-то били не только разрывными... Мы ползли, тянули за собой кабель, жались к бугристой земле, не смели поднять головы. Противник разошелся к вечеру.

Наши пушки встали на прямую наводку. Стать на прямую — значит, бросить вызов: играем в открытую! Кругом равнина, впереди лиловые дали. Орудийные расчеты торопливо работали лопатами, бросали красную глину, вкапывали пушки. У наиболее усердных над пшеницей торчат лишь стволы с настороженными пламегасителями.

Но здесь что-то случилось... Идут работы, мелькают лопаты, растут рыжие отвалы — и что-то замороженное, сковывающее в воздухе. Нет привычной в таких случаях суеты, никто не бегает, никто не кричит, голосисто не командует, молчаливый, сурово-сосредоточенный азарт.

А в стороне, у одной из пушек, за невысокой насыпью, в углублении, тесной кучкой батарейный комсостав во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Звонцовым всматриваются в окрашенную косыми лучами солнца немецкую сторону, жадно курят, тихо переговариваются. Да и солдаты, те, кто не держит лопату, повыползали вперед, тянут шеи.

— Что там? — спросил я Зычко.

У Зычко уже отрыта по-уставному глубокая щель, в ней телефон, он сам на дежурстве у трубки, выкликает цветочки — Ландыш, Тюльпан, Ромашка, батареи нашего дивизиона, среди них проросла незнакомая мне Береза, должно быть, пехотная часть, которую мы поддерживаем. Все-таки Зычко расторопен — только что заняли позиции, а он уже со всеми связан, вот и

мы с Ефимом принесли ему конец от Жита, хозяйственников дивизиона.

Зычко ответил мне не сразу, скупо и сурово:

— Танки...

— Немецкие?

— Нет, дядины.

И я вскинулся, Зычко ие посмел остановить меня начальническим окриком.

Возле командирской кучки — почтительно в стороне и так, чтобы быть под рукой, — сидит на корточках вестовой Звонцова Галушко. Я пристраиваюсь к нему.

Идут танки... Я ждал, увижу напористый марш, поднятую пыль, сверкающие гусеницы, грозно качающиеся башни с наведенными орудиями, но впереди унылая бескрайняя степь, накаленно ржавая, с тенистыми западками. Странно: путаное кружево выстрелов во всю ширь, шорох летящих снарядов вверху, перекатно прыгающие взрывы и полный покой там... у них, в глубине. Вспухает одинокий взрыв, ватно-нечистый ком дыма вяло валится иа сторону.

У Галушко острое птичье лицо, тонкие губы сплюснуты в ниточку, ноздри поигрывают, узкие глаза блестят. Он видит, я нет.

— Где? — выдыхаю я.

— Да вон высыпали... — кривится Галушко. — Еще те поганочки.

Пыль, башни, наведенные пушки... Посреди степи, словно пеньки вразброс на поляночке. И это танки? Греются на солнышке, не двигаются. Пыль, башни... Как они далеко от нас!.. Я отметил для себя самый крайний пенек на солнечной полянке и стал считать: один, два, три... После десятка сбился. Решил считать сначала, с крайнего. И не нашел его на месте — «пенек» незаметно переместился и чуточку подрос. Они двигались и исподтишка росли.

— Ждем, чтоб приблизились? — спросил я.

— Ждем, чтоб провалились к чертовой матери.

— Раз идут в открытую, встретим.

— Чем?

И я вспомнил разговор на НП.

— Снарядов до сих пор нет?

— Снарядов полно. Шрапнельиые... Фугасные везут. Улита едет, когда-то будет. К ночи?.. Так танки раньше здесь будут.

Мы молчим. Даже мне понятио, что шрапнель для танков — что горох. Молчим, глядим в степь. Танки двигаются лениволениво, но двигаются, не стоят. А солнце еще не село, не скоро опустится ночь...

— Эх-ма! — вздыхает Галушко. — Шрапнелью запаслись. Шрапнель в гражданскую работала, теперь броню проломи.

В командирской группе оживление, передают друг другу бинокль, вглядываются, перекидываются скупыми фразами:

— Кто там пылит?

— Мотоциклисты, похоже.

— Курочки с цыплятками...

Оторвались от лопат даже орудийщики.

И я наконец улавливаю розовый клубочек пыли у переднего танка — «с цыплятками»...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите!..

Над командиром батареи Звонцовым нависает командир орудия Феоктистов. Звонцов мешковат, приземист, гражданский животик выползает из-под ремня — пришел из запаса, был где-то старшим бухгалтером. У Феоктистова на мощном теле не бойцовски курносая, бабьи мягкая физиономия. Он из кадровых, считается лучшим наводчиком дивизиона.

— Разрешите, накормлю шрапнелью!

Звонцов медлит, уставившись вдаль, качает каской.

— Откроем себя, Феоктистов. По нам ударят, а ответить нечем. Лучше помалкивать.

— Одним снарядом, товарищ старший лейтенант... Всего одним! Обещаю накрыть.

Молчание. На Звонцова со всех сторон выжидающие взгляды. А пыльное облачко в степи вытягивается, распухает, озарясь багрянцем. Мотоциклистов не группа, раз-два и обчелся, а целая колонна.

— Один выстрел засечь не успеют, товарищ старший лейтенант!

— Ладно! Один снаряд, только один!

Орудийный расчет без команды бросает лопаты, деловито становится к пушке. Не пригибаясь, широким шагом, вздрагивая от нетерпения, приближается Феоктистов, на ходу роняя приказания. Жарко вспыхивает в руках заряжающего медная гильза, проглатывается затвором. Феоктистов припадает к прицелу, долго колдует...

А в глубине степи красный стелющийся дымок, словно занимающийся пожар.

Изрытый и вытоптанный кусок поля за орудийными распорками напоминает немую сцену из «Ревизора» — кто в какой позе с раскрытым ртом. Ждут выстрела.

Феоктистов распрямляется, негромко командует:

— Аг-гонь!

Пушка содрогается. Выстрел не успевает отзвучать, взметается дружный вопль. В степи над пожарищем нависает сизое облачко, расползается... Багряная змейка пыли круто сворачивается, ползет обратно, ныряет за ближайший танк, оставляя после себя розовое марево.

— Умыл!

— Одним снарядом!

— Тютелька в тютельку...

— Ай, мастер парень!

А танки равнодушно ползут. Я не из зорких, но уже начинаю различать их башни. В бинокль, должно быть, видят и наведенные на нас орудия. Восторженный говорок быстро вянет, орудийщики снова берутся за лопаты.

С визгом распарывается небо, в поле за нами взмывает вверх поток земли, от грохота закладывает уши.

— По укры-ы!..

Не командирски тонкий голос Звонцова тонет в новом, опрокидывающем мир взрыве. Поднявшееся на дыбы поле на секунду закрывает солнце. И, не давая вздохнуть, надвигается сверлящий вой. Я падаю, но успеваю заметить, как оживает пушка Феоктистова, вскидывает стволом, словно норовистый конь... А дальше уже ни видеть, ни слышать, ни ощущать ничего не могу. Где-то близко надо мной небо перемешивается с черствой глиной. Изредка куцый просвет в сознании, и тогда ливневый ропот падающего земляного крошева, зловещее шипение блуждающих вверху осколков, едкий газ, забивающий горло, деревянная голова... А затем вновь тупой толчок земли в грудь, мешанина во вселенной, небытие...

Очередной просвет затянулся. Не верю блаженной тишине и вжимаюсь. На каску, на спину сыплется земля, но уже не рокочущим ливнем, реденько. Зашуршал, зашепелявил воздух — снаряды не к нам, а над нами, дальше в тыл, значит, нас считают достаточно наказанными, решили оставить в покое. Боязливо подымаю голову, кручу ею, передергиваю плечами, шевелю одной ногой, другой, проверяю себя — цел ли? Вроде цел, нигде ничего, вот только голова деревянная.

Вокруг меня восстание из мертвых — возятся, отряхиваются, лезут из щелей, диковато оглядываются. Рядом, как из преисподней, вырастает каска, пепельное лицо со знакомыми чертами — Зычко. Каким-то манером я оказался у его щели. Знать бы, свалился б в гости, пережидали б судный час в компании, даже если б это и не нравилось хозяину. Зычко тоже очумело отряхивается, сердито прокашливается.

И уже возникают первые голоса:

— Всего раз плюнули, а его, гада, прорвало.

— Пошли жалобу, чтоб повежливей...

Живы. Право, чудо.

И...

— Лямзина!.. Санинструктора Лямзина!.. Феоктистов ранен!

Орудийщики ползком и на четвереньках обступают лежащего Феоктистова. Пушка с задранным стволом завалилась набок. Сгибаясь и прихрамывая, спешит командир батареи Звонцов без каски и пилотки, с оголенной лысиной.

Зычко отмыкает уста:

— Разнесут нас здесь. Живы не выберемся.

Он впервые попадает в переплет, для меня уже и такое не в новинку. Хотя, что и говорить, веселого мало — в чистом поле, на виду у противника, снарядов нет. Спасти может только ночь, а солнце пока что висит над землей, не скоро еще сядет...

— Танки скрылись! — крик то ли удивленный, то ли радостный.

С усилием распрямляюсь во весь рост, вглядываюсь в немецкую сторону. Совсем недавно различал уже их башни, сейчас

рдеющая степь пуста и мотоциклы тоже не пылят. Из-под земли выползли, в землю ушли. Но где-то здесь, неподалеку, неизвестно, двигаются ли тайком или выжидают до времени?

— Не маячь. Хочешь, чтоб снова набросали? — цедит Зычко. Он по грудки в земле и, похоже, не собирается вылезать.

Слышу за спиной тяжелое дыхание. Появляется Звонцов, по-прежнему без пилотки, на лысине царапина. Отдуваясь, присаживается на корточки, провесив животик, житейски доброе, простовато полное лицо озабочено, и что-то потустороннее в нем — нас не видит, вглядывается в себя.

— Свяжитесь с хозвзводом. Пусть срочно высылают подводу... Вывезти Феоктистова. — Выныривает из себя, строго глядит на нас, объявляет: — В грудь осколочное!

Зычко ныряет в щель, хватается за трубку.

— Жито! Жито! Я Фиалка!.. Не тебя зовут! Жито прошу... Жито!.. Жито!.. Не отвечает Жито, товарищ старший лейтенант.

— Наладить! Чтоб подвода была! Срочно... Ранение тяжелое!

Каска Зычко медленно вырастает из земли. Из-под каски на меня холодные совиные глаза.

— Сержант Тенков!.. — приказным, с гнусавинкой голосом.

Господи! Всему есть мера. Весь день он торчал у телефона, бегали, ползали, таскали катушки мы. Война не мать родная, да! И он командир — тоже да. Но нельзя же забывать, что командуешь людьми. Чуть-чуть раздели с ними непосильное. Подмени на один раз, если есть совесть... Совиные глаза. «О себе гребтуй... Шо був добреньким, збуды!» Я вдруг почувствовал себя неподъемно тяжелым, словно весь из железа. И заржавел — не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Голубчик, пожалуйста, побыстрей, — голос Звонцова никак не приказной. — Постарайся, голубчик... В грудь ранен...

Не могу не откликнуться.

— Есть постараться, товарищ старший лейтенант!

А Зычко опускается в щель, слышно, как озабоченно продувает там трубку.

Связь прекратилась после артналета, значит, порыв должен быть где-то рядом, но я ползу и ползу, а кабель цел, уводит меня от своих. Пулеметные очереди с треском рвут воздух, мир кругом распарывается по швам, такое ощущение, что вот-вот образуют прорехи и в них проглянет мир иной, голубой и прохладный, непохожий на наш сумасшедший.

Миновал бывшую огневую. Ископанная, истоптанная ложбина, валяются разбитые ящики от снарядов, пустые артиллерийские гильзы, оставленные впопыхах противогазные сумки, обтирочная ветошь — заброшенность. После нее двигаюсь уже не ползком, однако и не распрямляюсь во весь рост, перебежками, со скачками и нырками. Противник не унимается, похоже, сатанится еще больше. В воздухе звучит незатихающая струна, заряженный пулями воздух ноет.

Скоро и овражек, где прячется наш хозяйственный тыл — ряды повозок с поднятыми дышлами и оглоблями, кони, привязанные к грядкам, ленивo слоняющиеся повозочные, дымит на отшибе полевая кухня. Все очень смахивает на воскресный рынок в селе — возле войны кусочек заповедного мира. В прошлый раз я даже позавидовал: живут же люди! Скоро... Но кабель цел, почему же нет связи?

Это сразу выяснилось, как только я оказался на краю овражка. Первое, что увидел, — повозочный на коленях. Скатывал солдатик на земле шинель и не докатал, уткнулся головой в скатку, замер в молитвенной позе. А рядом запряженная в повозку лохматая лошаденка, распустив губы, понуро дремлет в оглоблях. За ней же без криков, воплей, матерщины, в смятенной подавленности идет работа. Солдаты хозвзвода, «стариковская команда», бестолково тычутся, волочат мешки, бидоны, ящики кидают в повозки, нахлестывают лошадей, отъезжают, цепляются в тесноте. В самой середине сутолоки задранное колесо опрокинутой двуколки. Мечется багроволицый старшина, пухлая спина в ярко-зеленой комсоставской гимнастерке туго стянута портупеей, из породистых, гроза подчиненных, но и он не кричит, а только налетает то на одного, то на другого «старичка», шипит. И по оврагу разбрызганы черные воронки...

Мне жутко от глухой паники тыловой «стариковской команды», даже старшина здесь потерял голос. Им не до меня, не до кого на свете, кричи, требуй — никто не услышит, надо действовать самому. Раненный в грудь Феоктистов лежит на огневой...

Повозочный в молитвенной позе, дремлющая вислогубая лошадь... Их все забыли, они в стороне от паники. Я огибаю убитого, карабкаюсь на повозку. Там несколько лопат и туго набитый вещмешок хозяина. Торопливо выбрасываю и мешок и лопаты, хватаюсь за вожжи.

— Н-но! — на всякий случай вспоминаю бога и мать. Это у меня получается не очень-то убедительно, но лошадь понимает, послушно разворачивается к крутому склону, с привычной добросовестностью влегает в хомут.

— Давай, родненькая, давай! — умоляю я.

И лошадь выносит меня наверх. На открытом степном юру я деревенею. Только теперь мне открывается, на какое безумие я решился. Я бы не добрался сюда, если б не прижимался к земле. Земля-спасительница укрывала, сейчас оторван от нее, поднят над ней, выставлен под пули. Здесь пока, хотя и веет в лицо алчно стонущий ветерок, еще не столь опасно, а вот дальше... Там, дальше я не смел поднять головы, а теперь буду вознесен, не уцелеть под свинцовым ветром...

В цветном пыльном мареве на немецкой стороне садится солнце, натужно раздувшееся, гневно красное. Край земли не принимает его, оно даже сплющилось от усилий... Я гоню лошадь прямо на солнце. Она настороженно прядет ушами, неуклюже

рысит, старается. Больше выжать из нее не могу — не из сказковых.

— Н-но, милая! Н-но, хорошая!..

Гремит и трясется повозка, лязгают мои зубы то ли от толчков, то ли от страха.

А вот и бывшая огневая, на рысях скатываемся вниз, лошадь останавливается — мол, приехали, — я перевожу дух, не в силах гнать ее дальше. Покинутое место, взрытая земля, остатки брошенного хлама, пусто и тихо, тихо. И сюда в низинку уже вкрадываются призрачные сумерки. Где-то наверху, в самом конце степи, заходит солнце, что стоит мне переждать, пока оно не зайдет. Опустится темнота, и тогда... Тогда никто меня не увидит, спокойно доеду, останусь жив. Спросят: почему так долго? Отвечу: хозвзвод попал под обстрел, еле удалось выбить подводу... Поверят, не упрекнут.

Но Феоктистов... Я его знаю со стороны, он же меня не знает совсем... До чего простой выход — Феоктистов умрет, я буду жить. Звонцов просил: «Голубчик, пожалуйста, побыстрей».

В сердцах хлещу вожжами.

— Пш-шла! Ночевать пристроилась!

Лошадь качком трогается...

Солнце запало наполовину. Между ним, багровой горбушкой, и землей мутная проточина неба. Когда-то давным-давно был восход и я гадал, увижу ли закат... Вижу его, пока вижу!..

Визжат и давятся пули, некоторые оставляют бледные сполохи в помутневшем воздухе — это трассирующие... Посреди войны нас двое — я и она, живое доверчивое существо, настороженно прядущее ушами. Страдальчески радуюсь, что вижу закат. Пока вижу...

— Н-но, славная! Н-но, родная!

Она старается, громыхает подо мной нескладная телега, трясет меня.

От грядки повозки брызжет щепа, срикошетившая пуля воет истерическим басом. Жив я, жива она.

— Н-но, красавица!..

Копыта мерно и тупо бьют по комковатому полю, колосья с шелестом обметают ступицы колес. Солнце скрылось незаметно, стеснительно. Степь нахмурилась, потемнела. Над ее далеким, сумеречно-синим краем сухое полыхание, а выше над ним на полнеба прозрачно-нежный, зеленый просторный разлив. Чуть-чуть осталось до темноты! Как перетянуть через это чуть-чуть? Как до конца доглядеть закат?..

Нас двое в обезумевшем мире. Только двое! Я и она, родная мне, единственная.

— Милая-хорошая! Давай!

Она старается, трясусь на повозке и гадаю: кого раньше, ее или меня? Встречный воздух настолько опасен, что страшно дышать. Тлеет закат. Пока вижу, пока дышу...

Совсем рядом давятся пули, зло кусают многотерпеливую, равнодушную землю.

Кого раньше, ее или меня?..

...Ни ее, ни меня. Мы на рысях подкатываем к батарее, нас обступают, а я сижу и никак не могу пошевелиться, одеревенел. Снизу заглядывает мне в лицо Звонцов, мясистый нос, широко расставленные глаза. Он, похоже, не очень-то мной доволен — заставил долго ждать, — но, приглядевшись, не произносит ни слова. За его спиной молчаливо сутулится батя Ефим.

Я ломаю свою одеревенелость, неловко сползаю вниз.

Кучно обступив, на туго растянутой плащ-палатке орудийщики подносят Феоктистова. Из-под наброшенной шинели торчит задранный подбородок.

Меня трогают за плечо.

— Почему нет связи?

Зычко в надвинутой до скул каске, оттеснивший Ефима.

— Линия цела... — мой голос вял и бесцветен. — У хозяйственников погром.

— Спра-ашиваю: пач-чему нет связи?

— Пошел к черту, — говорю я, не в силах сердиться.

— Сержант Тенков! Как разговариваете?!

Звонцов оборачивается к нам.

— В чем дело?

— Связи нет, товарищ старший лейтенант. Вот был послан в тыл и не наладил.

— Кое-что наладил... Ладно, ночь впереди, отладите и связь.

Зычко подтянулся перед командиром батареи.

— Разрешите мне сопровождать раненого? Усе сам выясню.

— Что ж... — согласился Звонцов. — Только побережнее, дорогой, не гоните, не растрясите...

Стоявший рядом Ефим хмыкнул. Я, не отмякший после поездки, не удивился ни просьбе Зычко, ни хмыканью Ефима.

Связь с Житом восстановилась сразу, как только подвода с раненым Феоктистовым отъехала от огневой. А еще через полчаса Жито сообщило: подвода с раненым прибыла, по пути убит сопровождавший, лошадь сама пришла в расположение хозвзвода. Гадал ли Зычко на пути: кого раньше?.. Их было уже трое, пули пощадили лошадь и впавшего в беспамятство Феоктистова...

Неисповедимы пути твои, господи. Зычко устрашила открытая позиция — в чистом поле, на виду у противника. Зычко всегда был обстоятелен и расчетлив. Тут просчитался...

С наступлением сумерек мы снова снимались. Ездовые пригнали упряжки, на этот раз без спешки, без гвалта и суеты подцепили пушки.

— Марш! марш!

На левый фланг. Там к утру ожидалась танковая атака. Ночью будут доставлены и снаряды, фугасные и бронебойные, в избытке.

Две пушки отправили в тыл — феоктистовскую и одну из третьей батареи. Потери дивизиона в первый день.

На новом месте меня поджидал уже Сашка Глухарев. Он сообщил: Смачкин подготовил НП, приказал тянуть к нему связь. Зычко не было, распоряжаться приходилось мне. Я оставил на огневой Ефима, сам взялся за катушку. На этот раз НП был близко, всего в каких-нибудь пятистах метрах.

Наступила ночь.

Звезды обнимают степь. Они здесь низкие, пристальные. Небо торжественно распахнуто, а земля темна, скрытна. Люди на ней прячутся друг от друга, друг друга сторожат, а потому рады свалившейся темноте. Целый день ты пресмыкался на животе, был земляным червем, теперь можно из земли вылезти, встать на ноги, распрямить спину, развести плечи, и недремлющий враг не увидит, что ты принял гордый человеческий облик.

Но и в самое глухое время не будь слишком доверчив. Темнота спасительна и ненадежна, та и другая сторона подозревают козни, и это вызывает их на разговор. В черной потусторонней бездне коротко пролает пулемет: не сплю, сторожу! Басовито громыхнет в ответ наш: тоже бдим, не сомневайся! Вскинутся автоматчики, сварливо переругнутся. И среди звезд небесных появляются звезды иные, одна за другой по ранжиру— цепочки трассирующих пуль. Уйдут вглубь, заблудятся, не оставят следа. Идет ночная беседа, значит, тихо на фронте, война отдыхает. Не спугни этот отдых.

Наш НП вплотную к стрелковым окопам. Я так и не встретился на ночь глядя со Смачкиным. Он свалился и спит, не дождался даже, когда мы подтянем связь. Хорошо знал Зычко и как мало этого человека: где рос, как жил, кто его родители, имел ли друзей, что любит, что ненавидит?.. Сегодня ворвался в мою жизнь, нет, близким не стал — дистанция между нами! — а вот родным, пожалуй. Не представляю без него своего завтра. Странно сводит людей война — роднит практически незнакомых. Едва знаком с Чуликовым, а были рядом несколько месяцев, и сегодня он для меня еще большая загадка, а расставаясь, помнил о нем, разведет судьба, останется в памяти. Вот Сашка Глухарев, напротив, стал далеким, будет ли рядом, нет ли, безразлично. И сидит сейчас за телефоном возле спящего Смачкина мой связист, заменивший убитого Нинкина, знаю его с зимы, но каков он, сказать не могу, и, как нас свяжет завтра, тоже не ясно.

Рассыпаны низкие звезды над степью. Сама степь, накаленная за день, отдает сейчас живое тепло. Я один на один с ночью...

Из соседнего окопа тишком, осторожненько вылезли двое пехотинцев, уселись на закраешек против бруствера, сложили руки на коленях, замерли — две бесплотные тени. Уж этих-то я никогда не встречал, не разгляжу во мраке их лиц, не ведаю их

имен, но и они в эту минуту мне братски родны. Как я, они не знают, останутся ли живы, как я, устали, как я, счастливы неподвижностью.

И, чтоб скрепить случайное братство, я говорю:

— День прожили, а ночь наша, до утра доживем.

Но они не пошевелились, молчат — тени, не люди.

— Эй! Что не спите, полуношники?

Молчание. Наконец запоздалый отклик:

— Ты нам, парень?

— Что не спите, спрашиваю? Завтра немец рано разбудит.

— Мы ведь не слышим. Оглушило нас в окопе.

Тут уже замолкаю я.

— Мне еще кой-чего долетает, вроде через стенку. А мой кореш что пень совсем. Даже и говорит спотыкаясь.

Вот и побеседовали... Плывет звездная ночь, перебраниваются передовые. Сидят по соседству отрешенные тени.

Неожиданно на немецкой стороне вскипели выстрелы, гулко заработал крупнокалиберный пулемет. Всколыхнулись и наши. Сквозь звонкий переполох доносится глухой стук мотора, знакомое в нем. Невысоко в воздухе вдруг вызрел тугой сгусток света, накаленно белый, повис там, за нейтральной. Ночь от света вздрогнула и сгустилась, а звезды отпрянули. Второе яростно накаленное тело в воздухе, третье... Не падают, висят, даже отсюда я вижу обнаженную колкую шершавость степи. Молотит, не переставая, крупнокалиберный, захлебываются автоматы, а всю эту путаную трескучую россыпь укатывает и трамбует неторопливый машинный звук. Тюк — далекий взрыв. Тюк!.. Тюк!.. Он, «кукурузник»! Видать, не сказки рассказывают, что работает по ночам. Выше яркого света летает над немецкими окопами девица, капает с белой ручки — тюк, тюк... Развешенные фонари медленно опускаются, а стук мотора становится все глуше и глуше — закончила дело и уходит... Фонари ложатся на землю и гаснут один за другим.

Отпрянувшие звезды снова занимают свои места в небе, но передовая растревожена, трассирующие пули уже не плывут стройно вверх, плещут по сторонам режущими молниями. Мои незадавшиеся собеседники не спеша лезут в окоп, я не хочу вниз, вытягиваюсь на теплой земле.

Немцы кидают в нашу сторону ракеты, янтарно-желтые и переливчато-зеленые. Степь морщится, неприязненно поеживается на их свету. Ракеты не долетают до нас, конвульсивно догорают в тощей траве.

Из нашего окопа высовывается мятая, расползшаяся пилотка, за ней следом узкое, бледное, спросонья подслеповатое лицо Чуликова.

— Это ты, сержант?.. Минуточку...

Пилотка ныряет вниз, Чуликов показывается с плащ-палаточным свертком.

— Смачкин приказал тебя накормить, а я, прости, заснул... Наверно, не помнишь, когда и ел.

Когда-то в давием прошлом. Я даже забыл, что людям положено питаться, что на меия идет армейский паек, иесколько раз испытывал мучительиую жажду и ие чувствовал голода.

С шуршаиием разворачивается плащ-палатка, передо мной появляется котелок.

— Ложку дать?

Я лезу за голеиище.

— Своя цела.

— Как принято говорить в хорошем обществе: приятного аппетита... Я, сержант, вырос в хорошем обществе — ходил в консерваторию, слушал Баха, пытался решить теорему Ферма.

— Для экзаменов, что ли?

— Для экзамена. Трнста лет математики его держат и все до одиого срезаются.

— Ты тоже срезался?

— Тоже. Пошел добровольцем. Сейчас у Смачкина задачки решаю. Они попроще.

В котелке холодиая рисовая каша и нещедрый кусок мяса. Мясо явно с душком, меня от него поташнивает, ем через силу.

Злой визг со всхлипом, хлестко бьет земля с бруствера. Шальная пуля чуть-чуть не дотянута, я даже не успел вздрогнуть. Рисовая каша забита землей. Прячу ложку в сапог, котелок швыряю в степь.

Чуликов огорчается:

— Вот тебе и приятного аппетита. Мои хорошие манеры не ко времени, сержант.

Котелок с мясом я выбросил, а тошиотный душок остался, висит в воздухе.

— Чем-то пахнет. Тебе не кажется? — спрашиваю я.

— Тут вчера, говорят, до рукопашиой доходило, лоб в лоб сходились. Ну и остались иа иейтральиой полосе и наши, и немцы... Ветерок-то от них повернул... Завтра все заиово. Велик день пережили, велик!

К нам в окоп заглядывает переливчатая звезда, одна-единственная из многих тысяч.

Велик день за спиной...

Да неужели только сегодня мы выскочили из теплушек? Нет, нет, в незапамятные времена, где-то в самом начале моей жизни колеса под нами отстучали по последним стыкам и чей-то смачный бас возвестил: «Приехали!» Помню, оглядывал ровную степь, искал глазами фроит. Был молод, был глуп, смешон сейчас для себя — взрослого.

День, только день! Но сквозь него не разгляжу прошлого, скрылось вдали. Там осталось миого счастливых лет. Да, была из года в год школа с ее маленькими тщеславными радостями и огорчениями — надо же, на экзамеиах двойку математичка влепила, как переживал! Да, нз года в год повторялись каникулы — костры в ночном у рекн, старая мельница с гнилой плотиной, под которой жила щука-дубасница, многие ее видели, все за нею охотнлись, никто не поймал. Да, было, было! Но ка-

кая это жалкая горсточка в памяти по сравнению с бесконечным днем.

«Приехали!» В седой древности прозвучал голос. От него до этой мерцающей звезды — век. Кто-то его не дотянул, сорвался — Нинкин, Зычко... Дотянул ли Феоктистов?.. Я дотянул этот век, но сильно постарел и утратил прошлое. Чуликов, наверное, тоже. Теоремой Ферма занимался... Какой чепухой мы жили. Жили?.. А может, просто грезится? Есть день, вытеснивший жизнь, и ничего больше.

Завтра все заново.

Одинокая звезда заглядывает в окоп. Увижу ли ее снова?..

II

Степь, степь... раскаленно-спекшаяся, полынно-душистая, старчески морщинистая — родная сестра бесплодной пустыни. Пять дней мы защищали неприветливый кусок степи. Их пушки и наши пушки взбаламучивали небо шуршащими, переливчатыми потоками. Огневики оглохли от чужих взрывов и своих выстрелов. Шли танки, но были остановлены, заповедной линии не пересекли. В воздухе шипели разгулявшиеся осколки, язвили, захлебываясь, черствую землю пули. «Фиалка!» «Фиалка!..» Немота в ответ, выбрасывайся из окопа под свинцовую поземку... Осколок мины порвал мне кирзовое голенище сапога, а пуля задела верх пилотки — в спешке забыл каску в окопе, — на сантиметр ниже, и я бы лег посреди степи на вечный отдых. Пять дней, столь же долгих, как день первый, слились в один ревущий бой с глухими ненадежными перепадами по ночам. Утром шестого зловещее затишье... Оно тянулось и тянулось под вялую перестрелку, предвещая недоброе.

В полдень родился тревожный слушок, пополз из окопа в окоп: севернее нас немцы прорвали фронт, вышли к Дону. А на юге они давно уже перешли Дон. От часа к часу слух креп. И еще раз зашло солнце на той, враждебной стороне. В сумерках приказ: «Побатарейно сниматься!» На этот раз не смена позиций — отступление.

И вот новый день, день седьмой — мы в пути...

Лейтенант Смачкин, Чуликов и я при батарее Звонцова. В ней только два орудия. Одно, феоктистовское, подбито в самый первый день. Во время танковой атаки потеряли второе. Под прикрытием кустов его вытащили на руках на прямую наводку. Оно неистовствовало от силы полчаса, немцы обрушили огонь тяжелой артиллерии. Из всего расчета уцелели лишь трое, пушка сгорела в кустарнике.

Степь, степь... Она еще окружает нас, но мы уже не ощущаем ее своей, скоро здесь затопают чужие сапоги, зазвучит чужая речь. А просторное небо над степью и вовсе враждебное, не наше. Немецкие самолеты хозяева в нем, могут появиться в лю-

бую минуту. Земля нас не прячет, небо нам грозит, в солнечном пекле бредут люди.

Степь, степь... Все, что прежде пряталось в ней, вылезло наружу. Но не видно вытянувшихся походных колонн, куда ни кинь глазом, нет сплоченности, мелкие кучки сторонятся пробитых дорог, рассеяны по спаленным просторам. Повзводно, поотделенно, реденькими цепочками тащится усталая пехота. То там, то сям трясутся подводы, пылят в одиночку машины.

Наши батареи пробираются самостоятельно. Командир дивизиона майор Пугачев указал маршрут — к точке на берегу Дона, там соединимся воедино. Сам Пугачев при четвертой батарее, единственной сохрвнившей все свои орудия. Звонцов для связи послал к ним вестового Галушко, тот не вернулся... И где-то отбившийся от меня батя Ефим. И Сашка Глухарев тоже где-то... Не смей скучиваться, дробись, старайся казаться меньше, чем есть, не привлекай к себе внимания. Небо над тобой вражеское, земля под ногами пока еще не их, но и не твоя. Спеши к Дону, за могучей рекой спасение!

Звонцов и Смачкин шагают рядом. Звонцов враскачку, с одышкой несет свой живот, щеки обвисли, глаза запали, но идет, как все, отказывается сесть на зарядный ящик. Смачкин пропечен до черноты, угловат и резок в движениях, взгляд выбеленный, затаенно яростный, даже поступь выгнутых легких ног какая-то ожесточенная, словно пинает полынную землю.

Между ними давно уже тянется спор, Смачкин в нем нападающий:

— Вы старше меня, Звонцов. Да, по возрасту и по званию! Но это еще не значит — ответственнее. Вы в мирное время занимались делом, работали на экономику, по сути, кормили и себя, и таких, как я. А я, Звонцов, военный, причем династический. Мой дед, штабс-капитан Смачкин, служил царю. Мой отец, сорвав погоны поручика, служил революции, командуя полком. И меня страна облекла в военную форму, учила, предоставляла льготы, ковала оружие. Не паши, Смачкин, не воздвигай заводы, а охраняй спокойствие наших границ. Только для этого ты и существуешь. И кадровый военный, вспоенный и вскормленный лейтенант Смачкин жив, позорно не исполнив того, чего от него ждала страна.

Пыхтя и отдуваясь, Звонцов нес на опавшем лице выражение снисходительной скуки: ей-ей, капризы мальчика надоедливы.

— В чем же дело, Смачкин? У вас пистолет на поясе и автомат на шее. Воспользуйтесь тем или другим. С красивой декламацией передо мной и солдатами.

— Не считайте меня опереточным олухом, старший лейтенант Звонцов!

— Вы просто еще не вышли из романтического возраста, Смачкин.

— Победа или смерть, да, были нашей романтикой, но теперь

это трагическая необходимость. Велика страна, а отступать некуда. Или вы считаете, что мы должны бежать от немца за Волгу, в Сибирь?!

— Отступление часто приводило к победе, смерть — никогда.

— Ха! Никогда?.. Не существовали на свете Фермопилы, не гибли во имя победы Сусанины?..

— Гибли, чтоб живые совершили победу. Речь у нас идет о стране — ее победа или ее смерть! Очнитесь, что за одурелый фанатизм.

— Вы-то на что рассчитываете, Звонцов?

— Как вы знаете, я скучный бухгалтер-экономист по профессии, а потому рассчитываю, что мы добьемся — в нашем активе окажется больше самолетов, больше танков и пушек, чем у противника. Рассчитываю на техническую силу, а не на число самоотверженных трупов.

И Смачкина прорвало:

— Что это, циничное издевательство или нелепая шутка, старший лейтенант? Бухгалтерский расчет — больше самолетов, больше танков... Да! Да! Хотелось бы! Но вы знаете, два десятилетия мы пытаемся догнать Германию. Проклятая страна технически далеко впереди нас. Рассчитываете обскакать ее за месяцы?.. Даже одного месяца у нас нет — завтра они будут у Дона, через неделю-две выйдут к Волге, а за Волгой Урал... Уже сейчас наши промышленные районы у них, а если приберут Урал — вот вам ваши экономические расчеты! Вы прекраснодушный фантаст, Звонцов! И не один я сейчас дозреваю до жертвенности. Оглянитесь, Звонцов, какие хмурые лица у ваших солдат. Они не додрались, им тоже не по себе.

Огневики, тянувшиеся за двумя пушками, грязные, заросшие, в пятнистых от пота заскорузлых гимнастерках — выходцы из ада, — смотрели в землю. Ни обычных шуток, ни разговоров, каждый замкнут в себе, каждый думает об одном — за спиной напористый враг, опьяненный удачами, сознающий свою силу. Что для него жалкая кучка измотанных солдат с двумя пушками? К Дону, к Дону! За Доном спасение. А дальше что?.. Нет никого, кто бы не задавал себе этот вопрос. А вопрос громадный, не солдатский, самое высокое командование навряд ли сейчас знает на него ответ. Что будет?..

Звонцов с раскачкой вышагивал, глядел сквозь сутулые спины артиллеристов в степную даль, глаза запали, щеки обвисли и рот сплюснут в жесткой складке.

— Фантастика?.. — после тягостного молчания заговорил он. — Не один вы так думаете, Смачкин. Так думают и они: мол, затравленному ли медведю в берлоге заломать охотника — фантастика! Самонадеянное заблуждение. Не медведя обложили, а народ на своей земле. Двухсотмиллионный народ на бескрайней земле, едва ли не самой богатой на планете. Нам есть откуда взять силы, Смачкин. Сказка об Антее отнюдь не фантастика, мы в свое время доказали это Наполеону.

— Вы что думаете, я не верю в силу нашего народа? — возмутился Смачкин. — О том только вам и толкую: если все двести миллионов дозревают до жертвенности, кто устоит перед нами!

— Мы в разное верим, Смачкин. Вы — в «жертвую собой», я — «сохрани себя» для деятельности. Вы рассчитываете на самоотверженную смерть, я — на самоотверженное сознание.

Смачкин передернулся и не ответил.

Ездовые пошевеливали усталых коней, над моей головой качается зачехленный пламегаситель, идут рядом почерневшие люди. А вокруг залитая солнцем, слепящая степь, по ней, куда ни кинь взгляд, всюду кучками солдаты. Отступление... Не первое в эту войну.

Со мной Чуликов. Он несет карабин, как Смачкин автомат, повесив на шею. Карабин гнет его тощее тело, галифе сползли мотней к коленям, тяжелые сапоги отстают от ног. Он все-таки слаб, невынослив, тянет через силу. Но, похоже, сам не замечает усталости — узкое серое лицо сосредоточенно, мохнатые от пыли девичьи ресницы опущены, а ноздри тонкого облупившегося носа вздрагивают, — что-то переживает про себя. Я негромко окликаю его:

— Чулик!

Он вздрагивает, взмахивает ресницами.

— Что?

— Ты слышал Смачкина?

— Слышал. Думаю.

— Считаешь, он прав?

Навесив над карабином жеваную пилотку, он молчит, тянет по полынной траве тяжелые сапоги. Смачкин для него и бог, и старший брат. Вряд ли он примет сторону старшего лейтенанта Звонцова. Но что-то медлит Чулик с ответом, не роняет решительное «да».

Наконец заговорил:

— Знаешь, когда я уходил в армию, вдруг вспомнил о моем дяде...

Я сержусь, какое мне дело до его дяди.

— Только не крути, Чулик. Отвечай прямо: да или нет?

— Обожди, не сразу... Мой дядя — инженер-строитель. Очень даже крупный. Только... Как бы тебе сказать, в последнее время его от всего отстранили... А теперь вот стал нужен...

— Ну и что? Я же о Смачкине тебя спрашиваю, не о дяде-строителе.

— А то сообрази — специалисты нужны. В разгар войны. Значит, срочно что-то широко строят. Не карамельные же фабрики, наверняка военные заводы, самолеты выпускать, танки...

— Ага! Прав все-таки Звонцов, не Смачкин!

— Смачкин тоже. Позовет меня — умру! Пойду, не отстану. Без жертв не обойтись. Надо же время, чтоб технику поднять, выпустить самолетов и танков больше, чем у противника. Ну, а

пока придержи его с тем, что есть. И задержать надо у Донв, ни на шаг дальше. Велика страна, а отступать некуда.

— Как, по-твоему, долго его держать придется?

— Не знаю. Может, год, а может, н два даже. Война быстро не кончится.

— Не доживем, — вздохиул я.

— Не доживем, — согласился ои. — А хотелось бы...

Ездовые машут кнутами — марш, марш... Горький путь целиниой степью, под злым солнцем, под враждебным небом. Конн с потемневшими крупами тянут пушки, теперь их только две, от бтатареи осталась половинв.

Солице давно уже перевалило за полдень — самое пекло. Но в душиом, густо полыниом воздухе что-то сдвинулось, просочилась невнятная свежесть, коснулась липкого лица. И солдаты поднимают головы, ловят смутную прохладу, жадно вглядываются в даль. Степь по-прежиему буро-ржавая, одуряюще слепящая, по-прежиему оиа источает из себя трепетно-жидкие волны воздухв, колеблющие горизонт, однако уже чувствуется живительиая близость реки. Могучий Дон где-то тут, прячется в обширном степном теле. Кони звшагали бодрее.

Как легкий озноб перед приступом мвлярии, как ропот лнствы перед бурей, возник знакомый до отвращения звук. Каждый ждал его, каждый нвдеялся — судьбв смилуется, авось не сбудется. Бредущне солдаты очнулись, зашевелились, затравленно стали оглядываться нвзад, в маревую воздушную толщу. Авось... Нет, не пригрезилось — размереиио качающийся звук моторов нз блекло чистого неба. Перед самым Доиом, вблизи от спвсеиия!..

Мы тоскливо переглянулись с Чуликовым, его узкое лицо натянулось, отчетливо проступили кости скул. Переглянулись, ничего не сказали, отвериулись друг от друга.

А кони шагали, и ездовые, напряженио торча на их спинах, махали кнутами — марш, марш! И, обречеиио сутулясь, продолжали идти люди. Звук же креп, уплотнялся, не утрачивая своего размереиого качаиия.

Самолеты двигались боевым порядком — три звена косяком, по три машииы в квждом — на умерениой высоте. От нас оии были чуть в стороне, и мы, не переставвя идти, лишь иедружелюбно косились в их стороиу. А под ними на земле возникала вялая суета — цепочки солдат рассыпалнсь, залегли, скрывались, но не от тех, кто проглядывал степь с воздуха.

Самолеты презрели земную суету, проследоввли дальше, унося с собой колеблющийся хвост звука...

Звук еще не совсем развеялся, еще что-то от него призрвчно витало в иебесах, как в отдалении, приглушенио и вязко, заголосилв сиреиа, подхватилась другая. Над кромкой степи мошкариная толчея. И тупой удар, второй, третий, нутряное рычание, сновв, снова, долбящнй удар за ударом...

Из степной выжжениой закраины, из недр землн начал нехотя подымвться на дыбы темный зверь. Он рос, тучнел на глазах,

с ленцой расправлялся и наконец застыл в угрожающей неподанжности.

Мы шли прямо на этого тяжелого дымного заеря. К нему тянулись рассеянные по степи кучки отступающих солдат, к нему мчались, тряслись поаозкн. Так властно тянет к себе ночной костер рассеянных мотыльков.

До сих пор асе мы стремились к Дону бездумно — скорей бы, скорей, преаозмогая усталость! Берег Дона — спасение, у берега широкая вода, можно спрятаться за ней. Ннкто, похоже, заранее не задумыаался, что нам нужен не просто Дон, не его бесконечный берег, а лишь одно-единственное место на нем. Одно на асех — перепрааа!

Над перепрааой аздыбился черный заерь.

Мы идем прямо на заеря. Он медленно, медленно заааливается на сторону, растекается.

Перепрааа горит. Идем к ией, иного пути у нас нет, саернуть некуда...

Там, где роаная степь круто обрыааетcя к реке, тесно сбилось беспорядочное машинное стадо — грузовики, фургоны, бензоаозы, гусеничные трактора с тупорылымн гаубнцамн на прнцепе и пара приземистых танкеток, и затертый а середине, недоуменно торчащий над всеми аооруженными башенками пыльно-громоздкнй «КВ», и стиснутые подводы. Мы с двумя длнинноствольными пушками на конной тяге на самых задах разгоряченного табора.

Над габором качается стена копотного дыма, поднебесно величааая, как Вавилонская башня. Она то закрыааeт солнце, застааляет его натужно багроаеть, то осаобождает, возаращая ему раскаленную косматость.

Между машинами, а тесном хаосе пышущего жаром металла беготня — затянутые в портупеи командиры, танкисты в промасленных комбинезонах и теплых шлемах, солдаты разных возрастоа, разного обличья, одни налегке, в растерзанных гимнастерках, другие захомутаны шннельными скатками, втесался даже бестолковый пэтэаровец с длинным, мешающим асем противотанкоаым ружьем на плече. У всех воспаленно красные физнономни и однзнакоаое аыражение — скорей! скорей! Куда скорей? Это никому не аедомо — куда бы ни было, но скорей! Мечутся, сталкиваются, не задержиааясь, поспешно отскакиаают, не замечают друг друга, без крика, без брани, молчком.

Стремнтельная затрааленность сразу же проступнла на обгорелом лице страстотерпца Смачкнна, однако сам он а метания пока не ринулся, стоял с аатоматом нааытяжку, смотрел на суматоху стылыми белыми глазами. Не рннулся, но вот-вот...

Заонцоа спокоен, оттянутый пнстолетом ремень скашиааeт на сторону нааешенный жиаотик, большие пальцы рук запущены за ремень, короткне ногн а покоробленных кирзоаых сапогах шнроко расставлены, щеки отвисли, глаза запалн, однако устало-

сти не показывает, придирчиво, не спеша озирается. За его спиной сгрудились огневики, угрюмо-черные, выжидающие.

— Лейтенант Смачкин, — тихим, будничным тенорком, но с приказной интонацией, — срочно разведать наших, кто уже здесь. Сразу же соединиться. А я прогуляюсь. Уточню обстановку.

Смачкин приободрился, кинул руку к пилотке.

— Есть!

— И, пожалуйста, не нахлестывайте себя. Без галопчика, Смачкин, без галопчика.

— Есть без галопчика, товарищ старший лейтенант! Чуликов, со мной!

Мне немного обидно — Смачкин позвал только Чуликова, меня забыл. Но утешение пришло тут же.

— Расчетам стоять у пушек, не отходить ни на шаг. Ездовых отрядить за водой — самим напиться и напоить коней. А вы, голубчик сержант, будете при мне. Пилотку поправьте, гимнастерку заправьте и карабин на плече держите с достоинством, чтоб видели — блюдем и помним себя... Вот так-то! Пошли к печке поближе.

Горели на пробитом в гребне берега спуске сцепившиеся автомашины. От них остались лишь черные остовы, но снизу продолжали хлестать закрученные языки пламени, даже глинистая земля вокруг полыхала.

Пожарище загораживало путь к реке. Но если б оно даже и не загораживало, то навряд ли кто из машинного стада на краю степи мог протиснуться вниз. Приречная полоса, стиснутая водой и падающей кручей, была до отказа забита вправо-влево, пока хватало глаз. Кони, трактора, пушки, броневики, повозки, машины, машины, и все захлестнуто густым человечьим потоком, нервно пульсирующим, кружащим, муравьино беснующимся, глухо гомонящим. И так уже невпроворот, а сверху по крутому склопу сыплются вырвавшиеся из степи пехотинцы. Лишь бы добраться до воды, а там будет видно, как дальше.

Река под нами величаво просторна и нежно-голуба до застенчивости. Ее лижет ветер, оставляет синие языки. То тут то там средь возникающей ряби вспухают и опадают кипенные, зеленовато-белые столбы. Немцы обстреливают переправу. А она вот, на виду — волосяно-тонкая нить на раздольной воде, настолько призрачная, что вдали не просматривается, только чувствуется. К ней подвешен паромчик, то ли дремлет, то ли движется, не уловить куда. И до чего же он мал — накрой ладошкой.

— Мда-а... — произносит Звонцов. — Путь к спасению сквозь игольное ушко... Что ж, спустимся в преисподнюю.

По-стариковски покряхтывая, он неуклюже полез по осыпающемуся склону.

Там, где склон становился положе, ровным рядом лежали солдатские тела, бок о бок, плечо в плечо. Одни с головой накрыты шинелями и плащ-палатками, известково стертые лица других направлены поверх людской перекатной сутолоки — за реку, к

тому далекому берегу, от которого нх теперь уже отделяло не только заполненное текучей водой пространство.

Звонцов кивнул мне — пошли. Мы осторожно стали их обходить. Я старался не вглядываться, но все равно замечал судорожно сведенные кисти рук, мазутно-темные пятна крови иа гимиастерках.

В стороие от причала, почти у самой воды застрял зеленый фургон с выцветшими красными крестами по бокам. На его подножке, возвышаясь над толпой, неистовствует женщина в белом халате, светлые волосы рассыпались по плечам, запрокнутое лицо искажено криком:

— Товарищи! Товарищи! У нас раненые! Расступитесь! Дайте проехать тяжелораненым!..

Ее рвущийся крик мечется над плотно сбившимися пилотками, касками, торчащими стволами винтовок.

— Люди же вы!.. Я врач! У меня умирающие! По-могите проехать!..

Я оглянулся иа Звоицова и оскорбился — ои ие обращал внимаиия на крики жеищииы, он интересовался полковником. Этот полковник был внушительно рослым, как и полагается, в твердой фуражке с малиновым околышем, с четырьмя шпалами на малииовых петлицах, сверкал начищенными пуговицами и пряжкой широкого комсоставского ремня. У него эдакая ласковая сутулость в пухлой спине, лицо полное, вальяжно гладкое, с крупиым добродушным, слегка вислым носом. Ему, наверное, не приходилось даже повышать голоса, так как всегда был окружен подчииенными, которые иа лету хватали каждое его слово, старались услужить, привык к почтительиому вниманию, ни в чем не испытывал нужды, и представить его в окопе или в прифронтовой тесной землянке иевозможио. Сейчас он потерянио одинок в гуще чужих, ие обращающих на него внимання солдат, несмело топчется, тоскливо озирается, и ласковая сутулость подчеркивает подавленную беспомощность.

Кричала женщииа в растерзанном белом халате:

— По-мо-ги-те!..

Звонцов выставил перевешивающийся за ремень животик, шагиул к полковнику, выгоревший, пыльиый, с изрытым обожженным лицом.

— Товарищ полковиик...

К иему, похоже, обращались здесь не впервой, ои невнимательно уставился поверх мятой пилотки Звоицова.

— Нужна ваша помощь...

Полковник пристально оглядел Звоицова от пилотки до покороблениых, не по-уставному расставлеиных сапог.

— Что вам иужно от меня, старший лейтенант?

— Ваши виушительные петлицы, ваш представительный вид. Ваше высокое зваиие. Остальное я сделаю сам. Сейчас подойдет паром, и вы будете иа ием. Эй, товарищ боец! Сюда!

Пробегавший мимо рослый пареиь с болтавшимся автоматом

на шее вздрогнул и остановился, гримаса бессмысленной стремительности на потном лице сменилась надеждой, чеканя шаг, приблизился, расправил плечи, глаза преданно прыгают со Звонцова на полковника...

А женщина продолжала кричать с подножки санитарного фургона.

Звонцов выдернул из кружащегося потока еще трех автоматчиков, вынул из кобуры пистолет.

— Двое справа, двое слева. Автоматы на изготовку! По моей команде стрелять поверх голов. Но только по моей команде, без самодеятельности... Вы, сержант, со мной!.. Товарищ полковник, разрешите, пойду впереди вас...

С пистолетом в руке Звонцов, а рядом с ним с навешенным карабином, за нами приосанившийся полковник, по бокам автоматчики со вскинутыми автоматами.

— Дорогу!.. Дорогу!..

Сметая толкущихся на пути солдат, к санитарному фургону. Женщина, увидя нас, замолчала, растрепанная, бледная, напряженно вытянувшись.

Звонцов поставил автоматчиков по бокам радиатора, полковник между ними, я впереди со Звонцовым, сжимая в потных ладонях карабин.

За фургоном, у самой воды, на изрытой гальке между двумя солдатами в расхлыстанных шинелях лежал молодцеватый лейтенант — изумленно вздернутые брови на чистом лбу. В воде застывшая толпа, толпа перед нами.

Звонцов обернулся к автоматчикам.

— Автоматы к бою! Вперед!.. Дорогу раненым!.. Дорогу раненым!..

Но жмущаяся к причалу плотная толпа не дрогнула, лишь ближние диковато оглядывались, пытались вжаться глубже.

— Ог-гонь!

Грохот автоматов за моей спиной был неожиданным, до потемнения в глазах силен, я едва сдержал желание присесть. Толпа — пилотки, каски, вещмешки, торчащие винтовки со штыками и без штыков — колыхнулась, зашаталась, стала разваливаться, таять перед нами.

— Дор-ро-гу раненым! Дор-ро-гу!.. Быст-ра!..

Рычал позади мотор идущего вплотную за нами фургона, молчаливо расступалась толпа.

— Дорогу раненым!

Впритык к бревенчатым сходиям причала привалился гусеничный трактор. Возле него нас встречал плечисто приземистый командир, небритое лицо сумрачно. Он не спеша поднес ладонь к фуражке.

— Товарищ полковник, прошу извинить, не смогу сдать назад. Разрешите пропустить первое орудие, а уж за ним раненых.

Полковник не без важности кивнул малиновым околышем — разрешаю.

Растрепанная женщина в халате, все еще стоявшая на подножке, снова заволновалась:

— Полковник, вы благороднейший человек! Буду вас помнить, пока жива... Всем вам, всем спасибо... У нас восемнадцать раненых...

Звонцов вложил пистолет в кобуру, козырнул полковнику.

— Честь имею.

— Куда же вы? — удивился полковник.

— К пушкам. Не могу же я их бросить... Пошли, сержант, пока не причалил паром. Хлынут — не выберемся.

— Товарищ старший лейтенант, а мы?.. — подал голос один из автоматчиков.

— Доставьте раненых на тот берег.

— Есть доставить. На руках вынесем!

А позади на подножке фургона стояла женщина в белом халате, смотрела нам вслед.

Поднявшись до половины крутого склона, мы остановились, повернулись к причаливающему парому. Сверху было видно, как обслуживающий паром солдат приготовился бросить чалку.

Толпа перед причалом разрослась, густо выплеснулась с берега в воду.

Запыхавшийся Звонцов стянул с головы пилотку, вытирал скомканным платком поцарапанную лысину, глядел вниз, болезненно морщился. Рядом устало сутулился полковник, поводил из стороны в сторону крупным вислым носом, грустно помаргивал.

Паром вздрогнул, ударившись о причал, под его бортом в воде началась кипучая давка. Толпа же на берегу качнулась, без усилий смяла оцепление. Машины угрожающе зарычали, голубой газ поплыл над месивом касок, пилоток, скаток, винтовок. Передний трактор тронулся, таща за собой пушку, завалился на заметно осевший паром. Зеленый фургон с ранеными втиснулся за ним на сходни, и только тогда тронулась сжатая толпой колонна с моторным рыком среди солдатской кипени, раздвигая ее, увлекая ее. Ни выкриков, ни надсадной ругани, только немой штурм с берега и воды.

— Все в порядке, можем идти, — объявил Звонцов, натягивая на лысину пилотку.

Полковник ответил ему покорным вздохом.

У гребня обрыва, на съезде два трактора растягивали обгоревшие остовы машин. Прокопченные солдаты суетливо возились в черном дыму. Их командир, ломко-долговязый, деловито топтал чадящую землю обутыми в широкие кирзачи ногами-ходулями и дирижировал. Взмах руки — кто-то подхватывал конец троса, нырял с ним в стелющийся дым, новый взмах — рискованно накренившийся на склоне трактор натягивал трос, а командир, работая сапогами, уже спешил к тем, кто в клубах сажи орудовал лопатами...

Я заметил, как переглянулись Звонцов с полковником, удовле-

творение скользнуло по их лицам, вызвало и у меня легкую отраду — оказывается, есть и такие, кто занят делом, не самоспасением.

Однако осознать эту отрадность я не успел. Наверху за близким от нас гребнем взмыли крики — паническое разноголосье, раздались выстрелы, взревели моторы. Над нами, по самой закраине, пронесся грузовик в клубах пыли, вихляя кузовом, рискуя сорваться вниз. И сверху посыпались растерзанные солдаты, стреляя вверх из автоматов, падали, катились мимо нас по круче, вопили:

— Нем-цы!.. Нем-цы!!

На дымящемся куске дороги долговязый командир махал руками, что-то надрывно кричал.

Дремавшие машины ожили, зарычали, разноголосо засигналили, полезли друг на друга.

— К пушкам! — Звонцов, падая на четвереньки, полез вверх.

Я за ним, осыпая землю, цепляясь руками, работая коленями. За своей спиной слышал тяжелое посапывание полковника.

Никаких немцев не было. Из степи вышел взвод разведчиков в буро-желтых пятнистых маскхалатах. Поди знай, кто принял их за противника...

Появление солидного полковника в фуражке с ярким малиновым околышем в сопровождении пожилого старшего лейтенанта решительного вида вызвало легкое оживление — не несут ли они что-либо спасительное? Одна кучка за другой потянулись к нашим пушкам.

С полковником на моих глазах происходило странное — под взглядами собравшихся ласковая сутулость спины исчезла, мягкое лицо окрепло, на нем проступила властность, взгляд неломкий, явно смущающий людей.

— Товарищ старший лейтенант! — громко обратился он к Звонцову. — Не кажется ли вам, что самое время побеседовать по душам?

Звонцов с ходу уловил преображение полковника, сразу же подтянулся, построжавшим голосом согласился:

— Самое время!.. Поближе, товарищи, поближе, не стесняйтесь... Прошу вас, товарищ полковник.

Переглядки, шорох, легкая толкучка — круг сдвинулся. Выставив пухлую грудь, запустив под ремень большие пальцы рук, полковник с прищуром приглядывался, выжидал полного спокойствия.

— Перепугались? — негромко, с издевочкой.

Выжидающее молчание в ответ.

— Еще как! При ясном солнышке мерещиться стало... Слышите?.. — кивок твердой фуражки в сторону реки. — А впереди ночь. Ночью у страха глаза велики. Спасти нас может только порядок!.. Как избавиться от страха?..

— Занять оборону, — подсказал стоящий с боку Звонцов.

— Верно! — отозвался чей-то голос.

Полковник грудью развернулся к Звонцову.

— Товарищ старший лейтенант! На вас возлагается организация обороны.

— Слушаюсь! — взлетевшая к пилотке ладонь.

Я испытал невольную досаду, так быстро и так легко Звонцов признал старшинство полковника. А тот напористо продолжал:

— Прошу исполнять каждое приказание командира обороны. Я сейчас постараюсь привести сюда начальника переправы. Если он сам не в состоянии установить порядок, то пусть выполняет то, что мы от него потребуем!

И вокруг растревоженно загудели:

— Правильно! Возьмем за воротник.

— Сами хозяева!

— Товарищ полковник, возьмите с собой человек двадцать с оружием, начальник переправы может и не подчиниться...

— Справлюсь с ним один, без оружия... Старший лейтенант, действуйте, я пошел...

— Командиры батарей, к пушкам! Средний и старшинский комсостав, ко мне!..

Через десять минут зарычали тягачи гаубиц, кони потянули в степь наши пушки. Среди машин беготня, руготня, команды:

— Отряд бензоколонны, строиться!

— Где интендантская команда, черт их возьми!

— Лопаты взять! Лопаты! Прикладами, что ль, окапываться будете?..

Смачкин со Звонцовым намечали линию обороны, расставляли в степи батареи, о нас с Чуликовым забыли. Мы сидели на истоптанном, с кучками конского навоза месте отбывших пушек, млели на солнце, не смели уйти в сторону, забиться в тень под машину — вдруг да понадобимся.

— А полковник-то мужик серьезный. Где вы такого отца-командира нашли?

Чулик обгорел, что головешка, только нос лакированно-красный, устало взмахивает ресницами, кисленько печалится.

— Бог послал, — ответил я, не вдаваясь в подробности.

— Бог?.. Гм... Бог, похоже, прибрал нашего Пугачева вместе с четвертой батареей.

— Вдруг да все-таки они успели переправиться?

Чуликов скривился.

— Пугачев бросил свой дивизион, три батареи? Непохоже!

— Угодил под бомбежку?

Замолчали над загадкой.

— Среди подошедших батарей ты батю Ефима не видел?

— Не видел, — покачал головой Чуликов.

Запечалился и я.

С ветерком обрушился на нас Смачкин:

— Чуликов! Со мной вниз, набирать резервы!.. Тенков! Сторожи полковника, как появится, бегом к Звонцову. Ждут его не дождутся.

Полковник появился не скоро. Смачкин с Чуликовым успели обернуться, привели с собою человек тридцать, вооруженных автоматами и ручными пулеметами. Пополнение, не задерживаясь, прошло в степь занимать оборону.

В узкой тени трехосного грузовика кто на раскинутой плащпалатке, кто прямо на земле, прижимаясь к пыльным скатам, — пестрый командный состав во главе со Звонцовым. Появился даже какой-то незнакомый мне майор, должно быть, интендант. Мы с Чуликовым на солнцепеке в сторонке.

Полковник привел с собой того самого долговязого, который перед началом паники командовал на пожарище.

— Знакомьтесь, товарищи, комендант переправы капитан Климов.

Комендант походил на выбракованную артиллерийскую лошадь — костляво громоздок и понур. Он нескладно сел на корточки, выставив в стороны острые колени, уронил руки, уронил голову в бурой от копоти фуражке и, казалось, задремал. Его угловатое, под цвет вылинявшей гимнастерки лицо было безучастным.

Отчитывался Звонцов, с напорцем говорил и настороженно косился на безучастного капитана.

— ...Выставили на позиции четыре гаубицы и семь орудий «семидесятишести». Выдвинули в степь пикеты, всех появляющихся пехотинцев задерживаем, направляем в оборонительную цепь. Сделали первую вылазку вниз, набрали около взвода боеспособных людей, добыли шесть пулеметов. Резервы, можно сказать, практически неисчерпаемые. С земли переправу обезопасим, а вот с воздуха...

Полковник кивал фуражкой, глядел в сторону, старательно не замечал невнимательности коменданта переправы. Но, как только Звонцов замолчал, он шумно заворочался, требовательно спросил:

— Капитан Климов, вы все слышали?

— Слышал, — равнодушно отозвался тот.

— И чем порадуете?

Капитан с усилием распрямился, обвел всех темными глазницами.

— Не пойму, зачем я вам нужен. У меня горсточка саперов. Был для поддержания порядка придан заградотряд, но... испарился — первыми же поскакали на паром. Я бессилен, а у вас, похоже, собирается какая-то сила. Ну так не медлите, пользуйтесь ею. Здесь сплоченные берут верх — оттесняют лезущих, ставят оцепление, дожидаются парома и... Могу только пожелать вам счастливого пути.

— А не можете ли вы, ответственный за переправу, воспользоваться нашей силой? Предлагаем, берите! — вкрадчиво произнес полковник.

Костистые плечи капитана вяло пошевелились, изобразили пожатие.

— От вашей силы паром аместительией не стаиет и быстрей оборачиваться — тоже. Из иего и так выжимается сверхвозможное — что ни рейс, то рисковаииая перегрузка. Сами видели...

— Ну, а если мы поможем сделать то, чего не сделал заградотряд, установить порядок?..

— Что нзмеиится? Только то, что какие-то части переправятся быстрее других.

— Уже кое-что.

— Мало, полковиик. Хотелось бы переправить асех.

— Как это сделать?

— Подарите мие лесу.

— Лесу?..

— Да, кубометроа тридцать-сорок бреаен и еще досок на настил. У меня перекннута через Дон аторая нитка, дайте лес, и за одну ночь, даже быстрей сколочу аторой паром. Это была бы уже ощутительиая помощь.

В разговор ворвался Звоицова.

— В полутора километрах отсюда хутор. Всего в полутора километрах!.. Почему аы не организовали туда колоину машин с теми, кто сейчас отирается у причала, не разобрали дома?..

Капитан тускло повел глазиицами, презрительно скривился.

— Дома здесь, надеюсь, заметили, построеиы из самана — глины с иааозом и соломой. Даже иа матицы кладут слеги. Развалив весь хутор, нам удалось бы набрать иесколько возов жердей, да н то гиилых.

Наступило иедружелюбиое молчаиие. Полковиик горбился, глядел в землю. Звонцов хмурился и тоже прятал глаза. Выгоревше-серый капитан а закопчеиной фуражке торчал на солнцепеке, словио каменный степной истукан.

— Зачем лес? Есть хороший материал! — Это рядом со мной прокричал Чуликов.

Капитан повел в иашу стороиу запавшим виском, а за спииой Звонцова асколыхиулся Смачкин.

Чуликов вскочил иа иоги — выбившаяся из-под ремия гимнастерка, сползшие с тощего зада мешковатые штаиы.

— Раз, два, три... — задрав острый подбородок, считал он. — Отсюда вижу девять автоцистерн. А сколько их под берегом?.. Снять с них цистерны — н в воду! Скрепи попрочней, будет паром. Пушки поиесет, даже таики...

Тревожно гудело человеческое скопище под обрыаом, все ели глазами капитана. Тот снял фуражку, иачал вертеть ее в руках, наконец с сомиеиием оброиил:

— Таик, пареиек, весит сорок тоии, а то и поболе.

— Таики не подымет, пушки повезет. Все помощь.

И снова молчаиие с тревожиым подбережиым гулом.

— А чем крепить? Тоже ведь лес нужен, — трезвый голос из командирской кучки, кажется, майора-интендаита.

Капитан вертел в руках фуражку.

— М-да... Положнм, лес для крепежа я иаскребу. А аот

доски для настила... Прямо на цистерны пушки не выкатишь, продавятся.

— С грузовиков борта поснимаем. Хватит! Хоть два ряда стели.

Руки капитана сосредоточенно мяли фуражку, на него смотрели, затаив дыхание. Он решительно натянул фуражку, поднялся.

— Товарищ полковник, пошлите людей вниз — все автоцистерны, все порожние грузовики гнать к тому месту, где вы меня поймали. — Резко повернулся к Чуликову. — Коль уж ты, паренек, такой башковитый, пойдем пораскинем мозгами: что, как, сколько?.. Эх, успеть бы!..

Ответил Звонцов:

— Считай, уже вечер. Ночью немец не сунется. Ночь наша.

Ночь была совсем не похожа на тягостный, унизительный день. Чуть скраденная сбоку луна освещала обрывистый берег в оползнях, в тяжелых наплывах, резко складчатый, хмуро морщинистый. Под ним, величавым, в жидком растворе лунного света и зябкого тумана темная копошащаяся масса — машины, подводы, неутомимо снующие люди. У беспокойной переправы изменился даже голос. Сейчас напористое гудение едва ль не на одной ноте, упрямо пробиваются в тесноте машины, текут слившиеся голоса, утробное шевеление — растревоженный улей, в нем можно уловить и гневные интонации.

Спустившийся вниз полковник с помощью всего трех-четырех помощников повыдергивал из толпы, сгрудившейся у причала, рослых парней — «Вы, вы, вы, ко мне! Товарищ боец, к вам обращаются!..» — собрал отряд, навел оцепление, стал хозяином переправы. Артиллерийские батареи, бронетранспортеры, грузовики, фургоны уже не лезли напролом, командиры соединений толпились возле полковника, добивались места в очереди. И только солдатня по-прежнему атаковала с воды причаливающий паром, прорывала оцепление. Но молчком, упрямым натиском. Ожесточенных битв, какие случались днем, уже не возникало.

Накал у причала поостыл еще и потому, что теперь каждый (до последнего, затерянного в толпе солдата) знал — в степи на подходе к переправе стоит оборонительное заграждение с наведенными пушками, противник внезапно не нагрянет. Там распоряжался Звонцов.

У Смачкина отобрали Чуликова, и он уже не отпускал меня от себя. По примеру полковника мы из числа мечущихся тоже сколотили отряд автоматчиков. В нашу задачу входило раздвигать по сторонам брошенные повозки, теснить машины — через растянувшуюся переправу вдоль реки прокладывалась трасса, по которой двигались автоцистерны и порожние грузовики в распоряжение капитана Климова.

Нам повезло — освобождая затор, случайно наткнулись на два высоких фургона-близнеца, они оказались дивизионной ре-

монтной мастерской во главе с младшим лейтенаитом-воеитехником, с десятком слесарей-механиков, с сохраниым оборудованием и, что важно, со сварочиой установкой. Их тоже направили к капитану Климову.

Весть о строительстве нового парома разиеслась по переправе еще до наступлення ночи. Измаявшиеся в бездельной толкотне солдаты хлыиули к строительству, каждый желал предложить свою помощь, заработать себе место на первый рейс. Наплыв добровольцев оказался столь велик, что Климову пришлось выставить ограждение, иначе работа бы захлебнулась.

Едва появлялась очередная автоцистерна, как к ней кидались десятки людей. Лязгал металл, ухали кувалды, раздавались торжествующие крики: «Р-р-рраз-два! В-взя-али!..» Рвали на клочья ночь судорожные, слепяще-голубые огни сварки. По обрыву прыгали, крнвлялись гнгаитские теии, возносились в черное небо, раскатывались по черной глади иатужные голоса: «Ры-аздва!.. П-шла! П-шла! Ще р-раз!» И всплески стаскиваемых в реку сваренных секций, н вразнобой говорок топоров, и вырванные из ночи дерзкими вспышкамн белые фнгуры людей в дегтярной воде, и бледиая недоумениая луиа свыше, и слитиая толпа оттесненных зрителей, забывших об опасности. Лихорадочный труд, заражающий иадеждой.

Фантастическая ночь. Каждый раз, попадая к строительству, я пьянел и каждый раз изумлеиио вспомииал: буйная иочь рождеиа рядом со мной выкриком Чулнкова. Где ои сейчас?.. Где-то тут, мне недоступиый, внутри звеиящей, гремящей, слепящей вспышками, многолюдной фантасмагории... Должно быть, и Смачкни изумлялся вместе со миой, но скрытно, не показывая того.

После полуиочи Смачкии отпустил автоматчиков — капитаи Климов получил все, что могла дать переправа, в нашей помощн больше ие иуждался.

— Посидим в затишке, поостыием...

Только сейчас мы почувствовали, что ночь знобяще прохладна. Слева подмывающий шум строительства, справа гомонок у причала — подошел в очередиой раз паром. И завороженная речная гладь прямо перед нами, таииствеино бескрайняя, скрыт мраком другой берег. Тихий Дои...

На границе света и мрака вырос, помаячил, осел зеленый столб, прокатился и канул взрыв. Шальиой снаряд не иарушил покоя могучей реки. Тихий Дои... Плывет из вечности в вечность. Дием он готов был прииять и нас в свои объятия, днем Звонцов произнес безнадежиые слова: «Путь к спасению сквозь игольное ушко...» Слышу победоиосное громыханне кувалд — и сквозь игольное ушко сможем! Не обессудь, Тихнй Дон...

Но рядом Смачкнн. В столь редкую отдохиовенную минуту от него тянет, как от малярийиого больного.

— Неласково встретит иас тот берег, — роияет ои.

— Почему?

— Побитых хлебом-солью не встречают.

— Побитые, да недобитые, — возражаю я. — Сквозь игольное ушко от немцев уходим.

— То-то, сквозь игольное... До крови ободранные.

— А все-таки целы, лейтенант.

— Це-лы?.. А где Пугачев? Где четвертая батарея? Что мы без них?

— Что-то там случилось, мы же с вами не виноваты в том.

— Не виноват только победитель, дружок.

— Все равно за несчастье Пугачева с нас не спросят.

— Спросят. И будут правы.

— Н-не пойму.

— Растолкую на пальцах. Сколько пушек мы доставим на тот берег? Две с нашей батареи, две с третьей, три со второй — семь орудий, больше половины потеряли. Вот если б сохранилась четвертая батарея с ее четырьмя орудиями — одиннадцать! Это все же дивизион. И нет командира, нет штаба. Нас расформируют, мальчик. Считай, как отдельная боевая часть мы уже перестали существовать.

— Но мы живы, живы! Значит, будем драться!

Смачкин горько хмыкнул.

— До каких пор нам обещать себе — будем?.. И сколько можно мириться, что еще одна боеспособная часть перестала существовать?

— Так что же делать, товарищ лейтенант?

Он задумался и не сразу ответил:

— Да-а... Да-а... Что? Могу ответить только одно: наша земля горит, должны гореть и мы. Гореть, парень, а не тлеть!

От этого ответа мне как-то ясней не стало.

— А! Толочь воду в ступе... Пошли.

Смачкин торопливо поднялся.

Я лез за ним, спешащим вверх по обрыву, и пытался заставить страдать себя за несчастье Пугачева. Хотелось воспылать душой, и как можно горячее, но майор Пугачев был для меня всегда столь недоступно высок и могуществен, что мог вызвать лишь почтительность, а никак не сострадание и упреки. Вместо Пугачева ко мне вломился Ефим. Со щемящей отчетливостью я представил себе — никогда не увижу его насупленных бровей, не услышу его глуховатый голос. Припомнилось, как он схватил меня за ногу, когда вслед за Сашкой Глухаревым я собирался проскочить под снайпером. Словно клещи наложил: «Повремени, сынок...»

А внизу под берегом вперепляс, весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Веселый перестук обещал жизнь.

1984

В. БЫКОВ
КАРЬЕР
ПОВЕСТЬ

ГЛАВА 1

Пробуждение едва наступило, но сон уже отлетел. Агеев это понял, минуту полежав неподвижно, с закрытыми глазами, будто опасаясь спугнуть остатки дремоты.

Несколько последних дней он стал просыпаться до срока, когда еще не начинало светать и парусиновый верх палатки еще чернел по-ночному непроницаемо, а вокруг стояла мертвенная тишь, какая бывает глухой ночью или накануне рассвета. Было прохладно, он это почувствовал шершавой от щетины кожей щек, начавшей стынуть макушкой головы. За лето он так и не привык забираться в мешок с головой — вечером в том не было надобности, в палатке долго держалось дневное тепло, лишь на исходе ночи, перед рассветом, когда выпадала роса и верх палатки набрякал стылой влагой, становилось прохладно. К тому же на голове у Агеева давно уже не было того жесткого, непокорного чуба, который украшал его в молодости. С годами волосы поредели, утратили былую пышность, удлинились залысины, и голова стала чуткой к прохладе. Что ж, все, наверно, в порядке вещей — такова жизнь.

Вставать было рановато, да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка, и он лежал так, с закрытыми глазами, дремотно прислушиваясь к едва различимому в тишине шуму листвы на деревьях поблизости. Этот тихий, иногда мерный, иногда тревожно мятущийся шум листьев сопровождал его сон каждую ночь, порой немного затихая, но к утру обычно становясь беспокойнее и слышнее. Агеев уже свыкся с ним за лето и почти не замечал его — шум стал

частью его тишины и его затянувшегося одиночества возле этого кладбища, на краю заброшенного карьера.

Поодаль за дорогой в крайних дворах поселка визгливо залаяла собачонка. Агеев знал ее, иногда та прибегала к его одинокому стойбищу, останавливалась в отдалении и наблюдала за его возней у палатки, явно рассчитывая на угощение. Агеев собак не любил с детства, и, хотя относился к ним без злобы, те всегда чувствовали его нерасположение и особенно не напрашивались на знакомство. Собачонка полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу в саду и утихла, а Агеев стал дожидаться других звуков. Обычно раньше других в сторожкой утренней тиши раздавались приглушенные пространством хриплые окрики — это хозяйка высокого, окрашенного в яркий канареечный цвет дома отправлялась на утреннюю дойку в хлев и, похоже, вымещала на корове свое недовольство жизнью, то и дело озлобленно матерясь, чем всегда резко нарушала летний покой утра. Несколько раз Агеев видел ее за изгородью во дворе, это была не старая еще, крупнотелая, с басистым голосом тетка, одетая по утрам в заношенный ватник, с уверенными манерами домашней правительницы. Сегодня, однако, голоса ее не было слышно — наверно, заспалась хозяйка этого добротно выкрашенного дома. Слегка прислушиваясь, Агеев открыл глаза — низкий верх одноместной палатки уже явственно проступал из сумерек, обнаруживая знакомые мелочи: тесемочную шнуровку входа, размытые, непонятного происхождения рыжие пятна на парусине; в самом конце матово светилась небольшая, с гривенник, дырка, недавно прожженная выскочившей из костра искрой.

Пожалуй, надо было вставать, браться за дело. Но до того, как начать выбираться из мешка, Агеев попытался вспомнить, какое сегодня число, и не сразу, с усилием сообразил, что сегодня третье или, возможно, четвертое августа. Счет дням недели он вел исправно, привычно ощущая суточный ход времени, а вот числа... В этом деле обычно пособляли газеты, но последние дни, занятый работой в карьере, за газетами он не ходил, транзисторного приемника у него не было, и вот сбился со счета. «Маразм, маразм», — посокрушался он мысленно. Да, память была уже не та, что в молодые годы, память иногда подводила совершенно неожиданно, и нередко требовалось усилие, чтобы вспомнить то, что, казалось, невозможно забыть. Особенно имена, названия, даты. Недавно он обнаружил, что не может вспомнить имени командира взвода, с которым выходил из окружения в сорок первом. Имя его выветрилось из памяти, помнил только фамилию — Молокович. И то хорошо.

Тем временем рассвело, в палатке стало светлее, он различил в ногах смятую за ночь болоньевую куртку, брошенное у боковой стенки пропыленное спортивное трико, литровый индийский термос на белом ремешке, который он обычно ставил подле себя на ночь, запыленные кеды у входа. Все остальное имущество было возле кострища и палатки. Когда-то, начав здесь свои

раскопки, ои все стаскивал иа ночь в эту тесиую палатку, в которой самому было тесио повернуться. Со временем же, однако, убедился, что оставленные у палатки вещи никому тут не нужны, никто ничего не трогает, и перестал прибирать. К нему тут редко кто подходил, разве случайный прохожий с поля да Шурка с Артуром — два робких с виду пацана, вроде настороженных чем-то. Обычио оии присаживались на землю возле кладбищенской ограды и издали молча наблюдали за его нехитрыми утрениимн нли вечерними хлопотами у костра, возле чайника. Костер, конечио, привлекал мальчишек, но вот неделю назад Агеев купил в поселковом хозмаге сухого горючего в таблетках, очень удобного для его небольших хозяйственных надобностей: зажарить яичницу, разогреть гуляш или вскипятить воду на чай. Остатки горячей воды он обычно сливал в термос и в другой раз обходился совсем без огня. Иногда по вечерам в выходные и праздничные дни к карьеру приходил Семен, высокий худой мужчина с едиственной рукой-клешней, которой он все время давал работу: то сворачивал цигарку, то ковырял палкой в песке, а то просто, размахивая ею в воздухе, помогал в разговоре. Обычно он был «под мухой», по крайней мере, всегда так казалось, и почти нн о чем не спрашивал, говорил и говорил о своем, что его беспокоило или о чем вспомииалось. Беспокоили его непорядки в мнре, а вспомнналась войиа, на которой он, судя по всему, хлебнул лиха. Сперва Агеев слушал его с недоверием, что-то в нем противилось сбивчивым Семеновым излияниям, но постепеино он пронникся убеждением, что все так и есть, как говорит Семен. Во всяком случае, так было. Семен не врал и даже не привирал — кажется, он не обладал нужным для того воображеиием, целиком и полностью занятый воспоминаниями. Память же у него была — дай бог каждому.

Когда Агеев выбрался из палатки, уже совсем рассвело. Где-то за мощной стеной кладбищенских деревьев и поселков всходило солнце, иетоптаная трава возле обрыва матово серебрилась в росе, парусина его палатки провисла, напитавшись роснстой влагой. Поеживаясь, Агеев натянул на плечи болоньевую куртку, размышляя, стоит ли делать утреннюю гимиастику или лучше согреться чаем — в термосе, должно быть, еще не остыл кипяток. С начала лета ои каждое утро старался проделывать свои шестнадцать спортивиых тактов, но потом, втянувшись в работу, почти забросил гимнастику, для мышц и суставов и без того хватало нагрузки в карьере. Сперва неделю или две по ночам все тело ломило от непроходившей усталости, болели руки, но вот постепеиио втяиулся в свою земляную работу, и боли прошли. А главное, перестал обращать виимаиие иа разиое там нытье и колотье, понимая, что надобно уметь переносить боль, тем более такую — от работы. Когда-то пришлось потерпеть похлеще — от двух ранеиий, одно из которых едва не стоило ему жизни. Но все-таки, наверио, он был крепкого склада, да и молодой оргаиизм тогда еще был способен на чудо. Пожалуй, чудо его и возвратило к жизии.

Агеев налил из термоса пластмассовую кружку крепкого, уже начавшего остывать чая, выпил, стоя возле палатки. Есть с утра не хотелось, и раньше часов десяти он старался не завтракать, взяв себе за правило есть, только проголодавшись. Правда, проголодавшись, нередко обнаруживал, что поесть по-настоящему нечего: то не было хлеба, то кончилось сало, которым он запасался на несколько дней в райкооповском магазине. Сало он любил издавна, оно отлично утоляло голод; жаль, в магазине кончилось прошлогоднее, с тмином, свежее же, отливавшее нежной розоватостью на толстом срезе, было почти безвкусным, и он жарил на нем яичницу. Яички покупал у сердобольной седой старушки с концевой улицы поселка за кладбищем. Эта старушка кое-что рассказывала ему о военном и довоенном прошлом поселка. К сожалению, во время войны она жила в двух километрах отсюда на станции и не все знала, что происходило в поселке. За последние годы поселок сильно разросся и слился со станцией, а прежде их разделяло ржаное поле с дорогой, которая шла между рядами тополей и сворачивала за переездом в сторону небольшого вокзальчика и нескольких станционных построек.

С лопатой в руках Агеев прошел по траве к карьеру и остановился на обрыве. Как раз из-за кладбищенских деревьев выкатилось низкое утреннее солнце. Разостлав по росистому косогору широкую тень, оно ярко высветило верхний косой край обрыва и его противоположный излом. Глубокий провал карьера весь лежал в стылой ночной прохладе, на его ископанном, разрытом дне высилась груда земли, месяц назад сдвинутая туда бульдозером. Этот бульдозер Агеев не без труда выхлопотал на полдня в «Райсельхозтехнике», хотя он и мало помог делу, лишь обезобразил этот заброшенный, начавший зарастать сорняками карьер. Потом, орудуя лопатой, Агеев изрядно разворотил его за лето — впрочем, без особого для себя успеха. Но все же его тайная мысль, как последняя надежда, теплилась в нем слабой искрой, и он думал: а вдруг! Конечно, бульдозер мало годился для такого рода раскопок, за какой-нибудь час он перевернул гору земли, широко сдвинув все с одной стороны на другую, и Агеев просто не мог уследить за тем, что мелькало под его блестящим стальным ножом. Теперь он надеялся лишь на лопату и со дня на день ждал, что вот-вот наконец с ее помощью откроется то главное, что стало его тайной целью, важнейшим смыслом его существования.

Вдоль по обрыву надо было спуститься к дороге, где был вход в карьер и ждала его оставленная вчера работа — подкопанный, но еще высокий бугор земли вперемешку со строительным мусором, который надо было перебросать лопатой под высокий, обрывистый берег карьера. Но в карьере по-прежнему лежала сплошная тень, дышавшая накопленной за ночь стылостью, и Агеев зябко поежился на обрыве. Он стоял на том самом месте, где почти сорок лет назад, едва сдерживая дрожь в окровавленном теле, прощался с жизнью в смятении и отчая-

нии от вопиющей несправедливости этой безвременной гибели, полураздетый и, хорошо помнил, босой. Сапоги с него сняли перед расстрелом, и ног он почти уже не чувствовал — ступни по щиколотку одеревенели в студеной, схваченной первым морозцем грязи, на которую из предрассветной темени, кружась, сыпался снег.

Агеев принялся за дело — копать и отбрасывать под обрыв мягкую, разрыхленную бульдозером землю с различным хозяйственным хламом: трухлявыми обломками досок, остатками закопченной кирпичной кладки, сваленной в карьер, видимо, после ремонта печей. Но большей частью его лопата со скрежетом врезалась в сухую слежалую щебенку с песком и гравием. Впрочем, песка тут было немного — наверное, местечковцы выбрали его еще в довоенные годы для какого-нибудь строительства, а главное, для хозяйственных нужд: ремонта печей, фундаментов, штукатурки стен. В тот страшный год, когда судьба впервые привела Агеева в это местечко, он не выбирался из него дальше кладбища и впервые попал в этот карьер лишь в то роковое утро, которое едва не стало для него последним.

Но вот сорок лет спустя, овдовев и выйдя на пенсию, Агеев теплым солнечным днем на исходе весны приехал сюда. Сперва он даже испугался, почти не узнав местечка, ставшего за эти годы городским поселком. По крайней мере, центр его совершенно изменил свой первоначальный облик, бывшая базарная площадь расширилась до самых стен церкви, церковная ограда исчезла, с другой стороны площади выросло трехэтажное здание райисполкома; чуть поодаль, в начале улицы высилась силикатная громадина универмага, и перед ним лежал крохотный скверик — ряд чахлых деревцев, еще привязанных к кольям-опорам, с неширокой дорожкой, обрамленной поставленными на уголок кирпичами. Короткая эта дорожка вела к памятнику — бетонному обелиску в решетчатой железной оградке, с широкой мраморной плитой на лицевой стороне. Маленькая дверца в оградке была не заперта, и, наверно, туда можно было пройти, на узком бетонном подножии лежало несколько увядших гвоздик в разворошенном ветром целлофане. Но цветами Агеев не запасся, и заходить туда не имело смысла. Вцепившись руками в заостренные навершия ограды, он зашарил глазами по плотным столбцам фамилий. Он уже знал про этот обелиск в поселке, ему рассказывали наезжавшие сюда знакомые; однажды писал в райисполком и получил ответ, что подпольщики также захоронены здесь. Теперь без труда нашел их фамилии — неглубоко высеченные на камне в самом конце этого скорбного списка. В отличие от остальных они были обозначены без воинских званий, так как, наверное, и не имели никаких званий, за исключением разве что Молоковича.

Ее же здесь не было.

Но почему ее не было? Разве она выжила? Или погибла где-либо не здесь, может быть, в немецком концлагере, вывезенная из местечка? Конечно, тогда все могло быть, но четыре десятка

лет Агеев прожил в уверенности, что она также не избежала их общей участи. По крайней мере, страшные события той осени ни для кого не оставляли надежды, все они были обречены, и только он по счастливой случайности увернулся от смерти. Но две случайности в их положении — это было бы уже чересчур, во вторую он не в состоянии был поверить. И ему казалось, что тут утвердилось недоразумение, что ее просто не нашли, а возможно, и не искали. Ведь о ней знал только он один. Ну и, конечно, полиция, которая все и раскрыла. Но у полицаев теперь не спросишь, а документов не найдешь. Они умели прятать концы в воду.

Оставалось обратиться к людям.

Отойдя от памятника, он огляделся. Площадь изменилась до неузнаваемости, но церковь осталась, и она помогла ему сориентироваться. Дальше следовало повернуть в переулок и пройти улицей вниз. Стараясь приглушить тревогу в душе, Агеев скорым шагом отправился из центра к окраине, прежде всего на Зеленую, хорошо известную ему улочку, застроенную обычными деревянными домиками, с крошечными огородами и садами, упиравшимися в глубокий овражный провал с ручьем и старыми деревьями на склонах. К его большой радости, здесь почти ничего не изменилось, разве что некоторые из домов заметно обветшали, другие же после ремонта нарядно желтели свежеокрашенными стенами. В самом начале улицы на углу высился домище о трех окнах по ошалеванному фасаду, под громадной, на немецкий манер срезанной по углам гонтовой крышей. Едва справляясь со все усиливающимся биением сердца, Агеев направился в конец этой коротенькой улочки, еще издали узнавая знакомый латаный гонт на крыше Барановской, в доме которой он провел некогда почти три месяца своей жизни.

Всплеск его радости, однако, стал опадать по мере того, как он пыльной обочиной подходил к этому дому — взору его предстали явные приметы заброшенности: длинные горбыли на окнах, выходивших в крохотный палисадничек при улице, боковое окно из кухни чернело сплошь разбитыми стеклами, калитки тут не было и раньше, и некогда уютный, вымощенный мелким булыжником дворик с канавками для стока воды густо зарастал сорной травой. Дом был давно покинут и, видать по всему, тихо умирал на ушедшем в землю щербатом фундаменте. Может быть, один только сад при нем мало изменился за четыре десятка лет, хотя постепенно дичал в небрежении, а большого старого клена напротив входа на кухню уже не было вовсе, как не было и беседки-повети по другую сторону дворика.

Не заходя во двор, Агеев оглянулся на улицу, узнавая и не узнавая ее малоприметные подробности. К несчастью своему, он совершенно забыл соседей, помнил только, что в доме напротив жил дядька — молчаливый, нестарый еще мужик, Барановская иногда обращалась к нему по хозяйству, вроде бы даже он приходился ей родственником. Вспомнив о нем, Агеев перешел через улицу и толкнул невысокую дощатую калитку. На-

встречу ему из замызганной конуры с бешеным лаем взвился верткий лохматый пес. И тут же из пристройки рядом с крылечком выглянула тоненькая женщина в вылинялом голубом сарафанчике.

— Здравствуйте, — как можно дружелюбнее сказал Агеев, глядя в ее молодое, отчужденно недоумевающее лицо, и замолчал, не зная, как начать разговор. Очень непростой предстоял разговор, но женщина не унимала пса и не предлагала зайти, она выжидала, что скажет захожий. — Не скажете, вон напротив жила Барановская...

Стоя в распахнутой двери, женщина пожала загорелыми плечиками и низким, вроде заспанным голосом крикнула в дом:

— Виктор, выдь! Тут какую-то Барановскую спрашивают.

— Кто спрашивает? — глухо донеслось из дома.

— Ну выйди! Кто, кто...

Из двери высунулся молодой человек в белой майке с разогретым паяльником в руках, от которого еще струился в воздухе дымок, он прикрикнул на собаку, и та сразу замолкла. Женщина проскользнула мимо в дверь дома, откуда слышался нетерпеливый младенческий плач.

— Хотел спросить: соседка ваша Барановская, что напротив жила, — прерывающимся от волнения голосом напомнил Агеев. — Она... Судьба ее какая?

— Барановская? Какая Барановская? Тут раньше Валюки жили, выехали на целину. Года три или четыре тому.

— Валюки... А вы... Простите, сколько вам лет? — с растерянной улыбкой спросил Агеев, начиная понимать что-то.

— Мне? Ну, двадцать восемь. А что?

— Да так, ничего, — все враз поняв, ответил Агеев. — Извините, я тут, знаете, напутал.

— Да? Ну бывает...

Он прикрыл за собой калитку и побрел по улице, ясно сообразив, что двадцативосьмилетний Виктор родился в конце пятидесятых годов и, конечно же, еще до его рождения в доме Барановской могло смениться не одно семейство жильцов. Вот если бы встретить кого из старожилов, довоенных обитателей этой улицы, уж от них, наверно, можно было бы узнать побольше. Агеев оглянулся — белая майка Виктора все еще виднелась во дворе, и он вернулся к калитке.

— Я извиняюсь, скажите, а тут, на вашей Зеленой есть кто-нибудь из стариков? Что тут до войны жили?

— А кто их знает, — насупился Виктор и, вдруг что-то вспомнив, тряхнул светлой волосатой головой. — Супрунчук, может...

— Да что Супрунчук! — перебила его появившаяся на крылечке жена с запеленатым младенцем в руках. — Супрунчук твой с праздника не просыхает. Вон лучше Поддубского спросите, он должен знать.

— А где это? — оживился Агеев.

— Да вон третья хата от угла. «Жигуль» там синий стоит, — охотно объяснил Виктор.

Скорым шагом Агеев направился вдоль улицы и действительно во дворе третьего от угла дома увидел синий «Жигуль» с настежь распахнутыми четырьмя дверцами, раскрытым багажником и поднятым капотом. Возле него хлопотал не старый еще мужчина в темно-синем спортивном трико.

— Здравствуйте!

— Добрый день, — поднял озабоченное лицо мужчина и выжидательно уставился в него.

— Мне Поддубского, — пояснил Агеев, едва сдерживая нетерпение.

— Ну, я Поддубский, — сказал мужчина и выпрямился с гаечным ключом в руке.

— Нет, знаете... Мне... чтоб постарше.

— Постарше? Отца, что ли? Так отец на рыбалке. Выходной все же, запрет только сняли. Я вот тоже собрался, да эта холера закапризничала.

— А отцу сколько лет? — спросил Агеев, опять настораживаясь. Упоминание о рыбалке как-то не вязалось в его представлении с пожилым возрастом отца.

— Лет? Пятьдесят пять вроде.

— Да...

— А что, мало? Так у нас тут имеется и постарше. Дед! — позвал мужчина, обернувшись. Но на дворе больше никого не было. — Где же он? Только сейчас выходил...

Мужчина прошел за угол дома, где начинался ряд недавно отцветших деревьев с побеленными стволами, между которыми лежали прополотые, политые с утра грядки.

— Дед, тебе сколько лет?

Ответа оттуда не послышалось, и Агеев тоже прошел за угол. С тыльной стороны дома на скамейке под кустом отцветшей сирени сидел глубокий старик в истоптанных валенках на тощих ногах. Сосредоточенно уставясь перед собой, он, похоже, находился во власти своих старческих дум и никак не отреагировал на их появление, только вскинул на Агеева рассеянный взгляд.

— Вот хочу спросить вас, — бодро начал Агеев. — Вы давно тут живете?

— Да он тут всю жизнь. Тут и родился, — охотно объяснил мужчина.

— Может, помните, тут на Зеленой Барановская жила?

— Была Зеленая, — подсказал сзади мужчина. — Теперь Космическая.

— Переименовали?

— В который раз. После войны была Танкистов. Потом Пекинская. Теперь Космическая.

Старик на скамейке как-то странно закачался вперед-назад, задвигал свешенными между колен жилистыми кистями рук.

— Барановская, Варвара... Немцы застрелили,

— Застрелили? Вот как!..

— Застрелили. На станции. Помню, как раз на зимнего Миколу. Я еще дрова возил...

Это хотя и не было ошеломляющим для Агеева, который давно предполагал именно такой исход, он все же испуганно подумал: за что? Уж не из-за него ли? С щемящей болью в душе он постоял молча, будто дожидаясь, что еще скажет старик. Но старик молчал, размышляя или в ожидании новых вопросов.

— А еще, может, знаете, — с надеждой начал Агеев, — тут где-то иа соседией улице жил один человек, жестянщик или слесарь, он еще в войну терки из жести мастерил, зерно тереть...

— Лукаш?

— Может, и Лукаш, не помню. Так у него на квартире учительница была приезжая. А с ней сестра жила...

Сказав это, Агеев почувствовал, что приблизился вплотную к тому главному пределу, к которому шел столько лет, и сейчас, иаверно, услышит свой приговор. Надо было собраться с силами, чтобы выдержать его, каким бы он ни был.

— Лукаш мастеровой был, ага... Умел по дереву и по металлу. Мне еще рамы после войны делал. Мастеровой был, ага...

Лнцо старика на короткий момент просветлело, он оторвал взгляд от земли и повел им в сторону Агеева. Агеев разочарованно выдохнул и переступил с иоги иа ногу — сесть тут было не на что.

— Мастеровой... Помер. Давно уже.

— Так учительница квартировала у него...

— Что? Учительница? Можа, и была.

— А вы не помните, дед?

— Учительиица? — повторил, помедлив с ответом, старик. — Не, не помню.

Почти убитый этим визитом, Агеев вышел на улицу. Потерянно побродив по одной и по другой ее стороне, еще раз зашел в заброшенный, зарастающий сориякамн двор Барановской, узнавая и не узнавая обветшалые стены ее дома, подгиившие, выкрошенные углы, покосившиеся простенки. Он обошел хлев, саран за дровосекой, поросшей густой, по колеио лебедой, заглянул в огород с тыльной стороны усадьбы и ие увидел там пристройки-сарайчика, который, иаверио, давно уже разобрали на дрова, — по самую стеиу дома шли ровные борозды дружно взошедшего картофеля. На глаз он отметил то место, где стоял его топчанчик и где была дыра в стене, возле которой под камнем он прятал свой пистолет «ТТ». Кто-то, наверно, нашел, если в свое время пистолет не подобрала полиция.

Вернувшись во двор, издали посмотрел на сад, который, оказывается, тоже ие пощадило время — старые яблони медленно по одной умирали, теряя отсохшие суки и ветки; кусты смородины н крыжовника, некогда отделявшие сад от двора, вывелись начисто, на меже огородов над тыном чернело голое сучье не-

скольких засохших вишен, очень памятных ему с того лета. Теперь он даже не подошел к ним. Всем его существом овладевало гнетущее ощущение неудачи. Чтобы как-то справиться с ним, он еще прошел в конец улицы, мимо высокого дома с немецкой крышей, перешел на следующую. С новой надеждой встретил пожилую женщину с сумкой и сразу спросил, не помнит ли она Лукаша-жестянщика. Женщина устало опустила наземь тяжелую сумку, доверху набитую хлебом, поправила пеструю косынку на голове.

— Как же, был Лукаш, Ванькович его фамилия. Помер после войны.

— А у него учительница перед войной на квартире жила.

— Учительница? Была, кажись, пригоженькая такая. Вот не помню, как звали...

— Вера, — с воспрянувшей радостью подсказал Агеев.

— Можа, и Вера, не помню вот.

— А что с ней дальше случилось, не вспомните? К ней еще сестра перед войной приезжала. Мария.

Женщина наморщила и без того морщинистое переносье, всмотрелась в дальний конец улицы, по которой уже грохотала «Колхида» с прицепом.

— Не знаю. Помню, вроде была молодая девушка. Недолго пожила. А куда делась?..

— После войны не объявлялась?

— Не знаю...

Агеев еще прошелся несколько раз по этой и по соседним улицам и, совсем было отчаявшись, подошел к двум мужчинам, болтавшим возле калитки. Один из них стоял по эту ее сторону, а другой, худой и высокий, — по ту, оба курили и о чем-то развязно беседовали, то и дело грубовато посмеиваясь. При обращении к ним, однако, умолкли, и, выслушав Агеева, худой и высокий из-за калитки радостно оживился.

— Знаю Марию, в Минске живет. Окончила иняз, работает в школе.

— Вот как! — ошарашенно сказал Агеев. — И давно окончила?

— В семьдесят восьмом, хорошо помню. Я поступал, был конкурс громадный, ну и срезали. А она заканчивала.

Агеев враз помрачнел, прикидывая в уме, сколько же ей могло быть в семьдесят восьмом. Нет, что-то поздновато было ей в пятьдесят лет кончать институт. Вряд ли это она.

— Простите, а какого она возраста?

— Возраста? Да моя ровесница. Вместе в школу ходили. Только я еще армию отслужил... А что, не та, значит?

— Не та, — сказал Агеев уныло, кивнув на прощание мужчинам.

Он и еще спрашивал: у случайных уличных встречных, выбирая тех, кто постарше, подходил к пожилой продавщице киоска «Союзпечать», несколько раз забредал во дворы, если видел кого-нибудь с улицы. Некоторые легко вспоминали Лукаша, по-

мнили Барановскую, очень немногие вспоминали учительницу Веру Адамовну, но никто толком не мог рассказать что-либо о ее сестре. Вроде приезжала, недолго пожила у сестры, а куда девалась? Этого никто не знал. Оно, пожалуй, и не удивительно, прошло ведь столько времени. Здесь уже немного осталось тех, кто мог вспомнить довоенного секретаря райкома Волкова, погибшего в сорок третьем на Могилевщине, — как-то Агеев читал о нем очерк в газете. Но Волков что — Волков все-таки был комиссаром бригады, а не безвестным подпольщиком, он не мог затеряться.

И она, по всей вероятности, погибла. Но где и когда?

Много бессонных ночей провел Агеев, думая об этом, но каждый раз заходил в тупик. И все его попытки узнать что-нибудь о судьбе Марии с помощью архивов, запросов по различным инстанциям заканчивались столь же тупиковыми ответами вроде: «не числится», «не значится», «сведений не имеется». А ведь по прошествии стольких лет единственной возможностью в его поисках стали документы, списки, архивные справки, в которых было многое, но, увы, ничего не было о ней. Впрочем, если подумать, то ничего и не могло быть. В ту памятную осень они больше всего на свете опасались документов, списков, записок, даже случайно оброненной бумажки, которая запросто могла стать уликой. А о посмертной памяти или отражении в истории кто тогда думал? Путь в историю для них был перекрыт ежедневной опасностью, перебраться через которую зачастую было немыслимо. Все последние годы, рассылая письма с запросами, обращаясь в архивы и расспрашивая людей, Агеев понимал, что не столько жаждет узнать о ее судьбе, сколько обмануть себя, избежать последнего, невозможного для него ответа. Этот ответ мог нести в себе самый страшный итог...

Но вот, кажется, пришел конец всем иллюзиям, никто о ней ничего толком не знал, она действительно исчезла той осенью сорок первого года.

Оставалось единственное.

Приехав в этот поселок, он поселился в крохотной поселковой гостиничке возле бани, где в квадратной комнатушке с раковиной и умывальником стояло шесть тесно составленных коек, на которых почти каждую ночь менялись жильцы — проезжие, уполномоченные, шофера. И только он в течение недели занимал угловую, с пружинистой сеткой койку, и, когда его спросила заведующая, сколько он еще будет здесь жить, он не сразу ответил. Он не знал, надолго ли еще придется ему задержаться в этом поселке, конец его дела даже не просматривался, но в районе созывалось какое-то совещание и в гостинице потребовались свободные места. Его не выселяли, хотя и могли это сделать, только поинтересовались сроком его выезда, но этот вопрос располневшей от сидячей работы заведующей с золотыми перстнями на всех пальцах рук был облечен в столь явное недружелюбие, что он, подумав, ответил: завтра. В тот же день после обеда, наскоро перекусив в буфете, он зашел в универмаг, в от-

деле спортивных товаров купил одноместную брезентовую палатку, спальный мешок, кое-что из туристических мелочей, потратив на покупку большую часть своих денег, и перетащил все за кладбище, поближе к карьеру. Тут оказалось не хуже, чем в той суетной гостинице, по крайней мере, тут он был в абсолютном покое, наедине с собой и своими невеселыми мыслями — что может быть лучше в его далеко не молодые уже годы!

Поднявшееся солнце давно висело над разрытым карьером, наступило жаркое время дня, Агеев скинул наземь куртку, то и дело оттягивая ворот трико, обдавая разгоряченную грудь душным застоялым воздухом. В карьер почти не задувал ветер, от нагретого глинистого обрыва дышало печным жаром. Агеев перебросал лопатой полпригорка земли, то и дело откидывая в сторону различные обломки, ржавые жестянки, черепки, однако того, что можно было бы отнести к сколько-нибудь отдаленной давности, не попадалось. Может, и правильно говорили ему в исполкоме, что тут ничего не осталось, тела расстрелянных перезахоронили летом сорок четвертого, сразу после освобождения, и что их было там трое. Все мужчины. Ни одной женщины там не было. Когда же он поинтересовался, как различили тела после их почти трехлетнего пребывания в земле, ему не ответили. А одна тетка, уборщица при гостинице, с которой он как-то завел о том разговор, сказала просто:

— Какой там отличали! Собрали косточки да разложили на три гроба. Какой там отличали...

Все-таки он установил с помощью очевидцев, что не просто собрали косточки, что там были врачи и некоторые останки даже опознали родственники. Во всяком случае, с определенной долей вероятности на ошибку тела были идентифицированы, и среди трех ее тела не было.

Но где же тогда она?

Конечно, и без того она могла десять раз умереть во время и после войны, ее могли отправить в какой-нибудь из концлагерей, которые у немцев были во множестве. Но все это лишь в том единственном случае, если она не осталась здесь, в этом карьере. И он не мог предположить иного исхода до тех пор, пока воочию не убедится, что ее косточек здесь не осталось, что их не завалило рухнувшим весной сорок второго западным обрывом карьера. Проклятая эта яма тридцати шагов в поперечнике, которую лишь с натяжкой можно было назвать карьером, тем не менее умела хранить свои тайны, она отобрала у Агеева большую часть лета, столько труда, пота, так ничего и не прояснив для него.

И все-таки он не помышлял сдаваться, капитулировать перед этими бесформенными грудами слежалой щебенки, он перелопатит ее по вершку, но или найдет то, что ищет, или удостоверится, что ее тут нет.

Если ее тут нет, тогда у него остается надежда — слабенькая, запутанная ниточка, возможно, ведущая к жизни из этой проклятой ямы, в будущее, а может и в вечность...

Горячий юго-западный ветер, весь день иссушающе дувшнй на летнее пространство полей, к вечеру заметио утнх; клонившееся к закату солнце в подернутом редеиькой дымкой небе утратило свою пылающую прыть и ие пекло, как прежде. В куцей теии жиденького куста шиповника иа меже ржаиой, истоптанной скотом и человеческнми ногамн нивы стало прохладиее н, в общем, терпнмо, если бы не доннмавшая Агеева жажда. В который раз старшнй лейтеиаит подиес к губам обшитую войлоком трофейиую флягу, встряхиул — едннствеииая капля нз нее упала иа его небритый подбородок и щекочуще скатилась за расстегиутый воротиик гимнастерки. Ни во фляге и иигде поблизости воды не было. Наверно, с полдня он лежал здесь на разостлаииой, со следами засохшей кровн телогрейке и томнлся в тягостном ожидании, которому, казалось, не будет коица. Сиачала усилием воли он подавлял нетерпеиие, стараясь думать о чем-иибудь постороиием, ио постепеиио его все больше разбнрала злость на этого Молоковича — уж ие забыл лн он его тут, в каком-нибудь километре от местечка. Раздражеине это, одиако, скоро убывало прн мысли, что иет, ие забыл, не затем ои вел Агеева столько, чтобы броснть вблизи от цели. Впрочем, Агеев поинмал, что сам Молоковнч рисковал сейчас иаверняка больше: не так просто было средь бела дия появиться иа местечковой улнце, не нарвавшнсь иа немцев или полицию. Агеев ему говорил: не спеши, давай пересиднм в поле до вечера, а вечером, как стемиеет, пробраться в местечко, иавериое, будет проще. Молоковнч соглашался, ио поступил по-своему — видно, ие хватило терпеиия дождаться вечера. Коиечно, он зиал тут каждую тропку, каждый закуток и переход, но н его тут зиала, пожалуй, каждая собака, которая теперь с легкостью могла выдать полнции.

Время от временн Агеев нетерпелнво подиимался и, стоя на одиой ноге, опершись иа вннтовку, выглядывал нз-за спутаииых, склонеиных к земле стеблей переспелой ржи. За рожью и широко раскинувшнмся полем картофеля вндиелись окраиниые домики, заборы и нзгороди, местамн скрытые начавшей жухнуть от засухи, но все еще густой летней зелеиью садов и огородов. Подаль, в глубнне этого селения, маячнло в безоблачном иебе два желтых купола церквн, возле иих белело какое-то узкое строение с островерхой черепнчной крышей, похожей на пожарную каланчу, что лн. В стороие, на окранне, выснлась тесная группа громадиых старых деревьев — возможио, на месте какого-нибудь нмения илн кладбища. Оттуда по иевидимой за посевами дороге выехала телега с двумя седокамн, и резвый гнедой жеребеиок то забегал вперед, то отставал, с нгрнвой радостью догоняя телегу. Молоковнча иигде не было. Агеев раздосадованио опустился на измятую телогрейку, поудобиее устраивая ранеиую иогу, которая к вечеру стала болеть снльнее. Прошло уже немало времеии после ранеиня, а осколочная рана выше колена заживала плохо, снльио досаждала в ходьбе, особеино болела ночью, н Агеев со все большей тревогой думал: не остался лн там осколок? Если остался осколок, то его дело плохо, с осколком рана

вряд ли затянется, будет гноиться, еще приключится гангрена, тогда придется ему сыграть в ящик. Спустив до колен брюки, он ощупал намокшую повязку, от которой шел дурной, тошнотворный запах. Надо было перебинтовать ногу, но бинтов у них не было, вчера он разорвал на куски последнюю тряпку из линялого ситца в синий горошек. Это была женская кофточка, наверное, той строглазой молодки, что хозяйничала на лесной сторожке километрах в тридцати отсюда. Когда они с Молоковичем, свернув с полевой дороги, подошли к этой сторожке, их встретил бешеный лай рыжей дворняги, долго из дома за тыном никто не показывался, а потом вышел мрачного вида, заросший черной бородой старик, и они попросили напиться. С этой просьбы они начинали всегда, когда приходило время позаботиться о пропитании или ночлеге, и по тому, как им выносили воду, решали и все остальное. Недовольный, сумрачный вид чернобородого деда не внушил им доверия, и Агеев моргнул Молоковичу раз и второй — мол, пойдем, чего дожидаться? Но тут на крыльце появилась молодая, не здешнего вида женщина в легкой кофточке, по-городскому на затылке повязанной косынке, она вынесла большую медную кружку холодной воды, которую они по очереди выпили до дна, и Агеев завел с молодкой разговор на тему «поесть». Молодка сдержанно пригласила их в дом, дед придержал рвущуюся дворнягу, и они вскоре оказались в прохладной обжитой горнице со свежевымытым полом из новых сосновых досок. Переступив порог, Агеев приятно удивился обилию цветов, роскошно зеленевших на подоконниках, табуретках по углам и скамьям, густо заставленным горшками, словно в цветочной лавке, в которую он однажды забрел в Белостоке. Их накормили ячменной кашей на сале, напоили молоком, Агеев не прочь был заночевать тут и уже начал заигрывать с молодкой. Вдруг в ответ на какую-то его невинную шутку та невпопад зарыдала, да так безутешно горько, что оба они опешили. Когда она выбежала из хаты, суровый чернобородый дед объяснил: «Вот мужа ее... сына мово... убили. А она из России».

Ночевать они там не остались, у Агеева пропало к тому желание, а Молокович рвался к своим — оставалось три последних десятка километров, и его трудно было уговорить на отдых. Немцев в этом болотисто-равнинном краю не стало слыхать, по-видимому, фронт прошел стороной, и они отправились в путь — до заката солнца прошли еще километров восемь и заночевали на краю березнячка. Прошли, в общем, немного, но на большее и не рассчитывали — они порядком уже выдохлись. Поначалу, когда прорывались из окружения и пытались догнать линию фронта, шли день и ночь, отдыхая по часу в сутки, и просто валились на ходу без сна и с усталости. До перехода через железную дорогу их группа насчитывала пятьдесят семь человек, командовал ею майор из управления армии, бравый вояка с черными косматыми бровями, он торопил их как только было возможно, чтобы догнать своих или перейти линию фронта. Но линии нигде не было, топографическая карта из двух

листов у майора кончилась, и однажды в сумерках они наткнулись на какую-то моторизованную немецкую часть, которая своими вездеходами, мотоциклами и грузовиками запрудила всю окрестность. Им следовало бы повернуть назад или взять в сторону, в обход, но майор попер напролом, они ввязались в затяжной безуспешный бой на подступах к какой-то деревне, немцы тем временем подтянули силы и устроили такой тарарам, что из всей группы, наверно, только их двое и осталось, и то лишь потому, что они вовремя поняли промашку и ускользнули из-под немецкого огня в сторону. К утру они оказались на краю широкого, поросшего лозняком болота вдали от дорог, немцев тут можно было не опасаться, и оба почем зря стали честить майора, так глупо погубившего группу. Особенно зол был Молокович, которого ночью ранило пулей в плечо. Правда, рана была пустяковой, пуля прошла по касательной, но все же рука болела и мешала как следует управляться с оружием. Агеев со своей недельной давности раной едва терпел после такой передряги, идти мог с трудом, и тут они окончательно поняли, что фронта им не догнать. Именно тогда Молокович предложил круто свернуть к югу и пробиваться в знакомые места, к родному местечку, где у него оставалась мать с двумя малолетними детьми. А там будет видно. Агеев поначалу заколебался. Не очень ему подходило такое спасение, все-таки шла война, они были командиры, хотя и раненые и отбившиеся от своей разгромленной части, но все же... «Смотрите, как хотите, — не очень настаивал Молокович. — А то как бы в плен не загреметь». Пленных они уже видели на шоссе под Лидой, сами чудом избежали плена, как-то увернувшись от немецких автоматчиков, прочесывавших поле боя, и Агеев решился. В тот же день свернули в сторону этого местечка.

Далеко над лесным горизонтом, закутанное в багряную дымку, заходило красное солнце, на поле стало прохладнее, жажда чуть убыла, а дрема, с которой Агеев изо всех сил боролся под этим кустом, прошла без остатка. Теперь он не боялся уснуть, он чутко прислушивался к редким малопонятным звукам, доносившимся сюда из местечка. Молодой женский голос несколько раз нараспев повторял что-то, и он догадался: это звали домой ребят. Однажды звучно крякнула низко пролетавшая утка, и он встрепенулся от испуга — так измучился за день в тиши и ожидании. Близко раздавшийся протяжный коровий рев заставил его осторожно выглянуть из стеблей — по дороге к местечку гнали небольшое стадо из десятка разномастных коров. За стадом поднималось облачко пыли, давшее Агееву понять, что там проходила гравийка или большак, проселок бы так и не пылил. Но за полдня там не видать было ни одной машины, и Агеев подумал: а вдруг немцы еще не добрались до этого местечка? Может, их там еще и нет. Это было бы здорово, в таком случае им бы наверняка повезло. Вот только куда запропастился Молокович?

С Молоковичем они были из одной части и перед самой войной недолго служили вместе. Такая была служба у старшего лейте-

ианта Агеева, особеиио в тревожные недели кануиа войны, что ои мало иаходился в полку, разве заскакивал на нечастые полковые совещаиия, а больше пропадал иа складах боепитания, своем и дивизионом, обеспечивал полк боезапасом. Работы у начбоя было по горло. Несколько видов патронов к стрелковому оружию, ручные граиаты всех марок, снаряды к полковым пушкам, винтовки, пулеметы, запчасти и ремонтная техника — все это перестраивалось, переиначивалось, реорганизовывалось на ходу, по-новому, согласно новым инструкциям и указаниям. Времени же на все было в обрез, штабы и командиры понимали это и спешили, не ведая ии сна, ни отдыха. Кровь из носа, а было приказано назапасить три БК[1] для всего вооружения и пять БК для противотаиковых пушек. Наличные склады ие вмещали всю пропасть штабелей и ящиков, приходилось строить временные хранилища, возить за много километров строительные материалы, людей. Лейтенант Молокович прибыл в полк за три дня до начала войны после ускореиного выпуска из военного училища и был иазначеи комаидиром батальонного взвода связи. По службе в полку Агеев с иим почти ие встречался, разве что несколько раз видел его во время полковых построений, этого тонкошеего лейтенантика в новеньком командирском обмундировании, с хрустящей портупеей через плечо. И уж никогда не думал начбой, что воеиная судьба сведет их вместе, да еще в такой горький час. Коиечио, Агеев понимал, что он представляет собой немалую обузу для этого быстрого молодого лейтеиаита, которому без иего, наверное, повезло бы больше, он мог бы делать и по шестьдесят километров в сутки и, может, давио бы уже достиг линии фронта. Но он не мог оставить раненого Агеева, поддерживая его в пути, заботился о ночлеге и пропитании, сам едва смиряя свое молодое нетерпение. Агеев видел это, молчал и, в общем, был благодарен своему младшему другу.

Молокович пришел уже в сумерках. Агеев, не скрываясь, стоял во ржи, опершись иа виитовку, и, услышав поблизости торопливые шаги, сделал попытку присесть. Но в тот же момент, закрытый по пояс рожью, откуда-то сбоку вынырнул Молокович.

— Фу ты!.. Думал, не дождусь, — сказал Агеев с явным облегчением и почувствовал, как сразу расслабился после продолжительного тревожного напряжения.

— Так, понимаете, в притемках лучше. Безопаснее, сами понимаете.

Молокович остановился перед Агеевым, устало сдвинул с потного лба непривычную, с длинным козырьком кепку; на нем уже был куцый поношенный пиджачишко со сморщенными бортами, какие-то вытянутые на коленях портки и калоши на босу ногу. Заметив, что Агеев оглядывает его, Молокович сказал:

— Переоделся. Чтобы лишние глаза не мозолить.

— А как немцы? — спросил Агеев о главном, что его сейчас беспокоило.

[1] БК — боекомплект.

— Никаких вам немцев. Приезжали и поехали. Правда, полицию поставнлн.

— Вот как! И много?

— А черт их знает. Но есть. Школу и амбулаторню занялн. Это возле церквн.

— А пройтн как?

— Да уж пройдем как-ибудь. И это... Понимаете, — Молокович отвел глаза, огляделся, и Агеев поиял: что-то у него не заладилось. — Поиимаете, у меия не очеиь... Ну, сосед в полнции. Там мы вам другое место сосватали. У тетки одной...

Агеев с облегчением вздохнул — у тетки так у теткн, ему главное, чтобы подлечить раиу, долго он тут не задержится. Все-таки положение их было неопределеиным, с непредсказуемыми последствиями, и он старался много о том ие думать. Главное, чтобы куда-нибудь скрыться, заползти в подходящую конуру, зализать раны, с которымн оба они не вояки. А потом будет видио. Потом они подадутся к фронту.

— Про фроит ие слыхать?

— Говорят разиое. Немцы передали, что уже Москву взяли, — неохотно ответил Молокович.

— Ого! Куда хватили!

— Всякое говорят. Но толком никто ничего не знает.

— Да... Ну что ж, пошли?

— Погодите, — бодрее сказал Молоковнч. — Понимаете, с оружнем не годится. С оружием остаиовят и... сами поннмаете.

Агеев молчал, что он мог сказать? Коиечно, попадаться с оружием ему не хотелось, ио и расставаться с ним в такое время тоже было иепривычно и боязио.

— Надо запрятать, — сказал Молокович. — Вот хотя бы и здесь. А что, куст — приметио.

— В земле?

— В земле, конечно. У меия вот холстина, завернем. На пока...

Агеев помолчал, подумал. Для него, который всю службу пекся о чистоте н исправности оружия, зарывать сейчас в землю винтовки было против совести. Но он вспомнил, сколько нх осталось иа полях боев, на складах и базах, захваченных немцами, и только вздохнул.

Широким немецким тесаком ои вырыл узкую канавку на самом краешке ржи под межой, Молокович обериул холстиной две виитовки — иашу, образца 91/30 года и новенькую немецкую с поцарапаниой ложей, — они устроили их в ямке и уже в темноте засыпали сверху землей. Потом утоптали землю ногами, забросали травой.

— Ну а пистолеты уж мы как-нибудь, — сказал Молокович.

У них было два пистолета — иаших вороненых «ТТ» с пластмассовыми накладками на рукоятках. Днем, уходя в местечко, Молокович свой оставил Агееву, а теперь подобрал с телогрейки и суиул в карман брюк. Потертую кожаиую кобуру, размахнувшись, забросил подальше в картошку.

— Пошли!

Агеев подхватил телогрейку и, сильно хромая, пошел за товарищем. Уже вовсе стемнело, вокруг в притуманенном пространстве поля было полно непонятных пятен и теней, вызывавших неясную тревогу в душе. Но Молокович уверенно шел по картофельной борозде впереди, Агеев старался от него не отстать. Но все-таки отставал, больная нога плохо слушалась и все время задевала за разросшуюся картофельную ботву, он оступался, не попадал в борозду и злился на себя, не решаясь окликнуть товарища.

Уже в совершенной темноте они подошли к крайним домам местечка, свернули на стежку. Где-то во дворах между деревьями посверкивал красный огонек и расходился щекочущий ноздри запах подгоревшей картошки, который напомнил Агееву, как он давно хочет есть. Но до еды, наверно, было еще далеко. Низко нагнувшись, они пролезли между двумя нитками колючей проволоки и пошли по заросшей тропинке мимо чьей-то усадьбы с длинным дощатым забором, потом прошли берегом ручья под деревьями и в конце огородов вышли к дороге. Далее следовало перейти на ту сторону. Там домов больше не было, справа лежало темное поле, а впереди пучился разрытый пригорок, и Агеев не сразу рассмотрел в нем тот самый карьер, который потом сыграет столь роковую роль в его жизни. Но это гораздо позже, а в тот раз Агеев едва заметил его в темноте, они прошли вдоль каменной ограды кладбища под хмуро молчавшими в ночи деревьями и снова спустились по огородам в низкое сыроватое место, похоже, овраг, заросший ольхой и орешником.

— Осторожно, держитесь за жердку, — предупредил Молокович, сам с осторожностью ступая на узкую доску кладки.

Агеев благополучно перешел за ним через черный, шумевший внизу ручей и узенькой, потерявшейся в лопухах тропинкой на меже двух огородов вошел под низко нависшие ветки деревьев. Рядом темнели крыши каких-то построек.

— Так... Постойте тут.

Почувствовав, что их путь подходит к концу, Агеев вздохнул и с облегчением расслабил ногу. Молокович ненадолго исчез, и погодя в отдалении послышался тихонький стук в окно, потом несколько невнятных слов. И вот он уже взял Агеева за руку и в кромешной, непроницаемой темноте куда-то повел через двор. Похоже, однако, они очутились в сарае, наткнувшись на что-то громоздкое, перелезли через высокий порог распахнутой двери. По-прежнему вокруг было совершенно темно, пахло душной смесью сарайной затхлости и сена или, возможно, каких-то сушеных трав и еще чем-то, чем пахнет обычно в старых непроветриваемых помещениях.

— Вот, идите сюда...

Наткнувшись в темноте на Молоковича, Агеев нащупал возле себя что-то похожее на топчан и устало опустился на шуршащий сенник, покрытый жесткой дерюжкой.

— Ну вот и добро. Тетка Барановская накормит.

— Ладно. Спасибо...

— И не беспокойтесь. Все хорошо будет.

— Ну что ж...

Тетка, похоже, также находилась тут, но она не произнесла ни слова, и Агееву стало неловко — все-таки хотелось знать, как она отнесется к такому постояльцу. Ведь могла и не согласиться, и запротестовать или хотя бы затаить недовольство в душе. Но тетка молчала, и Молокович тихо спросил, обращаясь в темноту:

— Поесть найдется чего?

— А там стоит, — послышался немолодой сдержанный голос, который вовсе не развеял опасений Агеева, скорее усилил их, таким он казался сухим и даже раздраженным.

— Ах, вот тут... Хлеб, огурцы. Вот перекусите... Ну так лежите. На днях повидаемся, — тихо сказал Молокович.

— Добро.

— Так до свидания, начбой!

Как-то совершенно неслышно, не стукнув и не скрипнув ничем, оба они ушли, вокруг стало тихо и глухо, и Агеев впервые подумал, не окажется ли это пристанище западней. Всегда он очень боялся, как бы силою обстоятельств не оказаться загнанным в угол без малейшей возможности к победе или отступлению. Но вот, похоже, оказался именно в такой ситуации. Что стоит этой тетке Барановской позвать полицаев, и его, хромого, скрутят в два счета, сведут в полицию. Могут застрелить, могут отправить в лагерь для военнопленных. Конечно, тетка о нем ничего не знала, он не сделал ей ничего скверного, но ведь своя рубаха каждому ближе к телу, особенно в такой час. Зачем рисковать головой этой молчаливой тетке, которая наверняка знает, что ей грозит за укрывательство пришлого красноармейца?

Совершенно загнанным и беспомощным почувствовал он себя в эту летнюю ночь с гноящейся раной, по доброй воле или по глупости давший себя запереть. Правда, у него был пистолет и два полных магазина к нему, на худой конец, можно было застрелить пару немцев и себя пристрелить тоже. Ну а если до этого не дойдет, как тогда? Как следовало держать себя перед полицаями, за кого выдавать? На нем была командирская форма, сильно заношенная и засаленная гимнастерка и синие диагоналевые бриджи, портупею он сбросил, когда они остались вдвоем с Молоковичем, но на красных петлицах было три прежних эмалевых кубаря — за кого же он мог себя выдать? Молокович предусмотрительно переоделся; на время, разумеется, повидимому, будет разумнее переодеться в гражданское и ему, но много ли поможет гражданская одежда? Наверно, к ней нужны еще и гражданские документы, а где их взять?

Предчувствие скверного овладело Агеевым в этом темном закутке. Скоро, однако, чувство голода взяло верх, он нащупал на низком столике-ящике кусок черствого хлеба, несколько огурцов в миске и с жадностью стал есть, хрустя огурцом, пока от хлеба не остался маленький кусочек, наверно, его следовало

бы оставить на завтра, подумал Агеев. Тем не менее он не мог остановиться и незаметно для себя сжевал все без остатка.

Похоже, тут же и уснул — забылся тревожным, тяжелым сном до рассвета.

Раскрыв утром глаза, Агеев увидел над собой низкий, сколоченный из горбылей потолок, из таких же горбылей были и стены, светившиеся теперь множеством щелей и дыр. Агеев огляделся. Это был крохотный сарайчик-времянка, пристроенный к бревенчатой стене хлева или сеней, куда вела низкая дощатая дверь, запертая на деревянную щеколду-закрутку. В одном конце его помещался топчан, на котором он проспал ночь, с покрытым дерюжкой ящиком возле ног, в другом лежал ворох свежего сена, и у стены сидела на гнезде серая курица, одним глазом пристально наблюдавшая за ним. В многочисленные щели бил солнечный свет, кое-где снаружи проглядывало освещенное солнцем сорное разнотравье, буйно разросшееся в огороде. Было тепло, покойно, где-то вдали прокричал петух. Агеев попытался встать и едва не вскрикнул от боли — повязка на ноге сбилась, штанина присохла к ране. Он сел на топчане и, спустив брюки, обнажил болезненную, ставшую как бревно ногу, которая вся вздулась, побагровела выше колена; по грязной, в подтеках коже из раны сползло несколько мутных капель. Он стер их ладонью и вдруг испуганно замер: в неровных, набрякших гнилой сукровицей тканях шевелился крошечный белый червь, рядом другой. Агеев с испугом раздвинул подсохшие края раны и увидел в ней множество крохотных шевелящихся тварей. Содрогаясь, будто в ознобе, он кончиком соломины стал выколупывать их, то и дело стряхивая на пол. Его не покидало испуганно-брезгливое чувство оттого, что живое человеческое тело пожирали эти копошащиеся паразиты. Но что он мог сделать? Все последние дни их бесприютного блуждания по лесам и дорогам у него не было даже бинта, чтоб перевязать рану, так вот и шел по жаре, нога с каждым днем распухала все больше, гноилась; не удивительно, что в ране завелись черви.

Слегка подрагивающими руками Агеев поправил повязку, перевернув тряпку сухой стороной, напряженно размышляя при том, как ему быть с этой раной, как лечить ногу. Без Моловича он ничего не сделает, но вчера они даже не условились, когда Молокович навестит его снова. Видно, понадобится доктор. Только найдется ли тут какой-нибудь лекарь, на которого можно было бы положиться?

Стараясь не очень возиться на сеннике и не шуметь, он беспрестанно вслушивался во все звуки снаружи. Но снаружи вроде все было тихо. Вдруг совершенно неожиданно для него дверь растворилась и через порог переступила маленькая пожилая женщина в длинной юбке и темном, низко повязанном платке, чем-то напомнившая ему монашку. Обе ее руки были заняты ношей — закопченным чугунком, из которого приятно запахло

свежесваренной, с укропом картошкой. Агеев осторожно подобрал раненую ногу.

— Вот завтрак вам, — сказала женщина, сухо поздоровавшись, и Агеев догадался, что это его хозяйка.

— Спасибо.

— Кали ласка. Молоко в кувшине.

— Спасибо.

Он думал, что она задержится, спросит о чем-либо или что-либо скажет, но тетка быстренько и молча повернулась к двери. Боясь, что он ее не скоро увидит, Агеев поспешно окликнул:

— Одну минутку! Если можно.

Хозяйка обернулась. Ее маленькое сморщенное личико с плотно поджатыми губами мало что выражало, и лишь во взгляде промелькнула твердость, близкая к суровости.

— Понимаете, мне бы доктора. Рана у меня, понимаете?..

Мельком взглянув на его вытянутую вдоль топчана распухшую ногу с мокрым пятном на продырявленной осколком штанине, хозяйка тихонько вздохнула и молча выскользнула из сарайчика, плотно притворив за собой дверь. Недоуменно выждав минуту, Агеев потянулся к ящику в ногах, где дразнящими запахами исходила горячая картошка.

Завтракая, он старался не думать о ране, но и не мог отделаться от скверного, испуганно-брезгливого чувства, вызванного ее осмотром. Беспокойство его не проходило, думалось разное, но больше тревожное, с печальным концом. Если бы не эти черви, то с болью он бы как-нибудь сладил, боль уже потеряла остроту, он к ней притерпелся, ходить было трудно, но можно — прошел же он километров сто двадцать, наверно, смог бы пройти и еще. Но как бы не началось заражение, если завелись черви. К тому же в ране мог остаться осколок, а с ним дело плохо, с осколком хорошего не дождаться. Как бы не застрять тут надолго или вообще не сыграть в ящик. Он все время прислушивался к разрозненным, порой неясным, обманчивым звукам извне — ждал хозяйку. Должна же она зайти в этот закуток, как-то помочь ему. При этих мыслях он с грустью усмехнулся: дожил, называется, начфбой — до полной зависимости от какой-то местечковой тетки! Но ведь действительно все теперь складывалось так, что судьба его определялась отношением к нему этой тетки. Превратная военная судьба, поставившая в его жизни все с ног на голову. Да и только ли в его жизни?

Запивая простоквашей из кувшина, он быстро проглотил картошку, дожевал хлеб — в этот раз всего небольшой ломоть. Поблизости все было тихо, за стеной лежал огород, обросший по межам лопухами и крапивой, улица была в отдалении, на том конце усадьбы, и с нее почти не проникало сюда никаких звуков. В покойной тиши дома он сразу услышал осторожные шаги в сарае — дверь нешироко приотворилась.

— Вот переодеться вам.

Хозяйка положила на конец его топчана небольшой сверток, развернув который, он обнаружил черную сатиновую рубаху,

красиво вышитую по аоротинику синим шелком. «Что ж, спасибо!» — а мыслях запоздало поблагодарил Агеев, так как тетка уже скрылась за затвореиной даерью. Пожалуй, она была ему в самый раз, эта иарядиая сорочка, но он помедлил сиимать саою измятую пропотевшую гимнастерку, столько вынесшую аместе с ним за лето. Это было обычное хэбэ с накладными карманами и красными командирскими петлицами, а которых мерцало по три рубииовых кубика. Третий кубик привинтил только за три месяца до начала войиы, а ждал его три долгих года — в течение асей саоей командирской службы после училища. На рукавах краснели углами галуны-иашивки, соответствующие его зваиию. И аот от всего этого приходилось отказыааться, менять на какую-то гражданскую рубаху с цветочками по воротнику. Но, аидно, поменять придется, иначе как ему аыйти отсюда в этом его командирском обмундироаании?

Он решительно стянул с себя гимнастерку, аыбрал из карманов документы, подумав, сунул их под сенник. Потом накинул мягкую, приятно облегшую тело рубаху, аорот застегиаать не стал, подпоясываться тоже. Гимнастерку аместе с ремием и пистолетом положил а изголовье. Теперь из аоениого обмуидирования на нем оставались только темио-сиийе комаидирские бриджи. Разношенные яловые сапоги аполне могли сойти за гражданские, о сапогах ои не беспокоился. А о брюках побеспокоиться все же придется, брюки могли его подаести.

Ему давио хотелось аыйти во двор, ио он медлил в нерешительности, прислушивался. Было неизвестно, кто тут обитает поблизости, кто еще есть у этой Барановской. Кого ему следовало опасаться? Все-таки нелюдимая она какая-то, эта его хозяйка, подумал Агеев, нет чтобы рассказать самой, аидно, придется расспрашивать. Расспрашивать он не любил, особенно малознакомых. Впрочем, как и рассказывать о себе. Общение без нужды не доставляло ему удоаольстаия, наверио, под стать ему попвлась и его хозяйка.

Ои еще не набрался решимости покинуть на аремя саое пристанище, как за стеной в сарае послышалось даижение, сдержанные голоса, дверь широко растворилась, и череэ высокий порог перешагиула немолодая полиогрудая жеищина а черном жакете, с собраииым иа затылке узлом седоаатых аолос. Испытующе взглянуа на него, оиа густо дохнула махорочным дымом от самокрутки а зубах и поставила на ящик небольшой обшарпанный сакаояжик.

— О, где он устроился! Хорошо, свежий воздух, правда? Ну, здрааствуй, парень!

— Здравствуйте, — слегка смущенно сказал Агеев, приподнимаясь иа топчане. Он не сразу понял, за кого она его принимает, но ее простота а обращеиии иастраиаала на легкий, общительный лад.

Хозяйка молча стояла у порога, незнакомка еще раза даа аторопях затянулась и, бросиа окурок наземь, старательио затерла его ботиком.

— Ну так что? Бо́лечка?

— Да вот немножко, — сказал Агеев, догадываясь, что, по-видимому, это докторша.

— Немножко — пустяки. Теперь немножко не считается.

Подойдя к топчану вплотную, она обхватила его ногу у щиколотки и резко согнула в колене. Агеев дернулся от боли.

— Да-а, — неопределенно сказала женщина. — Барановская, несите воды.

— Теплой?

— Горячей. И полотенце тоже.

— Сейчас принесу, Евсеевна.

Хозяйка выскользнула за дверь, Евсеевна, раздумывая, выждала немного и, изучающе уставясь на него, спросила:

— Военный?

— Военный, — сказал Агеев, глядя в ее настырные, казалось, всевидящие глаза. Под взглядом таких глаз говорить неправду было рискованно, он почувствовал это сразу.

— Ох-хо-хо, хо-хо! — горестно произнесла женщина, скорее, однако, в ответ на какие-то свои мысли. — Ну, снимай штаны.

— Совсем?

— Совсем. Чего стесняешься? Или больно стеснительный?

— Да я ничего, пожалуйста, — сказал он и, сидя, с преувеличенной решимостью стащил измятые брюки.

Евсеевна тем временем раскрыла свой саквояж, позвякивая инструментами, достала большие ножницы. Он принялся развязывать свою повязку, но докторша, ловко поддев ее, разрезала пополам и брезгливо отбросила в сторону.

— Да-а, картинка!

— Картинка, — согласился Агеев. — И, знаете, черви!

Он думал, что это его сообщение удивит или даже встревожит докторшу, однако на полном нахмуренном лице ее с темными усиками над верхней губой не дрогнула ни одна жилка, видно, ее занимало другое.

— Червячки — это ерунда! — сказала она, несколько раз ковырнув рану длинным пинцетом. — Червячки — это даже неплохо.

«Что же может быть хуже?» — раздраженно подумал Агеев.

— Но, знаете, я испугался...

— Не надо пугаться. В жизни вообще вредно пугаться. В войну тем более. Вот так, молодой человек!

— Это конечно.

— Вот именно. Осколок? — она снова испытующе посмотрела ему в глаза.

— Осколок.

— Это похуже. Придется рассечь.

— Что рассечь? — не понял Агеев.

— Рану, конечно. Барановская! — хриплым баском позвала докторша, обернувшись к двери.

Молча зайдя в сарайчик, хозяйка поставила наземь чугунок с водой, положила на ящик чистое полотенце и отступила к

двери, спрятав под темиый передиик малеиькие сухие руки. Евсееана отерла полотенцем вокруг раиы, Агеев слегка поморщился — прикосновение ее рукн отозвалось ощутимой болью.

— А ну ляг и отвериись, — прнказала докторша. — Нечего смотреть, не маленький.

Он аытянулся на топчане, слегка отвернуа голову, вперив взгляд а щелястую стену. Евсеевиа готовилась к операцнн — остро запахло лекарстаом, нашатырем, звякнули металлнческие нниструменты в саквояже.

— Сейчас мы тово... Это дело прсстое. Не успеешь почувствовать...

Острая боль в ране до кости проинзала ногу, Агеев дериулся, скрипнул зубами.

— Что, больио? — недовольио оборвала его стон Евсеевна. — Неври! Это ие больно. Это ерунда, комариный укус.

Он сиова дериулся от такой же проинзывающей болн, но удержал себя, чтобы не застоиать, закусил губу.

— Так, так... это ерунда... Да, тут набралось... Почистить надо. Так, это туда, это сюда... — приговарнвала Евсеевна, ковыряясь в раие, н Агеев собрал в себе все снлы, чтобы стерпеть без стона. Больио было зверски, асю ногу до кончиков пальцев резала глубинная боль, но, кажется, он стерпел. — Во-о-о-от! — довольно протяиула докторша. — А теперь будет немножко того... Вроде комарнного укуса будет. Может, чуть больше.

Не сразу сообразив, что оиа имеет в внду, Агеев на секунду расслабился, и в тот же момент резкий болевой удар мощно отдался во всем теле. В глазах у него померкло, он напрягся, обеими руками вцепившись в края топчана, словно боясь сорваться с него. И новый удар повторился, потом что-то в ноге потяиулось, напряглось н вдруг разом высвободилось.

— Вот, полюбуйся, какая железяка!..

Весь в холодном поту Агеев приподнял голоау — Евсеевна в кончике пиицета держала перед ним небольшой продолгоатый осколок с зазубренными краями.

— Хорошо, что кость не задел. Еще бы на сантиметр — н плохо было бы твое дело, сынок, — сказала Евсеевиа и шаырнула осколок в угол за сеио.

Агеев лежал, к своему удивлеиию, совершенно лншенный сил, отирая с лица обильио стекавший пот, руки его мелко тряслись, и он едва выдавил нз себя «спасибс». Хозяйка его, которая в течеиие всей операции стояла за спиной докторши, все прнговаривала что-то, чего он не мог расслышать, н Евсеевна ее оборвала:

— Да перестаньте вы, Бараиовская! Больно! Что это за боль! Для такого мужика!

— Что ж, что мужнк? Всем больио, — тихо отозвалась Барановская.

Докторша между тем обрабатывала рану. Бросая на пол окроваавленные клочкн ааты, обтерла ногу, потом засунула а свежий

разрез раны мокрый леденящий тампон и, ловко орудуя сильными руками, туго перевязала бедро.

— Вот так! Скоро танцевать будешь.

Побросав в раскрытый саквояж инструменты, она присела в ногах и принялась сворачивать цигарку. Барановская тем временем прибрала чугунок, полотенце и, хотя было тепло, накинула на обнаженные ноги Агеева старенький вытертый кожушок.

— Это что за боль! — выдохнула Евсеевна густым дымом. — Вон Султанишку молодую спасала. Полночи возилась, пришлось сечение делать. С этими вот инструментами! Парень на пять кило вывалился, а Султанишка, вы же знаете, — муха! Соплей перешибешь.

— Жить хотя будет? — насторожилась Барановская, хмурясь своим морщинистым личиком.

— Ни черта ей не сделается. Бабы живучие.

— Не говорите, Евсеевна. Бабы ведь тоже люди.

— Люди, конечно! — вздохнула докторша. — Но теперь вон беречь мужиков надо. Война идет!

— Беречь всегда всех надо. Каждому одна жизнь суждена,— сказала Барановская мягко, но с заметной убежденностью, на которую докторша уже не возразила.

— Если бы ваши слова да богу в уши. Чтобы он остановил этих варваров.

— Он не остановит. Это уже дело мирское.

— Вот я и говорю. Мужики должны, — сказала докторша и умолкла.

Агеев глядел сбоку на полную, грудастую фигуру Евсеевны и не знал, как благодарить эту женщину. Он уже понял, что она акушерка. И, если бы он понял это сразу, еще неизвестно, дался ли бы он ей для операции. Но теперь, так или иначе, дело было сделано, самая острая боль осталась позади, а главное — извлечен осколок, который едва не оставил его без ног...

— Спасибо, доктор, большое...

— Не за что. Бог отблагодарит. Да вон Барановская. А ну, гражданка, гоните десяток яиц, — с нарочитой грубостью сказала Евсеевна и засмеялась.

— Яиц нет, всего одна курочка осталась, но чего-нибудь поищу, — подхватилась хозяйка.

Однако Евсеевна тут же остановила ее грубым голосом:

— Ладно, не старайтесь! Обойдусь без яиц. Вон у вас есть кого яйцами кормить.

Нещадно дымя самокруткой, она повернулась к двери, но, прежде чем выйти, вынула изо рта цигарку:

— Ну, поправляйся. На днях загляну. Перевязка потребуется.

Он кивнул на прощание, и обе женщины вышли, впереди самоуверенная Евсеевна, за ней черной мышкой бесшумно прошмыгнула его хозяйка. Агеев остался один. В сарайчике потемнело, лучи в щелях исчезли, солнце, наверно, повернуло за угол. Нога зверски болела от колена до верхушки бедра, но те-

перь появилась надежда, и он думал, что, может, еще как-нибудь обхитрит судьбу и вырвется из ее кровожадных когтей.

Остаток того дня он мучительно боролся с болью, которая властно охватила всю ногу — от стопы до бедра. Его стало познабливать — похоже, начинался жар. Кажется, так не болело даже в первые часы после ранения, или, быть может, в горячке разгрома он не замечал боли, все время находясь в действии, в лихорадочной смене событий. Теперь же события отошли в прошлое, Агеев обрел хотя и тягостный, но все же относительно безопасный покой, и потревоженная рана отозвалась резкой злой болью. После ухода Евсеевны он глубже натянул на себя кожушок и так лежал в полудреме, временами содрогаясь от озноба. Дверь несколько раз тихонько приотворялась, но он не раскрывал глаз, и дверь опять бесшумно затворялась — тетка Барановская не хотела его тревожить. Однажды, раскрыв глаза, он обнаружил на ящике в ногах прикрытую чистой тряпицей миску, горбушку хлеба возле нее, но подниматься не стал, было не до еды. На несколько минут он забылся или заснул горячечным, полным знойного тумана сном и опять проснулся оттого, что, как ему показалось, в сарайчик кто-то вошел. Он поднял странно отяжелевшие веки и не сразу понял, что это хозяйка, которая, сцепив на переднике руки, тихо спрашивала:

— Может, вам супчику сварить? Картошки?

— Нет, спасибо. Водички...

— Водички? Я счас.

Она выскользнула из сарайчика, и Агеев снова заснул или впал в забытье, когда действительность тонет в туманной суете теней, откуда-то из дальних закутков памяти выплывает прошлое, все странно перемешивается в мутном сознании, лишая его конкретности и определенности. В этом тумане откуда-то вышел командир стрелкового полка майор Попов, который неизвестно куда пропал во время их ночного прорыва из-под Лиды. Теперь он был в полной командирской форме с двумя кавалерийскими портупеями на плечах, планшеткой, противогазом на широкой матерчатой лямке через плечо и решительно командовал батальонами, стоя по пояс в ровике на высотке с кустарником. Агеев, находящийся тут же, несколько раз порывался доложить майору, что их окружают немцы, но почему-то не мог найти в себе силы произнести эти несколько слов, а майор гневно распекал кого-то за перерасход боеприпасов, за то, что стреляли, черти, не по тем мишеням. Между тем Агееву было видно, как по полю бегут немецкие автоматчики, они были уже рядом, а майор все не мог замолчать, и у Агеева словно отнялся язык — он не мог произнести ни слова. Он очень страдал, мучительно переживая свою непонятную немощь в предвидении того, что неминуемо должно было произойти на КП. Чтобы не стать свидетелем катастрофы, усилием воли он вырвал себя из

сна и с облегчением понял, что все это было за пределами действительности, все неправда, потому что приснилось.

За стенами его сарайчика, похоже, смеркалось, постепенно догорал летний день, в сумерках едва брезжили низкий прямоугольник двери в стене, несколько посудин на ящике в конце топчана, среди которых он различил кувшин и кружку. Очень хотелось пить, во рту все иссохло, но, кажется, озноб миновал, и он попытался встать, чтобы напиться. Это ему удалось, хотя и не с первой попытки. Стараясь как можно меньше тревожить ногу, он дотянулся до ящика, напился из кувшина, потом обессиленно откинулся на топчане и прикрыл глаза.

С майором Поповым у него были непростые отношения. Иногда Агееву казалось, что злее человека, чем их командир полка, трудно отыскать на свете, иногда майор производил такое сердечное впечатление, что хотелось общаться с ним, не расставаясь. Он весь был на виду, этот майор Попов, и свои эмоции всегда выражал с предельной естественностью, хотя частая и резкая смена их, особенно в боевой обстановке, нередко озадачивала подчиненных. Впрочем, в те дни, когда он командовал полком, подчиненных в гораздо большей степени озадачивала обстановка, в которой оказался полк, дважды занимавший оборону и дважды оставлявший ее к концу дня. Немецкая авиация жестоко бомбила тылы, дивизия лишилась снабжения, и, когда к исходу третьего дня стало ясно, что они в окружении, все перемешалось и перед фронтом полка, и, что особенно было скверно, в ближних тылах, забитых отступающими частями, тыловыми подразделениями, гражданским населением, бегущим от немцев. Полк нуждался в боеприпасах, и после длительных поисков в ближних тылах Агееву удалось наткнуться на неизвестно кому принадлежавший артсклад, расположенный в укромном, очевидно, пустующем фольварке, который, однако, нещадно бомбили немцы, что, впрочем, и указало на него Агееву. Свернув на полуторке с пыльной гравийки, Агеев подъехал к этому фольварку, когда там все горело — хозяйственные и жилые постройки, конюшни, поодаль в дымящихся развалинах лежал каменный дом, и немецкие самолеты, учинившие этот разгром, один за другим уходили над лесом на запад. Остановив в начале липовой аллеи свою полуторку, Агеев побежал разыскивать начальство склада, но нигде никого не мог отыскать, длинные штабеля боеприпасов в конце яблоневого сада были разбиты и разбросаны среди деревьев, некоторые горели, и всюду стлался горький удушливый дым пожарища. Вдвоем с водителем автомашины Агеев принялся таскать из обгоревшего штабеля ящики с винтовочными патронами, прихватил несколько ящиков гранат, которые ему подвернулись под руку. Однако не успели они загрузить и половину машины, как самолеты налетели снова. Передний пикировщик, включив сирену, с оглушающим воем ринулся на горящий фольварк и высыпал серию бомб на еще уцелевшие штабеля боеприпасов. Другие сыпанули свой груз на аллею, где в тени лип пряталось несколько пустых грузовиков;

две машины сразу же загорелись, одна была отброшена взрывом с дороги и завалилась набок в канаве. Сотрясая воздух, взрывы бомб, казалось, до преисподней взламывали землю, в воздухе носилась пыль, опадали комья земли, вихрями взмывала опаленная листва лип. По существу, это была первая серьезная проба огнем, в которую попал Агеев; порой страх в нем граничил с ужасом, близкие разрывы бомб причиняли прямо-таки физическое страдание. Агеев начал забывать, где он и что с ним происходит, и только в глубине его смятенного сознания жило, ни на минуту не покидая его, чувство цели, невыполненной задачи, которую он должен выполнить. И он, то падая, то вскакивая, отбрасываемый в стороны разрывами, все-таки загрузил машину в беспорядке набросанными в кузов ящиками и погнал ее в полк. На его счастье, водитель попался с опытом — немолодой уже человек, прошедший войну с белофиннами. Сцепив зубы, он безропотно выполнял все команды Агеева и уверенно вел машину по разбитой дороге. В поле их обстреляли, несколько минных разрывов по обе стороны от дороги обсыпали машину комьями земли, но все-таки они благополучно проскочили открытое место и вскоре достигли деревни, которую оборонял полк. На скотном дворе с оборой[1] их уже ждали подносчики боеприпасов из батальонов, сразу же обступившие машину. Но не успели они ее разгрузить, как деревня подверглась жесточайшему артналету — хорошо, что под каменной стеной оборы были вырыты щели, в одной из которых нашли пристанище Агеев и шофер. Он уже не надеялся остаться в живых. Два снаряда попало с противоположной стороны в обору, но ее каменные стены выдержали, защитив собой бойцов в щелях и даже полуторку, предусмотрительно подогнанную к самой стене. Когда все немного утихло и бойцы повылезали во двор, Агеев стал приводить себя в порядок, отряхиваясь от пыли и песка, набившихся во все складки одежды. В это время возле оборы появился молодой красноармеец с винтовкой, в высоко навернутых на худые колени обмотках — командир полка вызывал его на КП. Командный пункт майора Попова располагался на той стороне деревни, в конце огородов, прошлой ночью Агеев ходил туда и теперь по истоптанным и изрытым воронками грядкам побежал напрямик к знакомому ровику под двумя грушами.

Командир полка был в глубокой запыленной каске, скрывавшей глаза, но по тому, как вся его тщедушная фигурка в ровике напряглась при виде подбегавшего Агеева, тот понял, что этот вызов добром для него не кончится. Сзади в деревне снова начали рваться мины, слышался заливистый стук пулеметов в поле, частая стрельба, особенно справа, где к ржаному полю близко подступала сосновая опушка леса. Агеев свалился в ровик рядом с командиром полка и не успел еще доложить о прибытии, как майор сразил его убийственно грубым вопросом:

— Ты начбой или тупая жопа?

[1] Обора — коровник.

Агеев молчал, лихорадочно соображая, где допустил промах, а командир полка все с большим ожесточением повторял свой скабрезный вопрос. И тогда стало ясно, что отвечать на него нет надобности — следовало молча получить взыскание. Но за что? Начальник штаба полка, оторвавшись от телефона на дне ровика, так же с гневным осуждением сообщил:

— Во втором батальоне тоже — два ящика с рукоятками и ни одного с головками.

Наконец Агеев понял, где допустил оплошность, которая ему может дорого стоить: не разобравшись, он погрузил в машину несколько ящиков с рукоятками от «РГД», ящики же с головками остались на складе, наверное, в другом или разбомбленном штабеле. Согласно инструкции хранения боеприпасов в мирное время обе части разборных гранат надлежало держать раздельно — во избежание диверсии.

— Вы обезоружили полк! Вы сорвали оборону! Вас надо под трибунал! Я вас сейчас расстреляю!..

Майор схватился за кобуру, пытаясь выдернуть из нее пистолет. Агеев, не шелохнувшись, стоял напротив, готовый принять любой приговор, он и в самом деле не находил себе оправданий. Но в этот момент начштаба склонился к телефонному аппарату и встревоженным голосом окликнул командира полка:

— Вас ноль-первый!

Агеев не знал, кто был ноль-первый, но сразу почувствовал, что это была передышка, почти спасение. Майор с пистолетом в одной руке потянулся к трубке, а начштаба решительным жестом дал Агееву знак, чтобы тот немедленно убирался. Не заставляя себя уговаривать, начбой, пятясь, перешагнул через склоненную спину связиста и скрылся за поворотом ровика. Потом он выпрыгнул на открытое место и по истоптанному огороду побежал к оборе. Он уже знал, что должен был сделать, чтобы если не обелить себя целиком, так хотя бы смягчить приговор майора Попова.

Обстрел деревни между тем продолжался, мины с душераздирающим воем проносились над головой и рвались между хат, на огородах и особенно густо на выезде из деревни, где находилась его полуторка. К счастью, она была цела, и Агеев, крикнув водителю, вскочил в кабину. Они быстро развернулись на закиданном землей скотном дворе и, не обращая внимания на обстрел, понеслись по гравийке к горящему за лесом фольварку.

На этот раз немецких самолетов здесь не было, хотя не было уже и фольварка, на месте аллей лежал бурелом из обломанных и вывороченных с корнями лип, весь сад был изрыт воронками, уцелевшие яблони стояли с голыми, без листьев ветвями; штабеля под ними частью сгорели, частью взорвались, вокруг валялись снаряды, латунные гильзы, упаковки, доски от тары. Но какая-то часть боеприпасов все-таки уцелела, и Агеев, подбежав к остаткам штабелей, порадовался: оказывается, не так просто даже для авиации уничтожить большой склад боеприпасов. Они с шофером побежали по разметанным завалам все-

возможных ящиков со снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, размотанными лентами крупнокалиберных зенитных патронов, которые им были ни к чему. Агеев старался найти знакомые зеленые ящики с головками от «РГД», но их нигде не было — может, взорвались, а может, прихватили по ошибке из других полков. И тут на краю обгоревшего с угла штабеля он увидел деревянные ящики с черной маркировкой, это были гранаты «Ф-1», или, как их называли бойцы, «лимонки». Обрадовавшись нежданной находке, он крикнул шоферу и, подхватив в обе руки по ящику, побежал к машине.

Этими гранатами они загрузили почти весь кузов полуторки, вдобавок прихватили несколько ящиков винтовочных патронов и снова рванули по разбитой гравийке к своему полку.

Тем временем день незаметно перешел в вечер, поля подернулись сизой туманной дымкой. За лесом в стороне деревни грохотал сильный бой, и, как показалось Агееву, в этот раз почему-то ближе, чем днем. Скверная догадка осенила его, но, еще боясь поверить в нее, он остановил машину на обочине в небольшом соснячке, где поодаль от дороги окапывались несколько красноармейцев, и выскочил из кабины. На его вопрос, из какой они части, первый боец ничего не ответил, словно немой, глядел на него исподлобья, второй сказал, что это военная тайна, которую он не может разгласить незнакомому командиру, и только третий, стриженый белобрысый боец, видно, признав его, объяснил:

— Да из второго батальона мы, товарищ начальник боепитания.

— Как из второго? Второй батальон был в деревне.

— Был, да отступил. В окружении мы.

«Вот те и раз! — сокрушенно подумал Агеев. — Час от часу не легче!» Он побежал вдоль цепи и вскоре от знакомого командира роты узнал, что второй батальон по приказу отошел из деревни, а первый и третий почему-то замешкались, не успели выполнить приказ и теперь ждут темноты, чтобы прорваться из кольца. Командир со штабом полка тоже находится в деревне, готовит прорыв; второй батальон будет прикрывать их из этого соснячка.

Агеев мог бы раздать боеприпасы бойцам здешнего батальона, у которых их тоже было не густо, но чувство вины перед командиром полка за утреннюю промашку заставило его думать, как прорваться в деревню. Было, однако, ясно, что, пока не стемнеет, сделать это вряд ли удастся, значит, надо дождаться ночи. Но и в темноте — обманут ли они немцев, которые наверняка перекрыли дорогу? А если на полном ходу, на авось? «Авось» было испытанным средством, которое помогало, когда ничто другое уже помочь не могло. И Агеев решился. Надо было только уговорить шофера, от которого в этой попытке зависело все.

Они стояли на дороге возле машины, и, когда он сказал об этом шоферу, тот ничего не ответил, помолчал, поглядел в одну сторону, в другую, прислушался. За лесом и полем, где распо-

лагалась деревня, громыхал бой, вверху иад сосиячком времеиами проиосились огиеиные трассы, ему оставалось проскочить каких-иибудь два километра, ио иа любом метре их могла настигиуть смерть. Агеев уже подумал, что шофер возразит, как тот вдруг спросил:

— Сейчас ехать? Или погодим?

— Нет, не сейчас. Надо подождать, — обрадовался Агеев. — Еще полчасика, час — как стемнеет.

И вот накоиец стемиело, прошло и еще минут двадцать. Стрельба в деревне вроде стала утихать, наверное, скоро два батальоиа полка иачнут прорываться из окружения. Тянуть дальше было нельзя, и, кое-как успокоив себя, Агеев вскочил в кабииу к уже сидевшему там водителю.

— Значит, так! Сиачала потихоньку, а потом полиый газ! Я скажу когда.

В совершеииейшей темиоте оии медлеино троиулись по дороге, не включая фар, выехали из сосиячка в чистое поле, где их днем обстреляли мииометы и где теперь уже сидели немцы. Агеев высунулся из кабииы и впился глазами в ночиую темень, но в поле ни черта не было видио. Впрочем, не было видно и дороги, и ои опасался, как бы шофер иенароком не угодил в кювет. Но шофер с особым, присущим только водителям чутьем и в темноте точио держал дорогу, тяжело иагружеииая машина качалась на ухабах, двигатель безбожно громко ревел, и Агеев, сжав зубы, ждал первой очереди в бок, в лоб или сзади. Но очередей ие было. Оии проехали, может, километр или чуть больше, и тогда их кто-то окликиул с поля. Агеев не разобрал, что это был за крик — своих или иемцев, — ои только поиял, что следом будет очередь, и, стукиув с размаху дверцей, крикиул шоферу:

— Гони! Быстро!

Машина рванула, его бросило в сторону, потом в другую, показалось, что оии опрокидываются, но как-то выровиялись, и машина помчалась куда-то в темень. Сзади еще несколько раз крикиули, а потом ударила сверкающая очередь, обгоняя машину, понеслась по обеим сторонам дороги. Агеев испуганно шарахнулся, мелкое крошево стекла обсыпало грудь и лицо, резко звякиула металлическая обшивка кабииы, но машина мчалась...

И только когда, скрещиваясь над машииой, из разных мест ударили светящиеся разиоцветиые трассы, машина стала резко сбавлять ход, забирая в сторону, к самой канаве. Агеев схватился за руль, стараясь вывернуть его вправо, но руль почти не поддался, иамертво зажатый в руках водителя, который навалился на него грудью и молчал. И тут машина остановилась.

Агеев вывалился из кабины, хватаясь за пистолет, едва не угодил на какого-то человека в кювете, который с сердитым матом увернулся от его каблуков, и Агеев понял: свои.

Да, это были свои, а тот человек, которого он едва не сшиб, был начальиик штаба первого батальона старший лейтеиант

Корбовский. Они оба тут же бросились на ту сторону машины, выволокли из кабины грузное тело водителя и тотчас опустили его на землю. Помощь водителю уже не понадобилась. Немцы в поле запоздало светили ракетами, но стрельбу прекратили. В промежутках темноты бойцы быстро разгрузили накренившуюся в канаве машину с двумя простреленными скатами, старшины распределили гранаты между группами прорыва. Когда все было закончено, из темноты показались несколько человек, они разговаривали, и Агеев узнал резкий, с хрипотцой голос командира полка.

— Где Агеев? Позовите Агеева!..

Агеев встрепенулся, сразу весь подобрался — он не забыл, что́ ему недавно еще было обещано этим человеком, и теперь с обмершим сердцем шагнул к нему на деревенскую улицу.

— Я здесь, товарищ комполка!

— Ты, Агеев? Молодец, начбой! Ты нас здорово выручил. Спасибо тебе!

— Двадцать семь ящиков «лимонок», — тихо сказал кто-то из темноты.

— Двадцать семь ящиков! Вот как надо воевать! И доставил! Прорвался! Ну, а мы что же, неужто не прорвемся отсюда? Бойцы мы или говнюки после этого! Начштаба, — тише сказал командир полка, — надо его наградить. Вырвемся, оформите...

Они перешли улицу и скрылись в темноте, видно, пошли по цепи во фланговый батальон. Агеев опустился в пыльную канаву, вдруг почувствовав, как измотался за этот проклятый день — без ночного отдыха, после стольких волнений. Его голова стала медленно клониться на грудь, и только он на минуту забылся, как тут грохнуло, ослепило — первый разрыв вздыбил поблизости землю, — немцы начали обстрел деревни. Он свалился в канаву, в которой, однако, долго лежать не пришлось — прибежал боец с приказанием явиться к командиру полка. Под обстрелом они оба побежали из деревни в поле, заполошно шарахаясь от близко громыхавших разрывов, и едва разыскали майора Попова, который лежал в свежей воронке на краю ржаной нивы. С группой командиров он готовил прорыв и, как только Агеев свалился в его воронку, встретил его злым упреком:

— Долго заставляете ждать вас, Агеев!

— Так я бегом...

— Не бегом — пулей надо!.. Вот! Будешь командовать правой группой прорыва. Ясно?

Агеев помедлил с ответом, потому что, хотя и требовалось отвечать без запинки, ему решительно ничего не было ясно. Скорее все было совершенно неясно.

— Сорок человек, два пулемета. Ваш заместитель лейтенант Роговцев. Он в курсе.

— Есть! — вяло сказал Агеев.

— И напор! Напор, напор! — более спокойным, чем прежде, голосом наставлял командир полка. — Сразу навалиться, гра-

наты к бою, с ходу прорвать и — вперед! Сбор на северной окраине деревни Хотули. Понятно?

— Ясно, — снова без должного энтузиазма ответил Агеев, потому что не имел представления, где были эти Хотули, где противник. Разве что об этом знал лейтенант Роговцев.

— А коль ясно, по местам! В два ноль-ноль начинаем бросок.

Снаряды рвались в стороне, на том конце деревни. Кто-то тронул Агеева за плечо, и он догадался, что это лейтенант Роговцев. Они выскочили из воронки и, стегая сапогами в истоптанной ржи, побежали куда-то в сторону от деревни.

— В общем-то, сорок человек, — на ходу объяснял Роговцев. — Но двенадцать раненых. Четверых нести надо — еще восемь человек. По двое на носилки.

У Агеева разламывалась голова — от усталости, пережитого, от свалившейся на него непомерной задачи, которую неизвестно как выполнить. Было темно, в небе гуляли сполохи от ракет, которые пускали немцы на той стороне дороги, эти сполохи шатким, неверным светом едва освещали окрестность — поле, какие-то посевы, отдельные редкие кустики, а где засели немцы, он не имел представления. Он боялся чего-то не успеть, не распорядиться как следует, потому что времени наверняка оставалось немного, вот-вот стукнет два часа ночи, когда надо вставать и начинать бросок. Бросок с двенадцатью ранеными...

Агеев не знал, как и с чего начать, кому и какую ставить задачу. Когда они прибыли к своей группе и Агеев различил в темноте несколько лежащих и сидящих на земле бойцов, он сказал просто:

— Братцы! Вы знаете наше положение?

— Ну, знаем, — помолчав, ответил один из бойцов. На раненой руке у него белели свежие бинты перевязки.

— Положение аховое. Надо прорываться. Дружно, все враз, гранатами, штыками и — вперед! Раненых нести по два. Третий — для подстраховки. Надо распределить.

— Раненые распределены, — сказал лейтенант Роговцев.

— Тогда приготовиться. По моей команде...

Он достал из брючного кармашка свои «кировские», кто-то посветил фонариком. Было без двадцати минут два часа ночи. Волнение охватило Агеева с новою силой, через несколько минут в этом поле он снова схлестнется с жестокою силой огня, может, будет убит или ранен, но, главное, ему надо прорваться с этой группой бойцов, иначе... Иначе зачем же он сюда послан? Как он потом предстанет перед командиром полка, который поверил, что он может, что он лучше других? Ведь доверили командовать ему, а не кому-то другому. Нет, погибнуть теперь было не самое страшное — страшнее было не выполнить приказ, не суметь, опозориться. Этого Агеев позволить себе не мог.

Он то и дело поглядывал на часы и ровно в два вскочил; едва держась на дрожащих от усталости ногах, сдавленно бросил «Вперед!» и пошел в темноту по смятой, истоптанной ржи. Справа и слева от него тоже встали и пошли — неровной, изогнутой

цепью, пригибаясь, оступаясь на неровностях и комьях земли. Сначала шли размеренно, не спеша; но постепенно темп движения стал нарастать, каждый страшился отстать, и вот уже почти все бежали по ржи, издавая отчаянный шум, который не на шутку тревожил Агеева. И все же в первые минуты немцы их не обнаружили; здесь, на фланге, даже не взлетали ракеты, и он робко подумал: может, все обойдется и им повезет прорваться без боя. Но только он так подумал, как откуда-то наискосок по верхушкам ржаного поля хлестнули огненно засверкавшие в ночи трассы, рядом кто-то тихонько вскрикнул, кто-то упал, убитый или спасаясь от пуль. И он, испугавшись не этих трасс, а того, что все попáдают под огнем, уже не таясь, ожесточенно закричал: «Вперед! Вперед!» — выстрелил в темноту из пистолета и что было силы побежал, заплетаясь ногами в жестких стеблях дозревающей ржи.

По всей видимости, им повезло, на первых порах немцы их прозевали и обнаружили слишком поздно. Автоматные очереди разрушили тишину ночи, громыхнуло несколько гранатных разрывов, еще ударил автомат, но это уже в стороне. Впереди было тихо, похоже, они одолевали линию обороны немцев или, может, прорвались в их тыл. Зато в отдалении слева, возле дороги из села начался сильный бой, десятки пулеметных трасс неслись оттуда во всех направлениях, гремели гранатные взрывы, в воздухе заскулили немецкие мины. Там же почти непрерывно светили гирлянды немецких ракет, полосуя ночное небо кручеными следами дымов, отсветы их шатко гуляли по полевому пространству, тускло освещая поле и путь группы на нем. Во время их вспышек Агеев окидывал взглядом рожь и поверх колосьев с удовлетворением схватывал быстрое, поспешное движение теней его бойцов. Все бежали, брели, исчезали во ржи и появлялись снова — кто как мог, выбиваясь из сил, до невозможности растягивая и смешивая боевой порядок. Но он ничем не мог помочь отстающим, надо было спешить, пока их не накрыли огнем, прорваться к этим Хотулям, которые, судя по всему, были восточнее сожженного авиацией фольварка.

Они уже одолевали поле, впереди темнели кустики или, возможно, тот молодой соснячок, где развернулся выскользнувший из окружения второй батальон. Агеев уже придержал шаг, чтобы дать возможность остальным подтянуться. Он уже раза два с облегчением вздохнул, тем более что сильная поначалу перестрелка возле деревни вроде бы стала затихать — похоже, главная группа с командиром полка тоже прорвалась. И, когда до соснячка осталось рукой подать, всего какая-нибудь сотня метров, плотный кинжальный огонь оттуда по всей его растянувшейся группе заставил их броситься наземь. Рожь здесь уже кончилась, под сапогами путалась-шумела какая-то ботва, похоже, они шли по свекловичному полю и попадали где кого застал этот адский огонь. Огонь был столь плотный, что очереди шли в воздухе сплошным многослойным потоком, горячим ветром обдавая головы и спины бойцов, вжавшихся в твердую,

иссушенную зноем землю. Оии растерянно молчали, да и чем они могли ответнть? Главная нх снла была в гранатах, но для броска граиаты, наверно, было еще далеко. И тогда, мниуту полежав и отдышавшнсь, Агеев понял, что еще несколько мннут промедления, н оии все н навсегда останутся тут, на этом свекловичном поле. Он суиул за пазуху пнстолет и схватил в обе руки по «лимонке».

— Встать! — заорал он что было силы, чтобы перекричать грохот боя. — Вперед!

Это был отчаяиный бросок навстречу погибелн. Наверное, под такнм огнем уцелеть было невозможио, но все-таки и еще кто-то вскочил, пригнувшись, оин побежали в мелькании трасс к опушке, на ходу швыряя граиаты. Близкие их разрывы ударнлн в Агеева пылью и дымом, оглушили, ио он уже был на опушке н еще швырнул куда-то граиату. Граиатные разрывы громыхали н справа, потом почему-то сзади, похоже, и немцы стали метать свои длиииые колотушки — одна пролетела иад самой головой Агеева, и он едва успел отшатнуться. В то же время его сильно ударило по ноге выше колеиа, он даже подумал, что напоролся на какую-то рогатнну на опушке, но нет, удар был чересчур сильным, ногу болезнеиио свело, как от судороги, н по штаинне в сапог потекли горячие струи крови. Он упал — не от боли, от одной только мыслн: не перебита ли кость? Тут же вскочнл — нет, нога не подломилась, зиачнт, кость была цела, но кровь продолжала течь, захлюпало в сапоге. Наверное, надо было остановнться, перевязать ногу, но момент для того был самый неподходящий — уцелевшне бойцы его группы втягивались в кустарник, которого тут оказалось совсем немного, узкнй изогнутый клинышек, потом сиова пошлн поля. И он бежал, прнпадая на левую ногу, с ннм рядом бежали два нлн три человека, бежалн сзади, но в ночной темеин не было возможности рассмотреть, сколько нх вышло нз этих кустиков.

Кажется, онн прорвались, стрельба сзади гремела все отдаленнее. Ракеты густо подсвечнвалн небо тоже поодаль, за сосняčком сзадн, впередн была темнота и тишь безмесячной летней ночн. Агеев пошел тише, он снльно хромал н вовсе ие мог бежать. Все больше болела нога, да н не было уже снл — бойцы выдохлись и брели вразброд по полю, куда их вел командир. Все загнанно, угрюмо молчали.

Наткнувшись в темноте на едва заметную в поле дорожку с березкамн по сторонам, Агеев остаиовился. Надо было перевязать ногу, отдышаться, подождать отставших н ранеиых, чтобы всем вместе до рассвета выйтн к Хотулям. В ту ночь под березками их собралось семнадцать, почтн все были ранены, троих принесли иа палатках.

Уже хорошо развиднело, когда онн добрались наконец до небольшой прилесной деревушки, Хотули, но никого из полка там не обнаружнли. После нескольких часов ожидания стало ясно, что оин оказались той единственной группой, которой удалось прорваться. Все остальные во главе с командиром полка, на-

поровшись иа значнтельные немецкие снлы, полегли нв свекловичном поле, двже ие дойдя до сосиячка. Эту весть принесли в Хотули несколько последиих раненых, сумевшнх уйти от немцев.

Когда стало вечереть, Агеев построил остатки группы и повел их полевыми шляхамн на восток, вдогонку за линией фронта.

Под Лидой они присоеднннлись к группе майора нз штарма, в которой оквзалось несколько человек из тылов нх разгромленного полкв, и среди ннх его сослуживец лейтеивит Молокович.

ГЛАВА 2

В тот деиь полнл дождь — собрался иакоиец в пору жаркого лета, когда прншло время убирать зериовые. Под вечер из-за кладбища поднялась иссння-чернвя туча, деревья тягуче зашумели, вытяиув вершины все в одну сторону, трепетная лнства тополей вывернулась под ветер своей серебристой нзнанкой. Агеев подумал сперва: проиесет, перегоиит хмарь и опять будет солнце. Он не хотел вылезать из карьера, иа сегодня осталось совсем иемного — срыть голый бугор под западным склоиом. Но первые крупиые капли, хлестко стегнувшие его по спине, дали поиять, что ие проиесет, помочит как следует, и он, прихватив лопату, выбрался нз карьера. Пока бежал к палатке, дождь низвергался с ошалелой, прямо иенстовой снлой, ветер яростно рввл со всех сторон, ои едва добежал до палаткн и, покв развязывал тесемкн у входа, вымок до ииткн. Пришлось переодеваться, выливать воду нз ботннок.

Потом под густой перестук дождя по парусине до самого вечера сндел в палатке, дожндаясь, когда утнхнет. Временами ливень вроде бы ослабевал, водяные потоки, которые ои иаблюдал через треугольиую прорезь в палатке, будто редели, тумаиио проглядывала темиая стеиа кладбищеиских деревьев, камеиная ограда внизу, ио вскоре ливень иачинался с новою силой, клвдбище вовсе нсчезало из виду. Перед палаткой по едва обозиачеиной в траве стежке стремительио несся к дороге мутный ручей, увлекая с собой клочья травы, иасекомых, мусор, н Агеев подумал, что хорошо сделал, когда дня два назад обкопал палатку — не так для надобностн, сколько для порядка, как прочитал об этом в молодежной газете. Впрочем, мелкая канавкв не долго его спасала, где-то все же прорвало, н на полу палатки медлеиио расплылось широкое темное пятио. Накинув на плечи куртку, Агеев выбрался иаружу.

Снова изрядио намокиув и уже не обращая вниманиия на дождь, ои принялся прорывать новую канавку, отводя в иее угрожающий поток воды, когда среди плясков дождевых струй возле кладбища увидел сгорблениую длинноногую фигуру в накинутом иа голову полупрозрачиом обрывке полнэтиленовой пленки. Прыгая через лужи и потокн воды, несшиеся со скло-

на, человек направлялся к его палатке, и Агеев скоро узнал в нем своего здешнего знакомого Семена.

— Го-го, привет! Не смыло тебя тут?.. Вот решил: проведаю хуторянина.

— Не смыло, но подмывает. Залазь, не мокни.

Семен ловко распахнул одной рукой натянутый на плечи полиэтилен, согнувшись, на коленях забрался в палатку. Бросив лопату, следом влез и Агеев.

— Ну полило!.. Полило что надо. Вот кабы с весны. Летом кабы, а то теперь, на уборку. Совести у него нету, у бога того.

— Бог ни при чем.

— Ну не бог, так люди. Расколупали космос. Порядка нет. То сушит, то льет.

Гость, кряхтя и сморкаясь, устраивался в мокрой тесноте палатки, неуклюже подбирая под себя длинные ноги в грязных резиновых сапогах; на его тощей груди была желтая промокшая тенниска, из левого рукава которой странно, словно невпопад двигаясь, торчала иссохшая культя со сморщенной на конце кожей. Ловко орудуя другой, казавшейся чересчур длинной, цепкой рукой, Семен вытащил из брючного кармана блестящую поллитровку с красноватой жидкостью.

— Вот это самое... По случаю ненастной погоды.

Агеев, неудобно устроившись у входа на сбитой в комок одежде, внутренне поморщился — после второго инфаркта, случившегося год назад, он старался не пить ни вина, ни водки, но теперь, ощущая легкий озноб в мокром теле, подумал с решимостью: «Выпью! Будь что будет». К тому же это предложение малознакомого, тоже немолодого человека не показалось ему ни навязчивым, ни чрезмерным, скорее наоборот — располагало к общению и участию.

— Тару какую? — оглянулся Семен.

Агеев нашел в углу палатки небольшой пластмассовый стаканчик — для себя, для гостя же снял с термоса колпак-кружку побольше. Семен ловко подцепил зубами металлическую пробку с бутылки.

— Зубы сломаешь, — сказал Агеев.

— Не беда! Железо на железо. Выдержит! — ответил Семен и засмеялся — простодушно, совсем по-мальчишески, сверкнув металлическими зубами.

Агеев смотрел на его пожилое, морщинистое, с вытянутым подбородком лицо и думал, что, пожалуй, они близки по возрасту, может, даже ровесники.

— А ты родом откуда? — спросил он, хотя уже знал, что Семен приезжий и живет в этом поселке несколько последних лет.

— Я? А смоленский, из-под Ярцева. Слыхал?

— Слыхал. Близко...

— Близко, — просто согласился Семен. — Я так считаю: что Смоленщина, что Белоруссия — один черт. Бульбоеды. Ну, давай выпьем. Илья же сегодня.

— Вот как!..

— Илья наделал гнилья. И я тебе скажу: правильно подмечено.

Они выпили. Агеев не до конца, оставив в стаканчике на второй раз. Семен же за три крупных глотка вобрал все до дна и вытряхнул под дождь последние капли из кружки. Агеев подумал, что надо бы поискать чего-нибудь закусить, но гость схватился своей длинной рукой за туго набитый карман брюк и вытащил помятую пачку «Примы».

— Куришь? Нет? Ну так я задымлю.

Вскоре тесненькая низкая палатка наполнилась сигаретным дымом, Агеев незаметно пошире раздвинул брезент на входе, он был слегка насторожен и опасался, что Семен начнет расспрашивать, что он тут раскапывает. Но Семен ни о чем не спрашивал, ни при их первом знакомстве, когда однажды утречком забежал в карьер прикурить, ни потом. Кажется, этот человек обладал нечастым в его возрасте легким, общительным нравом и то ли из деликатности, то ли из-за отсутствия интереса к чужим делам не набивался с расспросами. Агееву это вообще понравилось.

— Руку где потерял? — кивнул он на его культю.

— На войне, где же! Руку что, руку потерял — жить остался. Мог жизнь потерять.

— Это конечно, — согласился Агеев.

— Точно. Рука, она перебита была, а держалась. Это в госпитале оттяпали. А вот тут похуже.

Сунув сигарету в зубы, он все той же рукой вздернул за подол безрукавку, обнажив широкую костлявую грудь с безобразным багровым рубцом в правом боку.

— Во садануло. Мертвым сутки лежал. Кровью истек, бушлат к земле приморозило, отодрать не могли. А ну ее! Давай еще по махонькой.

Он подставил широкую кружку, Агеев налил ему и себе и, прежде чем выпить, подумал, что, по-видимому, больше не следует. Эту еще выпьет, и баста. Семен же с прежней ненасытной жадностью выпил до дна, глубоко затянулся «Примой».

— Гляжу, маловато берешь. Или опасаешься? — хитровато прижмурился он, в упор уставясь в Агеева.

— Опасаюсь, — сказал Агеев. — Уже, знаешь, звоночек был.

— А, ерунда эти звоночки! У меня их сколько уже было. И счет потерял. А выпью когда, легче станет. Так, думаю, если бы не пил, давно бы уже землю парил.

— Ну это как сказать.

— Точно! Вон Шумаков Данила Васильевич — и звонков не было, и уж как стерегся. Вышел на пенсию, не пил, не курил. По утрам все руками махал, упражнения делал. Помер! Весной похоронили. На семь лет моложе меня.

— Кому как.

— Вот именно. Кому так, а кому этак. Я тебе скажу: кому чего хочется, тому того бог и не даст, А кому плевать на что-то,

так того у него навалом. В жизни не надо быть жадным! — с нажимом заключил Семен.

Он заметно пьянел, и Агеев слегка подосадовал, подумав, что сейчас разговорится и придется его долго выслушивать, а он давно недолюбливал хмельных болтунов. Однако Семен примолк, что-то в его легком настрое стало меняться, и он, докурив сигарету, тихо спросил:

— Фронтовик?

— Да как сказать, — слегка смешался Агеев. — В сорок первом пришлось, ранен был, а потом воевал в партизанах. Потом снова.

— В партизанах тоже не мед. Скажу тебе, под конец войны воевать подучились, но что появилось — хитрость. Чтоб выжить! Выжить возможность появилась. Вот некоторые и схватились за нее. Хитрые которые... Давай разливай остатки, чего там!

Агеев налил — снова себе немножко, остальные вылил в кружку, которую с готовностью подставил Семен. За палаткой ровно и споро шумел летний дождь, дым от сигареты нехотя тянулся к выходу. От выпитого вина Агееву стало теплее, с непривычки к спиртному появилось легкое кружение в голове и какое-то невольное расположение к этому разговорчивому гостю.

— Я, знаешь, к концу войны был уже нестроевой, — сдержанно сообщил Агеев, слегка задетый его вопросом. — Так что, как там было на фронте в конце, не знаю, не наблюдал.

— А я понаблюдал. На некоторых полюбовался. Один такой чуть на тот свет не спровадил. Енакаев фамилия, век не забуду.

Он сидел в палатке, чуть сгорбясь, по-восточному скрестив мокрые, в сапогах ноги, привычно устроив на раздвинутых коленях здоровую руку. Эта рука больше всего выдавала его возбуждение, живо двигаясь длинной, с прокуренными пальцами кистью.

— Да, Енакаев... Старшина разведроты. Ничего, старшина был исправный, умел порядок держать. Кадровый был служака, не какой-нибудь там из запаса. Дальневосточник. Я ведь тоже дальневосточник, действительную службу там прошел, на Хасане участвовал. Когда в сорок четвертом с пополнением пришел в дивизию, у этого Енакаева четыре ордена было. Строгий такой, но не придирчивый, не крикун по мелочам. И с ребятами мог быть свойским — ну там по сто граммов когда или покемарить лишний час. Известно, старшина, в его руках все. Офицеры, они больше о деле пеклись: разведка там, «языки»... Ох, эти «языки», чтоб им пропасть! Пополазил я там по нейтралкам, потер живот. Иной раз, как станут, бывало, в оборону, каждую ночь. Ползаешь, ползаешь, с колен кожа послезает, ну приволокешь какого-то фрица, думаешь: теперь хоть дадут выспаться. Где там! Не тот фриц, мало знает. Стемнеет — снова давай! А если у него налаженная оборона? Проволока, минные поля, ракеты, пулеметы. На Висле пять ночей ползали — ни в какую. Близко подпустит, осветит ракетами и из пулеметов. Вожмешься

в землю, лежишь, ждешь: вот перестанет. А он и не думает переставать, что ему, патронов жалко? Патронов, ракет у него горы. Ну и лупит. А у нас укрытия никакого, ровно, как на столе. Одно, что каски на головах. Вот лежишь и слышишь, как то справа, то слева хрясь-хрясь! Как скорлупа на орехе. И пуля вдоль тела до задницы. Не знаю, как кто, а я на войне больше всего боялся такой вот пули — вдоль тела. Поперек — как-то не очень страшила: пробьет грудь или там руку, ногу, как-то привычное дело. А вот если лежащего вдоль — от макушки до задницы, — аж подумать страшно. Правда, еще и за живот боялся...

— За живот все боялись, — сказал Агеев. — Уязвимое место.

— Уязвимое, ничего не скажешь. Видел раненых, не дай бог. Главное — внутреннее давление называется. Там, в кишках. Даже от маленькой, пулевой ранки как пырхнут наружу. Клубком. Синие, с кровью, и парок идет, если на холоде. Раненый, который в уме, их, конечно, назад в брюхо пихает. Где там! Уже точка. Если вылезли, твоя песенка спета, уже и доктора не помогут. Помню, один такой — молодой, рослый парняга — прибежал прямо в санбат. С поля боя верст шесть чесал, чтобы скорее, значит. Сделали операцию, зашили. Пожил три дня и откинул копыта. Заражение, никакой врач не спасет.

— Тогда же не было ни пенициллина, ни других антибиотиков.

— То-то же! Чем спасать? Врач, он ведь тоже не бог. Да потом что ж, с одним им возиться? Тут их сотня на очереди, когда бой, всех надо обработать, помощь оказать...

Первое возбуждение от вина, видимо, проходило, Семен накурился и вроде бы стал спокойнее, рука на коленях стала двигаться сдержаннее. На темном от загара, морщинистом, вроде еще более постаревшем лице появилась легкая тень озабоченности, устоявшейся грусти от пережитого.

— Да, Енакаев к Висле имел шесть ранений. Это не шуточки. Изо всех выкарабкался. Жилистый мужик был, ничего не скажешь...

В тот раз мы шли за «языком» — третью ночь кряду. Только накануне приволокли двух фрицев, ну, думаем, теперь хоть отоспимся, обсохнем, накуримся. Черта с два! Оказывается, нужны новые данные, уже в стороне от обороны, на пойме, возле речушки заболоченной такой, черт бы ее побрал! Чуть она меня не угробила, эта речушка. Построили группу — семь человек. Четверо в группе захвата, трое — в прикрытии. Командир — старшина Енакаев. А, надо сказать, ребята у нас все молодые, правда, все уже обстрелянные, некоторые и награжденные, но молодые, что сделаешь. Только я да Енакаев постарше — мне шел двадцать шестой год, Енакаеву, кажется, около того было. Ну, у молодых еще детства полно, форсу, такого, что, мол, нам наплевать на фрицев, повезет — притащим, погибнем — тоже наплевать, не мы первые.

Пошли после полуночи, темнотища — глаз выколи, ветер на-

пористый, голое болото под ногами, чуть-чуть приморозило, но все время проваливаешься, под сапогами чавкает, того и гляди немцы услышат. Там, конечно, минное поле, наше и немецкое, саперы с вечера поработали, сделали проход. Какой там к черту проход — сняли несколько мин, и ползи. Хорошо, дождались, показали вешку — прутик такой поставили. «Ой, — думаю, — хорошо отседова — прутик, а как назад? Где его, этот прутик, найдешь в темноте?» Но молчу, знаю: такие мысли в такой момент высказывать не полагается. Поползли друг за дружкой. Впереди Енакаев, группа захвата, я был старшим в прикрытии. Ползли рывками. Немец ведь ракеты пускает одну за другой. Вот в короткие перерывы по темноте и ползем. Как только пырхнет очередная ракета, голову в землю, только задница торчит, как кочка. Маскирует. Кочек там много было, это и выручало.

Словом, добрались до первой траншеи, слышим, там разговор, не спят, значит, и — несколько голосов. Надо бы подождать. Все-таки ночь, утихли бы, поснули, вот одного бы и взяли. Но не посоветуешь в такой момент, молчать надо, а Енакаев этот забирает в сторону, подальше от этих бессонных, туда, где потише. Оно, конечно, так казалось сподручнее. Но... Что-то мне стукает в голову: плохо делаем, не надо в сторону, подождать лучше.

Поползли. А тут еще, черт бы ее побрал, траншея куда-то отвернула в сторону, загогулиной в глубь их обороны; бруствер хоть и замаскирован, но чуть-чуть бугрится на фоне неба. Значит, вдоль траншеи ползем. Хуже некуда! Но пока все обходится, все-таки на расстоянии, может, метров за сто или двести от них. Потом подождали, притаившись, и четверо из захвата повернули к траншее. Мы прикрывать остались. Короче, через полчаса или через час, может, волокут на палатке фрица — оглушили, заткнули портянкой рот и волокут. Теперь надо смываться.

А времени, скажу тебе, все-таки прошло уйма, время в таких делах вообще плохо примечается, бежит оно или стоит, кто его знает. Как когда. Часов у нас не было, кажется, мы завозились, чересчур завозились. Гляжу назад, светлеет вроде краешек неба, как бы светать не начало. Ну, хлопцев с «языком» пропустили, теперь мы сзади, значит, ближе к немцам. Откроют огонь — на себя его принять должны. А немцы под утро, видать, приуморились, ракеты стали реже взлетать, пулеметы, правда, постреливали туда и сюда, но не по нас. Нас еще не обнаружили. В общем, все чисто было сработано. Если бы не одно но. А это но там и оказалось, где я опасался: Енакаев-то проход через минное поле потерял. Оно ничего удивительного в такой темени да на заболоченной пойме — никаких тебе ориентиров. Вешка! Ищи теперь эту вешку. После такой крутни по нейтралке.

Не знаю, кто там у него полз первым, тоже, наверно, такой же лопух, как этот Енакаев, только вдруг как шарахнет, аж земля заколыхалась. Сверкнуло, ослепило, и что тут началось!

Как начали лупить по всей пойме — вдоль, поперек, крест-накрест, трассы, ракеты десяток сразу. Лежим ии живые ни мертвые, на огоиь ие отвечаем. Хорошо еще: мы на болоте и иемцы на болоте, им тоже на ровиом не миого видно, рвануло, а где, толком не знают. Проморгали в иочи. Как чуток уиялось, вижу, передние пошли, завиляли задами, поползли, зиачит. Думаю, авось вырвемся. Еще, может, метров шестьсот оставалось. И тут слева как шарахиет холодным ошмотьем по морде, глаза залепило, и сиова огоиь по всей пойме. Тут уж и иаши ударили минометы по их передку, гудит и трещит, вся округа ходуиом ходит. Но что делать нам? Сидим на миииом поле, это и дураку ясио. А где тот проход? Не встаиешь, ие оглядишься. И тут, на беду, край неба светлеет все больше — светает. Вот влезли, так влезли. Влопались!

Полежали так, трошки оклемались, поворачивается Ящерицын, что передо миой полз, боец нз захвата, кивает: к Енакаеву, мол. Вперед, мол! Что еще за такое, думаю, под огнем перестраиваться, нашел время. Но делать нечего, пополз. Еиакаев лежит в болоте, сам в грязи весь, рядом на палатке «язык». Енакаев сдавленно шепчет: «Семенов, вперед! Доставай финку и вперед!» Говорю: «А прикрытие?» — «Вперед!» — шипит и финкой трясет перед мордой, мол, посмей отказаться! Ну что ж, думаю, все ясио. Хотя по уставу я теперь должеи быть сзади, но коль на мины налезли, то, конечно, Семенов, вперед! Семеиов подрывайся, а Енакаев «языка» доставнт. В целости н сохранностн.

Делать, однако, нечего, пополз. С обиды фннкой в кочки ширяю по самую рукоять, вроде ничего — мягкая травяиистая пойма. Прополз так, может, метров сто пятьдесят, как вдруг под иожом что-то твердое. Воткиул лезвие и боюсь выдериуть — черт ее знает, а вдруг рванет! И что делать? Обернулся, мина — шепчу. Енакаев машет, пригнувшись, мол, бери в сторону. Раз воткнул фнику, второй, а третнй уже не успел. Как в прорву огненную... Со всего маха. Только звон пошел куда-то, все дальше, дальше, н все стихло...

— Рвануло-таки?

— Рваиуло. И что удивнтельно — боли никакой не почувствовал. Вроде придавило чем. И расплющило. Такое чувство. Слушай! — сказал вдруг Семен, сгоняя с лнца выраженне тягостной озабоченностн. — Давай слетаю еще за одной! А то что на сухую баить...

— А не хватит? — усомнился Агеев. — И дождь...

— Дождь перестает. Ну точио, реже стал, — сказал Семен, отстраняя парусину на входе.

Дождь еще сыпал, хотя, может, н не такой, как прежде, поток на земле возле палатки заметно нссякал, оставляя на траве иамытые космы мусора, травяного сора, песка. Агеев понимал, что отговаривать в такой момеит — напрасиое дело. Семена теперь ие остановишь. Ои вылез из палатки и дал вылезти гостю.

— Я счас! Айн момент... — бросил Семен на ходу, одной рукой накидывая на плечи жесткий, непослушно вздувшийся на ветру кусок полиэтилена.

Дожидаясь Семена, Агеев сидел в палатке у входа, глядел, как в мокрой траве пляшут, снуют чуть поредевшие струи дождя, и думал: хорошо это или плохо, такое вот свойство человека — просто и открыто рассказать о себе первому встречному, подробно, обо всем, без утайки? Даже если где-либо и сам выглядишь не очень похвально, если где и ошибся. Конечно, по прошествии стольких лет можно позволить не очень щепетильничать с собственным прошлым, но все же. Он так не умел. Для него стоило немалых усилий над собой по приезде в этот поселок объяснить по необходимости свой интерес к какому-то заброшенному карьеру, да и вообще свое отношение к поселку тех давних, военных лет. Всегда в подобного рода объяснениях есть что-то от неправды или претензии на что-то почти незаконное. Чужому и малознакомому запросто так не расскажешь. Но это он, Агеев. А вот Семен, оказывается, мог это с легкостью, и, странное дело, его рассказ не шокировал даже взыскательного слушателя, каким считал себя Агеев.

Он думал, что Семен задержится, все-таки центр поселка с магазинчиком «Вино-водка» был не очень близко отсюда, но Семен довольно скоро появился на углу кладбищенской ограды под небрежно накинутой на одно плечо пленкой. И по тому, как он без должной живости переступал по мокрой траве длинными ногами, Агеев догадался: не достал.

— Пусто! — будто прочитав его мысли, сказал, подходя, Семен и отбросил пленку. — Опоздал, сами выжрали.

— Ну что ж, так посидим, — обрадовался про себя Агеев.— Пока дождик сыплет.

Семен снова забрался в палатку. На этот раз Агеев уступил ему место у входа, сам отодвинулся вглубь, и гость сразу полез за остатками сигарет в измятой пачке.

— Не много ли куришь? — сказал Агеев.

— А черт с ним! Сколько протяну, буду курить. Что ж, врачей слушать...

Он опять закурил, и, хотя затянулся с прежней жадностью, сигарета не помогла ему скрыть легкую досаду на помрачневшем лице — наверное, от его неудачной вылазки.

— Жаль, но и у меня ничего нет, — извинительно сказал Агеев.

Семен что-то буркнул неопределенное, и разговор их на время прервался. Чтобы как-то возобновить общение, Агеев спросил будто бы между прочим:

— Ну а потом как? На той пойме. Или разведчики вытащили?

— Жди, как же! — тотчас отозвался Семен. — Вытащат! Енакаев «языка» тащил. Еще одного разведчика подорвал. А у самой траншеи и его стрельнули. Свои. Потому что не на том участке выходил. Вот как!

— Да, это понятно. Спутал направление! Это на войне всегда худо.

— Не только на войне! — зло бросил Семен.

— Ну а ты? Сам выполз?

— Я? А я лежал без памяти, сколько, не знаю. Помню только, как-то раскрыл глаза и не понял ничего: лицо словно ватой обложено. А это пошел мокрый снег. Снежинки на губы падали, и я их слизывал, потому как внутри все горело. И такая мука, такая жажда!.. А потом приморозило. Хотел двинуть рукой — черта с два. Не двигается. И зад не двигается. Бушлат-то примерз, все от крови там смерзлось. Вот и лежу. Хочу крикнуть и не могу. Нет голоса. Нет крика. И не могу понять, что случилось и где я. Память начисто отшибло. Сознание то вернется на минуту, то опять пропадет, видно, надолго. Потом показалось, вроде дергает кто-то, прислушался сквозь боль... Нет, это же бой идет, снаряды рвутся вокруг, ну меня и кидает с боку на бок. Потом все пропало — ни боя, ни снега. Наверно, долго лежал, а как очнулся, заметил: темно и, слышу, голос! Тихий такой, будто издалека — это мне так показалось... а это он надо мной. Глаза чуть приоткрыл, человек склоняется, все ниже-ниже, заглядывает вроде в лицо, а за ним с неба месяц светит, да ярко так — полнолуние было. Я уж хотел крикнуть от радости, что нашли, не оставили, но воздуху нет, в легких пусто, ничего с криком не вышло. А он, этот, что наклоняется, вдруг тихо кому-то: «Ист айн рус!» Вот те и обрадовался! Хорошо, что не крикнул, замер, лежу. Другой рядом тоже что-то по-немецки прогергетал, и этот лезет руками мне под бушлат, в карманы. А там пусто, махорки полпачки было, даже спичек не взял — все перед поиском в роте оставил. Шарит он этак, лежа рядышком, думаю, услышит, что живой, и прикончит. А вот не услышал, еще что-то сказал тихонько другому, забрали они мой автомат, отброшенный поодаль взрывом, поползли куда-то. Может, к нашим, может, к своим. А я после страха и боли снова нырнул в беспамятство. Вроде бы даже и помер, не знаю.

— Скверная ситуация,— сказал Агеев, когда Семен замолчал.

А тот выглянул из палатки, вроде прислушался к чему-то снаружи или, скорее, к тому, что шло изнутри, из его растревоженной памяти, и сделал непонятный жест все той же свешенной с колена рукой.

— Самое скверное еще впереди. Ты слушай... Черт его знает, до сих пор не понял, сколько я там пролежал. Несколько дней, наверно. Потом подсчитывал, подсчитывал и сбился, не могу поверить. Получается, вроде шесть дней и ночей. Как только не околел. Кровью не сплыл. Не подох. Но вот снова очнулся, слышу, голоса. Да уже ясно, свои, гуторят смелей, и русский маток послышался. И светло, раннее утречко вроде. Хочу повернуться, чтоб увидеть, где они, мои спасители, что-то передо мной их не видно. И не могу повернуться — все примерзло к земле. И снежок лежит на груди, на губах и не тает. Я крикнуть хо-

чу, и опять ни черта, вздохнуть не могу даже. Вот дела! Ни тпру ни ну. А они, слышу, гутарят: «Бердников, того, в бушлате, стащи!» — «Ну да, — отвечает этот Бердников. — На минах лежит». — «Мина взорвалась, вон ямка за ним». — «Одна взорвалась, так разве она одна тут? «Кошку» давай!»

Бог ты мой, думаю, это ж они меня за мертвеца считают и теперь «кошкой» стаскивать будут. Что ж это такое... Но боль такая и слабость, и свет белый меркнет, то появится, то исчезнет. И воздуху в груди нет — пусто. Что тут поделаешь? Пусть тащат, взрывают, скорее бы. Чтоб долго не мучиться...

И что ты думаешь, подполз этот Бердников или еще кто, зацепил «кошкой» — крюк этакий у них (это ж саперы были) на веревке, — и как рванут... А подцепили за тот самый бок, почти в рану вогнали... Я как взвою, откуда и голос взялся. Хотя мне так показалось, что взвыл, они потом говорили, как несли на палатке, что застонал, они услышали. А мне сдалось, взвопил.

Ну и отвоевался на том. Шесть месяцев в госпиталях, последние три месяца под Москвой лежал. Потом — по чистой — домой. А дома-то нет. И руки нет. Инвалид в двадцать шесть лет. Но жить надо, что сделаешь... И вот, гляди ты, до шестидесяти четырех дожил. А Енакаева там за пригорочком закопали. Потом лейтенант говорил из нашего полка. В госпитале встретились.

— Да-а... На войне всегда трудно угадать, где напорешься, а где пронесет, — сказал Агеев.

— Потому и не угадывай. Не хитри. Все равно война хитрее тебя. Ее не перехитришь.

Дождь все не переставал, хотя первоначальный напор его заметно ослаб, на промокшую землю с неба сыпались некрупные капли, ветер вроде утих, и было, в общем, не холодно. Однако Агеев, слушая невеселый рассказ Семена, несколько раз с беспокойством подумал о карьере: хотя бы не залило. Зальет, что тогда делать? Ждать, пока высохнет? Или когда уйдет вглубь вода? Семен, чутко уловив скрытую тревогу Агеева, тронул его за колено.

— Слышь? Хочу поинтересоваться. Чего там копаешь? В карьере.

— Да так. Кое-что надо посмотреть.

— Потерял чего?

— Почти что. Жизнь едва не потерял, — сказал Агеев и пожалел, что сказал слишком много.

— А-а, — что-то понял Семен. — Ну ладно, больше не спрашиваю. У каждого человека должны свои секреты иметься.

Агеев виновато взглянул в его помрачневшее лицо, и ему стало немного неловко за собственную скрытность.

— Может, и так. Ну а у тебя как, тоже секреты имеются?

— Я секретов при себе не держу. Я их все разболтал. Все всё про меня знают. Может, и плохо это. Может, я потому и непутевый такой. Ну да ладно. Хватит болтать,

Семен рубанул кулаком по колену и, задев стойку плечом, отчего едва не снес всю эту шаткую палатку, вылез наружу. Агеев догадался, отчего ему не сиделось тут дольше, но перечить не стал. Пусть идет человек, может, еще магазин не закрылся, найдет, чем утолить свою жажду.

— Как-нибудь подойду. Расскажу еще кое-что, — послышалось издали, и по мокрой земле зашлепали, все удаляясь, размашистые шаги.

Агеев недолго повозился в палатке, переложив мокрую одежду в правую, более сухую сторону — все парусиновое дно было мокрым. От одежды, спального мешка сильно отдавало сыростью, парная сырость висела и в воздухе снаружи палатки, когда он выбрался из нее, обеспокоенный мыслью о карьере.

Дождик тихо моросил по мокрой траве, туманный полог застлал околицу, ближнюю рощу, дальние дома поселка. Но кладбище и карьер поблизости просматривались во всех подробностях, и, когда он глянул с обрыва, едва не выругался от досады: в самом глубоком месте на дне карьера тускло блестели две огромные лужи. Как раз там, где он копал эти дни и где, как казалось ему, была возможность что-либо найти. Но самое худшее открылось его взору, когда он ступил на кромку обрыва, — с его крутизны до самого низа обрушился пласт суглинка, начисто похоронив под собой сегодняшнее место его раскопок.

Минуту Агеев потерянно глядел вниз, не зная, что теперь предпринять или что подумать. Ясно, что копать здесь будет нельзя, воду отвести некуда, вычерпать ее невозможно. Оставалось не самое лучшее — ждать, пока высохнет. Ну а если задождит на несколько дней? Илья действительно способен натворить гнилья до осени, как тогда быть? Чего он добьется тут?

В который уже раз Агеев ставил перед собой этот вопрос и не находил на него ответа. В самом деле, что он мог предпринять? Обратиться к руководству? Сходить в райисполком? Попросить помощи у общественности? Но что он им скажет? Какие у него доказательства, что она там? Что ее расстреляли вместе со всеми? Он ведь и сам ничего толком не знал. Он ведь и самому себе хотел доказать, что ее там не было. Что она там не осталась. Что в тот раз, возможно, она уцелела. Ведь когда в сорок четвертом откопали тела погибших, ее среди них не нашли. Но ведь ее и не искали. Она же не была в числе их тройки и оказалась с ними случайно. Это он и расстрелянные знали, за что ее взяли, а посторонним о том ничего не было известно. Так что же он мог объяснить тому, к кому бы обратился за помощью? Помогите, мол, убедиться, что там ничего нет? В том, что там никого не осталось, и без него все были уверены.

Не был уверен только один он.

Немало расстроенный, Агеев вернулся к палатке, поежился от усиливающейся к ночи дождливой прохлады. Дождик все моросил, и он, забравшись в палатку, зажег перед входом свой крохотный очаг на сухом спирту. Хотелось согреться, обсохнуть,

но, видно, обсохнуть до завтра уже не удастся, придется ночевать в зябкой сырости. Впрочем, этот небольшой дискомфорт, вызванный нежданным дождем, не очень докучал Агееву, которого под старость все настойчивее одолевала тяга к примитивному укладу быта, все сильнее привлекала природа. То, от чего за долгие годы учебы, службы, работы отвыкла его душа, начало все с большей властью врываться в его сознание. Городская квартира, обустройство которой когда-то стоило ему немалых усилий и которая многие годы приносила удовлетворение налаженным уютом, почему-то перестала занимать его, в часы досуга стала тянуть к себе березовая рощица над тихой речкой, полевая дорожка, еще не разбитая колесами мощной техники. Автомобилем Агеев не обзавелся — в молодости это не было принято, да и не было такой возможности, а потом стало поздно. С сыном он иногда выезжал на природу, по выходным — на рыбалку, которой Аркадий увлекался с детства и одно время увлек отца. Но к рыбалке Агеев скоро охладел, а машина, хоть он и вложил в ее приобретение немалую сумму, все-таки принадлежала не отцу — пассажиру, а водителю — сыну. К тому же он не хотел оказаться навязчивым, у молодых были свои интересы — их влекли песчаные берега речек, пляжи, купание, грибные и ягодные места. Где-нибудь на боровой опушке под соснами им нечем было занять себя. К тому же они увлекались дальними поездками по районным центрам в погоне за ширпотребом, которого недоставало в городе. Для него же приобретательские потребности были сведены к минимуму, и он довольствовался тем, что было необходимо для жизни на каждый день.

Потягивая горячий чай из алюминиевой кружки, Агеев подумал о Семене — тот, конечно, продолжает отмечать Ильин день, наверно, снова рассказывая кому-то о своих похождениях. Хотя похождений этих не дай бог никому и говорить о них почти отстраненно можно, лишь пережив все без остатка в душе, сохранив былое лишь в памяти. Агеев знал немало людей, которые о своем военном прошлом, зачастую трудном и даже трагическом, имели обыкновение рассказывать с юморком, посмеиваясь над тем, от чего в свое время поднимались волосы дыбом, находили в ужасном забавное. Если по отношению к самому себе это еще можно было понять, то по отношению к другим, особенно погибшим, это все же граничило с кощунством, думал Агеев.

Как это ни странно, о своем он почти никому не рассказывал, разве что так, в общих чертах. Впрочем, хвалиться ему особенно было нечем. О страшном сорок первом и обо всем, что связано с этим местечком, он долгие годы старался не вспоминать даже — невольные воспоминания эти не приносили радости, только будоражили душу тяжестью смертей, крови, ошибок. Жена была родом из Поволжья, войны почти не видала и, пока была жива, вообще отмахивалась от ее ужасов. О нем она знала только, что в начале войны был тяжело ранен, воевал в партизанах, потом учился и работал в народном хозяйстве, пока не перешел на преподавание в вузе. Сын поинтересовался как-то

его наградами и, когда отец показал ему орден Красной Звезды, презрительно хмыкнул: у родителя его друга, служившего в годы войны в большом штабе, было пять орденов, куча медалей — за взятие городов и юбилейных. Агеев понял, что навсегда уронил себя в глазах сына, и никогда не заводил с ним разговора о войне.

Он проснулся ночью от беспричинного чувства тревоги, смутного ощущения опасности, что ли. Полежав, однако, понял, что его беспокойство шло изнутри, из глубины сознания — вокруг была ночь и стояла мертвенная тишь, какая была когда-то и от которой он основательно отвык за время войны. Озноб его, кажется, миновал, он лежал весь в остывшем поту, но холодно ему не было — скорее было душно, кожушок он сбросил во сне на пол и теперь лежал во влажной рубахе. Рана, когда он невзначай двинул ногой, отозвалась острой болью, но эта боль была терпимой, не то что вчера. В сарайчике царила тьма, едва брезжили две-три щели под крышей, и в одной из них тоненьким лучиком мерцала крохотная звездочка в небе.

Агеев прислушался, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение жизни за стенами его дощатого укрытия, но, пожалуй, ни один звук не достигал его слуха. Он не сразу понял, какие звуки искал в тишине его встревоженный слух, но звуков этих уже давно не было слышно — с тех самых пор, как они отбились от группы и повернули на юг. И тогда он подумал: что же это такое случилось в мире, как произошло, что война оказалась так далеко на востоке? И почему он очутился в этом сарае, беспомощный, безоружный почти, переодетый в какую-то вышитую сорочку? Где его армия? Где фронт? Сколько будет продолжаться это отступление и кто в нем повинен? Красноармейцы? Командиры? Наша боевая техника? Или все решило превосходство немцев, внезапность их мощного удара, их мастерство и совершенство их тактики на поле боя?

За несколько дней боев, в которых ему довелось участвовать, он воочию убедился, что в войсках недостатка решимости противостоять врагу не было, что бойцы и особенно командиры, не щадя себя, порой сверх всякой возможности дрались с врагом, иногда здорово колотили его на малых участках, хотя и не могли сколько-нибудь ощутимо изменить общую обстановку на фронте, которая с того самого рокового воскресенья оказалась разгромной. Невзирая на свои потери, на стойкость и упорство многих наших частей, немцы ломали оборону, обходили, окружали на широком фронте и безостановочно катились на восток. Где они сейчас и где фронт, что ждет армию и страну в недалеком будущем — вот те вопросы, от которых в гнетущем испуге билось сердце, которые, если над ними задуматься, казалось, были способны свести с ума. На его глазах гибли люди, рушились вековые устои и ставилось под вопрос будущее всей зем-

ли — как можно было сохранять спокойствие, мирно спать в этом тихом уголке Белоруссии, куда его загнала война?

Все последние дни после разгрома, пробираясь к этому местечку, Агеев страдал от неизвестности, от абсолютного отсутствия информации; люди, что встречались на их пути, тоже знали немного, больше обходились догадками и предположениями, а слухи оказывались одни фантастичнее других, слухам Агеев старался не верить. Но, каким бы ни было его недоверие, одно оставалось несомненным — немцы перешли Днепр. И он думал, что если даже на Днепре их остановить не сумели, сдали Могилев, Витебск, Гомель, так чего ждать дальше? Ведь там рукой подать до Москвы.

Еще неделю назад, прорываясь с группой на восток, мучимый постоянным недосыпанием, страдая от раны, голодный и настороженный в ожидании стычек с немцами, он как-то не задумывался о коварных поворотах войны, стремился лишь выйти к своим, а там, казалось, все станет на место. Но вот к своим так и не вышел, застрял бог знает где, на чудовищном удалении от фронта, в стороне от больших дорог, отоспался, освободился от осколка в ране, и тревожные мысли за судьбы войны и свою собственную судьбу стальными клещами ухватили сердце — было беспокойно, тяжело и горестно. Но что он мог сделать?

Если бы не это ранение...

Многое было неясно в его вынужденном заточении, но то, что с такой раной он не боец, это он уяснил со всей определенностью. Самое скверное было в том, что он совершенно не мог бежать, не мог при нужде положиться на ноги, хромого его легко мог настичь любой полицай. Значит, выход мог быть один — как можно скорее залечить рану и любыми путями прорваться на восток, к фронту, к своим.

Когда сквозь дощатые стены чуланчика забрезжил рассвет, он поднялся и, преодолевая слабость и головокружение, стал слезать с топчана. Он подумал, что лучше это сделать сейчас, пока вокруг спят и его никто не увидит. Накинув на плечи свою телогрейку, медленно опустил ноги на притрушенный сеном земляной пол. Все-таки рана болела, ногу прямо сводило от боли при каждом неосторожном движении, и он, сжав зубы, бережно наступил на левую пятку. Держась за притолоку, тихонько отворил низкую дверь, вышел в сарай. Откуда-то из-под его ног пугливо шарахнулся большой серый кот, выскочил из ворот, сторожко поглядел на Агеева умным взглядом косых глаз на щекастой кошачьей морде и скрылся под лопухами. В хлеву сильно пахло сеном, старым навозом, но за разломанной загородкой, кажется, было пусто, коровы у Барановской не было. Не слыхать было и никакой другой живности, хлев-сарай был пустой, ворота едва прикрыты от ветра, и он, все хватаясь за стены, выбрался во двор. Рослые лопухи и крапива возле стежки стояли в холодной росе, прислоненные под стенами хаты, торчали какие-то жерди или, может, дрова Барановской; узенький дворик был вымощен мелкими камешками, но ходили по

нему, видно, немиого, и местамн между камней уже пробивалась трава. Напротив входа в хату стояла пустая поветь-беседка, одной своей стороной примыкая к заборчику, отгородившему двор от улицы. Эта поветь, которая вскоре сыграет определенную роль в его судьбе, теперь не обратнла на себя особенного внимания, ои больше присматривался к тому, что иаходнлось подальше от улицы, в глубине этого длинного, со многими сараями н сараюшками двора. Под общей крышей с хлевом-сараем ютнлнсь и еще какие-то ветхие пристройки, н все заканчнвалось дровокольней с небольшой поленничкой дров под стрехой, над которой в сумрачном рассветном иебе темнели могучне кроны нескольких больших деревьев. От дровокольнн вдоль сада сбегала вннз стежка, исчезавшая где-то в коице огородов у овражка, где они переходнли ручей. Только начиналось раннее утро, было сонно и покойио, местечко спало, казалось, ие ведая ни бед, нн забот, которые обрушила на землю война. И Агеев подумал, что такая тишь для него просто неестественна после всего пережнтого им за иесколько недель войны, он чуял в ней ватаенную злую тревогу, смутное ожидание беды.

Кое-как допрыгав на одной ноге до своей коиуры, Агеев сразу упал на топчан; эта небольшая прогулка совершенно вымотала его, н он вспомнил, что сегодня обещала прнйтн Евсеевна, посмотреть рану. Повязка снова намокла, наверное, ее надо было поменять, но у него по-прежнему не было нн бнитов, ни лекарств, приходилось ожидать врачиху.

Четверть чвса спустя он снова ненадолго усиул и проснулся от непривычного двнжения в хлеву, дверь в сарайчик тихоиько приотворилась, и Агеев не сразу узнал Молоковича в кепке.

— Ну, здравствуйте. Как вы тут?

Молокович был не один, ва ннм в чулан влез ннзенький тщедушный паренек в очках, который смущенно остановился у порога н с почтнтельной настороженностью уставился на Агеева.

— Вот лежу, — иеопределенно сказал Агеев, несколько удивленный этим появлеиием незнакомца.

Молокович между тем что-то вытаскивал нз тугнх карманов пиджачка и клал на ящик в ногах. Тщедушный паренек боком опустился на сено возле порога; дверь за гостями с той стороны заботливо прикрыла Барановская.

— Врачихв была?

— Была, — сказал Агеев. — Располосовала ногу до бедра.

— Это оиа умеет.

— Она что, хирург?

— Мастер на все рукн, — сказал Молокович. — А вообще она акушерка.

— Да-а...

— Ну так, а как ваше самочувствие? — вплотную прнблизнлся к топчаиу Молокович. Он обращался на «вы» к Агееву, который недавно стал называть его на «ты». Это, может, было н не совсем по правнлам, но, в общем, не влияло на нх взаимоотношения — все-твки Агеев по возрасту и званию был старше.

— Да что самочувствие! Лежу вот... Как там? Что слыхать? Где фронт?

— Фронт, судя по всему, за Смоленском, — невесело ответил Молокович.

— Черт возьми!

Агеев попытался встать, но от неосторожного движения ногой боль пронизала его тупым мощным ударом, и он в изнеможении откинулся на подушку. Молокович присел на край топчана в ногах.

— Вот друга привел познакомиться, — кивнул он на гостя.— Хороший парень, Кисляков его фамилия. Вместе в школе учились. Он эфир слушает.

— Приемник? — перетерпев боль, спросил Агеев.

— Приемник. Старенький, правда, — тихо сказал Кисляков.

— Это хорошо. Так что там?

Неподвижно сидя на охапке сена, Кисляков шмыгнул коротеньким острым носиком и складно, как заученный урок, сообщил:

— Сводка за двадцать седьмое. Наши войска после тяжелых и упорных боев оставили город Таллинн. Один наш бомбардировщик таранил немецкий «юнкерс». Тяжелые бои на Смоленском направлении...

Агеев выслушал его молча. Он уже знал, что если, по сводке, бои на Смоленском направлении, то Смоленск, наверное, тоже уже у немцев, сводки Совинформбюро всегда запаздывали, судя по всему, наступление немцев продолжалось.

— Как все обернулось, все покатилось, кто бы сказал, кто бы недавно еще подумал! — сокрушенно проговорил Молокович.

— Да, обернулось, черт бы его побрал! Ну а что в местечке?

— Да что в местечке? В местечке форменный разбой. Немцев, можно сказать, еще нет, так полицаи свирепствуют. Откуда-то прибыл уже и начальник, Дрозденко какой-то. Видел его вчера, как вешать этих вели...

— Кого вешать?

— Двоих окруженцев повесили возле базара. Оказали сопротивление при задержании.

— Полицаи, конечно, врут, — тихо перебил Кисляков. — Взяли их, сонных, у будочника на переезде. Ночью зашли, ну и поснули. А утром полицай Стасевич заскочил на переезд и побрал их сонных, как куропаток.

Агеев внимательно слушал, вглядываясь в невеселые лица молодых ребят, жителей этого местечка. Случившееся с окруженцами касалось его непосредственно, ведь он тоже, по сути, был окруженцем — со всеми вытекающими последствиями. Им же был и Молокович, хотя с той разницей, что обретался по месту жительства и тем не нарушал немецких порядков, а для бездомного Агеева был уготован полевой лагерь военнопленных. Это в лучшем случае, если без сопротивления, с высоко поднятыми руками.

Молокович между тем рассказывал:

— Стасевич — это же сосед мой. Рядом хата, в коллективизацию из деревни перебрался к родственникам жены. В промкомбинате мастером работал, в бондарном цехе. Вроде и неплохой был сосед, с Колькой его в школу ходили, тот годом позже шел, теперь на Дальнем Востоке служит. А этот вчера приперся, говорит, проведать фронтовичка. Бутылку принес. Ну, выпили, а он давай агитировать. Говорит: «Ваша песенка спета, товарищи красные командиры, теперь под Гитлером будем». «Ну, это еще как посмотреть», — говорю. А он: «Нечего смотреть, иди в полицию, пока еще берут, а то поздно будет. Вон наш начальник в Красной Армии капитаном был, а теперь на немцев работает, жидам чоху дает!» Ну, вы понимаете? Как мне, лейтенанту, слушать такую агитацию?

— Ну и что ж ты ему ответил? — сдержанно спросил Агеев.

— Я? А ничего. Я смолчал. Но очень мне хотелось в него мой «ТТ» разрядить.

— Вот молодец! — язвительно сказал Агеев. — Тут бы они тебя и вздернули. Третьим.

Молокович, казалось без внимания к его язвительности, несколько тише сообщил как о твердо решенном:

— Я его все равно пристрелю. Он же мою учительницу арестовал. Отправили в Слуцк. Вот это и будет мой личный вклад в борьбу с оккупантами. Шлепну и смоюсь. Нельзя нам тут долго оставаться.

Агеев промолчал, он был такого же мнения, только не хотел откровенно говорить при этом скромном парнишке. Кто его знает, кем стал этот друг Моловича за время войны.

— Как твое плечо? — попытался Агеев перевести разговор на другое.

— Плечо заживет. Еще денька три-четыре, и сниму повязку.

— Ну так вот, пока не снимешь повязку, не рыпайся. А то сам по глупости влипнешь и мать подведешь.

— Ну, мать как-нибудь перебьется. А братишка сам норовит что-нибудь против них выкинуть. Вон у Кислякова побольше — четверо с матерью, — и то не дрейфит, радио слушает.

От неловкости поерзав на своем мягком сиденье, Кисляков смущенно пробормотал:

— Бояться — не то слово. Страшно, конечно. Но надо. Если поддаться страху...

— А отец ваш где? — спросил Агеев.

— Отца мобилизовали. В первый же день.

— Самого не призывали?

— Нет. Непригоден по зрению.

— Он студент, — пояснил Молокович. — В Минске в госуниверситете учился. Окончил два курса...

— Да что о том! — махнул рукой Кисляков, и его остроносенькое лицо сделалось совсем печальным. В сумерках утра он выглядел до срока состарившимся мальчишкой, этаким застенчивым умным гномиком.

— Да-а. Ну а что люди говорят? Какое настроение у народа?

От этого вопроса Агеева Кисляков заметно подобрался, вроде бы даже оживился и принялся охотно объяснять:

— В основной массе людей настроение патриотическое. Но все ждут. Эти успехи немцев, конечно, не могли не вызвать некоторой растерянности. Но это на время. Скоро начнется всеобщее выступление. Особенно если будут продолжаться репрессии. А они, несомненно, будут продолжаться, потому что возрастет сопротивление. Эти две вещи взаимосвязаны и взаимообусловлены.

— А что же руководство района? Интеллигенция?

— Тут, видите, какая ситуация: из партруководства почти никого не осталось. Интеллигенции тоже. Кого мобилизовали в первые дни, кто в родные края подался. Учителя, например. Но я так думаю, существует оставленное подполье. Так же как и партизанские отряды.

— Это должно быть! Это обязательно! — с жаром подхватил Молокович. — У нас тут в гражданскую знаменитый партизанский отряд действовал. Отряд Маковчука. Где-то они и теперь должны быть. В Сыромятовских лесах, наверно.

— Они знают где, — тихо отозвался Кисляков.

— Было бы неплохо связаться, — сказал Агеев.

Но Молокович возразил:

— А нам-то зачем? Нам партизаны ни к чему. Что я, в партизанах воевать буду? Мое место в армии, на фронте. Я же средний командир все-таки.

— На всякий случай, — сказал Агеев.

— Нет, нам это не подходит. Это для дядьков деревенских, бородачей, пусть они в лес идут, шалаши строят. Мое дело на фронте. В полк надо нам, я так думаю, — горячился Молокович.

— Ты хорошо думаешь, — с горечью сказал Агеев. — Но вот застряли мы тут, и еще посидеть придется. Фронт, вон он где, а я пока не ходок, сам понимаешь. Еще неделю наверняка проваляюсь.

— А то и побольше, — сказал Молокович и в сердцах шлепнул себя по колену. — Ну что ж, может, за это время война не закончится...

Он вскочил с топчана, запахнув на груди кургузый свой пиджачишко, надетый поверх линялой, в полоску сорочки, совсем не похожий на себя, недавнего лейтенанта — высокий, сельского вида парень с решительным выражением загорелого лица.

— Да, забыл сказать: завтра тут что-то затевается. Всем евреям приказано собраться возле церкви, куда-то переселять будут.

— Куда переселять? — не понял Агеев.

— А черт их знает куда!

— Приказано взять еды на трое суток, ценные вещи, — добавил Кисляков.

— Значит, куда-то погонят. Может, в концлагерь или еще

куда. Их разве поймешь, фашистов этих. Ну так поправляйтесь, товарищ начбой. Я буду забегать, если что...

Когда их шаги затихли на подворье, Агеев откинулся спиной на подушку и долго лежал так, томимый неизвестностью, смутным предчувствием худшего. Все было тревожно и неясно. Правда, неясностей хватало с самого начала войны, он уже стал привыкать к ним, во многом полагаясь на свою смекалку, сообразительность и находчивость. Но до сих пор он был солдат, и не в его власти было принимать значительные решения — решения принимались другими, ему же предстояло их выполнять. Здесь же он оказался в положении, когда сам стал начальником и подчиненным в одном лице, сам должен был принимать решения и сам исполнять их, что оказалось трудным и весьма непривычным. Особенно в таких вот обстоятельствах, когда ни черта толком неизвестно и любой промах может обернуться гибелью. Хорошо бы гибелью одного тебя. А то вот круг причастных к нему людей все расширялся, был один Молокович, теперь за несколько дней к нему присоединились Барановская, Евсеевна, Кисляков; в случае, если он где промахнется, им не поздоровится тоже.

Лежа и думая так, Агеев все посматривал на оставленные Молоковичем гостинцы — завернутый в старую газету хороший брусок сала, несколько яиц, ломоть черного, видно, домашней выпечки хлеба. На душе у него было погано, ночное беспокойство еще усилилось. Но он потянулся к хлебу и, отломив кусок, стал неторопливо жевать. Кажется, аппетит к нему возвращался, и он подумал, что, может, теперь пойдет на поправку. Еще пару дней, и он найдет в себе силы вылезти из этого чулана, а там найдутся силы и на большее. Что-то все-таки надо было предпринять, он явственно сознавал, что в такое время его вынужденное бездействие было почти преступным. Когда война оборачивалась такой бедой, он не имел права сидеть сложа руки. Хотя бы и раненый. У него на это не хватило бы выдержки, и никакие соображения не могли оправдать его уход от борьбы. Он отлично понимал нетерпение Молоковича, хотя и опасался, как бы тот по горячности не наделал глупостей и не погубил его и себя. Гибель могла быть оправдана только в схватке, а к схватке он еще не был готов. Ему надо было подлечить рану.

Весь этот день прошел в тягостном тревожном раздумье о судьбах войны, народа, о его собственной неудачной судьбе. Все время Агеев не мог отделаться от горестного сознания нелепой своей устраненности из той чудовищно трудной борьбы, которая гремела сейчас где-то за сотни верст отсюда, на бескрайних пространствах России. Народу было трудно, трудно городам и селам, но труднее всего оказалось армии, которая была обязана и не могла остановить врага. В первых же стычках с немцами Агеев понял, что главная их сила в огне. Как ни совершенствовала наша армия свою огневую выучку, немцы ее превзошли — их минометы засыпали поля осколками, пуле-

меты и автоматы сжигали свинцом, их авиация носилась в небе с раннего утра до сумерек, разрушая все, что можно было разрушить. Трудно было удержать этого огнедышащего дракона, еще труднее отходить, соблюдая какой-либо порядок. От немецких танков не было спасения ни на дорогах, ни в поле, ни в городе. Как и где их удастся остановить, если они уже за Смоленском?

Агеев неподвижно лежал на спине, когда растворилась дверь и тетка Барановская принесла ему обед — чугунок молодой картошки, большую кружку молока, поставила все на ящик, вздохнула.

— Вот покушать. Чтоб скорее поправились.

— Спасибо, хозяюшка, — тронутый ее заботой, сказал Агеев и, глядя на кружку молока, спросил: — А у вас разве коровка есть?

— Коровки нету. Это соседка, спасибо ей, ссужает. А у меня ничего нет. Кроме курочки. Для развода. Да вон еще кот Гультай.

— Там мне принесли сало и это... Так возьмите, поделимся.

— Нет, что вы! — встрепенулась хозяйка. — Это вам, вы больные, вам надо поправляться.

— Скажите, а еще кто-нибудь знает, что я у вас? — спросил Агеев и насторожился в ожидании ответа.

Барановская из-под низко, по-монашески повязанного платка удивленно взглянула на него.

— Ну что вы! Как можно! Я никому ничего. В такой час, что вы...

— Ну спасибо, — с облегчением сказал Агеев. — Вы уж извините меня... Может, отлежусь. Вас я постараюсь не подвести...

— Да я ничего, лежите. Я же понимаю. У меня ведь тоже сынок был, очень на вас похожий. Такой вот чубатенький. Двадцать шестой годок шел.

— Был?

Барановская скорбно потупилась, уголками платка коснулась вдруг заслезившихся глаз. Агеев напрягся в предчувствии нехорошего и уже пожалел, что задал этот вопрос.

— Был. Погиб Олежка.

Она всхлипнула один только раз, тут же превозмогла себя, вздохнула и спокойнее заговорила, стоя у порога:

— В Западной работал, он ведь инженер по железной дороге был, институт окончил. Только годок поработал в Волковыске, все меня звал, собиралась, правда не насовсем, посмотреть, как он там. У меня ж, кроме него, никого не осталось. И вот не успела, все огород охаживала. А как началось это, долго ни слуху ни духу не было. Те, кого в армию не мобилизовали, домой повозвращались, а Олега все нет и нет. Ждала, ждала его, уже почувствовала недоброе. И правда. На прошлой неделе женщина одна пришла со станции, к матери вернулась, тоже в Западной работала, так говорит, погиб ваш Барановский, на дороге самолет бомбами накрыл, ранило его тяжело в грудь, и

скончался. Портфель его принесла, я сразу узнала, тот самый, с которым в институте учился, домой приезжал, еще харчишки в него складывала. Открываю, а там его вещи. Рубашечки... — Запнувшись на минуту, Барановская выразительно взглянула на Агеева, и тот сразу понял, чья рубаха на нем. — Рубашечки две, ну, бельишко там, книги по локомотивам, документы. Оказывается, вместе они шли, от немцев спасались, и вот те на... Погиб.

— Да, много людей погибло, — сказал Агеев, чтобы нарушить наступившую вдруг тягостную паузу. — И военных и гражданских.

— Погибло. И еще гибнут. Вот и у нас в местечке... Ненасытная она, эта война, такой еще не было.

Агеев молчал. Что он мог сказать ей, чем облегчить ее горе? Потерять взрослого сына — что может быть горше для матери?

Теперь он понял, откуда у нее такой монашески скорбный вид и такой горестный голос.

— Вот тут хочу показать вам, — сказала хозяйка, немного успокоясь, и полезла куда-то за сено. — Если что, тут одна дощечка поднимается. Вот с самого низа. А там, за стеной, малинник, там огород и картошка до самого оврага. Вдруг, если что... Время такое, сами понимаете. Вы уж извините...

— Все ясно. Спасибо вам, теточка, спасибо, — растроганно сказал Агеев.

Она тихонько ушла — выскользнула из его норы, а он с горькой усмешкой подумал: действительно, настало времечко! Вместо того чтобы он, командир Красной Армии, защищал от врагов эту тетку, оберегал ее жизнь и покой, так она оберегает его жизнь и заботится о его безопасности. Теперь он в ее власти и зависит от ее щедрот и сообразительности. Конечно, он безмерно благодарен ей, но все же... Не просто было ему принять ее заботы как должное и преодолеть чувство неловкости, виноватости даже...

...Он сразу узнал этот хорошо уже знакомый ему гул немецких дизельных двигателей, который откуда-то выплыл в утренней тиши над местечком, проурчал в отдалении и смолк, наверное, в центре, на площади. Согнав остатки дремоты, Агеев напряженно слушал — все-таки дом Барановской стоял ближе к окраинной части местечка, если не на самой окраине, и отзвуки происходившего в центре не сразу достигали его. А там действительно происходило что-то, донесся какой-то приглушенный окрик, может, команда, невнятный говор людских голосов, перемежаемый рыкающим воем автомобилей. И вдруг совсем явственно в тиши прозвучал женский плач поблизости, может, даже в конце этой улицы. Он еще не затих, этот вопль отчаяния, как там же послышался тоненький вскрик ребенка: «Мама, мама, мамочка!!!» Агеев повернулся на бок, сел на топчане, осторожно, чтобы не причинить себе боль, подобрал раненую ногу. Щели в стенах едва блестели синеватым отсветом раннего утра, наверное, на дворе было уже видно. И тогда откуда-то

справа, с дальнего конца местечка, стал наплывать многоголосый тревожный шум, Агеев не сразу понял, что это было — плач, говор или, может, молитва сотен людей. Но то, что этот гул состоял из множества голосов, не вызывало сомнения, глухая разноголосица, объединенная ритмом и тоном, сливалась в один мощный, приглушенный расстоянием стон, который то чуть затихал, то усиливался, медленно смещаясь в пространстве справа налево. Агеев догадывался, что там происходило, это было похоже на исход, на выселение или изгнание, когда сотни людей, поднятые жестокой, злой волей с насиженных веками гнезд, уходили, куда их гнали, в страхе, опасении, без веры и надежды. С окаменевшим лицом он слушал, стараясь не пропустить ни единого звука, достигавшего его убежища, чтобы понять и запомнить все. Разум его словно в оцепенении исторгал из возмущенных глубин одно только слово: «Сволочи, сволочи...» И в этом слове-проклятии были и его ненависть, и его бессилие, причинявшие ему едва переносимое страдание.

Прошло, наверное, не так много времени, но уже совсем рассвело, и местечко, слышно было, стало походить на растревоженный улей. Уже трудно было выделить отдельные звуки в этом тягостном протяжном хоре, состоящем из воя и стонов, который то крепчал, то замирал временами, то рассыпался на отдельные очаги горя и отчаяния. И вдруг совсем рядом, несомненно, на этой улице прозвучало четко и явственно:

— Шнель! Шнель!..

— Не толкай, гнида, сама пойду!..

— Иди, быстро, шнель, чево стала?..

— Пан полицейский, нельзя же так быстро, я старый человек...

— Шнель, юда паршивая!..

— О боже, о святой заступник...

Снова притихло все, наверное, изгоняемые потащились на свою последнюю Голгофу, умолк и конвоир. И вдруг, как молния в ночи, взвился к самому небу вопль мольбы и ужаса:

— Мама! Мама!! Мамочка!!!

И затихло. Ни слова в ответ, ни крика. Агеев весь сжался на топчане в совершенном смятении. Что там? Что там случилось? Звуки не объяснили ему ничего. Но трагедия вокруг продолжала вершиться, и он был ее незрячим свидетелем, беспомощным ее участником. Или неучастником, что, впрочем, было одно и то же, потому что было нестерпимо мучительно все это слышать и ничего не мочь.

Тем временем то, что он слышал в отдалении, что доносилось до него гулом и ропотом, постепенно подкатилось ближе и рассыпалось на отдельные голоса, крики и плач. Вспыхивали и пропадали резкие слова команд, смысл которых, однако, трудно было понять отсюда. Где-то, по-видимому на соседней улице, отчаянно блеяла коза — по козлятам, что ли? — несколько раз глухо промычала корова. Там же послышался злой окрик на скотину и ругань, похоже, это сгоняли куда-то и животных.

Агеев подумал, что вроде еще никого не убивают, как тут же за углом гулко грохнул винтовочный выстрел и несколько куриц с кудахтаньем бросились на огороды. Раздался развязный мужской хохоток, и он понял: это развлекалась полиция. Он и еще ждал выстрелов, но их больше не было, вроде начал стихать шум в отдалении, и в этой наступившей тишине вдруг явственно послышалась характерная, как будто картавая немецкая речь. Мужской голос что-то произнес по-немецки, но Агеев различил только несколько слов: «...организацьон, абенд...» Несомненно, это были немцы, они прошли в двадцати шагах от него по улице, он мог бы их снять из пистолета, если бы сумел их увидеть. Держась за топчан, он припал к одной щели в стене, к другой — напротив были заросли малинника, борозды картошки на земле и далее угол соседней хаты. Больше там ничего не было видно.

Шум людских голосов доходил волнами из какого-то одного места — наискосок от угла, наверное, с площади в центре. Теперь он оставался в одинаковой силе, не убывая и не ослабевая больше. Объятый тревогой, Агеев слушал и ждал. Слушать все это в течение длительного времени было мучительно даже для него, а каково же там, этим людям на площади, подумал Агеев. И тут вовсе не в лад со своими чувствами он ощутил в себе злость: как же можно было допустить такое? Надо же было что-то предпринять, может, бежать или скрываться, но наверняка не подчиниться, сделать что угодно, но не то, чего добивались фашисты. Только что сделать, подумал он погодя. Всегда удобно судить со стороны, там же под дулами автоматов все, наверное, было сложнее. И страшнее. Особенно если учесть, сколько там малых да старых, детей и женщин. Тот, кто судит со стороны, всегда судит умнее, но честнее ли — вот в чем вопрос.

Когда шум в отдалении стал понемногу затихать, иссякли отдельные невнятные голоса, выкрики и плач, поблизости послышались другие, обычные, будничные голоса, и он понял: это выгоняли скотину. Напротив через улицу что-то грузили или, быть может, выносили из хат барахло, стаскивали в одно место, и он слышал: «Стой, куда прешь?.. Пошла, пошла... Держи... Поворачивай ты живей, глаза у тебя есть?.. Федька, Федька, заберешь остатки!..» Шла хозяйственная работа, сбор и отправка награбленного, и занимались ею полицаи или кто-то под их присмотром. Эта возня по дворам и хатам продолжалась все утро, казалось, не обещая когда-нибудь кончиться, хлопотливые отзвуки ее долетали то с одной, то с другой стороны улицы, то слышались поблизости, то в отдалении.

Только, может, к обеду все стало стихать, и наконец жуткая мертвенная тишь объяла местечко. Агеев неподвижно сидел на топчане, угнетенный, почти раздавленный, и думал: на сколько еще дней и часов хватит его выдержки, сколько продлится его иссякавшее по крупицам терпение? Он чувствовал себя на лезвии ножа, на пороховой бочке во время пожара — в тягостном

ожидании погибели не сегодня, так завтра. А может, и следовало рассчитывать именно на такой конец? Но тогда зачем сидеть здесь, тянуть время? А если не сидеть, то что сделать в его положении? Дождаться, когда придут, и пустить в ход пистолет? Или самому выйти с пистолетом на улицу и погибнуть с музыкой?

Пока, однако, шло время, а за ним никто не приходил. Не шла даже тетка Барановская, и он стал беспокоиться: не стряслась ли и с нею беда? Может, и ее угнали вместе с евреями?

Барановская пришла к вечеру. Обостренным до крайности слухом Агеев еще издали различил ее торопливые шаги во дворе, дверь неширoко приоткрылась, и в чулан проскользнула маленькая темная фигурка.

— Фу! А я уж думала! Так беспокоилась...

Взмахнув с облегчением руками, она опустилась на высокий порог и заплакала, едва слышно всхлипывая и утираясь уголками темного в крапинку платочка. Агеев молчал, он уже догадывался, отчего она плачет.

— Ой, что они с ними сделают!.. Они всех их собрали... Всех, всех... Никого не оставили, все ихнее забрали. Это ж и меня заставили зерно выгребать... У кого какое осталось, все выгребли...

— Куда их погнали? — дрогнувшим голосом спросил Агеев.

— А кто же их знает! Говорят, на станцию. Куда-то отправлять будут. А некоторые говорят: постреляют в Горелых торфяниках.

— И что, никто не убежал?

— Как же убежишь? Они же с винтовками на всех улицах, на огородах. Двоих молодых застрелили за то, что не подчинились, говорят. И Евсеевну с ними...

— Евсеевну? — почти с испугом переспросил Агеев.

— Евсеевну тоже. У нее же мать старенькая. Так с матерью и погнали.

Агеев про себя тихо выругался. Со вчерашнего дня он с часу на час ждал акушерку — надо было сделать перевязку, из-под бинта стало подтекать на брюки, и, хуже того, ему все время казалось, что в ране шевелятся, поедают его плоть белые черви, одно представление о которых заставляло его вздрагивать. Но он ничего не мог сделать, чтобы помочь себе, у него не было ни клочка ваты, ни бинта, ни лекарства. Будет забот, если снова не заладится с раной, подумал он. Барановской, однако, он ничего не сказал, той за сегодняшний день и без него хватило волнений, и тихо сидел на топчане, протянув вдоль сенничка свою бедолагу ногу. Немного успокоясь, хозяйка вытерла глаза и вздохнула.

— Пойду. Картошки надо сварить на ужин.

— Не до ужина тут, — сказал он грубовато.

— Ну как же! Надо же вам скорее на ноги встать...

— Оно бы не мешало...

Бараиовская выскользиула из сарайчика, а ои стал думать, как выбраться из этой западни, в которой его теперь уж определенно не ждало иичего хорошего. Прежде хоть была какая-то надежда иа доктора, его помощь и лекарства, а теперь вот и эта надежда убита... Что-то следовало предпрнинять, что-то придумать. Но что? Он все время напряжеино думал, ломал голову в поисках выхода, но выхода не было, раненая иога лишала его подвнжности, и постепенно ему стало казаться, что ои обречен, потому что когда-то пропустнл свой едииственный шанс, промедлил нлн поступил ие так, как следовало поступить в его иепростом положеиин, и теперь оставалось одио — готовиться к расплате за свою оплошиость.

Правда, у иего был Молокович.

И Агеев стал с иетерпением ждать Молоковича, все-таки тот обладал большимн, чем ои, возможиостямн в этом местечке, хотя бы большей подвижиостью, уж ои лучше владел обстаиовкой и должеи помочь. В прошлый раз онн ие условились о встрече, н теперь Агеев иадеялся, что тот скоро придет, оии обсудят нх положеиие и что-то придумают.

Когда в хлеву-сарае послышались осторожные шаги, ои так и подумал, что это идет Молокович, потому что с кем же еще могла там тнхоиько разговарнвать Барановская? К этому времени на дворе еще, может, только сгущались сумерки, а в сарайчике почтн уже стало темно. Агеев едва различал прямоугольиик ннзкой двери, которая тихонько отворилась — шире, чем если в иее входила хозяйка, н в сарайчик влез кто-то, явио ие Молокович, кто-то, еще не бывавший здесь, громоздкий и иезнакомый. Агеев иастороженио вскииулся, ио из-за шнрокой спнны вошедшего послышался негромкий, успокаивающий голос хозяйки:

— Так вы уж вдвоем тут. Я на дворе побуду...

— Да, посмотрите там...

Сказав это, вошедший тем же густым иизким голосом сдержанно поздоровался и, неопределеиио потоптавшись иа месте, уселся на высоком пороге. Курица, что весь день спокойио сндела в углу иа покладе, встревоженно прокудахтала и утихла. Агеев поиемиогу успоканвался, ои уже понял, что человек этот ие враг, врага Барановская ие привела бы сюда. Но кто это был, о том предстояло только гадать. Оии иедолго помолчали, Агеев ждал, гость, похоже, вслушнвался в гнетущую тншину, которая установилась к ночн в потрясеином диевными событиямн местечке.

— Вы давно тут... отдыхаете? — спроснл иакоиец вошедшнй.

Агеев умел с первых слов по тембру и звукам голоса определять характер человека. В армии обычио старались показать в голосе твердость н деловитость иезависимо от того, были они в иаличии или говорившему только хотелось, чтоб были. Так или нначе, но в голосе миогое отражалось, иадо было лишь уметь слушать его. Голос же пришедшего, вне всякого сомнеиия, обнаружнвал в нем человека штатского, ие очень моло-

дого, даже вроде пережившего что-то трудное, и Агеев скупо ответил:

— Три дня... отдыхаю.

— Да, отдых, конечно... Не приведи бог!

— Вот именно.

Они опять помолчали. Агеев ждал, а гость, по-видимому, все не решался начать разговор, ради которого он, несомненно, и пришел сюда.

— Я тоже на этом топчане неделю провалялся. До вас.

— Вот как!

Агеева это удивило: тут уж явно просматривалась какая-то общность их судеб, хотя и требовавшая некоторых уточнений.

— Что, по ранению?

— Представьте себе. Хотя и не военный, но вот нарвался на пулю.

— Ах, вон что, — несколько разочарованно сказал Агеев.

— На станции, знаете, при эвакуации. Пришлось остаться. Но ведь в чем сложность — в райкоме работал, все меня знают. И полиция тоже. Спасибо вот Барановской — укрыла, выходила.

— Да. Меня тоже выхаживает.

— А вы в бою?

— При прорыве из окружения. В ногу.

— Да-а... Окруженцев теперь идет ой сколько! Все на восток.

— На восток, куда же еще! За фронтом. Я тоже, если бы вот не нога.

— С раненой ногой, конечно, далеко не уйдешь.

— А у меня был еще и осколок. Спасибо вот извлекли.

— Евсеевна? — живо догадался гость.

Агеев промолчал, не зная, стоит ли называть имя его спасительницы. Но гость, видимо, понял все и без его подтверждения.

— Евсеевна, она тут многих на ноги поставила, — сказал он в темноте и вздохнул. — Но, кажется, больше не придется... Угнали сегодня вместе со всеми...

— Их уничтожат?

— Похоже на то.

— Ужасно!

— Ужасно — мало сказать. Чудовищно! Половина местечка как вымерла. А ведь они здесь жили столетиями. Тут на кладбище десятки их поколений...

— И ничего нельзя было сделать?

— А что же сделать? Не готовы мы были к этому. Да и силы пока не те. Борьба ведь только разворачивается.

— Партизаны? — догадался Агеев.

— И партизаны, и еще кое-кто. Осваиваем разные методы, — несколько уклончиво ответил гость и вдруг спросил: — Вы член партии?

Агеев помедлил с ответом, однако уже понимая, что надо отвечать по совести, в открытую. Кажется, настал именно та-

кой момент, когда уклоняться от прямого ответа или тем более лгать было неуместно.

— Кандидат, — сказал он просто и затих.

— Что ж, это хорошо, это почти что член. Тогда будем знакомы. Я Волков, секретарь райкома.

Гость протянул руку, Агеев пожал ее, молча скрепляя полный неизвестного, но наверняка значительного смысла их тайный союз. Агеев еще не все мог представить себе, но уже почувствовал, что именно с этого знакомства начинается новая полоса его жизни, вряд ли спокойная, но содержащая именно то, чего ему недоставало. Во всяком случае, было ясно, что он избавлялся от одиночества и неопределенности, приобщался к организованной силе, отсутствие которой он так болезненно ощущал все последние дни их блуждания по немецким тылам и пребывания в этом местечке.

— А вы что же, проживаете здесь? — спросил он, несколько удивляясь, что секретарь райкома продолжал находиться в местечке.

— Нет, проживаю не здесь. Вот пришел специально кое-кого проведать. Так вот, у нас к вам будет предложение. Или просьба. Понимайте, как хотите. Как вам сподручнее.

Агеев насторожился. В общих чертах было нетрудно представить характер этого предложения-просьбы, хотя и без необходимых подробностей. Но он хотел сперва объяснить, что его возможности ограничены, потому что он пока не ходок, поэтому может стать полезен разве через недельку-другую, в зависимости от того, как поведет себя эта проклятая рана. Но Волков, будто разгадав его мысли, сказал:

— Оно понятно, вы не ходячий, и мы вас пока с места не стронем. Лечитесь... Но прежде всего надо легализоваться.

— Как легализоваться? — не понял Агеев.

— Это просто. Барановская даст вам документы погибшего сына. Его тут мало кто знает. Но это скорее формально, для полиции. Вы вернулись домой, не совсем здоровы, работаете по хозяйству.

— Да, но... Как по хозяйству?

— Ну, во дворе, на огороде, дровишки... Понимаете, нам нужен свой человек в местечке. Наши, понимаете, всем тут известны, наших сразу раскроют. Вы же по документам инженер, беспартийный специалист. К тому же сын священника.

— Какого еще священника?

— Отца Барановского. Ведь тетка Барановская — бывшая попадья. Она в полном доверии у властей.

— Вот как!..

— А почему это вас так удивляет? Попадья, да. Но она честная женщина, она вас прикроет. А вы ведь командир, оружие знаете...

— Как не знать — начальник боепитания.

— Тем более. Нам именно такой и нужен. К тому же тут, по-

нимаете... Подходы к хате Барановской очень удобные. Из овражка и во двор.

— Подходы действительно...

Далее Агеев плохо слушал этого вечернего гостя. Хотя он и был готов выполнять все, что ему поручалось, он не ожидал для себя такого рода поручений и теперь торопливо осмысливал их, соображая, как совместить все это с его армейским положением. Все-таки он был кадровым командиром армии, из которой никто его не увольнял, и он продолжал чувствовать на себе непростой груз ее военных обязанностей, прерваных разве что временными неудачами и его ранением.

— Мы очень рассчитываем на вас, — нажимал тем временем секретарь райкома.

— Ну что ж! Разве что до прихода наших. Ведь я должен пойти в армию, на фронт.

— Ох, фронт, фронт! — сокрушенно проговорил Волков. — С фронтом беда, товарищ. Кажется, наши Смоленск оставили.

Действительно, черт знает что творилось на фронте, что происходило в оккупации! Разумеется, в такое время было бы преступлением спокойно лежать на этом топчанчике и ждать, когда тебя вызволят из-под немецкой власти. Борьба с этими сволочами не прекращалась, и здесь она, может, только еще налаживалась, значит, он был обязан и не имел права уклониться от участия в ней. Но это чисто умозрительно, почти теоретически. Теоретически все было просто и, несомненно, легче, а как вот на деле? Стать сыном попадьи Барановской, сменить фамилию, жить по чужим документам да еще легализоваться перед немецкими властями... Черт знает что такое!..

— Пока что фронт двигается на восток, — усталым голосом исстрадавшегося человека говорил Волков. — К Москве катится. Но, я так думаю, недолго еще будет катиться. Где-то должен произойти перелом. Где-то им дадут в зубы!

— Должны бы!

— А здесь полный разбой. Повылазили разные гады. Да и наши некоторые. Начальником полиции — армейский командир. Сам, добровольно пошел.

— Таких сволочей стрелять надо! — возмутился Агеев.

— А вам придется иметь с ними дело.

— Это похуже.

— Похуже, но надо. Как-то надо поладить, на это мы и рассчитываем. Будете держать связь только со мной. Волков, конечно, мой псевдоним. Придет кто, мужчина или женщина, скажет: от Волкова. Это значит, от меня. Ваш друг Молокович будет работать на станции.

— Да? — обрадовался Агеев. — Вы с ним говорили?

— Конечно. Работенка у него не бог весть — в кочегарке. Но нам именно там и надо. Он как человек? Надежный?

— Хороший парень. Вполне!

— Мы тоже так думаем. Будете работать в паре. Барановская поможет. Она в курсе.

— Ну спасибо! — Агеев был растроган. И в то же время почувствовал, как быстро растет в нем тревога.

Его взбудоражил этот разговор, неожиданные заботы и опасности круто меняли все в его положении. Прежней оставалась разве что его рана, которая властно напоминала о себе при малейшем движении.

Они почти уже обговорили свое сотрудничество, условились о главном и, когда Барановская принесла ужин, сидели молча, погруженные в свои невеселые мысли. Агеев без прежнего аппетита поел картошки с огурцами — теперь все его заботы уходили в будущее, в область новых, непривычных для него отношений с Волковым и, что особенно заботило его, с врагами, в общении с которыми он должен был отказаться от себя прежнего и надеть новую личину. Как это у него получится? И чем может кончиться? Впрочем, чем может кончиться при неудаче, он представлял отлично, но теперь хода назад не было, предстояло готовиться к любой неожиданности. Все эти недели после разгрома полка он не мог отделаться от навязчивого чувства виноватости оттого, что он так нелепо выпал из жестокой войны, выбыл из части, которая, вполне возможно, перестала существовать вообще. Но ведь существовала армия, а с ней оставался в силе его воинский долг, определенный когда-то принятой им присягой. Правда, он был ранен, и это обстоятельство оправдывало в его судьбе многое, хотя далеко не все. Даже будучи раненным, он не имел права на спокойное житье под немцем, бездейственное выжидание перемен к лучшему на жестоком фронте борьбы. Он чувствовал, что, если ему суждено будет приблизиться к фронту, там придется что-то объяснять, в чем-то оправдываться, ведь у него оставалось оружие, которое он должен был использовать против фашистов. Конечно, то, что ему предлагал теперь этот Волков, лишь отдаленно напоминало вооруженную войну с захватчиками, но что делать — другая война была пока за пределами его возможностей.

После ухода вечернего гостя Агеев лежал с открытыми глазами, думал. Как всегда, его чуткий слух был настороже, проникая в обманчивую тишину ночи, в которой таилось разное. Молокович так и не пришел сегодня, и Агеев думал: не случилось ли и с ним что-нибудь скверное? В таком его положении лишиться Молоковича было бы более чем печально. Хотя в данный момент он уже и не чувствовал себя таким одиноким, как прежде, все же Молокович продолжал оставаться его главной опорой — юный лейтенант связывал его с их недавним воинским прошлым, горемычным полком, тяжелыми боями и утратами, прошлым, которое хотя и не стало предметом их гордости, но и не давало повода устыдиться. Свой боевой долг они выполнили как только могли, и не их вина, что все обернулось таким драматическим образом.

К ночи опять разболелась рана, в глубине которой стало болезненно дергать; пульсирующая боль отдавалась в бедро, и он, стараясь поудобнее устроить ногу на сенничке, вертелся на топ-

чание то так, то этак. Наверное, Барановская со двора услышала его возню и заглянула в сарайчик.

— Как вы тут? Может, принести чего?

— Нет, спасибо. Ничего не надо.

— И я вот спать не могу. После всего, что навиделась, что наслышалась...

— Ужасно! Что и говорить.

Она не торопилась уйти, в темноте он почти не видел ее, только чувствовал ее деликатное присутствие и сказал без особой настойчивости:

— А вы побудьте со мной.

— Побуду, да. Знаете, одной теперь невозможно. Просто не хватает выдержки.

— Да, сейчас выдержки надо иметь уйму. Скажите, а этот Волков... Он говорил с вами?

— Антон Степанович? А как же, разговаривал. Вы не беспокойтесь, я же говорила, что сынок мой был очень похож на вас. И возрастом такой же.

— Как его звали? Олегом?

— Олегом. Олег Кириллович Барановский. Так что теперь вы Барановским будете. Вместо сына.

— Ну спасибо. А что, муж ваш — священник? — вдруг без всякого перехода спросил Агеев и почувствовал в темноте, что хозяйка слегка смутилась, вздохнула и ответила погодя, не сразу:

— Был священником Святодуховской церкви. Той, местечковой, что возле базарной площади. Хотя вы же не знаете...

— Не знаю, не видел.

— А я в народном училище работала. Давно это было, — горестно сказала она и умолкла.

— Ну как давно? До революции?

— И после революции. Отец Кирилл был настоятелем до самого закрытия церкви в тридцать втором году. Я перестала работать за десять лет до того. Уже нельзя было. Сами понимаете: попадья — какая же учительница?

— Вы и родом отсюда?

— Нет, родом я из Двинска, одно время жила в Вильно, там окончила Высшее Мариинское училище. Отец был банковским служащим, служил в Вильно, в Полоцке, в Двинске. А сюда я попала с отцом Кириллом, ведь тут его родина. О, это длинная история, как и длинная жизнь. Рассказывать все в подробностях — не хватит рождественской ночи, не то что августовской.

— Трудная была жизнь?

— В наше время легкой вообще не было. Но нам досталась особенно каторжная. И теперь вот... Был один сын, вся моя надежда, казалось, живу для него только, но вот и его не стало. Одна! Иногда думаю: зачем жила? Какой смысл жить дальше? Да еще в такую войну? Все страшно, трудно, изломано. Думаю иногда, может, где неудачно сделала выбор, ошиблась в глав-

ном? Нет, вроде нигде. Всегда старалась жить в согласии с совестью, с добром, даже с передовыми идеями века. Но как назло именно такую меня век и не принял. Может быть, опоздала или, быть может, рано в него явилась, в этот наш бешеный век. Подруга у меня была, Любочка Чернова, славная девушка, вместе музыке учились, талант не бог весть какой, но консерваторию окончила, в Москве неплохо пристроилась, вышла замуж за совработника. А мне музыки было мало — я рвалась в народ, нести ему разумное, доброе, вечное, облегчить его участь, просветить, открыть светлый путь к знанию. Отец не одобрял все это, он многое из того, что тогда витало в воздухе века, не одобрял, придерживался старых взглядов, был недоверчивый, довольно подозрительный к новому чиновник. Но мама, моя милая восторженная мамочка, она горячо поддержала мой выбор профессии народной учительницы, она сама всю жизнь жаждала обучать, просвещать, к прислуге всегда относилась, как к милым родственникам, баловала и одаривала ее к каждому празднику. Толку от этого было немного, они только наглели, все эти Фрузы, Архипки, Ганки, ленились, опускались, а при случае могли и стянуть, что плохо лежало. Но у матери это не считалось большим преступлением, она утверждала, что все это от темноты и невежества, и она их просвещала, читала по вечерам на кухне Толстого, Некрасова и обучала грамоте. Окончив училище, я пошла обучать грамоте деревенских мальчишек в глухом уезде Витебской губернии. Не скажу, что эти годы были худшими в моей жизни, скорее наоборот — мальчишки меня любили, да и я привязалась к ним, ничего не жалела, ни сил, ни труда, приобщала к культуре и элементарным знаниям, сама перебиваясь с хлеба на квас, ютясь по углам у местечковых евреев. Но в этом я видела свой долг перед народом и исполняла его с жаром и рвением. Сами понимаете, в молодые годы этого рвения всегда в избытке.

— И вы здесь, в местечке, работали? — спросил Агеев.

— Нет, не здесь, в разных местах. Но больше всего в Дриссенском уезде. Одно время под Двинском, в десяти верстах от города. Там и познакомилась с отцом Кириллом.

— А он что, уже и тогда был священником?

— Только что окончил духовную семинарию, собирался получить приход, может, не самый худший в епархии. Но, конечно, народ, как везде, был беден, жил в темноте, и отец Кирилл с не меньшим жаром, чем я, взялся за духовное его воспитание. Это теперь так говорится, что религия — опиум для народа, а тогда так не думали, большинство считало наоборот — что вера возвышает, облагораживает, приобщает к истине и свету жизни. Правда, и тогда были атеисты, такие, что считали ее далеко не главным в жизни общества, на первое место ставили просвещение, пользу знаний. Я тоже принадлежала к этим последним...

— Как же вы тогда замуж вышли? За попа? — улыбнувшись в темноте, спросил Агеев.

Как-то вопреки своему настроению он слушал рассказ Бара-

новской — и все с большим для себя интересом, постепенно открывая в хозяйке совершенно другого человека, чем тот, который ему показался сначала. Это было неожиданно и даже удивляло. А он ее принял за темную деревенскую тетку, эту выпускницу виленского Мариинского училища и жену приходского священника.

— В том-то все и дело, и я собралась рассказать вам, как это случилось в моей жизни — все наперекор убеждениям, склонностям. Разных мы придерживались убеждений, а вот слюбились, не знаю даже почему. Хотя влюбиться в отца Кирилла было нетрудно, он был такой видный, высокий, с русой бородкой, глаза сине-синие, взгляд вроде наивный, мечтательный, а голос... С голоса все и началось. Впервые услышала его в церкви, зашла во второй раз, а потом встретилась с ним у исправника на рождество, а на масляной неделе он уже просил моей руки. Родители были под боком, в Полоцке, но я все решила сама, и обвенчались в той же его церкви. Отец мой, когда узнал, ничего не сказал, а мама закатила истерику — такого она не ожидала. Но гнев ее долго не длился, стоило ей увидеть моего голубоглазого священника, как гнев сменился на милость — Кирилл очаровывал любого прежде всего своим кротким видом, затем осанкой, ну и умом, конечно. Кроме священных канонов он неплохо разбирался в литературе, знал искусство, современное, западное и византийское, да и к православной церкви относился умеренно критически, видя в ней не только плюсы, но и ряд минусов. Однако он избегал порицать руку, дающую ему хлеб, и обязанности свои исправлял прилежно.

В пятнадцатом году родился у нас Олежка. Я жила тогда у родителей в Полоцке, Кирилл был на фронте, он служил полковым священником в Галиции, часто писал о бедствиях русского солдата в той нелепой войне. Через год летом приехал на побывку, одарил нас коротеньким счастьем и уехал. И тут, знаете, я словно вдруг повзрослела, может, под его влиянием или оттого, что стала матерью, но именно с этого лета у меня мало что осталось от демократизма моей молодости и впервые приоткрылась великая тайна бога. А может, потому, что время изменилось — настали долгие годы разрухи в тылу, бедствий на фронте, человеческих трагедий. Как раз летом этого года погиб на фронте под Ригой мой двоюродный брат Юра, которого я так любила. Славный был, чистый мальчик, пошел из патриотических побуждений вольноопределяющимся в артиллерию, но постепенно разочаровался в войне, незадолго до гибели писал полные тоски письма и погиб, спасая батарею от неприятеля. Помню, меня тогда поразило это — ненавидел войну, фронтовые порядки, начальство, а когда пришел час, проявил геройство и погиб, до конца исполнив свой долг. И я думала: что это, высшая доблесть или мальчишество? Я все примеривалась к характеру брата и не могла понять, способна ли я на такое.

— Ну, вам-то зачем было примериваться? Вы же женщина. Да еще молодая мать, — сказал Агеев.

— Наверное, в том-то и все дело, что стала матерью, это, знаете, всегда меняет психологию женщины, особенно в трудное время, привязывает к ребенку и, енаете, к мужу тоже. Я ето поняла, когда дождалась наконец Кирилла — пришел уже под осень в семнадцатом, измотанный, обовшивевший, душевно надломленный. Октябрьский переворот он встретил спокойно, без особенной радости, но и без печали, сам он был выходцем из крестьян, знал жизнь беднейших классов, близко принимал их интересы и нужды. Многое из старого рушилось, свергалось, предавалось поруганию, но, казалось, все ето делалось в интересах трудовых масс, для пользы народа. А коль для народа, то какой мог быть разговор — народ мы уважали с дней нашей юности, для народа мы готовы были на жертвы. Но на разумные жертвы. И, когда у нас разграбили имение барона Вротберга, сожгли библиотеку, поуродовали дорогую мебель, скульптуру, Кирилл возмутился, ведь все это очень пригодилось бы для новой, народной власти. Но имение — ладно, имение, в конце концов, дело наживное, а вот то, что расстреляли директора народного училища, который всем сердцем и трудами служил именно народу, ето уже было бог енает что! А расстреляли только потому, что тот пытался воспрепятствовать разгрому поместья, имея в виду перенести туда училище, так его расстреляли как защитника буржуазии, поместье сожгли. И кто? Те самые темные, подневольные мужики, дети которых учились в народном училище у етого самого директора Ивана Ивановича Постных. Может быть, етот случай, а может, другие, подобные ему, заставили меня думать, что людей надо делить не по сословной и классовой принадлежности, не по профессиям и должностям, а на добрых и елых и что на одного доброго в жизни приходится десять злых. И что доброта невозможна без бога, а со злом в человека обязательно вселяется дьявол, которому уже не будет удержу.

После гражданской войны Кирилл получил приход в родном местечке. До него тут долгие годы заправлял церковью отец Филипп Заяц. Это, я вам скажу, был не лучший из служителей божьих, да и из сынов человеческих тоже. Типичный поп-обирала, обжора и пьяница, каких тогда немало встречалось в провинции. Этот умел приспособить религию для личных целей, да так ловко приспосабливал, будто она для него и была создана. Попадья тоже подобралась под стать батюшке, такая же жадная и корыстная; впрочем, она и правила и батюшкой, и приходом — невежественная, свирепая женщина. До революции прихожане ежегодно подавали жалобы, до священного синода дошли, но Заяц где надо умел прикинуться агнцем, а жалобщиков потом пускал по миру. Последнюю жалобу на него посмела написать молодая сельская фельдшерица, так он довел ее до того, что девушка отравилась морфием. И мертвой еще отомстил: не разрешил похоронить на кладбище — закопали за

оградой с тыльной стороиы. Но все же если ие жалобой, то смертью своей оиа добилась, что Зайца отстраиили от прихода, иазиачили отца Кирилла. Переехали в эту вот хату. Когда-то тут прошло детство мужа, теперь проходило детство нашего Олежки. Я в школе уже не работала, была просто иждивеикой, попадьей, жили мы преимущественно с огорода да с того немногого, что жертвовали прихожаие. Трудио жилось. Но тогда всем трудно жилось. Я полюбила этот домик и двор и соседей по улице — все оии были трудолюбивые, простые, бесхитростиые люди. Я старалась со всемн жить в мире и добре, чем могла помогала многодетным семьям, уличным детишкам, у нас появились друзья нз простоиародья. Интеллигеицня — учнтеля, совработники — как-то с иами не очень общались, но бог с ними, я их понимала. Потом стало хуже, отец Кирилл заболел, стал плохо спать, часто иервиичал, хотя исправио правил службу, ездил на требы, добросовестно делал все, что полагалось делать приходскому священиику. Но разворачивалась борьба с религией, и, как иередко бывает, эта борьба стала переходить на личиости, обретать коикретиые цели. Поиятио, что отец Кирилл стал первым объектом этой борьбы. Часто стали иарушаться порядки иа обедие — то выкрики, то пьяиые свары. Потом стали его вызывать — в ОГПУ, в сельсовет, а то на диспуты в нардом. Он не противнлся, послушно ходил, участвовал в диспутах, где, коиечно же, верх принадлежал ие ему. Верх всегда одерживал Коська Бритый — не знаю, кличка это нли фамилия. Но однажды, когда отец Кнрилл рассказывал о происхождении святого евангелия, этот Коська Брнтый решнл сразить его вопросом! «А ты сам бога видел?» Отец Кнрнлл стал объяснять, что бога невозможно увндеть, что это скорее нравственное понятие, чем персона, но Бритый заорал, как дурной, что «нравственность или норовнстость — это от кобылы, которая не хочет идтн в оглобли, а мы люди свободиые, теперь нам воля, н плевать мы хотели на бога!».

Все это было довольио курьезио, если не возмутнтельно, но Кирилл умел смирять свой гиев и еще пытался объяснить чтото, может быть, более популярио, пока двое дружков этого Бритого не взобрались на сцеиу и ие иадвииули на глаза священиика шапку, без лишних слов закрывая тем диспут. Потом было много разного, больше сквериого... О выкриках, обидных репликах иа улице, в лавках вслед отцу Кириллу н мие я уж ие говорю, я к ним как-то привыкла и старалась не замечать их. Хуже стало, когда малый Олежка стал приходить с улицы с жалобами на товарнщей — то обозвали, то обидели, а то и побили. Помучилнсь мы, погоревали, да н отвезла я сына к бабушке в Полоцк. Там он был просто Олег Бараиовский, пошел в школу, учился, как все, и только летом приезжал на несколько недель к отцу н матери. Что творнлось в моей душе, этого никому ие понять. Даже муж не знал всех моих мук, тем более что ему хватало своих.

Бараиовская говорнла прерывисто, с трудом, часто остаиавли-

валась, словно прислушивалась между мыслей к невнятному шуму ушедших лет, и Агеев понял, что это не просто рассказ — это исповедь исстрадавшегося человека, реквием по уходящей жизни. И он внимательно слушал, пытаясь понять сокровенный смысл чужой судьбы. Никакого личного отношения к этой судьбе у него поначалу не было, как не было ни сочувствия, ни осуждения, был только тихий, зарождающийся интерес, любопытство. Сам он принадлежал другому времени и шел совершенно иной тропой в жизни. Иногда, слушая ее голос, он переставал видеть ее нынешней и представлял в мысленных образах прошлого — то дореволюционного, то учительского, потом местечкового, поповского быта. Хотелось узнать, как оно было дальше и что стало с ее голубоглазым священником.

— Отцу Кириллу совсем плохо стало, когда в начальство над местечком вышел этот Коська Бритый, уж как только он не издевался над нами! Ни одного собрания, заседания или спектакля в нардоме не проходило, чтобы он не поносил бога, церковь и священника, отца Кирилла, прорабатывал его как последнее исчадие ада. И я немало удивлялась терпению отца Кирилла, который не озлобился, ни разу не вспылил даже, терпел все, иногда вступал в диспут, а чаще молчал, потому что разговаривать с Бритым всерьез было невозможно, тот только грозил и ругался. И вот дело кончилось тем, что однажды весной церковь закрыли — как раз перед пасхой. Конечно, это вызвало ропот верующих, некоторые подавали жалобы властям и даже писали Калинину. Но все жалобы возвращались для разбора к тому же Коське Бритому, который после этого распалялся пуще прежнего. Однажды, когда уже организовалась МТС, он подогнал два трактора к церковной ограде, наш верхолаз в прямом и переносном смысле Лекса Семашонок взобрался на купола и зацепил за кресты канаты. Наверное, собралось полместечка смотреть, как трактора, ревя и дергаясь, выломали из куполов кресты и стащили их с крыши. В непогоду церковь стало заливать дождем, утварь и внутренности стали портиться, так продолжалось с год, пока однажды комиссия сельсовета не реквизировала все имущество. Утварь отправили в город. Книги растащили мальчишки, и долго еще из рукописных пергаментов мастерили воздушных змеев, запускали возле школы. А из риз промартель шила тюбетейки, и весь район ходил летом в этих шитых золотом и серебром мусульманских уборах.

Отец Кирилл едва пережил закрытие церкви, однажды совсем было впал в уныние. Другой работы он делать не умел, да ему никакой и не давали, и вот тогда он надумал: попросил одного знакомого из Ленинграда прислать ему сапожный инструмент, ну там колодки, щипцы, молотки, и стал чинить обувь. Как-то надо было жить, доходов у нас никаких не было. Конечно, сапожник получился из него неважнецкий, зарабатывал иногда пять яиц за день, иногда ведро бульбы или копеек пятьдесят деньгами, с того и жили. Но и то продолжалось недолго, частников облагали большими налогами, нельзя было занимать-

ся частным предпринимательством. А в сапожную артель его не принимали — мешало соцпроисхождение. Что было делать?

Барановская замолчала, переживая что-то недосказанное или недодуманное, и Агеев немного погодя спросил, выговаривая слова как можно тише и деликатнее:

— Ну а как же вы жили?

— Плохо жили, что и говорить. Иногда, казалось, судьба замкнула на нас свой капкан, из которого не было выхода. Разное думалось, больше плохое. Но порядочность и вера удерживали нас от последнего шага, а главное, держал в жизни Олег. Когда однажды ночью не стало отца, а вскоре сломал себе голову этот мучитель наш Коська Бритый, в местечко приехал Антон Степанович.

— Этот самый Волков?

— Этот самый. Несомненно, он происходил из добрых людей, как бы ни назывался и чем бы ни занимался у власти. Олег кончил школу, но, сами понимаете, куда ему было сунуться с такими его родителями? И вот однажды пошла в райком, рассказала Антону Степановичу все без утайки, как вот теперь вам, он выслушал, не шевельнувшись за своим столом, не перебив ни разу, потом встал, заложил руки назад и так молча заходил по кабинету — из конца в конец. Я уже хотела уходить, всплакнула, а он остановился у окна и, не оборачиваясь, говорит тихо: «Я вас понимаю, и я помогу вам. Потому что... потому... Мужа вашего уже не спасешь, а сыну жить надо. Сын за отца не отвечает. А вот нам придется когда-нибудь ответить перед народом. Когда-нибудь он спросит...» И, знаете, он дал такую бумагу, что, мол, Барановский Олег, будучи происхождением из семьи священника, порвал с родителями и желает строить бесклассовое социалистическое общество. Признаться, прочитав такую бумагу с печатью, я заплакала, а он говорит: «Не плачьте, так надо. Для вас это самый подходящий вариант». И правда оказался подходящим — Кирилл пропал без следа, а Олег поступил в институт, окончил его и стал специалистом. Для него вроде налаживалась новая жизнь, не та, что прожили мы, но вот и это все рухнуло.

Кажется, она исповедалась и замолчала, может, всплакнула немного, и Агеев, приходя в себя после рассказа, завозился на топчане.

— Да-а... Однако... — Не мог он чего-то понять. Драматический смысл этой судьбы не сразу, постепенно и как бы рывками, с препятствием осваивался его сознанием. — Религия, она, конечно, того... Несовместима...

— Дело не в религии, — перебила его Барановская. — Дело в совести, которую далеко не со всем в нашей жизни совместить было можно.

— Знаете, когда шла классовая борьба...

— Вот вы говорите — борьба! Но борьба, когда двое друг с дружкой борются. А ведь мы не боролись. Мы приняли ее,

новую власть. А вот она нас не приняла. Боролась с нами. И это разве не обидно?

Что он мог ответить этой бывшей попадье? Все, что происходило в те годы в стране, было ему хорошо знакомо и выглядело обоснованно — если смотреть, конечно, со стороны. Но стоило вот краем глаза заглянуть в душу этой вот женщины, как становилось больно и обидно, это он почувствовал точно.

Барановская сказала:

— Знаете, мы были обделены в нашей жизни добром, может быть, потому так дорожили его жалкими крохами, которые нам доставались. И которыми мы старались оделить других. Что же еще могло быть дороже? Золото? Богатство? Их у нас никогда не было, а доброта была, к ней меня приучил муж, вечная ему память за это. Для себя уже не надо, мне что... Для других. Тем более для хороших людей. Которые в ней нуждаются...

Которые в ней нуждаются...

Когда она ушла, наверное, уже за полночь, он все думал, что бы делал сейчас, если бы не людская доброта, не христианское, человеческое или какое еще там милосердие этой тетки-попадьи? Сколько уже недель он жил на вражеской территории, эксплуатируя именно эту доброту людей — с пропитанием, укрытием, а теперь еще и с уходом за ним, раненым, — не воздавая за нее ничем, все получая по праву... По праву защитника, что ли? Но какой же он оказался защитник, если немцы оттяпали всю Белоруссию и дошли до Смоленска, плохой из него получился защитник. А вот ведь не стыдно, даже в чем-то ощущается правота перед этой бывшей попадьей, которая его кормит, обихаживает, охраняет.

Чем он отплатит ей?

Он верил ей и не сомневался в искренности ее исповеди, но где-то в глубине его души все же таилась подленькая опаска: как бы она не подвела его, эта попадья. Все-таки она принадлежала к чужому классу, а разность классовых интересов есть вечная предпосылка для борьбы, это он усвоил себе со школы. Столько настрадавшись в жизни, потеряв мужа и сына, как можно платить за свое горе добром? Но, видно, можно, недаром же ей доверился секретарь райкома, теперь доверили его, Агеева. Стало быть, есть в ней что-то выше ее классовых обид, а может быть, и выше врожденного стремления к справедливости. Что-то добрее доброты, повторял он в уме, не находя ответа и чувствуя, что засыпает...

ГЛАВА 3

Проснувшись, как всегда, на рассвете, Агеев тянул время, не вылезая из мешка, думал. Дождя, кажется, уже не было, ветра тоже. Верхняя часть палатки медленно просыхала, освобождаясь от мокрых пятен. Он рассеянно смотрел на извилистые очертания этих пятен, с рассветом все больше прорисовывающиеся на

парусине, и вспоминал несуразный сегодняшний сон, стараясь постичь его смысл. Он давно уже приноровился разгадывать запутанные пророчества своих снов, обычно относящихся к наступавшему дню. Вообще это могло показаться смешным, и он никому о том не рассказывал, боясь прослыть странным или суеверным, но у него сложилась своя система разгадок, глубоко личная, скорее эмпирическая, чем сколько-нибудь научная, но, руководствуясь ею, он мог даже сказать, что́ из его снов сбудется в первой половине дня, а что́ во второй. Все в его снах четко соотносилось со временем предстоящих суток. Конечно, было в них и немало неясных или сложных символов, не до конца понятых им значений, но одно оставалось неизменным: скверные сны всегда оборачивались чем-то недобрым в яви и наоборот — радостные сны влекли за собой радостные ощущения в наступившем дне.

На этот раз все было просто и коротко, но до крайности угнетающе — он увидел себя неодетым, без брюк и трусов, в суетливом потоке людей, какой бывает у стадионов во время матча, на привокзальной площади после прибытия поезда, на рынке. Все шли навстречу, а он ничем не мог прикрыть свою наготу и очень переживал от неодетости, которой, однако, не находил объяснения. Сон продолжался, наверно, несколько минут в ночи, но испортил настроение надолго, и он думал: какую еще пакость готовит ему день грядущий? Он нисколько не сомневался, что эта пакость наверняка состоится, затрудняясь определить только ее смысл и содержание. Впрочем, об этом он думал недолго, со вчерашнего дня его ждало дело, он и так потерял уйму времени, которое быстротечно убывало, ничего не выясняя из того, что он жаждал для себя выяснить. Подрагивая от сырой промозглости утра, он натянул поверх трико свою синюю куртку и, прихватив лопату, пошел к обрыву.

Безотрадная картина, открывшаяся ему вчера после ливня, почти не изменилась за ночь: огромные лужи на дне карьера по-прежнему полнились желтой водой; рухнувшая с обрыва глыба щебенки и глины развалилась посреди одной из них широкой перемычкой, по-прежнему пугая своим объемом. Это сколько понадобится дней, чтобы перебросить ее в сторону, может, снова попросить бульдозер, подумал Агеев. Но теперь бульдозер сюда, пожалуй, не влезет, бульдозерист не станет рисковать машиной. Да и что проку в бульдозере, который может перевернуть сотни кубов, но мало полезен там, где надобно все перебрать руками.

Агеев спустился с пригорка к дороге и протоптанной им в бурьяне тропинкой, местами оскальзываясь на мокрой земле, спустился в самую глубь карьера. Давно слежавшийся песчано-гравийный грунт здесь не очень поддался дождю и там, где не было луж, хорошо держал человека. Вода в лужах была непроницаемо мутной, отсвечивающей густой желтизной, в самых глубоких местах она, пожалуй, достигала до пояса. Самое обидное было в том, что ливень почти затопил самое нужное ему про-

странство под крутым обрывом, на которое вдобавок ко всему еще и обрушилась рыхлая глыба грунта. Агеев в нерешительности ступил на край этой глыбы и на ее кромке у воды увидел нечто такое, что заставило его выпустить из рук лопату.

Это была омытая дождем, сморщенная и изогнутая женская туфелька неопределенного цвета, на высоком каблучке, с открытым носком и узеньким ремешком на пуговке — точно такая, какие носили перед войной и называли лодочками. Она почти истлела от долгого пребывания в земле, раскисла от влаги, едва сохраняя свою первоначальную форму, но всем своим видом заставила Агеева испытать внезапное волнение, почти растерянность. Правда, по мере того как он смятенно вертел находку в руках, ощупывая ее размягченную кожу, полуоторванный каблук с остатками вылезших проржавевших гвоздей, волнение его стало убывать под напором трезвых, таких успокоительных мыслей: мало ли тут могло отыскаться брошенной обуви, ему уже попадались и кирзовые голенища от сапог, и рваные детские калошики, теперь эта туфля... Но ведь туфля! Он не запомнил тогда, какой у нее был размер, но их знакомство в том далеком году началось именно с таких вот туфель, кажется, светло-бежевого цвета, которые она принесла ему, новоявленному местечковому сапожнику. Он еще не умел толком подбить каблуки к изношенным мужским сапогам, а она попросила наложить на носок заплатку, и он немало помучился тогда — в узкий носок пролезали лишь два его пальца, попробуй развернись там с иголкой! Может, кому другому он бы отказал в столь неудобном ремонте, но ей отказать не посмел — эта девушка приглянулась ему с первого взгляда.

Пожалуй, однако, это чистейшая тут случайность — туфелька, попавшая в карьер, может, несколько лет назад, вряд ли она могла сохраниться здесь с сорок первого года, со смешанным чувством разочарования и облегчения подумал Агеев и, отложив в сторону находку, взялся за лопату. Он копал и отбрасывал в сторону рыхлую влажную щебенку, пристально ощупывая взглядом каждый комок земли. Но ничего больше там не обнаруживалось — все та же щебенка, песок без следа каких-либо вещей, даже обычного мусора теперь там не было. Накопив немалую кучу, притомившись и разогревшись до пота на спине, он вогнал в землю лопату и, отойдя где посуше, присел отдохнуть.

Как-то вяло, нерешительно начинался день, дождя с ночи не было, но утро не спешило распогодиться, в небе над карьером висела мягкая молочная пелена, из-за которой нигде не выглядывало солнце. Трудно было угадать, какой выдастся день — то ли прояснится к полудню, то ли снова соберется дождь и вовсе зальет карьер. Тогда совсем будет плохо. Может, впервые за время, которое Агеев провел здесь, у него промелькнула скверная, предательская мысль: сколько же можно? Ну ясно, ему стало необходимо это, сначала любопытство, а потом и непреодолимая потребность подняли его из дома и погнали за

сотни верст в этот заброшенный карьер, ио ведь сколько можио выкладываться? Он потратил здесь большую часть лета, убил столько и так уже иевеликих своих старнковских сил, испытал столько разочарований и столько переволновался зря, по пустому, а чего достиг? Прежняя загадка, годами тревожившая его сознание, ни иа саитиметр не приблизилась к разгадке, породила новые сомнения и иовые проблемы. Он перевернул здесь гору землн, с каждой лопатой ожидая увндеть хоть что-то, что могло сохраниться в земле за четыре десятнлетия и что с определенной долей увереииости можио было бы отнести к ией: пуговнцу, гребешок, пряжку от пояса... Но ничего подходящего ему не попадалось, кроме вот этой туфли, которая могла принадлежать ей с такнм же осиованием, как и тысячам других жеищин. В глубине души это отчасти радовало, потому что продлевало неопределенность н тем самым питало иадежду. С самого иачала иадежда была для него благодатнейшнм выходом, оиа давала возможиость жить, действовать, оставляя хоть крошечиую щелочку для выхода в будущее. Но должиа же оиа наконец обрести хоть маленькое, но разумиое обосиование, эта иадежда. Именно для иадежды следовало исключить нз сомиения этот карьер, на котором для иего замкнулось самое важное, ие перейдя через который иевозможно было рассчитывать на что-то определениое.

Нет, иесмотря нн на что, иадо было копать.

Главное он уже сделал, он переворошил огромный завал, перетер в пальцах кубометры земли, осталось меньше. Наверное, ои бы закончил все через неделю или дней через десять, если бы не этот иеожидаиный ливеиь. Ливеиь ему все испортнл. Что теперь делать?

Однако похоже иа то, что ои сегодня устал прежде времени, сердце учащенно билось, медлеиио успоканваясь, может, прнчииой всего было его волнение, вызванное этой иаходкой? Похоже, одиако, он начал расклеиваться, возможно, от длительного иапряжения стали сдавать иервы, что совсем не годилось. Может, не следовало так изнурять себя работой, а отдохнуть сегодия, расслабиться, думал ои, продолжая, одиако, сидеть иа еще ие просохшем отвале земли. Сидя так, он вскоре услышал голоса и, подияв голову, взглянул в сторону дороги. По пояс укрытые зарослями лопухов иа входе в карьер, иегромко переговариваясь между собой, стояли трн человека, взглядамн отыскивая кого-то в глубине карьера. Агеев ие спеша подиялся, стараясь понять, что нм могло тут понадобиться. Это были двое мужчин н женщнна. Передний, иаконец завидев его в карьере, кивнул остальиым, и они друг за дружкой осторожио, боясь поскользнуться иа мокрой земле, потянулись в глубину карьера.

Пока оии пробнрались к иему, Агеев успел рассмотреть каждого, ио так и ие понял, что это были за люди. Передиий, щуплый мужичок в кепке и сером поиошеином пиджачишке со смятыми бортами, проворными шажками семенил по тропе, издали то и дело поглядывая на иего маленькими, с веселым прн-

щуром глазками. Поотстав от него, тяжело пыхтел тучный немолодой мужчина в черном распахнутом плаще и в летней капроновой шляпе на голове. Левой рукой он то и дело опасливо взмахивал на скользких местах, а правой прижимал под мышкой тонкую картонную папку с тесемочными завязками. Последней шла пожилая женщина в цветастом платье, туго обтягивавшем ее богатырскую грудь и могучие плечи, неподвижно неся седоватую голову с собранными на затылке жидкими волосами.

— О, как тут налило! — сказал передний, увидев под обрывом лужи. — Хоть карасей запускай.

— Для карасей не подойдет, — чтобы не молчать, сказал Агеев. — Высохнет, наверно.

Он уже понял, что это к нему, возможно, от какой-нибудь организации или поссовета, и сдержанно ответил на приветствие того, кто был в шляпе.

— Ну, скоро не высохнет, — сказал щуплый. — Теперь до осени. А осенью тут будет озеро. Прошлый год, как замерзло, мои тут на коньках бегали, — сообщил он, обращаясь, однако, к спутнику, который молча, все пыхтя и отдуваясь с усталости, разглядывал карьер. Стоя на небольшом возвышении, он поворачивался всем корпусом то в одну, то в другую сторону, все основательно изучая и храня непроницаемо отчужденное выражение на одутловатом потном лице.

— Вы́ раскопали? — наконец в упор спросил он у Агеева. Полы его плаща широко распахнулись, и Агеев увидел на левом борту пиджака несколько цветных планок наград. Кажется, что-то для него стало проясняться.

— Я, — сказал он негромко.

— Позвольте спросить, с какой целью вы производите здесь раскопки?

Теперь уже все втроем уставились на него: спрашивающий — с командирской строгостью в холодных глазах, щуплый — с некоторым даже любопытством. Женщина, повернувшись к нему вполоборота, смотрела угрюмо и подозрительно, и Агеев решил отшутиться:

— Да вот посмотреть, какая земля. Порядок залегания пластов и так далее.

Исполненные подчеркнутого внимания гости промолчали.

— Это с научной целью или как? — полюбопытствовал щуплый.

— Подожди, Шабуня, — начальническим голосом оборвал его тучный. — Пусть гражданин объяснит членораздельно. Если с научной, то должен предъявить документ. От какой организации?

— Хотя бы от НИИ Белгоспрома, — подпустил туману Агеев. — Научно-исследовательский институт, — пояснил он.

Это пояснение, однако, совсем не понравилось тучному, который почти обиделся.

— Понимаем, что такое НИИ, грамотные. У меня у самого

внук в НИИ под Москвой работает. Так что не сомневайтесь. Предъявите документ!

— Какой документ?

— Документ на право раскопок, — уточнил он, и опять все втроем уставились в Агеева.

Агеев про себя чертыхнулся — пригнало же их в эту рань на его голову, как теперь от них отвязаться?

— А вы кто будете? Чтобы требовать документы, следует сперва предъявить свои, — сказал он, перенимая неподкупную строгость их тона.

— Мы уполномоченные. Подполковник в отставке Евстигнеев, товарищ Шабуня из горкомхоза и вон товарищ Козлова, общественница, — мрачно отрекомендовал коллег подполковник в отставке.

— Очень приятно. Доцент Агеев, — сказал Агеев и решительно протянул руку, которую подполковник с явной неохотой слегка пожал потными пальцами. Потом он подал руку Шабуне и обиженно насупившейся Козловой. — Вижу, от вас просто не отделаешься, — сказал он, все еще не зная, как быть. Все трое с настороженным ожиданием во взглядах смотрели на него, и Агеев, вздохнув, кивнул вверх, в сторону кладбища. — Пройдемте к палатке.

Взбираясь по косогору к своему стойбищу, он все не мог взять в толк, что сказать им, как объяснить свое появление в этом карьере. Весной, приехав в поселок, он ненадолго зашел в исполком поссовета и не так, как хотелось, второпях, минуту поговорил с председателем, который куда-то спешил, у крыльца его ждала «Волга» с представителями из области. Но, кажется, председатель все же понял суть его дела и не возразил. Впрочем, он ему и не говорил о раскопках, он сказал только, что намерен кое-что посмотреть в карьере. И вот теперь эти уполномоченные. Видать, кто-то уже наябедничал, пожаловался в поссовет или выше. Теперь объясняй.

Подойдя к палатке, он расшнуровал вход и, пока подполковник с остальными поднимались по косогору, вытащил из-под барахла рюкзак и развернул полиэтиленовый пакет с предусмотрительно прихваченными из дому документами. Из полдюжины книжечек и обложек он выбрал зеленое удостоверение участника войны и диплом кандидата технических наук, подумал, что эти документы, пожалуй, произведут какое-то впечатление на придирчивого отставника. Он сунул их в руки подошедшего подполковника, который не спеша разыскал в многочисленных карманах очки в тонкой оправе, зацепил дужки за уши. Потом он обмахнул лицо снятой с головы шляпой и только после этого углубился в документы. Это изучение длилось довольно продолжительное время, Шабуня также пытался что-то там рассмотреть, однако скоро отвернулся, буркнув про себя: «Без очков ни черта не вижу», — и лукаво подмигнул Агееву. Козлова, стоя в сторонке, сосредоточенно смотрела куда-то ему под

ноги, всем своим отрешенным видом выражая молчаливое неодобрение.

— Документы в порядке! — наконец решительно объявил подполковник. — Участник, кандидат наук. Но что вы ищете в этом карьере, позвольте узнать? И почему без разрешения властей?

— С властью согласовано, — несколько воспрянув духом, сказал Агеев. — Был разговор с товарищем Безбородько.

Подполковник и Шабуня несколько загадочно переглянулись.

— Безбородько месяц как не работает в исполкоме. Снят за нарушения, — мрачно сказал подполковник.

— Вполне возможно, — согласился Агеев. — Но это ничего не меняет.

— Решительно ничего. Так что требуется письменное разрешение.

— Письменное разрешение на что?

— На производство земляных раскопок.

— Каких же раскопок? — несколько притворно удивился Агеев. — Разве это раскопки?

— А что же, позвольте узнать? — Театрально взмахнув тощей папкой, подполковник расстегнул завязки. — Вот, пожалуйста: начал с восьмого июня. Девятнадцатого июня с применением бульдозера. С восьми тридцати утра до двенадцати двадцати. Итого три часа пятьдесят минут механизированных раскопок.

«Однако все верно. Именно столько работал бульдозер, — с удивлением отметил про себя Агеев. — Правильно подсчитали. С хронометром...» Очень ему не хотелось объяснять им что-либо из действительных причин его интереса к карьеру, но он уже понимал, что отговориться пустяками, наверно, не удастся. Этот отставник хватал тренированной бульдожьей хваткой, увернуться от которой не просто.

— Ну вот что! — сказал он несколько мягче. — Дело в том... Дело в том, что в этом карьере осенью сорок первого расстреляли группу подпольщиков...

— Это нам известно. В центре поселка им памятник.

— Так вот, знаете, сколько там похоронено? — холодно спросил Агеев.

— Ну, трое.

— А здесь, — он указал на карьер, — здесь расстреляны пятеро.

— Ну да? — усомнился Шабуня. — Было трое, я сам видел. На похоронах тогда, как из леса пришел. Три гроба стояло...

Его, в общем, добродушное, в мелких морщинах лицо сделалось недоверчиво-обиженным, казалось, он готов был возмутиться от услышанной явной несуразицы.

— Не спорю. Действительно, там захоронены трое. Но... Вот перед вами четвертый...

— Ха! — неопределенно выдохнул подполковник.

— Ну да? — удивился Шабуня, а Козлова пробормотала что-то удивленно или недоверчиво, было не понять. Агеев же

не стал объяснять подробности, он и так сказал слишком много. — Во чудеса! — замялся Шабуня, сдвинув на затылок кепку, обнажив белый, совершенно незагорелый лоб. — А где же пятый?

— Вот пятого и ищу, — сказал Агеев.

Он снова стал волноваться, и, пока убирал в мешочек диплом и удостоверение, его огрубевшие, в свеженатертых мозолях пальцы противно подрагивали. Подполковник тем временем что-то напряженно соображал с явной мукой на всем его одутловатом, разопрелом лице. Но вот он наконец нашелся и почти сразил его внезапным вопросом:

— Чем вы докажете?

— Что докажу? — не понял Агеев.

— Что были четвертым? И что был пятый?

— А я и не собираюсь доказывать. Я же ни на что не претендую. Ничего не прошу.

— А раскопки?

— Дались вам эти раскопки! — начал терять самообладание Агеев. — Вам что, жалко этого мусора? Или этой грязи в карьере?

— Нам не жалко, товарищ Агеев. Но если каждый начнет копать, где захочет, что будет? Форменный беспорядок. А задача общественности поддерживать порядок. На всякое действие должно быть разрешение. А у вас его нет. Поэтому мы обязаны составить акт. На факт нарушения.

— Ваше дело. Можете составлять, — отчужденно сказал Агеев и, отойдя в сторону, сел на перевернутое пластмассовое ведерко.

Гостям тут сесть было негде, но он не стал их устраивать, пусть устраиваются сами. У него опять заколотилось сердце, окрестности знакомо поплыли перед глазами, и он на минуту прижмурился, чтобы совладать с собой, удержаться при гостях от валидола. Спазм длился, однако, недолго, и, когда он снова взглянул на гостей, те, отойдя к кладбищенской ограде и разложив на камнях картонную папку углубились в составление акта. Общественница Козлова стояла в сторонке, угрюмо наблюдая за ними.

— Имя, отчество ваше? — издали спросил подполковник, поверх очков взглянув на Агеева.

— Агеев Павел Петрович.

— Где проживаете?

— В Минске.

— Адрес? Улица? Дом?

Ну вот, только этого и не хватало! Как на преступника! Ему очень хотелось срезать этого поборника порядка какой-нибудь колкостью, но он уже знал по опыту, что в таких случаях лучше не затевать свары, смолчать. Себе же будет дешевле, как говорил когда-то Валерка Синицын, его сослуживец по институту.

Составление акта длилось довольно долго, подполковник несколько раз прерывал работу. Он явно страдал от одышки и потливости и, то и дело снимая шляпу, обмахивался ею, бубня про себя:

— Ведет... ведет раскопки... Нет! Производит раскопки, так лучше, а товарищ Шабуня?

— Ага, так лучше, — не очень уверенно соглашался Шабуня.

— ...составили этот акт... Нет! Составили настоящий акт! — поправлял себя подполковник, и Шабуня поддакивал:

— Настоящий, ага...

— Ну вот, теперь подписать. Предлагаем вам подписать, — нагнув голову, поверх очков уставился он на Агеева.

— Нечего вам делать! — с досадой сказал Агеев, все еще не в состоянии сладить с сердцем. Он встал и, с усилием переставляя ноги, подошел к ограде. — Кому помешали мои раскопки?

При этих словах его вдруг обеспокоенно завозилась неподвижно замершая до того Козлова и впервые отозвалась грубым мужским голосом, который показался Агееву очень знакомым. И он тут же догадался, что это хозяйка ярко-желтого дома за дорогой напротив. Как он не узнал ее сразу?..

— А вот и мешают! — протяжно заговорила она. — Занял тут выгон, расположился... А гуси в потраву ходють. Тут не ходють, пугаются... В потраву ходють.

— Ах, гуси!..

Теперь все стало ясно. Как-то утречком вскоре после того, как он разбил здесь палатку, со стороны дороги появилось стадо гусей, и могучий красавец гусак, предводитель стада, удивленно замер у его палатки. Агеев ласково поманил гусака, но тот вдруг зло зашипел, выгнув шею, и повернул назад. За ним в обход карьера повернуло все стадо, где, наверно, и совершило какую-то потраву. Теперь придется ему держать ответ и за это.

Агеев взял папку с густо и неровно исписанным листком бумаги. Наверно, надо бы почитать, что там сочинил этот отставник подполковник, но без очков он тоже не много видел, а возвращаться за ними в палатку не захотел и небрежно расписался внизу под «птичкой», заботливо проставленной составителем акта.

— Пожалуйста! — сказал он, с нажимом пристукнув шариковой ручкой.

Подполковник спрятал листок в папку, сняв очки, сунул их в нагрудный карманчик пиджака и вдруг спросил странно изменившимся, почти просительным голосом:

— В шахматы играете?

— Что? — не понял Агеев.

— В шахматы, говорю, играете?

Агеев повертел головой — какие еще шахматы? Уж не предложит ли этот законник после всего, что случилось, сыграть

с ним партию? Но подполковник не предложил, он лишь вздохнул озабоченно и сказал:

— Вы это... Не обижайтесь, товарищ Агеев. Но порядок есть порядок. Все следует делать как полагается.

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Агеев, не имея никакого желания спорить.

Общественники-уполномоченные почему-то прошлись к обрыву, заглянули в карьер. Проворный Шабуия обежал его поверху до половины, что-то объясняя и показывая, но Агеев не слушал и не стал их провожать, он снова опустился на свое ведро, на котором иногда посиживал по вечерам у костерка, и, вслушиваясь в сердечные перебои, думал. Мысли его были под стать его настроению. Как мало надобно, думал он, чтобы изгадить настроение, и как трудно наладить его снова. Вот ведь ничего страшного не произошло, что ему нелепые домогательства этих настырных общественников, он их нисколько не боялся, потому что не видел в своих действиях ничего сколько-нибудь предосудительного. А вот на душе скверно. Он вовсе не опасался, что их дурацкому акту может быть дан какой-нибудь ход, да и оставалось ему тут, наверно, еще несколько дней поковыряться в этом карьере, и он уедет, скорее всего так ничего и не определив для себя, ничего не найдя. Да, мудрено, видно, найти что-нибудь спустя сорок лет. Но вот он объяснил им то, что не имел обыкновения объяснять никому, отчего же он не удержался? То, что с ним тут случилось, касалось только его, ну и ее, разумеется, тоже. Вот перед ней бы он должен держать ответ, но ни перед кем больше. Но ее давно не было, не было даже ее белых косточек, которые, возможно, давным-давно превратились в пепел где-нибудь в крематориях Дахау или Освенцима, а он ищет их здесь. Но, чтобы предположить что-то иное, прежде надо было обрести уверенность, что она в ту осень не осталась в карьере. Потом можно предполагать все что угодно, но только исключив из этих предположений карьер. Если же это ему не удастся и она все-таки окажется здесь, тогда все. Тогда для него «полная финита ля комедия, и ничего больше», как любил повторять все тот же Валерка Синицын.

Когда немного отлегло, он все же спустился в карьер, взял лопату. Но копать сегодня он, видно, не мог, пугающая слабость в груди упорно не хотела выпускать его из своих ватных объятий. Постояв немного, он поднял найденную утром туфлю, очистил ее от грязи, сполоснул в воде. Все-таки это не ее туфля, решил он. Там, где кожа сохранилась получше, было заметно, что она крашена в темный цвет, ее же лодочки были светлые, он это помнил отлично.

Туфлю он, однако, не бросил, — поднявшись к палатке, повесил ее каблуком на растяжку — пусть сушится. Тем временем утро незаметно перешло в день и, хотя солнце так и не показалось в небе, стало тепло, от влажной земли поднимался густой душный пар. Дышалось с трудом, атмосферное давление было низким, Агеев чувствовал это по вялой работе сердца, которое

едва шевелилось в груди, то и дело сбиваясь с ритма. Он ждал, что слабость пройдет, надо было посидеть в покое, может, залезть в палатку, отлежаться. Но он все сидел у входа в нее, размышлял. Вспомнил свой сон и печально улыбнулся: все так и есть, как напророчила ему ночь, день подтвердил, пакость свершилась. Надо было сходить за водой во второй от конца улицы двор, где был колодец, но не хотелось вставать, напрягаться, казалось, он утратил сегодня способность двигаться и расслабленно сидел у палатки. К полудню из-за карьера с полей подул легкий ветерок, разогнавший духоту и потревоживший покой угрюмых кладбищенских деревьев, Агеев с усилием поднялся и взял полиэтиленовый бидончик, чтобы сходить за водой. Но, едва отойдя от палатки, он увидел, как из-за угла кладбищенской ограды вынырнул Семен, здоровая рука его размашисто отлетала в такт спорому шагу. Семен был все в той же желтой трикотажной рубахе с короткими рукавами, подол которой непослушно выбивался из-под брючного ремня, слабо стягивавшего его тощую талию.

— Привет! Что не копаешь? Или перекур? — бодро заговорил Семен.

— Перекур.

— Ну и хорошо! У меня тоже. С утра свою пайку сгребал, а тут баба погнала за хлебом. Да черта с два: поцеловал замок. Говорят, подвезут после обеда. Вот прогуляюсь, думаю.

— Ну и хорошо, — сдержанно сказал Агеев и ногой пододвинул гостю ведерко. — Садись, отдыхай.

— Ты садись. А я там, где стою.

Он неловко взмахнул культей и, не выбирая места, опустился на мелкую, уже подсохшую от дождя травку, привычно скрестив под собой длинные, в растоптанных сандалетах ноги. Здоровой рукой сразу полез в карман за куревом.

— Комиссия приходила, — тихим голосом сообщил Агеев.

— Какая комиссия?

— Подполковник в отставке, потом один из райкомхоза и вон соседка Козлова.

— Какого рожна им надо? — прикуривая от зажигалки, удивился Семен.

— Составили акт на раскопки без разрешения.

— А, так это Евстигнеев! Он всегда акты составляет. С папкой такой, ага?

— С папкой.

— Этот всегда — акты. У «Голубого Дуная» кто поругается — акт. Кто улицу перед домом не подметет — акт. Все на актах.

— Зачем это ему?

— А чтоб по начальству ходить. Вот составит и — в горисполком. В милицию. В товарищеский суд. За порядок воюет, всегда при деле. Без дела не может. В шахматы сыграть предлагал?

— Предлагал, — вспомнив, удивился Агеев.

— Надо было сыграть. И проиграть. Страсть как любит выигрывать. Беда, однако, — ему редко проигрывают. Разве что Скороход. Но этот с расчетом, из подхалимажа. Есть тут один такой вояка, — уловив недоуменный взгляд Агеева, объяснил Семен.

— Да. И еще Козлова с ними.

— Козлова? А эта зачем? — в свою очередь удивился Семен.

— Да вон гусям ее помешал.

— Ах, гусям! Ну, понятно. Таким завсегда все мешает. Потому что много хотят. Через край. Скажу тебе: с ума посходили люди. Как перед концом света. Все чего-то добиваются, о чем-то хлопочут, достают. Уж чего не достают только! Как то золото. Год назад такие очереди! Толпы! И в поселке, и в городе. Был, видел. У каждой бабы тут, тут понацеплено. Зачем? И вот прошел год — как отрезало. Вон в универмаге лежит, пожалуйста, бери хоть кило. Никому не надо. Что это? Потребность? — возмущенно говорил Семен, словно выговаривая Агееву. — Скажу тебе, много беды оттого, что чересчур баб распустили. Много им позволяем.

— Ты тоже своей позволяешь? — спросил Агеев.

— Позволишь, куда денешься.

— Строгая?

— Язва! — коротко бросил Семен, затягиваясь «Примой».

— Видишь ли, наверное, позволяем потому, что сами не без греха. В семье или на службе. Вот они этим и пользуются, критикуют нас, — попытался улыбнуться Агеев.

— Ох, критикуют! — всерьез подхватил Семен. — Если критика в одну сторону, почему не критиковать. Сдачи не дашь ведь. Ого, попробуй! Она сразу в местком, в партком, в милицию. К соседям, к подругам, к родственникам. И ей верят. А ты куда побежишь? Тебе бежать некуда. Чуть что, кричит: выпивает! А раз выпивает, то и разговора нет. А я хоть и выпиваю, но, может, честнее их всех вместе взятых. Куркулей этих хитропопистых.

— Это вполне возможно, — вздохнул Агеев.

Он поспешно сел, снова почувствовав противную слабость в груди, боясь свалиться на землю, напугать гостя. Но слабость не проходила, и он вынул из заднего кармана трико металлический пенальчик с таблетками.

— Что, зажало? — насторожился Семен.

— Немножко.

— Может, доктора позвать? Если что, говори! Я мигом. В больнице меня знают.

Агеев устроил под языком тошнотворно пахнущую таблетку валидола, минуту подумал.

— Обойдется, может. Лучше водички принеси, пожалуйста. Вон в том доме.

— Да знаю...

Семен подхватил пластмассовый бидончик и без лишних слов

припустил вниз, к дороге. Агеев, едва превозмогая боль, смотрел перед собой и думал почти с испугом, что, кажется, ему не повезло основательно. По опыту знал, что такое не скоро пройдет, придется залечь или обращаться к врачам. Но н то, и другое было ему не с руки, и он не знал, как быть и что делать...

Как-то утром, на пятый или шестой день своего пребывания у Барановской, Агеев не утерпел, снял повязку. Вернее, она сама снялась — сползла ночью к колену, обнажив рану, которая хотя и не кровоточила, но вовсю загноилась, по-прежнему источая зловоние. Размотав мокрый, в гнойных разводах бинт, Агеев сидел на топчане, не зная, что предпринять, когда в сарайчнк вошла Барановская. Он попытался прикрыть кожушком ногу, но хозяйка сразу догадалась о его беде н, отстранив полу кожушка, взглянула на ногу.

— Гноится? Это плохо. И больно?

— Не очень. В глубине только дергает.

— Надо перевязать. Я поищу кое-что. Но вот лекарства никакого нет. И Евсеевны нет. В торфяниках всех постреляли.

— В торфяниках?

— В старых разработках. Всех до единого.

— Этого н следовало ожидать! — в сердцах бросил Агеев. — На что было надеяться?

— Человек всегда на что-то надеется. Даже вопрекн рассудку. Что же еще остается в безысходности? — сказала хозяйка и вышла.

Скоро она вернулась с белой тряпнцей в руках, стряхнув которую начала рвать на полосы.

— Знаете, я вот думаю... У вас сало, вижу, осталось.

— Осталось, — сказал он, взглянув на стол-ящик, где, завернутый в бумажку, лежал принесенный Молоковичем кусочек сала.

— Оно соленое?

— Соленое вроде.

— Когда-то, помию, после той войны, соленое сало прикладывали к чирякам. Помогало. Сама на себе испытала.

Что ж, сало так сало, он готов был на все, лишь бы скорее сладить с этой проклятой раной, которая так некстати свалила его с ног. Барановская нарезала на бумажке тоиенькие пластинкн сала и стала обкладывать ими набрякший от гноя зев раны, в уголках которой белели крохотные червячки, заставившие Агеева брезгливо поморщиться.

— Что, больно?

— Черви...

— Червн — это не страшно. Червн не повредят, — говорила Евсеевна.

Агеев недоверчиво хмыкнул, но позволил хозяйке обложить рану пластинками сала, потом они туго обвязывали ногу мягкими ситцевыми полосами. Было больновато, но двигать ногой

стало сподручнее, острая боль минула, и он собрался выйти во двор. Тем более что предстояла работа, нелегальное его пребывание в этом сарайчике окончилось. Вчера Барановская ходила в полицию хлопотать о вернувшемся на постоянное место жительства сыне Олеге, просила у начальника Дрозденко разрешения открыть мастерскую по ремонту обуви. Чтобы легализоваться, Агееву надо было пристроиться на какую-нибудь работу, иначе ему грозило принудительное трудоустройство через полицию. К тому же он должен был что-то есть, а продовольственные возможности его хозяйки почти исчерпались, кроме огурцов и картошки с огорода, у нее ничего больше не было. Агеев видел, как всякий раз, чтобы накормить его, она отдавала последнее, иногда бежала к соседям одолжить хлеба, и этот добытый ею кусок с трудом лез ему в горло. Ему было неловко за себя, непрошеного ее нахлебника, и он все думал, как помочь ей и себе прокормиться. Так постепенно созрел в его голове этот, может, и сумасбродный план о сапожничестве. Барановская, подумав, с ним согласилась, оставалось получить разрешение полиции. И вот начальник Дрозденко, недоверчиво выслушав жительницу местечка, немного подумал и разрешил. Лишь в конце разговора добавил, что придет сам познакомиться с новым сапожником. Конечно, для знакомства он мог бы вызвать его в полицию, но Барановская сказала, что сын болен и не может ходить, повредил ногу по дороге из Волковыска. Начальник полиции криво ухмыльнулся, но промолчал, и она с легким сердцем заторопилась домой.

Надвигающиеся перемены в своей судьбе Агеев воспринял, однако, без радости, если не сказать больше — тайком он уже проклинал тот час, когда согласился сверить в это местечко. Но вся беда в том, что ничего более подходящего ему не представилось, запросто он мог оказаться в плену или погибнуть где-нибудь в стычке с немцами. Так что с самого начала выбор у него был небольшой, приходилось соглашаться с тем, что предложил ночной гость Волков и уготовила ему его нескладная военная судьба.

Впрочем, этот вариант, может, был не из худших. Агееву и до армейской службы приходилось иметь дело с обувью, правда, далее мелкого ремонта его мастерство не поднялось и о том, как шьются сапоги, он имел смутное представление. Но здесь шить сапоги, пожалуй, и не придется, следовало уметь совсем немного — подбить каблук или наложить заплатку, на большее он не замахивался. У самого выхода со двора на улицу кособоко ютилась старая, крытая гонтом беседка, когда-то приспособленная под поветь для просушки пожинков из огорода; три ее стороны были обшиты тесом, а четвертая, выходящая во двор, оставалась открытой. Именно эту беседку Агеев и облюбовал для мастерской, вчера они с Барановской затащили туда небольшой кухонный столик, один табурет. Инструменты отца Кирилла сохранились все в целости, и бывшая попадья сволокла с чердака тяжелый ящик с чугунной лапой, щипцами, молот-

камн, колодкамн — все это Агеев разложил и развесил в беседке. Оставалось, одиако, главное — обзавестись вывеской, потому что какая же мастерская без вывески? И вот весь этот день до вечера он вырезал ножом из старой фаиерки объемные буквы. Конечио, буквы лучше бы написать, но у Барановской не оказалось ии краскн, нн подходящего для того материала. Он вспомнил такого рода вывески, вндеииые им в Белостоке, и подумал, что его будет не хуже. Правда, буквы получалнсь весьма корявые, тупой нож плохо резал фанеру, которая местами расслаивалась н ломалась. За время, пока он работал в беседке, по улице прошли, может, человек пять, каждый из них внимательно присматрнвался к нему, по-видимому, недоумевая, кто это колупается во дворе бывшей поповской усадьбы. И ои с опаской думал, прнзнают лн его тут за поповского сына илн он засыплется со своим нелепым подлогом. Но, так нли нначе, отступать было иекуда, приходнлось нграть роль, на которую его обрекла война.

Солнце стало клониться к закату, когда он прикрепил эту доску-вывеску к внешией стороне беседки. Получилось, конечно, неумело и примитивно, буквы трудно было расположить в одну линию, и они слегка вольничали, встав на доске каждая по себе. Но, в общем, с улицы было заметно, что тут «Ремонт обувн», в беседке лежали разложенные на столе инструменты, клубок суровых ннток, горстка мелкнх гвоздей в ржавой баночке из-под гуталина и хорошо просохшая березовая чурка для заготовкн деревянных гвоздей — на подошву. Покончнв с обустройством, Агеев уселся на табурет с брошенной на него телогрейкой, болезненно вытянул под столом свою бедолагу ногу.

Улнца, однако, была пустой, за какой-нибудь час ни один человек не прошел больше мнмо его дома, лишь за изгородью в соседнем дворе показалась и нсчезла женская голова в платке. Все время хлопотавшая во дворе Барановская куда-то пропала, наверно, пошла в огород накопать картошки, н он, изрядно устав, пригорюнясь, сндел на табурете, чувствуя, что, ввиду позднего времени, сиденне его потеряло смысл. И, когда он уже намеревался выбраться из-за стола, что с больною ногой оказалось непросто, в конце этой коротенькой улицы послышался говорок н показалнсь две девушкн. Одна была худенькая, среднего роста, с коротко стрнженными светлыми волосамн, в выгоревшем на солнце сарафаие, с обнаженнымн до плеч руками; она тихонько засмеялась чему-то, обращаясь к подруге — такого же возраста, ио пониже н поплотнее девчушке, на голове которой свеже белел платочек, повязанный по-городскому узелком на затылке. Обе онн игриво помахнвали иа ходу небольшими корзнночками в руках н беспечно болтали, пока не увидели его в беседке. Видно, его появление здесь их удивило, девушкн враз примолкли и медленно подходнли, оглядывая преображенную за день беседку. Несколько не дойдя до него, меньшая тихонько, но так, что ои услышал, сказала подруге:

— Ой, Мария, не смотрн на него так пристально!

Та, что была повыше, слегка толкнула локтем подружку, заставляя ее замолчать, а сама, не отрывая глаз, все всматривалась в него, и в этом взгляде ее ему показалось что-то хотя еще и неопределенное, но уже значительное, восторженно обещающее, что ли, словно она, радуясь, медленно узнавала его. Он, однако, не узнавал их, этих девушек он видел впервые и лишь проводил их взглядом — мимо беседки к соседнему дому на улице. Однако возле соседнего дома девушки остановились в нерешительности, коротко переговорили о чем-то, и одна решительным шагом вернулась к беседке.

— Вы и вправду чините обувь? — спросила она Агеева, застенчиво улыбнувшись.

— И вправду чиню, — с припрятанной усмешкой ответил Агеев.

— И недорого берете?

— Недорого, Мария.

— Ой, откуда вы знаете мое имя? — удивилась девушка.

— Я все знаю, — сказал он, уже открыто и широко улыбаясь.

— Нет, правда! Я вас тут раньше не видела.

— А я тут недавно.

Она помолчала недолго, что-то обдумывая или вспоминая.

— Так можно принести туфельки? У меня, знаете, от подошвы как-то... оторвалось.

— Принесите, посмотрим.

— А платить рублями или как?

— Как хотите. Можно рублями, а можно и продуктами.

— Вот хорошо! — обрадовалась Мария и, обернувшись, окликнула подругу: — Вера! Поди сюда.

Подруга неохотно, будто недоверчиво даже прошла вдоль штакетника и остановилась у входа во двор.

— За продукты чинит. Я уже договорилась, может, принесем наши туфли?

— Мне не надо, — махнула рукой Вера и с явным недоверием посмотрела на Агеева.

— Так я свои принесу. Завтра? Или можно сегодня?

— А когда хотите. Можно и сегодня.

— Нет, лучше завтра, — решила Мария. — А пока вот вам... Сунув руку в покрытую платком корзинку, она достала оттуда горсть черных ягод.

— Вот вам задаток. Угощайтесь!

Агеев принял в подставленные пригоршни маленькую горсточку ее черники, смущенно поблагодарил, она мило улыбнулась на прощание и выскользнула в открытый, без калитки выход на улицу. Немного посидев в раздумье, он стал есть по одной черные, подернутые сизым налетом ягоды. Об этой своей первой заказчице он старался не думать. Подумаешь, угостила черникой и одарила ласковым взглядом вдобавок — до ласковых ли тут взглядов, когда творится такое. В этом самом местечке несколько дней слышится сплошной стон сотен людей, стоят

в ушах их предсмертные хрипы, а эта — с ласковым взглядом! Нашел время думать о чем!

Старался не думать, но все-таки вопреки желанию думал, вернее, продолжал ее видеть такой, какой она только что была перед ним: стремительной и гибкой, с крепкими лодыжками загорелых ног, обутых в старенькие разношенные босоножки. Встряхнув копной светлых волос, она подхватила тогда подругу под руку, и они, помахивая корзиночками, скрылись за углом соседней избы.

Агеев просидел еще полчаса в своей пустоватой, наспех обставленной мастерской и никого не дождался. Никто к нему не спешил с обувью, прохожих на улице появлялось немного, да и те, наверное, были соседями с этой или ближайших улиц. Начало его новой сапожницкой карьеры, похоже, получалось комом, без единого намека на удачу. Когда дальнейшее ожидание потеряло смысл, он выбрался из-за стола и, опираясь на вырезанную вчера из орешины палку, вышел во двор.

Двор был хорош и живописен в своей милой сельской запущенности. Укрытый с одной стороны сплошным рядом построек, сверху он почти весь был упрятан под широко разросшиеся ветви старого клена, чей толстенный, в три обхвата ствол мощно вознесся подле беседки. За кленом на огороде росло несколько старых суковатых яблонь и стояли в ряд молодые вишенки над тропинкой, где вскоре и показалась его хозяйка с ведром свежей картошки. Не дойдя до входа в сарай, она опустила ведро на тропинку и оглянулась.

— Тут никого? Там это... Возле овражка вас ждут.

— Кто ждет? — вырвалось у Агеева.

Но хозяйка не ответила, только взглянула мимо него на улицу, и он догадался: не надо спрашивать. Он привычно одернул под узким пояском сатиновый подол рубахи и с дрогнувшим сердцем заковылял по тропинке мимо хлева и сараев на огородные зады к овражку.

Ковыляя, он всматривался в кустарник подлеска на краю овражка, что терялся в сутеми под вольно и высоко раскинувшейся стеной старых вязов, но там никого не было видно. Не было никого и на убранной полоске сенокоса за огородной изгородью, в одной стороне которой кривобоко темнела небольшая копенка сена. Именно из-за этой копенки кто-то взмахнул рукой, давая ему знак подойти, и Агеев свернул с тропинки. Он думал увидеть тут Волкова или Молоковича, но из-под копешки навстречу ему привстал тщедушный паренек в синей трикотажной сорочке с белой шнуровкой, это был его недавний знакомый, студент Кисляков, и Агеев сдержанно поздоровался.

— Ну как вы? Как нога? — поинтересовался Кисляков.

Агеев не спешил с ответом, ясно понимая, что не нога в первую очередь интересовала этого парня.

— Я от Волкова. Волков говорил с вами?

— Говорил, — не сразу ответил Агеев.

— Вот он передал, чтоб вы были у себя во дворе безотлучно. На днях привезут груз.

— Какой груз? — насторожился Агеев.

— Не знаю какой. Надо спрятать. А потом мы заберем.

— Вы?

— Я и те, кто будут со мной. Больше чтоб никому, — сказал Кисляков, вглядываясь куда-то в сторону ведущей из оврага тропинки. На Агеева он, кажется, и не взглянул ни разу.

— Понятно, что ж, — ответил погодя Агеев.

Он, конечно, сделает все как надо, только ему было немного не с руки подчиняться приказам этого щуплого парнишки, его самолюбие было задето от такой подчиненности. Но, видно, так надо. Или иначе нельзя, подумал он и спросил:

— А как Молокович?

— Молокович на станции. Но, дело такое, вы не должны с ним видеться. Если что надо, я передам.

— Вот как! А если что... Где мне тебя искать?

— Советская, тринадцать. Только это на крайний случай. А вообще мы незнакомы.

— Что ж, пусть будем незнакомы.

— И этот, что придет, скажет: от Волкова. И прибавит: Игнатня.

— Понятно.

— Вот такие дела, — сказал Кисляков и впервые открыто, даже вроде по-приятельски взглянул на Агеева.

— Что там на фронте? — спросил Агеев.

— Победа под Ельней, это за Смоленском, — сказал Кисляков. — Наши разгромили восемь немецких дивизий.

— Ого! Это хорошо. Может, теперь начнется, — обрадовался Агеев.

Это действительно было большой и неожиданной радостью для него, за лето истосковавшегося без единой удачи на фронте, а теперь этот худенький остроносый студентик с его известием показался ему давним, желанным другом. — Ты все слушаешь? — спросил он с неожиданной теплотой в голосе, и Кисляков снизу вверх застенчиво усмехнулся ему.

— А как же! Каждую ночь.

— Ну и что там еще?

— Еще плохо. Тяжелые бои под Киевом.

— А Киев не сдали?

— А кто его... Непонятно как-то.

Агеев не прочь был и еще поговорить с этим информированным парнишкой, но тот, видать, сказал все и вскочил из-под копешки.

— Так мы незнакомы. Не забудьте, — напомнил он на прощание.

— Ну как же! Запомню.

— Так я пошел.

Прямо от копешки он повернул к овражку и скоро исчез

под вязами в зарослях ольхи и орешника. Агеев, сильно хромая, пошел к стежке во двор.

Растревоженная за день нога остро болела при каждом движении, но теперь он мало прислушивался к боли, может, впервые за последние несколько дней отдаваясь радости: все-таки восемь разбитых дивизий — это была хотя и не решающая победа на фронте, но, может, ее благое предвестие. По крайней мере, очень хотелось, чтобы было именно так, и где-то в глубине души чувствовалось, что так оно и будет. Фронт покатится на запад, наши наконец соберут силы, и военная судьба переменится по справедливости. И тут перед его глазами опять встала Мария — ее улыбчиво-внимательный взгляд, лаской и добром проникающий в душу, исстрадавшуюся от неудач и одиночества, измученную сомнениями, несбыточными надеждами, жестокой пыткой войны. И совершенно непонятной была эта связь фронтовой вести с мимолетной встречей на исходе дня. Разве что счастливым обещанием того, что все скоро изменится к большой, настоящей радости.

Ужинали в тот вечер на крохотной кухоньке Барановской. В качестве сына хозяйки Агеев мог не скрываться, хотя и лишний раз высовываться на люди тоже было ни к чему. Маленькая, оклеенная уже выцветшими обоями кухонька поражала чистотой, какой-то удивительной опрятностью: пол, два гнутых стула и подоконник были чисто выскоблены, темный буфет застлан цветной салфеткой, окно завешено марлей. На дворе темнело, и они в робком сумеречном свете из единственного окна сидели за большим круглым столом со сваренной картошкой в фарфоровой миске. Подле лежали свежие огурцы на тарелке, хлеба был один черствый кусочек, от которого Барановская бережно отрезала три тоненьких ломтя. Выходящую во двор низкую дверь хозяйка заперла на крючок, две другие двери, одна из которых вела в горницу, а другая, оклеенная обоями, в кладовку, были также заперты. На стене в желтой потускневшей раме висел какой-то зимний пейзаж, от еще не остывшей плиты исходило приятное домашнее тепло. Вся эта спокойная вечерняя обстановка располагала к тихому разговору, и Агеев сказал:

— Варвара Николаевна, ответьте откровенно... Вот вы меня тут кормите, оберегаете... Это как — по своей охоте или потому, что вам... Волков приказал? — спросил Агеев, на две половинки разрезая огурец. Он давно собирался выяснить это у хозяйки, чтобы определить истинный смысл ее к нему отношения.

— А почему вы думаете, что мне приказал Волков? С какой стати ему мне приказывать? — удивилась Барановская.

— Ну, однако же, вот вы меня приютили. И даже более того — снабдили документами сына. А разве ж вы меня знаете?

— Почему же не знаю? Знаю преотлично. Вы командир Красной Армии. Раненый в бою с немцами. Вы же погибнете, если вам не помочь. Разве не так?

— Может, и так...

— Ну так как же я могу вам отказать в помощи? Ведь это было бы не по-человечески, не по-божески. А я же христианка.

— Скажите, а вы очень в бога веруете?

— А во что же мне еще верить?

— И молитесь? Ну и там прочие обряды соблюдаете?

— Обряды здесь ни при чем. Верить в бога — вовсе не значит прилежно молиться или соблюдать обряды. Это скорее — иметь бога в душе. И поступать соответственно. По совести, то есть по-божески.

Она умолкла, и он подумал, что, по-видимому, все-таки не слишком понимает в той области, о которой завел разговор. Действительно, что он знал о религии? Разве то, что она опиум для народа...

— Вы святое Евангелие читали? — спросила Барановская, уставясь в него внимательным взглядом из затененных провалов глазниц.

— Нет, не читал. Потому что... Потому.

— Ну понятно. А, например, хотя бы Достоевского читали?

— Достоевского? Слышал. Но в школе не проходили.

— Не проходили, конечно. А ведь это великий русский писатель. Наравне с Толстым.

— Ну, про Толстого я знаю, у Толстого было много ошибок, — сказал он, обрадовавшись, что уж тут кое-чего знает. — Например, непротивление злу.

— Далось вам это непротивление. Только это и запомнили у Толстого. Хотя и непротивление во многом справедливо, но спорно, допустим. А вот, прочитай Достоевского, вы бы знали, что если в душу не пустить бога, то в ней непременно поселится дьявол.

— Дьявола мы не боимся, — улыбнулся Агеев.

— Дьявола вы не боитесь, это я знаю. Но вот немцев приходится бояться. А они для нас и есть воплощение дьявола. То есть злой разрушительной силы. Правда, силы извне.

— С силой, конечно, нельзя не считаться.

— Вот. А как противостоять этой силе?

— Против силы — только силой, разумеется.

— Ну да, это армия против армии. Там, конечно, две силы. И кто кого. Это война. А вот нам, мирному населению, как же? Мы-то что можем? Где наша сила?

Она задавала ему нелегкие вопросы, неуверенно отвечая на которые он чувствовал уязвимость своих ответов и напрягал мысль, чтобы найти и выразить свою правоту, в которой был уверен. Но это оказалось непросто.

— Надо не подчиниться оккупантам.

— Не подчиниться — это хорошо. Но как? Вон евреев всех уничтожили. Как они могли не подчиниться? Для неподчинения нужна сила, а где им ее взять?

— Ну и что же делать, по-вашему? — спросил он, помолчав, сам не находя ответа на ее вопрос.

— Если ничего нельзя сделать, надо собрать силы, чтобы остаться собой. Не мельтешить душой, как это делают некоторые из расчета или из страха. Вот я хочу остаться собой, пусть в соответствии с христианской моралью, чтобы помочь другому. Вам или Волкову, потому что вы нуждаетесь в помощи и ваша, богом вам данная жизнь находится под угрозой. К тому же я не могу не помнить, к какому народу принадлежу, какие муки перенес на фронте мой муж в ту, николаевскую войну. От чьей руки погиб мой брат. И я вижу, что делается сейчас. Как же я могу быть безучастной?

— Но вы же понимаете, что вам угрожает?

— Слава богу, не маленькая. Но что же я могу сделать? Что будет, то будет. От судьбы не уйдешь. Не очень умно, но утешительно все-таки. А человек всегда нуждается в утешении.

— Это конечно, — сказал он. — А я, признаться, опасался...

— Чего? Наверное, что я попадья?

Он промолчал, но она все поняла и, вздохнув, тихо сказала:

— Это, конечно, для меня огорчительно. Тем более что давно уже не попадья. Но бог вас простит. Я понимаю вас.

— Вы уж простите, что я заговорил об этом, — сказал Агеев, пожалев, что завел такой разговор. Но, может, и хорошо, что завел, они выяснили главное, и хотя он не во всем разобрался, но, кажется, освободился от тяготившего его сомнения — пожалуй, ей можно было верить. Человек с такой твердостью взглядов всегда что-нибудь значит и невольно вызывает доверие. Может, ему еще и повезло с хозяйкой, подумал он, хотя и без должной уверенности. Но время покажет.

Он доел картошку, и она, первой поднявшись из-за стола, начала прибирать посуду; помолчав, сказала:

— Мне надо будет отлучиться дня на три. Съездить кое-куда. Думаю, вы тут без меня управитесь.

Сказала она это тихо, почти спокойно, но за этим ее спокойствием Агеев уловил едва скрытое напряжение и насторожился.

— Думаю, управитесь. Теперь, когда вы уже сапожник, с голоду не помрете. Отец Кирилл полтора года с сапог кормился.

— Да я что... Я пожалуйста. Если надо, так надо, — поспешно сказал он, однако ожидая пояснений причин ее неурочной отлучки.

Она же, ничего более не объясняя, сказала погодя:

— Спать можете в хате. Если там холодно станет.

— Да, да. Спасибо.

— Картошки копайте сколько вам надо. Хлеб я у Козловичевых покупала. Это вот через дорогу, напротив. Они могут и в долг дать. Я им сказала.

— Хорошо, спасибо.

Агеев осторожно выбрался из-за стола, поискал в темноте возле порога свою ореховую палку. Все-таки нога изрядно болела, и он подумал, что завтра надо будет перевязать рану. В сарайчике еще оставалось немного чистого тряпья, может, хватит на одну перевязку.

— Так мы еще увидимся? — спросил он с порога.

Бараиовская с полотеицем в руках, которым оиа вытирала тарелку, живо обериулась к иему в сумерках кухии:

— А как же! Непремеино. Бог даст, увидимся.

Он помедлил, поняв, что она придала другой смысл его вопросу, и хотел переспросить, увидятся ли они до ее отлучки на три дня, но тут же раздумал. Все-таки неудобно было набиваться с расспросами, если человек сам не изъявляет желаиия объяснить все сразу. Позже он не раз пожалеет о том, но, что упущено, того уже не воротишь. Пожелав ей спокойной ночи, Агеев вышел во двор и, постояв немного в сгустившейся темноте ночи, поковылял в свой сарайчик. Со следующего дня для него начиналась новая жизнь — нелепое его сапожничество ради куска хлеба или маскировки. Для чего более, он сам толком не знал. Он лишь чувствовал, что война загоняет его все дальше в угол, из которого найдется ли какой-либо выход, кто знает?

Назавтра, проснувшись раиеиько утром, он полежал недолго, привычно прислушиваясь к редким звукам извне, ио не уловил ничего тревожного или сколько-нибудь стоящего виимания. Где-то рядом в лопухах за стеной возились соседскне куры, тихонько закудахтали, навериое потревожеиные Гультаем, послышались приглушенные голоса людей из соседиих дворов, а вообще было тихо. После недавно пережитых потрясений местечко замерло, затаилось в страхе перед неизвестиостью, которая не обещала хорошего, денно и нощно грозясь немецкими строгостями, угрозой расстрела за любое нарушение, репрессиями за ослушаиие. Агеев ждал, как обычно, признаков того, что уже поднялась Барановская, которая обычно, встав, начинала возиться на огороде, бряцала цепью у колодца, тихо стучала дровами на дровокольне. После нее поднимался он, не желавший раньше времени беспокоить хозяйку дома. В это утро, кроме того, он хотел попросить ее посмотреть ногу, чтобы вдвоем перевязать рану, потому что он просто не знал, как быть с этим ее лекарством — салом: то ли прикладывать его снова, то ли уже можно обойтись без него. Но вместо привычных и сдержанных знаков ее утреннего хозяйничания во дворе он вдруг услышал нетерпеливый окрик, от которого у него сразу захолонуло сердце:

— Есть тут кто, в конце концов?!

Дважды прозвучавший, этот нетерпеливый мужской голос сразу дал Агееву понять, кто́ к ним пожаловал. С такой требовательностью могли появиться лишь представители сильной, уверенной в себе, несомнеиио, иемецкой власти.

Спросонок сильно потревожив рану, Агеев подхватился с топчана, ие сразу попадая здоровой иогой в штаниiну, завозился с брюками. Непростительно промедлив несколько секунд, на ходу застегиваясь, без палки выковылял из ворот хлева. Во дворе уже рассвело, возле беседки, широко расставив иоги в хромо-

вых сапогах и таких же, как у него, командирских дивгоивлевых бриджвх с красиыми кантами, стоял квкой-то высокий хлыщ с прутиком в руке. На нем плотио сидел темио-сииий танкистский фреич со споротыми петлицами ив коротких отворотах. Сзвди, у выхода со двора, застыл в ожидвнии по виду пожилой мужчинв, почти старик, с дряблыми свежевыбритыми щеками и такой же дряблой кожей на шее, слишком свободно тяиувшейся из широкого воротника мундирв под серым рвспахнутым плвщом. На голове у него, однако, гордо сидела высокая офицерская фуражка. Агеев лишь мельком взглянул на него, привычиым взглядом военного нащупывая погоны, и будто ожегся об их витое серебро, тускло блестевшее на плечах. Этот немец старик был, однако, высокого чинв, и сердце у Агеева сжалось в недобром предчувствии. На улице стояли, не заходя во двор, человек пять немцев и полицейских с повязками. Полицейский во френче, нетерпеливо постегиввя прутиком по голенищу сапога, сказал:

— Ты, сапожиик, а ну пособи оберсту! Там в сапоге что-то...

Чувствуя, как медленно сплывает в его глазах скверный тумвн, Агеев проковылял в беседку и сел нв табурет. Оберст присел на скамейку подле клена, и немец в коротеньком, с разрезом мундирчике, виляя упитанным задом, легко и бережно снял с его тощей ноги сапог, передал Агееву. Сапог был добротный, еще почти новый, с твердым блестящим голенищем и крепким высоким задником; его внутреиность еще источала терпкий запвх хорошо выделанной кожи. Гвоздь был в самом носке, чуть выступая из подошвы, и Агеев подумал с облегчением, что забить его — пара пустяков. Пока ои настраиввл лапу, на которую иадеввл свпог, старик оберст, полицвй в танкистском френче и все, сколько их было, немцы пристввльио следили за его торопливыми движеииями. Не в лад со своим ощущением он вдруг дерзко подумал: вот бы грaиату теперь на всех вас! Но только подумал так, не поднимая от сапога взгляда и боясь, квк бы они не поняли, что у него в мыслях.

Нескольких удвров молотка действительно хввтило, чтобы забить гвоздь, и он протянул оберсту его злополучиый сапог, который, однако, тут же перехватил деищик с нанизанными на пальцы перстиями. Недоверчиво ощупав его изиутри, ои буркнул «гут» и бросился обувать оберста. Напряженно откииувшись на сквмье, тот удерживал на весу ногу, нв которую денщик бережно нвтянул сапог. Потом он слабо притопнул им оземь и картавящим голосом что-то невнятно произнес по-немецки.

— Вствиь! Ты! Слышь! — подхватился полицейский во френче.

Агеев медлеиио поднялся с табурета.

— Сюдв, сюда! Перед господином оберстом.

Стараясь не хромать, Агеев неловко ступил три шага из беседки и выпрямился, подумав, что оберст, по-видимому, станет его блвгодврить. Тот и в самом деле картавяще произнес что-то, дряблое лицо его с покрасневшими словно от недосыпу глазами

изобразило некоторое подобие улыбки, но вдруг холодно застыло, и немец, стоя вполоборота, строго обратился к полицаю. Тот, встрепенувшись, вытянулся и что-то односложно ответил тоже по-немецки, что удивило Агеева: гляди-ка, умеет! Но он почувствовал уже, что речь шла о нем, и встревожился.

— Господин оберст спрашивает: ты военнослужащий Красной Армии?

— Я? Нет. Я железнодорожник, — упавшим и противным для самого голосом сказал Агеев и подумал: кажется, влопался!

— Он спрашивает: почему хромаешь? Ранен?

— Несчастный случай. На железной дороге, — бодрее ответил Агеев и невольно напрягся, словно по стойке «смирно» перед начальником. Но тут же расслабился, одну руку сунул за пояс вышитой рубахи, так, как если бы никогда не имел дела с армией и ее порядками. Вот только его диагоналевые брюки с кантами предательски выдавали в нем командира, и Агеев, внутрение сжавшись, гадал, поймет это оберст или не поймет.

Оберст, однако, уже не смотрел на него — все более распаляясь, он строго выговаривал что-то полицаю во френче, и тот, лихо щелкая каблуками, ел его взглядом близко к переносице посаженных глаз, то и дело повторяя свое «яволь!». Агеев не понял, что разгневало этого старичка оберста, но он чувствовал, что речь шла о нем, и в напряженном внимании ждал развязки. Наконец немец, похоже, выговорился, его гневный напор стал иссякать, он вытащил из кармана брюк блестящий, с затейливой инкрустацией портсигар и тонкими пальцами выбрал из него сигаретку. Как только он сделал первый шаг к улице, все стоящие подле расступились, направляясь следом. Возле соседнего дома за изгородью их ждала легковая машина с парусиновым верхом пепельного цвета. Оставшись возле беседки, Агеев краем глаза проследил, как они там рассаживались, подумав: неужели пронесло? Но полной уверенности, что пронесло, не было, оберст еще угрожающе помахал пальцем перед полицаем в танкистском френче, что-то выговаривая ему, и тот, наверно, в свое оправдание изредка вставлял короткие слова по-немецки. Казалось, это продолжалось нестерпимо долго. Пока немцы не уехали, Агеев не мог чувствовать себя в безопасности, неосознанная тревога не унималась, и он, может, впервые понял, на какой трудный путь встал с этим своим сапожничанием. Он вздохнул, только увидев, как взвихрилась пыль позади машины, но тут же выругался с досады: трое полицаев остались и, выждав, когда машина скрылась за поворотом улицы, повернули назад. Они опять шли к его двору.

Первым вошел все тот же рослый полицай во френче, устало согнал с лица выражение озабоченности.

— Ну, понял? — резко, в упор спросил он Агеева.

Тот отрицательно покачал головой.

— Не понял? Какой непонятливый! В лагерь тебя приказал спровадить! Как военнопленного.

Мощеная земля во дворе странно зашаталась перед глазами

Агеева, он взглянул в сторону улицы, выход на которую, однако, уже преградили два полицая с винтовками.

— Скажи мне спасибо! Поручился за тебя, ясно? — бросил полицейский и неторопливо прошелся в глубь двора.

— Что ж, спасибо, — выдавил из себя Агеев, не зная, что еще сказать. И даже что подумать по этому поводу.

— Вот так! Что ж, думаешь, это просто? Думаешь, он сразу и послушал? — обернувшись, сказал полицейский.

Видно, все еще переживая неприятный разговор с немцем, он минуту прохаживался туда-сюда по двору. Агеев выжидательно стоял на месте, чувствуя, что его сегодняшние испытания, видно, еще не кончились. Еще что-то ему готовится. Наконец полицейский отбросил свой прутик и решительно сел на скамью под кленом.

— Ладно, черт с ним! Ты это... Посмотри-ка заодно мои сапоги.

Резким движением он содрал с ноги тесноватый хромовый сапог, сунул его Агееву, и тот подался на свое место в беседке. Полицейский, положив ногу на ногу, внимательно посмотрел в его сторону.

— Ты давно?

— Что? — обернулся Агеев.

— Что, что... Ранен, говорю, давно? — гыркнул полицай. — Не понимаешь...

«Черт бы тебя взял с твоей понятливостью!» — зло подумал Агеев, не зная, как лучше ответить о своем ранении. Но, видно, ответить придется по правде, этого не проведешь. Сам, видно, оттуда...

— Да недавно. Как отступали... Красные.

Полицейский коротко хохотнул.

— Красные! А сам ты кто, белый разве?

— Я? Да так...

Разом согнав с твердого, волевого лица усмешку, полицейский взглянул на своих помощников, которые в терпеливом ожидании торчали у палисадника, чутко прислушиваясь к их разговору.

— Ладно темнить! Не видно по тебе разве! Думаешь, бриться перестал, так никто не узнает? Командир? — вдруг резко спросил он, буравя Агеева острым взглядом пристальных глаз. — Командир, конечно. Вон по чубу видать. Рядового бы остригли.

Выкладывая из ящика инструмент, Агеев молчал, все еще соображая, как вести себя, за кого выдавать. По документам Барановского он инженер-железнодорожник, такую и отработал версию, но ведь этот не спрашивает документы. Натренированным глазом он, видно, сразу усмотрел в нем военного, и отпираться, наверно, было рискованно. Только больше запутаешься или вызовешь подозрение в чем-либо еще более опасном.

— Ладно, — помолчав, сказал полицейский. — Посмотрим, какой ты сапожник. Подбей косячки. Как у немцев. Чтоб шел — издали было слышно: идет начальник полиции, а не хрен собачий. Понял?

— Ясно, — сдержанно ответил Агеев, уже понимая, что, по всей видимости, перед ним сам Дрозденко, о котором он слышал от Молоковича. И это его первые клиенты — фашист и его прислужник с их пустячным ремонтом. Если только дело действительно в этом ремонте. — Вот беда, новых косячков нет! — сказал он, покопавшись в жестяной коробке с гвоздями. Среди проржавевших гвоздей выбрал три ржавых, видно, оторванных от старых каблуков косячка. — Вот такие пойдут?

— Ладно, пойдут, — сказал Дрозденко и снова вблизи пристально заглянул в лицо Агеева. Тот, делая вид, что не замечает этого взгляда, примерял косячок на заметно стесанный каблук начальника полиции. — Ты кто по званию? — вдруг тихо спросил тот, опершись локтем на колено разутой ноги. Оба полицая из-за ограды — один белобрысый, пожилой, в немецкой пилотке и второй, молодой крепыш в кепке — заметно навострили уши, и начальник полиции метнул строгий взгляд в их сторону. — Эй, вы там! Расстарайтесь-ка мне молочка попить.

Застучав сапогами, полицаи ринулись во двор, но Дрозденко сразу остановил их зычным окриком:

— Не сюда, обормоты! Здесь ни черта нет! У соседей!..

Когда полицаи выбежали, вламываясь в калитку к соседям, он снова наклонился к Агееву.

— Так какое звание? Лейтенант, старший?

— Старший, — сказал Агеев.

— Не политрук часом?

— Нет, не политрук. Начальник боепитания.

— Ого! Специалист по оружию. А я вот из танковых войск. Был начштаба батальона.

— Что ж, большое начальство, — пробормотал Агеев, в душе проклиная этого разоткровенничавшегося собеседника. Он заколачивал железные гвозди в каблук, сапог вздрагивал вместе с чугунной лапой, на которую был надет, и каждый удар больно отдавался в его распухшей ноге.

Начальник полиции закурил «Беломор», пуская в беседку дым, и Агеев с жадностью вдохнул знакомый запах этих папирос, хотя сам никогда не курил.

— Было! — со вздохом сказал Дрозденко. — Было начальство да сплыло. Как дым, как утренний туман. Теперь другое начальство, немецкое. Кто бы подумал, а? Сказал бы кто год назад, что стану начальником полиции, я бы тому в морду плюнул. А ведь стал. Почему? Потому что за других погибать не хотел. Слушай, ты откуда родом?

— Я? Я издалека, — сдержанно ответил Агеев. — А вы?

— А я здешний. Из местечка. Ну и какие планы?

— Да какие планы. Нога вот! — шевельнул коленом Агеев и поморщился.

— Что, здорово садануло?

— Здорово, — сказал Агеев, возвращая сапог. — Вот посмотрите. Пойдет?

Дроздеико взял сапог, придирчиво осмотрел каблук н вдруг тихо, зло выпалил:

— Говио ты, а ие сапожник! Кто же так подбивает? Надо подложить кусочек кожн. А то ведь криво!

— Была бы оиа у меня, кожа, — развел руками Агеев. Действительио, он не нашел в ящике нн кусочка кожн.

— Да-а... Ну ладно, подбивай второй. Не ходить же так.

За изгородью иа улице показались оба полицая, однн остался с винтовкой у входа, а второй в вытянутых руках нес кринку молока, которую осторожио протянул начальнику.

— Вот, только иадоеииое. Парное. — Белобрысое лицо полицая подобострастио расплылось в угодливой улыбке.

Дрозденко обеими руками благодушио облапил кринку.

— Что ж, попьем парного. Говорят, полезно для здоровья.

— Очень даже полезно, — еще более осклабясь, подтвердил полицай, закидывая на плечо сползший ремень виитовки, и Дрозденко вдруг уставился на него немигающим взглядом.

— Уже нспробовал? Хотя бы пасть вытер, скотина!

С запоздалой поспешностью полицай провел рукой по толстым губам, и его начальник брезгливо опустил кринку.

— Вот с кем приходится работать! — пожаловался он Агееву. — С этакимн вот курощупами. Он же в армин дня не служил. Не служил ведь?

— Так забраковалн по здоровью, — сказал полицай, почесывая у себя под мышкой.

— Потому что кретин. А в полицию взяли. Потому что некому. Ответственности гора, а возможностн крохн. Ладно! Марш на улицу. И смотреть мне в оба! Как ннструктировал!

Подержав крннку в руках, он все-такн поднес ее к губам и, отпнв, поставил на землю возле скамьи. Тем временем Агеев коекак пригвоздил к каблуку н второй косячок, после чего начальник полиции с усилием вздел сапог на ногу.

— Вот другое дело! Тверже шаг будет! А то...

Он пружииисто прошелся туда-сюда по двору, звонко цокая каблукамн по каменной вымостке. Агеев глядел на его сапоги — первую свою работу в новом положенин, и сложные чувства овладевали им. Он почти презирал себя за эту мелкую угодническую услугу немецкому холую, от которого, однако, зависел полностью, тем более что тот раскрыл его с первого взгляда, можно сказать, раздел донага. Именно эта его обиаженность сделала Агеева почти беззащитным перед полицией и прежде всего перед ее начальником в лице этого бывшего танкиста. Как было с ним поладнть, чтобы не вызвать гнев и не погубить себя? Без особой нужды Агеев перекладывал инструменты на своем шатком столике, искоса наблюдая, как Дрозденко прохаживается по двору. И вдруг тот резко остаиовился напротив.

— Тебя как звать?

Агеев весь напрягся, соображая, как лучше ответить этому полицаю — по своей железнодорожной версии или как есть в действительиости.

— Ну, по документам я Барановский...

— Хрен с тобой, пусть Барановский. Нам все равно. Пойдешь работать в полицию.

С нескрываемой тревогой в глазах Агеев взглянул в ставшее озабоченно-решительным лицо начальника полиции, который, произнеся это с утвердительной интонацией, однако же, стал ждать ответа — согласия или отказа. И Агеев шевельнул коленом больной ноги.

— Какая полиция! Нога вот! Едва передвигаюсь по двору, коло дома...

— Ничего, заживет!

— Когда это будет?! — сказал он, почти искренне раздражаясь.

Дрозденко сдвинул набекрень фуражку, оглянулся в глубину двора.

— Ладно. А ну зайдем в дом!

Агеев не знал, где Барановская (с утра она не появлялась во дворе), и, медленно выбравшись из-за стола, направился к двери. Дверь на кухню была не заперта, на прибранном столе под чистым полотенцем стояли миска и кувшин, подле лежала вчерашняя краюшка хлеба — наверное, его сегодняшний завтрак. Хозяйки нигде нё было слышно.

— Тут что, никого нет? — спросил Дрозденко и, растворив дверь, заглянул в горницу. — Никого. Вот какое дело! — Он вплотную шагнул к Агееву. — Жить хочешь?

Агеев помялся, не зная, как ответить на этот идиотский вопрос, и не понимая, куда клонит этот блюститель немецких порядков.

— Ну как же... Понятно...

— Я тебе помогу! — с живостью подхватил начальник полиции. — Помог раз, помогу и второй. Все-таки мы оба военные и должны стоять друг за друга. Иначе... Сам понимаешь! Немцы в бирюльки не играют. Так что, лады?

— Ну, спасибо, — неуверенно протянул Агеев, почувствовав, что это лишь часть разговора. Главное, пожалуй, еще впереди.

— Но и ты должен нам пособить.

— Что ж, конечно...

— Вот и хорошо! — оживился Дрозденко. — Тогда это самое... Небольшая формальность. Садись!

Ухватив за гнутую спинку стула, он широким хозяйским жестом переставил его к Агееву, который, все еще мало что понимая, неуверенно присел к столу. Дрозденко вытащил из кармана френча потертый, наверно, еще довоенный блокнот с рисунком парусной яхты на обложке.

— Так, небольшая формальность. Немцы, они, знаешь, бюрократы похлеще наших. Им чтоб все оформлено было. Вот чистая страница, вот тебе карандаш... Пиши!

Не сразу, в явном замешательстве Агеев взял из его рук исписанный тупой карандаш, повертел в пальцах. Он уже явственно

понимал, что это его писание не принесет ему радости, но и не знал, как отказаться. Все это произошло так неожиданно, что никакой подходящей причины для отговорки не подвернулось в памяти.

— Пиши: я, Барановский... как там тебя? Олег? Пусть будет Олег... Значит, Олег батькович, настоящим обязуюсь секретно сотрудничать по всем нужным вопросам. Написал? Что, не согласен? — насторожился он, увидев, что Агеев замер с карандашом в пальцах. — Ты брось дурить! Иного выхода у тебя нет. Фронт под Москвой, а немцы на соседней улице... Чуть что, загремишь в шталаг[1].

Почти не слушая его, Агеев лихорадочно соображал, что делать. Конечно, он не мог не понять пагубного значения этой подписки, которая запросто могла изувечить всю его жизнь. Но и отказавшись подписаться, он рисковал не менее просто распроститься с этой своей жизнью. Дрозденко, обеими руками опершись на стол и нависая над ним, с напором диктовал, не давая передышки, чтобы подумать или заколебаться.

— Пиши, пиши: секретно сотрудничать с полицией, а также службой безопасности и эсдэ. Вот и все! Написал? Теперь подпись и дату!

Уже явственно ненавидя этого немецкого холуя, облеченного, однако, властью, и его помятый, со следами пальцев блокнот, а заодно себя тоже, Агеев поставил в конце какую-то закорючку вместо фамилии и вывел дату.

— Вот и прекрасно! — одобрил Дрозденко. — Ты нам, а мы вам. В долгу не останемся. Только это... Фамилию напиши разборчивее. Ба-ра-нов-ский! Вот так. Теперь другое дело. Ну, а кличка? — вдруг спохватился Дрозденко. — Какую кличку возьмем?

— Какую еще кличку?

— Ах ты, святая простота! Не понимаешь? Для конспирации!.. Ну так как назовемся?

Агеев пожал плечами. Он уже плохо стал соображать — наверное, за это утро начал превращаться в идиота.

— Не поймешь? Глупый? Скоро поумнеешь. А пока так и назовем: Непонятливый.

— Да, но... В чем я могу вам помочь? — стараясь сохранить спокойствие и превозмогая мелкую дрожь в руках, сказал Агеев. — Я тут никого не знаю, нигде не бываю.

— Не имеет значения! — парировал Дрозденко, торопливо запихивая блокнот в карман синего френча. — Ты сапожник! У тебя будут люди. И они будут искать с тобой связь.

— Кто они? — почти искренне удивился Агеев.

— Большевики, кто же! Те, что в лесу. Теперь они в лес перебазировались. Вот ты вечерком нам и стукнешь. Я буду наведываться. Понял?

— Но, понимаете...

[1] Шталаг — немецкий лагерь для военнопленных.

Все внутри у него протестовало против этого предательского закабаления, последствия которого легко предвиделись в будущем, но он не находил слов, чтобы отвести беду. Да, пожалуй, было уже поздно что-либо исправить. Близко к переносью посаженные глазки Дрозденко нещадно буравили его, словно стараясь проникнуть в сокровенный ход его растрепанных мыслей.

— Что, дрейфишь? Большевиков боишься? Не дрейфь! У тебя защита. Полиция всей округи! Эсдэ! Немецкая армия. А большевикам все равно крышка. В самом скором времени.

— Но...

— Не но, а точно! Немцы окружают Москву. К зиме война кончится.

— Да-а! — выдохнул Агеев, лишь бы нарушить наступившую гнетущую паузу в этом не менее угнетавшем его разговоре, и подумал, что если этот человек не оставит его через пять минут, то, пожалуй, все для обоих закончится на этой кухне. Он уже заглянул за печь, где находились тяжелые вещи — ухваты, кочерга, но увидел за рамой кухонного окна подобострастную рожу белобрысого полнцая.

Дрозденко, однако, скоро вымелся, пообещав на прощание наведываться, и даже совсем по-дружески потряс его руку. Проводив полицаев, Агеев сел на вкопанную под кленом скамейку и подумал, что, кажется, влез в дерьмо, из которого неизвестно как будет выбираться. Проклятая рана, как она стреножила его! Будь он здоров, он бы теперь был далеко от этого злополучного местечка с его полицией и от этого подонка из танковых войск. Может, он навсегда лег бы в сырую землю, зато у него было бы честное имя, которое теперь неизвестно как отмыть от фашистской грязи.

Наверное, он долго просидел под кленом, сокрушенно переживая коварные события этого злополучного утра. Утро между тем незаметно перешло в день, из-за крыш соседних домов выглянуло и стало пригревать солнце, хотя двор еще весь лежал в густой тени от деревьев. Барановская нигде не появлялась, и он подумал, что, по-видимому, она уехала. Куда только? Но это ее дело, он не имел ни возможности, ни особого желания вникать в ее, видать, тоже непростые заботы — ему доставало собственных. И, когда на выходе со двора тихо появилась девушка в вязаном зеленом жакете, погруженный в горестные переживания Агеев недоуменно взглянул на нее, не понимая, что от него требуется.

— Вот принесла туфельки...

Только увидев у нее в руках пару светлых туфель, он узнал свою вчерашнюю знакомую Марию и вспомнил, кем он недавно стал в этом местечке. Он сапожник, и это налагало на него определенные обязанности, за которые, по-видимому, и следовало держаться.

Он доковылял до беседки, молча забрался за стол, даже не

взглянув на девушку, которая тоже молча стояла напротив. Усевшись на табуретку, протянул руку.

— Давайте, что там?

— Да вот, видите, немножко прорвалось.

Озабоченный своими неприятностями, Агеев бегло оглядел туфлю: на изгибе возле подошвы была небольшая дыра, на которую следовало наложить заплатку. Он покопался в сапожном ящике отца Кирилла, нашел мягкий кусочек кожи, из которого косым ножом вырезал небольшую, размером с березовый листок заплатку. Все это время девушка выжидательно стояла напротив, и он сказал:

— Да вы сядьте. Сейчас попробуем залатать.

С помощью шила и нетолстой дратвы он пришивал заплатку, а Мария молча сидела рядом, пристально наблюдая за его работой. Работа, однако, не слишком спорилась, в узкий носок туфли пролезали лишь два его пальца, которыми очень неудобно было ухватить иголку. Скоро он больно укололся ею, и Мария сказала:

— Наперсток надо.

— Какой наперсток?

— Наперсток. Женский, с которым шьют толстую ткань.

Агеев с любопытством взглянул в ее нежное, почти не загоревшее личико с крохотными сережками в ушах и вдруг понял, что она не здешняя, вполне возможно, как и он, заброшенная сюда коварными путями войны.

— Давно тут? — спросил он тихо.

— Я? С июня. Уже третий месяц. А почему вы спрашиваете?

— Да так. Вижу, не здешняя вроде.

— Так ведь и вы не здешний. Откуда про меня знаете?

— А откуда вы знаете, что я не здешний? — спросил он, не поднимая головы от туфли.

— А мне Вера сказала. Та, что вчера со мной приходила.

— Вера — здешняя?

— Почти здешняя, — вздохнула Мария, обтягивая на коленках подол сарафанчика. — Учительница, в школе работала. А я из Минска. Приехала на свою голову и вот застряла.

— К родственникам приехала?

— К родственнице. Вера же — моя двоюродная сестра, здесь живет, у жестянщика Лукаша, вон на соседней улице. Мужа на войну взяли, теперь она с двумя детьми.

— Да, это нелегко. В такое время и с детьми, — тихо рассуждал Агеев, сосредоточенно колдуя над туфлей. Он хотел сделать все поаккуратнее, но аккуратно у него не получалось — стежки выходили неровные, кожа заплатки морщилась, а главное, продернуть внутрь иголку было чертовски неудобно.

Мария, видно, заметив это, виновато сказала:

— Плохо получается? Задала я вам работы...

— Ничего. Как-нибудь.

— Конечно, вы еще только учитесь. Когда-нибудь и получится.

Он с некоторым удивлением посмотрел на девушку:

— Это почему вы так думаете?

— А что ж, разве не видно? Какой вы сапожник? Командир, наверное...

Вот те и раз, подумал Агеев, неприятно задетый ее словами. Второй клиент подряд сомневается в его сапожном умельстве, с первого взгляда видит в нем командира — это уже никуда не годилось. Надо было что-то придумать, отрастить подлиннее бороду, что ли? Или усовершенствовать это проклятое ремесло, которое ему почему-то неожиданно трудно давалось.

— А ты в Минске чем занималась? — грубовато спросил он, задетый ее проницательностью.

Мария, однако, не обиделась.

— Я в педагогическом училась. Готовилась математику преподавать. Да вот, видать, не придется, — сказала она, и лицо ее помрачнело.

— Ничего, как-нибудь. Главное, чтоб остановить его, — сказал он почти доверительно, и она подхватила с горячностью:

— Да? Вы так считаете? Говорят, за Смоленском уже остановили, какой-то город освободили. А тут что делается!..

— Евреев побили?

— Расстреляли всех до единого. Сперва сказали, в город погонят, велели ценности взять, деньги и на трое суток продуктов. А самих в тот же день в торфяниках постреляли. Зачем продукты?

— А чтоб не догадались, куда погонят, — сказал он, сразу разгадав эту уловку немцев.

Мария удивилась:

— Ой, как вы сообразили! А я вот не смогла. Все думала: ну они же неглупые, к тому же все у них продумано до мелочей — зачем продукты? Ведь все с убитыми побросали в ямы.

— Дурное дело нехитрое, — сказал он и, может, впервые за утро внимательно посмотрел на нее. Ее юное личико, взгляд серых, широко раскрытых глаз были уже тронуты страданием, видно, досталось и ей в этом местечке. — В Минске родители есть?

— Мама была. Семнадцатого июня уехала в Ставрополь к тете. Не знаю теперь, вряд ли вернулась.

— Вряд ли успела.

— Не успела. Кто думал, что фронт так быстро откатится? Покатился без удержу.

— Да, на фронте теперь не малина. Кровавое месиво!

— А вас на фронте? — кивнула она в его сторону с вдруг загоревшимся любопытством во взгляде.

— Что на фронте?

— Ну, ранило на фронте?

— А откуда знаешь, что ранен?

— А с палочкой. Вчера видела. С улицы подсмотрела.

— Вот как! Ты уже и подсматриваешь?

— Да нет, я не нарочно. Просто проходила мимо, а вы шли

с палочкой. Так хромали, так хромали, что мне жалко стало.

Агеев озадаченно промолчал. Сегодня после всего, что произошло у него с этим начальником полиции, ему самому было жалко себя, и неожиданное сочувствие Марии тронуло его.

— Ничего, ничего. Как-нибудь, — грубовато утешил он девушку, но больше себя самого. Заплатку он уже дошивал, на довольно сношенные каблучки ее туфель надо было подбить и набойки, но у него не было чем подбить, и он тряпкой старательно начистил их светлые носки.

— Уже сделали? — обрадовалась Мария, вскакивая со скамейки. — Ой, как хорошо?

— Не слишком хорошо, — откровенно признался он, в самом деле мало довольный своей работой, и улыбнулся — впервые за сегодняшний день. — Авось как-нибудь научусь! Не пройдет и месяца...

Прижав к груди обновленные туфельки, Мария тихо спросила:

— Наверное, пока заживет рана?

— Именно, — сказал он. — Пока заживет.

— А потом?

— Потом видно будет.

С внезапной грустью в глазах она бросила взгляд на улицу.

— Завидую вам. Если бы я знала, куда... Ни дня бы здесь не осталась. Я бы на фронт пошла, я бы их убивала...

Это уже было серьезно, и он промолчал. Что-то поняв, она замолчала тоже, однако не уходя от него и все сжимая в руках отремонтированные туфельки.

— На фронте есть кому бить. А для вас и тут должно найтись дело...

— Какое? — быстренько спросила она.

— А это надо подумать. Сообразно обстоятельствам.

Она еще недолго постояла молча, о чем-то размышляя или, быть может, ожидая услышать от него что-то. Но Агеев подумал, что и так сказал лишнее, что ему теперь следовало остерегаться — кто знает, не значится ли и ее подпись в блокноте начальника полиции Дроздеико?

Наверное, она поняла его молчание по-своему:

— Как вам заплатить?

— А как хотите. Можно хлебом, можно картошкой. Или яблоками.

— Ну, яблок у вас своих вон сколько!

— Тогда поцелуем.

— Ну скажете!..

Немного постояв молча, она, не прощаясь, повернулась и выскользнула на улицу. Он остался в беседке. Очень хотелось ее увидеть, услышать ее то радостный, лукавый, то опечаленный голос; что-то она заронила в его омраченную душу, какое-то душевное родство стало медленно, но явно сближать их, этих двух разных людей, волею случая оказавшихся в одном местечке. Когда спустя четверть часа Мария вернулась с туго набитой авоськой, лицо ее, уже без тени былых забот, светилось

радостным дружелюбием; торопясь, она стала выкладывать на стол какие-то куски и свертки, обернутые в клочья старых газет.

— Вот это вам... за работу. Это чтоб заживали раны... Это варенье, грибы сушеные...

— Зачем столько! — воспротивился он. — Вы что, в самом деле? За одну заплатку?..

— Вот это масло. У тетки же коровы нет, так что понадобится.

— За одну заплатку?! — едва не взмолился Агеев.

— Не за заплатку. За то, что вы... Что вы есть такой...

Она выложила все на стол поверх его инструментов и метнулась к выходу, радостно озадачив его своей добротой и трогательной признательностью за ерундовую, в общем, услугу. Но, видимо, в этой услуге она увидела нечто большее, чем залатанная туфля, и эта ее прозорливость невольно отозвалась в нем тихой, робкой еще благодарностью.

Недолго посидев в беседке, он проковылял в сарайчик и занялся раной, которая тупой болью неотвязно беспокоила его с ночи. Особенно когда он пытался ходить. Агеев размотал сбившуюся, со следами гнойных пятен повязку, конец которой, однако, основательно присох к верхнему краю раны, и, пока он отдирал его, почти взмок от пота и боли. К его удивлению, опухоль над коленом уменьшилась, болезненно набрякшие ткани по обе стороны раны потеряли напряженную плотность. Агеев выбросил расползшиеся ломтики сала, подумав, что теперь, может, обойдется и так, и туго перетянул ногу прежней повязкой, подложив под нее чистую, сложенную вчетверо тряпицу. Наверное, надо было перекусить, он давно уже ощущал сосущую пустоту в желудке и с палочкой в руке вышел из хлева.

Возле его беседки на скамейке сидела старушка в темном толстом платке, с такой же, как у него, палкой в руке. Она явно дожидалась кого-то, и Агеев приковылял к ней сзади.

— Вам кого, бабушка?

Бабуся не спеша обернулась, взглянула на него отсутствующим взглядом глубоко упрятанных под костлявые надбровья глаз.

— Мне во ботиночки внучке... Каб починить... Одна внучка осталась, ни отца, ни матери. Дык, сказали, тут чинять в поповской хате.

— Чиният, да. А что, ботиночки сильно поношены?

— Дык паношаны... Вот! Новых жа няма, где я возьму? Теперь жа не купишь.

— Теперь не купишь!

Он взял из ее рук связанные узловатыми шнурками детские ботинки, до того разбитые — с проношенными подошвами и сбитыми задниками, с дырами на сгибах, — что ему стало тоскливо: как их починить? Но бабка, будто приговора, ждала его слова, и он, вздохнув, не смог отказать ей:

— Ладно, как-нибудь сделаем. Сегодня к вечеру.

— Дякуй табе, сыиок, дякуй. Я ж в долгу не останусь, отблвгодарю. Хай тябе бог ратуе...

Он проводил бабку н подошел к беседке. Надо было браться за дело, но хотелось есть и было гадко и боязно на душе — все от того утреннего визита полиции. Что она сулит ему, та его подлая подписка? Конечно же, работать на нних он не намеревался, но он чувствовал, в какую западию попал и как трудио будет выкручиваться теперь из фашистской кабалы. Обязательно надо было предупредить о том Волкова или хотя бы Кислякова, рассказать, в какое дело втягивает его полиция, и совместно придумать, как ему действовать. Потому что... Потому что эта двойственность его положения может очень скоро вылезть боком для этих людей, да и мало ли еще для кого, но прежде всего для него самого. Он ясно поиимал всю сложность своего положения, но что он мог сделать? Разве что проклинать войну или этого ублюдка Дрозденко? Но и проклиная его, сетуя на войну и свою злополучную долю, наверно, придется жить и делать что-то в соответствии со своей совестью и своими обязанностями командира армии, которая теперь истекает кровью на огромном фронте от севера до юга. Наверное, тем, кто под Москвой или за Смоленском, ие легче, тысячами ложатся навсегда в братские могилы — ему ли сетовать на свою участь? Придется терпеть и, пока есть возможность, делать какое-то дело — против **н и х**, но только бы не повредить своим. Хотя это будет, наверно, нелегко.

Наскоро перекусив на кухне, он вспомнил Барановскую и пожалел, что в такой час ее не было дома. Он уже стал привыкать к этой своеобразной женщине — своей хозяйке, наверно, в таком деле она бы что-то ему подсказала или хотя бы сообщила, чего он не знал. Она же как местная жительница знала тут все, и, кажется, неплохо разбиралась в людях. А люди ему, пожалуй, скоро понадобятся. Без людей в его положении — гибель.

Все оставшееся до обеда время он провозился с детскими ботиночками и кое-как слепил их на живую нитку. Для более капитального ремонта нужны были материалы — кожа, подошвы, которых он не имел, и думал, что с таким обеспечением его ремонтное дело непременно зайдет в тупик. Чем тогда он будет кормиться? Сидеть на скудном иждивении хозяйки? Дожил, нечего сказать, бравый начбой Агеев, то есть инженер Барановский Олег Кириллович. Он совсем уж начал путаться в своих именах и не знал, какое из них будет для него предпочтительнее.

Бабка пришла после обеда, к вечеру, когда он, поставив на угол стола ботиночки, сучил впрок дратву — для новой починки. Но больше заказов не было, никто к нему не пришел, и он, насучив дратвы, собирался выбраться из-за стола. Ощупывая посошком дорогу, бабка, будто слепая, свернула с улицы и молча остановилась перед беседкой.

— Вот, бабка, готовы!

— Готовы? Дякуй табе, касатик, дякуй божеиьку. Вот за труды твое с бедной бабы...

Она бережно положила на уголок стола сложенный почти до размера почтовой марки советский рубль и взяла ботинки.

— Пусть носит на здоровье, — сказал Агеев.

— Ой дякуй жа табе. Хай бог даст здоровьичка...

Ворча про себя благодарности ему и богу, она вышла на улицу, а Агеев взял со стола рубль, распрямил его. Вот и первый денежный заработок, подумал с иронией. Если так дело пойдет и дальше, придется переквалифицироваться в управдомы, сказал он себе, вспомнив когда-то читанный роман Ильфа и Петрова.

В тот день он ничего больше не делал, даже не перекусил в обед, хотя на столе стояли и лежали под полотенцем принесенные Марией гостинцы, к которым он все время возвращался в мыслях. Просидел в кухне до вечера, то и дело поглядывая в окно — не зайдет ли еще кто во двор. Сам старался без нужды там не показываться, заказчики его не очень занимали — будут так будут, а нет, тоже беда не большая. У него уже были заботы поважнее — он ждал кого-нибудь из леса, от Волкова или Кислякова, ему надо было сообщить о новом повороте в своей судьбе. Но как навло до вечера во дворе никто не появился, не появился и вечером.

Когда совсем стемнело и над местечком установилась ночь, он побродил в темноте возле дома, послушал и с тяжелым сердцем пошел в свой сарайчик.

ГЛАВА 4

В тот день с самого утра Агеев сидел возле палатки и ждал. Накануне вечером его доняло-таки сердце, и, как только немного отлегло, он сходил в поселок и дал телеграмму сыну, чтобы приехал. Он давно уже не звонил в Минск и не знал, застанет ли телеграмма Аркадия, тот часто отлучался в командировки — в Москву, на Урал и Поволжье; работая в проектном институте, он был связан с рядом предприятий по всей стране. И вот Агеев ждал терпеливо и напряженно, потому как стало уже ясно, что работа в карьере не для него и, чтобы довершить это столь растянувшееся дело, ему надобна помощь.

Когда к полудню стало припекать солнце, Агеев, прихватив ведерко, перешел в тень под каменной, в рост человека оградой у кладбища. Здесь было прохладно, вверху тихонько шумела листва тополей, и ему было хорошо и покойно в его ничегонеделании. Если бы еще работало сердце исправнее... Но сердце работало по-прежнему плохо, приступы жестокой аритмии с небольшими перерывами лишали его сил, и он пугался при мысли, что может не дождаться сына и вообще ничего не дождаться. Так прошло немало времени, солнце стало поворачивать к западу, широкая с утра тень от деревьев сузилась до неровной полосы под самой оградой, и он уже подумывал, что придется уходить отсюда, когда на дороге из-за кладбища появился

красный «Жигуленок» третьей модели. Агеев сразу узнал машину и, испугавшись, что та проскочит мимо, поднялся, замахал рукой. Машина притормозила, вроде остановилась даже, а затем круто свернула на пригорок и подкатила к его палатке.

— Батя!

Сын был большой, бородатый, как и полагается современным молодым мужчинам, он трогательно обнял полноватое, както сразу обмякшее тело отца, похлопал его по спине.

— Ну что ты? Ну как? Прижало, ага?

— Ничего, ничего, — сказал Агеев. — Знаешь, так вот... Спасибо, Аркадий, что приехал...

— Получил телеграмму, как раз с Худяковым сидели. Ну, говорит, поезжай. Два дня назад квартальный отчет сдали, так что...

— Спасибо, спасибо...

— Я думал, ты в гостинице. Приехал — говорят, нет, не значится, — рассказывал сын, помахивая цепочкой от ключа зажигания. — А ты, стало быть, на воздух перебрался. Или, может, выселили?

— Да нет, почему? Просто ближе... — сказал Агеев и замялся: о своих делах в этом поселке он ничего не говорил сыну, просто сказал как-то по телефону, что задерживается, есть старые по войне дела. Сын знал, что в сорок первом отец недолго жил здесь, участвовал в подполье.

— Разве отсюда ближе? — удивился Аркадий, поворачиваясь к нему — рослый, широкоплечий, в импортной, на кнопках сорочке с кармашками и в поношенных джинсах, туго обтягивающих его тощий зад. — Может, километр от центра.

— Ну кому как, — неопределенно ответил Агеев. Сердце его билось учащенно, по-прежнему то и дело сбиваясь с ритма, но теперь он не обращал внимания на сердце, не прислушивался к себе. Он думал, чем угостить сына, наверное, проголодавшегося с дороги, но тот сразу шагнул к машине.

— Я тут тебе одно лекарство достал. Импортное. Великолепно действует при сердечной недостаточности.

Выхватив из салона маленькую кожаную сумочку с ручкой-петелькой, он расстегнул «молнию».

— Вот: ди-гок-син. Вчера у Ермилова достал. Специально для тебя.

— Ну, спасибо, — сказал Агеев, принимая из его рук небольшую коробочку с синей латинской надписью. — Если поможет.

— Поможет, поможет! Наш директор только им и спасается. Отличное средство. И вот кое-что из жратвы. Думаю, ты тут не голодаешь, конечно, на сельских харчах, но все-таки...

Он раскрыл багажник и начал извлекать из его вместительной глубины аккуратные свертки, кульки и пакеты, буханку черного бородинского хлеба; подбросив вверх, ловко перехватил рукой бутылку грузинского коньяка с синей наклейкой.

— Это ни к чему, — сказал Агеев.

— Ничего, пригодится. Я спрашивал, сказали, коньячок тебе можно. Для расширения сосудов.

Что ж, наверное, самое время было перекусить, и, чтобы не располагаться на жаре, они отошли к кладбищенской ограде, в тенек. Правда, сын чуть поморщился от такого соседства, но перенес туда два складных стульчика из машины, быстро раскинул дюралевые ножки портативного столика — сын был человеком предусмотрительным. Агеев принес из палатки свой охотничий нож, термос, в котором еще что-то плескалось, и они присели по обе стороны столика, друг против друга.

— Ну, так выпьешь немножко? — спросил сын, откупоривая бутылку.

— Нет, не буду.

— А я, знаешь, выпью. Сегодня за руль больше не сяду, уездился.

— Выпей, чего ж, — сказал отец.

— Для расслабления нервов. Так за тебя, батя, — поднял он до половины налитый пластмассовый стаканчик, и Агеев кивнул головой. Сын не имел особенного пристрастия к алкоголю и в этом смысле не внушал беспокойства.

Видно, проголодавшись за долгую дорогу, он выпил и с аппетитом стал закусывать копченой грудинкой и сыром, устраивая такой вот, с детства любимый им бутерброд, и Агеев вспомнил, что у них с матерью не было больших забот с питанием сына — тот ел все и в любое время, как и отец, будучи совершенно непритязательным в еде. Вообще, пока жил с родителями, забот с ним было немного: хорошо окончил школу, с первого захода поступил в институт — не потребовалось никакой подстраховки, неплохо учился, теперь работает над кандидатской, умный, энергичный, знающий свое дело молодой человек. Вот только в семейной жизни сразу не повезло, год назад развелся, оставив годовалого карапуза.

— Как внучок? — вспомнив об этом, спросил Агеев.

— Растет, что ему. На прошлой неделе видел... Во дворе. Правда, всего минуту, некогда было.

— А Света?

— Что Света? Какое мне дело... — посмотрел в сторону Аркадий и перевел разговор на другое: — Ну а ты как? Добил свои дела?

— Нет, не добил, — сказал Агеев, вздохнув, и посмотрел вдаль, на утопавшие в зелени дома за дорогой.

В одном из дворов калитка была растворена, и полнотелая женщина загоняла в нее гогочущее гусиное стадо со степенным гусаком впереди. В женщине он без труда признал Козлову.

— Слушай, вот не пойму, — сказал сын. — Какое тут у тебя дело? Расследование какое? Что у тебя тут приключилось тогда, в войну?

— Кое-что приключилось, — сказал Агеев.

— Помнится, ты что-то рассказывал. Мать говорила, будто тебя расстреливали. Это тут, что ли?

— Тут, — сказал он, взглянув в оживившиеся то ли от выпитого, то ли от любопытства глаза сына, и замер в ожидании новых вопросов, ответить на которые он был не готов.

Сын, однако, ни о чем спрашивать не стал, сказал только:

— Я себе еще немножко плесну. Не возражаешь?

— Не возражаю...

Он и еще выпил немного, потом принялся закусывать, а Агеев налил из термоса остывшего уже чая, медленно помешивал ложечкой в кружке.

— Вот на этом обрыве, — почему-то дрогнувшим голосом сказал он, кивнув в сторону карьера.

— Как?

Кажется, это удивило сына, который, поперхнувшись, с куском хлеба в руке вскочил со стульчика и вытянул шею.

— В этой яме?

— В этой.

Сын побежал к обрыву, а Агеев остался сидеть над кружкой остывшего чая и на встревоженный голос сына тихо ответил:

— На том самом месте.

Минуту постояв над карьером, Аркадий энергичным шагом вернулся к ограде.

— Это ты копаешь?

— Я.

— Зачем?

— Ну, понимаешь, пытаюсь найти кое-какие следы. Кое-что реконструировать. Потому что не все понятно в этой истории с расстрелом.

— А что непонятно?

— Ну вот хотя бы — скольких тут расстреляли.

— А зачем тебе это? Ты что, следователь по особо важным делам?

Агеев медленно поднял голову, вгляделся в ставшее вдруг жестким бородатое лицо его двадцативосьмилетнего сына. Эта жесткость направленного на отца взгляда могла бы возмутить Агеева, но он все же понял, что это не со зла, а из жалости к отцу, из опасения за его здоровье.

— Я для себя, — сказал он, помолчав. — Для очистки совести.

— Ах, совести... Это другое дело, — холодно ответил Аркадий, усаживаясь на низенький стульчик. Прожевывая бутерброд, он о чем-то напряженно думал с минуту. — Вот порой думаю: много вы все-таки нахомутали с этой войной, — отчужденно сказал он.

— Это почему нахомутали?

— А вот все копаетесь, ищете, разбираетесь. Некоторые сорок лет воюют, успокоиться не могут.

— Значит, есть причины.

— Причины! А жить когда будете? Во второй своей жизни, о которой индийские мудрецы толкуют?

— Другой жизни не будет.

— Вот именно. Да и эту дай бог прожить с толком. Если ядерный гриб не поставит всему точку.

Сын укорял, почти выговаривал, не так словами, как тоном, каким были сказаиы эти слова, именно в этом его тоне что-то показалось Агееву знакомым, он уже ие раз слышал эти упреки, хотя, может, и не всегда отвечал на них. Однако теперь его задело.

— Ну вот скажи мие, — сдержанио начал он, — что значит, по-твоему, жить с толком? Сделать карьеру? Обзавестись степенями? Получать премии? Ездить в загранку?

— Ну бог с тобой, почему ты так думаешь? Не усложнять жизнь псевдопроблемами, так я полагаю. В нашей жизни реальиых проблем не оберешься...

— Это каких же проблем?

— Будто сам не знаешь. Мало у вас в институте было проблем? Вспомни, если забыл. Да н в жизни, в быту. Вон ехал, нигде заправиться не мог. К бензозаправочным не подступиться, грузовой транспорт забил все подъезды, стоят часами.

— Проблема горючего — мировая проблема.

— Да никакая она не мировая! Какие у нас при таких запасах нефти могут быть проблемы с горючим? Безголовая организация, вот что! Просчеты планирования. И это в эпоху НТР, когда на новейших компьютерах считают.

— Дело не в компьютерах...

— Не в компьютерах, конечно. Дело в тех, кто считает.

— Вот именно. А считают люди. Значит, проблема в людях. Человеческая проблема... Вот еще одиа «проблема» шагает, — сказал вдруг Агеев, взглянув поверх головы сына. — Давай сюда, Семен!

Действительно, на дороге из-за кладбища появился в своей желтой безрукавке Семен, который, наверно увидев, что Агеев тут не один, замедлил шаг, словно раздумывая, не повернуть ли обратно. Агееву тем временем расхотелось продолжать начатый разговор, и он почти обрадовался неурочному приходу нового гостя.

— Здрасте, — подойдя, вежливо поздоровался Семен, обращаясь к Аркадию.

— Это мой сын, — кивнул Агеев. — А это Семен Семенов, ветерап, как видишь. Вот сейчас мы и потолкуем. Возьми там ведерко и подсаживайся. В самый раз будешь.

Для приличия слегка помявшись, Семен присел с боку стола. Тени там уже не было, и бурое морщинистое лицо его скоро покрылось мелкими каплями пота, он не вытирал его, терпеливо оставаясь на солнцепеке.

— Проведать отца, так сказать? Это хорошо, это отцу завсегда приятно... — заговорил он, оглядывая стол, и задержал взгляд на бутылке.

— Вот, налей гостю, — сказал Агеев. — Наверно же, не откажешься, как я, например?

Семеи притворно поморщился.

— Мы тут больше к вину привычные.

— А почему именно к вину? — спросил Агеев-младший, наливая стаканчик. — Дешевле?

— Не-а. Больше выпьешь, — улыбнулся Семен.

— Это резон! — одобрил Аркадий. — Ну, выпейте.

— А вы?

— Я уже все. Выпил, больше не пью.

— Так неудобно как-то одному...

Заскорузлыми пальцами правой руки Семен неловко подобрал с бумажки кусочек грудинки, устроил его на ломте хлеба, покряхтел. Степенно, не торопясь, он готовился к самому важному в этом угощении, примеривался, вздохнул. Агеев почти любовался его священнодействием, вдохновением, отразившимся на его просветлевшем лице, на загорелом лбу, где белыми полудужиями выделялись выгинявшие за лето брови. Наконец, запрокинув голову, Семен, не торопясь, выпил — худой кадык на его длинной морщинистой шее прошелся снизу вверх и обратно.

— Хорошо, однако же!..

— Закусывайте, чем бог послал.

— Спасибо.

— Спасибом лимонад закусывают, — слегка назидательно заметил Аркадий, и отец уловил в его тоне неприятный холодок превосходства, который нередко раздражал его в характере сына.

— Семенов — истинный трудяга войны, — сказал он, обращаясь к сыну. — В разведке воевал. Имей это в виду.

— Разведчик — это теперь важно. Разведчиков уважают. Штирлиц и так далее...

— Да не Штирлиц! — повысил голос Агеев. — Войсковой разведчик! И это, будь уверен, не меньше...

Сын ловким ударом вогнал капроновую пробку в горлышко бутылки.

— Разумеется, разумеется...

— Ветеран, инвалид и так далее, — задетый тоном сына, раздраженно говорил Агеев. — Не выгадывал, как некоторые. Те, что на печке отсиживались или сразу в полицию побежали.

Семен спокойно слушал несколько натянутый разговор Агеевых, поблескивая металлическими зубами, не спеша дожевал закуску. Выбрав подходящий момент, рассудительно заметил:

— Ну не все и в полицию бежали добровольно. Были там и по принуждению. Которых заставили. Или по глупости.

— Как можно по глупости? На такое дело? — удивился Аркадий.

— А случалось. Как я, например.

— А вы что, и в полиции были? — изумился Агеев-младший.

Агеев-старший также удивленно уставился на Семена, который как ни в чем не бывало спокойно жевал закуску.

— Был. Где я не был только! В полиции, в партизанах. В плену был. И в армии. До Вислы дошел и вот... — он неловко ше-

вельнул культей. — Считай, на том свете побывал. Да я рассказывал...

Аркадий недоумевающе перевел взгляд на отца, но тот сделал вид, что не заметил этого взгляда, и сидел нахмурясь. Такого оборота в их разговоре он не предвидел.

— Я обо всем рассказываю. А что? Подумаешь, секрет! Знаешь, налей-ка ты мне еще. А то... Малюпашка такая.

— Это пожалуйста.

Аркадий с готовностью откупорил бутылку и налил полный до краев стаканчик. На этот раз Семен выпил залпом и, не закусывая, достал из кармана мятую пачку «Примы».

— Это вначале, наверно? В сорок первом? — спросил Агеев.

— В сорок втором, весной.

— В сорок втором больше в партизаны шли. Массовый приход после зимы. По черной тропе.

— Во, по черной тропе. Мы с Витькой Бекешем тоже так сообразили. Зиму перекантовались на печке, а по весне поняли: надо в лес. Тем более уже о партизанах заговорили. Правда, далековато они от нас появились, в Синявском лесу, и я говорю Витьке: погоди, запашем огород и рванем. Он: нет, медлить нельзя, себя же накажем, каждый день дорог. Конечно, поругались, и он утречком рванул один. Я бы, знаете, тоже пошел с ним, но мать жалко было: что она без огорода, старуха, чем прокормится? Корову зимой забрали, коня из колхоза не возвернули, прозевали, пока я в плену загибался аж в Белой Подляске — там, может, слыхали, огромный шталаг был. Вот осенью оттуда бежал. Бежало много, но мало уцелело, немцы собаками потравили, постреляли. Мне повезло: к покрову приволокся домой — голодный, обовшивевший, весь в чиряках от простуды. К тому же дизентерию прихватил. А дома что? Мать-старуха в холодной хате — ни хлеба, ни дров, ни картошки. Едва кое-как до весны дотянул, от хворобы оклемался — надо снова идти бить врагов. Бить оно, конечно, не отказываюсь, зла у меня против них по уши, но и старуху жалко.

— А что, дома больше никого не оставалось? — спросил Агеев, который уже близко к сердцу начал принимать этот рассказ.

— Кроме меня у матери была еще дочь, сестра моя старшая. Замужем в соседнем районе. Но у сестры четверо детей, мужа убили в первые дни оккупации, со свекром живет. Ну как туда матери? Сидит в своей хате старуха.

Так вот этот Бекеш напаковал сидор и подался из села. Я остался, вкалываю на огороде, картошку сажаю. А дня через три вертается мой напарник — партизаны отправили назад. Оружие надо! Без оружия не принимают. А где его взять, то оружие? Это там, где бои шли, его пропасть на полях осталось, а в нашей местности боев никаких не было, фронт быстро прошел, ничего нигде не найдешь. С чем идти в партизаны?

А надо вам сказать, тут другая беда насела — в местечке гарнизон установили, полицию набирают. Ну, конечно, добровольцев, которые на советскую власть зуб имели, таких всех

подобрали и — мало. Стали брать разных. Присылают повестку явиться и забирают. Или просто приезжают, входят в хату и хватают. Хорошо, если кто может отказаться, ну там инвалид, больной, справку имеет. Я тоже справку от врача имел, что дизентерия, но справке той уже почти полгода исполнилось. Правда, подправлял раз и второй, уже почти дырка на том самом месте, где число написано, и в третий раз подправить уже нет возможности. Худо дело! И вот как-то под вечер сошлись мы с Бекешем за баней, решаем, как быть. А надо сказать, Бекеш этот был парень грамотный, девять классов окончил, но молодой, горячий и очень переживал из-за осечки с партизанами. Вот он и говорит: «А что если запишемся в полицию? Получим винтовки и — в Синявский лес». Думаю, может, и правильно! А то досидишься, что силой возьмут или еще лучше — застрелят. Боязно, конечно, и погано как-то, но чем черт не шутит. Уж хуже, наверно, не будет, чем в том шталаге возле Белой Подляски. Конечно, служить им мы не будем, нам бы только винтовки заиметь.

Ну вот, запахал я огород, картошку посадил, думаю, убьют, так хоть матери на первое время будет как перебиться. Старухе намекнул, а та в плач. «Лучше бы ты, — говорит, — на войне летом погиб, чем теперь в полицию идти». «Ничего, мамаша, — говорю, — я им послужу. Я в партизаны перебегу, мне бы только оружие заполучить». Ну, кое-как успокоил старуху, и утречком мы с Бекешем подались в местечко.

Я уже говорил, что там знакомые были, двое из нашей деревни, из местечка несколько. Скажу вам, разные люди. Которые сволочи, а которые и ничего, только запуганные, особенно которые семейные, куда им? Чуть что, немцы ребят похватают, баб, расправятся жестоко. Ну, определили нас с Бекешем в третий взвод, начали муштровать на плацу — учить строевой, приветствию, как в армии. Формы еще не было, в своей ходили, кто во что одет. Я в гимнастерке, серой шинельке, сапогах кирзовых. Винтовок пока не выдавали, все безоружных мурыжили. Полиция в школе располагалась, кирпичное здание такое, одноэтажка, в центре местечка возле моста. Начальником был зверь один, ходил весь в ремнях, с маузером на боку, лютовал — страсть. Чуть какое подозрение или нарушение — порол жестоко, а то передавал в СД на станцию, там немецкий гарнизон обосновался. Два взвода, которые уже вооруженные были, часто по тревоге подымали — то на аресты, облавы, то против партизан. И вот однажды — в мае это случилось, уже лес распустился — ночью тревога. Все высыпали строиться, а я в наряде дневальным стоял. На этот раз всех погнали на подводах и верхами, где-то партизаны напали, выручать своих, значит. И третий взвод тоже погнали, только двое больных остались и трое нас из наряда. Как все убрались, я казарму подмел, стою у тумбочки в коридоре, другой дневальный только сменился, прикорнул под шинелью на нарах. А дежурный, старший полицейский Сурвила, с винтовкой на крыльце ходит. Из всех нас

только он с оружием. Вот, думаю, лег бы и он отдохнуть, я бы его винтовочкой и попользовался. Но не ложится, зараза. Под утро, на рассвете, слышим выстрелы за лесом в стороне Слободы, густоватая такая перестрелка началась, может, с час продолжалась. Сурвила этот нервничает — то внутрь зайдет, то снова выйдет, боится, сволочь, чтобы партизаны не напали. Подлец был большой, прежде районным Домом культуры заведовал, ряшка — во, плечи — во, сильный, собака, а трусоват. Вижу, мандраж вовсю его водит. Злорадно мне, но виду не подаю, стою в коридоре. На поясе у меня штык, обычный трехгранник, от нашей драгунки. Конечно, это не оружие, с таким в партизаны не примут. А где взять лучше? Все думаю о том, ломаю голову.

И вот только рассвело, возвращаются с операции, сначала конные, а потом на подводах, раненых привезли человек пять и двоих убитых. На палатках вносят в казарму, гляжу и чуть не закричал вдруг — Бекеш! Голову свесил, лоб белый, в волосах кровь запеклась. Не много так крови, от пульки, но — все. Насмерть. Вот тебе и добыл оружие! Даже в руках не подержал, при повозке был, коней караулил. Слепая она, военная судьба, ни черта не выбирает. Кого попало косит, чаще хороших людей, а сволочь какую даже пуля не тронет.

Значит, сгрузили убитых, положили раненых, и двое полицаев под руки ведут еще одного. Тоже раненный в ногу, нога едва перевязана, без сапога, прыгает на одной. Гляжу, вроде не наш, в полиции такого не было. Спрашиваю у Чернявского, полицая из местечка, с которым когда-то вместе в школе учился, говорит: партизан пленный, раненым подобрали. Молодой такой, в черной кубанке, похоже, командир какой-то из леса.

Потащили его в канцелярию на допрос, а канцелярия как раз напротив, в двух шагах от меня, я стою у тумбочки и все слышу, как его там допрашивают. Начальник с маузером, от СД какой-то громила в желтых сапогах, несколько полицаев. Сначала к нему по-хорошему, но, видно, не хочет говорить партизан, так орать стали. Ну и дубасить. Он тоже орет, матерится. Но все-таки что-то и скажет. Слышу, фамилию свою назвал, а они все про Синявский лес добиваются. Начали сильнее дубасить. Вот он уже и сознание потерял, выбежали за водой, отлили. И снова бить. Потом перерыв. И опять. Этот допрос, наверно, часа три продолжался, меня уже сменили у тумбочки, только прилег вздремнуть, Сурвила поднимает. Говорит: «Запрягай телегу, поедем на задание». «Куда?» — спрашиваю. «На станцию, пленного бандита повезем, немцы требуют». Очень не понравилось мне это задание — во-первых, партизана немцам отдать, ведь это для него верная смерть, во-вторых, я опять без оружия остаюсь. Говорю: «Пусть винтовку какую дадут, как мне с голыми руками ехать?» Говорит Сурвила: «Не трусь, я с оружием. Если побежит... Да и не побежит он — на ладан дышит».

Ну, запряг я лошадь, внесли в телегу партизана, устроили на соломе. Гляжу, и правда, едва жив, так отмутузили. Лицо

сплошь в крови, на свет божий лишь одним глазом смотрит. «Куда вы меня повезете?» — спрашивает. А Сурвила ему: «Не все тебе одинаково, бандитская морда. Вот шлепнем на мосту, и в воду!» Партизан ругается, матом честит и полицаев, и Гитлера. Мне погано в душе, думаю: неужели я руки к его погибели приложу? Но что делать? Не откажешься ведь. Те, что ночью по тревоге ездили, теперь получили отдых, будут спать до обеда, а нам, значит, такое дело...

Выехали из местечка, катим по большаку. Пленный, несмотря, что изранен и избит, так еще и связан по рукам, а к здоровой ноге веревка пропущена. Я сижу в передке с вожжами, Сурвила сзади, наблюдает за обоими. Большаком навстречу проехало две повозки, прошли несколько баб с корзинами. А так пустовато. И тут начали у меня всякие мысли появляться. Стал я приглядываться к местности. До станции этой было версты четыре, дорога все время полем, но в одном месте, за мостком, начинались кустики, и в тех кустиках развилочка такая малоприметная: большак на станцию, а боковая дорожка через лужок — прямо в деревню Смоляны возле соснового бора. Думаю, вот бы туда повернуть. Но как повернешь, когда этот живодер сзади, в руках винтовка. Если что, быстро пулю меж лопаток схлопочешь.

И все-таки я решился. Как въехали в это мелколесье, я и говорю Сурвиле: «Слышь, возьми вожжи, а я на минутку. Живот что-то...» Он подумал, оглянулся, но слез, перешел к передку, взял вожжи. Ну и, конечно, винтовку закинул за плечо, а мне только это и надо было. Выдернул я штык из-за пояса и, как кабану, сзади ему под лопатку. Только застонал, как боров, да и осел мне под ноги. Я за винтовку, себе на плечо, его за ноги да в канаву. Потом сам — в телегу да по коням! Кони неплохие были, как врезал им, как рванули через лужок. Партизан сначала взвыл даже от боли, а потом, поняв, наверно, что к чему, замолчал. А потом и подсказал, куда ехать. «В Качаны, — говорит, — к кузнецу. Там скажут...» Я и примчал его в Качаны, там перепрятали, переночевали в стожке, а назавтра из отряда приехали. Сразу четверо верховых, и мой спасеныш говорит: «Вот он меня спас, ребята. Спасибо, полицай!» Оказывается, партизан этот не простой был, а начштаба отряда. Вот ведь какая штука, думаю! Однако ж и повезло мне. Только вот Бекеша жалко...

Определили меня пока что в резерв. Пригляделся я, что тут за люди. Оказывается, и тут есть знакомцы. Которые из района, меня не очень знают — я до войны в бригаде работал, молодой был. Потом служил действительную на ДВК[1]. Зато я их помню. Заврайзо наш, начальник милиции. А однажды возле кухни гляжу — учитель из местечковой школы Багиров, нас в четвертом классе учил. Постарел только, почти весь седой стал. Но комиссар отряда.

---

[1] ДВК — Дальневосточный край.

Началась моя партизанская биография, и началась вроде неплохо. Меня хоть и не многие знали, но зауважали сразу — как же, начальника штаба от дурной смерти спас! Правда, некоторые и косились: из полиции, мол, как бы не подосланный оказался.

— Ну это вам повезло действительно, — сказал Аркадий. — Что подвернулся начальник штаба. Словно в кино. А если бы, например, рядовой? Или по дороге умер...

— Вот этого я больше всего боялся, — совершенно по-детски, открыто улыбнулся Семенов. — И по дороге, и потом в стожке ночью. Плох был начштаба, порой сознание терял. Вот, думаю, отдаст концы, что тогда мне? Куда податься? Партизаны скажут: убил. И в полицию нельзя, не поверят. Да и Сурвилу найдут с моим штыком под лопаткой. А начштаба в отряде не было месяца два, устроили где-то в укромном месте, лечился. За это время я уже совсем освоился, несколько раз в засадах участвовал, оружием разжился. То об одной винтовке мечтал, а тут у меня уже и «парабел» завелся — вытащил на шоссейке у убитого офицера, и кинжал, хороший такой, с красивыми ножнами. Словом, настоящий партизан. И вот как-то вечером, только мы поужинали на кухне, выходим — навстречу незнакомый мужчина в кожанке и с палочкой, прихрамывает немного, смотрю: кто такой? А Колька Смирнов (москвич был, потом, как гарнизон громили, смертельную рану получил, у меня на руках помер), этот Колька толкает меня в бок: мол, что смотришь, приветствуй, это же твой спасеныш, начштаба! Ну, я руку под козырек, так, мол, и так. «Здравствуйте, товарищ начштаба, как здоровьечко?» Правда, подал он руку. «Спасибо, — говорит, — за спасение». Говорю: «Ничего не стоит, обоих спасал — и вас и себя». «А откуда, — говорит, — ты узнал, кого спасать надо?» «Так я же, — говорю, — у тумбочки стоял, как вас допрашивали, слыхал кое-что». Ничего мне не ответил в тот раз, но как-то помрачнел с лица. Я не обратил внимания — мало ли человеку пережить пришлось? Не очень веселое это дело — в их руках побывать.

И вот лето к концу идет, воюем мы в партизанах, аж треск по лесам идет. То мы их бьем в хвост и гриву, а то они нам дают прикурить. Прежнего командира нашего переводят в комбриги, а на место его ставят начштаба Новиковского. Ребята меня поддевают. «Семенов, — говорят, — сходи к своему спасенышу, похлопочи, пусть автоматчикам мяса подкинут». Или: «Закинь словечко, пусть после операции подъем на пару часиков позже сделают». Или: «Что ты в разбитых сапогах топаешь, попроси, пусть новые сапоги выдадут, которые из трофеев». Я, конечно, отшучиваюсь, никуда не хожу, не обращаюсь. Я уже смекнул, что мой командир на меня вроде дуется, даже избегает меня. И не то чтобы поощрить чем, ну там дать лишний часик поспать, так еще, наоборот, все куда-то услать меня норовит. Другие командиры ко мне все нормально, комиссар — тот меня в пример хлопцам ставит. Да и в самом

деле, разве я плохо воевал? Подрывали мост в Шонцах, я полицейского часового снял. Да так удачно, что пока в блиндаже очухались, мы всю взрывчатку к сваям прикрепили. Взорвали, караул целиком уничтожили и ни одного своего не потеряли. Комиссар благодарность объявил перед строем, гляжу, Новиковский морщится. Вот не нравлюсь я ему! В Ноябрьские стали к наградам представлять, комиссар говорит: орден Семенову, а командир возражает: медали хватит. Ну «за бээз», значит. А как только где замаячит дохлое дело, как в Тростяном болоте, где немцы обоз наш перехватили, туда Семенова. Иди умри, или верни обоз. Пошел и вернул, не умер. Спасибо, конечно, перед строем и так далее. Ну, чувствую, ему было бы лучше, если бы не пришел, умер. Что-то он числил за мной, а что, долго не мог докумекать.

— Пожалуй, именно эту вашу службу в полиции, — сказал Аркадий.

— Да не службу, не в службе дело, — прервал свой рассказ Семен, уже не в первый раз косившийся на недопитую бутылку, стоявшую возле ножки стола.

Аркадий, конечно, замечал эти его красноречивые взгляды, но делал вид, что не понимает их истинного значения. Агеев молчал, он уже понял все, к чему с такими подробностями подводил Семен. Но он слушал. Не сказать, что с большим интересом, скорее с ненавязчивым чувством узнавания мелочей и ситуаций, которыми полнилась его собственная память.

— Не службу. Хотя и я сначала так думал. Что не доверяет. Или испытывает. А потом понял: сам виноват. Через свой длинный язык страдаю. Однажды я ему лошадь седлал, ну, так выпало, подвел, значит, к землянке (в Красной пуще стояли, в сосняке), подал поводья. Поблизости вроде никого не оказалось, он поводья взял, придержал стремя и, прежде чем вскочить в седло, спрашивает: «Скажи, Семенов, ты тогда до конца додневалил?» Я сразу смекнул, когда это **т о г д а**, но виду не подал, переспросил: «Это когда?» — «Ну как меня там дубасили?» Говорю: «Дневалил, но скоро сменился, в казарме спал». Соврал я ему, и, гляжу, глаза повеселели, что-то в них отошло, вскочил он на коня, а я и спрашиваю с невинным видом: «А что, товарищ командир?» «Да нет, ничего», — говорит и прутиком коня по шее, поскакал. Вот соврал, и у человека отлегло от сердца, и мне легче стало. Как-то при построении подошел, пошутил, угостил закурить даже. Ну, думаю, держись, Семен, дело твое вроде уладилось, не проболтайся только. Короткое, однако, было мое везение, через неделю похоронили Новиковского — убили при переходе железки.

Семен замолчал, рассеянно держа в прокуренных пальцах потухшую сигарету, оба Агеевы тоже молчали. Отец ушел в свое давнее и тягостное прошлое. Аркадий вроде что-то обдумывал и вскоре признался:

— Не совсем понял, в чем соль. Он что, по заданию или как?

— Что по заданию? — не понял Семен. — Почему по заданию! Так просто.

— То есть?

— Да все ясно, — сказал Агеев. — Что разъяснять? Тут и младенцу понятно.

— Ну, — коротко подтвердил Семен.

— А вот мне непонятно, — упрямился Аркадий.

Семен с хитрым прищуром поглядывал то на сына, то на отца, что-либо объяснять он воздерживался, а Агеев-отец сказал сыну:

— Возможно, ты и не поймешь. Потому что вы поколение, далекое от того времени. Не по объему знаний о нем, нет. Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени — это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается шкурой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано. Впрочем, может, и не надобно, чтобы было дано. У вас свое. А что касается войны, то, может, вам достаточно верхов, что поставляет массовая информация. Там все стройно и логично. Просто и даже красиво. Особенно когда поставленные в ряд пушки палят по врагу.

— Ну почему же! — возразил Аркадий. — Мы должны знать.

— Чтобы что-то знать по-настоящему, надобно влезть в это «что-то» по уши. Как в науке. Или в искусстве. Или когда это «что-то» станет судьбой. Но не предметом короткого интереса. Или, еще хуже, мимолетного любопытства.

— А, черт его!.. Лучше поменьше знать, — примирительно заметил Семен. — Спокойнее спать будешь. Я вот, как вспомню когда, ночь не сплю, думаю. Тогда столько не думал, а теперь на размышление потянуло.

— Значит, стареем, — сказал Агеев. — Размышления, как и сомнения, — удел стариков.

— А я не старик! Знаешь, я себя чувствую все тем же, как в двадцать шесть лет. Хотя вот уже скоро семьдесят. Но семьдесят вроде не мне. Какому-то старику Семенову. А я Семен. И все такой же, как был в войну.

— Это так кажется только.

— Конечно, кажется. Но вот так себя чувствую. Со стороны оно иначе видится...

— Со стороны все иначе.

Агеев время от времени поглядывал на сына и видел, как постепенно менялось выражение глаз Аркадия — от холодноватой настороженности к медленному робкому потеплению. Кажется, что-то он стал понимать. И отец думал, что великое это дело — человеческая открытость, правдивая исповедь без тени расчета, желания подать себя лучше, чем ты есть в действительности. Качество, встречавшееся теперь все реже. Он не раз замечал, как в компаниях молодых, да и постарше каждый выскакивал со своим «А я...», заботясь лишь об одном — произвести впечатление. Неважно чем: вещами или поступками, высоким мне-

нием о нем окружающих, особенно начальства... Семен ни на что не рассчитывал — представал без претензий в своей оголенной человеческой сущности. Агеев давно почувствовал это в нем и оценил больше, чем если бы он похвалялся честностью, сметливостью, умом или заслугами. Семен не числил за собой ни особого ума, ни каких-либо заслуг и тем был привлекательнее многих умных и вполне заслуженных.

— Выпьете еще? — совсем дружеским тоном спросил гостя Аркадий.

— А не откажусь, — легко согласился Семен. — Заговорил я вас, аж сам разволновался.

Аркадий щедро налил ему полный до краев стаканчик, себе наливать не стал, и Агеев, вдруг повинуясь неясному порыву, протянул руку.

— Плесни-ка и мне тоже.

Сын округлил глаза, но плеснул — чуть, на донышко, и Агеев обернулся к Семену.

— Давай, брат! За наши давние муки.

— Ага. Я, знаете, извиняюсь — ниогда на меня находит.

— Ну и хорошо, что находит, — почти растроганно сказал Агеев.

— Нет, почему же, интересно. Так что спасибо, — вполне дружелюбно заключил Аркадий.

— Это что! Вот я как-нибудь не такое еще расскажу. Поинтереснее будет. Как мне Героя едва не дали.

— Что ж, будем рады, — сказал Агеев, держа в руке стаканчик.

Он выпил и, почти не закусывая, сидел, прислушиваясь к себе, чувствуя быстрое с непривычки опьянение. Он опасался за сердце, но то ли от проглоченной таблетки кордарона, то ли от выпитого коньяка сердце работало ровно, хотя и с нагрузкой, но пока не сбиваясь с ритма. И то слава богу.

В бутылке уже ничего не осталось, и она лежала на траве под столом. Семен, как-то незаметно сникнув после своего длинного рассказа, посидел немного и поднялся. Простился он коротко, словно торопился куда, и, не оглянувшись, пошагал вдоль ограды к дороге. Солнце клонилось к закату, в упор ярко высветив плотную стену кладбищенских тополей, верхнюю часть каменной ограды с проломом в углу; косогор же с палаткой и карьером лежал весь в тени; с полей потянуло прохладой, и Аркадий легко поднялся со своего ветхого складного стульчика.

— Ну, будем устраиваться, батя. Ты ночуешь в палатке? Я, пожалуй, лягу в машине.

— А не коротко будет?

— Все приспособлено, раздвигается, не в первый раз.

Он принялся хлопотать в машине, раздвигая сиденья, долго накачивал красный, под цвет «Жигулям», надувной матрац. Агеев сидел за столом, думал. Состояние его, к счастью, не ухудшилось, сердце без заметных перебоев стучало в груди, хмель скоро прошел, и он думал, что ему принесет завтра. Он

намеревался просить сына остаться дня на два, чтобы помочь перелопатить обрушенную ливнем глыбу и немного под ней. Если там ничего не обнаружится, то можно на том и закончить его затянувшийся поиск.

Прошло три, пять и семь дней, а Барановская не возвращалась, и Агеев не знал, что думать, когда ее ждать. Расспрашивать о ней соседей не имело смысла, он не знал даже толком, куда она отправилась. Он по-прежнему ночевал в сарайчике; ночи еще были теплыми, на свежем воздухе под кожушком спалось, в общем, неплохо. Нога его, кажется, пошла на поправку, опухоль спала, он раза два перевязал рану, экономно комбинируя старую повязку с чистой тряпицей, но ходил, все прихрамывая, опираясь на палку. Впрочем, ходил немного, со двора никуда не отлучался, даже на ближайшие улицы, только выглядывал иногда из калитки в оба конца своей коротенькой, на десяток домов, Зеленой, одним концом упиравшейся в овражные заросли. Там был тупик, в овраг от него сбегала тропинка. Питался он скудно, растягивая то, что оставила ему хозяйка, иногда варил картошку, к которой приносил с грядок желтые переспелые огурцы. Очень пригодились Маринины гостинцы — масло, сало, варенье. Хуже всего было с хлебом — хлеб у него кончался, и очень хотелось именно хлеба, без которого не лезло в рот ничто другое. Но идти к незнакомым Козловичевым он не решался и растягивал горбушку, как только можно было ее растянуть, пока однажды не съел последний кусок.

Как-то глухой ветреной ночью он вдруг проснулся от выстрелов, явственно прозвучавших в тиши где-то неподалеку, может, на окраине местечка или в ближайшем поле. Выстрелов было немного, около десятка, и все из винтовок — это он определил точно. Кто мог стрелять, конечно, оставалось загадкой: может, кто из леса, а скорее всего, полицаи. Выстрелы эти взбудоражили его душу, в ту ночь он больше не уснул до рассвета. Он все ждал, не повторится ли стрельба в другом месте, но до утра выстрелов больше не было. И он думал: как было бы хорошо скорее поправиться, начать нормально ходить и убраться из этого местечка. Туда, где вокруг свои, глядеть в нормальные человеческие лица, не ожидая подвоха от первого встречного, не опасаясь за каждый час своей жизни. А риск? Риск, конечно, оставался всюду, ведь шла война и погибали люди. Но одно дело рисковать вместе со всеми, на глазах у своих, и совсем другое — подвергаться опасности среди недругов, каждодневно и ежечасно, совершенно не представляя, где тебя настигнет самое худшее. Нет, только бы зажила рана, и его здесь больше не увидят. Это все не по нему, он военный командир, его дело бороться с врагом в открытую, с оружием в руках.

Встав утром рано, он обошел двор, хлева, с глухой стороны по крапиве добрался до обросшего малинником угла сарайчика,

где он накануне припрятал свой пистолет. Пистолет спокойно лежал себе на прежнем месте, под камнем, который он откатил от фундамента. Развернув тряпицу, Агеев стер ладонью слабый налет ржавчины на затворе — пусть лежит, авось понадобится. Устроив пистолет в ямке, снова придавил его камнем. Место, в общем, было надежное, и это его успокоило. Во дворе он стал думать, из чего состряпать сегодня завтрак — сварить картошки или ограничиться яблоками-малиновками, которые он обнаружил на дальней, возле забора яблоне. Кот Гультай уже перестал дичиться его и ходил следом, изредка требовательно мяукая, он тоже был голоден и просил есть. Но для кота у него решительно ничего не было.

— Ладно, Гультай. Иди лови мышей...

Кот внимательно вгляделся в него коричневыми, с косым разрезом глазами и настойчиво протянул свое «мя-у-у-у».

Агеев хотел пойти на кухню, как вдруг увидел на улице телегу с лошадью, которая тихо подъехала к дому по немощеной, поросшей муравой улице, и какой-то дядька в коричневой поддевке натянул вожжи.

— Барановская здесь живет? — спросил он, не слезая с телеги.

— Здесь, — сказал Агеев.

Он подумал, что дядька от хозяйки, что, может, он что-либо сообщит о ней. Но тот, ни слова не говоря, закинул вожжи на столб палисадника и выволок из телеги большой, чем-то набитый мешок. Агеев, стоя у выезда со двора, удивился.

— Что это?

— Куда тут вам? — вместо ответа спросил дядька, волоча перед собой мешок. Только во дворе, оглянувшись, шепнул: — От Волкова я.

Агеев торопливо распахнул дверь в кухню, и дядька бросил мешок на пол.

— Ух!

— Что это?

— А это работа вам. По ремонту. Сказали, которые уже нельзя починить, на матерьял.

Агеев развязал веревочную завязку — мешок был полон различной обуви, но все больше армейской: поношенные кирзовые сапоги, ботинки, среди которых торчали коваными каблуками несколько немецких. Вот это подвалило работенки, подумал Агеев. Как бы с ней не засыпаться.

— А потом что? — спросил он дядьку.

Тот пожал плечами:

— А этого не знаю. Сказали свезти, я и свез.

Он немного отдышался, попросил водички, попил и уехал, оставив Агеева в недоумении — что делать? Как ремонтировать эту обувь на виду у всей улицы, по которой шляются полицаи, наскакивают немцы. Разве что перейти в дом? Или в сарайчик? Для кого эта обувь, он уже мог догадаться, но с таким же успехом, наверное, о том могли догадаться и немцы. Вот положень-

ице, черт бы его побрал! Торопясь, он затащил мешок в сарайчик, затолкал под топчан — пусть полежит, пока он что-либо придумает. А сам отправился снова на кухню — хотелось чего-нибудь съесть, прежде чем взяться за дело.

Под неотрывным взглядом Гультая, который уселся на полу напротив, Агеев ел на кухне вчерашнюю картошку и думал, что, наверное, все-таки надо сходить к Козловичевым попросить хлеба, потому что без хлеба не жизнь. Особенно если задержится Барановская, он действительно протянет ноги. И еще он думал, что как-то надо повидать Кислякова, чтобы предупредить о своих бедах Волкова. Все эти дни он ждал, что кто-нибудь наведается из леса, но вот приехал этот дядька с обувью — не станешь же ему говорить о кознях полиции и его подписке. Правда, всю неделю не давал о себе знать и Дрозденко, словно забыл о нем или, скорее всего, пока не имел в нем надобности. А как заимеет эту свою надобность, что тогда делать?

Только он подумал так, доедая из чугунка картошку, как в кухонную дверь тихонько постучали, и он удивился — никто вроде не появлялся ни во дворе, ни перед кухонным окном, откуда кто взялся? Он уже хотел было отворить дверь, как та сама отворилась и на пороге появился смущенно улыбавшийся мужчина уже не первой молодости, видно, довольно помятый жизнью, но при галстуке и в темной шляпе на голове. Все заискивающе улыбаясь, поздоровался и снял шляпу, обнажив широкую, до самого затылка лысину.

— Я не помешал, можно к вам, пан... пан Барановский? — негромко, медовым голосом заговорил он, слегка кланяясь.

Агеев с удивлением смотрел на него, мало что понимая, потом кивнул на стоявший перед ним стул:

— Садитесь, пожалуйста!

— Дякую, пан...пан Барановский. Я, знаете, не слишком побеспокою вас, по одному небольшому делу, но дело, знаете, подождет, потому что... Потому... Вот, похоже, собирается дождик, как-то ветер вроде повернул с запада...

— Да, ветер западный, — сказал Агеев и замолчал, едва скрывая свою сразу появившуюся неприязнь к этому пану. «Что еще за пан? — подумал он. — Поляк? Белорус? Русский?»

Пришедший устроился поудобнее на шатком скрипучем стуле, закинул ногу за ногу. Его маленькие глазки подозрительно ощупывали Агеева, бескровные тонкие губы кривились в подобострастной улыбке.

— Завтракаете, значит? Скудный завтрак старика, как писал поэт. Хотя вы не старик, конечно. А завтрак скуден... Это непреложный факт. — Он сокрушенно вздохнул, посмотрел в потолок. — Да, трудные времена, пане. Трудные, но обнадеживающие. Что делать? — развел он руками и снова уставился в Агеева заискивающим взглядом.

Агеев, слушая его, не мог понять, что ему надобно и как реагировать на его сетования.

— Вы, наверно, насчет обуви? — спросил он сухо.

Гость замахал рукой:

— Нет, нет. Я не насчет обуви. Обувь, слава богу, мне не нужна. Обойдусь. Да и куда ходить? Некуда сейчас ходить, — объявил он и спросил: — Пан не здешний?

Агеев замялся. Опять он не знал, как отвечать этому захожему, который неизвестно откуда — из этого местечка или приезжий. Приезжему можно было соврать. А если он местный?

— Как вам сказать? — неопределенно начал Агеев. — С одной стороны — здешний, а с другой — нет.

— Да, конечно, понятно. Если, скажем, родились тут, а жили в другом месте. Как я, скажем. Родом из Слуцка, а жил... Где только не жил.

— И теперь что ж, вернулись? — спросил Агеев.

— Теперь, знаете, вернулся. Родина все-таки, она тянет. Как... как первая любовь. А вот отец Кирилл не вернулся.

— Не вернулся, — подтвердил Агеев и внимательно посмотрел в маленькие глазки гостя, стараясь понять, сказал он это случайно или с определенным умыслом. Однако он ничего не увидел в этих глазах.

— Достойный, скажу вам, был служитель господен. Такими человеческий род богатеет.

Они на секунду встретились взглядами, и Агеев наконец понял: «Все знает! Знает, что я не сын, а самозванец. Черт возьми эту его таинственную осведомленность, что ему еще надо?»

— Вот времена! Страшные времена! Стон и страдания на родной земле. Сокрушаюсь, безмерно сокрушаюсь...

— Что ж сокрушаться! — не утерпел Агеев, подумав, что это обычный вздыхатель, наверное, пришел поболтать, может, найти утешение в словоизлиянии. Но чем его можно было утешить? Сказать про Ельню? Но сначала он решил кое-что выяснить: — А до войны чем занимались? Работали кем?

— Э, какое это имеет значение! Работал на разных работах. Но всегда скорбел о погибающей родине. Как и всякий белорусин за пределами. Наблюдал издали и скорбел.

Кажется, Агеев что-то стал понимать.

— Значит, приехали? После долгого отсутствия?

— Совершенно верно: приехал! Зов отечества в трудный для него час, знаете, грех игнорировать. Народ не простит. Особенно такой народ, как белорусский. Ведь белорусы — божеской души люди.

— Ну... Всякие есть, — мягко возразил Агеев.

— Нет, не говорите! Хорошие люди, простодушные, открытые. Оно и понятно — дети природы! Ведь вот она, наша природа? Где вы найдете такие пущи, такие боровики? В Европе все не такое. А тут... Помню, в начале лета... только еще пробудившаяся от зимнего сна природа!.. Такая благодать в каждом листочке — сердце поет. Ангельские гимны в душе! А вокруг реки, полные рыбы, леса, полные дичи. Нет, в Европе давно не то. Окультурено и обезличено. Я бы рискнул сказать: обездушено! А у нас... Вот я на чужбине за столько лет

соскучился, знаете... По простой вещи соскучился, просто истосковался. Сказать, не поверите...

— Можно представить...

— Вы даже и представить не можете. А мне палисадничек по ночам снился. Вот эти георгины. Да что георгины — крапива у забора снилась, и в ней куры квохчут. Бывало, проснусь и слезами обливаюсь. Что значит родина!

Агеев молчал. Ему становилось жаль этого человека, видно, немало потосковавшего на чужбине, если даже воспоминание о крапиве у забора оборачивалось для него слезами.

— Нет, дорогой пан, вы, видно, не можете этого понять. Надобно поскитаться, пожить вне и перечувствовать, что все это значит. Батьковщина! Достойная у нас батьковщина, шановный пан!

— Кто возражает, — сказал Агеев, поддаваясь, казалось, искреннему переживанию этого человека, который между тем продолжал с увлечением:

— А наша история! Теперь, конечно... Но в прошлом, если помните, она знала и блистательные времена. Даже величие. Правда, под чужими флагами, зато от моря до моря. На ее гербе была погоня! Заметьте: не бегство, не спасение, а погоня! Вслед за врагом — с поднятым мечом!

Величие Белоруссии от моря до моря, герб с какой-то погоней... В школе этому не учили, об этом Агеев нигде не читал и теперь с удивлением и интересом слушал восторженную речь, видно, немало знающего гостя.

— В истории я не очень силен, — сказал Агеев, — а насчет природы согласен. Природа в Белоруссии замечательная. Скажем, озера...

— О, это божественная сказка! Ангельская сюита! — загорелись потухшие было глаза гостя. — Это чудо в зеркале бытия!..

— И леса. Леса у нас...

— Диво, чудное диво! В мире такого нет, поверьте мне! — почти в экстазе гость ударил себя в плоскую грудь.

— В детстве я очень любил бродить... Ну, когда пасли скот...

— В ночном! — подхватил гость. — Костер, лошади, рыба в озере плещется, соловей поет...

— Простите, не знаю вашей фамилии, — потеплевшим голосом спросил Агеев, и незнакомец встрепенулся в искреннем изумлении.

— Ах, я и не представился? Вот какая рассеянность! Тоже, кстати, специфическая черта скромных белорусинов. Задумался, разволновался и забыл. Ковешко моя фамилия. Простите, вы хотели что-то сказать? — учтиво напомнил он, и Агеев замялся: он уже ничего не хотел сказать. И все же сказал:

— Да нет, я так. Подумал, что вот вернулись вы, да не в добрый час.

— Правда ваша! — искренне согласился Ковешко. — Но что делать? Приходится жертвовать. Для батьковщины и в трудный

час чем не пожертвуешь! Правда, и пожертвовать непросто — обстоятельства иногда сильнее нас.

— А вы... где сейчас работаете? Или пока без дела? — осторожно спросил Агеев.

— Ну как же без дела! — удивился Ковешко. — Надо как-то зарабатывать на кусок хлеба. Конечно, в поте лица своего. Даром кормить не станут. Я в управе подрабатываю. Скромно, знаете...

Упоминание об управе снова насторожило Агеева, который уже внутренне расслабился и был склонен думать, что имеет дело с несчастным человеком, по своей вине или безвинно заплутавшим на дорогах жизни. Гость с сокрушенным видом вздохнул:

— У вас, вижу, другая судьба. Не скажу — легче, но проще. Это несомненно. Хотя вы моложе, и этот факт нельзя не учитывать. Молодые все склонны упрощать. Как в силу недостаточного опыта, так и в силу незнания, — рассуждал Ковешко, несколько странно вздернув худой подбородок, вроде оглядывая темный потолок кухни. — А вы, простите, до войны работали, учились?

— Да, учился, — неуверенно сказал Агеев.

— По какой специальности, если не секрет?

— Да я по железнодорожному транспорту, — выпалил Агеев, вспомнив довоенную судьбу Олега Барановского.

— Вот как! Как молодой Барановский, — сказал Ковешко, и Агеев в тревоге взглянул на него. Но вроде тревожиться пока не было надобности — Ковешко как ни в чем не бывало озирал потолок и стены, однако сторожко прислушиваясь к собеседнику.

— Да, так.

— Ну что ж, это хорошо, это вам когда-нибудь пригодится. Не теперь, так после.

— Будем надеяться, — сказал Агеев.

— Будем! — решительно повторил Ковешко и пристально посмотрел в глаза Агееву.

— Я тоже так думаю. Чтоб человеком остаться...

Что-то, однако, все же удерживало Агеева от последней открытости в этом разговоре, может, не совсем ясный для него смысл некоторых высказываний Ковешко, неожиданные повороты его непривычных мыслей. Или, может, то сосредоточенное внимание, с которым он, весь замерев, ждал его ответов на свои прямые вопросы. И все-таки Ковешко, кажется, ничего плохого ему не сказал, пока что ничего не потребовал и не попросил даже. Агеев уже готов был пожалеть, что не обошелся с ним мягче и, может, откровеннее.

— Вот поговорил с хорошим человеком, и на душе легче стало, — вдруг нездоровое лицо гостя растаяло в доброй улыбке. — Отнял время, вы уж извините.

— Ну, недолгое время, — улыбнулся и Агеев, ожидая, что Ковешко вот-вот поднимется из-за стола.

Похоже, тот и в самом деле стал подниматься, скрипнул стулом, ио вдруг, согнав с лица улыбку, сказал:

— Я, знаете, еще по одному вопросу... Вы же Непонятливый будете, так мне сказали?

— Кто сказал?

Агеев в замешательстве встал и снова опустился за стол, не сводя глаз с этого так предательски ошеломившего его человека. Тот, однако, горестно вздохнул и сокрушенио развел руками:

— Да вот приходится! Уж вы ие удивляйтесь...

Но Агеев уже ие удивлялся, он уже понял, с кем имеет дело, ему все вараз стало поиятно. И он молчал, стараясь теперь угадать, чего в действительности хочет от него Ковешко.

— Тут такое дело. Должен появиться один мужик из Березянки... Деревня такая в шести километрах. Будет спрашивать Барановскую, попадью, то есть вашу хозяйку. Так чтоб его задержать.

— Как задержать?

— Задержит полиция. Ваше дело — просигиалить... Что делать!.. Неприятно все это, я понимаю. Но необходимо. Массы, они, знаете, развращены большевиками...

— Значит, просигналить?

— Просигналить, да. А то иногда уходят не пойманными. Вот тут иа диях бандит появился и ушел. Всех, знаете, кто его принимал, немцы того... Ликвидировали.

— Что ж, спасибо за подсказку, — подумав, сказал Агеев.

С совершенно изменившимся лицом, без тени недавнего восторга и подобострастия, Ковешко поднялся со стула, застегнул свой мятый, поношенный пиджачишко, взял такую же помятую шляпу.

— Так, значит, я буду наведываться. Я очень вас не стесню. Только по делу. А пока довидзення.

— Всего хорошего, — сказал Агеев, горя негодованием в душе и желая как можно скорее отделаться от этого пана. Давая Дрозденко подписку за этим столом, ои думал: иу зачем он мог им понадобиться? А вот, оказывается, нашли и ему работу. Мужик из Березянки...

Он молча выпроводил Ковешко, который, на прощание приподняв иад лысой головой шляпу, сдержанно поклонился и мелкими шажками ушел на улицу. Агеев остался во дворе, стоял и думал. Было уже ясно, что промедление в его положении граничило с преступлением, так они втянут его в такое, что вовек не отмоешься. Надо было иемедленно связываться с Волковым, предупредить обо всем. А там пусть решают. Может, оставаться ему тут уже невозможно, иадо искать другое пристанище. Но где он найдет сейчас Волкова, когда дождется его? Правда, в местечке был Кисляков, который, однако, больше недели сюда не показывался. Может, не было дела, а может... Но ведь он же сказал: в крайнем случае можно зайти. И дал адрес. Советская... Где она, эта Советская? Была бы дома Барановская, послал бы ее. А так придется самому. Средь бела дня? Или до-

ждаться ночи? Но ночью комендантский час, по улицам бродят патрули, схватят, чем тогда оправдываться перед Дрозденко — куда ходил?

Положение его подлейшим образом усложнялось, затягивалось в тугой узел. Кто бы подумал? А он шел сюда с единственной целью — отлежаться, залечить рану и снова рвануть на восток, вдогонку за фронтом. И вот рванул, называется. Так впутался в эти местечковые дела, что неизвестно как выпутаться. Чем такое может окончиться, он легко представлял себе. Но ведь он еще хотел жить и поквитаться с фашизмом, который принес ему столько страданий. Да и ему ли одному...

Было около полудня, когда Агеев окончательно решился идти повидать Кислякова. Он накинул на себя телогрейку, взял ореховую палку, старательно прикрыл входную дверь в кухню. Наверное, надо было закрыть ее на замок, но замка поблизости нигде не нашел, подумал: авось скоро вернется. Впервые он собирался из усадьбы в местечко, но где искать Советскую, не имел представления. Правда, ее название указывало в сторону центра, расположение которого он приблизительно знал, и, опираясь на палку, пошел в конец улицы.

Скоро Зеленая его кончилась, примкнув к другой, более наезженной улице с неким подобием тротуаров с обеих сторон. Дома всюду были неказистые, сельского типа — обычные деревенские хаты, некоторые со ставнями на окнах, полными цветов палисадниками и свисавшими через заборы ветвями деревьев. Многие ставни теперь были закрыты, калитки же, наоборот, распахнуты; во дворах всюду виднелись следы недавнего разгрома: выброшенная из домов рухлядь, тряпье, обрывки бумаг. Один двор за низким штакетником был густо усыпан пухом из перин и подушек, ворохи которого ветер сгонял под завалины, в канаву, усыпал им траву у ограды. Стекла двух окон с улицы были выбиты. Агеев заглянул в одно, в тусклую полутьму хаты с ободранными обоями, черной дырой лаза в погреб, и на него печально дохнуло человеческой трагедией, недавно тут разыгравшейся. А сколько таких трагедий произошло в местечке!..

Стараясь меньше прихрамывать, он дошел до конца этой улицы и остановился на углу возле высокого дома с заросшим сиренью палисадником. Оглядевшись, заметил в зарослях белоголового, лет десяти мальчонку и спросил, в какую сторону будет Советская. Мальчонка ткнул локтем направо и, когда он уже ступил с тротуара, чтобы перейти улицу, крикнул вдогонку:

— А вам кого надо?

Агеев остановился, подумав, что у мальчонки, пожалуй, можно спросить и вернулся к палисаднику.

— Мне Кислякова. Не знаешь?

— А вон! — мальчонка переложил из правой руки в левую

ножик, которым строгал палочку, и показал через ограду: — Вон, где крыша с кривой трубой. Там Кисляковы.

Заметив недалекий дом по ту сторону улицы, Агеев торопливым шагом пересек пыльную мостовую и скоро вошел в просторный, ничем не огороженный двор с молодой березкой у входа. Двор был пуст и зарастал травой. На ветхой двери при ветхих сенях косо торчал ржавый замок; из дома, однако, слышались веселые голоса, и он приблизился к низкому, без занавесок окошку. Тотчас изнутри появилось замурзанное детское личико, за ним второе и третье, дети с любопытством уставились на него, будто ожидая чего-то, и Агеев сказал:

— А где старший брат?

— Нету, — ответил, гримасничая, мурзатый мальчишка.

— Нету, нету, — повторили за ним остальные двое.

— Вот так дела! — тихо сказал Агеев, и ребятишки, словно передразнивая, повторили за окном разными голосами:

— Вот дела!

— Вот дела!

— Вот дела!

— Ах вы, дразнилки! — сказал он беззлобно, не зная, однако, как быть, где искать Кислякова. Или прийти сюда во второй раз, к вечеру? — Скажите брату, что приходил хромой дядя. Хотел его видеть, — сказал он через окно этой ветхой хатенки, и детвора хором ответила:

— Хорошо! Скажем!

С досадой оглядевшись в пустом дворе, Агеев вышел на улицу и, припадая на больную ногу, пошел на свою Зеленую. Местечко выглядело почти пустынным, словно вымершим, на улице вовсе не видно было проезжих, редкие прохожие, наверное, из ближних домов появлялись и тотчас исчезали в калитках. Остерегаясь с кем-либо встречаться, особенно с полицией, он, однако, благополучно добрался до своей хаты с беседкой у входа и облегченно расслабился. Все-таки дом! Какое-никакое прибежище, укрытие от недоброго взгляда. Правда, плохо оно укрывало, это укрытие, покоя тут не было, его сразу раскрыла полиция, хорошо еще, что не обрезала всех его связей. Но что делать? Без этого заросшего зеленью подворья ему и вовсе было бы плохо, где бы он прожил эту пару недель со своей никудышной ногой, с осколком в глубине раны?

Во дворе он почувствовал себя в относительной безопасности и, чтобы избежать ненужных теперь клиентов, приволок от хлева длинную жердь, загородил ею вход с улицы. Сегодня он никого не примет, у него другая работа. Прихватив из беседки ящик с инструментами, пошел в сарайчик. Надо было браться за привезенную из леса обувь. Он вытащил из мешка две пары кирзовых сапог с оторванными подошвами и, поудобнее устроившись возле топчана, стал подбивать их на лапе.

Негромко стуча молотком по резиновой подошве, он все время был настороже, слушал, ждал, не появится ли кто во дворе. Конечно, ему очень нужен был Кисляков, но могла наскочить и

полиция, этот Ковешко или, хуже того, сам Дрозденко. Тогда надо бы все быстро прятать, притворно застегивая брючный ремень, выходить из хлева. Он работал, не разгибаясь, часов пять подряд. Днем в сарайчике было светло и покойно, но к вечеру стало темнеть, особенно в такой пасмурный день; он успел подбить лишь три пары сапог и принялся зашивать длинный — осколочный или штыковой — разрез поперек голенища, но не успел. Стало совсем темно, и он, затолкав в мешок сапоги, вышел во двор. Здесь все было по-прежнему. Дверь в кухню оставалась тщательно прикрытой с утра, значит, Барановская не появилась и сегодня. Когда же она, в конце концов, вернется, с досадой думал Агеев. И вернется ли вообще? Может, ему следовало что-нибудь предпринять? Может, заявить в полицию? Или напротив — всячески скрывать факт ее исчезновения от полиции? Как лучше поступить, чтобы не повредить себе, своей исчезнувшей хозяйке? Тем, кто к ней приходил?

Тихий шум веток в саду прервал его размышления, и, оглянувшись, он увидел в сумерках под вишнями знакомый силуэт подростка. Обрадовавшись, Агеев бросился навстречу и едва не вскрикнул от боли в ноге. Все-таки с его ногой следовало обращаться осторожнее.

— Пришел? Ну иди сюда, — тихо позвал он, сворачивая к хлеву.

— Я на минутку, — сказал Кисляков. — Что случилось?

— Пойдем, все расскажу.

Он пропустил Кислякова вперед и, еще оглядевшись по сторонам, прикрыл дверь хлева. Держась за верхние жерди перегородки, они добрались до низенькой двери сарайчика.

— Садись вот сюда. А я тут... Передали, значит, ребята?

— Передали. А я на станции был. Вчера же пакгауз сгорел. Ну, надо было кое-что уточнить. Так что случилось?

Чувствовалось по голосу, как Кисляков насторожился в ожидании его объяснений, и Агеев, не решаясь сразу приступить к главному, сообщил:

— Какой-то дядька мешок обуви привез. Ремонтировать. Сказал: от Волкова.

— Да, был такой разговор, — не сразу ответил Кисляков. — Уже что-нибудь готово?

— Три пары только. Больше не успел. Все-таки приходится остерегаться...

— Конечно. За военное имущество у них расстрел. Вот и в приказе написано, — тихо говорил Кисляков. — Хотя у них за всякую мелочь расстрел. Вчера на мосту повесили трех мужиков за мародерство. С разбитой машины скаты сняли. Хотя бы с немецкой, а то с советской. Вообще нужны они им были, эти скаты!..

— Ну, немцы все рассматривают как свое. Как военную добычу. По праву завоевателей, — сказал Агеев. — Слушай, а кто такой Ковешко, не знаешь?

— Работает какой-то тип в районной управе. С бумажками бегает.

— Не только с бумажками... Он что, местный?

— Да нет. Вроде до войны тут его не было. А что вы о нем спрашиваете?

— Приходил, — обронил Агеев и замолчал. Следовало, наверное, сказать о главном, и он не сразу собрался с духом. Но Кисляков уже почувствовал что-то и выжидательно притих в темноте. — Понимаешь, почему я прибегал к тебе? Тут что-то замышляется, — сказал Агеев. — Начальник полиции заставил меня дать подписку...

Кисляков встрепенулся, Агеев почувствовал это даже в темноте.

— Какую подписку?

— Подписку на сотрудничество. И этот Ковешко уже приходил с заданием — задержать кого-то из Березянки, кто придет спрашивать о Барановской. А Барановская моя неделю назад как уехала, так до сих пор нет. Не знаю, что и думать.

Кажется, он сказал за раз слишком много и умолк, ожидая, что скажет гость. Но Кисляков сопел в темноте, видно, думал, и Агеев подсказал:

— Мне кажется, надо доложить Волкову.

— Конечно, доложить, — скупо согласился Кисляков.

— И решить, как мне быть.

— Это конечно.

— Вообще я уже могу немного ходить и мог бы перебраться в другое место. Может, куда-нибудь в лес. Потому что... Потому что здесь...

— Я передам, — холодно перебил его Кисляков и поднялся. — Давайте, что отремонтировано, я заберу.

— Три пары сапог.

— Давайте.

Агеев пошарил в темноте под топчаном, вытащил связанные попарно сапоги. Кисляков забросил их за плечо.

— Так мне что, ждать? — спросил на прощание Агеев.

— Ну. Я свяжусь, передам.

В темноте на ощупь он проводил Кислякова через хлев, и тот, бросив на прощание «пока!», пошел тем же путем — тропкой вдоль огорода к оврагу, пока не скрылся в сгустившихся сумерках. Агеев постоял еще во дворе, повслушивался в тишину вечера. Все-таки дождь так и не собрался за день, но к ночи заметно похолодало, он содрогнулся от ветреной свежести и пошел в свой сарайчик.

Долгожданный разговор с Кисляковым его не успокоил и ничего не прояснил, опять надо было ждать, и сколько, кто скажет? За время этого ожидания могло произойти разное и, вполне вероятно, скверное. А самое скверное было в том, как Кисляков насторожился при его сообщении, будто переменился в разговоре и далее держался сухо, вроде недоверчиво даже. Впрочем, оно и понятно. Наверно, и сам Агеев в таком положе-

ни не слишком доверился бы человеку, давшему полиции подписку о сотрудничестве. Но ведь он не собирался сотрудничать и без утайки рассказал об этом. Правда, можно было подумать, что он признался по заданию полиции — чтобы своей мнимой откровенностью вызвать абсолютное к себе доверие. Поэтому не так просто поверить такому человеку. Наверно, подозрение тут естественно и правомерно, думал он, оправдывая то себя, то Кислякова. Но на душе от того не становилось легче.

Ту ночь он спал совсем плохо — часто просыпаясь под кожушком, вслушивался в непогожий шум ветра за щелястыми стенами. Ему все чудились осторожные, крадущиеся шаги и непонятные шорохи в этом шуме, и он думал: пришли от Волкова или вернулась хозяйка. Но его никто не тревожил, и, полежав, он засыпал снова. Утром, встав на рассвете, первым делом попробовал входную дверь в кухню — та легко отворилась, значит, хозяйка не появилась. Поеживаясь от утренней прохлады, он запахнул свою телогрейку и, взяв дырявое ведро, пошел на огород накопать картошки.

Картошка у Барановской была хороша. Вся крупная, размером с кулак, она бы показалась объедением, если бы к ней был хлеб. Но хлеб у него кончился, он обходился без хлеба. Накопав полведра, подумал, что вроде хватит. Картошку тоже надо было экономить, ее у Барановской осталось всего сотки три на огороде. Съест всю, чем хозяйка будет кормиться зимой? Если только настанет для нее эта зима...

Оставив лопату в борозде, с ведром в руке он выбрался на тропинку и вдруг краем глаза заметил, как шевельнулась кухонная дверь, захлопнулась у него на глазах. Радостно подумав, что это хозяйка, Агеев скорым шагом, хромая, подошел к двери и, поставив ведро, вошел на кухню.

На скамье у порога возле окна, кутаясь в знакомый вязаный жакет, сидела Мария. Она не обернулась, когда он вошел, пригорюнясь, глядела в одну точку на полу, и он молча остановился сбоку, не зная, как начать разговор.

— Что-нибудь случилось? — наконец спросил он, не скрывая тревоги.

— Нет-нет! Я к тетке, — сказала Мария, пряча, однако, глаза, и он понял: случилось недоброе.

— Тетки нет...

Девушка вскинула заплаканные глаза.

— А где... Она?

— Понимаешь, нет. Где-то пропала, — признался Агеев. — Один живу.

Мария уронила лицо в ладони и беззвучно заплакала.

— Так что случилось? — озадаченно спрашивал Агеев. — Что-нибудь скверное?

Скоро, однако, совладав с собой, Мария кончиками пальцев вытерла слезы, но продолжала молчать, и он в ожидании тихо присел напротив. Все-таки он хотел знать, что случилось.

— Понимаете... Понимаете, я думала, дома тетка Барановская, я немного знаю ее. В прошлом году познакомилась, — вздыхая и медленно успокаиваясь, сказала Мария.

— Так-так. Ну а дальше?

— А дальше?.. Что дальше? Жить мне у сестры невозможно. Не могу я... Понимаете? Я туда не вернусь.

«Вот так дела! — подумал Агеев. — Еще чего не хватало! Туда не вернешься, где же ты намерена остаться?»

— Тут, видишь ли, пока я один. Что стряслось с Барановской, просто не знаю. Пошла на три дня и пропала.

— Спрячьте меня в ее хате, — вдруг попросила Мария и почти умоляюще посмотрела на него.

— Спрятать? — кажется, он начал о чем-то догадываться. — Что, немцы? Полиция?

— Полиция, — тихо вымолвила Мария.

Тут следовало подумать. Конечно, ее надо спрятать, если по следу идет полиция, но весь вопрос — где? Если спрятать у него, то не поставит ли он тем самым под угрозу всю их конспирацию? Ведь полиция может пойти по ее следам и выйти на него самого. Да и только ли на него?

— Так. Кто знает, что ты побежала сюда?

— Никто.

— А сестра?

— Вера не знает. Из-за нее все и вышло. Полицай этот, Дрозденко, начал захаживать...

— Дрозденко? Начальник полиции?

— Начальник, да. К ней больше, к сестре. Раза четыре ночевал... А потом ко мне стал приставать, — пригорюнясь, рассказала Мария и замолчала.

— Так-так, — сказал Агеев, поняв уже многое, но, пожалуй, еще не все. Но и от того, что понял, радости ему не прибавилось. — Ну а ты что же? — спросил он нахмурясь.

Мария улыбнулась сквозь слезы:

— Вот сбежала.

Он вскочил со стула, прошел три шага к порогу и обернулся:

— Ну что мне с тобой делать?

— Я к ним не вернусь, — сказала она тихо, но с такой решимостью, что он понял: действительно не вернется. Но как же ей оставаться здесь?

— А что же сестра? — спросил он, заметно раздражаясь и повысив голос.

— А сестра дура, вот что. У нее муж был, хороший человек, учитель, но знаете... Невидный такой из себя. Так она все переживала, как же: сама красавица... И вот нашла видного! Полицая продажного.

Мария затихла на скамье, утираясь платочком, горестно вздохнула и снова мельком, словно бы украдкой взглянула на него. Агеев мысленно выругался.

Однако надо было что-то придумать. Выгонять ее в такой

ситуации у него не хватало решимости, и он думал, куда бы ее спрятать. Хотя бы на время, конечно. А там будет видно — или она перейдет в другое место, или он уберется отсюда. Вообще закутков-закоулков на этой усадьбе было достаточно: хата, кухня, два хлева, сарайчик, амбар и несколько пустых или неизвестно чем занятых пристроек, в которые Агеев еще не заглядывал. Надо что-нибудь поискать.

— Ты посиди, — сказал он, подумав. — Я посмотрю.

Он вышел во двор и огляделся. Наверно, сперва надо было заглянуть в стоявший за хлевом амбар с замком на высокой двери. Но где ключ от него, Агеев, конечно, не знал. Подойдя, он слегка тронул висячий замок, который неожиданно сам по себе раскрылся, повиснув на короткой дужке. Агеев открыл дверь и заглянул в полную спертых запахов темноту амбара. Однако не успел он войти туда, отпрянул в испуге — с улицы во двор шли люди. Впереди, отбросив в сторону жердь, шагал Дрозденко, за ним вплотную поспешали три полицая с винтовками на ремнях.

— Ну, здорово! — сухо поздоровался начальник полиции, и Агеев, подавляя испуг, кажется, не ответил. Решительный, почти злой тон Дрозденко не оставлял сомнения относительно его намерений, Агеев запоздало подумал, что пистолет надо было спрятать где-нибудь под рукой, во дворе. — Как дела?

Широко расставив длинные ноги в высоко подтянутых синих бриджах, начальник полиции остановился перед Агеевым, по своему обыкновению буравил его острыми глазками и тонким лозовым прутиком постегивал по голенищу.

— Да так, — сказал Агеев, напряженно думая: неужели он пойдет в хату? Неужели?..

— Мой приказ получил? — понизив голос, спросил Дрозденко.

— Какой приказ?

— Задержать Калюту!

— Какого Калюту? Я не видел никакого Калюты.

Агеев говорил правду и потому смело глядел в свирепые глаза начальника полиции, который, помедлив, переспросил:

— А ночью не заходил?

— Никто не заходил.

Дрозденко обернулся к молодому крепышу полицаю в немецкой пилотке, выжидающе безразлично наблюдавшему за их разговором.

— Пахом! Когда его стрельнули?

— Да темнело уже, начальник.

— Ну во сколько примерно часов?

— Часов, может, в девять.

— Значит, он только еще шел, — спокойнее сообщил Дрозденко. — Шел к дружкам на связь, да напоролся. Барановской что, еще нет? — вдруг спросил он у Агеева.

Агеев замялся, почти смешавшись от удивления, что этому уже известно об отлучке Барановской.

— Нет, еще не приходила, — ответил он просто, будто Барановская отлучилась куда на огород или по воду.

Дрозденко молча, словно в раздумье, прошел пять шагов по двору, мельком заглянул в окно кухни. У Агеева екнуло сердце — хоть бы не увидел Марию. Но от окна тот спокойно повернул обратно.

— Вот что, начбой! Придет, немедленно сообщи мне! Тотчас же! Понял?

Агеев поморщился. Это задание будто окатило его помоями, и он не сумел скрыть своего к нему отношения, что тут же подметил Дрозденко.

— Что морщишься? Что морщишься? Я же вот не морщусь! А мне не с таким дерьмом приходится возиться! А то чистюля, морщится! Поимей в виду: станешь хитрить — заболтаешься на веревочке! Понял?

Агеев, однако, плохо слушал его, он лишь напряженно следил за каждым движением начальника и очень боялся, как бы тот снова не направился к хате. Но, кажется, пронесло — начальник полиции напоследок хлестнул прутиком по голенищу и пошагал к улице. За ним потянулись полицаи. Агеев молча проводил их до беседки и, когда они скрылись за поворотом улицы, скорым шагом, почти бегом, направился в кухню.

— Мария! Мария! — тихо позвал он, прикрыв кухонную дверь.

Однако Марии на кухне не было, не было ее и в горнице, куда он заглянул с порога. Тогда он отворил дверь в кладовку, из темной тесноты которой послышалось тихое:

— Я тут.

Мария сидела вверху, в темном чердачном лазе над лестницей и мелко тряслась от страха и напряжения. Он шепнул ей:

— Не бойся! Они ушли, — и опустился на пыльный, стоявший у входа ларь. У самого подкашивались ноги — от пережитого, но больше, наверное, от радости, что и на этот раз пронесло...

Погода явно начала портиться. После знойного лета резко повернуло на холод — небо сплошь покрыли тяжелые серые тучи, откуда-то с северо-запада несшиеся над местечком. Задул порывистый студеный ветер, безжалостно рвавший еще зеленую листву с деревьев, сметая ее наземь, в траву, под заборы, на пожухлые обвявшие картофельные огороды. Весь день было холодно и неуютно, в сараях гудело от сквозняков; казалось, вот-вот польет дождь. Занятый ремонтом обуви, Агеев изрядно продрог за несколько часов сидения в сарайчике, встал, надел телогрейку. Еще с утра он позатыкал в стенах широкие щели, мелкие же все остались, и дощатые стены по-прежнему светились как решето. У него не было часов, но время, похоже, перевалило за полдень и захотелось есть. Все утро, сидя за сапогами, он не переставал думать о Марии и временами просто

не мог взять в толк: как ему быть с ней? Хорошо, что девушке удалось провести полицию и убежать от сестры, но если полиция что-либо заподозрит, то и на этой усадьбе не скроешься. Она перевернет все вверх дном и найдет, что ищет. Разве что у полиции были пока дела поважнее, но вдруг Дрозденко заинтересуется Марией и нападет на след? Где ее спрятать? К тому же как быть с пропитанием, чем он прокормит ее, если Барановская задержится надолго? Видно, надо было браться за ремонт обуви для местечковцев, это бы дало какой-нибудь кусок хлеба, но он еще не отремонтировал привезенную из леса, которую, конечно же, там ждали. И он старался, спешил, хотя за полдня починил лишь три сапога — кое-как прикрепил подошвы, прибил каблук, наложил заплатку на прорванную головку кирзачей. Больше он не успел. И без того разламывалась поясница и ныла раненая нога — от бедра до колена. Подумав, что, видно, надо состряпать что-нибудь на обед, он забросил под топчан сапоги, инструменты и пошел на кухню. Картошка у него была накопана, оставалось сварить ее, вот и весь их обед. Правда, еще надо было пошарить в жухлом огуречнике, где среди переспелых, желтых семенников попадались маленькие скрюченные огурчики. Некоторые из них безбожно горчили, но, посолив, он все равно ел их с картошкой. Благо соль пока была, в буфете на кухне стояла двухлитровая банка. Соли должно хватить надолго.

Он осторожно потянул на себя кухонную дверь, но та была заперта изнутри и отворилась только после повторного его рывка. Перед ним у порога, смущенно улыбаясь и слегка приподняв запачканные чем-то руки, стояла Мария. В печи весело горели сухие дрова, на конфорке что-то трещало, источая неотразимо вкусный запах жареного. Глядя на улыбавшееся лицо девушки, Агеев тоже не сдержал улыбки, внутренне подивившись перемене, происшедшей с ней за время его недолгого отсутствия.

— А я думал картошку варить, — сказал он, подходя к плите. Мария тоже метнулась за ним, что-то перевернула на сковородке, что безбожно трещало в жиру и необыкновенно вкусно пахло. — Что это?

— Драники!

Она снова бросила на него насмешливый взгляд, словно ожидая похвалы или порицания.

— Ого! Вот это хозяйка! — похвалил он. — А я горевал, чем буду тебя кормить.

— Прокормимся как-нибудь. — Мария беззаботно махнула рукой. — Картошка есть?

— Картошка-то есть...

— Ну так с голоду не помрем. А там видно будет.

Он осмотрел плиту, на краю которой уже стояла тарелка нажаренных драников и белела поллитровая стеклянная банка, наверно, с каким-то жиром.

— А где жир взяла?

— А у тетки в буфете. Гусиный жир.

— Гусиный?

— Гусиный. Для драников пойдет. Вот попробуйте! — предложила она и, подцепив вилкой верхний подрумяненный драник, подала Агееву. — Ну как?

— Спрашиваешь! Объедение! — сказал он, с жадностью поедая хрустящий, действительно вкусно пахнущий драник. — И где ты научилась такому?

— Ну это просто. В Белоруссии такое в каждой хате умеют.

— Так то в деревне, — сказал он, присаживаясь на стул. — А ты ведь горожанка?

— Горожанка. Но эта горожанка, к вашему сведению, по два-три месяца в году жила самым цыганским образом. В поездках и походах по всей Белоруссии.

— За какой надобностью?

— За песнями.

— То есть? — не понял Агеев.

— Просто. Собирали фольклор. Отец — специалист по фольклору, все лето в экспедициях. И я, как подросла, с ним каждое лето.

— Интересно, — сказал он, размышляя и как бы другими глазами поглядывая на Марию.

— Очень даже интересно, — подтвердила она. — Столько песен наслушалась, столько людей навидалась. А природа!.. С ума сойти можно. А вы откуда родом?

— Россонский район, слыхала?

— А как же! Из Россон когда-то мы привезли собачку. Беспородный щенок, а такая умница! Умнее всех собак, какие у меня были.

— Собаки — это хорошо, — сказал он, думая, однако, о другом. — Нам бы вот собачку. А так придется дверь закрывать на крючок.

Агеев встал, закинул в пробой крючок и в щель возле занавески глянул в окно.

— В случае чего, как тебя прятать будем?

— А я наверх! — сразу согнав улыбку, сказала Мария.

— Наверх — это хорошо. Но там...

— А ничего. Там можно отсидеться. А в случае чего — через слуховое окно по крыше и в огород.

— Да?

Пока она хлопотала у плиты, Агеев открыл дверь в кладовую, заглянул в темный верх, где едва светился квадратный лаз на чердак. По шаткой лестнице он осторожно взобрался туда, вдыхая застоялые, непонятного происхождения чердачные запахи. Чердак был просторный, пустой и полутемный, с широкой кирпичной трубой посередине и слуховым окошком в боковом скате крыши, из которого и проникал сюда скупой свет пасмурного дня. В ближнем конце возле лаза валялась какая-то хозяйственная рухлядь, висел на стропиле облезлый старый кожух и стоял расписанный красными цветами сундук с вы-

драииым замком. Возле окна иа освещенном месте валялось смятое лоскутное одеяло с подушкой, видно, покинутый кем-то временный приют в этом гостеприимном доме. Малеиькое слуховое окошко выходило на середниу ската почериевшей гоитовой крыши, вннзу лежал заросший осотом участок картошки; поодаль чериел покосившийся забор соседской усадьбы. В случае опасиости окно, конечно, явилось бы спасением, ио разве что ночью. В светлое время эта сторона хаты была вся иа виду с улицы.

Агеев спустился иа кухню; запах драиинков мучительно дразиил его обонянне, и теперь ои во второй раз прнятио удивился. На середине стоявшего у стенки стола белела разостлаииая чистая салфетка, иа которой высилась в тарелке целая горка жаром дышавших драников. Рядом ждали едоков две небольшие тарелки с голубымн цветочками на полях, по обе сторониы от которых лежало по вилке. Мария стояла к нему спиной у стены н, вытирая что-то полотеицем, сосредоточенио рассматривала пейзаж в желтой рамке.

— Что, хорошая картиика? — спросил Агеев.

— О, это же «Сиег» Вайсеигофа — мой любимый пейзаж. У нас в Мннске точио такой висел над комодом. Отцу подарнли на день рождения.

Агеев мало что поиимал в живописи, его больше привлекала музыка, он даже учился когда-то играть на гармошке... Но сейчас ои с иеожидаиным для себя иитересом посмотрел на пейзаж. Впрочем, иичего особениого — болото, стога сена, кочки, освещеииые солнцем, ио действительно все такое похожее, словно всамделишное, а ие изображениое на бумаге.

— И репродукция хорошая, — сказала, вглядевшись, Мария. — Когда-то любилн зимние пейзажи... Ну да ладно, давайте к столу. Будем кормиться.

— Ну и иу! — сказал Агеев удивлеино и озадачеино. — Вот это хозяйка! Что только скажет тебе тетка Барановская?

— Ничего не скажет! — легко бросила Мария, тоже присаживаясь к столу напротив. — У меня с теткой Барановской лады. Она славная женщина.

— Попадья! — в шутку сказал Агеев.

— Ну и что ж! — лукавые глаза Марни округлилнсь. — Ну и что ж, что попадья? Попадья по мужу, а так она народная учительница. Кстатн, как н мой папаня.

— А он что, тоже учительствовал?

— Когда-то. Давио. До того, как начал работать в академии.

— Академик, значит!

— Нет, не академнк. Просто научный сотрудиик, — сказала Мария н, вздохнув, заговорила о другом: — Где теперь моя бедная мамочка? Погибла, наверное. Или, может, в Москве?..

— Все может быть, — сказал он. — А отец что, не на фроите?

— Отца уже нет в живых.

— Умер?

— Да. Четыре года назад...

Они замолчали ненадолго. Агеев ел быстро, по-солдатски, больше орудуя вилкой, меньше ножом. Драиики — действнтельно объеденне. Он бы съел и еще столько и ие знал, как быть, когда она положила в его тарелку еще два в качестве добавки.

— Нет-нет! — сказал он. — Я уже.

— Так и уже? Съешьте еще два.

— Ну хорошо. Кстати, будем иа «ты». Идет?

— Ну знаете... Я как-то ие привыкла. А кстатн, как ваше имя? Еслн не военная тайна?

Агеев тщательно дожевывал драник, соображая, как все-такн назваться Марин. Наверное, надо было ей что-то объясиить, но не сейчас же объяснять, и он, подумав, сказал:

— Олег.

— Олег? Хорошее имя. К хазарам собрался наш вещий Олег, — продекламировала она и улыбнулась, зардевшись полненькнми, с ямочками щеками.

От него не скрылось это ее смущенне, н он вдруг неожндаино для самого себя спросил:

— А сколько тебе лет, Мария?

— О, миого! — махнула оиа рукой и вспорхиула от стола. — Уже двадцать один. Старуха!

— Да, — сказал он. — Девчонка! На шесть лет моложе меня.

— Правда? Это вы такой старый?

— Такой старый.

Что-то игривое готово было войти в их отношения, когда на время забывается действительность н дается воля свойственным нх возрасту обычным человеческнм чувствам. Но Агеев заставил себя вернуться с неба на землю — страшную землю войны, на которой их поджидало нелегкое н надо было ежеминутно остерегаться худшего. Не до кокетства сейчас с этой милой, но, в общем, видно, довольио беззаботной девчоикой.

— А вы все сапожничаете? — спросила она, наспех убирая в буфет посуду.

— Ты, — поправил он.

— Ну да... Ты.

— Сапожинчаю.

— Так много нанесли! Богатым будете...

— Будешь.

— Ну, будешь.

— Богатым не буду, — сказал ои. — Потому что бесплатно.

— А вы что, в самом деле...

— Ты, — поправил ои.

— Ты в самом деле сапожннк?

— В силу необходимостн.

— Я так и думала. Командир, наверно? — сказала она н, прислушиваясь к чему-то, чего совершенно не услышал он, замерла у раскрытой дверцы буфета.

— Что такое?

— Вроде... Ходит кто-то...

Агеев вскочил из-за стола, кивнув ей, и она, все поняв без слов, метнулась в сторону кладовки. Сам он откинул крючок и не спеша вышел во двор.

Во дворе, однако, нигде никого не было, только шумел в ветвях клена напористый ветер; жердь, пристроенная им на въезде во двор, была на своем месте. Он выглянул через нее на улицу, но и там было пусто, у тына напротив ходили, что-то поклевывая, две белые курицы со взъерошенными перьями. Агеев, прихрамывая, вернулся во двор и вдруг увидел на огороде под яблоней человека в темном пиджаке и в шляпе. Пригибая голову под низкими ветвями и придерживая рукой шляпу, тот не спеша выбрался во двор, надкусил только что сорванное яблоко. При виде Агеева сладко заулыбался сморщенным, землистого цвета личиком.

— А я вот, знаете, соблазнился яблочком. Оно грех, конечно, но яблоко, знаете, грех не большой. Вполне простительный, пан Барановский, — легко заговорил недавний его знакомый Ковешко.

Агеев молча смотрел на странного гостя, не зная, как говорить с ним: шутя, всерьез, приглашать в хату или удержать здесь. Неприятное чувство уже завладело им, он понял, что это приход не за яблоками, конечно. И он присел на скамью под кленом, сделав вид, что заболела нога. Ковешко, поедая яблоко, остановился напротив.

— Поговорить пришел, — сказал он просто и отбросил огрызок. — Нехай пан попросит в дом.

— Счас, — сказал Агеев, растягивая время, чтобы дать возможность Марии скрыться из кухни. — Нога, знаете...

— А, понятно. Болит? Конечно, будет болеть. Если тяжелое ранение...

Они вошли на кухню, Агеев выдвинул гостю стул, сам сел по ту сторону стола напротив.

— О, тут у вас тепло. И запах! — хрящеватыми ноздрями Ковешко с жадностью втянул воздух. — Запах, как у хорошей стряпухи. Интересно, сами готовите?

— Сам, — сказал Агеев, в душе проклиная его обоняние. Еще полезет искать стряпуху!

— Хозяйка не явилась? — тихонько спросил он и насторожился.

По этой его настороженности Агеев понял, что хозяйка — не праздный его интерес.

— Нет, еще нет, — сказал Агеев. — А что, вас хозяйка интересует?

— Совсем нет. Спросил ради простого любопытства. А так нет. Вовсе не интересует. Ведь она же вам не родительница? — спросил он и снова прищурил острые глазки.

— Ну, допустим, — сказал Агеев, вдруг вспомнив свой первый разговор с начальником полиции. Черт их знает, как

с ними держаться, с этими служителями новой власти? Работают они заодно или врозь?..

Ковешко тяжело вздохнул, задумчиво пробарабанил пальцами по гладкой доске стола. Хорошо, что Мария успела прибрать посуду.

— Видите, пан Барановский... — он слегка замялся, но тут же нашелся и договорил: — Будем называть вас так. Нам известно, конечно, что вы не Барановский, но теперь не будем уточнять. Главное, вы белорусин, и я это почувствовал сразу.

— Это каким же образом? — по-прежнему держась на известной дистанции в отношениях, спросил Агеев.

— Э, что тут спрашивать. Я, пане, земляка-белорусина за версту чую. Нюхом чую. А вы, извините, хоть и по-российски говорите, но в каждом вашем слове звучит белорусин. Древняя мова, знаете, с поганских времен, со времен Великого княжества. Ее не так просто искоренить. Если российцы за столетия не искоренили...

— А как же немцы?

— Простите, что немцы? Не понял, — сразу наморщил увядшее личико Ковешко.

— Как немцы отнесутся к этой мове?

— Хе-хе, батенька, это весьма проблематично, — осклабился Ковешко. — Весьма проблематично, хе-хе. Но мы выживем, — вдруг тише, но яростнее заговорил гость. — Мы выживем! Главное — искоренить зло номер один. А потом...

— Как бы нас самих не искоренили, — не удержался Агеев.

— Нет, этого не может быть. Этого не должно быть, — потянулся к нему через стол Ковешко. — Немцы — культурная нация. К тому же сила христианской традиции. Я долго жил среди них, знаю... я весьма уповаю...

— На их культурность?

— Да, и на культурность.

— Культурность, а убивают сотнями. Женщин и детей! И заботятся, чтоб еду с собой взяли. На трое суток! — вдруг с гневом прорвалось в Агееве, и он тут же пожалел: нашел перед кем метать бисер. Но сказанного не воротишь.

Он думал, что Ковешко разозлится и станет угрожать, а тот вдруг упрекнул со снисходительной укоризной:

— Так это же евреев! Надо понимать.

— А евреи — не люди?

— Неполноценная раса, — с нажимом сказал Ковешко. — Оно, может, и чересчур жестоко. Может, и не совсем по-христиански, но... Если разобраться, они нам чужинцы. Они испортили нашу историю. Они веками разжижали дух белорусинов. Не будем жалеть их...

— Не будем жалеть мы, не пожалеют и нас.

— И не надо. Не надо, пан Барановский, не надо жалости! Жалость — удел слабых. Это хотя и христианское чувство, но несомненно, из числа атавистических. Не надо жалости! Сейчас нам нужны сила и сплоченность. Конечно, под германскими

знаменамн, фюрер — он вождь арийцев, а белорусины иапполовиину арийцы. Кривнчн которые. Правда, некоторая часть сильио подпорчена иинородцами, особеиио татарамн и жндами. Но мы люди скромные, рады и тому, что осталось. Есть, есть здоровое ядро, из которого разовьется раса. Надо только положиться на силу.

— На германскую снлу? — с ироинней уточнил Агеев.

Ковешко ироиин не понял н почти обрадовался подсказке.

— Вот имеино — на германскую. Другой силы на земном шаре теперь, к сожалеиию, не существует.

— А вдруг найдется, — с неслабеющим чувством протеста сказал Агеев и посмотрел в блеклые глаза гостя. В глубине их тлел, однако, довольио злой огоиек, и Агеев сказал себе: хватит, так можно и доиграться.

Наверное, что-то понял и гость, может, смекиул, что слишком далеко зашел в своем разговоре — хотя н с белоруснном, ио, в общем, малознакомым ему человеком.

— Ну что ж, приятно, зиаете лн, поговорить с умным... н твердым человеком. Твердость убеждений, она всегда что-то значила. Даже и ошибочных. Теперь это нечасто бывает. Вот и эта... ваша хозяйка, значит... Барановская. Оиа ведь жеищина твердых взглядов?

— Не знаю, — с иарочитым безразличнем сказал Агеев. — Не интересовался.

— Не интересовалнсь? И напрасио. Вот вы побеседуйте какнибудь...

— Как же побеседуешь, еслн ее нет? Уже вторую неделю.

— Это печально. Нам оиа тоже нужиа. Нам она даже необходима. Но куда оиа запропастилась? А вам она не говорила? — спроснл Ковешко н снова замер, полный вннмання.

— Нет, ничего ие говорила.

— Да, вот загвоздочка. — Гость снова задумчнмо побарабаиил по столу худыми пальцами. — Знаете что? Оиа должна дать о себе знать. Не может того быть, чтобы ие дала о себе знать. Так вы это, того... иезамедлительно сообщите.

— Это куда? — спросил Агеев. — В управу нли в полицню?

Ковешко хитро прищурился.

— Не зиаете? Какой вы, одиако, непоиятливый, в самом деле... При чем здесь управа?

— Так вы же в управе работаете?

— Это, батенька, неважно, где я работаю. А сообщить следует в СД. Это, знаете, в помещеннн бывшей милицин...

— А Дрозденко? — не мог чего-то понять Агеев.

— Не беспокойтесь, паие. Дрозденко мы объясним.

— Вот как! — удивился Агеев, подумав про себя: черта лысого вы от меия дождетесь. И вы с вашей СД, и Дрозденко тоже.

Он молча проводил гостя до улицы, и тот, видио удрученный какой-то иеудачей (может, отсутствием Бараиовской), сухо кивиул на прощаиие и мелкими шажками засемеиил по ули-

це. Агеев еще постоял недолго, чувствуя, как где-то внутри у него поднимается злобная волна — от своего бессилия, пассивной покорности, вынужденной подчиненности. И кому? Они уже связали его и с СД, мало им оказалось полиции. И вот вынуждают — упрямо и настойчиво — на явное предательство, теперь уже по отношению к Барановской. Хотя в случае с Барановской он не мог им ни пособить, ни нашкодить, он сам ничего о ней не знал. Но как бы не пронюхали о Марии! Правда, похоже, пока что она их не интересовала, может, не заинтересует и вовсе? Пропала, ну и бог с ней, видно, у них есть дела поважнее. Разве что случайно, выслеживая Барановскую, могут наткнуться на Марию, тогда уж, пожалуй, им несдобровать обоим.

Агеев прошел по тропинке в огород, осмотрел сад, словно там мог прятаться новый Ковешко, и не спеша вернулся на кухню. Марии, конечно, простыл тут и след, наверное, забилась на чердак, и он, накинув в пробой крючок, взобрался туда же. Мария сидела на корточках в темном углу за сундуком.

— Ушел, не бойся...

Она с облегчением выбралась на место посвободнее, отряхнула от пыли подол сарафанчика. Следы страха и тревоги еще тлели в ее настороженном взгляде, внимание уходило в слух. Но, кажется, вокруг было тихо.

— Что он? Про меня спрашивал?

— Про Барановскую, — тихо сказал Агеев. — Зачем-то им Барановская понадобилась.

— Вербуют, наверно, — просто сказала Мария, и он насторожился.

— Вербуют? А зачем им ее вербовать?

— А они теперь всех вербуют. Почти поголовно. Чтоб потом выбирать. Кто нужнее.

Они оба стояли возле слухового окна, вглядываясь в его мутные, затянутые паутиной стекла и вслушиваясь в неутихающий шум ветра в ветвях. Мария с брезгливой гримасой на серьезном личике вертела пуговицу своего вязаного жакета.

— Этот... Дрозденко и меня хотел. Подписочку требовал...

— Вот как! — вырвалось у Агеева.

— А вы думали! — Мария виновато улыбнулась.

— Ну и что же ты?

— А я вот ему! — она показала Агееву маленький, туго стиснутый кулачок. — Чтоб на своих доносить!.. Шавкой немецкой сделаться! Нет, этого они от меня не дождутся...

Агеев отошел от окошка и опустился на сундук — долго стоять не позволяла нога, которая сегодня с утра ныла неутихающей застарелой болью. С тихой завистью подумал он о Марии, что она вот увернулась, избежала ярма, а он не сумел, не нашелся или побоялся, может. Правда, положение у них было разное, она смогла скрыться, а куда бы мог скрыться он? Наверное, в два счета оказался бы в шталаге для пленных, что для него было равнозначно гибели.

— Что же мы будем делать, Мария? — спросил он почти сокрушенно. Положение их все усложнялось, а выхода по-прежнему не было видно. Оставалось ждать, но ведь дождаться можно было самого худшего. Протянуть время, промедлить, утерять шанс, когда уже трудно будет что-либо исправить.

— Не знаю, — тихо произнесла Мария.

Передернув худым плечиком, она прислонилась к деревянному брусу возле слухового окна и печально посмотрела наружу. Она не знала, конечно. Впрочем, он и не ждал от нее другого ответа, отлично понимая, что в таком деле должен искать выход сам — как старший, военный, обладающий большим опытом и наверняка большими, чем она, возможностями. Но беда в том, что он не знал тоже.

— Ладно, посмотрим. Только сиди тут, никуда не высовывайся. Если что, я буду у себя.

— Там, в сарайчике?

Она порывисто подалась к нему, лицо ее вспыхнуло и опечалилось, боль и страдание отразились в ее светлых глазах.

— Да, в сараюшке. Надо работать. Зарабатывать... Вот накинь, чтоб не мерзнуть.

Агеев отдал ей телогрейку, тихо спустился на кухню, прислушался. Барановской все не было, и никаких вестей от нее тоже. Наверное, с хозяйкой ему было бы проще, особенно теперь, когда появилась Мария. Но вот хозяйка понадобилась и этим, что уже вызывало тревогу — зачем?

К вечеру и без того сильный ветер усилился, ветви клена над крышей хаты метались из стороны в сторону, могучее дерево гудело и стонало... Агеев прошел в свой сарайчик, который, на счастье, стоял с подветренной стороны, и там было относительное затишье. Надо браться за сапоги из мешка, может, не сегодня, так завтра за ними придут — Кисляков или еще кто-нибудь, надо все починить. Может, за это время что-либо изменится к лучшему или хотя бы прояснится, думал он. Потому что уже все так затягивалось мертвым узлом, что как бы не пришлось рвать по живому, с мясом и кровью, а то и поплатиться жизнью...

До самого вечера, пока было светло, он стучал молотком по резиновым и кожаным подошвам кирзачей, ботинок, немецких, нашпигованных железными шипами сапог. Все не успел. Осталось еще две пары, когда опустились сумерки и за дырявой стеной полил дождь. Агеев думал сходить в хату, чтобы проведать Марию, но в такой ливень ему просто не в чем было высунуться из хлева, чтобы не промокнуть насквозь. И он, посидев на табуретке, расслабленно выпрямив больную ногу, перебрался на топчан под кожушок.

Над усадьбой тем временем неистовствовал ветер, с неба низвергались потоки дождя, грозившего снести ветхую соломенную крышу его убежища. Но дождь лил уже больше часа, а в сарай-

чике было сухо, даже вроде нигде не капало. И он так уютно пригрелся под домашним теплом кожушка, что подумал: в хату сегодня не пойдет, пусть уж Мария как-нибудь устроится там сама. Слава богу, не белоручка, умеет приспособиться к обстановке, может, даже не хуже, чем это бы сделал он. Из полведра картошки наготовила таких драников, что он почти до вечера был сыт и только теперь, вспоминая про обед, сглатывал слюну. Девчонка разбитная, хороша собой и, кажется, очень прямая, откровенная, что в такое время как бы и не погубило ее. Не испугалась вот живоглота Дрозденко, отшила полицию и прибежала к нему. Но почему к нему? Или он приглянулся ей накануне, или она увидела в нем кого-то, кто внушал доверие, может, опору? Но что она знала о нем? И что скажет Кисляков или, еще лучше, Волков, когда дознаются, что с ним проживает какая-то девчонка из Минска? Одно дело, что здесь жила хозяйка, пусть попадья, но человек, которого они знали многие годы, и совсем другое, когда появилась эта никому не известная студентка. А может, она подослана? Завербована и внедрена? Нет, этого не может быть. В таком случае все, наверное, делалось бы хитрее, логичнее. А то очень уж получилось наивно, дерзко и неразумно.

Агеев долго не мог заснуть, обеспокоенный все запутывающейся своей судьбой, непрестанными порывами ветра за стенами. Кажется, ветер временами менял направление и уже начал хлестать дождем по торцовой стене его сарайчика, у которой лежало сено. Он подумал, что, может, надо бы встать, откинуть сено от стены. Но вставать не хотелось, так хорошо было под кожушком, и он успокоенно думал: а может, и не зальет? Он уже собирался заснуть, невеселые его мысли начали путаться в голове, и вдруг вскочил почти в испуге — в дверь постучали. Он сбросил с себя кожушок, стук повторился — робкий, тихонький стук словно бы ребячьей руки, — и он, шагнув к двери, негромко спросил:

— Кто там?

— Это я, откройте...

Он понял сразу, что это Мария, скинул с пробоя жиденький проволочный крючок.

— Ну что?.. Осторожно, тут порог высокий... Что-нибудь случилось?

Она перебралась через порог и замерла в темноте, вся мелко дрожа от холода или испуга.

— Я боюсь...

Голос ее тоже дрожал, вся сжавшись, она стояла у порога, не зная, куда ступить. Агеев закрыл за ней дверь.

— Чего... боишься?

— Ветер!.. Так воет. В трубе и... Ходит кто-то, по крыше.

— Ходит? По крыше?

— Ну, кажется, ходит, — говорила она, едва не всхлипывая, и он про себя выругался: «Ну и ну! Кажется!..»

— Если кажется, надо креститься, — сказал он с раздражением, и она умолкла.

— Я тут посижу... до утра. Можно? — спросила она после паузы.

— Что ж, сиди...

«Странно!» — подумал Агеев, не узнавая девушку. Словно это была вовсе не та Мария, которую он видел днем, когда они обедали на кухне и она храбро отмахивалась от опасностей, о которых предупреждал Агеев. Там она выглядела такой боевой девчонкой, что эта ее боевитость внушала ему опасение за ее судьбу. Здесь же была совсем другая — продрогшая, подавленная страхом перед тем, что... кажется, будто кто-то ходит по крыше! Типичные детские страхи... А он-то думал, что она вполне взрослая и даже в чем-то сильнее его. Видно, увы!

— Садись вот на порог. Или вон на сено. Сено там. Сухое...

— Спасибо.

Он замолчал, вслушиваясь, как она в темноте недолго устраивалась на шуршащем сене и вскоре притихла, будто ее и не было здесь вовсе. Снаружи о доски стены все плескал дождь, шумел за углами ветер. Агеев начал согреваться под кожушком, как вдруг услышал ее прерывистое дыхание, похоже, она содрогалась от стужи.

— Что, холодно? — спросил он.

— Холодно, — тихонько ответила она.

— А телогрейка?

— Мокрая...

Агеев полежал немного, в мыслях злым словом поминая эту девчонку, и наконец поднялся на топчане.

— А ну иди сюда!

— Нет-нет, — испуганно отозвалась она из темноты.

— Иди вот на топчан, под кожушком согреешься... Ну! Скоренько...

— Нет-нет...

— Просить тебя, что ли, в конце-то концов? — рассердился Агеев.

Решительно шагнув с топчана, он нащупал в темноте ее плечо и, схватив за руку, поднял с сена.

— Вот ложись! Я на сене.

Она покорно легла на топчан, и он небрежно накинул на нее кожушок. Сам, поразмыслив, поднял пласт слежалого сена, подлез под него, потом навалил сена на ноги. Здесь он быстро согрелся и, когда вокруг утихло шуршание оседавшего сена, спросил Марию:

— Ну как, согрелась?

— Согреваюсь. Спасибо тебе. Большое спасибо...

— Ладно. Спи. На рассвете подниму. Днем здесь оставаться нельзя.

— Хорошо. Я встану. Ты извини меня, Олег.

— Ладно уж... Извиняю.

ГЛАВА 5

Через два-три дня после ливня земля в карьере подсохла. Лужи еще остались на прежних местах, но вода в них заметно убывала, оставляя на глинистых берегах извилистые параллельные линии — суточные отметины уровней. Дождей больше не было, стояла сухая и ветреная погода, однако на полное высыхание луж можно было рассчитывать лишь в конце месяца, что было, конечно, слишком. Агеев не мог задерживаться тут до конца лета, хотя самочувствие его после приезда сына заметно улучшилось — все-таки импортные таблетки делали свое дело. На следующий день, проводив Аркадия, он недолго посидел на обрыве и спустился в карьер — надо было как-то убрать этот чертов обвал.

Конечно, в душе он рассчитывал на помощь сына, наверно, для того и вызывал его телеграммой, но в тот вечер так ничего ему и не сказал: надеялся, что догадается сам, предложит помочь. Однако не догадался, утром сразу же стал собираться в дорогу. Разговор у них как-то не клеился, и хотя Агеев в течение лета много думал о сыне и собирался кое о чем с ним побеседовать, теперь тоже не находил ни слов, ни нужного настроения. И когда он все-таки сказал ему, что одному трудновато в карьере, сын, круто обернувшись от поднятого капота, бросил:

— Вот что, хватит! Собирайся, поедем!

У Аркадия что-то не ладилось с двигателем, барахлил карбюратор, с утра сын злился, и все же Агеев сказал, что не может все бросить после того, как перерыл тут гору земли и остался сущий пустяк. Вдвоем бы они за два-три дня все завершили. Сын с досадой ответил, продолжая ковыряться в двигателе:

— Знаешь, я не землекоп, я электронщик. Хочешь, договорюсь в райкоме, пригонят бульдозер. За полчаса все разроет.

— Мне не надо бульдозер.

Больше о карьере они не упоминали. Дымя выхлопной трубой, машина полчаса сотрясалась от высоких оборотов двигателя — сын регулировал карбюратор. Потом было неловкое, скомканное прощание, хлопнула дверца, и красный «Жигуль», описав по росистой траве двойную дугу, покатил по дороге. Агеев пошел к карьеру.

Он работал размеренно, не торопясь, стараясь брать неглубоко — на полштыка, не больше, отбрасывал недалеко, прослеживая взглядом каждый комок влажного, еще сырого суглинка. Ничего, однако, ему не попадалось, видать по всему, этот угол карьера был меньше других освоен людьми — на поверхности и в глубине всюду лежал нетронутый, дикий суглинок. Агеев думал о сыне, который теперь катил где-то по новой, недавно проложенной бетонке в Минск. Конечно, у сына хватало своих забот и своих непростых проблем, стоит ли обижаться за невнимание или недостаток приветливости — у каждого свой нрав и своя судьба. Конечно, родителям нередко кажется, что дети не-

додают им, что им как старшим в роду принадлежат какие-то права по отиошеиию к младшим, которых они породили, воспитали, выпустили в большой, сложиый мир и потому вправе рассчитывать на благодарность, которую редко получают на деле. Но по извечиому закону жизни весь динамизм детей устремлен в будущее, туда, где пролегает их иеизведанный путь, и родителям иа этом пути места уже нет, он целиком занят внуками. Что ж, все правильно, все в полиом соответствии с законами жизни и живой природы, но почему тогда человеческая натура не хочет мириться со столь очевидной данностью? Вся ее душевная сущиость буитует против этого закоиа природы, почему здесь такая дисгармония — тоже от природы?

Разве потому, что мы люди. У животных все проще и гармоничнее.

Сложное, противоречивое, непостижимое существо — человек!

Сыи женился иа любимой девушке из соседнего дома, когда та еще была студеиткой, живой, миловидиой, воспитанной девочкой, нравившейся всем без исключения — и родствеиникам, и соседям. Родители жениха приглядывались к ией еще с тех давних пор, когда она среди прочей дворовой ребятни играла под грибком в песочнице, и еще больше, когда выросла в бойкую остроглазенькую худышку, которая всегда первой здоровалась со взрослыми и со стыдливой девичьей грацией легко проскальзывала мимо в тесиом подъезде. Сын тоже любил ее, готов был на все ради нее, потом у иих появился прелестиый малыш, прочио объединивший в один родствеииый клан две соседские семьи. Агеев неожидаино легко сдружился с ее отцом, отставным полковником, бывшим военным летчиком, с которым по вечерам любил играть в шахматы. Сватьи также открыли друг в дружке иежиейших и предаииейших подруг с массой общего в характерах и интересах; соседи, не переставая любоваться их обретеиным на закате лет семейиым союзом, даже вроде бы ревностно отдалились от них. Но вот прошел год с иебольшим, и все разлетелось вдребезги, превратясь в полнейшую свою противоположность, и тогда они с недоумеиием увидели, сколь многое в этих их отиошеииях держалось на взаимиом чувстве двух юных сердец, с исчезновением которого разрушилось и все остальиое. Очевидно, чересчур много иагрузили они на эфемерные крылья этой любви двух, может, и неплохих по отдельиости, ио так и ие ставших семьею людей. И кто тут виной? Пострадавших миого, виновных ни одного.

Покойная мать склоииа была обвиият иевестку, другая сторона дружио хаяла сыиа, Агеев же не обвинял никого. Он уже знал, что способность к самоотверженной любви или дружбе не столь частый дар, что он редко проявляется в случайных сочетаниях людей, что тут необходимы особые даииые, которыми, по всей видимости, не обладали ни родители, ии их дети. С самого начала их супружеской жизни Агеев почувствовал, что слишком они разные в своей духовиой осиове, из чего, впрочем, ровиым счетом ничего не следовало. Эта их разность могла стать

залогом гармонии, но могла — и залогом раздора, чем в конце концов она и стала. Равно как и сходство в иных случаях, которое с не меньшим успехом, но так же неотвратимо приводит к краху. Сын обладал четко выраженным инстинктом цели, пожалуй, чересчур современным инстинктом, который, однако, был несколько чужд «укатанному жизнью», как он говорил о себе, Агееву-старшему, но которого он, в общем, не мог не ценить в людях. Аркадий с детства знал, что ему надо, и всегда упрямо шел к осуществлению своего стремления, что само по себе было и неплохо, если бы не одна небольшая особенность — он полагал, что его продвижению к цели должны способствовать все остальные, тем более родственники, жена, родители. Остроглазенькая худышка Светочка, также единственный ребенок у обожавших ее родителей, была наделена от природы слишком развитым чувством достоинства и никому не прощала обид — невольных или тем более преднамеренных. Всякая цель для нее была второстепенным делом в сравнении со средствами, которые значили для этой девчушки все.

Первая их размолвка, незаметная поначалу трещинка, впоследствии с громом расколовшая весь небосклон их любви, случилась на глазах Агеева и уже тогда неприятно задела его самолюбие.

После свадьбы молодожены некоторое время жили в семье полковника, имевшего более-менее сносную квартиру из трех комнат, одну из которых занимала старенькая бабушка, существо столь же бессловесное, как и беспомощное. Однако старушка сразу не приглянулась Аркадию, который вскоре после рождения сына перевез жену на квартиру к отцу. Здесь стало тесновато, к тому же квартира всеми своими окнами выходила на оживленную городскую улицу, форточки всегда держали закрытыми, и очень скоро всем стало ясно, что такая жизнь будет не в радость. Агеев еще работал на полставки, читал в институте лекции, и вот мать с сыном стали заводить разговоры о том, что главе семейства следует позаботиться о расширении жилплощади, переговорить у себя на работе, встретиться кое с кем из городского начальства, с кем поддерживались старые связи. Это было кошмарное для Агеева-старшего время, давило чувство долга перед сыном, но все было выше его возможностей — не хватило ни настойчивости, ни умения, ни просто человеческого везения. Да и было стыдно — столько еще сотрудников в институте нуждались хоть в каком-либо жилье, а он имел уютную, пусть и небольшую квартиру в центре, которая еще лет десять назад считалась почти роскошной. А главное, он так и не мог взять себе в толк, какими обладает преимуществами перед другими, особенно перед бесквартирными, чтобы хлопотать о себе в обход остальных.

Когда стало ясно, что дело с улучшением жилищных условий доцента Агеева затягивалось на неопределенное время, за это взялся Аркадий. И начал он не с ходьбы по приемным начальства, которое принимало раз или два в месяц, вежливо выслу-

шивало просителя, но ничего не делало, а со сбора различных бумаг, документов обследований, характеристик, ходатайств администрации и общественных организаций. К удивлению отца, в конце концов он получил ордер на крохотную, но веселенькую квартирку в новом квартале Зеленого Луга. Когда же отец поинтересовался, на каком основании, оказалось: во-первых, как молодой специалист, а во-вторых, как член семьи заслуженного ветерана и подпольщика, приговоренного к смертной казни фашистами и чудом уцелевшего...

— Ну что скажешь? — торжествующе вопрошал сын, помахивая перед отцом свеженьким ордером.

— Далеко пойдешь! — со злым восхищением сказал отец.

— Великолепно! Если бы не подло, — бросила невестка.

— Ну вы даете! — удивился Аркадий. — Я вас не пойму.

По всей видимости, он и действительно ничего не понял, а Агеев-отец объяснять ничего не стал, тем более что мать тут же аттестовала главу семейства с исчерпывающей категоричностью: «Дурак!» Он лишь вспомнил где-то услышанную шутку на тему о квартирах: «Партизаны пусть подождут, еще партизанские дети не все обеспечены».

...Агеев работал в карьере не спеша, постоянно следя за временем и ровно через сорок пять минут позволяя себе отдохнуть. Три четверти часа размеренной, без особенного напряжения работы и пятнадцать минут отдыха, которые он проводил здесь, присев на брошенный кружок фанерки — сиденье от венского стула. По небу проплывали разрозненные кучевые облака, то и дело закрывавшие жаркое солнце, и голый обрыв напротив то терялся в их тени, то ярко сиял своим вымытым глинистым боком. Агеев работал все в том же синем спортивном трико, порядком вылинявшем за лето. Было душно, грудь и спина постоянно потели, начала мучить жажда, но до перерыва он старался воздерживаться от питья, чтобы не перегружать сердце. После полудня жажда усилилась, и он намерился дать себе отдых на обед, а главное, принести свежей воды. Та, что оставалась в бидончике у палатки, наверное, уже нагрелась и годилась разве что на умывание.

Вогнав в землю лопату, он вышел из карьера, и его внимание чем-то привлекло кладбище. Между черных корявых стволов старых деревьев, деревянных и металлических намогильных крестов, до половины скрытых от взора кладбищенской оградой, в зелени разросшейся за лето и сирени и кустарников мелькнули обнаженные головы мужчин, черные косынки нескольких женщин, кто-то прошел с букетом цветов, послышались негромкие голоса — там хоронили. Кладбище было старое и казалось Агееву давно заброшенным, за лето он ни разу не зашел за его ограду и склонен был думать, что там уже не хоронят. Оказывается, он ошибался. Подойдя к ограде, он из любопытства заглянул за нее. Небольшая кучка пожилых людей сгрудилась у свежевыкопанной могилы, гроба, однако, там не было видно, вообще немного было видно отсюда, кладбище сплошь утопало в зарослях

дикого кустарника. Возле людей мелькнула знакомая фигура отставного подполковника, который недавно составлял на него акт, и Агеев как-то сразу и почти беспричинно понял: хоронят ветерана.

Палатка его хотя и стояла на отшибе, но была слишком у всех на виду, он наскоро сполоснул рот теплой водой из бидончика, полил на руки и подумал, что в такую минуту оставаться тут будет неудобно, пожалуй, следует сходить на похороны. Не спеша, преодолевая усталость, сменил пропотевшую спортивную рубашку на мятую, но более чистую сорочку в мелкую клеточку и пошел вниз на дорогу. Через пролом в каменной кладке ограды, почти скрытой крапивой и лопухами, на кладбище проскользнули вездесущие Шурка с Артуром, он хотел их окликнуть, чтобы спросить, кого там хоронят, но не успел. Через высокий арочный проем вошел под густую прохладную тень старых вязов, совершенно сомкнувшихся в вышине над его головой, по дорожке прошел до близкого поворота между могил. Печальная кучка пожилых людей тесно сгрудилась возле могилы, наверное, уже в последние минуты прощания, донеслись отдельные голоса, неловко произносившие похвалы покойнику:

— А яки ж чутки чалавек быу...

— Заслуженный был, всю войну прошел. Да...

— Подать совет мог, кто бы ни обратился. Отзывчивый...

— Царство ему небесное, — выдохнул и прервался женский голос, и Агеев поискал глазами, стараясь найти кого-либо из знакомых, но лучше бы, конечно, Семена, уж он-то должен тут быть. По всей видимости, хоронили человека немолодого, может, какого отставника или учителя-пенсионера. На похороны руководителя районного звена все это походило мало — не тот масштаб, не тот характер речей.

Немного не дойдя до могилы, Агеев остановился — двое мужчин уже опускали на веревках гроб в узкую щель, сдержанно всплакнула женщина в темном платке, остальные стояли молча, с угрюмой сосредоточенностью на немолодых, морщинистых, одинаково печальных лицах. Он не стал подходить ближе, наблюдал со стороны, и к нему не подошел никто. Знакомых тут не было видно — ни Семена, ни даже того подполковника, что повиделся ему из-за ограды. Вдруг все в этой кучке пришли в движение, по одному и по два стали бросать горсти земли в могилу, и Агееву живо вспомнилась такая вот сцена на кладбище в его давнем детстве, когда хоронили тетушку. Тогда это происходило осенью, в пору листопада, все могилы и надгробия городского кладбища были усыпаны красной разлапистой листвой кленов и лип, лицо тетушки в кружевном чепце красиво выделялось восковой худобой в черном гробу, и было похоже, что тетушка уснула и все слышит, что вокруг нее происходит. Покойница всю жизнь прожила в городе, он ее видел всего два раза до этого и теперь вот видел в гробу. Тогда ему было всего пять лет, и он впервые присутствовал на такой важной церемонии, как похороны, где все происходило так пугающе интересно

и значительно. Только когда тетушку закрыли в гробу черной крышкой и стали заколачивать длинными гвоздями, он вдруг заплакал, испугавшись того, что тетушка не сможет выбраться из заколоченного гроба. Державшая его за руку мама вздрогнула и тоже заплакала, пока остальные, как вот теперь, не начали бросать горсти земли в могилу. Тогда она потащила его за руку — он также должен был бросить свои три горстки, чтобы не болеть и жить долго, как тетушка Ольга. Эти похороны были для него первой и самой запомнившейся картинкой из его раннего детства; потом он и болел, и воевал, сам убивал врагов и его убивали, и вот он стал стариком. Сколько раз приходилось ему хоронить или участвовать в похоронах, но всегда в последний момент он старался бросить в могилу три горстки земли — так прочно вошел в его сознание этот древний, обладавший непонятной силой обряд.

Могилу закапывали в три или четыре лопаты, сперва там гулко отдавались тяжкие удары земли о крышку гроба, потом эти броски стали глуше и смолкли совсем, когда могила наполнилась землей до краев. В изголовье уже кто-то держал узкую красную пирамидку с черной табличкой на боку, и Агеев вдруг рванулся вперед. Он ничего еще не различил на этой табличке, с дальнего расстояния еще невозможно было разобрать ни одной буквы на ней, но, ощутив внезапный удар под сердце, понял в изумлении — это же он! Боже мой... Как же так? Как же?..

От могилы отступили, двое мужчин сгребали лопатами остатки земли с кладбищенским мусором. Толкнув худого мужчину с кирпичной от загара шеей, Агеев протиснулся вперед и близоруко нагнулся к табличке. Впрочем, он уже знал, что там написано, и минуту глядел в недоумении, не в состоянии освоить дикий смысл трех слов, не очень искусно выведенных белым на черном фоне:

Семенов
Семен Иванович
1916—1980 гг.

Недоуменно застыв возле могилы, он не чувствовал, как из-под его ног выгребали остатки земли, он явно мешал могильщикам. На минуту он лишился сил и, похоже, соображения, так его ошеломила эта нежданная смерть. «Ведь только же позавчера... Только вот сидели... Только позавчера...» — проносилось в смятенном сознании.

Эти или сходные с ними мысли завладели им не впервые, множество раз, когда он слышал о неожиданной кончине близкого человека, вместе с невольным протестом против нее являлось чувство нелепости, недоразумения, в глубине сознания возникала прощальная надежда, что вот-вот что-то изменится, справедливость восторжествует и известие о смерти окажется ложным. Немного спустя и постепенно сознание привыкало и смирялось, но поначалу, как вот теперь, это чувство-протест было столь

сильным, что кончина человека казалась нереальной, будто привидевшейся во сне.

Но и на этот раз не привиделось во сне, все мелочи этих похорон были чересчур реальными и вполне последовательными. Могилу закопали, соорудив невысокий земляной холмик, сверху на него положили охапку цветов из поселковых палисадников. У пирамидки алела диванная подушечка с наградами — одна на все, заслуженные покойником; среди дюжины потускневших медалей на заношенных ленточках выделялось два ордена Красной Звезды. Подле в скорбных застывших позах стояли два высоких, молодых еще человека, взглянув на одного из которых, в военной форме, с погонами прапорщика, Агеев понял, что это сын. Наверно, таким был когда-то и Семенов-отец: худощавый, широкой кости, длинноногий и длиннорукий молодой человек с чуть впалой грудью и широким разворотом плечей.

Люди с похорон стали расходиться, по одному и группками покидая могилу, остались лишь несколько человек, может, самых близких покойнику, и среди них тот самый отставной подполковник, которого он увидел издали. Потный, несмотря на кладбищенскую прохладу, в темном пиджаке с многими рядами орденских планок на груди, он и тут начальственно распоряжался, суетясь возле могилы.

— А награду почему оставили? Не полагается! Товарищ Хомич, возьмите! — приказал он низкорослому, уже немолодому человеку в сапогах, и тот взял подушечку, перехватил ее под мышку, медали тихонько звякнули...

Все медленно направились к выходу. На кладбище оставались только две женщины, которые прибирали могилу: пожилая, в темном платке, и помоложе. Все мучимый ошеломившей его смертью, Агеев спросил:

— Как же это случилось?

Молодая взглянула на него и не ответила, расставляя букеты в стеклянные банки, а старая не сразу, погодя сказала со значением:

— Случилось! Давно должно было случиться...

Агеев не почувствовал в ее словах ни скорби о покойнике, ни должного дружелюбия к себе и подумал: жена.

Женщины еще оставались, а он пошел по дорожке с кладбища, поднялся по косогору к своей палатке. Делать тут было нечего, близость кладбища со свежезакопанной могилой, а главное, эта неожиданная смерть угнетали его, и он бесцельно побрел дальше по кромке обрыва. За недели его работы в этом карьере он привязался к Семену, его бесхитростной, прямодушной натуре, которой, возможно, не хватало ему для дружбы или общения в его городской жизни. Среди сослуживцев по институту таких определенно не было, по всей видимости, такие по одному выводились, уступая место иным характерам, с четко выраженным стремлением к лидерству, разного рода превосходству, распираемым заботами о благополучии и мелочной престижности. Семен же не претендовал ни на что, кроме разве стакана вина да ко-

ротенького внимания к его рассказам о пережитом военном прошлом. И надо же, такая внезапная смерть! А ему даже не приснилось ночью ничего такого, что указало бы на эту кончину, просто ночь выдалась на редкость глухой, без снов. Или он позабыл до пробуждения?

На дальней стороне карьера росло несколько хилых, обглоданных козами деревцев, бросавших неширокую тень к обрыву. Он подошел к ним, устало опустился на траву и стал рассеянно глядеть сверху на свой злополучный карьер, кладбище за ним с мощным заслоном старых деревьев, на утонувшие в зелени крыши окраинных домиков поселковой улицы. Напротив, за обросшей лопухами и крапивой ветхой оградой ярко сияло навстречу низким лучам вечернего солнца несколько желтых головок подсолнухов, и Агеев вспомнил, как Семен прошлый раз обещал рассказать о том, что когда-то едва не получил Героя. Аркадий, наверно, усомнился, посчитав эти слова бахвальством, но Агеев готов был поверить. Жаль, теперь уж никогда не расскажет он о своих подвигах или своих военных страданиях, что, впрочем, одно и то же.

Агеев сидел и думал, что покойник и в самом деле мог заслужить Героя, такие, как он, способны на самые высокие, зачастую даже не вполне осознанные ими подвиги, потому что им чужды расчетливость, хитрость. Как дети, они действуют по первому зову натуры. Натура же их недалеко ушла от природы, где все решают инстинкт и эмоции и особь целиком принадлежит виду, подчиняясь логике его саморазвития...

Героя он вполне мог заслужить в бою или разведке, при форсировании реки, в обороне или окружении. Но это вовсе не значило, что заслуженное автоматически превращается в заработанное и как заработанное оплачивается. Агееву был памятен случай в их стрелковом полку, когда награждали высокими орденами группу автоматчиков за форсирование Немана летом сорок четвертого года. Группа была небольшой, человек двенадцать, она первой перебралась на противоположный берег и в течение суток удерживала плацдарм. В живых остались лишь пятеро, и среди них сержант Белобровцев, который из ручного пулемета отбил восемь атак немцев, отчаянно пытавшихся сбросить смельчаков в реку. Все они были награждены орденами, кроме Белобровцева, который, как выяснилось, год назад был в плену, и этого было достаточно, чтобы награду ему снизили до медали «За отвагу». Семенов был в плену тоже и даже служил в полиции...

Мог он и лишиться Золотой Звезды, как знакомый Агеева младший лейтенант Мильков, удалой разведчик, человек невообразимой отваги и везения. Из каких только переделок не выходил он на фронте, отделываясь легкими ранениями, одно из которых, по существу, и сгубило его удалую жизнь. Попав с простреленной рукой в армейский ГЛР [1], расположенный в недалеком тылу, Мильков, наверное, решил, что уж тут можно не дер-

[1] ГЛР — госпиталь легко раненных.

жать себя в строгих рамках уставов — немцы и начальство далеко. Набравшись польского бнмбера, он учиинл пьяный дебош с прнмененнем оружия, не подчинился старшим офицерам, был арестован комендантом гарнизона, судим военным трибуналом, лншен звания Героя и отправлен рядовым в штрафную роту без единой из заслуженных им девяти наград.

Немногнм печальией судьба правдолюбца старшины Ступаксва, артнллернста-противотанкиста. Оставшись один у орудия, он подбил из иего восемь танков. Правда, сначала артнллеристов было двое, он и его земляк, который погиб в разгар поединка. Ступаков же был раиен, все подбитые танки зачислили на его счет и представили его к званию Героя Советского Союза. Одиако будущий Герой, любя правду больше наград, стал всюду писать, что к званию надобно представить н его погибшего друга, потому что тот подбил пять из восьмн танков и потому заслуживал этого звания с еще большим правом. Кончилось, однако, тем, что начальство отозвало представление и Героя не получил ни один из двоих. Правда, месяц спустя Ступакова наградили орденом Отечественной войны второй степенн.

И вот теперь еще одна неординарная военная судьба, оставившая без ответов вопросы, не прояснившая загадочных обстоятельств.

А где разгадка его миоголетней загадки? Разгадается ли она когда-либо, илн и ему суждено, как Семену Семенову, оставить ее живым? Или целиком унести в могилу?

Совсем немного оставалось ему работы — на день, не больше, и он с чистой совестью мог бы считать, что перевернул весь карьер, в котором иичего не обнаружил. Ее здесь нет, значит, она могла выжить. И с ней могла выжить новая, неведомая ему жизнь, которая теперь стала для него важнее всего на свете. Это была тонеиькая соломинка, крохотная искорка, но она давала ему надежду. Агеев уже явственно чувствовал, что его существование без нее лишено всякого смысла. С ней же — неведомой и непостижимой — все оборачивалось иначе, жизнь обретала смысл, содержание, а главное, продолжалась. И это утешало при любом исходе. Других утешеиий для него уже не оставалось на этой земле, и он очень сожалел, что слишком поздно это понял.

То, что должио было произойти между молодыми людьми, произошло иа третью ночь их пребываиия в сарайчике, они оказались иаконец под одиим кожушком на топчане. Дождь снаружи уже не лнл, ио по-прежнему неистовствовал холодиый ветер, который, повериув с севера, стал иасквозь продувать их убежище. И все-таки здесь было затишиее, чем на огромном, со всех сторон продуваемом чердаке, а главное, безопаснее: здесь находился неприметный потайной ход в огород н рядом под камнем лежал пистолет. В ту ночь они долго не моглн уснуть н тнхонько болтали обо всем, что приходило в голову. Марня скоро оправилась от недавних своих страхов иа чердаке и едва слышно хихикала под кожушком в ответ иа сдержанные остроты Агеева

из-под вороха сена. Оба они словно забыли, где находились, забыли, что в мире шла большая война и какая опасность угрожала каждому. Им было хорошо вдвоем, и в чувствах Агеева тлела-росла решимость, которую стало наконец невозможно сдержать. Скинув с себя ворох сена, под которым лежал, он шагнул к топчаиу и приподиял полу кожушка. Мария вопреки его ожиданию и своему протестующему, почтн испуганному «нет» отодвинулась к стеике.

Та ночь прошла для обоих без сна, в смятении любовных чувств и завладевшей обоими иежиости. К утру оии оба забылись коротким, внезапно застигнувшим их сном. На рассвете она подхватилась первой, соскочила с топчанчика. Следом проснулся он и, словно с похмелья, мало что понимая, вперил в нее недоумевающий взгляд.

— Куда ты?

Она заулыбалась вся, а потом, настороженная и привлекательная в своей иеодетости, робко приблизилась к нему и с недевичьей, скорее материнской нежностью поцеловала его возле губ. Вспомнив обо всем, что произошло между ними в эту непогожую ночь, он недовольно поморщился, подумав, что, пожалуй, Мария начиет сокрушаться, упрекать его, может, даже заплачет. Он не терпел чьих бы то ни было упреков, особенно женских слез, но она только прерывисто вздохнула и произнесла шепотом, исполненным любви и признательности:

— Олег!.. Олежка!.. Спасибо тебе...

— За что же спасибо, чудачка?

Он обнял ее за узкие плечи, деликатно привлек к себе.

— За все-все спасибо...

Однако уже светало, и они торопились покинуть сарайчик, днем безопаснее было в большом доме с его кухней, кладовкой, чердаком. Обычно, пока Мария готовила что-нибудь поесть, он находился во дворе, стерег ее извне, чтобы при случае, если кто зайдет, задержать его снаружи и дать ей возможность скрыться на чердаке. Драников она уже не пекла, кончился гусиный жир в банке, и Мария варила картошку, которую они ели, обмакивая в крупную соль на тарелке. Кутаясь в телогрейку, Агеев стоял возле клена и поглядывал вверх на крышу дома, ждал, когда из трубы пойдет дым, значит, Мария затопила плиту, оставалось дождаться, пока сварится картошка. Все случившееся ночью теперь оборачивалось досадой в его неспокойных чувствах, и на трезвую голову он начинал упрекать себя за то, что в отношениях с ней дошел до такого. Конечно, с этой девчонкой трудно было остеречься греха, но все-таки он должен был проявить силу воли и удержаться от последнего шага. Но вот не нашел в себе этой воли, пошел на поводу чувств, да еще в такое, самое неподходящее время. В мире гремела война, лилась человеческая кровь, его собратья погибали на фронте, а он чем занялся? Да и она хороша — увлекла, подпустила! Что теперь будет? Ничего, конечно, хорошего, это он знал наверняка, будет обоим плохо. Но это он знал теперь, рассуждая с холодным

умом, а на сердце у него вопреки всему зрела тихая нежность к этой милой девчонке, так безоглядно и доверчиво отдавшейся ему. И он готов был ее опекать и помогать ей в той западне, в какой она оказалась, даже готов был пострадать за нее, чувствуя в себе решимость и тихую безотчетную радость.

Правда, радость его быстро улетучивалась.

В такие вот тихие минуты, когда он оставался наедине с собой, в нем возникало, охватывало его еще большее беспокойство оттого, что шло время, а его пребыванию здесь не видно конца. Нога его постепенно приходила в норму, рана затягивалась, и он, слегка прихрамывая, уже без палки мог ходить по двору, выходить на улицу. Ему казалось, что он уже смог бы потихоньку пуститься на восток, в сторону фронта. Но вот беда, фронт никак не мог стабилизироваться, наши с боями отступали, и, судя по всему, бои шли далеко за Смоленском, может, под Москвой даже. Впрочем, толком он ничего не знал, все связи его оборвались, из леса никто не приходил. Уже была починена вся обувь, полный мешок которой он запрятал под сено в сарайчике, чтобы отдать тому, кто за ней явится. Но за обувью никто не являлся, куда-то запропастился Кисляков, и Агеевым все сильнее овладевала тревога. Он уже сожалел, что рассказал Кислякову о своих отношениях с полицией, о чем тот, конечно, передал Волкову, и вот в итоге, вполне возможно, подозрение. Похоже, они перестанут ему доверять. Это было бы ужасно и сокрушило бы его морально, не давая никакой возможности что-либо объяснить, оправдаться. Для завершения этой нелепости не хватало разве, чтобы они свели с ним счеты и покарали его. Какое в таких условиях могло быть наказание, он уже догадывался.

Закрыв дверь на крючок, они поели на кухне картошки, которая, однако, лишь на недолгое время утоляла голод, и Мария что-то заметила в его взгляде или, может, почувствовала сердцем. Она съела всего три картофелины, остальное в тарелке пододвинула ему, и он доел все.

— Не наелся? Нет? — спросила Мария с тайной мукой во взгляде.

Он отвел свой взгляд — притворяться далее, что сыт, вылезая из-за стола, у него уже не хватало силы.

— Картошкой разве наешься?

Мария на минуту задумалась.

— Олежка, может, я выбегу? Ну, на пятнадцать минут... Тут вот, к Козловичевым...

Агеев сразу понял, о чем она, и сказал строго:

— И не думай! Сиди, никуда не высовывайся!

Он был голоден, но думал теперь не о хлебе — он думал, как ему связаться с Молоковичем. С Молоковичем он мог бы поговорить начистоту, уж кто-кто, а Молокович должен его понять и, может, помочь чем-то. Но лейтенант был далеко, кажется, за два километра, на станции, к тому же встречаться с ним Агееву запретили в самом начале.

Агеев подождал, пока Мария убрала со стола, сполоснула в чугунке ложки. Он привлек ее к себе, с тихой нежностью поцеловал в лоб и вышел во двор.

В тот день с утра погода вроде стала налаживаться. Везде еще было мокро, возле угла дома стояла большая лужа воды, на улице холодно блестела мокрая грязь, с ветвей клена падали наземь крупные капли, но небо прояснялось и в разрывах облаков ненадолго выглядывало солнце. Агеев запахнул телогрейку, прошел в свою мастерскую-беседку. Делать тут было нечего, он сел на табуретку за набухшие от сырости доски стола, стал ждать. Он думал, кто-нибудь появится на улице, может, кто из тех, кто нужен ему, или, может, кому-нибудь понадобится он. Он сидел долго, но на улице никто не появлялся. Однажды только закутанная в платок женщина провела рябую корову, наверно, пастись, откуда-то из огородов выскочила бродячая собака, остановилась, с любопытством посмотрела на него и побежала своей дорогой.

Может, через час на той стороне улицы появился лет десяти мальчишка в большой, надвинутой на глаза кепке, с прутиком в руках. От нечего делать он стегал прутиком по головкам молочая, буйно разросшегося после дождя, поглядывал по сторонам. Когда он задержал свой взгляд на Агееве, тот, вдруг обрадовавшись, махнул мальчишке:

— Поди-ка сюда!

Мальчишка не спеша подошел, вздернув со лба на затылок кепку, выжидательно уставясь в него голубыми глазами.

— Тебя как зовут?

— Витя.

— Яблок хочешь?

Витя с готовностью кивнул головой и снова сдвинул свою наползшую на глаза кепку.

— А ну иди сюда.

Агеев провел его в огород к вкусной малиновке, на которой еще можно было достать снизу несколько переспелых яблок. Ухватился за ветку, подтянул сук, обдавший его холодными каплями.

— Ты где живешь? На этой улице?

— Нет, я на Белинского. Вот тут, рядом.

— В школу ходил?

— Ходил. В третий класс. Теперь не хожу.

— Будешь ходить. Как немцев прогонят. Пойдешь в четвертый.

— Скорее бы, — сказал Витя и совсем не по-детски вздохнул — трудно и протяжно.

— У тебя папка есть?

— Есть. На войне только. А может, уже и нет.

— С мамой живешь?

— С мамой.

Агеев сорвал несколько яблок, Витя рассовал их по тугим

карманам, за пазуху и сказал, когда Агеев потянулся за новой веткой:

— Мне уже хватит.

— Ну хватит так хватит, — сказал Агеев и вылез из-под низких ветвей. — Слушай, Витя, а ты на станции был?

— Был. Но давно уже. Там у меня тетя живет.

— А где кочегарка, знаешь?

— Это что за семафором?

— Ну, — подтвердил Агеев, хотя сам понятия не имел, где та кочегарка. — Ты не мог бы сбегать туда?

В сумрачных глазах у Вити появился какой-то сдержанный интерес, и он охотно кивнул головой.

— Сбегаю. А что сделать?

Они вышли из огорода. Агеев отряс на тропинке мокрые от росы сапоги, Витя босыми ступнями стоял на мокрой траве.

— Понимаешь, там работает твой тезка, дядя Витя. Спросишь его и скажешь, что его ждет хромой дядя. Понял?

Витя молча кивнул и поправил кепку, готовый бежать выполнять поручение.

— Но никому больше ни слова! Передашь дяде Вите и сразу домой. А завтра придешь, я тебе еще яблок дам.

Придерживая набитые карманы, Витя побежал на улицу, Агеев снова занял свой пост в мастерской-беседке. Может, он сделал и плохо, может, не надо было доверяться мальчишке, тем более вызывать сюда Молоковича. Но у него уже не хватало выдержки, эта томящая неопределенность угнетала пуще всякой опасности.

Он просидел в беседке еще около часа и никого не дождался. Местечковцы, похоже было, в нем не нуждались и вели себя так, словно вся обувь у них была справной. А может, они ремонтировали ее в другом месте, где-нибудь ближе к центру? Или неказистый вид его мастерской не внушал им доверия? Агеев в конце концов разозлился, ушел в дом и, закрыв на крючок кухонную дверь, полез на чердак к Марии. Та его ждала у лаза и, только он показался, обхватила его сзади руками, тихонько засмеявшись над ухом.

— Мария...

— А я тебя видела, вот! Как ты в беседке сидел, недовольный такой, сердитый. Вот посмотри.

Она подвела его к косому скату за сундуком, где возле стропила светилась небольшая, со спичечный коробок, дырка, из которой видна была беседка и часть двора с улицы.

— А что это такое? — спросил он, увидев раскрытый сундук с ворохом книг в темных переплетах, подшивки старых, пожелтевших журналов, какие-то бумаги, стопки изданий в мягких обложках с неразрезанными страницами.

— Книги, понимаешь!

Мария опустилась подле сундука на колени, вытащила толстый фолиант в красивой, с царским гербом обложке.

— Вот: «Россия, полное географическое описание нашего оте-

чества под редакцией Семенова». Точно такая книга у нас была, отец ее в экспедиции брал. А вот три тома Шеллер-Михайлова из дворянской жизни, когда-то я им зачитывалась. Вот «Бесы» Достоевского. А журналов сколько!

Вслед за Марией он тоже стал перебирать в сундуке беспорядочно сваленные туда тома старых изданий, среди них потрепанные подшивки разных журналов, увесистый комплект «Нивы» за 1916 год. На первой странице комплекта был помещен рисунок молодой красотки в нарядной вышитой кофте с бусами на груди в окружении крылатых херувимов, порхающих с журналом в руках. Внизу значилось имя издателя А. Ф. Маркса и год издания — сорок седьмой. Агеев полистал щедро иллюстрированную подшивку, снова на него пахнуло войной: карта военных действий с линией фронта от Риги до Кишинева, в Закавказье, возле Тетерана, потом шли снимки какой-то «Северопомощи» с толпами мужиков и солдаток, артбатарея на позициях. Под красиво оформленным заголовком «Вечная память» расположились ряды офицерских снимков, и он задержал на них взгляд: полковник Краббе с лихо закрученными усами, полковник Барковский, подполковник Ленц в модном пенсне, капитан Гусаков с суровым взглядом из-под нависших бровей, печально-отрешенный штабс-капитан Кибаленко и еще несколько рядов небольших, с почтовую марку, снимков.

— Это что, погибшие? — склонилась к нему Мария.

— Погибшие...

Минуту он всматривался в их лица и думал: вот прошло столько лет, и опять то же самое. Снова гибнут русские командиры, полковники и капитаны, все от рук тех же немцев и почти в тех же местах, что и четверть века назад. Только в отличие от этих усатых чинов в погонах и эполетах их фотографии не печатаются в газетах, многие из них погибли безымянно и похоронены неизвестно где. Что и говорить, жизнь человеческая убыла в цене и, наверное, убудет еще больше. Война стала более жестокой, жертв потребуется во много раз больше. Разве можно ее сравнить с той неспешной, сонной войной, которая велась несколько лет почти в одних и тех же местах...

— Вот этот красивый мальчик! — с сожалением сказала Мария, указывая на фотографию. — Похож на тебя.

«Поручик Ольгин», — прочитал Агеев, всматриваясь в молодое безусое лицо добродушного парня в погонах и с крестом на груди, с едва припрятанной усмешкой на пухлых губах. О чем он думал, что переживал этот поручик перед своей гибелью двадцать пять лет назад? Но об этом уже не скажет никто, как никто, наверное, не вспомнит молодого поручика.

А вспомнит ли кто о них через двадцать пять лет?

Случайный этот журнал вызвал у Агеева невеселые мысли, и, может, впервые за время пребывания в местечке он подумал о неизбежности своей гибели на этой войне. Может, и переживет ее кто-нибудь и дождется победы, но вряд ли это суждено ему. Слишком она близка от него, эта его гибель, слишком часто

приходится заглядывать в ее черную пасть, чтобы питать надежду остаться живым.

— А вот, посмотри, смешной журнал «Осколки», — совсем в другом настроеиии, живом и беззаботном, сказала Мария. — Узнаешь?

— Чехов?

— Чехов, Антон Павлович, мой самый любимый писатель. На телеге, забавно как! Дружеский шарж!

При тусклом свете из слухового окиа они долго копались в сундуке, перебирая книги, перелистывая старые журналы, содержание которых во миогих отношеииях было для него в диковинку. С разных страниц на них смотрели увешанные наградамн генералы, гофмейстеры двора и сенаторы в золотом шнтых мундирах, нарядные светские дамы, губериаторы, усатые офнцеры и нижние чины давней, полузабытой войиы. От старых бумаг исходил едва уловимый запах тлеиа, бумажная пыль то и дело заставляла их чихать. С неба все чаще и продолжительнее стало проглядывать солице, сквозь слуховое окно в чердачный сумрак хлынул поток лучей, ярко высветивший косой квадрат на полу. Стало теплее. Вокруг дремала тишина, и сиова, отрешась от неспокойиой действительности, оии прилегли иа одеяле. Мария шептала что-то горячо и преданно, но Агеев уже ие виикал в путаный смысл ее слов, он снова забылся в нахлынувших чувствах, пока его не сморил внезапно завладевший им сои. Когда он просиулся, Мария, свернувшись калачиком, лежала рядом, солнце из окошка уже исчезло, и окно едва светилось отражеиием уходящего дия. Агеев подумал, что так можно прозевать приход Молоковича, и тихоиько, чтобы ие разбудить Марию, подиялся. Однако Мария подхватилась тоже.

— Куда ты?

— Тихо, тихо. Спи. Я это... тут должеи один человек прийти.

— Какой человек?

— Ну, понимаешь, знакомый.

Быстрыми двнжениями маленьких рук она поправила измятый подол сарафанчнка, тронула на затылке короткие волосы вынутым из них гребешком. Похоже, она ничего не подозревала и еще ни о чем не догадывалась.

— Из местечка зиакомый?

— Из местечка.

— А мне... Тут быть?

— Да, ты сиди тут. Как только я его отправлю, так сразу приду.

Он поцеловал ее в смиренно подставленные губы и спустился по лестнице в кухню. Дремавший у порога Гультай нехотя поднялся, потянулся и промяукал громко и требовательно. Агеев подхватил его поперек тела и подсадил в кладовке на лестницу.

— Вот дружок тебе. Чтоб ие скучала. Ну, пока!

Он вышел во двор, посмотрел в небо, по которому уже плыли громоздкие кучевые облака — предвестиики лучшей погоды, и подумал: как ему скрыть свои дела от Марии? Скрыть, ко-

нечно, было необходимо, он не имел права самовольно доверять ей то, что было не только ее тайной, но и утаить что-либо при таких с ней отношениях было непросто. Хотя бы того же Моловича. Она могла его увидеть, подслушать их разговор. Что она могла подумать о них? Конечно, лучше всего, если бы она была в курсе их дел, но подсознательно он очень опасался вовлекать ее в эти их непростые дела, которые в любой момент могли кончиться для них катастрофой. Зачем без нужды рисковать еще и ею?

Прохаживаясь по двору, Агеев поджидал Молоковича, потом вышел на мокрую тропинку к оврагу. Но никого не было. Уже стало темнеть, из садков и огородов потянуло промозглой сыростью, стало прохладно, и он подумал, что, видно, надобно идти в сарайчик. Молокович знает его пристанище, он должен найти. Только Агеев подумал так, стоя возле распахнутых дверей хлева, как за домом, где-то в стороне местечкового центра раздались выстрелы — два винтовочных и несколько разрозненных автоматных очередей. Агеев замер, прислушался, но выстрелы скоро прекратились, криков вроде не было слышно, и он с беспокойством подумал: не Молокович ли там попался? Все-таки начинался комендантский час, немцы и полиция лютовали на улицах и дорогах, останавливая каждого, кто там появлялся. Весь местечковый люд старался к этому времени быть дома и не высовывать носа из своих дворов. Но Молокович мог прийти к нему только с наступлением темноты, когда его никто бы не увидел в местечке.

Агеев поглядывал в оба конца двора, но чаще на межевую тропинку вдоль огорода, думал, что Молокович появится из оврага. А тот вдруг вынырнул из-за угла сарая и очутился перед Агеевым.

— Здравствуйте!

— Ну, напугал!.. Там выстрелы, слышал? Это не по тебе?

— Я хожу там, где выстрелов не бывает, — прихвастнул Молокович, тяжело дыша от быстрой ходьбы. Они прошли через хлев в сарайчик, где уже было темно, в этой темноте едва различались их тусклые силуэты. Агеев опустился на топчан, Молокович, как и в прошлый раз, присел на пороге. — Что-нибудь случилось? — спросил он тихо.

— Ничего особенного, — успокоил его Агеев. — Просто некоторые вопросы.

— Мне ведь запрещено встречаться с вами. Но тут мальчишка сказал...

— Я знаю. Но у меня не было выхода. Я потерял связь с Кисляковым.

— Это хуже, — помолчав, сказал Молокович. — Я тоже с ним не имею связи.

— Может, его взяли?

— Нет вроде. Если бы взяли, было бы известно. В полиции его нет. Может, какая накладка? Или СД сцапала?

— Может, и накладка. У меня вот хозяйка пропала. Уже две недели. Сказала, отлучусь на три дня, и пропала.

— Ну, теперь все может быть. Где-нибудь напоролась. Схватили. Или застрелили где-нибудь. Как ваша нога?

— Нога более-менее. Уже хожу. А как плечо?

— Да что плечо, заросло, как на собаке.

— Значит, можно уже действовать, если тут сидеть. Что-нибудь планируется? — спросил Агеев и умолк, весь внимание.

Молокович вслушался в тишину ночи и ответил не сразу:

— Кое-что задумали, может, на днях провернем. Только со взрывчаткой плохо.

— А какая нужна взрывчатка?

— Да хоть какая. Но на хороший взрыв.

— На хороший взрыв требуется хороший заряд. Добывать надо, — сказал Агеев. — А как связь с лесом?

— Трудно со связью. Все под наблюдением. Все дороги, улицы, ни проехать, ни провезти.

— Что слышно на фронте?

— Ерунда на фронте, — скупо сказал Молокович. — Немцы под Москвой.

— Да-а, — разочарованно протянул Агеев, неприятно пораженный этой вестью.

— Но все равно скоро подавятся. Уж Москву им не отдадут.

— Ну а мы что же, тут и будем сидеть? В этой дыре? — с плохо скрытой досадой сказал Агеев.

— А что же нам делать? Догонять фронт? Далековато, наверно.

— Оно-то далековато. Но все-таки мы военные. Командиры действующей армии.

— Действовать и тут можно. И нужно. А там видно будет.

Наверное, Молокович был прав, они обязаны действовать, вот только те действия, которые выпадали на долю Агеева, были не слишком подходящими для его натуры. Уж лучше бы бой, открытый огневой поединок в поле, чем эта непонятная игра, сплошная неопределенность, тягостное ожидание неизвестно чего. Он думал теперь, как сказать Молоковичу о полиции и ее посягательстве на него, Агеева, об этом непонятном прислужнике Ковешко. Как сделать, чтобы убраться куда-нибудь подальше из местечка, может, в лес, в партизанский лагерь, так как ему тут не место. Но в то же время что говорить Молоковичу, у которого тоже нет связи? Только вызывать подозрение у последнего, кто ему пока верит?

— Но куда же запропастился Кисляков? — снова спросил он в раздумье.

— Кисляков найдется. Может, ушел в лес? А на его место другой придет?

— Пришел бы скорее.

— А у вас что, срочные дела? Или сообщения? — спросил Молокович.

— И то и другое. Понимаешь, неделю назад привезли мешок обуви. Ну, починил. И никто не забирает.

— Заберут! Понадобится, заберут, — успокоил Молокович.

— А может, ждут, не доверяют?

— Да ну, с какой стати!

— Стать-то одна имеется. Начальник полиции повадился. Склоняет к сотрудничеству.

— В доносчики? — напряженно выпалил Молокович.

— В доносчики. Однажды едва в шталаг не отправил. Немецкий оберст потребовал отправить, — сказал Агеев и выждал, что на это ответит Молокович.

Молокович, однако, замялся, и Агеев понял сразу — напрасно рассказывал. Повторялась история с Кисляковым — его сообщение лишь настораживало, ничего не объясняя, усложняло и без того непростые их отношения.

— Да-а... Что ж, скверное дело, — неопределенно проговорил Молокович. — А отвертеться нельзя?

— Я, конечно, сотрудничать с ними не стану, но пойми мое положение: прямо отказаться я не могу. Они же меня сразу вздернут, — волнуясь проговорил Агеев.

— Это конечно.

— Поэтому мне тут больше нельзя. Надо в лес.

— Видимо, да, — вяло согласился Молокович.

Он не возражал, он вроде понимал Агеева, но по тому, как он сразу сник в разговоре, Агеев понял, что эта их встреча не облегчит его положения. Как бы не усугубила.

— При случае ты там скажи кому... Чтобы передали Волкову. Потому что я тут кругом на подозрении...

— Но ведь и там надо... доверие. С подозрением куда же в отряд?

— Да, это верно, — помедлив, сказал Агеев и опустился на топчан.

Вот об этом он не подумал. Ему казалось: только бы вырваться отсюда в лес, в партизанский отряд, где вокруг будут свои, и он освободится от гнетущей неопределенности, от унизительного подозрения со стороны своих же. Но ведь и там с подозрением невозможно, такой он там просто никому не нужен.

Так как же ему быть? Что делать?

Что делать, не посоветовал и Молокович, который, видно, сам знал не больше его. Агеев понимал это и обращался к нему только потому, что тот был местный, знал большее число людей и, думалось, связь у него должна быть надежнее. Оказывается, с исчезновением Кислякова у него тоже многое оборвалось.

Агеев проводил Молоковича до конца огородов по тропке, и они сухо простились. Знали бы оба, что им так недолго осталось быть на свободе, что это их последняя возможность открыто поговорить обо всем начистоту. Но не знали. И легко расстались. Молокович, как показалось Агееву, с облегчением даже, и Агеев, постояв минуту, проводил его взглядом, пока тот не скрылся в темени наступившей ночи. Оставшись один, он стал думать, по-

чему так устроены люди, что вот появляется маленькая неясность и уже готовы усомниться, готовы поверить нескольким окольным фактам и не верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной работы, наконец, испытанию смертью, которое они недавно совместно выдержали. Но неужели Молокович тоже усомнился в его честности, неужто подумал хоть на минуту, что он двурушничает и может их предать? Предать кому? Этим вот шакалам, шавкам, которые предали самое святое в жизни, родину и народ во имя спасения собственной шкуры? И он пойдет к ним в услужение? Надо было вовсе не знать его, старшего лейтенанта Агеева, или иметь цыплячьи мозги в голове, чтобы подумать такое. Но ведь, наверно, подумали? Наверно, думать так было привычнее? Или проще? Или, возможно, практичнее, дальновиднее? Но, если дальновиднее, как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч?

Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч. Таков уж элементарный закон арифметики. Арифметики, но не войны. У войны свои, далеко не человеческие законы, и они будут править людьми, пока будут войны.

Ну что ж, будь что будет. Главное, не метаться, не изворачиваться, думал Агеев, оставаться человеком, каким он был двадцать шесть прожитых лет. Те четыре года, что он прослужил в армии, он старался быть хорошим командиром и, наверное, был таковым. По крайней мере, в его личном деле, некогда хранившемся в строевой части полка, значилось восемь поощрений и ни одного взыскания, хотя стычки с начальством не были для него большой редкостью, и, случалось, он получал хорошие взбучки. Но помимо служебных отношений с начальством были еще различного рода общения с равными себе, средними командирами, товарищами и друзьями, были, наконец, отношения с подчиненными сержантами и красноармейцами. А для Агеева, может, дороже, чем мнение начальства о нем, была где-нибудь случайно оброненная фраза: «А он вроде ничего мужик, этот начбой!» К другим оценкам он не привык за свою армейскую жизнь, а то, что теперь закручивалось вокруг него в этом местечке, повергало его в отчаяние.

Растревоженный и подавленный, он пошел на кухню, в темноте закрыл на крючок дверь и сразу попал в объятия теплых девичьих рук. Мария подвела его к столу и, усаживая на стул, зашептала:

— Ну, сейчас я тебя накормлю... Сейчас, сейчас...

Прежде чем он что-либо успел понять, она сунула ему в руку огромный, тмином пахнущий ломоть хлеба, в другую большую кружку с молоком.

— Ешь! Ну? Вкусно?

Да, это было чертовски вкусно, казалось, никогда он не ел такого вкусного хлеба и такого молока, желудок его блаженствовал, и он молча проглотил все, запил остатками молока.

— Ну, наелся? Хочешь еще?

Агеев больше не хотел — он уже понял, что она выбегала куда-то, может, к сестре или соседям, и ему стало страшно. Она была тут единственной его радостью и, наверное, единственной опорой, на которую он мог положиться. Опасение потерять ее отозвалось в нем испугом, какого он не испытывал, наверное, даже перед лицом собственной гибели.

— Спасибо! — сказал он, целуя в темноте мягкие ее ладошки. — Но я тебя прошу: не ходи никуда! Не надо! Как-нибудь. Пойдем вместе...

— Куда? — с наивной поспешностью спросила она, словно готовая тотчас бежать вместе с ним.

— Куда? Пойдем куда-либо. Придет час, и пойдем.

— Придет час! Я верю, что настанет наш час. Должен настать. И кончится эта ночь. И ничего не будет нам угрожать. Ой, как я хочу дожить до того часа... Милый Олежка мой...

Она опустилась на пол возле его ног, обеими руками обхватила их, и они ласкались так, едва сдерживая рыдания. И он молча вытирал ее мокрые щеки, напряженно соображая, как спасти ее и себя от вплотную надвигающейся на них безжалостной колесницы уничтожения. Может быть, именно в этот вечер он почувствовал, то, что ранее как-то не доходило до его сознания — что он ее любит вопреки своим намерениям, вопреки войне и даже здравому смыслу. Наверное, ему надо было сказать ей о том, но разве и без слов это не было ясно обоим?..

Погода резко повернула на осень, зачастили нудные обложные дожди, а когда они переставали, особенно по утрам, наползали туманы, в которых утопали дома, огороды, деревья. Как-то, встав на рассвете, Агеев не узнал двора — все, что было перед воротами хлева, исчезло в стылой серо-молочной наволочи. Было тихо какой-то странной, затаенной до поры тишиной, улица будто вымерла, замерло и все местечко.

В ту ночь Агеев и Мария уснули лишь перед самым рассветом, всю ночь прободрствовали в сарайчике от непонятной тревоги, поднявшей на ноги местечковые власти и полицию. Началось все с заполошного крика где-то на окраине, в районе кладбища, потом последовали выстрелы, на околице и по их Зеленой улице пробежали несколько человек — все туда же, к кладбищу. Топот их ног глухо прозвучал в ночи, но голосов не было слыхать, словно это бежал строй солдат или полиции. Потом на соседней, более наезженной улице застучали повозки, там же послышались голоса, даже окрики, а в стороне центра возле церкви проурчали тяжелые машины, и свет их фар желтыми блуждающими пятнами мелькнул в тумане над крышами местечковых хат. Затаив дыхание Агеев слушал, пытаясь понять, что происходит в местечке, но понять было не просто. Мария, прижавшись к нему и обхватив его плечи руками, мелко тряслась, как в ознобе, он кутал ее в кожушок и думал, как бы не

пришлось спасать ее в эту тревожную иочь. Нижнюю, не прикреплеиную доску в стеие ои показал ей давно, девушка легко могла проскользиуть в огород, вот только что дальше? Куда спасаться из огорода, они пока не решили.

Оии ие решили многого, да так и засиули к утру в объятиях друг друга, когда эта малопоиятная тревога как-то сама по себе улеглась и все вокруг постепенио затихло.

Во влажиом застойном тумане все было стылым, промозглым и неприютиым. С мокрых ветвей свисали прозрачные капли, стекали по мокрым комлям деревьев, туман обволакивал рыжую листву клена и тихо клубился там, медленно сползая на чериую от влаги крышу избы. Агеев поежился от холода и первым делом прошелся по двору к двери на кухию — клямка с вечера нетронуто лежала на пробое, значит, Бараиовской все еще не было. Он уже перестал считать дии и недели, прошедшие после ее ухода; видно, действительно его хозяйка пропала навсегда и бесследно. Они с Марией уже съели пол-огорода картошки, подобрали что можно было подобрать из съестного в кладовке, но из имущества ничего не трогали, обходились пока кожушком да пестрым, сшитым из лоскутов одеялом на чердаке. Каждый раз, просыпаясь утром в сарайчике, Агеев ждал, что кто-нибудь появится во дворе и скажет: «От Волкова». Но шли дни, а никто не появлялся, мешок с починенной обувью все так и лежал под сеном. Не появлялся и Кисляков. Агеев чувствовал себя совершенно заброшенным, забытым и одиноким, н единственным его утешением была теперь Мария.

Ои не мог взять в толк, почему, но Мария уже властно и без остатка захватила его смятенные чувства, заполнила собой все его существо — его память, внимание, мысли — н, кажется, стала для него любовью. Не переставая он думал о ней н об их нелепой судьбе. В яви или воображении она всегда была с ним, и он всегда видел перед собой ее милый образ, вслушивался в ее особую, порывистую манеру говорнть, готов был смотреть и смотреть, как она откидывает со лба светлые волосы или, чуть склонив голову, прнчесывает их крохотным полупрозрачным гребешком, всегда торчащим у нее на затылке. Ее тонкие трепетные руки были воплощением заботы н движения, когда оиа говорила о чем-то и даже когда умолкала, поправляя подол сарафанчика на коленях, или порывисто обнимала его за плечи, прижимая малеиькие ладоии к его лопаткам или взлохмачивая его отросшие волосы на затылке. Особенное удовольствие доставляла ей его борода, которую он раза два подстригал ножницами, сбрить ее было нечем. Мария ворошила ее, целовала и терлась щеками, все приговаривая при этом:

— Какая у тебя борода! Какая бородища! А ты отрасти, как у деда, вот здорово будет!

— Что, идет?

— Спрашиваешь! И рубаха эта идет, вышитая. Ну прямо былинный герой! Илья Муромец!..

— Какой Муромец! Соловей-разбойиик...

— Нет-нет... Ты такой... Правда! Сразу видать, командир!

— Это плохо, что сразу видать.

— Ну и ничего, ну и ничего... Ну и хорошо! — с жаром уверяла она, целуя его в бороду, в щеки, в усы...

В такие минуты он был расслаблен, разморен и почти счастлив, если бы не его беспокойные мысли, которые не покидали его ни на мгновение, и он все думал и думал бессчетное число раз — лежа с ней под одним кожушком, сидя подле на лоскутном одеяле, когда она спала, в одиночестве, стоя во дворе и прислушиваясь к звукам с улицы, стараясь найти в них те, что ему были так необходимы. Одна мысль точила его душу ночью и днем — добром это не кончится! Не может это окончиться добром в такое жестокое время, на краю бездны, за два шага от полиции, немцев, СД. Будет беда! Но он ничего не мог поделать с собой и своим вышедшим из повиновения чувством, как будто сознавая, что иного времени для них не будет и что такое не повторится. Действительно, прекрасное не длится долго и не случается часто, такое — великая драгоценность, выпадающая как награда. Вот и их наградила судьба... Добрая шутница она или коварная ведьма? Как бы она скоро жестоко не посмеялась над ними...

Они старались не говорить о будущем, о том, что их ждет завтра или даже сегодня к вечеру, ночью. Они жили настоящим, каждым мгновением, ибо только это мгновение принадлежало им. Завтра для них могло не быть вовсе, вчера было давно и тоже принадлежало не им, хотя они и вспоминали о нем. Обувью Агеев больше не занимался, местечко, похоже, игнорировало его сомнительное сапожное мастерство, и он, несколько раз недолго постояв в беседке, больше там не показывался. Питались картошкой. Последние дни приспособились печь ее в золе, в прогоревших углях на кухне — печеной картошка казалась вкуснее, а главное, питательнее. Однажды Мария сварила бураков с грядки, и они ели их два дня — горячие и остывшие. Днем большею частью сидели на чердаке возле слухового окна, дав волю накопившейся нежности, вздохам, объятиям и поцелуям. Разговаривали шепотом или вполголоса. Впрочем, он больше молчал, Мария же способна была щебетать не переставая, и он изредка останавливал ее: «Тише...» Рана у Агеева почти затянулась, только из нижнего конца разреза сочилась гнилая сукровица, повязка слегка промокала. Он уже довольно уверенно стал ступать на левую ногу, хотя, когда поспешал, хромота его становилась заметнее, и он старался идти медленнее, иногда с помощью палки.

В тот день, как всегда поутру, они перебрались из сарайчика на чердак, поели вчерашней картошки. Может, по причине бессонной ночи Мария была не в духе, молчала, картошки почти не ела, больше подкладывая ему, часто вздыхала. Они сидели на разостланном одеяле под слуховым окном, она уголком одеяла прикрывала голые ноги и вдруг спросила его в упор, без всякой связи с тем, о чем они только что разговаривали:

— Олежка, а ведь мы погибнем?

Он удивленно взглянул на нее, в ее большие глаза, в которых застыли боль и ожидание.

— Что ты? Почему ты так?

— Я хочу знать, что нас ждет в скором будущем.

— Что ждет, кто ж тебе скажет? Я разве зиаю? Но мы будем жить. Иначе н быть не может.

— А немцы?

— Что немцы?

— Немцы нас победят?

Вот чудачка, подумал он, о чем она беспокоится! Впрочем, разве не этим самым был обеспокоен и он? Но он даже на миуту ис мог позволить себе согласиться, что их существование обречено, что победа будет за Гитлером. Ои гиал от себя эти подлые мысли — независимо от того, как оио будет на деле, он должен был верить в нашу победу. Конечио, оба оии могут запросто ие дожить до этой победы, ио это уже другой вопрос и иа иего должен быть найден другой ответ.

— Вот что, Мария, — сказал он решительно. — Никогда немцам ие победить нас, потому что..

— Почему?

— Хотя бы потому, что... Что Россию никогда н ннкто не побеждал. Это невозможно.

— А татары?

— А что татары? Временные захваты. Так и Наполеон временно захватил Москву. Но временно. Навсегда невозможно.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно. Не сомневаюсь ни на минуту.

— Ну спасибо, — сказала оиа, подумав, и откииулась на локоть. — А то... Видишь ли... Кажется, я забеременела.

— Вот как!

Не зиая еще, обрадоваться или опечалиться, он обнял ее за плечи, привлек к себе, тихонько погладил по волосам. Чувства его были ие готовы к такому обороту дела, но трезвый, всегда бодрствующий ум уже вынес свое суждение, которое было похоже теперь иа трудный, печальиый вздох: «Ох, не к добру это!» Оио и впрямь не к добру, но что это лето и осень было к добру? Все на беду, на погибель, в неразберихе, горе н смятеиии.

— Ладно, — сказала она, осторожно высвобождаясь нз его объятий. — Ты только не кори себя. Если что, я сама виновата. Лучше расскажи о себе.

— Что тебе рассказать?

— Ну, как ты жил? Расскажн про свою маму. Где она? Жива?

— Была жива. И отец был жив. Но что рассказывать? Колхозники они...

— А как ты командиром стал? Наверное, училище окончил?

— Училище, конечно. Но это просто. У меия, видишь ли, дядя военный был. Иногда приезжал в отпуск. Вот я и нагляделся на иего, подался в училище. Военное дело трудное, но и

любил. Да что там! Лучше ты расскажи о себе. Ты в Мнске родилась?

— В Минске. Понимаешь, я росла между отцом н матерью, можешь себе представить такое? Дело в том... Дело в том, что более неподходящих друг другу людей, чем мон родители, трудно себе и представить. Отец из крестьян, окончил учительскую семинарию, долго учительствовал, потом перешел в Инбелкульт — был такой в Минске. Отец всегда жил в народной стихии — фольклоре, истории Белоруссии. Вечные исследования, летописи, старая литература, потом пошли экспедиции. Разговаривал дома или там на улице, в трамвае, в магазине только по-белорусски. Многие на него оглядывались, в городе оно ведь не принято так, по-деревенски. А он из принципа. А вот мвмз моя хотя тоже происходила из крестьянской семьи, но пожила в городе, и так, знаешь, полюбнлось ей городское, что все прежнее, деревенское возненавидела. Она тоже из принципа не могла принять ничего, что хотя бы отдаленно напоминало деревню. Не признавала нн песен, ни сказов — никакого фольклора, не терпела мужиков, деревенской грязи в распутнцу, даже деревенских животных. Ну, а уж как она потешалась над речью белорусской — тут у нее просто талант был сатирнка. У отца было много знакомых крестьян — ну там, как ездил в экспедиции, так всем даввл наш минский адрес, — и вот иногдв зимой подъезжают сани, заявляется мужик или два сразу, в кожухвх, лаптях да еще мокрые, в снегу. Отец их раздевает, ведет в кабинет, в лаптях, конечно; а там длинный разговор, иногда и чарочку примут. Но мать туда ни ногой, отец свм их обихаживает. Малую меня мать пускала поглядеть-послушать, а как подросла, запретила ходить. Но, видно, поздно. У меня такой интерес появился, что я этих дядек всех до сих пор помню. Ну и как-то после шестого класса поехала с отцом в экспедицию. Помню, на Полесье, к коммунарам. Мать собралась в Сочн, меня с собой брала, а я уперлась: хочу на Полесье. Столько о нем слышала из разговоров, от отца. Скандал был, ревела, но добилвсь своего — поехала с отцом. А мать укатнла к морю с подружкой, женой одного ответработника из ЦИКа.

— А как вы там жили, в экспедиции?

— О, там был рай! Где-нибудь в лесной деревеньке, квартира у какой-нибудь тетки Луши нли тетки Альбииы, а у той коровв с телкой, лошадь, собака, овечек с ягнятками штук восемь, поросята, цыплята. Страх как было интересно! Подружусь, бывало, с ребятами, в ночное ездим, лошадей пасем. В речке купаемся, раков ловим, ну и рыбу, конечно. А цветов сколько в поле, на лугу! А лес! Какие леса там — ягод, грибов полно. Нет, я и сейчас не могу спокойно вспоминать все это. Я же и сюда вот к двоюродной сестре приехала за ягодами ходить. Так ягоды люблю собирать. И вот пособирала...

Мария замолчала и всхлипнула — тихонько и один только раз. Агеев нежно провел рукой по ее плечу, она сглотнула сле-

зы и скоро успокоилась, улыбнулась ему с тихой печальной радостью.

— Ну все, ничего... И вот, понимаешь, кроме всего, отец меня приобщил к своей стихии — собиранию народной мудрости, разных там фразеологизмов, пословиц, преданий. И песен. Жнивные, колядные, свадебные, обрядовые и еще бог знает какие. Он знал. Ну и я тянулась и даже несколько песен сама записала от теток и бабок на Любанщине. Вот послушай.

Мая матуля забедавала:
Дзе мая дачка заначавала?
Заначавал у цёмным бару
Пад каліною,
Пад каліною,
Белыя ручкі пад галавою, —

пропела она тихонько, почти шепотом, мелодично и горестно. — И еще помню. Спеть? Можно?

— Нет, знаешь, все-таки слышно. А вообще хорошо ты это — по-белорусски.

— Да, знаешь, за лето, бывало, так привыкну к белорусской речи, что, когда вернусь в Минск, долго еще не могу перейти на русский. Мама ужасается, ругает меня, отца. А я тогда нарочно. Мне — пожалуйста, а я — кали ласка, мне — до свидания, а я — да пабачэння, мне — платье, а я — сукенка. А что? Разве хуже? Такой же славянский язык, как русский или украинский, не лучше и не хуже, а равноправный.

— Это ты молодец, — сказал Агеев. — А мне, знаешь, деревенскому, в армии пришлось... помучиться. Пока отвык от своего, русским овладел. И потом еще долго дразнили «трапка, братка».

— Ну, в армии, там, может, надо, чтобы все по-русски. А в Минске чего мне стесняться? В своей республике. Но в городе этого не понимают, зато в деревне мне бывало раздолье. Так любила, как бабы поют. Вот как вечером с поля идут, слышно и тут, и там, за горой и под лесом, песни протяжные такие, мелодичные, да так славненько тянут на два голоса.

Агеев слушал и слегка удивлялся в душе — все это для него было внове и даже чудно как-то. Восемнадцать лет своей жизни он провел в деревне, в той самой стихии, о которой с таким оживлением рассказывала Мария, но у него не было и в мыслях восхищаться той жизнью; он ее просто не замечал, как не замечают воздух, которым дышат. Ну пели, ну разговаривали по-белорусски, конечно, или, как у них говорили, по-деревенски, но разве в этом была культура? Культура — в городе, где театры, кино, где поют разодетые актрисы и разные ученые люди разговаривают чисто, по-городскому, а то и на иностранных языках. В армии же ему стоило немалого труда избавиться от акцента, который сразу выдавал в нем белоруса и порой становился предметом насмешек товарищей. А она, гляди ты! Горожанка, а такой интерес ко всему деревенскому, что для него было простым, обыденным...

Нежно обняв Марию, Агеев слушал ее тихонький, печальный шепоток, проникаясь ее ностальгическим чувством, а в сознании его продолжали звучать ее слова, сказанные вне связи с воспоминаниями и врасплох заставшие его. Это ж надо, дожил до чего, думал Агеев, он будет отцом, нашел, однако же, время! А каково ей — в такую вот пору стать матерью! Это черт знает как все усложняло, запутывало, угрожало новыми бедами, но что делать? Если так, то, наверное, ничего уже не поделаешь, остается одно — ждать.

Чего только дождешься?

Он и так ждал все это время в местечке, ждал разного. Сперва — когда затянется рана, когда вернется его хозяйка, Барановская, ждал прихода Кислякова или кого-либо от Волкова, со страхом и неприязнью ждал появления Ковешко или Дрозденко, налета полицаев, разоблачения, ареста. Все его пребывание здесь шло в томительном ожидании — лучшего или худшего. Но все пока словно замерло, затаилось, шло время, а в его судьбе решительно ничего не менялось. Может, накапливалось что-то? А потом как бы не взорвалось бедой, несчастьем — теперь уже для двоих, вот что хуже всего. Впрочем, уже и для троих...

Когда Мария ненадолго примолкла, прислушиваясь к неясным звукам внизу, он подхватился, встал.

— Ты посиди. Я спущусь, посмотрю.

Надо было посмотреть хотя бы для страховки, для уверенности, что во дворе все тихо и нет никакой опасности, а также на случай, если к нему все же кто-либо придет от нужных людей. По крутой приставной лестнице он спустился в темную кладовку, вышел на кухню. На столе, прикрытая чистой тряпицей, белела составленная Марией посуда — тарелка, ложка и чашка, все на одного человека, ничего тут не должно было подать мысль, что в доме еще кто-нибудь обитает, за этим он следил строго. Может, все было чересчур аккуратно прибрано, он бы так прибирать не стал, но это уже Мария... Прихрамывая, Агеев вышел во двор, поискал взглядом Гультая, но сегодня кота поблизости не было, наверное, оголодав возле дома, отправился куда-нибудь на дальний промысел. Туман немного рассеивался, сплывал за огороды, к оврагу, избыточной влагой оседая в траве, на ветвях деревьев, камнях доворовой вымостки, на гонтовой крыше дома и стрехах сараев. Все вокруг пропиталось этим туманом, его стылой промозглой сыростью, было зябко, и, может, впервые Агеев ощутил неприютное дыхание осени, скорых холодов, непогоды.

Он хотел уже было вернуться на чердак к Марии, как решил для верности посмотреть в дальний конец улицы, откуда обычно появлялась опасность. И, выглянув из-за угла, тотчас отшатнулся — из калитки второго или третьего отсюда дома выходила группа мужчин, три человека, их, видно, провожал хозяин, немолодой человек в картузе; передний, обернувшись, что-то строго выговаривал ему, и в этом рослом переднем человеке Агеев без труда признал начальника полиции Дрозденко. Затаившись

за углом, он подождал, вслушиваясь и стараясь определить, куда повернут полицаи — по улице в местечко или... Но, конечно, трое полицейских скорым шагом вдоль заборов направились к хате Барановской, и Агеев, мысленно чертыхнувшись, вышел на середину двора.

— Здоров, сапожник! — бодро и вроде бы дружески приветствовал его Дрозденко, поворачивая во двор. — Ну оброс, как старик. Бритвы нет, что ли?

— Да так, знаете. Лень бриться, — нашелся Агеев.

Начальник полиции был все в том же танкистском френче, подпоясанном широким командирским ремнем с латуниой, без звезды пряжкой, в немецкой пилотке на голове. В руках у него вместо обычного прутика на этот раз была резная красивая палочка, которой он играючи, легонько помахивал в воздухе.

— Барановская прибыла?

Остановившись напротив Агеева, он впился в него настырным испытующим взглядом, и Агеев озабоченно выдохнул:

— Нет, не прибыла. Не знаю, что и думать...

— Ах, стерва! — в сердцах выругался начальник полиции. — Скверную игру она с нами затеяла. Но доиграется попадья! Уж я ей припомню!.. Как нога? — вдруг без всякого перехода спросил он и опять застыл во внимании.

— Заживает, — не сразу ответил Агеев. — Но медленно. Лекарств, знаете, никаких. Даже перевязать нечем...

— Не прибедняйся! Вон без палки бегаешь, в армии уже давно бы на передовую вытолкали. А ну, зайдем в дом! — вдруг предложил Дрозденко и рванул дверь кухни. — Вы останьтесь! — оглянулся он на двоих полицаев с белыми повязками на рукавах, и те сняли с плеч винтовки.

Стараясь держаться как можно спокойнее, Агеев прошел за Дрозденко на кухню, поспешнее, чем следовало, пододвинул ему стул возле стола, чтобы скорее усадить полицая и отвлечь его взгляд от двери в кладовку. Однако, прежде чем сесть, Дрозденко осмотрел плиту, кухонную утварь на столе, заглянул в окно.

— Куришь, нет?

— Нет, не курю.

— А я курю. Раньше курил «Беломор», а теперь вот дрянь эту, — сказал он, усаживаясь на стул и доставая портсигар с немецкими сигаретами. — «Беломора» нет.

— Это плохо, — чужим голосом, фальшиво посочувствовал Агеев.

Дрозденко презрительно хмыкнул.

— Если бы только это и было плохо! А то все плохо! Беспорядки, грабежи! А на железной дороге что делается!

— А что делается? — простодушно спросил Агеев.

— Подвижной состав рвут! Немцы уже трех начальников станции расстреляли — не помогает. Думаешь, на этом они успокоятся? Они никогда не успокоятся, пока будут диверсии. И ни перед чем не остановятся. Сегодня расстреляли сто, завтра рас-

стреляют двести. Пока не прекратится безобразие. А не прекращается. Тем, видно, своих не жалко. Никого не жалко...

«Вот как! — подумал Агеев. — Оказывается, виноваты **те**. Не немцы, которые расстреливают, а те, что где-то далеко отсюда».

— А куда же смотрит полиция? — деланно удивился Агеев.

Дрозденко резко повернулся — всем своим сильным телом на ветхом скрипучем стульчике.

— Полиция разрывается! Но полиции мало. Мы не можем углядеть за всеми. Нам нужны помощники, люди из местечка, деревень, со станции. Но они запуганы большевиками и не хотят сотрудничать. И кому от того вред? Населению прежде всего. Ну, разобьют на дороге пару вагонов, спустят под откос паровоз. Разве это вред для Германии? Да у нее миллионы вагонов, со всей Европы. А вот ближней деревеньке конец. Пожгут и постреляют. Ни в чем не повинных людей. И кто их защитит? У меня на все силы не хватит...

Агеев молчал. Такой поворот в разговоре оказался для него неожиданным. Он считал полицию карательным органом оккупационных властей, а она, по словам этого начальника, охраняет интересы неповинных людей, оберегает их от диверсий и следовавших за ними репрессий...

Скрипнув стулом, Дрозденко вскочил, подбежал к окну, выглянул во двор, видно, выискивая взглядом своих полицаев. Но полицаи стояли у двери, и он живо вернулся обратно с зажатой в зубах сигаретой, грузно оперся руками о стол.

— Слушай, вступай в полицию, хватит тебе сачковать. В такое время надобно не только о себе думать. Подумай о людях. Надо наводить порядок, не то немцы всех порешат. Вон как евреев. Но евреи — черт с ними, а своих жалко. Кто их защитит? Единственная своя сила — полиция. Но полиции нужен порядок. В условиях порядка полиция еще кое-что может. Для своих, конечно. Так как? Согласен?

Агеев смешался. Он не был готов к такому разговору и только проворчал растерянно:

— Нога, знаете... Болит еще.

— Ногу долечишь у нас! У нас и доктор есть. Лекарство тоже. Покажешь себя, похлопочу перед немцами, сделаю заместителем. Мне зам требуется. А то вон эти, — кивнул он на окно, — как колуны. Тупые и ленивые. А ты все-таки средний командир.

— Да уж какой там командир, — поежился Агеев. — Теперь окруженец.

Дрозденко молча с минуту вглядывался в его лицо, словно стараясь что-то отыскать на нем.

— Ты мне смотри! Я ведь тебя могу и силой. В порядке мобилизации. Но мне силой не надо. Ты же не девка. Мне чтоб добровольно. Чтоб работа была. А ты ведь мужик дельный. И умный. Ты должен понимать, как бы не было поздно. Война кончается.

— Неужто кончается? — прищурив глаза, холодно спросил Агеев.

— Все! Осталось немного, немцы окружают Москву, скоро прихлопнут. Гляди, опоздаешь.

— Я никуда не спешу.

— И напрасно. Как бы не пришлось держать ответ перед немцами после победы: чем занимался? Если что, по головке они не погладят. Они вообще по головке не гладят. Строгая нация!

— Это я знаю.

— Вот и хорошо, что знаешь. Так подумай. Больше я предлагать не стану. Сам придешь. Понял?

— Чего не понять, — уклончиво ответил Агеев.

Дрозденко резко отпрянул от стола, швырнул на пол недокуренную сигарету и обернулся.

— Ну вот. А теперь твоя главная задача — Барановская. Как только заявится, стукни. Тотчас же. Днем или ночью. Упустишь, пеняй на себя. Ею уже СД интересуется. Тут уж я тебя не прикрою.

— И чем она так заинтересовала СД? — не утерпел Агеев.

— А это не знаю. Чем-то насолила, значит. Полиция тут ни при чем.

— Что ж, понятно, — сказал Агеев, подумав про себя, что этого уж от него не дождутся. Но как бы не прозевать, успеть предупредить хозяйку сразу же, как только та вернется домой.

Как и в прежние свои визиты, Дрозденко, не прощаясь и враз оборвав разговор, шагнул к двери и выскочил во двор. Агеев с облегчением проводил его к улице, и трое полицаев, не оглядываясь, пошагали к центру местечка. Недолго постояв еще и убедившись, что опасность миновала, Агеев пошел в кладовку. Мария ждала его на чердаке, забившись за сундук с книгами, и, как только он взобрался по лестнице, бросилась навстречу. Он растроганно обнял ее за плечи, привлек к себе.

— Ну что ты! Не бойся. Я же тебя защищу...

— Я все слышала, — сказала она, вздрагивая в его объятиях, и вдруг спросила: — У тебя оружие есть?

— Оружие? Какое оружие?

— Ну, пистолет, или винтовка, или что-нибудь еще...

— Зачем тебе?

— Ты не знаешь зачем? — она с укором взглянула на него глазами, полными слез.

— Нет-нет, — сказал он поспешно. — До этого не дойдет. Надеюсь, что не дойдет. Нам главное — протянуть время. А там...

— А что там?

— А там... Победа будет за нами.

— Ой, боюсь, не будет, Олежка! Боюсь, не будет за нами. За кем-нибудь, может, и будет, но не за нами. Как бы нам скоро не пришлось лечь в сырую земельку!..

— Ну что ты?.. Ну что ты?.. Зачем так мрачно? Ты успокойся... Еще же ничего не случилось.

По мягкой засыпке чердака он провел ее к их измятой посте-

ли, усадил на ветхонькое лоскутное одеяло. Сам опустился рядом и обнял ее все еще вздрагивающие худые плечики.

— Ну ничего, ничего. Пока мы живы и вместе, а это главное. Еще мы поборемся с ними. Еще повоюем...

Мария, молча и тихо всхлипывая, медленно успокаивалась, подчиняясь его ласковым объятиям, все теснее прижимаясь к нему, словно сообщая ему свою боль и набираясь от него решимости. И он собрал в себе все крохи этой решимости, слабой уверенности в благополучном исходе их затянувшихся испытаний, чтобы только укрепить ее силы. Сам он готов был ко всему. Но с нею все усложнялось, запутывалось, и он явственно чувствовал, что должен был утроить свои усилия и свою выдержку.

Выдался холодный слякотный день, с обеда моросил мелкий дождь, монотонно стучал по набрякшей влагою крыше. Мария дремала, тихонько лежала под кожушком на чердаке. Агеев сидел на уголке одеяла и при скудном свете из слухового окна листал пожухлые страницы «Нивы», ворох которой они принесли из сундука. В каждом номере этого густо иллюстрированного журнала была война — давняя война 1916 года, фотографии ее жертв и ее героев, генералов и царских сановников, рассказы о войне, стихи, обзоры военных действий, во всю страницу рисунки академика Самокиша — лошади, казаки с пиками, кавалерийские атаки и бегущие немцы в остроконечных, с шишаками касках. Агеев, однако, искал другое — искал что-нибудь о предателях, об изменниках того времени типа нынешних полицаев, перебежчиков, таких, как Дрозденко. Ведь почти в этих же местах тогда шли бои, и половина Белоруссии была под немцем, наверное, были же и тогда немецкие прихвостни, о которых бы написала или хотя бы упомянула «Нива». Но «Нива» о них молчала, словно их и не было вовсе.

А может, и не было в самом деле?

Но почему тогда их развелось столько в эту войну, чья в том вина или в чем причина? В самих этих людях или, может, в немцах-фашистах с их жестокой политикой тотального устрашения или тотального уничтожения? Или того и другого вместе?

Начинало темнеть. Агеев все ниже склонялся над страницами журнала, едва разбирая шрифт текста и особенно подписей, когда его слух уловил тихий прерывистый стук внизу, заставивший его тревожно встрепенуться. Мария тоже подхватилась рядом, испуганно округлив глаза; стук явственно повторился в тишине пустующего дома, и уже не было сомнения, что стучали в окно в кухне. Мария, как всегда, молча юркнула в темное подстрешье за сундуком, а он, торопясь и оступаясь в темноте на перекладинах, спустился в кладовку, прикрыл за собой дверь на кухню. За едва светлевшими стеклами окна темнела чья-то фигура. Агеев вгляделся — нет, то была не Барановская и не кто-либо из знакомых. Он подошел к двери и вынул крюк из пробоя.

По ту сторону порога стоял немолодой уже человек с многодиевной седой щетиной на щеках, в мокром картузе и намокшем брезентовом плаще. В опущенной руке он держал до половины набитый чем-то холщовый мешок.

— Вам кого? — спросил через порог Агеев.

— Я от Волкова, — тихо сказал мужчина и умолк в ожидании ответа.

Внутри у Агеева что-то радостно встрепенулось, он шире растворил дверь и впустил человека на кухню.

— Я вас так ждал... Проходите...

— Нет, — усталым голосом сказал человек. — Некогда. Тут вот вам... мыло. Передать на станцию, сказали. Знаете?

— Да? На станцию? Мыло?..

Агеев старался сообразить все сразу, чтобы четко понять свою задачу, но, кажется, чего-то понять не мог. Можно было догадаться, что передать следует Молоковичу, но мыло?.. Зачем ему мыло?

— Ну, я пойду, — тем временем сказал человек, жестко шурша мокрым плащом, так и не отойдя от порога. — Ждут меня.

— Что ж, спасибо, — почти растроганно сказал Агеев, полнясь своей тайной радостью оттого, что вот наконец вспомнили, доверили, значит, прочь подозрение, все хорошо. А он столько думал, сомневался, переживал.

Все полнясь радостным оживлением, он проводил гостя во двор, оглянулся на пустую улицу, уже тонувшую в надвигавшихся ненастных сумерках. Гость, кивнув головой, накинул на картуз капюшон и быстро пошагал вдоль двора, через огороды, к оврагу. Наверно, именно там его ждали. Агеев ни о чем больше не спрашивал (не было для того ни времени, ни возможности), теперь он думал, что вряд ли этот человек мог ему что сообщить. Видно, было он просто связной, которому поручили передать что-то, он и передал, о чем было разговаривать? Впрочем, и без разговора сам факт этой передачи свидетельствовал о многом, и прежде всего о доверии к нему, Агееву. Вот только мыло! Прошлый раз — рваная обувь, теперь — мыло... Хотя могло так статься, что и обувь, и мыло были в цепи какой-то сложной тайной зависимости, в которую его не посвящали. Но, может, так надо. Во всяком случае, он был рад, что длительная неопределенность и выжидание остались позади, его пребывание здесь снова обретало смысл, только бы повезло, не сорваться бы на какой-нибудь мелочи.

Не знал он тогда и не подумал даже, что именно с этой встречи и этого мыла начнется для него длинная цепь самого трудного и самого страшного, что будет стоить ему здоровья, крови, а его соратникам — жизни...

Оставлять мешок с поклажей на кухне было рискованно, и он втащил его на чердак к Марии. В этот раз она не испугалась, она уже поняла из разговора на кухне, кто к ним приходил, и теперь с любопытством смотрела, как он нетерпеливо распутывает завязку на горловине мешка. Развязав его, Агеев и впрямь

обнаружил там беспорядочно сваленные бруски хозяйственного мыла, от которого, однако, шел несколько иной, чем от мыла, запах, и он вынул один брусок из мешка.

— Что это? Это мыло? — вопрошала рядом Мария.

— Мыло, — сказал он просто, уже ясно поняв, какое это «мыло». В мешке лежало около двух десятков брикетов прессованного тола, и ему стало понятно, зачем его потребовалось передать на станцию.

— А зачем мыло? — допытывалась Мария. — Это что, на обмен? На продажу?

— Это надо передать на станцию, — скупо ответил Агеев, не решаясь ничего больше объяснять Марии. Он по-прежнему был не вправе посвящать ее в свои подпольные сложности, тем более вовлекать ее в них.

Как только смерклось, они перешли в сарайчик, куда он перетащил мешок с поклажей. Мария сразу юркнула под кожушок на топчане, а он подумал, что надобно подождать. Наверное же придут за толом — Кисляков, Молокович или еще кто, надо их встретить во дворе и передать мешок. Или, может, завести на кухню, там поговорить обо всем, но без Марии. Вот приходилось прятать ее и от его знакомых, иначе как он объяснит им ее здесь пребывание.

Агеев вынес тяжеловатый таки мешок в темный хлев и на время припрятал его за косяком, на скорую руку закидал какими-то обломками досок. Сам все еще не в состоянии унять радостного возбуждения, прошелся по двору, потом, чтобы не мокнуть на мелком дожде, стал под стреху, застегнул телогрейку. Конечно, стоять здесь, может, и не имело смысла, к нему могли прийти и среди ночи, и под утро, но он просто не мог спокойно ждать, тем более с такой передачей под боком. К тому же в любой час могла нагрянуть полиция, тот же Дрозденко, и Агеев должен был позаботиться, чтобы не застали его врасплох.

Он проторчал под стрехой час или больше, вокруг уже совсем все стихло, замерло; сад, двор и огороды скрылись в притуманенной темени. Настала ночь. Дождик то сыпал, налетая с порывами ветра, то вроде переставал. Во дворе, однако, никто не появлялся, никого за весь вечер не слыхать было и на улице — ни прохожего, ни повозки, ни даже бродячей собаки. Впрочем, Агеев больше вслушивался и всматривался в сторону огорода и тропинки к оврагу, скорее всего, должны прийти именно оттуда. Но шло время, никто ниоткуда не появлялся. Наверное, за полночь он тихонько прошел через хлев к двери сарайчика. Он думал, Мария давно уже спит, а она, закутавшись в кожушок, одиноко сидела на сенничке, прислонясь спиной к стенке.

— Ну что? Пришел кто-нибудь? — зашептала она.

— Спи. Почему не спишь? Придут. Может, позже.

Он присел рядом, не снимая мокрую телогрейку, и она в кожушке подалась к нему.

— Ой, какие у тебя холодные руки! Дай я погрею. Дай вот сюда...

— Холодные. Испугаешься...

— Как ледышки! Вот я их согрею, — говорила она тихонько, вся съеживаясь от прикосновения этих его холодных рук и плотнее засовывая их себе под мышки. — А кто к тебе должен прийти, ты знаешь?

— В том-то и дело, что не знаю. Но кто-то придет.

— А если полиция?

— Полиция уже приходила. Больше не придет, — сказал он тихо, без должной, однако, уверенности.

— А если те, твои, не придут?

— Ну как не придут? Мыло нужно...

«Мыло», конечно, нужно, думал он, но вот Кислякова нет уже вторую неделю, и Молокович не знает даже, что с ним приключилось. А вдруг действительно из их налаженной цепочки связи и подчиненности выпало какое-то важное звено, что тогда? Как тогда связаться? И что ему делать? Ждать или проявить инициативу самому?

Отогрев возле Марии свои озябшие руки, Агеев все-таки уложил ее на топчане, плотнее закутал кожушком, а сам снова вышел во двор. Дождя теперь, кажется, не было, но ветер дул с большей силой, стало заметно холоднее, чем вечером. Агеев прошелся по мокрой осклизлой тропе в огород, остановился, прислушался. В глухой непроницаемой темени слышны были беспорядочные порывы ветра и неспокойный, мятущийся шум вязов, черной стеной вставших на краю оврага. Никого вокруг вроде не было, и он вернулся к хлеву. Все-таки здесь было затишнее и можно было ждать дальше.

И он ждал, то прячась от ветра в хлеву, то прохаживаясь по двору, то останавливаясь под крышей, весь в напряженном внимании, сторожко прислушиваясь к любому звуку извне. Но эта ночь выдалась на редкость скупой на звуки, из местечка почти ничего не было слышно, а из-за оврага со стороны кладбища недолго долетал отдаленный собачий перебрех, который как-то незаметно, сам по себе иссяк. И снова наступила тишина.

С полночи от долгого стояния начала ныть раненая нога, набрякла болезненной тяжестью, и он, нащупав в хлеву пустую кадку, опрокинул ее на проходе и сел. Спать ему не хотелось, терпеливое ожидание к утру стало прорываться приступами беспокойства, неясной тревоги: почему же к нему не идут? Кроме того, что взрывчатка нужна там, на станции, она еще была серьезной опасностью здесь, на усадьбе. В случае малейшего подозрения, конечно же, все перетрясут и найдут, такую поклажу спрятать не просто. Разве что закопать на огороде? Но это если надолго. А прийти могли в любой час дня и ночи. Особенно ночи. Но вот не шли. А может, все-таки следовало доставить ее на станцию самому? Может, сейчас там Молокович, как и он здесь, ждет прихода его и тоже не спит всю ночь? Но как он придет? Он даже не знает, где та станция, в какой стороне. Да и дойдет ли он с ношей, хромой, мало кому тут знакомый и потому для всех подозрительный?

Черт знает, что делать.

Когда забрезжил поздний рассвет, он понял, что ночь прошла понапрасну, и разбудил Марию.

— Пора. Пойдем на чердак.

— Что? Уже утро? А я так уснула, — и, вся разморенная, еще сонная, с сомкнутыми веками, она обняла его за шею.

— Пойдем на чердак. Там доспишь, — сказал он шепотом, целуя ее рассыпавшиеся на голове волосы.

— Ну, приходили? Ты отдал?

— Понимаешь, не приходил никто. Не знаю, что делать...

Его тревожная озабоченность сразу передалась Марии, та прогнала остатки сна и, вскинув тонкие руки, быстро причесала короткие волосы.

— Раз передали, так, наверно, придут, — попыталась успокоить его Мария.

Он тоже хотел думать так и верить, что вот-вот кто-то должен прийти. Правда, с рассветом уверенность его поубавилась, стала сильнее донимать тревога: наверно, что-то там не заладилось. Они перешли на чердак, поели вчерашней картошки. Впрочем, Агеев почти не ел, посидел возле Марии и снова спустился на кухню, вышел во двор.

Весь тот день до самого вечера он не мог найти себе места и все бродил по двору, стоял под стрехой, сидел на кухне. Раза два сходил по стежке к оврагу, вглядался в его мокрые, неприютные заросли с остатками рыжей листвы на деревьях. Но в овраге было глухо и пустынно, как только может быть пустынно в лесу глубокой осенью, нигде никого не было, как никого не было и на улице, даже у соседей во дворах и огородах, будто попрятались все в предчувствии какой-то скорой беды... Мария, закутавшись в кожушок, сидела на одеяле и, как только он появился в лазу, встревоженно уставилась на него. Он отрешенно бросил:

— Нет никого...

Она начинала выспрашивать, кто там, на станции, и зачем надо мыло, но он почему-то перестал отвечать на эти ее расспросы, они его раздражали, и требовалось усилие, чтобы скрыть это раздражение. Минуту посидев на чердаке, он снова спускался вниз, замерев, стоял возле окна на кухне, снова выходил во двор.

Так прошел день, и снова настала ночь. Они перешли в сарайчик. В этот раз измученная его тревогой Мария также не прилегла ни на минуту, стояла на проходе в хлеву, пока он потерянно бродил по двору. Когда он появлялся в дверях, спрашивала шепотом: «Ну что? Никого, да? Что же делать?»

Что делать, он не знал тоже, но по мере того, как убывали темные минуты ночи, все росла его недобрая уверенность, что это все не случайно, что-то стряслось. Может, какая неувязка, может, схватили кого, а может... А может, те, на станции, уже отказали ему в доверии и выжидают. Выжидают, как он поведет себя с этим толом, кому передаст.

Когда стало светать, озябший и измученный напрасным ожиданием, он вошел в хлев и в проходе столкнулся с Марией. Та ждала его, в округлившихся ее глазах стыло страданне. Похоже, она уже не решалась ни о чем его спрашивать, сама все понимала.

— Вот такие дела, — глухо произнес он, чтобы сказать что-нибудь.

— А может, надо туда отнести? Может, передать надо? — вдруг заговорила Мария.

— На станцию?

— Ну. Это же недалеко. Сразу за местечком.

— Понимаешь, я даже не знаю. Я же там не был ни разу.

— Давай я сбегаю. Кому там отдать, ты знаешь?

— Знаю. Только... Понимаешь...

Он решительно не знал, как отнестись к этой ее готовности. Конечно, в какой-то степени это был выход из его прямо-таки тупикового положения, но он же порождал и несколько новых, трудноразрешимых проблем, главной из которых был риск, которому он подвергал Марию.

— А если полиция? — сказал он.

— Ну и что полиция? Лишь бы на Дрозденко не нарваться. А остальные, что они мне!

— Ой, ой, Мария... Ну еще подождем. Может, кто утром придет. Все-таки ночью комендантский час...

В холодном рассветном тумане они перебежали через слякотный двор на кухню, Мария поднялась к себе на чердак, а Агеев задержался внизу. В голове у него все гудело от бессонной ночи, тело расслабло, мысли вяло и бесплодно шевелились в поисках выхода. Все его намерения смешались, он не знал, как поступить лучше. Ждать? Довериться времени? Случаю? Или положиться во всем на Марию? Но ведь Мария — человек посторонний, вправе ли он вовлекать ее в столь серьезное и рискованное дело? Но и самому тащиться на станцию... Все-таки на нем замыкалось несколько цепочек связи, мог ли он так легкодумно рисковать собой? И тем самым ставить под угрозу эту, не им налаженную связь? Разумнее было рискнуть кем-либо другим — другим всегда рисковать удобнее, не без злорадства подумал Агеев. Но Мария... И понимает ли она, догадывается ли, какое в этом мешке мыло? И следует ли ему все объяснять, не лучше ли ей в этой ситуации остаться в наивном неведении?

А если ее схватят?

Нет, решил он, если посылать Марию, то надобно ей все объяснить как есть, он не мог с ней играть в жмурки. Ведь это игра со смертью, где ставка — жизнь. Делающий эту ставку должен ясно себе представить, чем он рискует...

Он все-таки ждал и все это лениво-рассветное утро прислушивался к глухим звукам извне — случайным голосам из соседних дворов, кудахтанью курицы за забором. Из кухонного окна было видно, как по улице в местечко прошла пожилая тетка в большом, накинутом на плечи платке, несшая в обеих руках тяже-

лые, наполненные чем-то корзины, и он догадался — на базар. Кажется, сегодня было воскресенье, возле церкви собирался базар, что-то продавали там, покупали. Впрочем, Агеев там не был ни разу, слышал, рассказывала Мария.

А что если вот так... в корзине?

Он пошарил глазами по углам кухни, по стенам, заглянул под стол. Нет, подходящей корзины тут не было, картошку обычно копали в старое жестяное ведро с двумя дырками в дне... И он вспомнил, что на чердаке за дымоходом среди прочего хлама валялась какая-то корзина. Та, наверное, сгодилась бы... Поспешно он поднялся на чердак, прежде чем пролезть в лаз, взглянул на постель под окном и встретился взглядом с Марией. Та не спала, лежала на боку, завернувшись в лоскутное одеяло, и в ее глазах светилось что-то отрешенное, далекое отсюда и от его забот. Но тревоги в них, кажется, не было, она как-то быстро успокоилась, отошла от своих недавних реальных и надуманных страхов. Беспокойство теперь целиком перешло к нему, и Агееву стоило труда утаить его от Марии.

— Ну что? Нет? — встретила она его вопросом.

— Нет.

— А ты что? Иди сюда. Придут, постучат.

— Боюсь, не придут.

Он сразу нашел эту корзину, плоско лежавшую в пыли среди ненужного тряпья и рухляди. Это была старая продолговатая плетенка, похоже, из рисовой соломки, с изрядно прохудившимся дном. Но дно можно было заделать картонкой, а ручки были в исправности — две прочные бечевки, наверное, для удобства обмотанные красным лоскутом. Сумка была в самый раз — обычная хозяйственная, в которой можно было носить что хочешь: вещи, продукты на базар и с базара. Недолго повертев плетенку в руках, Агеев решительно вытряхнул из нее мусор.

— Вот, для мыла.

— Правильно! Вот я и отнесу, — решила Мария и подхватилась из-под одеяла. — Когда, сейчас отнести?

Агеев растерялся. Она его почти убивала своей столь легкодумной готовностью, но и разом снимала главное в его затруднении, ничего ей не надо было объяснять или тем более ее упрашивать. Может, так будет и лучше, подумал он. Однако все медлил, тянул время, отодвигая тот самый последний момент, когда перерешить уже будет поздно. Только долго тянуть было невозможно, надо было воспользоваться утром, когда шумел базар и в местечко и обратно шли люди.

— Мария, тут такое дело, — нерешительно начал он, опустив корзинку. — Наверное, ты догадываешься, что это такое?

Она, похоже, удивилась — не столько его словам, сколько тону, каким они были сказаны, с мучительным преодолением себя, недомолвками и намеком.

— А что? — просто спросила она.

— Это не мыло. Это взрывчатка.

— Взрывчатка?..

По ее милому, такому дорогому теперь для него лицу скользнула тень мимолетного недоумения или даже испуга, но Мария быстро овладела собой и просветленно улыбнулась.

— Ну что ж, я поняла. Кому передать?

— Мария! Ты понимаешь, если попадешься...

— Все понимаю, не маленькая, — сказала она и, встав на носки, поцеловала его три раза — в обе щеки и в лоб. Потом враз отстранилась, взялась за красные ручки корзины, которые он все еще придерживал в своих руках. — Так кому передать?

Это мучительное объяснение бросило его в жар, потом он медленно покрылся холодным потом. Знал бы, куда посылал ее и что за этим последует. Потом сотни раз он вспоминал это расставание и поспешный разговор с ней, ее поцелуи и взгляды, искал, что сделал не так, чего не объяснил, упустил главное. Он уже почувствовал, как что-то пошло наперекосяк, словно под откос, непонятным роковым ходом, но изменить ничего не мог. Подгоняло время, волнение, и он отдался на волю случая, положился на судьбу и... Марию.

— Знаешь, где кочегарка?

— Ну, за пакгаузом, кажется.

— Вот там работает такой Молокович. Вызовешь его.

— Хорошо. Это я мигом. За час обернусь, ты жди.

Слегка подрагивающими руками он наладил корзину, обложкой от старой книги из сундука укрепил ее дно. Потом переложил туда тол. Получилось почти до верха, и Мария прикрыла его сверху какой-то найденной на чердаке цветной тряпицей. Агеев поднял корзину, повесил на руку — было тяжеловато, но нести было можно. Они спустились на кухню, надо было прощаться. Все внутри у Агеева мелко тряслось, как в ознобе, душа его исходила рыданием, и он едва сдерживал себя. Мария же, напротив, была спокойной, слегка озабоченной, но деловой и собранной, полной так нежданно обретенной решимости.

— Ты как, по улице? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Нет, через овраг. А там в поле и на станцию.

— А полицаев не встретишь?

— Они больше в местечке. К тому же базар сегодня.

— Ну, гляди. Передашь и сразу сюда. Я жду.

— Спасибо, милый!

Она снова поцеловала его в уголки губ и подхватила корзину. Агеев сразу определил — тяжеловата все-таки была для нее эта корзина, но уже ничего изменять не стал, почти в растерянности выпустил ее из кухни во двор. Скорым шагом она прошла вдоль хлева и сараев, возле дровокольни оглянулась, взмахнула ему свободной рукой и на мгновение улыбнулась — загадочно-печальной улыбкой, которую он запомнил до конца своих дней.

Когда она скрылась за углом сарая, он медленно, теряя остатки измотанных бессонницей сил, протопал к улице, огляделся. Никого вроде поблизости не было. Тогда, постояв, он вернулся на кухню и тяжело опустился на скрипучий стул возле стола. Его взгляд скользнул по картине на стене напротив, столь люби-

мой Марией, остановился на вымытой ею и прибранной посуде на краю стола, казалось, еще хранившей теплоту ее трепетных рук, и ему стало нестерпимо горько. Он сидел так долго, тупо уставясь невидящим взглядом в чисто подметенный Марией пол кухни, весь уйдя в слух. Время отмеривало свои минуты — его последние спокойные минуты в этом доме, в которых было ожидание и надежда. Однако ожидание его стало непомерно растягиваться, разбухать во времени, заполняя собой сознание, парализуя волю, и по мере его разрастания убывала, истончалась надежда. Наверное, прошел уже обещанный Марией час, минул второй. Откуда-то из-под стола появился Гультай, прошел на середину кухни и сел, испытующе поглядывая на Агеева. Что он хотел сказать, этот старый и мудрый кот? И что он понимал из того, что творилось в душе у Агеева? Спустя еще час Агеев уже начал думать, что совершил непростительную ошибку, что не надо было посылать Марию, что он просто не имел на то права — ни божеского, ни человеческого, что надо было подождать или идти самому. Если уж рисковать, то рисковать собой и никем другим, это был самый честный вид риска. А так... Но давно сказано, что человек умен задним умом, когда совершенная ошибка уже неисправима и остается одно — принимать на себя всегда суровый и не всегда справедливый удар судьбы. Когда ожидание Агеева прерывалось особенно острой вспышкой нетерпения, он вскакивал со стула и начинал ходить по кухне, от входной двери до двери кладовки — пять шагов туда и пять обратно. Болела нога в бедре и колене, наверное, надо было поправить повязку, но он уже не обращал внимания на боль и на рану, он ходил и ходил до изнеможения, ни на секунду не переставая вслушиваться в тишину. Иногда ему казалось, идет, вроде бы слышались шаги по двору, но дверь не отворялась, и он понимал, что ошибся. И снова принимался ждать — исступленно, вопреки предчувствиям, а затем и вопреки всякому смыслу. Он не заметил, как минуло утро, и пасмурный осенний день незаметно перешел в еще более пасмурный вечер, и ждать уже было противно рассудку. Но он ждал. Еще он мог бы, наверно, уйти из усадьбы, скрыться в овраге, вообще покинуть местечко, но ведь он сказал ей, что будет ждать здесь. И он ждал. Он уже передумал всякое: и надеялся, и прощался с ней, и снова надеялся, и сам уже прощался со всем белым светом. Но ждал.

Удивительное дело, когда она была рядом все эти дни, недели и даже последнюю ночь, проведенную вместе, он больше пекся о своих горестных обстоятельствах, о связях, заданиях. Сейчас же, с той минуты, как расстался с ней, он ни о чем, кроме нее, думать не мог, похоже, он только теперь осознал, какую беду навлек на ее голову, и все остальное, что неделями занимало его сознание, отошло на второй план. Не то чтобы стало неважным, но отодвинулось, поблекло в своей значительности, заслоненное ее милым обликом, ее прощальной улыбкой — ее судьбой.

К ночи он уже четко понял, что проиграл, что допустил роко-

вой промах, и только тот факт, что все-таки эа день и вечер к нему никто не явился, давал ему кое-какое оправдаиие — не перед Марией, перед смыслом борьбы, в которую он был вовлечен. Все-таки, видно, следовало проявить инициативу, позаботиться о доставке тола на станцию, где его ждали. Тут свою задачу ои понял правильно и постарался ее выполнить в срок.

Вот только какими средствамн?

В наступившей наконец глухой темиоте ночи нетерпенне его достигло предела, ои уже прикидывал, куда податься — на станцию по ее следам или еще раз попытаться разыскать Кислякова. Может, следовало прихватить пистолет, все-такн с оружнем было удобиее, а главное, для него привычнее. Но ои еще не решнл, куда идти, как вдруг услышал шаги со стороны улнцы — много тяжелых мужских шагов, зловеще прозвучавшнх по каменной отмостке двора, по которому тут же метнулся длинный н узкнй, как немецкий тесак, луч фонарика. Этот луч затем ударил в кухоиное окно, резко высветив стол н тряпицей прикрытую на нем посуду, отбросившую косую четкую тень на вылинявшие обои стеиы. Агеев иистиктивио подался к кладовке, но остаиовился. Дверь уже широко отворилась, пахиув на него холодом улицы, и два ярких фонарика перекрестным светом совершеино ослепили его с порога.

— Вот он! И не прячется! Ах ты паскуда!

По голосу узиал сразу, это был Дроздеико. Однако, совершеино ослепнув от направленного на него света, Агеев ничего там не видел, и виезапный удар в левое ухо заставил его отлететь в стороиу. Ои наткнулся на поваленный стул, ио успел ухватиться за угол плиты н устоял на ногах.

— Ах ты гад! Предатель! А ну перевернуть все! Обыскать каждую щель! Пахом, действуйте! — запыхавшись, зло распоряжался Дрозденко. — А этого марш в подвал, я поговорю с ним!..

Все ослепляя его лучами двух фонариков, они торопливо облапали карманы его бриджей, под мышками, потом с силой толкнули в распахнутую дверь, и он с закрытымн от света глазами невидяще пошел по зиакомому двору к улице...

ГЛАВА 6

После похорои Агеев сидел в грустном одииочестве над своим обрывом, предаваясь малорадостным мыслям, как вдруг увидел на дороге у кладбища Шурку с Артуром. Одетые в летние безрукавки с иностраииыми надписями, в коротких штаиишках, мальчугаиы, явно торопясь друг перед дружкой, направлялись к нему. По их озабоченным порывистым движениям он скоро понял, что иа этот раз ие ради праздного любопытства — у них было дело. Так оно и получилось.

— Вас там приглашают, — запыхавшись, еще издали сообщил Шурка.

— Кто приглашает? — удивился Агеев.

— Ну там, на поминки.

— Ага. Дядя Евстигнеев сказал, — уточнил Артур.

«Вот как!» — удивленно подумал Агеев. Этот отставник, недавно испортивший ему на целый день настроение, теперь приглашал его на поминки. Конечно, лишний раз встречаться с ним у Агеева не было никакого желания, но все-таки поминки были по Семену, он подумал, что надо пойти.

— А где это?

— Ну там, недалеко. Мы покажем, — прижмурился против солнца Шурка. — Идемте...

Что ж, особенно собираться не было нужды, Агеев, в общем, был внутренне готов и, тяжело поднявшись, вслед за ребятами пошел по косогору к дороге. Копать сегодня все равно уже не было настроения, и он думал, что, может, лучше будет посидеть с людьми за общим столом, помянуть человека. Ровесник все-таки.

Мальчишки быстро семенили обочиной улицы, изредка озираясь на отстававшего Агеева, за мостком свернули в заросший травой переулок, перелезли сами и дождались, пока перелезет он через жердку невысокой изгороди, и стежкой по краю картошки вышли на незнакомую улочку вблизи оврага. Зады здешних усадеб, как и на его Зеленой, упирались в овражные заросли, над которыми величественно возвышалось несколько вязов — точно как когда-то подле усадьбы Барановской. Здесь в добротно срубленном новом доме с высоким коньком и настежь распахнутыми окнами слышался сдержанный шум голосов; во дворе стояли несколько мужчин и женщин, эти или молчали со скорбью на немолодых лицах, или, покуривая, негромко переговаривались возле забора. Из дома навстречу ему вышел разомлевший от жары Евстигнеев в своем неизменном темно-синем костюме, стал обмахивать раскрасневшееся лицо капроновой шляпой.

— Духота, как в бане, — просто сообщил он. — Знаете, пойдемте на воздух. На ветерок!

— А вон на бугорок, — отойдя от забора, предложил немолодой мужчина в кирзовых сапогах.

Евстигнеев начальственно огляделся:

— Правильно, Хомич! Позовите там кого... Вот Скорохода с Прохоренкой, — кивнул он в сторону тихо разговаривавших мужчин у калитки. — Ветераны все-таки.

— И это захватить, а? — с намекающей улыбкой спросил Хомич, и Агеев узнал в нем мужчину, который уносил с кладбища подушечку с наградами.

— Как хотите, — махнул Евстигнеев. — Пойдемте, товарищ Агеев.

Все обмахиваясь шляпой, он хозяйским шагом, не спеша прошел по двору.

— Вы это, товарищ Агеев, надеюсь, не обиделись на нас? — не оборачиваясь, на ходу спросил Евстигнеев. — Ну, за проверочку? Знаете, сигнал был, а сигналы мы должны проверять.

— Да нет, я ничего, — сказал Агеев. — Оно понятно.

— Ну и хорошо. А то некоторые, знаете, обижаются. Критика, она, знаете, особенно для малосознательных.

Агеев промолчал, словно польщенный тем, что вот избежал разряда малосознательных. И то хорошо.

— А покойник, он ведь и к вам похаживал, — между тем продолжал Евстигнеев. — Вроде дружки были.

— Да так, знаете...

— Ну а мы тут с иим десять лет... Еще как я военкомом был.

— Здесь военкомом? — переспросил Агеев.

— В течение ряда лет, — уточнил Евстигнеев. — До выхода в отставку.

Они перешли огород и еще раз одолели изгородь, не очень ловко перевалились через верхнюю жердь и оказались возле оврага.

— Вот присядем. Теперь тут хорошо. И покойничек, кажись, любил сюда забегать. С дружками, конечно, — с незлым укором говорил Евстигнеев, усаживаясь на примятой траве и вытягивая вниз короткие ноги в плотно зашнурованных черных ботинках.

Агеев примостился рядом.

— Я, знаете, человек прямой. Как и полагается военному. Не скрою, люблю порядок. А как же иначе? Во всем должна быть дисциплина и организованность.

Округлив белесые, слегка навыкате глаза, он с некоторым удивлением оглядел Агеева, и тот поспешил согласиться.

— Конечно, конечно...

— А у нас еще беспорядков великое множество. Особенно на периферии. Вот и покойник... Неплохой человек, ветеран и так далее... А порядка не признавал!

— Вот как?! — несколько фальшиво удивился Агеев.

— Именно. Пил!

— А он что, каждый день?

— Именно! И иикакого внимания на общественность. Я уже не говорю про этот бондарный цех, где он работал. Там они все такие... Но я сам беседовал с ним раз, может, десять...

— И каков результат?

— Безрезультатно! — взмахнул в воздухе шляпой Евстигнеев.

Через ограду уже перелезал Хомич с двумя бутылками в оттопыренных карманах брюк. Заискивающе или, может, виновато ухмыляясь, он водрузил бутылки на траву перед Евстигнеевым.

— Хоть вы и против, Евстигнеич, но...

— Я не против, — нахмурился отставной подполковник. — Теперь есть причина, полагается...

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Хомич и сказал, обращаясь к Агееву: — Покойничек тоже не против был. Сколько мы с ним тут посидели!..

— Да и ты недалеко от него ушел, — строго оборвал его Евстигнеев.

— Что делать? Такая, видно, судьба.

Все таинственно улыбаясь, Хомич принялся откупоривать бутылку.

Тем временем через огород не спеша шли низенький вертлявый брюнет в синей с белыми полосами спортивной куртке и долговязый блондин в сером костюме со странным выражением вытянутого лица. Когда они подошли ближе, Агеев увидел, что лицо у блондина на одну сторону, левая щека была вся сморщена, кожа на подбородке неестественно оттянута и все лицо как будто выражало испуг или удивление. Пришедшие подошли к компании и уселись рядом: брюнет возле Евстигнеева, тотчас тихо о чем-то заговорив с ним, блондин — возле Агеева, вытянув в овраг длинные, в сандалиях ноги.

— Курите? — вынул он из кармана серого пиджака пачку сигарет.

— Нет, спасибо, — покачал головой Агев.

Через жердь в заплоте уже лез небольшого росточка, щуплый и твердый, словно можжевеловый корень, очень живой человечек с продубленным худощавым лицом и бумажным свертком в руках. Он был в зеленой, военного образца сорочке с темным галстуком, короткий хвостик которого болтался на его груди.

— Вот закусон!

— Ну что ж, садитесь, Желудков. Хомич, налей понемногу, — привычно распорядился Евстигнеев, обрюзглое мясистое лицо которого немного уже поостыло в тени.

Пока Хомич разливал, все смотрели на два стакана, кособоко приткнутые в траве, а Желудков, опустившись на корточки, разворачивал газету с винегретом и кусками селедки.

— Значит, за старшего сержанта Семенова. За его память! — провозгласил Евстигнеев, взяв стакан, и молча передал его Агееву.

Второй стакан взял Желудков.

— Знаете, я не смогу, — смутился Агеев.

— Ну, сколько сможете.

Он поднес стакан к губам, водка ударила в нос почти отвратительным запахом, и он опустил руку. Желудков не спеша, размеренными глотками допивал до конца. Агеев отдал стакан Хомичу.

— Ну, чтоб ему там было чем похмелиться.

Евстигнеев недовольно крякнул:

— Хомич, неужели ты думаешь, что и там это самое... как здесь. Никакого порядка! Все бы вам одно и то же...

— Нет, там порядок! — блеснув быстрым взглядом, ершисто вспыхнул жилистый Желудков. — Там не то что здесь. Там как в войсках!..

— Тоже нашел порядок! — добродушно съязвил Хомич.

— А ты откуда знаешь, как в войсках? Ты что, долго служил? — нахохлился Евстигнеев.

— У меня зять прапорщик. Наслушался...

— Не говорите о том, чего не знаете! — отрезал Евстигнеев. — В войсках порядок. А вот на гражданке — далеко не всегда!

— Он знает, — подмигнул Агееву Желудков. — Двадцать пять лет отбахал.

— Двадцать восемь, к твоему сведению. Год войны считается за два.

— На твоем месте, Евстигнеич, можно было и тридцать. Ты же в штабе сидел?

— Да, в штабе! — приосанился Евстигнеев. — А ты что думаешь, в штабе легко?

— Дюже трудно, — прижмурился Желудков и потянулся за куском селедки. — Бумаги заедают.

— А думаешь, нет? Сколько мне вести полагалось? Учет личного состава по пяти формам. Передвижения и перемещения. Журнал безвозвратных потерь. Строевые ведомости. Приказы! А наградной материал?..

— Да, видно, спина не разгибалась, — в тон ему ответил Желудков, жуя хлеб с селедкой.

— И что же ты думаешь: порой по неделям не разгибался, — все больше распалялся Евстигнеев.

Он обвел всех вопрошающе-настороженным взглядом, несколько задержался на Агееве, который вслушивался в перебранку с некоторым даже интересом.

— Вот некоторые думают, что только они и воевали. Если он там летчик, то уже и герой! Но в истории Великой Отечественной войны записано черным по белому, что победа была достигнута совместными усилиями всех родов войск...

— Это мы слыхали, — отмахнулся Желудков.

— Нет, Евстигнеич прав, — вдруг вставил скороговоркой полноватый брюнет. — Мы это недооцениваем.

— Что недооцениваем? — поднял голову Желудков. — Ты, Скороход, кем на войне был?

— Ну, военным журналистом. А что?

— Журналистом? В каком ты журнале писал?

— Не в журнале, а в газете гвардейской воздушной армии.

— А ты что, летчик? — не унимался язвительный Желудков.

— Я не летчик. Но я писал, в том числе и о летчиках.

— Да как же ты о них писал, если сам не летал?

— С земли виднее, — хитро подмигнул одним глазом Хомич.

— А что ж, иногда и виднее, — серьезно заметил Скороход. — Знаешь, чтобы оценить яичницу, не обязательно самому нести яйца.

— Яйца! — взвился Желудков и даже привстал на коленях. — Вот бы тебя в стрелковую цепь да под пулеметный огонь! Ты знаешь, что такое пулеметный огонь? Ты не знаешь?..

— Зачем мне знать? Ты же все знаешь...

— Я-то знаю. Я же командир пулеметной роты. Пулеметный огонь — это ад кромешный. Это кровавое тесто! Это конец света! Вот что такое пулеметный огонь! Кто под него попадал и его случайно не разнесло в кровавые брызги, тот свой век закончит в психушке. Вот что такое пулеметный огонь! — выпалил Желудков и обвел всех отсутствующим взглядом.

Беспокойно поерзав на своем месте, Евстигнеев сказал:

— Ну, допустим, есть вещи пострашнее твоего пульогия.

— Нет ничего страшнее. Я заявляю!

— Есть.

— Например?

— Например, бомбежка.

Желудков почти растерянно заулыбался:

— Я думал, ты скажешь — начальство! Для штабников самый большой страх на войне — начальство.

— Нет! — решительно взмахнул рукой Евстигнеев. — Если офицер дисциплинирован и свою службу содержит в порядке, ему нечего страшиться начальства. А вот бомбежка — действительно...

Не сводя глаз с Евстигнеева, Желудков опять поднялся на коленях:

— А что, кроме бомбежки, вы видели там, в штабах? Артиллерия до вас не доставала, минометы тоже. Снайперы вас не беспокоили. Шестиствольные до вас не дошвыривали. Единственно — бомбежка.

— Ты так говоришь, словно сам войну выиграл, — вставил Скороход. — Подумаешь, герой!

— А я и герой! — с простодушным изумлением сказал Желудков. — Я же пехотинец. А вы все — и ты, и он вон, и он, — поочередно кивнул в сторону Скорохода, Евстигнеева и Прохоренко, все время молчавшего за спиной Агеева, сказал Желудков, — вы только обеспечивали. И, скажу вам, плохо обеспечивали...

— Это почему плохо? — насторожился Евстигнеев.

— Да потому, что я шесть раз ранен! Вы допустили. Вовремя не обеспечили. А должны были. Как в уставах записано.

Стоять на коленях ему было неудобно, и он сел боком, поближе подобрав коротенькие ноги. Заметный холодок пробежал в таких теплых поначалу взаимоотношениях ветеранов, и первым на него отреагировал, как и следовало ожидать, Евстигнеев.

— Товарищ Желудков, в армии полагается каждому выполнять возложенные на него обязанности. Я выполнял свои. Товарищ Скороход свои. И выполняли неплохо. Иначе бы не удостоились боевых наград.

— Это ему так кажется, что он больше всех пострадал, — живо отозвался Скороход. — Я хоть не ранен, зато я в действующей армии пробыл от звонка до звонка. Другой раз намотаешься до одури и думаешь, хоть бы ранило или контузило, чтобы поваляться с недельку в санчасти. Где там! Работать надо. Надо готовить материал, писать, править. Да и за материалом частенько приходилось самому отправляться. В окопы, на передок, в боевые порядки. На разные аэродромы. А дороги!.. Нет, знаешь, Желудков, если шесть ранений, то это сколько же месяцев ты от передовой сачканул?

— А я тебе сейчас скажу, сколько. Два тяжелых ранения по

три месяца и четыре легких по полтора-два месяца. Итого примерно четырнадцать месяцев.

— О, видели! — обрадовался Скороход. — Четырнадцать месяцев в тылу, когда на фронте кровопролитные бои! Мне бы половину твоего хватило за всю войну. Вот отоспался бы...

— Вот-вот, — без прежнего, однако, азарта сказал Желудков. — Да́ тебе бы трех месяцев моих хватило. Тех, что я в гнойном отделении провалялся. Когда легкие выгнивали от осколочного ранения, повеситься на спинке койки хотел.

Блондин с обгорелым лицом, молча сидевший возле Агеева, потянулся за опрокинутым на траве стаканом и сказал с укором:

— Да будет вам, нашли из-за чего браниться! Давайте еще нальем. Хомич, чего спишь?

— Я всегда пожалуйста, — встрепенулся Хомич.

— Не одни мы воевали. Вот и товарищ, наверно, тоже. Извините, не знаю вашего имени-отчества, — вежливо обратился сосед к Агееву, и левая щека его странно болезненно напряглась.

— Да просто Агеев.

— Были на фронте или в партизанах?

— И на фронте, и в партизанах, — сказал Агеев. — Везде понемножку.

— Ну, на этой войне и понемножку можно было схлопотать хорошенько. Я вон за полгода четыре танка сменил. После четвертого уже не успел — война кончилась.

— Горели?

— И горел, и подрывался. Всякое было.

— Командиром или механиком? — поинтересовался Агеев.

— Он у нас по механической части, — сказал Желудков. — И теперь шоферит в «Сельхозтехнике».

— Значит, пошла впрок фронтовая выучка, — сказал Агеев. Желудков подхватил:

— И Скороходу вон тоже пригодилась. Да еще как! До редактора газеты дошел. И теперь вон нештатный в областной газете.

— А тебе завидно? — глянул на него Скороход.

— А мне что! Моя специальность после войны ни к чему. Я — куда пошлют. Где только не был...

— А теперь где? — спросил Агеев.

— Теперь бондарным цехом командую. В промкомбинате. У меня же и Семенов работал. До последнего своего дня. За станком и помер — клепки спускал.

— Я знаю, — сказал Агеев. — Тоже человек трудной судьбы. Кое-что рассказывал.

— Наверно, не все. А как он восемь лет белых медведей пас, не рассказывал?

— Этого нет.

— Этого уже не расскажет. Так и унес с собой.

— Каждый человек что-то уносит с собой, — сказал Скороход со значением. — Человек — это целый мир, писал Хемингуэй.

— Может, и хорошо, что уносит, — буркнул Желудков.

Напротив недовольно завозился Евстигнеев.

— Нет, я ие согласен. Нечего уиосить. Если ты человек честный, приди и расскажи. Коллектив поймет. И поможет.

— А что если иа душе такое, что ие поймет? И не поможет? — сказал Желудков.

— Тогда прокурор поймет, — осклабился Хомич. — Этот самый поиятливый.

Евстигнеев иасупился и с раздражеиием выговорил:

— Ты ие скалься Хомич. Я дело говорю, а ты свои шуточки. Хороший коллектив всегда поймет. Даже если в чем н оступился. И поможет исправиться.

— Вон как Семеиу, — тихо бросил Хомич.

— А что Семену? Семен и не думал нсправляться. Он знал свою соску сосать.

— Вот оттого и сосал, — сказал Желудков. — Что никто не помог, когда надо было. Он же у тебя рекомендацию просил? Просил. Ты ему дал?

Евстигнеев искренне удивился:

— Как я ему дам? Он из пивной не выходил, скандалил с женой. На общественность не реагировал, а ему рекомендацию?

— Э, это уже потом — пивная и все прочее, — сказал Желудков. — А тогда он еще и не пил. Тогда он дом строил, вот этот самый. И ты ие дал потому, что у него там в деле что-то значилось. С войны.

— Ну хотя бы и так. Хотя бы н значилось. Тем более я не мог дать.

— Бдительный!

— Конечно! Разве можно иначе? Это мой долг.

— Однако ж Шароварову дал. Молодой, активный. Под судом и следствием не был, на оккупированной территории не проживал. Не пьет, не курит. Лихо командует райзагом. А что он тогда уже спекулятивные махинации проворачивал, об этом же в деле не написано. Вот ты и дал. А через год его исключили и судили. И что ты? Покраснел?

— Знаете, товарищ Желудков, вам больше пить сегодня нельзя. Я запрещаю, — подумав, сказал Евстигнеев и решительно сгреб бутылку с остатками водки. — Довольно! Вы шельмуете старшего офицера. Я все-таки подполковник, а вы капитан!

— Уже сият с учета, — неожиданно улыбнулся Желудков. — Так что ты опоздал.

— С чем опоздал?

— С нравоучением!

— Во дает! — восхищенио ухмыльиулся Хомич. — Во дает!

— Ничего подобного! Это уже пьянка! Вы забылись, зачем собрались.

Сказав это, Евстигнеев с усилием поднялся на ноги н с бутылкой в руке направился к изгороди.

— Оставь хоть бутылку, будь человеком! — крикнул вслед Желудков, ио Евстигиеев не оглянулся даже.

Посидев иемного, вскочил и Скороход, поспешил за подполковником. Желудков пересел на его более удобное место.

— Ну и черт с ними! Покурим на природе. Прохоренко, дай сигарету, — сказал он почти спокойно.

Они закурили втроем, помолчали. Пряча в карман сигареты, Прохоренко рассудительно заметил:

— Не надо было его задевать. Давал, не давал, кому давал — наше какое дело?

— Ему-то до всего есть дело. Больно активный.

— Да он безвредный, — вставил добродушно Хомич. — Шебуршит, да все без толку. Пошел со Скороходом в шахматишки сразиться.

— Да ну их, этих шелкоперов! — снова повысил голос Желудков. — Терпеть не могу. И на войне не терпел. За что их уважать? Бывало, если какая операция намечается, сроки ведь ужатые, так эти штабы на бумаги все время и угробят.

— Бумаги, они и на войне — главное дело, — задумчиво проговорил Прохоренко.

Они, однако, успокаивались. Желудков уже не зыркал вокруг напряженным взглядом, Прохоренко был невозмутимо спокоен, а на пожилом, иссеченном морщинами лице Хомича то и дело проглядывала почти озорная усмешка.

— И этот Скороход уже два года на пенсии, а гляди ты, гонору сколько! В воздушной армии воевал! — вспомнил Желудков.

Прохоренко сказал:

— Теперь что! А вот посмотрел бы ты на него, как он демобилизовался в пятьдесят пятом. Голубой кант, фуражка с крабом, все летчиком представлялся. Авторитет был, ого! На все местечко один летчик. Устроился в областную газету собкором. Все об успехах писал. А заголовки какие давал: «На фронте уборочной страды», «Битва за урожай», «Атака на бесхозяйственность». Видал он хоть раз в жизни атаку...

— Ладно, ну их! — махнул рукой Хомич.

Но теперь, хотя и запоздало, захотелось, видно, высказаться Прохоренко:

— На фронте под Сандомиром один такой приехал в бригаду. Дали ему в штабе списки отличившихся, а он говорит: «Хочу сам в танке поехать». В атаку, значит. Ну, комбат говорит: «Прохоренко, возьмешь корреспондента». А у нас был некомплект, радист выбыл. Правда, и рация не работала, только пулемет. Так что свободное место. Надел он шлем, устроился на сиденье, поехали. Немцы как начали болванками лупить, только окалина от стенок брызжет, пассажир наш сжался, растерялся, только что «мамочка» не кричит. А потом нас подбили на минном поле, возле первой траншеи. Хорошо, не загорелись, но моторную группу разворотило здорово. И этот друг первым к нижнему люку. Лейтенант Огурцов говорит: «Стой, сиди!» Потому что куда же лезть, из траншеи враз срежут. А так, может, еще что-нибудь высидим... Еще по нас несколько раз болванками врезали, проломили броню, здорово башнера ранили. Башнер кровью истекает, а мы сидим. Потому что некуда лезть — верная ги-

бель под таким огнем, да и этого друга едва удерживаем. Башнер к вечеру помер. Досидели до ночи, по одиому выбрались, кое-как доползли до своих, и пассажир наш прямиком в санбат — иервное потрясение. А меня утречком в другую тридцатьчетверку пересадили, опять рычаги в руки и — вперед, за Родииу!

— Это что, танк — все-таки броня, защита, — обнажая нездоровые зубы и стоияя с лица наивную улыбку, начал Хомич. — А вот как у иас, в партизанах... Весной сорок четвертого, в прорыв, ага. Прорвались, да не все. Некоторые не успели — захлопнул он коридор тот. И взял в колечко. Да как начал по пуще гонять, разрывными крестить, только треск стоит. Ну, отстреливались, бегали, совались туда-сюда, и осталось нас всего ничего, два десятка ребят, и почти все ранены. Ночью, когда немного утихло, пересидели в болоте, утром выбрались — куда деваться? А он цепями пущу прочесывает, все обстреливает, куда не долезет — огоньком! Ну, нашлись у нас некоторые, говорят: на елку залезть. Елки густые, снизу ни черта не видать, вот ребята и позалазили, ремнями к стволам попривязывались, чтоб не упасть, значит, долго сидеть собрались. Я тоже забрался повыше, привязался, сижу, покачиваюсь на ветру — хорошо! Но, слышу, уже затрещало, идет, значит, цепь. И тут, слышу, овчарки лают. Э, не дело сидеть! Кувырком вниз, еще бок до крови содрал, и дай бог иоги! Бегал от тех цепей и так и этак, опять ночь в болоте отсидел, под выворотиной прятался, возле дороги в пыльной канаве полдня пролежал, кое-как выбрался. Когда оцепление сняли. Потом на фронт попал, в Восточной Пруссии отвоевался. В сорок пятом осенью по первой демобилизации прихожу домой (я же из Ушачского района), слышу как-то, говорят: в Селицкой пуще скелеты иа елках сидят. Подвернулся случай, заехал. Действительно, воронье вьется, каркает, пригляделся — знакомые места. А на елках беленькие косточки сквозь ветки видиеются, ремиями попривязаны, иекоторые с винтовками даже. Сиимали потом, хоронили...

— Ну а как же он их все-таки увидел иа елках? — спросил Агеев.

— В том-то и дело, что он ни черта не увидел — овчарки! Та стерва учует, подбегает к елке и облаивает. Ну автоматчик подходит и — очередь вверх по стволу. Ну и крышка. Которые сразу биты, которые раиены, сами потом доходят. Но привязаиы, не падают. За полтора года воронье обглодало...

— Да-а-а, — протяиул Желудков. — Было дело! Да ну его к черту! Вот прорвалось из-за Семеиа этого. А так я и вспоминать не хочу... Хорошая погода, рыбалка, скоро грибы пойдут.

Агеев тихо сидел иа траве, рассеянно слушал то взволноваиио-сердитые, то умиротворенные временем иевеселые речи ветеранов, и внутри у него поднималось вроде бы даже завистливое чувство к ним — ему такой войны ие досталось. Ему досталась другая, о которой и рассказать так вот откровенно, как рассказывают эти люди, не сразу решишься. Ои и не рассказывал иикому, долгие годы носил все в себе. Разве жене поведал кое-что из

своей недолгой партизанской жизни, в которой у него было мало интересного, так как на задания он не ходил — плавил на базе тол, готовил взрывчатку. После освобождения в сорок четвертом его как специалиста направили в артснабжение, где он света не видел за штабелями мин, снарядов, патронов, гранат, погрузкой и выгрузкой, отчетностью и учетом. А сколько передряг было с транспортом, которого всегда не хватало. Но это обычные хлопоты, которых полно в жизни любого снабженца или хозяйственника. Хотя бы и на войне.

— Вы уже на пенсии? — спросил Агеев у Хомича, который показался ему тут самым пожилым, кроме разве что Евстигнеева.

Хомич несогласно сдвинул редкие брови:

— Работаю! Вообще мог бы идти, но знаете... Гроши надо.

— Он у нас многосемейный, — сказал Прохоренко. — Отец-герой!

— Ну. Пять дочек, восемь внуков. Приходится работать.

— А что, у дочерей мужей нет? — спросил Агеев.

— Есть, почему! Одна только в разводе. А так зятья, все честь по чести. Когда летом съедутся — целый взвод. Аж гул в доме стоит. Ну и надо дать каждой: сальца, колбас, деревенского маслечка — городские теперь это любят.

— Понятно, — раздумчиво сказал Агеев, а Желудков констатировал просто:

— Паразиты они у тебя, Хомич! И дочки, и зятья твои.

Тень озабоченного несогласия пробежала по добродушному лицу Хомича:

— Ну почему паразиты? Теперь у всех так. Тянут из деревни в город. Что только можно. Вон у Прохоренки один сын, а что он, меньше моих дочек тянет?

— Не меньше, — тряхнул головой Прохоренко. — Третья жена, алименты, что ж остается? Приходится.

— Нам кто-нибудь так помогал?

— Ну, мы другое дело, — сразу помрачнев, сказал Прохоренко. — У нас другая жизнь была. Можно сказать, не было никакой. Одна погибель! Пусть теперь эти живут. Пока войны нет.

— Во-во! Пока войны нет, — подхватил Хомич. — А то как ляснет этот атомный гриб, так ничего и не останется.

— Ну ляснет, так ляснет, тут уж от нас ничего не зависит, — заговорил Прохоренко. — Но я так думаю, пока мы того дождемся, половина с ума сойдет, хотя бы от этого живодерства в эфире. И еще от водки. Вон, слыхали, вчера Грибанов сына из ружья уложил, шофера с нашей автобазы.

— Этот пенсионер? Что в райфо работал?

— Тот самый. Сын выпивке воспротивился, похмелиться не дал. Ну и тот в него из ружья! А потом в себя из второго ствола.

Они все замолчали, пораженные этой новостью, и Агеев минуту невидяще смотрел на овражные дебри.

Желудков вдруг подхватился, отряхнул измятые брюки.

— Ладно! Ну вас с вашими разговорами. Послушаешь, уже сейчас завидовать станем Семену. Надо еще выпить!

За ним встал длинноногий поджарый Прохоренко, ненавязчиво сказал Агееву:

— Может, пойдем? Еще примем по одной за Семенову память?

Агеев развел руками:

— Да нет, знаете... Я не того. Не в коня корм!

— Ну как хотите.

Они распрощались, торопливо подав Агееву широкие руки с твердыми узловатыми пальцами, и полезли в огород. Агеев проводил их вдруг затуманившимся взглядом и не спеша пошел над оврагом вдоль стены мелколесья под большими деревьями в поисках какой-нибудь стежки. Должна же она быть тут где-нибудь, эта стежка, которая, думалось ему, еще раз приведет его к пустующему подворью Барановской — сарайчику, чердаку и Марии, к его безвозвратно ушедшему прошлому...

...Лежать было чертовски неудобно — мало того что твердо на неровной каменной кладке пола, так еще и некуда было вытянуть ноги, которые все время упирались в стену. Агеев не знал, что это было — карцер, изолятор или просто тесный закуток в церковном подвале, куда его спустили ночью два молчаливых конвоира с фонариком. Тут никого больше не было слышно, не доносилось ни единого звука извне, и Агеев подумал, что он тут один. Сначала он сидел, прислонясь спиной к холодным камням стены, потом встал, постоял, снова сел. После всего пережитого за день властно давила усталость, хотелось лечь, но лечь можно было, лишь поджав ноги. В таком положении ноги нестерпимо ныли в коленях, особенно левая больная нога, он беспрестанно ворочался, двигал ими, болезненно ища пространства, которого тут не было. Мучаясь, он ждал, что его позовут на допрос или расправу, ведь должен же Дрозденко попытаться что-то из него вытянуть, прежде чем его расстрелять или повесить. Но шло время, нестерпимо ныли на полу его кости, от усталости звенело в ушах, а за ним не приходили. И он думал, терзался в сомнениях, доискивался до причин своего провала, хотя доискиваться он мог лишь путем догадок и предположений.

Главное и самое ужасное для него было, однако, ясным: Мария попалась. Они ее взяли, по-видимому, с ее роковой ношей. Но как они узнали о нем? Выдала Мария — проговорилась, назвала? Конечно, возможностей добиться признания у них было множество, тем более от этой неопытной зеленой девчушки, наверное, своих сил для того они не жалели. Но все-таки... Все-таки он не хотел верить, что она так скоро выдаст его. Она не могла его выдать, потому что она любила его, и такой удар с ее стороны был бы для него страшнее провала, хуже погибели.

Однако и ничего другого он придумать не мог. Об их отношениях не знала ни одна душа в этом местечке — ни соседи, ни полицаи, ни даже свои. Как полиция могла связать ее с ним? Да к тому же спустя несколько часов после ее задержания?

Наверное, они там обыскивают усадьбу, переворачивают все вверх дном. Потрудиться для этого им придется немало, усадьба

большая. Но что они найдут? Разве пустой мешок из-под тола? Его докумеиты? Да еще пистолет... Пистолет он, конечно, зря спрятал так близко, все равно им не воспользовался, а найдут, будет улика. Хотя, как ни странно, теперь он особенно не переживал из-за улик, почему-то все стало ему безразлично, он чувствовал, что главное и самое страшное уже свершилось и ничего поправить нельзя. Теперь только бы не очень пытали, только бы хватило силы и воли достойно закончить жизнь.

Еще его беспокоила судьба Молоковича, не провалился ли и он на этой передаче, если, не дай бог, Марию схватили на станции, вблизн кочегарки? Могли взять обоих. Тогда, может, н его зацепили через Молоковича, все-таки унюхать про их связь полиции не составляло труда. Могли догадаться. Но где Молокович? Еще на свободе или тоже сидит? Илн, может, погиб? Все-таки у него был пистолет, и если ие при себе, то, наверное, поближе, чем у Агеева. А решимости у этого лейтенанта хватало, это Агеев понял давио.

Как-то, однако, незаметно для себя Агеев задремал на полу, забылся в неудобиой, скрюченной позе и тотчас проснулся, услышав негромкую возню за дверью. Не было сомнений, шли к нему, и он сел, преодолевая судорожную ломоту в ногах, с усилием расплющил глаза. В камере стало светлее, откуда-то сквозь крохотное окошко под потолком проникал сумрачный свет утра. Дверь растворилась, но он продолжал сидеть, еще не понимая, что от него требуется.

— Ну!

Это прозвучало спокойно и в то же время со сдержанной злой угрозой, давшей Агееву понять, что надо выходить. Миновав полутемный подземный переход, они вышли к замшелым ступенькам, и он медленно, с усилием стал подниматься из подвала.

Тут уже было светло, наверное, только что наступило утро. В небе быстро неслись тяжелые, набрякшие дождем облака, дул сильиый ветер, мелко рябил мутную поверхность лужи у входа. Поодаль над литыми чугунными крестами иескольких иадгробий высились деревья — несколько могучих кленов с поредевшей желтой листвой в черных ветвях; такой же листвой была усыпана мелкая зеленая травка в углу каменной церковной ограды.

За калиткой открывалась просторная, вся в мелких лужах и грязи, наверное, базарная местечковая площадь с лошадиным пометом и остатками растрясеиного после базарного дня сена. Напротив, возле телеграфного столба с подпоркой, стояла телега, в которой неподвнжно сидела старая женщина, а подле, наверное готовясь поудобнее усесться, хлопотала тепло н толсто одетая молодуха с красным лицом; она заметила вышедших из церкви и испуганно уставилась на них, разинув рот. Агеев оглянулся на конвоира, это был, кажется, тот самый полицай, что привел его сюда ночью.

— Куда теперь?

— Прямо, — кивнул конвоир, для верности двииув перед собой стволом русской винтовки.

Прямо — значит, через площадь и небольшой сквер из молодых, почти уже обнажившихся тополей к приземистому зданию за ним, школе или районной больнице. Теперь там, разумеется, не больница...

Да, это была не больница, до войны здесь, скорее всего, размещалась школа, а теперь, судя по множеству шнырявших по крыльцу и в коридорах мужчин с оружием, обосновалась полиция. На Агеева тут не обращали особенного внимания, хотя все, кто встречался на его пути, с недобрым холодком во взглядах провожали его, пока он быстро шел впереди конвоира за угол коридора, где было тише и виднелась отдельная дверь в стене. Прежде чем войти в нее, конвоир негромко постучал и приоткрыл дверь.

— Введи, Черемисин. А сам подожди в коридоре...

Агеев вошел в помещение и остановился. По всей видимости, тут был кабинет директора, преподавателя географии — с застекленным шкафом у стены, глобусом на нем. В простенке между двумя окнами висела большая физическая карта Европы, на фоне которой, грозно набычась, стоял начальник полиции Дрозденко. Он курил и при входе Агеева, нервно пожевав сигарету в зубах, швырнул ее на пол.

— Ну, давай договоримся. Будем играть в жмурки или все сразу, начистоту? Подумай, что для тебя выгоднее.

— Мне нечего думать, — нарочито обиженно сказал Агеев. Все-таки ему не было известно, что они дознались о нем, в чем обвиняют.

— Ах, нечего думать?! — удивился Дрозденко. — Очень даже напрасно. Я бы на твоем месте крепко задумался. Есть над чем.

Он взялся за спинку стула, но, прежде чем пододвинуть его и сесть, со значением посмотрел на край большого стола, где среди папок и разных бумаг лежали какие-то вещи. Взглянув туда, Агеев сразу смекнул, что они поработали ночь не даром, хорошо перевернули усадьбу Барановской. На столе лежала аккуратно сложенная его гимнастерка с тремя кубиками в красных петлицах, на ней сверху его широкий ремень, документы, бумаги, командирское удостоверение и кандидатская карточка, какая-то книга без переплета. Пистолета, однако, там не было. Дрозденко небрежно кивнул.

— Ну, узнаешь? Твои вещи?

Агеев спокойно пожал плечами:

— Гимнастерка моя. Документы, наверно, тоже.

Дрозденко выдвинул стул и демонстративно приподнял с него злополучную корзину с красными тряпичными ручками.

— А сумочка вот эта?

— С какой стати? Впервые вижу.

— Значит, не признаешь?

— Не признаю, — холодно сказал Агеев.

— Хорошо, хорошо. Признаешь! — скороговоркой пообещал Дрозденко и, схватив сумку, выдрал из нее черную обложку, которой Агеев вчера крепил дно. — А вот эту обложку?

Через стол он бросил ему сложеиные створки обложки, Агеев, уже осеиенный скверной догадкой, повертел ее в руках, распахиул, сложил снова.

— Нет.

— Сукин ты сын! — зло объявил Дроздеико. — Может, ты и эту кингу тогда не признаешь? Вот эту! С оторванным переплетом! Вот!

Дрожащими от злобы руками он совал ему через стол третий том Диккенса, и Агеев понял, что пропал.

— Чего вы от меня хотите? — спросил он зло. Кажется, с книгой отпираться было бессмысленно, но и не признаваться же, в самом деле.

— Взрывчатку Марии ты дал? — спросил Дрозденко и в упор пронизал его злым остановившимся взглядом.

— Какую взрывчатку? Какой Марии?

— Ах, ты не знаешь, какой Марии! Черемисин! — рявкнул начальник полиции и, когда дверь из коридора приотворилась, приказал: — Введи ту!

Сердце у Агеева предательски вздрогнуло, в глазах потемнело, и он весь сжался в скверном предчувствии. Однако Черемисин медлил, наверное, бегал куда-то, и Дрозденко с искренней обидой принялся ругать Агеева:

— Эх ты, сука! А я тебя покрывал! Заместителем хотел сделать. А теперь ты сдохнешь, и пожалеть будет некому.

Дверь беззвучно отворилась, и в кабинет тихо вошла милая его Мария, один взгляд на которую заставил Агеева внутренне съежиться. Теплой вязаной кофты на ней уже не было, из-под разодранного цветного сарафанчика остро торчали голые плечики, покрытые ссадинами и синяками от побоев, на левой скуле темнело багровое пятно, опухшие губы сочились кровью. Быстрым взглядом она окинула кабинет, чуть задержала взгляд на Агееве, ничем, однако, не обнаруживая своих к нему чувств, и выжидательно уставилась на Дрозденко.

— Ну, узнаешь ее? — спросил начальник полиции.

— Не припоминаю.

— Не припоминаешь... А ты? — кивнул он Марии.

— Я припоминаю. Это сапожник, что у Барановской жил, — чуть дрогнувшим голосом сказала Мария и замолчала, вся в настороженном внимании.

— Встречались?

— Однажды ремонтировала туфли. Вот эти, — Мария чуть шевельнула испачканными в грязи носками знакомых ему лодочек.

— Ну, мало ли я кому ремонтировал! Всех не упомню. Может, и ей ремонтировал, — с деланным простодушием сказал Агеев.

— Ремонтировал и завербовал! Эту вот дуру!! — вызверился на обоих Дрозденко. — Толу ей нагрузил! Неси на станцию! Подумал, куда посылал? На смерть посылал!..

— Я никого никуда не посылал! — как бы возмутился Агеев.

— А кто посылал? Кто?

— Я же сказала вам, — быстренько вставила Мария. — Дяденька один попросил на базаре отнести, сказал — мыло. Что, я знала?..

— Молчать! — взревел Дрозденко, но было поздно.

Агеев уже понял, к кому относились эти слова Марии, и радостно сказал в мыслях: молодец, значит, не выдала!.. Значит, Мария не выдала, теперь это для него было важнее всего остального. Дрозденко тем временем подскочил к Марии, крепким большим кулаком помахал перед ее разбитым лицом.

— Ты мне помолчи! С тобой мы еще разберемся, потаскуха!

Из двери выскочил Черемисин и схватил Марию за руку. Агеев видел, как она пошатнулась и, сделав два шага, скрылась в коридоре, навсегда исчезнув из его жизни и, возможно, из жизни вообще. Агеев медленно приходил в себя, главное он уже понял: Мария его не предала, произошло что-то другое. Или предал кто-то другой.

— Ну, продолжим разговор, — невозмутимо сказал Дрозденко, заходя за стол. — Как солдат с солдатом. Без нервов и истерики. Скажи, почему ты меня водил за нос? Я же для тебя хотел хорошего. Или ты, дурья твоя башка, не понял? Или ты привык при Советах отвечать подлостью на хорошее? Что молчишь, отвечай!

Агеев молчал. Для того чтобы продолжать такой разговор, следовало успокоиться, а внутри у него все еще болезненно вибрировало. Его душили гнев и обида — от своей беспомощности, от невозможности защитить Марию. Ее избили, изувечили, оскорбили и унизили почти на его глазах, а он должен был напускать на себя безразличие и ничем не мог помочь ей. Это было унизительно и граничило с подлостью. А этот живодер еще вызвал на дурацкий разговор о неблагодарности...

Дрозденко опять закурил свою сигарету, плюхнулся на стул за столом.

— Учти, у меня мало времени. У нас вообще мало времени. Пока в это дело не вмешалось СД, мы еще можем кое-что сгладить. Но при условии полной откровенности с вашей стороны. А вмешается СД, тогда ваша песенка спета. Тогда вас ничто не спасет.

«Понятная песня, — подумал Агеев. — Забрасывает надежду».

Нет, пожалуй, надеяться уже не на что. С этой книгой они его прихлопнули основательно. Тут он промазал грандиозно и, кажется, за это поплатится жизнью. Но Мария тоже. Хотя бы удалось как-нибудь оттянуть время...

— Видишь ли... А нельзя ли сесть? У меня ведь нога...

— Садись. Вон бери стул и садись.

Агеев присел на один из двух стульев, стоявших у стены напротив стола начальника.

— Тут такое дело, — напряженно соображая, начал он. — У меня однажды ночевал человек. Я ведь жил в сараюшке, наверно же вы там видели, на топчане. А он полез на чердак. Назвался знакомым хозяйки...

— Так, так... Ну? — нетерпеливо поторопил его Дрозденко. — Какой человек? Как фамилия?

— Не назвался. Сказал, из деревии.

— Из какой деревии?

— Не сказал. Я не спрашивал.

— Не спрашивал, а пустил! Да знаешь ли ты, что иа этот счет есть приказ полевого комеидаита. За предоставление ночлега без ведома власти расстрел.

— Не знал. Я же иигде ие бываю, приказов ие читал.

— Ну а дальше?

— Он утром ушел. Может, он и брал книгу.

— Врешь! — ударил кулаком по столу Дрозденко. — Врешь! — крикнул он и вскочил со стула. — Взрослый мужчина, средний комаидир, а выкручиваешься, как подлая сука! Совести ты не имеешь, простого солдатского мужества. Трусишь, как пес! Ведь связан с лесом, принимал оттуда посланцев. Оттуда и тол. Для диверсий на станции!

Агеев спокойно выслушал эту гневную тираду Дрозденко и усмехнулся:

— Коиечио, ты можешь думать, как тебе угодио. Как проще! Но вряд ли так будет лучше для пользы дела.

Дрозденко, похоже, опешил.

— Для какого дела?

— Для вашего же дела. У меня-то какое дело? Я сапожник.

Дроздеико уселся за стол, большой пятерией беспорядочио взъерошил темную чуприну на голове.

— Скажи, где ты с ией снюхался?

— С кем?

— С Марией.

— И вовсе я с ней ие сиюхался. Я даже не знаю, что ее зовут Мария.

— А сумка? — опять насторожился Дрозденко.

— Не зиаю я этой сумки. Впервые вижу.

— Тэ-тэ-тэ! — передразиил его иачальник полиции. — Вот на этой сумочке она и погорела. И ты вместе с ней тоже. Отвертеться вам ие удастся.

— Что ж, — вздохиул Агеев. — Раз вы так решили...

Дроздеико с сигаретой во рту перебрал какие-то бумаги на столе, отыскал исписанный лист.

— Опиши виешность того, кто иочевал.

«Ага! — радостно подумал Агеев. — Все-таки клюнул! Не мог не клюиуть...» И, напрягая воображение, ои иачал описывать:

— Значит, так. Был вечер, моросил дождичек. Он и постучал, я открыл. Сказал: от Бараиовской.

— Так и сказал: от Барановской? — недоверчиво сквозь дым покосился на иего Дрозденко.

— Так и сказал. Я еще спросил: как оиа? Он говорит: в порядке.

— А где в порядке?

— Этого ие сказал.

— Какого примерно возраста?

— Ну так, среднего, — медленно говорил Агеев, вдруг сообразив, что, возможно, они начнут добиваться от Марии сведений о дядьке, давшем ей корзину с «мылом». Вот если бы ее показания совпали с его... Видно, для этого надобно описывать ночлежника как можно неопределеннее. — Знаешь, было темно. Но, кажется, среднего.

— Во что одет?

— Одет был в какую-то куртку, то есть поддевку или, возможно, плащ...

— Так плащ или куртку? — не стерпел Дрозденко. Он уже принялся записывать его показания и, видно, не знал, как записать.

— Черт его, трудно было рассмотреть. Если бы знать... как?

— Обут вроде в сапоги. Или, может, ботинки...

— Не лапти?

— Может, и лапти... Хотя нет, не в лапти.

— Так сапоги, ботинки или лапти? Что записать?

— Вроде ботинки. Было плохо видно...

Дрозденко швырнул на стол карандаш.

— Говно ты, а не свидетель. Ни черта запомнить не мог. Или сказать не хочешь, выкручиваешься?

— Я не выкручиваюсь.

— Ну, а разговаривал он как? По-русски, по-белорусски?

— Смешанно, — сказал, подумав, Агеев. — Слово так, слово этак.

— Поимей в виду, — строго сказал Дрозденко. — Допустим, ты кого-то покроешь, кого-то уведешь из петли. Но тем самым ты поставишь под петлю другого. Возможно, невиновного! Ты думал об этом, давая свои показания?

— Я никого не покрываю. Мне некого покрывать, — сказал Агеев и замолчал.

Тут, пожалуй, Дрозденко был прав, подумал Агеев, такая опасность существовала. Сам того не желая, он мог кого-то и сгубить.

— Вот что! — помедлив, сказал Дрозденко. — Мы будем копать. Но ты особенно не надейся, на тебе петля! Только еще не зашморгнулась. Еще из нее можно выскользнуть, если во всем чистосердечно признаться. И всех выдать. Всех ваших сообщников. Которых ты покрываешь. И которые тебя покрывать не будут, можешь быть уверен. Они не дураки. Особенно там, в СД. Там переломают кости, и все откроется. Как на ладошке. А потом всех в яму.

— Что ж, спасибо и на том, — горестно вздохнул Агеев. — Только я тут ни при чем. Да и Мария тоже.

— Считаешь, и Мария тоже?

— Конечно, ни при чем. Обдурили на базаре. А она что, девчонка.

— Утверждаешь?

— Что утверждать? И так ясно, — сказал он и поглядел во вдруг загоревшиеся глаза Дрозденко.

Начальник полиции живо вскочил за столом:

— Ага! Вот-вот! Вот этого я и ждал. Когда ты начнешь ее выгораживать. Значит, она с тобой! И ты ее выдал! И себя тоже!

— Да я ничего, — поняв, что допустил оплошность, с деланным спокойствием сказал Агеев. — Что мне Мария...

— Нет, не что! Не что! Ты с ней был в связи. Ты спал с ней! Где, скажи, она месяц скрывалась? — во все горло орал перед ним Дрозденко, и Агеев думал: ударит! Но не ударил. Агеев судорожно сглотнул слюну.

— Зря разоряешься, начальник, — однако, твердо заметил он. — Не там роешь!

— Я знаю, где рыть! Теперь мне многое ясно. А остальное сам скажешь. Мы из тебя вытянем. Черемисин!!! — взревел он на весь кабинет. — На качели!..

Эти его слова о качелях Агеев вспоминал потом долго, несколько дней лежа на боку в своем темном закутке и отхаркиваясь сгустками крови. Кажется, они его хорошо изуродовали в полицейском подвале, выбили два верхних зуба, похоже, отбили печенку, так тупо и мощно болело в боку. Но где теперь не болело? Все его тело было теперь воплощением боли, он не мог безболезненно шевельнуться, вздохнуть хотя бы вполовину легкого и дышал только чуть-чуть, одними его верхушками. Лицо его было разбито до крови, левый глаз заплыл, и он ничего им не видел, из открывшейся на ноге раны, чувствовалось, плыла в штанину кровь. Очень болело и в другом боку, в области селезенки, куда его сильно ударил мордатый полицай с пудовыми кулаками. Летая по подвалу на подвешенном к потолку ремне, едва задевая за бетонный пол носками сапог, Агеев скоро понял, что самых сильных ударов следует ожидать именно от этого полицая в суконном самотканом френче с накладными карманами. После каждого его удара Агеев отлетал далеко в противоположную сторону, где, держась в тени возле подвального окошка, его встречал следующий. Руки Агеева были связаны сзади, подвесив к потолку, они пустили его, как маятник, или качели, с той только разницей, что маятник и качели имели какой-то порядок, ритм в движении, его же гоняли, как волейбольный мяч гоняет кучка парней, от одного к любому другому. Полицаев там было четверо — усердных добровольцев из тех, что в ожидании какого-то дела толклись в коридоре школы, и их начальник Дрозденко строгими окриками руководил подвальной расправой:

— Так, Ревунов, сильнее! Сильнее бей, чего деликатничаешь, как с девкой! Во, правильно! Принимай, Сутчик!.. Так! А ну, Пахом, разверись.. Ну, ты, так стену проломишь!

Этот мордатый Пахом мощным боксерским ударом посылал Агеева далеко вперед, и он, как рыба, хватая ртом воздух, вы-

кручивался на ремне, изо всех сил стараясь увернуться от ударов в живот и в промежность. В противоположном углу его встречал Сутчик, субтильный пареиек, с виду еще подросток, тот норовил, однако, ударить в лицо, два или три удара его не причинили Агееву большого вреда или боли, зато следующий угодил в глаз, и тот сразу стал затекать болезненной опухолью. Переставая им видеть, Агеев обвисшим мешком зигзагами летал по подвалу и жаждал только одного — чтобы все скорее закончилось.

— Стоп! — вдруг властно скомандовал Дрозденко, и он, враз обмякнув, повис на ремне. — Молчишь? Или что-нибудь скажешь?

Полицаи выжидательно замерли на своих местах, Дрозденко, четко ступая по бетонному полу на когда-то подбитых им каблуках, подошел к Агееву:

— Ну?

Руки у Агеева были скручены за спиной, сил оставалось немного, он собрал во рту сгусток перемешаиной с кровью слюны и плюнул в лицо начальника полиции. Тотчас понял, что неудачно, Дрозденко был настороже и увернулся, а он в тот же миг полетел на ремне от сильного удара в челюсть. Изо рта хлынула кровь, и он через разбитые губы вытолкал языком обломки зубов.

Дойти до церкви уже не было сил, и двое полицаев потащили его под мышки. Сознание его словно растворялось в тумане, и он запомнил только свежий ветер на площади и тревожный вороний грай на деревьях у церкви. Телогрейку с него сияли в подвале, тонкая сатиновая рубашка была изодрана в клочья, правый рукав вовсе оторван, избитым, окровавленным телом Агеев остро ощутил холод, озноб, и это ненадолго взбодрило его. Дальше уже отчетливо чувствовал, как его волокли в церковный подвал и он то и дело оступался на камнях ступенек, но полицаи не дали упасть и скоро толкнули куда-то в темиую, кажется, пустую камеру. По крайней мере, здесь он во весь рост вытянулся и, кажется, потерял сознание.

Пришел в себя от нестерпимой жажды, все в нем горело в жару, сжигавшем отбитые внутренности, но было тихо, и, похоже, он был тут один. Простонал, слабо пошарил рукой, иаткнувшись пальцами на что-то липкое — кровь, что ли? Тонкая соломенная подстилка, казалось, вся была пропитана этой вязкой липкостью — сыростью или кровью, Агеев перевернулся иа бок и сделал попытку подняться на локте. Из груди вырвался сдавленный хрип.

— Эй, есть тут кто?

Но тут никого не было, вокруг господствовали мрак и безмолвие, и он упал на бок, снова погружаясь в беспамятство.

Он долго пролежал во власти фантасмагорических видений, бредя и страдая от боли и жажды. Все время ему чудилась вода.

Наверное, так длилось долго, он перестал ощущать время и, приходя в себя, не имел представления, что на дворе, день или ночь. Но вот сознание его просветлело, он явственно ощутил

себя на полу и, превозмогая острую боль в боку, которая ему особенно досаждала, пошарил руками. Руки его наткнулись на стену, и он с усилием, не сразу поднялся, прислонясь спиной к холодным сырым камням. Глаз можно было не открывать, в подземелье царила темень, кажется, тут не было никакого окна, или, возможно, на дворе была ночь. Жар его вроде начал спадать, но жажда осталась прежней, казалось, сознание стало ускользать от него, и, чтобы не опоздать, он закричал изо всей силы:

— Эй, пить! Пить дайте...

Вместо крика, однако, в подземелье глухо прозвучал и задохся его сдавленный хрип, который вряд ли кто услышал. Агеев снова свалился на пол — на осклизлую подстилку из соломы.

Однако на этот раз не потерял сознания и, может, впервые подумал о своей судьбе. Хотя какая уж там судьба, думал он, остались крохи сил в изувеченном теле, и, наверное, чем они скорее исчезнут, тем лучше. В таких муках жить долго нельзя, да и незачем. Для чего жить, кому от этого польза? Разве что полицаям и немцам, которые даже на пороге смерти будут пытать, стараясь что-нибудь из него вытянуть. «А что, если?..» — робко подумал он и тотчас ухватился за свою неожиданную мысль. Мысль о самоубийстве теперь показалась ему наиболее подходящей, он провел рукой по пояснице — нет, брючного ремня у него не было, наверное, сняли в подвале, когда освобождали от подвески. Может, разодрать на полосы вышитую сорочку? Но выдержит ли ее тонкая ткань его тело? Опять же за что зацепить? Наверное, сначала следовало найти какой-либо крюк, гвоздь в стене, решетку на окне или еще что-то. Гонимый своим разгоревшимся замыслом, он начал обшаривать руками шершавые камни стены, ощупывая все ее выступы и впадины. Пока, однако, не попадалось ничего подходящего. Да и было низко, следовало поискать что повыше.

Но он еще не дошел до двери, как в подземелье послышались голоса, в стене напротив возникло светловатое пятнышко, оно становилось ярче, и вот с той стороны глухо стукнула, падая, дверная задвижка. Дверь отворилась. Низко над порогом сквозь закопченное стекло мерцал огонек «летучей мыши», он тускло высветил несколько пар испачканных грязью сапог. Передние из них переступили порог, и фонарь приподнялся, неярко освещая часть пола со слежалой соломой.

— Побудьте там, — бросил передний спутникам, и дверь за ним затворилась.

Это был Ковешко, который, приподняв фонарь, осветил Агеева на полу у стены.

— Да... Однако изукрасили они вас, — сказал он и вздохнул вроде вполне сочувственно.

Агеев обессиленно замер, упершись спиной в жесткие камни стены. Сочувственный тон Ковешко уже не мог обмануть его, знавшего, что может понадобиться этому человеку. Но зря стараются. Он не поддался Дрозденко, не поддастся и Ковешко,

несмотря ни на какое его сочувствие. Ему уже была знакома истинная цена этому сочувствию. Однако Ковешко вроде бы не торопился раскрывать свои надобности, с которыми явился в подвал, и по своему обыкновению начал издалека:

— Вот ведь как получается! Несчастная нация. Белорусины на протяжении всей своей истории исполняли чужие роли не ими написанных пьес. Таскали каштаны из огня для чужих интересов. Для литовских, для польских, для российских, разумеется.

Раскрыв глаз, Агеев увидел в полутьме протянутый к нему котелок и жадно припал к нему разбитыми губами. Не отрываясь, он выпил всю воду и обессиленно уронил руки.

— Принесите еще, — распорядился Ковешко и, покачивая фонарем, прошелся по камере. Одним глазом Агеев проследил за тусклыми бликами на черных стенах. Нет, вроде никакого гвоздя здесь не было, окна тоже. Только в двери чернела небольшая дырка-глазок, выходящая в темный подземный проход. — А теперь они использовали вас, — поворачиваясь от стены, продолжал Ковешко. — Чтобы таскать каштаны из европейского огня. Зачем эти никчемные плоды для белорусинов?

Агеев вдруг понял, о чем он, и с некоторым удивлением взглянул на тусклую фигуру в шляпе, косой тенью вытянувшуюся по стене подземелья.

— А вы для кого таскаете? Эти каштаны? — с трудом двигая болезненной челюстью, спросил он.

Ковешко озадаченно помолчал, прежде чем ответить, вздохнул.

— Да, вы правы. И я таскаю, — вдруг согласился он. — Что делать, такова историческая закономерность. Но я с той только разницей, что мне наградою будет жизнь, а вам, кажется, смерть. Так-то! — смиренно закончил он. — Разве это разумно?

— У каждого свой разум.

— Вот это и плохо. В судьбоносные моменты истории надо уметь подчинить свой разум логике исторического процесса.

— То есть немцам? — держась за разбитую щеку, неприязненно спросил Агеев.

— В данном случае — да, немцам. Ведь уже ясно, что им принадлежит будущее.

— А нам?

— Что? Не понял.

— А что принадлежит нам? Большая могила? — спросил Агеев.

— А мы должны приспособиться, может быть, даже ассимилироваться, раствориться в германской стихии. Если мы не хотим исчезнуть физически. Другого выхода у нас нет.

«Ну и ну! — подумал Агеев. — Чего добивается этот человек? И кто он? Поп? Ксендз? Полицейский? Или хитрый гестаповец?»

— Дело в том, что... Сейчас сюда явится шеф района. Он хочет на вас посмотреть. Среди немцев, знаете, разговоры: пойман с поличным, а упирается. И не просит пощады. Это, знаете, впечатляет сентиментальные германские души. Такое им в новинку.

«Значит, уже передал немцам, сволочь!» — с неприязнью подумал Агеев о Дрозденко. А говорил, что еще есть время. Но не успел схватить, как уже доложил СД, чтобы выслужиться. Ухватить свой каштан. Впрочем, Дрозденко ему мстил и из личных побуждений. За то, что Агеев его подвел, поступил не по совести. Как будто эти люди что-то понимают о совести. Качелей ему было мало, так вот поспешил передать немцам.

Теперь, конечно, его песенка спета...

Приподняв фонарь, Ковешко посветил им на луковицу вынутых из кармана часов и сказал с беспокойством:

— Да, уже десять. Так вы это, знаете, повежливее с ним. Доктор Штумбахер — человек тонкий, образованный. Работал в имперском управлении по культуре. Так что...

— Чего ему надо? Конкретно?

— Кажется, ничего. Побеседовать, познакомиться.

— Познакомиться со смертником? Пощекотать нервы?

— Кто знает, кто знает, — неопределенно подхватил Ковешко. — Если вы поведете себя подобающим образом... Или, скажем, попросите. Он обладает большой властью. Может, и того... Помиловать!

Ну, все ясно, подумал Агеев. Я должен надеяться. На случай! На милость шефа района. И, конечно, вести себя соответственно. Раскаяться, дать показания. Выдать ребят и Марию. Но ведь все равно не помилуют!

— А что, меня уже осудили? — спросил, подумав, Агеев.

— Ну, знаете, тут суд упрощенный. Ввиду военного времени, — почти дружески разъяснил Ковешко, держа перед ним закопченный фонарь, красный огонек которого едва разгонял мрак в этой просторной камере.

Но вот Ковешко весь встрепенулся, поспешно обернулся к двери, видно, его слух уловил в коридоре движение, и он распахнул дверь, освещая порог. Тотчас, однако, свет его фонаря померк под ярким лучом из коридора. Шурша плащами, в камеру вошли несколько человек, яркий свет электрического фонарика из рук переднего пошарил по голым стенам и, ослепив Агеева, замер на нем. Ковешко торопливо заговорил по-немецки, пришедшие внимательно и молча выслушали. Тем временем ослепительный луч бесцеремонно ощупывал его на полу, несколько задержался на его сапогах, осветил командирские бриджи и снова ударил в глаза. Совершенно ослепленный им, Агеев не имел возможности увидеть светившего, лишь выше, под мрачным потолком, едва выделялись очертания его высокой фуражки. Немец что-то произнес негромко, и Ковешко повернулся к Агееву:

— Господин шеф района спрашивает, кто вас заставил вредить немецким войскам?

— Никто не заставлял, — буркнул Агеев, и немец опять, сильно картавя, произнес длинную фразу.

— Почему вы, русский офицер, не сдались в плен, когда уви-

дели, что сопротивление бесполезно и война проиграна? — чужим, жестким голосом переводил Ковешко.

Вполуха слушая его, Агеев подумал: начал таскать каштаны его землячок.

— Еще не известно, кем она проиграна, — сказал он, и немец, выслушав перевод, тихо бросил:

— Варум?

— Почему вы считаете, что неизвестно?

— Потому что кишка тонка у вашего Гитлера.

Ковешко многословно перевел. Немец помолчал, хмыкнул и снова произнес длинную фразу, выслушав которую Ковешко сказал: «Я, я» — и перевел:

— Господин шеф района говорит, что глупое упрямство никогда не украшало цивилизованного человека. Что же касается славянина, то, хотя это качество у него в крови, оно ему сильно вредит. Гораздо разумнее трезво обо всем подумать и совершить свой выбор.

— Свой выбор я сделал.

— Вы ошиблись с выбором, — сказал Ковешко.

— Это мое дело.

Немец опять что-то заговорил своим тихим голосом.

— Если вы патриот, — начал переводить Ковешко, — что в данных обстоятельствах может быть объяснимо, то вы нам должны быть благодарны. Предотвратив ваш бандитский замысел, мы казним лишь нескольких виновных. В противном случае были бы расстреляны сто заложников.

— Гундэрт цивильмэнш! — со значением повторил шеф района.

— Это вы умеете, — тихо сказал Агеев и спросил громче: — Когда вы меня расстреляете?

Они пообсуждали что-то по-немецки, и Ковешко холодно объяснил:

— Это произойдет в удобное для нас время. По усмотрению СД и полиции безопасности.

— Расплывчато и неопределенно, — сказал Агеев. — Но и на том спасибо...

Ковешко, однако, оставил его слова без ответа, все свое внимание перенеся на немцев. Все время ослеплявший Агеева луч фонарика скользнул в сторону, метнулся под ноги, на порог, сапоги стали поворачивать к выходу. Агеев враз расслабился, вздохнул. Только теперь он заметил, в каком напряжении находился, внутри у него все словно вибрировало, как натянутая струна, и он сжимался от боли в боку, в ожидании неизвестно чего. Хотя чего уж было ему ждать или бояться, чего остерегаться? Он был раздавлен, избит, изувечен и ждал последнего, чего мог дождаться, ничто, казалось, не могло его ни порадовать, ни опечалить. Несмотря на старания Ковешко, надежды у него не прибавилось, и он точно знал, что часы его сочтены. Конечно же, живым они его отсюда не выпустят. Ну а если бы и вознамерились выпустить, куда бы он побежал? Ведь следом они пустят

слух, что он их агент Непонятливый, и от него отшатнутся все. Тот же Молокович первым потребует расправы над ним и будет прав. Пожалуй, на его месте Агеев поступил бы так же. Впрочем, может, так будет и лучше, в живых ему оставаться нельзя, теперь для него единственный выход — погибель, и как можно скорее. Он попал в безжалостные жернова войны, эти жернова смелют его в порошок. Где-то он допустил ошибку, сделал не так, свернул не в ту сторону на кровавом распутье войны, и вот результат. Результат — ноль.

Так думал Агеев, но коварная военная судьба, видно, уготовила ему еще кое-что из своих сюрпризов.

После ухода шефа района он расслабился и, преодолевая боль в изувеченном теле, впал в забытье. Он не знал, сколько продолжалось это его беспамятство, но очнулся оттого, что в камере послышалась возня, появились новые люди. Когда он приподнял голову, дверь уже закрывалась снаружи, было по-прежнему темно, но рядом, болезненно постанывая, кто-то ворошился, а кто-то голосом пободрее утешал:

— Ну тихо, ну тихо... Вот так, ляг на бочок... На бочок ляг, вот так...

Голос этот был незнаком Агееву, и он снова упал на волглую соломенную подстилку, не зная, как поудобнее устроить голову — левая часть лица болела от виска до подбородка, во рту болезненно распирало язык, которому мешала израненная челюсть.

— Пить! — вдруг знакомо простонал человек напротив, и другой, что был с ним, начал тихо его уговаривать:

— Так нет же воды. Понимаешь, нет... Потерпи, сынок, Потерпи...

«Какой сынок? Почему сынок? — пронеслось в сознании у Агеева. — Это что, отец с сыном?..» Что-то знакомое почудилось ему в том стоне, и Агеев насторожился. Однако он молчал, не обнаруживая себя. Теперь ему никто не был нужен, он хотел остаться наедине с собой и своей неутихающей болью. Но эти новые узники будоражили его покой своей, может, еще большей болью.

— Товарищ, вы это самое... живой немножко? — тихо обратился к нему один из двоих, и Агеев, криво усмехнувшись, ответил:

— Немножко...

И схватился рукой за челюсть, которую сразу свело от боли.

— Тут вот парню плохо. Если бы воды попросить.

— Никто не услышит, — сказал он, преодолевая боль, и подумал: кто это? Черт бы ее побрал, эту темноту, не позволявшую ничего видеть в этом подземелье!

— А нас завтра будут расстреливать. Знаете? — доверительно сообщил незнакомец.

— Вас? — вырвалось у Агеева.

— Так и вас тоже, — вздохнул человек. — Вы же тот военный, что у Барановской жил?

Агеев смешался, не найдя как ответить.

— А вы откуда знаете? Немцы сказали?

— Полицай знакомый один.

Как Агеев ни готовился к своей казни и ни сжился уже с ее неизбежностью, эти слова оглушающе ударили по его сознанию, и он едва снова не потерял его. Но все-таки он напрягся, собрал немногие свои силы и постарался убедить себя, что ничего неожиданного не произошло, все идет, как и предполагалось. Может, так оно будет и лучше. Все-таки расстрел для солдата всегда предпочтительнее повешения — не надо будет висеть на потеху врагам, сразу ляжет в землю, и все. А смерть — она дело мгновенное.

— Вот, знаете, случайно взяли, ничего я не сделал, а теперь расстрел. Чудно у них как-то... Убьют, а за что? — сетовал из темноты человек, и Агеев подумал, что, в общем, это понятно. Наверное, тут каждый считает, что пострадал безвинно. Может, и он повел бы себя так же, если бы подвернулось кому поплакаться.

— А вы кто? Из местечка? — спросил Агеев.

— Да я со станции, знаете. Зыль, сцепщик. И вот надо же, пошел в местечко на рынок соли купить, а на переезде эта девчина с кошелкой. Ей полиция: стой! Давай проверять, и я тут. Ну обоих и взяли.

Агеев, похоже, куда-то провалился от изумления, услышав такое, и снова вынырнул, пораженный смыслом сказанного.

— Какая девчина? — прохрипел он.

— А кто ж ее знает. Незнакомая. Я ее в глаза никогда не видел, а они говорят: связаны. Да ни с кем я не связанный.

«Мария! Это Мария!» — пронеслось в сознании у Агеева. Вот как она попалась! Бедная, несчастная девчонка!.. Он был ошеломлен этим известием сцепщика, который даже не подозревал, наверно, как растревожил его этим сообщением. Но Агеев молчал, не зная, как следует вести себя и кто такой этот Зыль. Не подсажен ли он полицией? И в то же время очень хотелось расспросить его поподробнее, может, он больше бы сообщил о Марии.

— Пить... Дядька, попроси у них воды, — простонал второй в темноте, и в его жалких словах Агееву снова послышались знакомые интонации. Вскоре, осененный догадкой, он осторожно спросил:

— А это кто с вами?

— Это Петя, старший Кислякова сынок. Племяш мой. Они его тоже... Две недели тут вот мутузят.

«Боже мой, так это же Кисляков! Ну вот, а я столько добивался с ним связи, ждал его каждую ночь. А Кисляков вот где! И уже две недели».

Привстав, Агеев медленно подался на четвереньках в ту сторону, волоча плохо гнувшуюся левую ногу, руками нащупал неподвижно лежавшее тело.

— Кисляков, ты?.. Это я, Агеев, что у Барановской...

— Я знаю... Только плохо мне очень, — едва слышно простонал Кисляков.

И Зыль объяснил:

— Они его так измутузили... Живого места не осталось.

— Полиция или немцы?

— Сначала полиция. Потом немцы, — простонал Кисляков. — Все добивались...

— Чего добивались? — насторожился Агеев.

— Всякого... И про вас...

— Ну, а ты же стерпел? Не сказал?

— Как стерпишь? Если бы сразу умер, а то... — простонал Кисляков и затих.

— Да-а, — выдохнул из себя Агеев.

Что-то в их деле принимало иной, еще более скверный оборот. Хотя, казалось бы, что могло быть хуже для них, обреченных здесь на скорую гибель, когда уже не мил стал весь белый свет, и свое изболевшееся тело, и вся незадачливая жизнь. А вот ведь и еще становилось горше. Агеев знал, что сам стерпит все, не замарав ничьей совести, но беда в том, что он отправлялся на тот свет не один, а с другими, и этим другим, может статься, досталось больше. Вот Кисляков и не выдержал, что-то выдал полиции или немцам, и оттого на совести у Агеева совсем померкло. От чего только не зависит она, эта тонкая и нежная штука — совесть, как ее трудно сберечь в чистоте. Да еще на этой войне.

— Они его катовали, как звери, — сказал Зыль. — Пальцы в дзвярох раструщивали. А потом, знаете, когда он упал... Ну, половой орган каблуком раструщили. Начальник их... Бедный племянничек, — дрогнувшим голосом закончил Зыль.

«Черт возьми! — безрадостно, однако, подумал Агеев. — Значит, мне еще повезло. Может, оттого, что недавно взяли? Или что скоро передали в СД? Или Дрозденко понял, что не на того напал? Или мои улики были все налицо, и ему их хватило, чтобы меня расстрелять? А Кисляков?..»

— Зыль, а вы потом эту девушку не видели? — спросил Агеев и сжался в ожидании ответа.

— Видел. Очную ставку с ней делали. Но что я скажу? Я впервые увидел ее на переезде. Она меня тоже.

— Ну а потом? Что с ней?

— Так неизвестно. Может, ее передали немцам? А может, застрелили...

— А вас что, не избивали? — вдруг подумав о другом, спросил Агеев, и Зыль простодушно ответил:

— Били! И, знаете, знакомые полицаи. Но что я скажу? Я ничего не знаю.

Волнуясь, Агеев не мог взять себе в толк, как ему вести себя с этим словоохотливым Зылем, насколько доверять ему. Простодушие его подкупало, но... Оно могло быть и деланным, это его простодушие. Очень хотелось поговорить с Кисляковым, хотя бы узнать, за что его взяли. Но этот Зыль все время сдер-

живал его. Опершись на руку, Агеев сидел подле метавшегося в жару Кислякова и не знал, как заговорить с ним. И можно ли было с ним разговаривать вообще. Парень был плох, это ощущалось даже в темноте, лихорадочное дыхание его то и дело совсем пропадало.

— Все-таки надо потребовать воды, — сказал Агеев. — Вы постучите им.

Однако не успел Зыль подняться, чтобы подойти к двери, как поодаль у входа в подземелье послышались крики, возня, которые быстро приближались к их камере.

— Не толкай! Не толкай, подлец! Я тебя так толкну!..

— Иди, иди!..

Агеев прислушался и вскоре понял, что это Молокович — его громкий командирский голос звучал здесь зло и отчаянно. Когда дверь растворилась, в свете фонаря из коридора он увидел на пороге своего фронтового друга, Молокович был почти обнажен до пояса, тело его прикрывала лишь разодранная на груди грязная майка, отросшие волосы на голове взъерошенно торчали в стороны, на лице темнело несколько синяков и струпьев от ссадин. Но дух у этого взводного, похоже, оставался прежним.

— Подлец! Ублюдок немецкий!..

Его сильно и злобно толкнули через порог, Молокович ударился о стену, едва не наскочив на троих бедолаг на полу.

— Кто тут? Зыль...

— Зыль и еще некоторые, — сказал Агеев, когда дверь за ним затворилась.

— Вы? — удивился Молокович.

— И еще Кисляков, — печально сообщил Агеев.

— Да, собралась капелла! — бросил в сердцах Молокович и заговорил возбужденно: — Поработали, сволочи, понахапали! И еще толкается, подонок! Дружок называется, в одном классе учились.

— Это кто? — спросил Агеев.

— Да Пахом этот. Полицай. Своего же товарища избивает, выслуживается, подонок!

Молокович нервно и мелко трясся, горя обидой и ненавистью, но, кажется, избит был меньше других или, может, пока что терпел, не подавая виду.

— Ничего, ничего, — успокаивая его, сказал Агеев. — Садись вот...

— Что ничего?! — взвился Молокович. — Вы знаете, завтра казнь. Расстреливать будут...

— Это не самое худшее, — сказал Агеев.

— Не самое худшее? Ну вы даете! А что же может быть хуже? Погибаем ведь! Засыпались, провалились, как последние обормоты!.. Все враз, без остатка! Эх, безмозглые куры! Разве так можно было? И вы!..

— Что я? — насторожился Агеев.

— Что? Вы еще спрашиваете? Да вы все завалили! — не сдерживаясь, почти вскричал Молокович.

— Это каким образом?

Наверно, было не место и не время выяснять что-то о таких вещах, но Агеев уже не в состоянии был сдержаться. Да и будет ли для них более удобное время? И место?

— А таким! Почему вы доверились этой... Марии? Кто она такая? Что вы о ней знаете?

Агеев опять обмер в предчувствии того, что его могло здесь казнить хуже немецкой казни.

— А что о ней... надо знать?

— Надо знать все! — с жаром продолжал Молокович. — А то понесла... Куда? К кому? Никого тут не знает, лезет прямо на полицая. Он и зацепил! Корзина! С базара! А в корзине что? Мыло. Это для дураков мыло! Он-то, полицай этот, Зеленко, и корзину сразу признал — прошлой зимой Барановская приносила чинить, ручка оторвалась. Починил, ручки обкрутил красной тряпкой. Ну? Что еще надо было полиции? Сама добыча прямо в карман, держи шире!

Агеев убито молчал. Молокович сразил его под дых, хотя и не с той стороны, откуда ждал Агеев. Выходит, Марию погубил он сам, это уже было ясно. Но ведь она не выдала никого. Да и кого она могла выдать, кроме Агеева?

— Я был в безвыходном положении, — сказал он тихо после продолжительного и тягостного молчания. — Без связи. Кисляков пропал, ты же знаешь... А тут эта передача...

— Вот вы и поспешили! — перебил его Молокович. — Вам не терпелось оправдаться, рассеять подозрения. Ведь подозрения были?

— Какие подозрения? — удивился Агеев.

— А вспомните какие. Или вы забыли?

Нет, Агеев не забыл о подозрениях, которые недавно еще мучили его, он просто перестал думать о них. Точку на них поставил для него тол, и ему скоро стало казаться, что все его страхи — из области предположений. Как можно подозревать того, кто все делал по совести, с возможным усердием и сидит вот, приговоренный к расстрелу? Никого и ничего не выдавший и даже не помышлявший выдать.

— И Кисляков! — вдруг почти вскричал Молокович, вскакивая с пола. — Он меня выдал!

Стало совсем тихо, и в этой тишине слышно было, как взволнованно дышал Молокович и в груди у Агеева бешено стучало сердце.

— Как? — сказал в замешательстве Агеев.

— Просто! Он назвал мое имя! В числе своих товарищей. Теперь я тебе не товарищ, понял?!

Кисляков на полу задышал чаще, что-то вроде попытался сказать, но просипел только:

— Прости...

— Они его били, так били, я слышал, — заворошился в темноте Зыль. — Они ему, ну... половой орган каблуком раструщили.

Кажется, Молокович стал успокаиваться, смолчал, преодолевая свое возбуждение: действительность уготовила им самое страшное, что могло с ними случиться, и надобно было собраться с силами. Агеев лег поблизости от Кислякова, над которым сидел его дядька Зыль. Где-то поодаль притих в темноте Молокович. Не переставая сокрушаться от того, что довелось услышать, Агеев стал думать о Марии, ее судьбе. Теперь ему становились понятными причины провала Марии — тут не чья-либо вина, а стечение дурных обстоятельств, дикие случайности вроде корзины и полицая, который год назад ее починял. Если бы не эти совпадения, все могло обойтись благополучно и даже вполне успешно и они были бы теперь на свободе и гордились тем, что им удалось сделать. Но вот вмешались эти чудовищные случайности, и все полетело прахом. Тол, лихие диверсии и их молодые жизни. Хотя что сетовать на случайности, ясно, что та борьба, в которую они вступили, была густо нашпигована всевозможными случайностями, самыми дикими обстоятельствами, из которых она вся и состояла. Не то, так другое, как говорит этот Зыль. Шансов выйти живыми из этих передряг практически у них не было. Вся разница в том, что одних смерть настигала раньше, а других позднее, но в равной степени все они были обречены на погибель.

С такими малоутешительными мыслями он постепенно затих, вроде задремал даже, притерпевшись к боли, привалясь к стенке спиной. Притихли и его друзья по несчастью. Похоже, не спал лишь один Зыль, все хлопотал возле племянника: то поправлял ему голову, которую держал на коленях, то ладонью обмахивал его пышущее жаром лицо. Как ни скверно досталось им всем в полицейских застенках, безусловно, Кислякову досталось больше других, и Агеев не хотел судить его строго. Он бы имел право сурово, как это делал Молокович, обвинять несчастного, если бы сам вытерпел равное тому, что вынес Кисляков, и устоял. Агеева жестоко избили, но только один раз, и он постепенно приходил в себя, не то что этот студент, который теперь хотя бы дотянул до утра. Агеев уже понимал, что, хотя возможности человеческого духа почти безграничны, они слишком несоразмерны со скромными силами тела. Тело всегда недостаточно прочно, особенно для таких дел, как война, оно больше всего другого доставляет человеку забот и страданий. Что ж, Кисляков не выдержал, и вся его вина в том, что он не смог умереть вовремя и они что-то вытянули у него...

Их выводили по одному, и пока следующего волокли из подвала, первые ждали, коченея на холодном ветру в церковной ограде. Была ночь, сыпал мелкий промозглый дождик, во время сильных порывов ветра он безжалостно сек по обнаженным пле-

чам, лицам, непокрытым головам обреченных. Последним выволокли Кислякова, который совсем не держался на ногах, и его взвалили на телегу с парой охапок сена на дне. Полицаев тут было семеро, ими распоряжался Дрозденко, с фонариком в руках рыскавший возле церкви. Батарейка в фонарике заметно иссякала, наземь падало расплывчатое пятно света, Дрозденко ругался, материл полицаев и узников. Он был явно не в духе. Поодаль от телеги стоял, наблюдая за их поспешными сборами, человек в длинном плаще и немецкой фуражке, но он молчал, и Агеев не знал, кто это. По-видимому, кто-то из СД. Но не Ковешко. А жаль, Агеев бы сказал земляку на прощание пару крепких, запоминающихся слов.

К своему удивлению, он чувствовал себя лучше, чем ночью. Болело в боку, по-прежнему остро ломило челюсть, ныла распухшая в колене раненая нога, но сил вроде прибыло, может, последних перед гибелью сил, и он сам поднялся по ступенькам, доковылял до калитки. Здесь надо было подождать. Полицаи вязали им руки, толклись и суетились возле повозки с Кисляковым, другие в отдалении с винтовками наготове охраняли на случай побега. Но бежать мог разве один Зыль да, может, еще Молокович. Хотя Молоковича на выходе сильно ударил в грудь полицай, и он стоял теперь согнувшись возле повозки и кашлял, то и дело сплевывая на траву. Только Зыль с виду был ничего себе, не заметно даже, что его избивали, и Агеев в который раз подумал: неужто и его расстреляют? Похоже, он их человек и скоро его отлучат от смертников.

Но пока не отлучали, а тоже связали за спиной руки, и их немноголюдная процессия двинулась через пустую в ночи базарную площадь. Впереди, рядом с молчаливым немцем, шел Дрозденко, за ними двигалась одноконная повозка, на которой, покачиваясь, лежал живой еще Кисляков и восседал знакомый полицай в шинели по фамилии Черемисин. За повозкой, прихрамывая, ковылял Агеев, рядом, все время порываясь приблизиться к племяннику, шел Зыль. За их спинами слышалось хриплое дыхание раздетого до майки Молоковича. Впрочем, кроме разве Зыля, на плечах которого обвисала какая-то распахнутая, без пуговиц куртка, все они были почти раздеты и чертовски страдали под дождем, на холодном ветру.

— Куда они нас? — тихо спросил Агеев, когда повозка съехала с площади, стала огибать сквер.

— Наверно, на могилки, — пожал плечами Зыль. — А можа, в карьер.

В карьер, это скорее всего, подумал Агеев, они ведь не любят копать, закапывать... Хотя рыть могилу можно заставить и обреченных, но закапывать-то придется самим. А это уже работа. Значит, в карьер. О чем он думал еще в этом своем последнем пути на земле, с чем он прощался? Похоже, ни о чем больше не думал и ни с чем не прощался, все его силы уходили теперь на преодоление стужи, на то, чтобы не взорваться от нетерпения, сохранить самообладание. Сзади и по бокам топали по грязи их

конвоиры, и среди них уже знакомые по пыткам полицаи: Пахом, Стасевич, Ревунов, Сутчик. Они были настороже, держали винтовки под мышками, но, похоже, все-таки трусили. Стояла ненастная осенняя ночь, по обе стороны улицы чернели крыши, заборы, фронтоны местечковых домов, кроны обнажившихся деревьев в палисадниках; впереди на пригорке чернел массив старых кладбищенских деревьев, и еще издали слышался тревожный вороний грай. В небе не проглядывало ни единой звездочки, все там было непроницаемо мрачно, мелкий дождь то сыпал, то затихал порой. Ветер дул непрестанно, выдувая жалкие остатки тепла из их истерзанных тел. Когда их процессия стала спускаться к мостку через овражный ручей, Дрозденко, выйдя на обочину, подождал, пока телега миновала его, обежал полицейских, что-то напоминая и приказывая им. Или, может, подбадривая. Поравнявшись с Агеевым, зло процедил сквозь зубы:

— Ну, добился, чего хотел?

— Добьешься и ты. Того же, — в тон ему ответил Агеев. — Подонок!

— Ну-ну, не очень! Или забыл, что у меня? В блокнотике...

Агеев хотел крикнуть что-то оскорбительное и грязное, чтобы унизить начальника полиции хотя бы перед немцем, что встал на обочине и чутко прислушивается к их перебранке. Но не крикнул.

Медленно, как на похоронах, они переехали овраг и миновали кладбище. Воронье все кричало — от скученного неуюта, сварливо борясь за место на ветке, и этот вороний грай вместо похоронной музыки долго сопровождал их в последнем ночном пути. Впрочем, Агееву было все безразлично, он думал только: ну что ему эта дурацкая расписка теперь, на последнем пути туда, откуда не возвращаются? А вот ведь держала. Лишала воли...

За кладбищем они остановились и постояли недолго, ждали, пока Дрозденко с немцем куда-то ходили — вдоль кладбищенской стены на пригорочек. Агеев уже весь окоченел, внутри его все изболелось — от побоев и стужи; щеку и нижнюю часть лица он совсем перестал ощущать. Волосы на голове слиплись под дождем, и холодные капли катились за уши, стекали по шее, по холодной, одеревеневшей спине меж лопаток.

— Так и захварэць можно, — сквозь слезы пошутил разговорчивый Зыль.

— Ага. Простудиться! — зло съязвил Молокович, который все время держался сзади, кажется, намеренно избегая соседства Агеева, и Агеев подумал: пусть! Может, так оно и лучше для обоих. Зла на лейтенанта он не имел, в то время как тот чего-то не мог простить ему даже в такую минуту.

Повозка свернула с дороги и по грязной траве потащилась вдоль кладбища на пригорок. Их погнали следом. Где-то там впереди маячили фигуры Дрозденко и немца в длинном плаще. Когда они все подошли ближе, их взору открылся берег обрыва и широкий карьерный провал внизу, добрую половину которого

под обрывом занимала лужа. «Значит, так — в лужу», — догадался Агеев. А он думал... Вернее, хотел думать, что в земле будет затишнее. И теплее. В луже теплее не будет...

Глупые эти мысли, однако, взбудоражили его, совершенно уже задубевшего на стуже, и он не мог от них отрешиться, пока повозка не остановилась на пригорке и Дрозденко подал команду выстроиться всем в ряд, лицом к карьеру. Агеев стал послушно и почти с готовностью, как это делал множество раз в армии, чтобы скорее кончить. Рядом нехотя приткнулся совсем закоченевший в майке, тощий, как доска, со впавшим животом Молокович. Зыль замешкался выполнить команду, и один из полицейских напомнил ему об этом, двинув в спину прикладом. Тот же полицай затем негромко обратился к Дрозденко, который сначала вызверился, но тотчас смягчился и разрешил:

— А... Давай по-быстрому...

Полицай подошел к Агееву, это был все тот же старательный крутоплечий Пахом.

— Скидывай сапоги!..

Агеев помедлил, наливаясь готовым прорваться гневом, потом, словно боясь не сдержаться, носком одного торопливо подцепил задник другого, легко протащил стопу в голенище и, не вытаскивая ее совсем, ногой швырнул сапог в сторону.

— На, бери, на.

Он отбросил и второй сапог — далеко на траву, оставшись в сбившихся грязных портянках. Полицай поспешил за сапогами, а рядом нервно задергался Молокович.

— Может, возьмешь и мои, Пахом? Или оставишь в благодарность за дружбу? За то, что давал тебе контрольную списывать?

— Ага, давал! — недовольно обернулся полицай, подхватывая сапоги. — А помнишь, как дал списать с ошибкой? По алгебре. Сам пять получил, а мне два поставили.

Молокович, похоже, опешил.

— Идиот! Я-то при чем? Ты же без ошибки и списать не мог, скотина!..

— Да-а, ну и набрал ты мерзавцев, Дрозденко, — сказал Агеев. — По себе мерил?

— Ты еще не заткнулся? — вскричал Дрозденко, сделав угрожающий выпад в его сторону, но остановился — сзади его окликнул немец.

Трое полицаев стаскивали с телеги Кислякова, и тот изможденным, осиплым голосом выдавил:

— Прощайте, браточки... Не обижайтесь, если...

— Ничего, ничего, сынок, — ответил ему один Зыль.

Агеев и Молокович смолчали.

Размашистым шагом Дрозденко подскочил к их коротенькому строю, вытянул руку, которой отделил от них Зыля.

— Так! Давай ты, с племяшом в паре.

«Неужели застрелят? — недоверчиво подумал Агеев. — Ведь,

похоже, и в самом деле Зыль ни при чем, случайно попавший в эту историю...»

— Послушай, Дрозденко, — сказал он почти просительно. — А этого зачем? Он ведь посторонний. Я знаю.

Дрозденко круто обернулся.

— Ты знаешь? А ты знаешь, что он двенадцать вагонов на станции сжег?

Полицаи уже подталкивали Зыля к обрыву, куда притащили Кислякова, и сцепщик, услышав эти слова Дрозденко, непослушно дернулся в их руках:

— Не двенадцать, начальник! Семнадцать! Семнадцать вагонов я сжег! Пусть там запишут, семнадцать...

Они его ударили, Зыль ойкнул и больше уже не выкрикивал, не противился.

Агеев мелко трясся от стужи и неуемного нервного озноба, неотрывно глядя, как в тридцати шагах на обрыве встали две тени — сцепщик Зыль с племянником, милым, застенчивым Кисляковым. Стоять Кисляков не мог совершенно и вяло обвисал на руках у Зыля, который с усилием держал его, приговаривая что-то, в шаге от обрыва. Перед ними, торопливо клацая затворами винтовок, разбирались в шеренгу несколько полицаев.

— Фойер! — неожиданно зычным голосом скомандовал немец, и тотчас в уши Агееву ударил нестройный винтовочный залп.

Агеев пошатнулся от воздушного удара, моргнул одним глазом (второй он почти не открывал), и, когда снова взглянул туда, ни Зыля, ни Кислякова на обрыве уже не было. Полицаи остались на месте, а Дрозденко с немцем подбежали к обрыву, заглянули в карьер. Потом раздалось несколько негромких хлопков — пистолетных выстрелов, для верности они посылали последние пули в расстрелянных.

— Следующие! — крикнул начальник полиции, оборачиваясь к ним с пистолетом в руке.

— Пошли... — тихо сказал Агеев и, не оглядываясь, заковылял к обрыву, из-за которого ему все больше открывалась огромная, подернутая ветреной рябью блестящая лужа. С темного неба посыпал мокрый снежок, оседая на одежде, волосах, нежно касаясь его разбитых в кровь губ. В душе у Агеева было пусто, как, наверное, может быть пусто только перед самой смертью, когда вся жизнь прожита без остатка, и прожита не так, как хотелось, — в беспорядке, не в ладах с совестью, с ошибками и неудачами. Он уже ничего не пытался и даже не хотел сказать ни своему соратнику Молоковичу, ни их палачам. Пусть убивают...

Нестройный залп из шести винтовок он еще услыхал, почувствовал воздушный удар в лицо и сильный толчок в грудь, опрокинувший его навзничь. И он понесся в пространство — с шумом и звоном в ушах, что-то обрушивая, вместе с собой низ-

вергая в пропасть. Постепенно, однако, все стало стихать, отдаляясь от него, и все наконец умолкло.

С ветреного неба падал мокрый снежок...

ГЛАВА 7

Работы в карьере осталось совсем немного — последний, ближайший от кладбища угол, слегка поросший осотом и свежим пыреем, и на этом все можно было бы считать законченным. Но Агеев не торопился приниматься за дело, с утра он сидел над слабеньким, разожженным из мусора и обрывков бумаги, вонюче дымившим костерком, грел рукн. Утро выдалось облачным, без солнца; росы на траве не было, с поля дул свежий прохладный ветер, беспокойно шумели деревья на кладбище. Накинув на себя сннюю болоньевую куртку, Агеев вспоминал свой сон.

Сон был простой, почти элементарный по образности, но поразивший Агеева своим грозным невразумительным смыслом, загадочным даже для него, всегда умевшего безошибочно расшифровывать свои ночные шарады.

Совершенно без всяких подступов к главному сон начался с того, что он, Агеев, по всей видимости, откуда-то нечаянно выпал, из квкого-то иного мира или иного времени и оказался однн в огромном пугающем пустом пространстве. Трудно было понять характер этого пространствв и даже определить, что им являлось — море, земля или, быть может, космос. Впрочем, все лежало вне зрительного образа, скорее относилось к областн чувств и выражалось ощущением абсолютного, мучительного одиночества. По мере того как длился сон, чувство это все усиливалось, а пространство болезненно расширялось, заполнялось тревогой, страхом, безотчетным страданием. Страдание было скорее душевным, потому что физически Агеев как таковой вроде отсутствоввл вовсе, в этой загадочной среде было лишь его абстрактное «я», лишенное плоти н тем не менее исполненное страдания. Похоже, однако, это его бесплотное «я» между тем все время сжималось, уменьшаясь в объеме по мере разбухания загадочного пространства. И вот настал наконец момент, когдв «я» и вовсе исчезло, растворилось, оставив лишь представление о себе, воспомннание или воображение своего присутствия где-то, уже вне всякой среды и вне всякого образа. Осталась лишь его мука, в которую он перевоплотился целиком, без остатка и вне которой ничего больше не было.

Странно, но этот сон по каким-то ощущениям напомнил ему ту, давно пережитую им смерть, когда он, получив винтовочную пулю в грудь, без сознания свалился в карьер, по сумасшедшей случайности не оказавшись в воде, и спустя, может быть, час стал приходить в себя. Вокруг было тихо, полицаи убрались в местечко, с темного неба сыпал густоватый снежок. Он начал выкарабкиваться, долго полз по откосу над лужей, пока не вы-

брался из карьера на выезде. Тут он снова потерял сознание, долго лежал в стылой грязи, пополз снова. На дорогу он выполз перед рассветом, и там ему повезло. В этот раз случайность оделила его своею нечастой милостью: первый же ездок из местечка оказался своим человеком, он молча взвалил истекавшего кровью Агеева иа повозку, и к утру оии были далеко. Зиму он пролежал пластом — в бреду, немощи, в полнейшей безнадежности, переболел тифом, дважды его перепрятывали на хуторах. Но по весне, к собственному удивлению, встал иа ноги. Все это было давно и, кажется, уже перестало волновать его, словио было не прожито им, а увидено в кино или приснилось. И теперь вот сегодняшний, сходный по смыслу и полузабытым ощущениям сон, который все возвратил из забвения, взбудоражил его усталые чувства.

Трудно было представить, сколько он продолжался, зтот кошмарныый сои, и даже чем кончился, просто Агеев куда-то исчез из иего, возможно, просиулся или засиул по-иному, без сновидений. Эти ночиые страсти, однако, подействовали на него удручающе, и Агеев думал, что днем иепременно что-то случится. Что́ имеино может случиться, он никак ие мог взять в толк, сколько ни прикидывал по своим прежним снам, такой безобразный, мучительный сон он видел впервые. И ои сидел у костерка, даже не попив чаю, растревоженный и небритый, совершенно выбитый из своей привычной трудовой колеи, не знал, за что браться. В этом его состоянии полной растерянности он увидел двоих друзей, пролезших к иему через пролом в кладбищенской стеие. Молча и ие здороваясь, словно они только что отсюда отлучились, ребята встали над костерком, вглядываясь в жалкий затухающий огонек, застенчивый, молчаливый Артур и более словоохотливый Шурка.

— Ну что, ребята? — рассеянно спросил Агеев, чтобы как-то нарушнть тяготившее его состояние.

Вороша прутиком в костерке, вертлявый Шурка сразу же выпалил то, что его сейчас занимало:

— А тут бульдозеры придут. Глядеть будем.

— Какие бульдозеры?

— А будут карьер закапывать. Птицефабрику строить.

— Вот как!

О птицефабрике он уже слышал когда-то — ходил в поселок за хлебом и услышал, как перекуривавшие у магазина мужики разговаривали о какой-то птицефабрике, на строительство которой набирали разнорабочих. Но он не прислушался к их разговору и, занятый своими мыслями, прошел мимо.

— А кто вам сказал, ребята?

— Микола сказал. Во, Артуров брат. Пошел заводить бульдозер, скоро приедет.

Агеев помолчал. По всей видимости, дело его приобретало новый оборот, и он представил, как придут бульдозеры и что они сделают с этим карьером. Навериое, следовало, пока еще оставалось время, хотя бы в один штык перекопать этот заросший

бурьяном угол, чтобы окончательно убедиться, что там ничего нет. Хотя бы для очистки совести. И потом уж пусть все зарывают или разрывают, как там у них запланировано. Это было самое разумное из всех возможных решений, надо было вставать, браться за лопату. Но он продолжал сидеть, смотрел, как ребята с увлечением занялись костерком — стали подкладывать в него сухие, опавшие с кладбищенских деревьев ветки, прутики, пучки сухого бурьяна. Получив пищу, костерок сначала обнадеживающе задымил на ветру, потом язычки пламени бодро пробились сквозь дымный полог, с треском охватили бурьян. Агеев сидел, почти наверняка уже зная, что не поднимется и тот не вскопанный им закоулочек так и остается нетронутым, потому что... Потому что он не хотел его трогать. Он уже свыкся с внушенной, может быть, самому себе мыслью, что в этом карьере никого больше нет и никогда не было. Им уже слишком владела надежда, в трудах воспитанная им за два летних месяца, и он не имел решимости рисковать ею, потому что риск мог ее сокрушить. Нет, он уже не хотел ни до чего докапываться, его запал весь кончился, он готов был бежать от правды, если бы эта правда вдруг перед ним предстала. Вымученная им за время этих раскопок надежда как птица счастья приблизилась к нему настолько, что вот-вот готова была опуститься на его натруженную руку, и он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее навсегда. Вполне возможно, что он ошибался, что это было заурядное трусливое желание, приступ слабости. Но все дело в том, что он уже не находил в себе сил побороть эту слабость, да и не хотел того.

Негромко переговариваясь, ребята суетились возле костра. Шурка принес немного сухих веток, собранных возле кладбищенской ограды. Артур начал совать их в едва разгоравшийся огонь, а погруженный в себя Агеев мучительно соображал, что следует сделать. Но, судя по всему, он просто не готов был к какому-либо поступку и, наверное, долго бы сидел так, подавленный, в нерешительности, если бы ребята не закричали вдруг:

— Едут, едут!..

Агеев вздрогнул, прислушался. Артур и Шурка помчались вниз, и он различил едва слышный грохот тяжелых машин на дороге за кладбищем. Грохот этот все нарастал, заполняя собой окраинное пространство поселка, послышался лязг гусениц, и вот они выползли из-за угла кладбищенской ограды — два неуклюжих коптящих трактора с приподнятыми над дорогой широкими ножами бульдозеров. Напротив въезда в карьер оба остановились не глуша двигателей, из кабины переднего вывалились на дорогу два человека, прошли к карьеру. Немного погодя к ним присоединился и бульдозерист из второй машины. Скорым шагом они вместе обошли карьер, осмотрели окрестности, постояли недолго на самой верхушке возле обрыва. О чем они там разговаривали, Агееву не было слышно из-за рокота двигателей на дороге, где уже вертелись Шурка и Артур.

Агеев словно в прострации сидел возле палатки, и, только

когда бульдозеристы заияли свои места в кабииах и мощно взревели двигатели, он подиялся. Стараясь не дать себе размышлять или колебаться, словно отрезая все пути к отступлению, быстро повыдергивал дюралевые колышки оттяжек, палатка сморщилась и опала иа землю, и он иачал лихорадочно собирать вещи, извлекая их из прорехи палатки, второпях запихивая все в рюкзак. Хорошо, что вещей было немиого, главиое место занимала палатка, которую он впопыхах беспорядочно скомкал и, примииая коленом, тоже запихал в рюкзак. На его насиженном за лето месте больше ничего ие оставалось, кроме слегка дымившего костерка да пластмассового ведерка на примятом, с белыми травяными побегами квадрате под днищем палатки. Скудный мусор он предусмотрительио сжег поутру, место, в общем, осталось в порядке. Закинув за плечо тяжеловатый рюкзак, он пошел по косогору вниз. Перед тем как свернуть за кладбище, не удержавшись, оглянулся. Ревя двигателем, первый бульдозер уже толкал к краю обрыва огромную земляную кучу, за ним, иесколько поотстав, вгрызался в землю второй бульдозер. Вот-вот с обрыва в карьер должиа была обрушиться гора рыхлого грунта, и Агеев, почти физически ощущая шум и тяжесть его падеиия, прибавил шагу.

Громоздкий рюкзак, однако, больно отдавил плечо, пока он добрел до автостаиции, располагавшейся в кирпичиом павильоичике возле центральиой площади. Там перед фанерным стендом с расписанием облегченио свалил на асфальт свою ношу, минуту изучал сроки прибытия автобусов, хотя уже с самого начала было ясно, что опоздал. Автобус на Минск отправился в шесть утра, следующий должен прийти через сутки. Правда, был еще один, проходящий, прибывающий вечером, но билеты на него продавали после прибытия. Агеев устало присел на рюкзак, отдыхая, соображал, как быть, и ничего другого не придумал, как искать приюта в гостинице.

Гостиница была недалеко, на боковой улочке за пыльным сквериком с чахлыми деревцами, через который пролегала прямая утоптаиная стежка. Возле гостиничного крыльца стоял в ожидании пассажиров пустой экскурсионный «Икарус», и Агеев подумал, что место для иего вряд ли найдется. Все же он протиснулся со своей ношей в крохотный полутемиый вестибюльчик, скинул рюкзак. Знакомая по его прошлому проживаиию блондинистая дежурная, судя по всему, тоже узнала его и, когда он поздоровался, без лишних слов положила на барьер листок проживающего. Это уже была удача, на которую Агеев не рассчитывал, ои торопливо заполнил листок и вскоре получил ключ с деревянной биркой от одноместного номера на втором этаже. Дотащившись туда со своим рюкзаком, почувствовал, что на большее сегодня уже не способен. После длительных перегрузок сердце напомнило о себе жесточайшей аритмией, он проглотил сразу две таблетки хинидина, запив их теплой водой из графина, и, не раздеваясь, свалился в кровать поверх одеяла. Тело целиком и с благодарностью отдалось власти покоя, металличе-

ская сетка кровати послушио прогибалась под его скупыми движеииями. В общем, ему было покойио, если бы ие аритмия, и ои, может, впервые за лето подумал: ие иапрасио ли ои все это затеял? Кажется, ои подорвал здоровье, а чего добился? Не разумиее было бы жить, как живется, отдыхать, рыбачить, как тысячи пеисиоиеров, и не терзать себя надумаииыми проблемами, разрушительным нравствениым самоедством, как говорил сын Аркадий, а стремиться к упрощению сложностей, что, может, дало бы возможность прожить лиший год на этом неласковом свете. А ои иагородил баррикаду проблем и вот теперь не мог успокоить сердце, которое в сотый раз иапомииало емv о возрасте и о том, что оио ие железиое... Самое сквериое при этом, что ои так иичего и ие проясиил за лето, проведеиное с лопатой в карьере, перерыл столько земли, ио так и ие приблизился к разрешеиию своей загадки, иичего не довел до конца. Временами ему казалось, что так оно и лучше — ои ничего не обнаружил, и в этом был обиадеживающий зиак. Порой же в его памяти всплывал тот единствеииый, не троиутый лопатой закуток в карьере, который мог укрепить надежду, ио мог и разрушить ее до осиоваиия. Было похоже, одиако, что его всетаки пугала истииа и ои предпочел ей миогообещающий туман неопределеииости, которая позволяла жить спокойнее, без депрессий и стрессов.

Вот только позволяла ли?

Иногда, вспоминая пережитое, он не узнавал себя нынешнего, так мало в его характере осталось от молодого Агеева. Ииогда в пору было подумать, что тот давнишиий Агеев исчез, переродился, подмеиеи совсем другим человеком, иичего общего не имеющим со своим сорокалетией давиости предшествеиииком. Понятио, постарел, прожил нелегкую жизнь, что было делом обычным и что он наблюдал на примере других. К тому же он видел, как неуклонно менялся характер времени, уходил без следа аскетический ригоризм тех лет и незаметно, но повсеместно воцарялось степенное благоразумие расчета, дух взаимной терпимости. Но к лучшему ли эти изменения в жизни, ои ответить не мог. В отличие от миогих он давно уже не примерял своего прошлого к поколению своих детей, хватало ему размышлеиий о себе самом и своих стареющих сверстниках. Порой ои ие в состояиии был определить, как отнесся бы к нему иынешнему тот давиишний Агеев, едва не закончивший свой коротеиький путь в этом оставленном им сегодня карьере. В то время, как прежний Агеев был бессилен судить его нынешнего, сам он тысячи раз на все лады судил и обсуждал Агеева давнишнего. Это было затянувшееся и малопрнятное для обоих разбирательство, хотя строгий судья был беспристрастен и мудр той иеподкупной мудростью, которая открывается с высоты прожитых лет. Порой восхищаясь, а порой удивляясь безрассудству своего обвиняемого, обходя некоторые вышедшие в тираж ценности давних лет, этот судья со временем стал ориентироваться на истинный кодекс непреходящих ценностей, на первом месте среди которых он ставил чело-

веческую жизнь как таковую. В том числе и ту жизнь, которой он некогда столь безрассудно распорядился в этом поселке. Впрочем, как и собственной тоже.

В коридоре за тонкой дверью номера слышались торопливые шаги постояльцев, то и дело переговаривались степенные горничные, однажды ворвался шум, смех и говор компании молодых людей, прислушавшись, Агеев понял, что это приехали спортсмены. Правда, они скоро убрались — на тренировки или в столовую на обед, в гостинице воцарилась тишина, и он, возможно, заснул или забылся, как только немного успокоилось сердце.

Проснулся от непривычной тревожной тишины, раскрыл глаза и не сразу понял, где он. Было совсем темно, за пришторенным окном лежала летняя ночь, в щель возле двери пробивалась тоненькая полоска света от лампочки из коридора. Откуда-то издалека, с дальней окраины поселка доносился едва слышный собачий лай, а вообще было тихо. Потом в этой давящей, душной тиши он уловил прерывистые звуки двигателя, сначала встревожившие его, а потом желанной умиротворенностью легшие на его душу, как только он понял, что это бульдозеры. Они работали и ночью, зарывали карьер — карьер его памяти, ровняли обрывы его тревог, ухабы его заблуждений... Затаив дыхание Агеев вслушался в прерывистый рокот дизелей, и ему стало нестерпимо жалко чего-то, что оставалось в безвозвратном прошлом: может, себя и своей окровавленной молодости, может, давно ушедших из жизни, расстрелянных, погибших, замученных в застенках товарищей. Может, это был плач души по тем, кому не суждено было родиться и продолжить жизнь, но чувство безутешного горя охватило его так сильно, что он беспокойно поднялся, сел на измятой постели и вдруг совершенно непроизвольно заплакал. Он был тут один и мог не сдерживать себя, дать волю слезам, и давящие судороги сотрясали его грузное тело. Он плакал долго и самозабвенно, как это случалось с ним некогда в раннем детстве, о себе и о них, неизмеримых человеческих страданиях, которые, оказывается, ни для кого не проходят бесследно. Наученный жизнью, он уже понимал, что за все надо платить — за хорошее и за плохое, которые так крепко повязаны в этой жизни, но все дело в том, кто платит. Платит, конечно же, тот, кто меньше всего повинен, кто не рассчитывает на выигрыш, кто от рождения обречен давать — в отличие от тех, кто научился лишь брать и взыскивать. В свое время он заплатил ЕЮ и был жестоко наказан, потому что ОНА была послана ему для счастья, а не для искупления.

Когда за пришторенным окном забрезжил ранний рассвет, он встал, поднял свой потяжелевший за ночь рюкзак, простился с сонной дежурной внизу и пошел через сквер к автостанции.

1985

В. ПРОНИН

С УТРА ДО ВЕЧЕРА ВОПРОСЫ...

ПОВЕСТЬ

День начинался в полном смысле слова мерзко. Соседняя котельная то ли от избытка тепла и пара, то ли от недостатка слесарей, начала спозаранку продувать трубы и так окуталась паром, что совсем исчезла из виду. А гул при этом стоял такой, будто где-то рядом набирала высоту эскадрилья реактивных самолетов. Гул продолжался десять минут, пятнадцать — спать было невозможно, и Демин, почувствовав, что уже сам начинает вибрировать в такт гулу, поднялся. Он босиком прошлепал по линолеуму в соседнюю комнату, включил свет и направился к окну, чтобы взглянуть на термометр. Красный столбик заканчивался где-то возле нуля. Жестяной карниз был покрыт мокрым снегом, тяжелые хлопья сползали по стеклу, внизу на асфальте четко отпечатывались редкие следы первых прохожих. Снег, видно, пошел недавно, и был он медленным, влажным, каким-то обреченным, будто знал, что до следующего утра ему никак не продержаться.

Демин открыл форточку, зябко поежился, охваченный холодным, сырым воздухом. Котельная все еще гудела, и Демин смотрел на клубы пара без ненависти или недовольства. Только страдание можно было увидеть на его лице.

— Нет, это никогда не кончится, — беспомощно пробормотал он, отправляясь в ванную бриться.

— Пельмени в холодильнике, — не открывая глаз, сонно пробормотала жена.

— Ха! В холодильнике... Не в гардеробе же...

— И посади Анку на горшок. А то будет горе и беда.

— Посажу, не привыкать сажать-то...

Нет, день все-таки начался подурацки. Усаживая дочку на гор-

шок, Демин забыл снять с нее штанишки, а когда спохватился, было уже поздно. Сделав нехитрые свои дела, она спала прямо на горшке. А потом он вставил в станочек новое лезвие и, конечно, порезался, обжегся бульоном, когда ел пельмени, и, спускаясь по лестнице, водил языком по нёбу, пытаясь оторвать обожженную кожицу.

На улице Демин облегченно вздохнул — котельная наконец-то угомонилась, и наступила такая тишина, что он услышал шлепанье капель с крыши дома, гул электрички в двух километрах и даже собственное дыхание. До станции решил идти пешком, но не успел сделать и нескольких шагов, как грохочущий, еще издали ставший ненавистным грузовик обдал его грязным снежным месивом. Демин даже не чертыхнулся. Он успокоился.

— Все понятно, — пробормотал он вслух. — Намек понял. Что-то будет... Благодарю за предупреждение.

Шагая к станции, он думал о том, как сядет в вагон электрички у окна и будет смотреть на медленно светлеющее небо, на грузные от мокрого снега ели, на черные контуры редких изб с тускло светящимися маленькими окнами, замечать, как по мере приближения к Москве огней становится все больше и они сливаются в большое, светящееся зарево.

На перроне ему повезло — двери вагона распахнулись прямо перед ним. Демин быстро вошел и сел на свободное место у окна. Даже здесь, в несущемся поезде, чувствовался запах тающего снега, мокрой коры деревьев и многих других неуловимых вещей, которые твердо обещали — скоро тепло. Из полумрака вагона были видны поля, перелески, дороги с ожидающими машинами на переездах, а потом, когда электричка въехала в Москву, Демин с грустью рассматривал мокнущих на платформах людей, окна в просыпающихся домах, тусклые отражения фар на дорогах, железнодорожных переездах, автобусных остановках.

Подходя к управлению, он сразу понял, что пришел первым — окна маленьких кабинетиков следователей были еще темные. Светилось лишь окно начальника следственного отдела.

— Чего это он? — вслух спросил себя Демин. — Тоже котельная разбудила? — Он усмехнулся, но возникшая настороженность не прошла. Открывая тяжелую дверь, он остро ощутил и холод мокрой металлической ручки, и то, что она болталась на проржавевших шурупах, увидел, что лампочка на площадке явно мала, перила — разболтаны, хотя поправить — минутное, копеечное дело.

— Привет! — буркнул Демин, проходя мимо дежурного, — тот за большим витринным стеклом неслышно разговаривал с кем-то по телефону.

— Погоди! — крикнул дежурный. — Срочно к начальнику следственного отдела.

— На кой?
— Не будешь так рано на работу приходить!
— Раздеться-то я могу?
— Ни к чему, наверно!
— Даже так... — Демин озабоченно ссутулился и, сунув руки в карманы намокшего плаща, медленно зашагал по длинному узкому коридору, с сожаленнем прошел мимо своего кабинета, искоса глянув на номерок, приколоченный к двери. Нулевой день, подумал он, это уж точно. Где-то он читал, что у каждого через какое-то время наступает этот самый нулевой день — человек вроде впадает в заторможенное состояние, повсюду опаздывает, везде ему не везет, и все у него невпопад. Писали, что в какой-то японской компании даже высчитали нулевые дни всех служащих и вручают им в эти дни любезные предупреждения — так, мол, и так, дорогой, сегодня будь осторожен, чтобы не попасть под машину, не поссориться с друзьями, не разругаться с женой. Точно, у меня сегодня нулевой день, удовлетворенно подумал Демин и решительно постучал в кабинет Рожнова.
— Давай, входи, кто там есть? — начальник был лыс, толстоват и добродушен. — Ну, Демин, никак не думал, что ты сегодня первым придешь!
— Нулевой день, Иван Константинович. — Демин вздохнул и, не раздеваясь, сел к теплой батарее.
— Глупости, — Рожнов широко махнул крупной, мясистой ладонью. — Какой, к черту, нулевой день! Работа есть работа. И дух наш молод, а?
— Молод, — уныло согласился Демин и вытер ладонью мокрое от растаявшего снега лицо. — Что там случилось-то?
— А! — небрежно обронил Рожнов. — Девушка из окна вывалилась. «Скорая» увезла. По дороге скончалась.
— Девушка?
— Ну не «скорая» же! Вот адрес... Звали ее Наташа Селиванова.
— Тоже, видно, нулевой день... Как же она вывалилась-то? На улице не лето...
— Участковый был на месте происшествия через несколько минут. В квартире, где она жила, еще ничего не знали. Не перебивай! Да, ничего не знали или делали вид, что ничего не знали. Квартира коммунальная. Три хозяина. Ее комната была заперта.
— Изнутри?
— Да. Изнутри. Подняли остальных жильцов, привлекли в качестве понятых, взломали дверь... Окно распахнуто, в комнате холод, на подоконнике снег и все такое прочее.
— И больше никого в комнате?
— А кого бы ты еще хотел там найти?
— Мало ли, — неопределенно ответил Демин.
— Машина во дворе. Фотограф и два оперативника. Если за-

подозришь что-нибудь неладное, немедленно возбуждай уголовное дело, понял? Сегодня же! И не тяни, понял?

— Как не понять...

Мокрый снег шел сильнее, когда Демин вышел из управления.

— Привет, — бросил он, усаживаясь рядом с водителем.

— Привет, — охотно ответил фотограф — молодой длинный парень, который никак не мог усвоить законы субординации и одинаково радушно приветствовал и дежурного старшину, и начальника управления. — А мы-то думаем, кого сейчас принесет, — продолжал фотограф. — Про тебя, Валька, никто не сказал, даже не подумали... Не могли допустить, что ты так оплошаешь.

— Нулевой день, ребята, ничего не поделаешь... Вот адрес.— Демин показал водителю бумажку.— Улица Северная... Знаешь?

Водитель мельком взглянул на адрес, молча кивнул и включил мотор. Машина медленно выбралась со двора и резко рванулась вперед, набирая скорость.

Это был старый, дореволюционной постройки дом, один из тех, которые назывались доходными. Окна казались высокими и узкими, как бойницы, пятый этаж вполне соответствовал нынешним седьмым. «Снега маловато, жалко, сошел снег, — подумал Демин, прикидывая высоту дома. — Если бы внизу сугробы...» Двор тоже был высокий и тесный, огражденный со всех сторон такими же унылыми домами из темно-красного кирпича.

Все стояли, спрятавшись от снега под квадратной аркой, и осматривали двор с тощими, чахлыми деревцами, которые высаживали здесь каждую весну, а потом, промучившись с ними все лето, выдергивали осенью сухие палки, чтобы весной опять посадить прутики.

— Ну что? — спросил фотограф. — Можно начинать?

Демин посмотрел на него, отметив снежинки на непокрытой голове, сигарету, небрежно зажатую в уголке рта, распахнутое короткое пальто, фотоаппарат, болтающийся на животе. «Кавалерист, — подумал Демин. — Все легко и просто, все с налету, с повороту, по цепи врагов густой...»

— Начинай, — сказал он.

— А что начинать-то?

— Вот и я думаю, с чего начинать? Думал, может, ты знаешь. — Демин усмехнулся. — Вон идет участковый, он нам все скажет. Ты, Славик, его слушай. И вообще совет — внимательно слушай участковых. Они много чего знают. Привет, Гена! — поздоровался Демин с подошедшим участковым.

— А, Валя! Здорово, что ты приехал... Привет, ребята! Видите, окно на пятом этаже? Третье слева, видите?

— Со шторами?

— Да, самое красивое... А упала она вон там, я два кирпича

положил. Их уже снегом припорошило. Тот кирпич, что на ребре — отмечает, где ее голова лежала. Очень неудачно упала, просто хуже не бывает.

Все молча подошли к двум кирпичам, лежащим примерно в полутора метрах друг от друга. Никто не решался нарушить молчание, будто девушка все еще лежала здесь, на асфальте. Фотограф нагнулся, перевернул кирпич, чтобы сни видиее были на снегу, брезгливо отряхнул руки, и вдруг резко отшатнулся в сторону — он увидел, как следы, только что оставленные им на снегу, наполнились красноватой подтаявшей влагой.

— Да, это кровь, — невозмутимо объяснил участковый. — Не успели подчистить... Да я и не позволил... Мало ли что, вдруг следователю такая чистоплотность не понравится, а, Валя?

— Гена, а ведь она далековато от стены упала, — сказал Демин.

— Далековато. Я тоже об этом думал. Будто сзади ее кто-то подтолкнул или напугал... Но она и сама могла оттолкнуться.

— Могла, — с сомнением сказал Демин.

— Я прибежал в квартиру, когда они там еще все спали. Как начали они замки открывать, щеколды откидывать, запоры снимать... Я думал, что кончусь прямо на площадке.

— Значит, чужой не мог попасть? — спросил Демин.

— Без помощи хозяев — ни за что! А ты думал! Коммунальная квартира, три хозяина. У них не только на входной двери, внутри все двери в замках, как в орденах! Коммунальная квартира — повторил участковый, будто это все объясняло. — В одной комнате жила Селиванова, во второй старушка обитает, в третьей два парня. Братья, между прочим. Лет по тридцать.

— Женатые?

— Нет. Холостые.

— А Селивановой сколько было?

— Двадцать. Или около того. Ты прав, для братьев она, конечно, представляла интерес... Это неизбежно. Девушка была того... В порядке девушка. Все на месте, все при ней.

— Братья были дома?

— Да, собирались на работу. Тяжело собирались, с похмелья. Поэтому открывала старушка. Сутарихина. Фамилия ее такая. А братья — Пересоловы.

— По какому случаю у них пьянка была?

— А! — участковый поморщился. — Зарплата.

— Как все началось?

— Ее дворничиха нашла. Под утро. Вышла подметать и нашла. Девушка еще живая была. Дворничиха тут же ко мне. Двор глухой, рань, так что ее почти никто и не видел. Только когда «скорая» подъехала, собралось человек пять. Я записал их, но в свидетели они не годятся, ничего не видели, подошли, когда уже машина стояла здесь. Повздыхали, поохали и разбежались по конторам рассказывать ужасную историю.

— Дверь в комнату Селивановой была заперта?

— Да. Изнутри. Это точно. Тут можешь не сомневаться. На

замке есть небольшая киопочка, когда ее опускаешь, замковое устройство блокируется и открыть сиаружи иевозможно, поннмаешь? Так вот, эта кнопочка была опущена.

— А из окна никто не мог спуститься?

— Смотрн сам, — усмехиулся участковый. — Если бы кто н спустнлся, то на карнизах нижних окои неизбежно остались бы следы ног, карнизы-то засиежеиные. Нет слéдов, я уж провернл. Братишки Пересоловы помогли мне дверь высаднть. В комнате порядок. Даже постель неразобраиа, как если бы хозяйка не ложилась спать, понимаешь? Неразобрана, но смята. Ложилась, видио, девка, ио ие до сна было. Много окурков. Бутылка. В таких случаях всегда есть бутылка. На этот раз — виски.

— Братья уже ушли иа работу?

— Нет, я нх на свой страх и рнск дома оставил. Думаю, вдруг пригодятся. Ты уж отметь им повестку, а?

— Отмечу. Комнату опечатал?

— За кого ты меня прииимаешь, Валя?!

— Как братья отнеслись к тому, что ты их дома оставил?

— По-моему, обрадовались. Как я поннмаю, головы у братншек трещат, с третьего этажа треск слышен.

— Ну, пошли. Да, позови двориичиху, слесаря, кого-иибудь. ...Понятые нужиы.

— А вон они стоят... Я уже давио их позвал.

— Ну ты, Гена, даешь! — восхищенно сказал Демии и усмехнулся, показав не очеиь правильные, но крепкие, белые зубы. И первым вышел нз-под арки — длнниый, слегка сутулый, в зиаменнтой иа всю прокуратуру беретке, которую не снимал большую часть года, в тяжелых туфлях на толстой подошве, в слегка узковатых брюках. Демин терпеть не мог расклешенных н мужественно ждал наступления времеи, когда узкие брюки снова войдут в моду.

Фотограф, сняв несколько раз кирпнчн на асфальте, окно на пятом этаже, общий внд двора, тоже иаправнлся вслед за Деминым и участковым.

Дверь в квартнру открыла Сутарихнна. Увидев средн вошедшнх участкового и решнв, что он все объяснеиня возьмет иа себя, молча повериулась и засеменнла по темиому коридору к себе в комнату.

— Одну мнвутку! — остановил ее Демнн.

Сутарнхина остаиовилась н, не оборачиваясь, из-за спниы однни глазом посмотрела в стороиу вошедших.

— Простите, — Демни подошел к ией поближе, — вы здесь жнвете?

— Ну? — настороженность, чуть ли ие враждебность прозвучала в этом не то вопросе, не то утверждении. Замусоленный переднnк, платье с короткими рукавами, обиажавшими круп-

ные, жилистые руки, узел волос на затылке, клеенчатые шлепанцы...

Видик у бабули еще тот, подумал Демин. Тяжелый разговор будет. Опустившиеся люди обычно неохотно общаются с незнакомыми, скупо говорят о себе и стараются побыстрее скрыться в свою скорлупу от взглядов, от внимания чужих людей. Типичная обитательница коммунальной квартиры, где никто не чувствует хозяином, считая и себя, и соседей временными, чужими, нежеланными здесь людьми. Квартирка тоже еще та...

— В какой комнате жила девушка? — спросил Демин.

— А вот ее дверь. — Сутарихина не глядя кивнула на высокую, двустворчатую дверь.

— Вот что, ребята, — повернулся Демин к оперативникам. — Принимайтесь за работу. Особое внимание — не было ли у нее гостя. Ну и, конечно, телефоны, адреса, переписка и так далее. Понятые здесь? Отлично.

Демин подождал, пока участковый откроет дверь, тоже вошел, огляделся. Кроме нескольких щепок, оставшихся после того, как утром пришлось взламывать дверь, в комнате не было заметно никакого беспорядка. Толстая накидка на диване, полированный стол, на котором стояла начатая бутылка виски, тяжелые шторы на окне, почти весь пол закрывал красный синтетический ковер.

— Ничего гнездышко, а, Валя? — заметил участковый.

— Да, вполне ничего, — согласился Демин. — Ладно, ребята, вы трудитесь, а я с соседкой побеседую.

— Проходите, коли вошли, — Сутарихина как-то неумело улыбнулась, нечасто, видно, ей приходилось улыбаться. — В дверях-то чего стоять... — подхватив полотенце, она протерла табуретку для гостя. Демин еще раз осмотрел комнату, и Сутарихина настороженно проследила за его взглядом. — Небогато живем, но не жалуемся, — сказала она.

— Я смотрю, родни у вас немало, — Демин показал на раму с фотографиями.

— Много родни, — согласилась Сутарихина. — Было.

— Вон как... Вы уж простите...

— Ладно, чего там...

— Соседка ваша, похоже, из окна выбросилась. Хотел узнать — сама или кто помог?

— Ой, не знаю, — глаза Сутарихиной сразу стали несчастными, больными. — Скромница, умница, красавица... Всегда поздоровается, в праздник с гостинцем забежит, в магазин соберется — обязательно спросит, не надо ли чего...

— Комната принадлежит ей?

— Родители для нее снимают комнату, а она учится, иностранные языки изучает. В Воронеже родители живут... Завтра небось приедут... Чего сказать им, чего сказать — ума не приложу! Не уберегла Наташеньку, ох, не уберегла!

— Она давно здесь жила?

— Третий год пошел... Как поступила в институт, так и поселилась.

— Гости у нее часто бывали?

— Ой, можно сказать, что не заходили к ней гости-то,

— Вчера поздно пришла?

— Ну как поздно... Темно уж было. Часов в девять, наверно.

— Вы ничего не заметили? Может быть, она была взволнованна, заплакана, встревожена чем-то?

— Нет, не заметила. Случалось, конечно, приходила и заплаканной, и растревоженной, но ведь оно и понятно — дело молодое. А вчера вместе с ней мы чайку попили... Вот сейчас припоминаю, молчала... Но она всегда такая, не говорунья была, нет. Молчит, улыбается, слушает... Все больше я говорила, мне есть чего рассказать.

— Она всегда дома ночевала?

— Не знаю, как сказать...

— Значит, не всегда? — уточнил Демин.

— Не всегда, — горестно согласилась Сутарихина. — Конечно, будь я ей матерью, строже бы спросила, а так что — соседка. Но и беды большой в том я не видела. У подружек засидится, чего ей через весь город тащиться? Если не придет ночевать — всегда позвонит, предупредит, так, мол, и так, Вера Афанасьевна, сегодня меня не ждите. Никогда не забывала предупредить. И училась хорошо, отметки показывала, все пятерки, четверки, других и не было. Грамота у нее из института за самодеятельность...

— Так, — твердо сказал Демин, останавливая Сутарихину. — А последнее время вы стали замечать за Наташей что-то неладное?

— Да, что-то с девкой твориться начало... — Поддавшись его тону, женщина кивнула.

— Давно?

— Месяца три, почитай...

— Кроме чая, она пила что-нибудь покрепче?

— Вы имеете в виду...

— Вино, водку, виски...

— Однажды, — Сутарихина понизила голос, словно собиралась сказать нечто невероятное, — однажды я от нее запах вина слышала. Веселая пришла, все болтала, да нескладно, невпопад, будто самое себя заговорить хотела. Призналась — у подружки на именинах была. Спрашиваю, а ребята были? Были, говорит. И улыбнулась. Знаете, так улыбнулась, будто о чем плохом подумала.

— К ней заходили подруги?

— Никогда. Спрашиваю — чего ж, доченька, подружки к тебе не заходят? А чего им заходить, говорит... Живут далеко, в общежитии, институт тоже неблизко. Это, говорит, мне сподручнее к ним ездить, я у них и заночевать могу, койка всегда найдется, не в той комнате, так в этой, посекретничать всегда есть с кем...

— А парень у нее был?

Сутарихина быстро взглянула на Демина, опустила глаза, помолчала, наматывая на палец тесемку от передника.

— Наверно, все-таки был... Захожу как-то к ней, а у нее на столе фотка... Парнишка. Молоденький, худенький. Хотела спросить, да она как-то быстро его и спрятала. Приятный молодой человек, видно, с пониманием о жизни... Я не удержалась, спросила... Но, видно, вопрос не понравился Наташе, любопытство мое она осадила. Не то чтобы резко или грубо... Просто сделала вид, что не услышала. Тогда уж и я сообразила язык прикусить. Чего к человеку в душу-то лезть? Придет время, сама скажет. А оно, время-то, вона какое пришло.— Сутарихина всхлипнула, закрыв лицо руками.

— А эти... соседи ваши, братья Пересоловы? Как они к ней?

— Что сказать... Пересоловы, и все тут. Другие люди. Неплохие ребята, не пропойцы, не скандалисты, помогут всегда, если, случится, попросишь... И друг дружку чтут, никогда драк промеж собой не бывает или ругани какой... Но вот как-то интересу к жизни нет. Все у них просто, так просто, что дальше некуда. Стремления нету. Заработать, поесть, попить, покуролесить, песни попеть, похохотать — и все тут. А к Наташе... Нет, не забижали они ее, подарки иногда приносили, когда праздник какой, Новый год, к примеру, или Женский день... Хоть и выпимши придут, а подарки принесут.

— Какие? — спросил Демин, вспомнив про виски на столе в комнате Селивановой.

— Господи, какие у них могут быть гостинцы! Конфетки, цветочки, игрушку какую-нибудь, не то медведя, не то зайца... Сейчас ведь их так делают, что сразу и не разберешься, что за зверь такой... Знаю, знаю, что хотите спросить, сама скажу. Было дело, попробовали они к ней с мужским интересом, но... Говорю же, другие люди. Я уж набралась наглости, пошла к ним... Уж так отчитывала, так отчитывала... — Сутарихина, не выдержав, расплакалась.

— Вера Афанасьевна, а теперь скажите — в квартире этой ночью чужих не было?

Сутарихина перестала плакать, тыльной стороной ладони вытерла слезы на щеках и пристально посмотрела на Демина, словно пытаясь понять скрытый смысл вопроса.

— Я вам вот что скажу — ежели вы кого подозревать надумаете... кроме нас, жильцов, в доме никого не было. И быть не могло. Уж мы-то не первый год вместе живем. Пересоловы навеселе придут — и то я знаю, сколько они выпили, сколько с собой принесли. Наташенька позвонит, а я могу прикинуть, какое настроение у нее, какие отметки в портфеле.

— Может, у Наташи в комнате кто был? Она, к примеру, раньше впустила...

Сутарихина отрицательно покачала головой.

— Не было у нее никого. Чай мы пили вечером. И потом опять я к ней в комнату заходила, не помню уж и зачем...

— Нет! — нетерпеливо сказала Сутарихиа. — У меня такой сон... У меня и нет его, сна-то. Все слышу.

— Наташа эту ночь спала?

— Плохо спала, — озабоченно сказала Сутарихиа, вытерев слезы углом передника, — как чувствовала, я уж думала, может, чаем ее крепким напоила, что заснуть не может... А потом звонок был. Телефонный. Трубку поднял Анатолий... Да, Толька первым подошел, это младшой, он как раз на кухне сидел. Как я поняла, Наташу спрашивали. Только положил трубку на тумбочку и пошел к ее двери. Постучал несколько раз. Это у нас знак такой — к телефону, мол, иди.

— О чем разговор?

— А не было разговора. Да — нет, да — нет... А потом Наташенька... Оставьте, говорит, меня в покое. Вот и все.

Демин, казалось, был озадачен.

— Спасибо, Вера Афанасьевна. Похоже, мы с вами еще свидимся... Подумайте, может, чего вспомните.

— Вспомню — скажу, таить не стану, — суховато ответила Сутарихина.

Оробевшие братья Пересоловы маялись на кухне, курили, не решаясь ни заглянуть в комнату к Селивановой, ни уйти к себе.

— Ну, что скажете, братья-разбойники? — приветствовал их Демин.

— А что сказать — беда! — ответил, видимо, старший брат. Он был покрупнее, с розовым лицом, слегка, правда, помятым после вечернего возлияния, с четко намеченным, крепким животиком. Взгляд его маленьких острых глаз был насторожен и подозрителен. Он словно заранее знал, что ему придется оправдываться, доказывать свою невиновность, и уже был готов ко всему этому.

— Давайте знакомиться, — Демин протянул руку. — Валентин.

— Василий. — И рука у старшего брата оказалась сильная, плотная. — А его Анатолькой дразнят. — Он показал на младшего брата.

Анатолий быстро взглянул на Василия, как бы спрашивая разрешения заговорить, но поскольку тот сделал вид, что не заметил беспокойства брата, сник и промолчал.

— Это, как я полагаю, вы должны рассказать, что произошло, — значительно и в то же время с подковыркой сказал Василий. — Мы спали, ничего не видели, не слышали, мы люди простые...

— Я вижу. Потому и пришел к вам.

— Зря пришли, — сказал Василий, глядя в пол.

— Кто из вас этой ночью подзывал Селиванову к телефону?

— Я звал, — неуверенно сказал Анатолий и опять посмотрел на брата. Василий оставался невозмутимым, но в его спокой-

ствии сквозило недовольство, неодобрение поспешностью Анатолия. Василий, видимо, был из тех, кто стремится всегда «поставить себя», чтоб сразу оградить от пренебрежения и дать понять, что за себя он постоять сумеет, не позволит помыкать собой.

— В котором часу это было?

— После двенадцати, — ответил Василий.

— В котором часу это было? — повторил Демин, глядя в глаза Анатолию.

— Он же сказал...

— Я слышал. Но я спрашиваю не у него. Вы подзывали Селиванову к телефону, вам и вопрос.

— Минут пятнадцать второго, — негромко ответил Анатолий.

— О чем говорили? — спросил Демин.

— Я не слушал, — ответил Анатолий и покраснел.

— Ну а все же?

— Говорит ведь человек — не слушал! — вмешался Василий. — Придумывать ему, что ли?! Мы тут такого напридумаем...

Демин помолчал, разглядывая Василия с каким-то недоумением.

— Вы упрекнули меня в том, что я не могу рассказать вам, как погибла Наташа, — заговорил Демин размеренно. — А теперь, когда я выясняю обстоятельства ее гибели, вы вдруг затеяли какие-то игры... Что, собственно, вам не нравится? Я вам не нравлюсь?

— Нет, почему же... — смутился Василий.

— А раз так, то будьте добры, пройдите к себе в комнату. И посидите там, пока я поговорю со свидетелем, — жестко сказал Демин.

— Это что же получается...

— Прошу поторопиться. Закон запрещает допрашивать свидетелей пачками. Свидетелей должно допрашивать по одному. Чтобы они не мешали друг другу, не сбивали друг друга с толку и не вмешивались в расследование преступлений. Иначе их показания потеряют всякий смысл и юридическую достоверность. Статья сто пятьдесят восьмая уголовно-процессуального кодекса.

Василий, прищурившись, протяжно посмотрел на Демина, как бы желая показать, что тот сильно рискует, разговаривая с ним таким тоном. Потом усмехнулся, нарочито медленно подошел к форточке, положил на согнутый палец окурок и щелчком отправил его на улицу. Неторопливыми, дразнящими действиями он будто хотел подчеркнуть свое достоинство, независимость в поступках.

— Ладно, — сказал он, не то смягчаясь, не то озлобляясь, — Скажу только...

— Потом, — перебил его Демин.

— Я смотрю, с людьми вы разговариваете...

— По закону, — Демин плотно закрыл дверь за Василием и

сел на табуретку напротив Анатолия. — Тяжело быть младшим братом?

— Бывает, — смутился Анатолий. — Васька ничего парень, с ним жить можно... Он боится, что мы из-за всей этой истории попадем в передрягу, да потом и не выберемся из нее.

— Авось не попадете, — успокоил его Демин. — Итак, мы остановились на том, что ты позвал Наташу к телефону. Сам остался у двери. Это ясно. О чем она говорила? С кем? Как? Каким тоном?

Анатолий помялся, искоса поглядывая на дверь, за которой только что скрылся Василий, и, наконец, заговорил, сжав коленями сцепленные пальцы.

— Чудной какой-то разговор был... Наташа больше молчала. Иногда, правда, будто успокаивала кого-то... Ничего, мол, не волнуйтесь, я слушаю, я у телефона... Видно было, что ей неприятен этот разговор и она побыстрее хочет закончить его... Потом сказала... «Давай, вываливай, что там у тебя еще припасено, вываливай все сразу». А минут через пять снова звонок. Наташа еще не ушла к себе и трубку подняла сама. И, не слушая, сразу выдала... Ты, говорит, все сказала и я все сказала. И бросила трубку.

— Значит, разговор был с женщиной?

— Почему? — удивился Анатолий.

— Но ведь ты сам только что произнес ее слова: «Ты все сказала...»

— Вообще-то да, — Анатолий был озадачен. — Получается, что с женщиной... Я и не подумал.

— Твой брат ее не любил?

— Не то, чтобы не любил... Остерегался. Он будто какую-то опасность в ней чуял... Иногда даже робел... — Анатолий вздохнул, снова оглянулся на дверь, стараясь не встретиться взглядом с Деминым. Но все-таки поднял глаза и посмотрел жалко и беспомощно... — Я как-то подкатился к ней... Ну а почему бы и нет? Я неженатый, она тоже свободная...

— И ничего не вышло?

— Не вышло, — Анатолий растерянно улыбнулся. — Сказала она мне вроде того, что, мол, надо свой шесток знать... Да я и сам понимал, что Наташа — не моего пошиба девка. А чем, думаю, черт не шутит, и попер... В общем, получил от ворот поворот. А Васька как узнал, что она меня отшила, обидно ему показалось. Будто она и его мордой в грязь ткнула...

Демин представил себе эту жизнь в коммунальной квартире, где бок о бок живут чужие друг другу люди, словно сведенные вместе ради жестокого опыта — узнать, что из этого получится. Их различие, неприятие друг друга, все их столкновения, привязанности, чувства, ссоры заносятся в какие-то ведомости, отчеты, сводки. А люди живут, привыкнув, а может, попросту смирившись, и уже готовы показаться друг другу сонными, с помятыми лицами, не в самых лучших нарядах, а то и вовсе без нарядов... А эти мимолетные, равнодушные и напряжен-

ные встречи в тесном, заставленном дряхлыми вещами коридоре, пропахшем жареной картошкой, луком, обувью, мылом. И вот здесь появляется Селиванова — яркая, нарядная, словно бы из другого мира, появляется только для того, чтобы переночевать и снова уйти в сверкающий красками, чувствами, возможностями мир, который был недоступен и потому особенно привлекателен для остальных жильцов...

Демин представил, каким жалким, обойденным судьбой чувствовал себя Анатолий, когда, придя вечером со смены и отмыв руки от въевшегося черного мазута, надев свежую сорочку, которую сам накануне выстирал, повязав случайный, несуразный галстук, толкался в коридоре, надеясь дождаться Наташу, встретиться с ней, переброситься словом, улыбкой, посторониться, пропуская ее — о, боже! — в туалет или в ванную, и ждал, ждал, ждал хоть какого-нибудь поощряющего жеста, взгляда...

Конечно, ей льстила его робость, преданность, какой бы она ни была. Это всегда лестно.

— Послушай, Толя, — обратился к парню Демин, — а скажи, Селиванова не давала тебе никаких поручений?

— Поручений? А почему вы решили, что она...

— Нет-нет, погоди. Я ничего не решал. Возможно, она тебя предупредила, чтоб ты никому не говорил, поскольку это для нее очень важно. Понимаешь? Я не настаиваю, что дело было именно так, но в порядке бреда могу предположить? Могу.

— Понимаю, — перебил Анатолий. — Поручения были. Несложные, нетрудные... Просила она меня не то два, не то три раза коробки отвезти по одному адресу...

— Коробки? Какие?

— Магнитофоны. Запакованы они были, фабричная упаковка. Дорогие игрушки. Японские, западногерманские. В комиссионках по полторы тыщи.

— А куда отвозил?

— Мужику одному...

— Адрес помнишь?

— Нет, но показать могу. И как звать его, помню — Григорий Сергеевич. Маленький, шустрый, суетливый какой-то... Все лебезит, лебезит, а потом вдруг возьмет да и нахамит. Манера такая. Дескать, я вон какими делами ворочаю, а ты, мразь вонючая, получай трояк за услуги.

Демин ссутулился на кухонной табуретке, зажав, как и Анатолий, ладони коленями. Значит, появляется некий гражданин по имени Григорий Сергеевич.

— Послушай, Толя, а кто привозил коробки сюда? Наташа?

— Не знаю, не видел.

Внезапно дверь распахнулась, и на кухню вошел Василий. Лицо его от возмущения пошло красными пятнами, а дышал он так, будто на пятый этаж бегом взбежал.

— Что?! — заорал он, остановившись перед Деминым. — Расколол пацана, да?! Расколол! Так и знал!.. Ах, твою мать,

ты ведь упекешь его! Толька! Я ли тебе, дураку, не говорил? Посидеть захотелось?

— Заткнись, — тихо сказал Анатолий.

— Что?! А ну повтори!

— Я сказал, чтоб ты заткнулся.

— Расколол? — повернулся Василий опять к Демину. — Доволен?

— Очень, — Демин поднялся. — Да, я доволен разговором с вашим братом. Он оказался честным и порядочным человеком. Как я понял, эти качества не вы ему привили. Может быть, лучше сказать иначе — вы из него эти качества еще не вытравили. Трусоват твой старшой-то, — с улыбкой сказал Демин Анатолию. — Ишь запаниковал как... Ну ладио, братишки, не скучайте. Из дому не уходите пока, вдруг понадобитесь...

— А ему, — агрессивно начал Василий, кивнув на младшего брата, — сухари сушить?

— Можно повременить, — улыбнулся Демин.

— Мои показания вас не интересуют?

— Вы хотите сказать что-нибудь существенное?

— Да нет... Я вообще...

— А-а! — разочарованно протянул Демин. — Поговорим как-нибудь после.

Осмотр комнаты Селивановой продолжался. Фотограф в творческом волнении расставлял на столе американские сигареты, японский зонтик, бутылку шотландского виски, стакан с тяжелым литым дном. Понятые сидели на диванчике. Им давно наскучили нехитрые обязанности, и слесарь с дворничихой вполголоса толковали о ремонте парового отопления, о лифте, начальнике ЖЭКа, которому ничего не стоит человека обидеть, о каком-то хаме, повадившемся выбрасывать мусор из окна...

— Странная была студентка эта Селиванова, тебе не кажется? — Участковый кивнул на раскрытый шкаф, в котором висели две дубленки, небрежно брошенные лежали две пары заморских сапог, песцовая шапка...

— Что отпечатки? — спросил Демин у эксперта.

— Вроде чужих нету. Наверняка отвечу вечером.

— А виски?

— Бутылка открыта совсем недавно. Вечером, если не утром.

— Снимки есть?

— Сколько угодно, — оперативник протянул Демину большую папку с фотографиями.

Да, Селиванова любила сниматься, явно нравилась себе, и не только себе, это тоже было ясно. Белокурые волосы, пухлые, почти детские губы, слегка капризный, уверенный в неотразимости взгляд. Вот на фотографии Селиванова хохотала во весь рот, и Демин мог убедиться, что у нее на удивление красивые, ровные зубы. На одном только снимке девушка была совершенно иной: угрюмый взгляд, не то беспомощная, не то нагловатая

улыбка, какая бывает у людей, застигнутых на иекраснвом поступке. Разглядывая этот снимок, Демии не мог отделаться от впечатления, что эта ее ухмылка предназначалась для него — настолько прямой взгляд был у Селивановой на фотографии. Ясно, что так девушка смотрела иа человека с фотоаппаратом. На оборотной стороне снимка — стояла дата. Только дата, больше ии слова, ни буквы. Сиимок был сделаи два месяца назад. Снимок говорнл н о том, что была у девушкн Наташи другая жнзнь, ие только та, о которой зиала сердобольная Сутарнхнна.

Демнн отобрал из пачки иесколько снимков и суиул их в карман.

— А вот это, Валя, тебе не покажется интересным? — оперативник положнл перед Деминым коробку, иаполненную всевозможными жеискимн побрякушками, колечкамн, квнтанциямн, нитками. — Посмотри, здесь почти десяток этнкеток из «Березкн»... Ну, из магазииов, которые за валюту торгуют...

Демин взял коробку, вытряхнул ее содержимое на дниван. Несколько минут внимательио перебирал, рассматривал бумажки, этикетки, квитанции. Онн рассказывалн еще об одной стороне жизнн Селивановой.

— Ну вот, это уже ннтересно, — проговорнл он. — Квитанция на денежный перевод. Маманя высылает Наташе двадцать пять рублей н заранее извниается, что больше выслать не может. Слышишь, Гена, — подозвал ои участкового. — Картошку купили роднтели Наташи. На знму запаслись. И эта покупка серьезно вышнбла нх из колеи...

— Ну и что?

— Это говорит о том, что благополучня Наташа достнгла своими силами. Старнки ее, как я поиял, не самые состоятельные в Воронеже люди.

Демин открыл окно и посмотрел вниз. В иескольких метрах раскачивались верхушки высоких деревьев, виизу, на асфальте все еще лежали кирпичи, принорошениые мокрым снегом. Выпрыгнула Селиванова рано утром, почтн ночью, в темноте. Надо же, нашлась у девчонки бутылка внскн... А не будь ее, кто знает, может быть, и сейчас была бы жнва. Поревела бы, пообнжалась бы на кого-то, но осталась бы жива. Выпила примерно стакан.

Ну что ж, доложим начальству все, как есть, думал Демнн, перелистывая маленькую запнсную кннжечку Селивановой. Книжка была необычная, узкая, длинная, в алом сафьяновом переплете, с прекрасной бумагой. Такую не купишь в канцелярском магазине, скорее всего тоже из «Березкн». И еще одно заметил Демин — кннжка была новая, и два десятка телефонов, занесенные в нее, очевидно, переписывались совсем недавно из старого блокнота.

Дверь в комнату резко, без стука, открылась — на пороге стояла блединая Сутарнхнна.

— Там звонят, — проговорила она шепотом. — По телефону... Наташу просят... Я сказала, чтоб подождали...

— Валера! — Демин повернулся к одному из оперативников. — Быстро в соседнюю квартиру. Позвони оттуда — пусть засекут телефон. Пусть...

— Знаю! — крикнул оперативник уже из дверей.

— Вера Афанасьевна, — негромко сказал Демин, — возьмите трубку и скажите, чтоб подождали.

— Господи, как же это? — Глаза старой женщины наполнились слезами. — А ну как не смогу?

— Сможете! — жестко сказал Демин. — Идите!

Своей резкостью он хотел возмутить женщину и тем придать ей силы. Сутарихина испуганно взглянула на него и вышла в коридор. Видя, что она не решается взять трубку, Демин сам взял ее, прислушался. «Соседка пошла звать...» — услышал он низкий женский голос. После этого раздался смех, какой-то угрюмый, торжествующий смех человека, который добился своего, сумел доказать свою силу. «Ничего, побесится, перестанет... Через это надо пройти. Ну, что там?!» — последние слова прозвучали четче, ближе других. Видно, неизвестная собеседница выкрикнула их прямо в микрофон.

Демин передал трубку Сутарихиной.

— Алло! Алло! — зачастила женщина. — Вы меня слышите? Алло?!

Участковый восторженно ткнул Демина в бок, — во, мол, дает бабка, время тянет, как опытный оперативник.

— Алло! — надрывалась Сутарихина. — Девушка!

— Да слышу, слышу! Чего вы орете, как будто вас...

— Подождите минутку... Алло!

В конце коридора, насупившись, стояли братья Пересоловы, и во всем их облике было неодобрение. Демин навис над Сутарихиной, пытаясь разобрать, что говорит сипловатая собеседница. Понятые робко выглядывали из комнаты Селивановой — они, кажется, так и не поняли, что происходит.

— Хорошо, я позвоню через пять минут, — сказала женщина и, не дослушав, повесила трубку.

— Низкий нагловатый голос? — вдруг спросил молчавший до сих пор младший Пересолов.

— Да, наверно, его можно назвать таким, — озадаченно проговорил Демин. — Ты ее знаешь?

— Она звонит иногда... Не так чтобы часто, но и не первый раз. Кстати, этой ночью она звонила. Ее зовут Ирина.

— А отчество, фамилия? — спросил Демин.

— Не знаю, Наташа не говорила.

— Напрасно, — проворчал Демин.

— Я могу подойти к телефону... Она иногда передает через меня кое-что для Селивановой... То есть передавала.

Демин раздумчиво посмотрел на младшего Пересолова, на Сутарихину, в глазах у которой засветилась надежда на избавление от такой неприятной роли.

— Хорошо. Подойдешь ты.

Несмотря на то, что звонка все ожидали, прозвенел он неожиданно и как-то резко. Анатолий взял трубку, настороженно посмотрел на нее, не поднося к уху, будто опасался этой трубки.

— Да, — наконец проговорил он недовольно. Трубку Анатолий держал чуть поодаль, чтобы и Демин мог слышать слова.

— Кто это? — опять прозвучал хрипловатый женский голос.

— А кто нужен?

— Толя, ты?

— Ну?

— Толик, будь добр, кликни Натали́, а?

— А что я буду за это иметь?

Демин молча пожал парню локоть — правильно, мол, так держать. Тяни время, не торопись.

— Что будешь иметь? — переспросила женщина. — Это ты уже с Натали договаривайся! — Она хрипло засмеялась.

— С ней договоришься, как же! Держи карман шире...

— Можно, Толя, можно. Заверяю тебя, что с ней несложно договориться. Видно, ты не с того конца начал.

— С какого же конца надо начинать?

— Ха, я бы тебе сказала, но рядом люди... Они могут меня неправильно понять. Но ты меня, надеюсь, понял.

На лбу парня выступили маленькие капельки пота. Демин только сейчас представил себе, каково ему было вести этот вроде бы такой шутливый разговор. Но Анатолий неплохо держался. Ворчливостью и недовольством он скрывал свое состояние.

— Ну ты что замолчал? Смотался бы за соседкой!

— А кто зовет?

— Ты что, ошалел? Скажи — Ирина к телефону зовет.

— А отчество? — уныло спросил Анатолий.

— Перебьется и без отчества.

— Ладно, подожди... — пробурчал Анатолий и передал трубку Демину. Некоторое время в трубке не раздавалось ни звука. Потом вдруг четко и громко прозвучали слова: «Конечно, придет, никуда не денется». Все тот же низкий женский голос. И Демин даже на расстоянии чувствовал, что принадлежит он человеку хваткому, самоуверенному, привыкшему поступать по-своему.

В дверях появился оперативник.

— Все в порядке, — проговорил он шепотом. — Засекли.

— Спроси, может, чего передать Наташе, — сказал Демин, отдавая трубку Анатолию.

— Алло! Ира! Может, что передать?

— Слушай, ну и копуха она стала! Как у нее настроение?

— По-моему, неважное.

— Я думаю! — удовлетворенно засмеялась женщина. — Толя, скажи ей, чтоб сегодня обязательно была в «Интуристе». Понял? Она знает. И еще скажи, чтоб не валяла дурака. А то я очень обидчивая стала в последнее время. Так и скажи. Добро? Ну будь!

Анатолий положил трубку и некоторое время стоял молча. Потом вопросительно посмотрел на Демина.

— Кто это?

— А черт ее знает! — с неожиданной злостью сказал Анатолий. — Ира, и все. Судя по голосу, эта Ира немало выпила на своем веку. И не только водки.

— Что же еще она, по-твоему, пила?

— Крови она достаточно попила у людей. По голосу чувствую, по тону. Этакой хозяйкой себя воображает. Нравится ей быть хозяйкой, давать распоряжения, проверять исполнение, поощрять и наказывать.

— Ладно, — тихо проговорил Демин, и в его голосе первый раз за все утро прозвучала угроза. — Ладно. Пусть так. Что у тебя? — повернулся он к оперативнику.

— Из автомата звонила. С улицы Горького.

— Ладно, — повторил Демин. — Пусть так. Хозяйка так хозяйка. Я не против. Будем заканчивать. Подписываем протоколы, собираем манатки, опечатываем жилплощадь и отбываем. А вас я попрошу вот о чем, — Демин повернулся к жильцам, — сегодня на все телефонные звонки, если кто будет Селивановy спрашивать, отвечайте, что ее нету. Нету, и все тут. И весь разговор. Пусть думают что хотят. Такая к вам просьба. Завтра скрывать будет сложно, да и ни к чему, наверно, да и нехорошо, наверно... А сегодняшний день попытаемся использовать.

Он оглянулся в последний раз, словно проверяя, не забыл ли чего, и вдруг взгляд его упал на новенький с блестящими медными пряжками портфель — явно чужой в этом полутемном коридоре, на пыльном полу, между старой кухонной тумбочкой и продавленным креслом. Демин поднял его, внимательно осмотрел.

— Чей это? — спросил он, уже догадываясь об ответе.

— Наташин, — ответил Анатолий. — Она часто оставляла его в коридоре. А утром брала и сразу в институт.

Демин, не говоря ни слова, внес портфель в комнату Селивановой и вытряхнул на диван. Из него высыпались тетради, конспекты, зеркальце, косметическая сумочка, несколько шариковых ручек. Раскрыв одну из книг, Демин увидел, что это не учебник.

— Ну да, конечно, — сказал он. — Иначе и быть не могло. Только Булгаков. Что еще может читать девушка, у которой на столе виски, а в шкафу пара дубленок!

— Ты чего ворчишь, Валя? — спросил участковый.

— Булгакова читала девушка Наташа. Понял?

— Ну и что?

— Ничего. Просто было бы странно найти в ее портфеле что-нибудь другое.

— Ты против Булгакова?

— Я за Булгакова. Знаешь, сколько просят спекулянты за этот томик? — Демин взял книгу за уголок и потряс ее в возду-

хе, словно бы для того, чтобы участковый мог определить ее стоимость. — Сто рублей за книгу.

— Но, может быть, это не ее книга, не исключено, что она взяла ее у кого-то почитать?

— Да какое это имеет значение?! Ты видишь, что в этой комнате все вещи от виски до сапог поют в один голос? И мне не нравится этот голос. Он напоминает мне голос той дамы, которая звонила недавно.

В этот момент из книги, которую держал Демин, выпал небольшой синий листок бумаги и, раскачиваясь из стороны в сторону, упал на пол. Демин поднял его, внимательно осмотрел, и его хмурое лицо осветилось чуть ли не счастливой улыбкой.

— Ну вот, — сказал он, — и эта бумажка поет тем же сипло475ватым голосом. Самая настоящая итальянская банкнота, которую гражданка Селиванова использовала в качестве книжной закладки. Правда, стоит она пятак, не больше. Но это ерунда... Меня настораживает странный хор вещей, предметов, ночных телефонных звонков, непонятных поручений... Верно, Толя? — подмигнул Демин младшему Пересолову. — Уж поскольку я освободил тебя сегодня от работы... Ты не против, если мы немного покатаемся?

— Да нет... Можно. — Он оглянулся, посмотрел на Василия, но тот молчал с каменным лицом, как бы сняв с себя всякую ответственность за брата.

— Тогда одевайся. Поехали! А снег, снег-то валит... Эх, Наташа, такого снега лишить себя, такой погоды! Зачем так торопиться? Не понимаю.

И опять машина мчалась по заснеженным улицам, неутомимо работали «дворники», сгребая с ветрового стекла мокрое месиво, чертыхался водитель, глядя, как скользят на переходах прохожие, как шарахаются они в сторону, увидев возникшую рядом машину, и молчал, вжавшись в сиденье, Демин, из-под полуприкрытых век поглядывая на дорогу, на размытые контуры домов, на тусклые, словно плавающие в снегу огни светофоров.

— А этот... Григорий Сергеевич, звонил Селивановой? — спросил вдруг Демин.

— При мне нет, — ответил Анатолий. — Вы хотите зайти сейчас к нему?

— Нет. И тебе не стоит. Уточним номер дома, квартиру, фамилию. И отчалим восвояси. Не готов я с твоим приятелем всерьез поговорить. Вот поработаю над собой, подготовлюсь...

— А, черт! — воскликнул водитель, выравнивая машину. — Заносит.

— Не торопись, Володя... Успеем. Уж теперь-то мы должны успеть. Насколько я понимаю, Григорий Сергеевич не из тех людей, которые выбрасываются из окон, а, Толя?

— Нет, он не выбросится.

— А других? Выбросит?

— Мешать, во всяком случае, не станет.

— Представляешь, Толя, живут среди нас некие существа, тоже по две ноги имеют, голову в верхней части туловища, разговаривают по-нашему, нас понимают, может быть, даже лучше, чем мы сами себя понимаем... Со стороны посмотришь — вроде люди как люди... Ан нет. Они совсем не люди. Я не говорю в том смысле, что они плохие люди — они вообще не люди. Только притворяются, прикидываются, иногда очень долго и весьма успешно.

— Что-то, Валя, я смотрю, ты в философию ударился, — усмехнулся водитель.

— Что ты, Володя! Никакой философии. Жизнь. Я иногда ловлю себя на мысли, что разыскиваю не человека, совершившего преступление, а просто чуждое, враждебное существо, которое замаскировалось под человека и вредит ему, использует его в своих темных целях и вообще смотрит на человека, как на некоего животного, которого можно использовать на тяжелых работах, в пищу, да, в пищу! А вечером, сняв маскировку, оно, это существо, будет сидеть на мягком, теплом диване, поглаживать брюшко и смеяться над человеком же... Понимаешь, что происходит, — раздумчиво продолжал Демин, — эти существа не прочь считать себя людьми, более того, они только себя-то и считают людьми. У остальных манеры не столь изысканы, словами могут играть не так ловко, блажью, видите ли, эти остальные мучаются — то про совесть вспомнят, то про порядочность, то им принципиальность поперек дороги станет... А у этих существ все просто, все до ужаса просто, все в конце концов сводится к купле-продаже. И больше всего они опасаются обнаружить этот смысл своей жизни...

— В чем же он у них? — спросил Анатолий.

— Понимаешь, все эти разговоры о сочувствии, великодушии, честности только смешат их и еще больше убеждают в собственном превосходстве. Это, мол, разговоры недоумков, которые пытаются оправдать свою слабость. Прибыль. Доход. Вот козырь, которым они работают. Человеческая жизнь — не козырь. Закон — не козырь, он попросту не для них... И вот, разговаривая с кем-то, я прежде всего пытаюсь определить — человек сидит передо мной или то самое замаскированное существо.

— Вы думаете... что Наташа из них? — спросил Анатолий.

— Селиванова? Вряд ли... Эти существа не кончают самоубийством, находят наиболее целесообразный вариант. Они слишком рассудочны, чтобы поддаваться таким порывам. Может быть, в этом их сила. А вообще-то, ребята, сейчас отличная погода, вы только посмотрите!

— Куда лучше, — иронически бросил водитель. — Только жить да радоваться.

— Ну что, далеко еще? — спросил Демин.

— Вот здесь. — Анатолий показал на смутную, расплывчатую громаду дома, неожиданно проступившую в снегопаде.

Машина вильнула к тротуару и остановилась.

— Ну ладио, — проговорил Демии тихо. — Улицу мы знаем, номер дома тоже зиаем, остаиовка за квартирой и фамилией. Толя, ты свою задачу поиял? Заходить н тревожить Гришу не следует. Уточни квартиру, и все.

Анатолий вышел и захлопиул за собой дверцу. Он оглянулся по сторонам, подиял воротннк плаща и побежал к подъезду.

— А ничего домик, — протяиул водитель. — Я бы ие отказался.

— Я тоже, — согласился Демии.

— Как я поинмаю, — водитель гляиул на Демнна в зеркальце, — скоро здесь одиа квартирка освободится?

— Не нсключено.

Через несколько минут иа пороге показался Пересолов. Найдя взглядом машииу, ои побежал к ней напрямик через газон, прнжав к ушам уголкн воротиика. Воднтель предусмотрительио открыл дверцу, н Анатолнй с разбега упал на сидеиье.

— Татулин. Его фамилня Татулин. А квартира шестьдесят седьмая. Я остаиовнлся перед квартирой, чтобы уж наверняка убедиться, а в это время распахнвается дверь н иа площадку вываливается его мамаша. Она, вндио, меия в глазок рассмотрела.

— Так, — протянул Демин. — И что же? Оиа спустила тебя с лестиицы?

— Во всяком случае, ей этого очеиь хотелось. Дело в том, что сыика ее, Григория Сергеевича Татулииа, дома нет и в скором времени не будет. В данный момеит ои находится под следствием.

— Даже так! — уднвнлся Демни. — Даже так... И давно?

— Около недели.

— За что?

— Оиа говорила что-то об обмане, предательстве, неблагодарности н так далее. Никогда ие думал, что в такой обходительиой жеищиие столько матерщины может скопиться, — озадачеино сказал Пересолов. — Она прииила меня за дружка Грнгория Сергеевича, одного нз тех, кто предал его.

— Все понял, — сказал Демин. И отвериулся к окну. Пересолов посмотрел иа иего иесколько озадаченно, гляиул иа водителя, как бы спрашивая — может, чего ие так сказал? Тот поднес палец к губам. Помолчи, мол, иачальство думает.

— В квартиру ие заходил? — спросил Демин.

— Что вы! Я бы оттуда уже не вышел.

— Татулин зиал, что коробки от Селиваиовой? Ты говорил ему об этом?

— Конечно! Он спрашивал о ее настроеиии, самочувствии.

— Что-то оии все настроением Селиваиовой интересовались... И эта дама, и Татулин... Будто для иих ие было ннчего важнее ее настроения.

Все так же валил снег. Водитель остановил «дворники», и ветровое стекло через несколько минут было занесено. В машине установилась тишина — тепло и уют настраивали на благодушное настроение. Где-то рядом с мягким шорохом проносились машины, слышались голоса прохожих.

Демину надо было срочно принять решение — идти к Татулиной или же не следует? Конечно, следуя всем законам и канонам, да и просто здравому смыслу, идти не стоило. Ведь он ничего не знает, к разговору не готов. Он не смог бы даже четко ответить на вопрос, что ему нужно от Татулиной. Кто-то уже ведет следствие, Татулин дает показания, где-то заполнены протоколы допроса свидетелей, справки, характеристики... Познакомившись со всеми этими материалами, поговорить с Татулиной можно гораздо увереннее. Но Демину нестерпимо хотелось повидать Татулину, побывать у нее на квартире, переброситься незначащими словами — иногда они оказываются самыми нужными. Да, он ничего не знает, но позиция полного невежды таит свои преимущества. Судя по рассказу Пересолова, Татулина принадлежит к тому типу людей, которым приятно видеть перед собой невежд, просвещать их с высот своей образованности и, таким образом, утверждаться, утверждаться хотя бы в собственных глазах. Ну что ж, подумал Демин, пусть она меня просветит, если найдет нужным. А кроме того, уже твердо решил он, нужны основания, чтобы вынести постановление о возбуждении уголовного дела — как того и требует столь любимая мною статья номер сто двенадцать.

— А знаешь, Толя, — медленно проговорил он, — я все-таки схожу к твоей подружке...

К подъезду он шел не торопясь, наслаждаясь падавшим на лицо снегом, а может, попросту не замечая его. После неподвижной духоты машины воздух казался особенно свежим. Так же медленно, со спокойной раздумчивостью Демин поднялся по ступенькам к лифту, вошел в него, прикрыл дверь. А на девятом этаже, ощущая готовность к разговору и легкое нетерпение побыстрее увидеть Татулину, он подошел к шестьдесят седьмой квартире и позвонил. И почти сразу сверкающая точка глазка, врезанного в дверь, померкла — кто-то внимательно, ему даже показалось, затаив дыхание, — рассматривал его. Демин оставался невозмутимым, хотя ему очень хотелось подмигнуть этому стеклянному глазу. Наконец мягко щелкнули тяжелые зажимы замков, дверь приоткрылась, и он увидел крупное, расплывшееся лицо, маленькие настороженные глазки, нечесаные волосы, падающие на уши. Татулина, видно, еще не остыла после разговора с Пересоловым, и лицо ее было в красных пятнах.

— Простите, пожалуйста, — начал Демин. — Здесь живет Григорий Сергеевич Татулин?

— А вы кто такой будете?

— Моя фамилия Демин. Я работаю следователем.

— И что же вам нужно от Татулина?

— Я бы хотел видеть Григория Сергеевича... Мне надо поговорить с ним.

— Сидит Григорий Сергеевич! — вдруг тонко выкрикнула женщина. — Надеюсь, следователи знают, что это такое?!

— Не может быть! — ужаснулся Демин и понял, что это получилось у него неплохо, потому что Татулина, поколебавшись, все же открыла дверь и пропустила его в квартиру.

Демин снял заснеженную беретку, отряхнул ее и повесил на вешалку. Затем как бы в растерянности прошел в переднюю и, продолжая отступать, пятиться, оказался в большой комнате. Здесь совсем недавно произошли большие перемены. Светлые квадраты на стенах ясно говорили о том, что, может быть, всего неделю назад мебели в комнате было гораздо больше. Светлые квадраты поменьше, в полутора метрах от пола, свидетельствовали, что здесь висели картины, и уж если сочли за лучшее их убрать, это были вовсе не репродукции, очевидно, висели подлинники. А на одной стене он заметил целую россыпь небольших прямоугольников. Иконками, видно, тоже баловался Григорий Сергеевич, подумал Демин.

— Вот мои документы. — Он показал удостоверение. — Но я к вам совсем по другому делу... Понимаете, у одной девушки большие неприятности, а она знала Григория Сергеевича... Вот и хотелось бы поговорить с ним...

— Ах, вот оно что! — Татулина медленно поднялась со стула, тяжело распрямилась. Видно было, что слова Демина всколыхнули в ней что-то болезненно уязвимое. — Так говорите, у вашей девушки неприятности? И вы сразу к Григорию Сергеевичу? Так? Помогите, мол, Григорий Сергеевич, у моей девушки неприятности, да?

Вначале Демин растерялся, не поняв возмущения Татулиной. Но когда она закончила фразу, он облегченно вздохнул — все стало на свои места.

— Я вовсе не хотел сказать, что речь идет о моей девушке... Дело в том, что я до недавнего времени не знал даже о ее существовании...

Но Татулина его не слышала.

— Вот так всегда! — проговорила она, подняв голову к потолку и закрыв глаза, словно бы взывая к каким-то высшим силам, к высшей справедливости. — Вот так всегда! — четко повторила она, и Демин увидел, что на него в упор смотрят два маленьких, горящих ненавистью глаза. — Вот так всегда! — в третий раз повторила Татулина и устремила указательный палец куда-то в прихожую, показывая, очевидно, всех, кого вспомнила в эту минуту. — Когда у кого-то неприятности, все бегут к Григорию Сергеевичу! А когда неприятности у Григория Сергеевича, все бегут от него как от заразы! Вот вы! У какой-то девушки неприятности, а вы уже здесь... И правильно. Все так делали. И никто не уходил из этого дома не утешившись, никто не уходил без помощи!

— А что с ним случилось? — спросил Демин. — За что его арестовали?

— За то, что добрый! За то, что всегда стремится помочь каждому, — она снова показала в прихожую, — каждому, кто нуждался в его помощи! За то, что не было для него плохих людей, он всех считал хорошими и всем помогал. Нет, он не был богатым человеком, и, судя по всему, ему никогда не быть богатым, но если у него заводилась лишняя копейка, всегда находился прощелыга, который приходил за этой копейкой и уносил ее с собой. А теперь, когда Гриша сидит, — последнее слово Татулина произнесла с неподдельной дрожью в голосе, чувствовалось, что само слово «сидит» олицетворяет для нее предел несчастья, которое только может случиться с человеком. — Теперь эти прощелыги сидят дома, среди хрусталя и ковров и смотрят цветные передачи о фигурном катании... И смеются над ним, потешаются над его доверчивостью... Если только они его вспомнят, конечно... — Татулина всхлипнула и посмотрела на Демина сквозь выступившие слезы. Она их не смахивала, не вытирала, она хотела, чтобы он видел ее горе.

— Ну что вы, вряд ли можно смеяться над такими вещами, — неуверенно проговорил Демин. — Все-таки друзья... За что же все-таки арестовали вашего сына?

— А! — Татулина досадливо махнула рукой. — За валюту замели!

Демин не мог не заметить, что Татулина не чурается жаргонных словечек и знает, очевидно, не только это «замели».

— Валюта? — переспросил он.

— А! Попросила его одна, прости господи, дама, продать несколько долларов, потому что ей, видите ли, кушать нечего! Представляете себе даму, которая продает доллары, потому что ей нечего кушать? — Татулина презрительно хмыкнула. — И он согласился. А теперь, когда она уже имеет, что кушать, имеет на чем спать и с кем спать, хотя в этом у нее никогда недостатка не было, он размачивает сухари в железной кружке.

— А эту женщину тоже задержали?

— Не смешите меня! — поморщилась Татулина. — Ведь он из порядочности даже назвать ее не решается. Она доверилась ему, и Гриша не хочет обмануть ее доверие. Скажите, разве он не святой человек?

— А кто эта женщина? — наивно спросил Демин. Он даже не надеялся на успех, прекрасно понимая, что все сказанное прокручено не один раз не одному слушателю, и толстуха не так проста, как хочет показаться. Действительно, поняв, что сболтнула лишнее, Татулина сразу замкнулась, подобралась, искоса недобро глянула на Демина и промолчала. Сделала вид, что вообще не слышала его вопроса. — Ведь так нельзя, — продолжал Демин. — Насколько я понимаю, ваш сын может получить пять лет, во всяком случае, это не исключено...

— Пять?! — ужаснулась Татулина.

— Да... Если его действительно задержали с валютой... И конфискация имущества не исключена.

Демин с удовлетворением отметил, как метнулся по опустевшей квартире взгляд Татулиной. Она словно бы еще раз проверила, не забыла ли чего, не оставила ли впопыхах.

— А эта женщина... — начал было Демин, но Татулина перебила его.

— Да не знаю я ее, господи ты боже мой! Если бы знала, за шиворот приволокла бы эту дрянь и без расписки сдала бы первому милиционеру! Тьфу! — Она плюнула на пол, не в силах сдержать презрение к неизвестной даме.

Знает, подумал Демин. Прекрасно знает. И не выдаст. Будет молчать. Видно, уже побегала по юристам, консультантам... Понимает, что второй участник только усугубит вину Гриши — групповщиной запахнет. И Гриша, разумеется, тоже молчит, иначе мамаша вела бы себя по-другому... Ха, да ведь она и диван куда-то свезла! На чем же бедолага спит? Никак на раскладушке? Ну-ну...

Демин надел беретку.

— Прошу простить за беспокойство... Я не знал, что ваш сын задержан. Я, очевидно, буду его видеть... Может быть, передать что?

Татулина резко повернулась к Демину и в упор, испытующе посмотрела на него. Потом вся как-то обмякла, ее тяжелые руки повисли, плечи, еще минуту назад напряженно приподнятые, опустились. Теперь она смотрела на Демина почти с полной беспомощностью.

— Скажите Грише... Скажите ему, чтоб он не беспокоился. У меня все в порядке. Пусть ведет себя, как подсказывает ему совесть, — медленно проговорила Татулина.

Неплохо, подумал Демин. Вполне грамотно. Он мог поклясться, что в голосе ее явственно прозвучала ирония.

— Ваш сын женат?

— Был. Очень неудачная женщина попалась ему... Чистоплюйка. Пришлось развестись.

— Где он работает?

— Знаете, последнее время он подыскивал себе место... Кажется, что-то нашел. Но история с долларами...

— Эта квартира кооперативная?

— Да. У нас были сбережения...

— Хорошая квартира, — сказал на прощание Демин.

Татулина проводила его до двери, пожелала всего доброго и, не скрывая облегчения, плотно закрыла дверь. Поправляя берет, Демин оглянулся. Глазок в двери был тусклым. Значит, толстуха все еще внимательно разглядывала его. И опять Демин с трудом удержался, чтобы не подмигнуть ей.

Несмотря на обеденное время, начальник следственного отдела Рожнов был на месте. Обычно обедать он никуда не ходил,

довольствуясь бутербродами с домашними котлетами и чаем, который заваривал здесь же, у себя в кабинете. Демин застал своего начальника в чисто купеческой позе — тот прихлебывал чай из блюдца, поднятого высоко, к самому лицу. Чай Рожнов пил вприкуску, раздобывая неизвестно где головки рафинада.

— Садись, Валя, вместе чаевничать будем, — Рожнова слегка разморило, и он больше обычного был красен и доброжелателен.

— Может, у тебя и котлета осталась? — спросил Демин, присаживаясь поближе к батарее.

— Котлета? — Рожнов помолчал, прихлебывая чай, вздохнул. — Ладно, отдам тебе котлету. Я ее на вечер берег, но тебе отдам. Чувствую — заслужил ты сегодня котлету. А?

— Не исключено, — усмехнулся Демин.

— Смотри, оправдай мое доверие, окупи мои жертвы. — Рожнов благодушно развернул целлофановый мешочек и вынул из него громадную, в ладонь величиной котлету. — Лопай. И рассказывай.

— Валютой запахло, Иван Константинович.

— Ишь ты! — В глазах Рожнова сверкнуло любопытство.

— Надо бы выяснить по городу, кто занимается подобными делами.

— Думаешь, кто-то занимается?

— Да. Могу даже назвать, кем занимаются. Григорий Сергеевич Татулин, задержан по обвинению в спекуляции валютой. Он-то мне и нужен.

— Ишь ты! Наш пострел везде поспел. Ну хорошо, не будем суетиться. Что девушка? Сама? Или кто посодействовал?

— И то и другое, если не ошибаюсь. Выпрыгнула сама, но не без содействия.

— Не понял.

— Моральное содействие... Мне так кажется. Кроме соседей, в квартире никого не было. Дверь в ее комнату заперта изнутри. Взламывать ребятам пришлось. Уйти через окно никто не мог — совершенно отвесная стена. В квартире, кроме нее, — бабуля и два брата-акробата. Один из них на Селиванову глаз положил.

— Это естественно, — самоуверенно заявил Рожнов. — Так и должно быть. На одних домашняя обстановка действует... охлаждающе. Знаешь, не всем нравятся красавицы в домашних халатах и в тапочках на босу ногу, нечесаные, некрашеные... А другим только в этом виде их и подавай. Они, понимаешь, родственными чувствами проникаются, такая обстановка их роднит.

— Откуда ты все это знаешь, Иван Константинович?

— Откуда, откуда... Сам женился в коммунальной квартире. Знаю. Так что там дальше?

— Вечером все было нормально. Чай с вареньем, мирный разговор с соседкой, а где-то в час ночи телефонный звонок. Если верить показаниям, от Селивановой чего-то хотели, к чему-то склоняли, она отказывалась. Такой вот разговор был. Дальше

все просто. Бессонная ночь, стакан виски под утро... и... головой виив в распахнутое окио. Очень эмоциоиальная девушка была, видно, эта Селиваиова. К тому же красивая девушка.

— И это успел заметнть?

Демин, ие отвечая, положил иа стол несколько снимков Селиваиовой.

— Так, — крякнул Рожнов, отставляя стакан в сторону. Он смахиул несколько крошек со стола, сцепил пальцы и плотио положил руки на холодное чистое стекло, как бы охватив снимки кольцом. И мгиовеиио из его голоса исчезлн благодушные, леиивые, купечески-самоувереииые иотки. Перед Деминым опять сидел человек, которого ои хорошо зиал — жесткий, безжалостный к себе и сотрудникам. — Так, — повторнл Рожиов, и в одном только этом слове уже почувствовалась готовиость немедлеиио бросить все силы иа разгадку утреииего самоубийства. — Что обыск?

— Находки интересные. Внски, которое продается только в магазииах для иностранцев. Сигареты того же пошиба. В наших ширпотребовских торговых точках таких нет. Две дублеикн в шкафу.

— Так.

— И вот бумажка, — Демии вынул нз кармана снний прямоугольиичек — лира. — Служила покойиой в качестве киижной закладки. А в коробке из-под обуви около десятка этикеток из «Березки». Париишка, сосед, иногда выполиял поручения Селивановой — отиосил вышеупомянутому Татулнну коробки с магнитофонамн. Симпатнчные такие небольших размеров коробкн с западногерманскими и японскими магиитофонами, транзнсторами и так далее.

— Ои это подтвердит?

— Уже подтвердил. Только что в моем кабинете ои подписал свои показания. Итак, я вышел на Татулнна. Был у иего дома. Не беспокойся, все правильио. Я пошел уже после того, как узиал, что ои задержан. Ошибки ие было. Позиакомился с евойной мамашей. Она сказала, что сыиочка задержали при попытке продать валюту. Надо бы уточнить, кто им заиимается, где, с каким успехом?

— Знаю я о нем, — иахмурнвшись, сказал Рожиов. — При задержаиии у него обиаружили доллары канадские, американские, голландские гульдеиы, франкн, фунты, марки, тысяч сто итальянских лир...

— Все при ием?!

— Да. Не человек, а небольшой швейцарский баик.

— Он что — дурак?

— Очевидио, ие без зтого. Но по мие ои больше иаглец. Потерял бдительность. Видио, ие однн раз сходило с рук. Обыск ничего не дал. Как я поиимаю, старуха, мать его так, успела принять меры. То ли зараиее готовилась, то ли нашн ребята оплошалн.

— Так нничего и не нашли?

— А что найдешь? Стены голые, одни светлые пятна от мебели остались. Валютой, конечно, и не пахнет. Да, порнографию нашли, но это к делу не относится.

— Интересно, — заметил Демин.

— Ничего интересного, — пренебрежительно сказал Рожнов. — Смею тебя заверить. Любительские снимки, унылая, бездарная работа.

— Тем более интересно.

— Ну ладно. — Рожнов положил ладони на холодное стекло стола. — Подобьем бабки. Как я понимаю, дело надо заводить. Не возражаешь?

— Вам виднее, — ответил Демин, понимая, что вопрос задан не всерьез и дело будет заведено в любом случае.

— Конечно, мне виднее, — согласился Рожнов. — Сегодня же выносим постановление. Не будем тянуть кота за хвост. Вот напрасно ты только к этой Татулиной заходил, — поморщился Рожнов. — Ох, напрасно! Баба скандальная, врезала бы тебе сковородкой по одному месту...

— Какому месту, Иван Константинович?

— Известно какому — по темечку! И сразу бы ты превратился из следователя в потерпевшего. И сливай воду, передавай дела. Понял? Учти на будущее. Статья сто пятьдесят седьмая о чем тебя предупреждает? О чем тебе намекает? О том, что свидетель допрашивается в месте производства следствия. Усек?

— Но та же самая статья не возражает против допроса в месте нахождения свидетеля, — усмехнулся Демин, поняв, что их спор привычно скатывается на знакомые рельсы.

— Знаю, знаю я твою нелюбовь к кабинетным допросам, — досадливо махнул тяжелой ладонью Рожнов. — Знаю. И потому предупреждаю. И замечание тебе делаю. Не выговор, а замечание. Поскольку подвергаешь себя повышенной опасности. И не красней, не лыбься — не столько о твоем здоровье пекусь, сколько о пользе дела.

— Иван Константинович... — начал было Демин, но Рожнов перебил его:

— Много слов говоришь. Нехорошо это. Кроме меня, ни один начальник не сможет выдержать такого количества слов от своего подчиненного. А я вот выдерживаю. Цени мое долготерпение и гуманность. Продолжим, прокрутим все обстоятельства... Татулин задержан, Селиванова мертва. Они были знакомы? Да. Более того — у них, оказывается, существовали общие интересы, деловые интересы.

— Есть даже свидетели, которые подтверждают это. — Демин показал протокол допроса Анатолия Пересолова.

— Тем более. Слушай сюда... Тебе нужно срочно встретиться с Колей Кувакиным. Он ведет дело Татулина.

— Иван Константинович, а как вообще, другие валютные дела по городу есть?

— А, ничего особенного! Затишье. Пижоны дешевые к иностранцам пристают, клянчат, срамятся только. Крупных дел не

замечено. Хотя подожди, был разгоаор... Появилась какая-то блондинка... По слухам, довольно приятной наружности, немолодая. Клнчка Щука. Очень осторожная, нн с кем в контакт не вступает, выходнт обычно сразу на иностранца, без каких бы то нн было посреднннков. Она, коиечио, не из этой компании, класс работы совершенно другой. Ну что, ни пуха? Давай. Вперед без страха и сомнений. Держн меня в курсе дела. Я умнее, понял? Умнее, потому что держу пальцы на этнх вот кнопках.— Рожноа показал на селектор. — Ладно, шуткн — шуткамн, а без меня ннчего не предпрнннмай. Чего не бывает, вдруг полезным окажусь, а?

Куаакнн сндел однн а малеиьком кабинетике, где совершенно иепостижимо размещались еще трн пнсьменных стола, пншущая машнннка иа какой-то несуразной тумбе, встроенный в проем шкаф, в углу стояла вешалка, на которой снротлнво висело маленькое пальтншко Кувакнна.

— Прнвет, Коля! — поздороаался Демин.

— А, это ты... Меня уже предупредилн, чтобы ннкуда не уходнл. Намечается что-то ннтересное?

— Как подойтн... Но еслн суднть по внешней стороне событнй, нечто нз ряда вон.

Куаакнн был немного нnже Демнна, немного старше, чуть усталее. Не потому, что он так уж устал за этот день, просто работа, которой он заннмался, ннкогда не кончалась, он знал, что ее ннкогда не сделаешь асю, она ие давала возможности остановиться н переаести дух. И Кувакин прннял это как должное, как аполне естествеиное саойство профессnн, и постепенно появнлась в его двнжениях этакая усталая медлительность.

— Вряд лн я способен иа нечто чрезвычайное.

— Коля, на тебя ася надежда! — быстро сказал Демин. прнвычно втнскиваясь а угол.

— Труп?

— Точно. Деаушка. Прекрасная молодая девушка, которая могла бы осчастлнвнть кого угодно.

— За что же ее?

— Сама, Коля. В том-то все и дело, что сама.

— Прекрасные девушки, насколько мне изаестно, редко идут иа столь крайние меры. У прекрасных девушек всегда есть несколько запасных выходов. Жизнь великодушна к прекрасным девушкам, если они ие очеиь капризны. Мне нногда кажется, что оин частеиько злоупотребляют своnмн возможностями. Хотя в трудиую мнниуту стаиовятся иа удивление трезвыми и расчетливымн.

— Очеандно, были крайние обстоятельства, Коля. — Демин любил разговарнвать с Кувакиным, слушать его жнтейскне мудростн.

— Крайнне обстоятельства, Валя, всегда есть. Глааное, счнтаешь лн ты нх крайннмн... Илн бодаешь левым рогом,

— Видно, девушка была не из бодливых.

— Конечно, — согласнлся Куваккн, — бодливые с собой не коичают. Ладио, будем считать разминку законченной. Выкладывай.

— Ты сейчас работаешь с Татулнным...

— Мне ниогдв, Валя, кажется, что не я, а он со миой работает. Неделю голову морочит — и ни с места. Но вроде начинает созревать. Ои что, к твоей девушке руку приложил?

— Что это за тип?

— Спекулянт. «Работал» в комиссноннах по эту сторону прилавка. Мвгнитофоны, траизнсторы, мвгиитолы и так двлее. Дорогне игрушкн. Скупка, перепродажа, продажа, в общем, он освонл все смежные специальностн. Брать его можно было давно, знвли, чем заиимается, ио поймать с полнчным не моглн. Как ни остановят ребята — говорит, купнл, говорнт, прннес сдать, что угодио говорит. Мол, страсть у меня такая, не могу долго одиим магнитофоном тешиться. А недавно граждании Татулин повел себя довольно странно — активность небывввлая, но товара прн себе нет, к прилавкам не подходит. Однажды, ребятв рассказывалн, вроде столкоовался с кем-то, локотком граждаинна к выходу подталкиввет, в сторонку оттнрает, в подворотию маннт. Твм выиимвет наш Григорий Сергеевич женскую сумочку, раскрывает ее, и у «клиента» глаза начнпают вылезать из орбит. Решили ребята помочь человеку, подходят. Татулнн, как начииающий фокусиик, небрежиым двнженнем сует сумочку за мусорный ящик. Мол, я — не я и сумка не моя. Но граждаиии клиеит оказался человеком прнинципальным, чтоб никто, не двй бог, не подумал, будто сумка его, он клятвенио всех заверил, что хозяни ее — Татулии. Открывают ребята сумку и чувствуют, что у ннх тоже глазв начинают потнхонечку нз орбит вылезать...

— Зиаю, — сквзвл Демин. — Валютв всех стран н народов.

— Дв. Валюты, между прочнм, ие так уж много в пересчете иа рублн, но рвзиообразне уннкальиое. Ребята со всех этажей приходили полюбоваться.

— Сколько в общей сложиостн?

— Тысячн на две. Ну что, начинается следствне... Откуда, спрвшиввем, другие вопросы задаем. А он...

— А он говорит, что слабость проявил, хотел, мол, человеку помочь, что никогдв больше звииматься такимн нехорошими делами ие будет ни зв какне деньгн, — быстро сказал Демин.

— Все нмеиио твк, — подтвердил Куваквн.

— Что он собой представляет?

— А, ничего особениого. Малограмотиый проходнмец с несколько повышениой наглостью, котория выражается довольно стрвиио — Татулии совершеино бессовестно прнкндывается дураком. Когда-то учнлся в раднотехническом техннкуме, но ие закоичил. Выгивли за спекуляцню. Заиимался этнм малопочтенным делом чуть ли не на лекцнях. Устронлся в механнзированную колонину диспетчером. Выпнсывал путевки, оформлял доку-

менты, вел какой-то учет. Брал взятки у водителей. Небольшие, но постоянно. Водители мне рассказывали, что к нему в окошко без трояка и не суйся, даже если хочешь узнать, который час. Последнее время работал снабженцем. Что его всегда подводило, так это нетерпение. Никак не мог смириться с тем, что кто-то живет лучше его. И он ударился в торговлю магнитофонами, транзисторами... Остатки образования позволяли ему весьма значительно рассуждать о достоинстве или недостатках какой-то модели — среди спекулянтов большим спецом слыл. Мужик на пятом десятке, но не женат. Думаю, не женится из экономии. Живет с мамашей.

— С мамашей его я сегодня утром беседу имел.

— Ага... По моим следам, значит, идешь.

— Кстати, она упоминула какую-то женщину... Ну, которая его якобы на это дело подбила...

— Ха! — рассмеялся Кувакин. — Ты, Валя, даешь! Он мне каждый день женщин называет, с адресами, именами и прочими опознавательными знаками.

— Скольких уже назвал?

— Четырех.

— Селиванова есть среди них?

Кувакин выдвинул ящик стола, достал тоненькую серую папку и начал медленно переворачивать листки дела.

— Есть и Селиванова, — наконец сказал он. — Но мы пока ее не отрабатывали.

— Не придется ее отрабатывать, — сказал Демин. — Сегодня утром она выбросилась из окна.

— Ого! — присвистнул Кувакин. — Значит, и у меня труп.

— Один на двоих, Коля. Так что дела придется объединить. Вместе будем работать. Скажи, в какой связи он называл женщин?

— Говорил, что это люди, которые дали ему валюту для продажи. Но каждый раз оказывалось, что названная женщина не имеет никакого отношения к валюте. Понимаешь, в сумочке, кроме денег, мы нашли клочок газеты и там, на полях, записан курс валют — сколько стоит в рублях, к примеру, фунт, доллар, гульден и так далее. Список составлен не Татулиным. Мы взяли образец его почерка и сопоставили. И ни одна из названных женщин тоже не писала этой записки. Отсюда вывод — он назвал не тех.

— Может быть, лучше сказать — не всех.

— Скорее всего. Вот эта записка.

Демин осторожно взял клочок газеты. Записка была написана красной пастой, шариковой ручкой. Остроголовые, корявые буквы к концу строки становились мельче, опускались вниз — человек, писавший записку, видно, не любил переносов и все слова старался втиснуть до края листка.

— Ну, что скажешь? — спросил Кувакин.

— Много чего можно сказать. Почерк интересный. Скорее всего женский. Но писала не Селиванова. Ее почерк я уже знаю.

Писал, видимо, человек с высшим образованием — почерк испорчен конспектами. Когда во что бы то ни стало нужно поспеть за преподавателем, когда это приходится делать часто, много, долго, несколько лет, почерк превращается вот в такие каракули. И заметь, автор не признает заглавных букв. Все большие буквы — это крупно написаные обычные. Грамотный человек... Названия стран, валют написаны без ошибок, причем иностранные слова знакомы автору, написаны с ходу, легко. Когда слова неизвестны, их по буквам переписывают, а здесь — с этакой небрежностью... Что еще... Судя по всему, автору, вполне возможно, приходится пользоваться пишущей машинкой или услугами машинисток.

— С чего ты взял? — с сомнением проговорил Кувакин.

— Очень четкие абзацы. Отбивка, красная строка, абзац — все это ярко выражено. И еще — почерк, несмотря на то, что некрасивый, ужасный почерк, в то же время очень разборчивый. Машинистки не любят копаться в каракулях.

— Слушай, да ты прямо колдун!

— Нет, пока только учусь, — усмехнулся Демин. — А написано на стекле или на полированном столе.

— Боже, а это ты с чего взял?!

— Смотри, бумага газетная, плохая бумага, ручка пишет неважно, приходилось несколько раз наводить одну и ту же букву, давить на бумагу больше, чем нужно, но на оборотной стороне листка нет ни одной вмятины, не проступила ни одна буква, гладким остался листок...

— Ты что, экспертом работал? — спросил Кувакин.

— Нет, Коля, я был внимательным студентом. Ну ладно, какие прикидки, откуда у Татулина столько валюты и в таком разнообразии?

— Ох, Валя! Неприятное дело, боюсь даже до конца додумывать. Понимаешь, Татулин назвал только женские имена... Троих я вызвал, допросил, записал их показания. Все они неплохо разбираются в ресторанах, знают, например, что такое «Интурист»... И Селиванова твоя, очевидно, знала.

— Кстати, сегодня ей некая Ирина назначила встречу в «Интуристе», — сказал Демин. — Среди тех, кого назвал Татулин, есть Ирина?

— Нет, Ирины нету. Так вот «Интурист»... Там всегда полно иностранцев... Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да. Установлено, чья сумочка была у Татулина? Ну, с этой валютой?

— Нет. Он называет хозяек одну за другой, но... Лукавит, темнит. Думаю, настоящую, истинную хозяйку так и не назвал. Надо бы к нему съездить.

— Как, сейчас?

— У меня машина... Скучает небось мужик. Сегодня мы можем прижать его трупом. Завтра, глядишь, будет поздно. А следы ведут к нему. Он хорохорится потому, что, кроме валюты, кроме этой дурацкой сумки, у нас ничего нет. И справедливо

считает, что ухватить его не за что... А мы постараемся доказать, что ухватить можно. Ну, Коля? Решайся! Потолковать с ним все равно придется, так лучше это сделать пораньше, пока он ничего не знает о Селивановой.

— И машина есть? — улыбнулся Кувакин.

— Прекрасная, теплая, уютная машина! Мы будем ехать по городу, смотреть по сторонам, перебрасываться словами... А какой там идет снег, Коля! Боюсь, что последний снег в этом году! Да, чуть не забыл... Шеф сказал, что Татулин порнографией баловался?

— При обыске нашли несколько снимков. Приобщили к делу. Знаешь, что он мне сказал, когда я ему об этих снимках напомнил? Вы, говорит, хотите меня пристыдить? Хорошо вас понимаю. Да, мне стыдно, мне неловко, я готов сквозь землю провалиться! Но это самое большое наказание, которого я заслуживаю. Считайте, что вы меня уже наказали. Вот так. Хочешь посмотреть?

— С удовольствием.

— Удовольствия мало. Надо иметь очень большое воображение, чтобы там что-то увидеть... — Кувакин полез в стол, снова достал серую папку и так же осторожно принялся переворачивать страницы. Добравшись до зеленоватого конверта, он вынул пачку снимков, не глядя, протянул Демину. И даже отвернулся, чтобы не видеть, как тот будет их рассматривать. — Работа унылая, любительская, — проворчал Кувакин. — К делу эти снимки отношения не имеют, скорее характеризуют личность Татулина, дают представление, что за тип... А как продукция — полная бездарность. Да и красотки, как говорится, оставляют желать лучшего.

— Это меня и настораживает, — проговорил Демин, рассматривая снимки. Он долго вертел перед глазами один из них, потом протяжно вздохнул и замер над небольшим, серым, плохо отпечатанным снимком.

— Ну? Ты что? — забеспокоился Кувакин.

— Это Селиванова. — Демин бросил снимок на стол.

Кувакин как-то диковато глянул на Демина, схватил снимок. А Демин тем временем вынул из кармана фотографии Селивановой, прихваченные им во время обыска.

— Это она же... Из ее альбома.

— Точно она, — хрипло сказал Кувакин. — Выходит... Постой, постой. Выходит... А ну-ка брось мне остальные снимки... Черт! Это же надо! Вот эту даму, которая здесь в чем мать родила, я вчера допрашивал.

— Ее Татулин назвал?

— Да.

— Теперь-то уж мы обязательно должны проведать Григория Сергеевича. Теперь-то он назовет и адрес этой квартирки. — Демин постучал пальцем по фотографиям. — И еще кое-что расскажет. Расскажет, убей меня бог.

— Валя, по снимкам можно установить — именно в этой ли

квартире происходили события? — Кувакнн вопросительио посмотрел на Демиия. — Смотрн, здесь виден узор обоев, какое-то пятно, вот что-то вроде гвоздя...

— Этого вполие достаточио, — сказал Демин. — Более чем достаточио. И скажу тебе, Коля, что если в деле появится фотоаппарат, кассеты к нему, мы можем иаверняка сказать — этим аппаратом снимали снн постыдиые вещн нли иет, этн лн кассеты нспользовалн.

— Валя, когдэ ты говорил о почерках, тебя было ннтересио слушать, но когда ты понес эту ахннею про кассеты...

— Не веришь? — уднвился Демин. — Коля, это же очень просто. Посмотри на этот снлмок... Видишь, негатив отпечатан полностью, то есть при печатн сиимок не кадрировался, лншиее не обрезалось... Это говорнт, кромэ всего прочего, о мастерстзе фотографа, иевысокий у него класс, любительский. На сиимке даже бахрома от кассеты отпечаталась. Этот кадр, вндио, расположен у самого конца пленки... По волокиам бахромы можио иаверияка устаиовить — использовалась именно эта кассета илн другая.

— А фотоаппарат? — озадачеино спросил Кувакин.

— То же самое. Когда иегатив отпечатан полностью, на нем всегда видеи срез рамки фотоаппарата. Если на рамкэ есть повреждеиия, вмятиины, заусеицы, оин получаются и на сннмке. Возможио, иевиднмые простым глазом, ио это уже дело техннки.

— Всэ поиятно, — сказал Кувакин. — Нужна экспертиза.

— Для экспертизы нужио еще найти фотоаппарат, кассеты, квартиру... Послушай, при обыске у Татулииа, у женщнн, которых ои называл, не попадался фотоаппарат?

— Попадался, — кивнул Кувакин, — у Татулииа. И плеику нашли, она тоже в деле.

— Ну, вот, видишь, как хорошо все складывается. Нэ у нэго ли и снимки этн делали?

— Нет, — увереиио сказал Кувакии. — У Татулииа другнэ обон. Пока шел обыск, я иасмотрелся на них. Здесь мелкий рисуиок, а у Татулина по стене громадиыэ розы, как кормовые.

— Жаль, — сказал Демин. — Но с другой стороны, все было бы слишком просто, узнай мы сразу, что Грнгорий Сергеевич заинмался столь невиииым занятием у себя дома. Да н дураком надо быть совершеиио круглым.

— Татулии ие дурак, — серьезно сказал Кувакии. — Просто ему очень хочется, чтобы его прииимали за такового.

— Ладно-ладио, иашел кого защищать! Скажи, у иего дома не нашлось какой-ибудь записной киижки, блокнотика...

— Нашлось. Только не дома, при ием. Когда его с женской сумочкой задержали.

— У меня блокиотик Селивановой с собой... Давай-ка перекрестную сверку устроим, выявим, так сказать, общих знакомых. Доставай его блокиот. О! — Демин иэ смог сдержать радостного удивления. — Да у них и блокноты однлаковые! Прямо пароль какой-то. Смотри, у Селивановой точно такой же...

Длинный, тонкий, с отличиой бумагой, в мягкой сафьяновой обложке... Надо же, давно ищу приличный блокнот, а тут уже второй за одно утро! Ты спроси у своего приятеля Татулина — может, удружит, а?

— А думаешь, нет? Достанет. Ну ладно, поехали.

Через пять минут сверка закончилась. Телефонов в книжках было немного, и большинство совпадало. В обеих книжках оказались номера всех трех женщин, которых назвал Татулин, правда, у него они были помечены только одной буквой, а Селиванова записывала имена полностью — Татьяна, Галина, Лариса... Нашлась в блокнотах и Ирина.

— С твоего позволения, — сказал Демин, — этот номерок я запишу. Не она ли звонила Селивановой сегодня утром и прошлой ночью... Во всяком случае, других Ирин в блокнотах нет. Пошли, Коля. По коням. К Григорию Сергеевичу.

Машина осторожно пробиралась в снегопаде, привычно ворчал водитель, а Демин сидел на заднем сиденье, вжавшись в угол, и безучастно смотрел на судорожно работающие «дворники», сметавшие мокрые хлопья снега с ветрового стекла. Огни светофоров светились мягко и празднично, казалось, они плавают в воздухе, меняя цвет и размеры. Кувакин сидел рядом, подавшись вперед, в напряженной позе, словно готовясь выпрыгнуть из машины.

— Приехали, — сказал водитель.

— Ну что ж, будем надеяться, что Григорий Сергеевич не откажется принять нас в своей резиденции, — хмыкнул Демин.

Громадное серое здание как бы растворялось в густом снегу и казалось еще больше, почти бесконечным. Все звуки были приглушенные, мягкие, люди будто старались тише говорить, мягче ходить, будто готовились к чему-то важному. И Демин поймал себя на мысли, что и он сейчас какой-то притихший, сосредоточенный, ждет встречи с Татулиным, нетерпеливо и опасливо — слишком многое зависело от этого разговора.

Кувакин предъявлял документы, согласовывал детали, а Демин стоял в сторонке и думал о том, что день у него все-таки нулевой и забывать об этом не следует, что Татулин, судя по всему, орешек непростой и добиться от него чего-нибудь будет нелегко.

— Пошли, — сказал Кувакин. — Все в порядке. Сейчас его приведут.

— Начинаешь ты,— сказал Демин. — И ведешь обычный разговор — продолжение всех предыдущих. — Они прошли в небольшую сумрачную комнатку, где, кроме стола и нескольких стульев, ничего не было. Здесь бывало немало людей, им приходилось отвечать на неприятные вопросы, для многих здесь решалась судьба. Здесь невольно хотелось говорить тише, да и слова в этой комнате годились не всякие, а лишь самые простые, словно бы очищенные от шелухи внешнего мира, от всего, что

может затуманить, изменить, исказить их смысл. В словах не должно быть личных обид, тщеславия, желания уязвить или показать свою власть, значительность. — Я буду молчать, — продолжал Демин. — Я для него — темная лошадка. Последний раз он назвал Селиванову? Отлично. Не дразни его, не пужай, пусть будет благодушен и расслаблен. Пусть почувствует свою неуязвимость, свое превосходство, если ему угодно.

— Превосходство он чувствует в любом случае. Это прекрасное душевное состояние не покидает его ни на минуту. Понимаешь, Валя, он знает, что на данный момент мы можем предъявить ему обвинение только в попытке, слышишь? Только в попытке продажи валюты. Дома у него валюту не нашли. Он знает об этом. И вообще не найдено ничего, кроме нескольких магнитофонов и этих дурацких фотографий. Мы можем задуматься, откуда у снабженца какой-то механизированной колонны такое изобилие. И только. Изобилие само по себе не может порицаться.

— Более того, оно весьма похвально, — заметил Демин.

Дверь как-то неохотно, со скрипом, будто через силу приоткрылась, и конвойный ввел маленького человечка с брюшком, с живым, острым взглядом, в помятой одежде, небритого. Во всем его облике были настороженность и некая готовность шутить, говорить много, долго и запутанно.

«Игрунчик», — решил про себя Демин.

— О, кого я вижу! — радостно воскликнул Татулин, протянув руки навстречу Кувакину. — Сколько лет, сколько зим! Здравствуйте, Коля! — И тут он увидел сидевшего в углу Демина.

— Здравствуйте, Татулин, — холодно сказал Кувакин.

— Добрый день, Николай Васильевич, — подчеркнуто официально ответил тот, бросив взгляд на Демина. — Я вижу, вы сегодня не один?

— У меня к вам опять вопросы, Григорий Сергеевич, — сказал Кувакин, как бы не слыша последних слов Татулина.

— Я — весь внимание. Я готов. Прошу.

— Григорий Сергеевич, не могли бы вы нам сказать, откуда валюта, которую вы пытались продать?

— Валюта?! — несказанно удивился Татулин, и его брови поднялись так высоко, что, казалось, вот-вот нырнут за уши. — Ах, валюта. — Он обмяк, и его круглое брюшко стало особенно заметным. — Вы опять о том же, Николай Васильевич... Далась вам эта валюта, господи... Неужели мы не можем поговорить о чем-то другом, более приятном?

— С удовольствием. Но вначале — дело. Итак.

— На чем мы остановились прошлый раз? — деловито спросил Татулин. — Если мне не изменяет память... — Он задумался, приложив несвежий указательный пальчик к небритой щеке, — если мне не изменяет память...

— На Селивановой, — подсказал Кувакин. — Вы сказали, что валюту вам дала для продажи Селиванова. Мы выяснили...

— Я так сказал?! — ужаснулся Татулин. — И вы поверили?

Боже, Николай Васильевич, — укоризненно покачал головой Татулин. — Как можно? Такая невинная девушка, студентка и вдруг — валюта! Я вас не узнаю, ей-богу... Нельзя же так, тем более при вашей должности!

— Простите, Григорий Сергеевич, больше не буду, — сказал Кувакин. Услышав в его голосе что-то новое, Татулин насторожился. Он остро взглянул на Кувакина, на Демина, но, видимо, не заметил ничего подозрительного, и успокоился, снова обмяк, согнув спину и выпятив животик.

— Как я мог сказать вам о Селивановой — ума не приложу. — Татулин хлопнул себя маленькой ладошкой по морщинистому лбу и огорченно поцокал языком. — Старею, что ли...

— Итак? — сказал Кувакин.

— Простите, не понял?

— Я опять о валюте, Григорий Сергеевич... Не обессудьте — такая работа. Заставляет быть настырным.

— А вы знаете, — оживился Татулин, — не только ваша, всякая работа заставляет человека быть настырным, если уж вы употребили это слово. — Татулин быстро оглянулся на Демина, как бы извиняясь. — Всякая работа заставляет человека быть, я бы сказал, настойчивее, целеустремленнее...

Бедный Коля, подумал Демин. Он уже неделю бьется с этим прохвостом. Представляю, что он наговорил ему во время допросов. Мы сидим здесь уже минут пятнадцать, а в протокол заносить пока нечего. Откуда такая уверенность? А может, ее и нет, уверенности-то? Может, это все, что ему остается? И он уже смирился с годом-двумя заключения и теперь просто тянет время, понимая, что оно зачтется ему в общий срок...

— Григорий Сергеевич, — снова заговорил Кувакин, — вы уже назвали Ларису Шубейкину, Зинаиду Тищенко, Наталью Селиванову... Что у вас на сегодня приготовлено?

— Пора уже и Иру назвать, мне кажется, — негромко обронил в своем углу Демин.

Улыбка на лице Татулина как бы остановилась, но он тут же сделал вид, что не слышал слов, прозвучавших за его спиной. Однако восстановить игривое настроение не смог. И молчания не выдержал.

— Вы что-то сказали? — повернулся он к Демину.

— Да, — спокойно подтвердил тот. — Я сказал, что вам, очевидно, уже пора назвать Иру.

— Какую? — любознательно спросил Татулин.

— Вы многих Ирин знаете? Назовите всех.

— Хм, вы так поставили вопрос, что, право же, я затрудняюсь сказать... Действительно, откуда мне знать, кого именно вы имеете в виду?

— Григорий Сергеевич, скажите, неужели мы с Кувакиным производим на вас впечатление круглых дураков?

— Что вы! — в ужасе замахал рукамн Татулин. — Вы оба кажетесь мне очень грамотнымн интеллигентными людьми, с вами принятно беседовать... С вамн даже здесь приятно беседовать. — Он обвел взглядом унылые серые стены. — Скажу больше...

— Грнгорий Сергеевич! Остановитесь на мнннутку, позвольте мне сказать несколько слов, прошу вас! — Демнн был спокоен, даже благодушен. — Прежде всего меня удивляет ваше легкомыслие, ваше столь пренебрежительное отношенне к собственной судьбе. Даже не знаю, чем это объясннть... Этн комедии, которые вы не устаете разыгрывать, странная непонятливость...

Татулнн пожал плечамн, вопросительно посмотрел на Кувакина, как бы прося его объясннть — чего хочет этот товарищ, расположнвшийся в углу и вынуждающий его все время вертеть головой.

— Скажите, Грнгорнй Сергеевич, кому принадлежнт сумочка, с которой вас задержали? — спросил Демни.

— Она давно валялась у меня дома, и сказать, откуда именно она появилась... Я затрудняюсь.

— Вы назвалн уже четырех хозяек...

— Если я не помню, откуда она появнлась, я могу назвать вам еще десяток, и вполне вероятно, что хозяйкн среди них не окажется.

— Может быть, она принадлежит вашей маме?

— Очень даже может быть.

— Кстатн, я ее сегодня вндел. Велела вам кланяться.

— Как она себя чувствует? — воскликнул Татулнн растроганно.

— Она сказала, что у нее все в порядке. Сказала, чтобы вы не беспоконлнсь и поступалн так, как вам подскажет совесть.

— Бедная мама! Все это для нее такое нспытание! — Татулнн не смог сдержать вздоха облегчення.

— Прнятные новости, не правда ли?

— Разумеется. У меня с мамой отношення очень... дружескне н я... Я благодарен вам.

Поняв, что вопросов ждать надо нменно от нового товарища, Татулни повернулся к Демину вместе с табуреткой. Потом обернулся к Кувакину, пожал плечамн, мол, извнннте, но, как я поннмаю, допрашивать меня будет ваш друг...

— Грнгорнй Сергеевнч, — медленно заговорнл Демин. — Хотнте, я изложу вашн прикндки, назову факторы, которые вы учли, выбрав вот такую дурашливую манеру поведения?

— Я не знаю, что вы нмеете в внду, но было любопытно...

— Знаете, — холодно перебнл его Демин. — Вы все прекрасно знаете. Так вот, вы счнтаете, что обвиненне вам может быть предъявлено довольно простое — попытка продать валюту. Случай единичный, до сих пор не суднлнсь, на работе претензнй нет, характеристика будет если не восторженная, то вполне терпимая. И грозит вам год или около того, причем каждый день, проведенный здесь, уже идет в общий счет. Так?

— Ну, примерно... Ситуацию вы объяснили... Но ведь это очевидно.

— Григорий Сергеевич, вы знаете, почему я здесь?

— Интересно, если, конечно, сочтете...

— Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Селивановой.

— Что?! Вы хотите сказать, что...

— Погодите, Григорий Сергеевич... Не торопитесь. Помолчите. Подумайте. Не надо суетиться, искать слова, придумывать вопросы, говорить, что это для вас неожиданная и неприятная новость... Не надо. Давайте все немного помолчим. Когда все обдумаете — скажите.

Демин встал, прошелся по комнате, подойдя вплотную к стене, что-то внимательно начал рассматривать там. Кувакин не торопясь закурил, пустив дым вверх, к темному потолку, сел поудобнее и словно бы задумался о чем-то своем, никак не относящемся ни к Татулину, ни к Селивановой.

— Простите, но я вам не верю, — сказал Татулин. — Я не верю, что Селиванова умерла.

— Она не умерла, — поправил Кувакин. — Она погибла.

— Как?

— Григорий Сергеевич, вы нас одновременно будете допрашивать или по одному? — осведомился Демин.

— Простите, но я хотел бы удостовериться... Вы мне разрешите позвонить к Селивановой домой?

— А когда вам скажут, что она действительно погибла, вы решите, что мы подговорили соседей и все это организовано.

— Вообще-то... В этом что-то есть.

— Продолжим, — сказал Демин. Он вытащил пачку снимков, аккуратно положил их на стол перед Татулиным. — Эти снимки, Григорий Сергеевич, найдены у вас на квартире. Да, да, не торопитесь отрицать. Вообще не торопитесь произносить слова, возмущаться, опровергать... Поговорим спокойно. Снимки найдены в вашей квартире, об этом составлен протокол, его подписали многие люди, теперь он имеет законную юридическую силу доказательства.

Татулин с минуту смотрел на снимки, потом, видимо, решившись на что-то, быстро повернулся к Демину.

— Знаете, вполне возможно, что эти снимки действительно вы нашли в моей квартире. Повторяю — возможно. Может быть, они завалялись среди бумаг, и я перевез их со старой квартиры вместе с хламом...

— Не надо, Григорий Сергеевич. Я ведь предлагал вам подумать. Вы опять торопитесь. Если хотите, подумайте еще. Если готовы отвечать — пожалуйста. На этом снимке Наташа Селиванова. Та самая, которую вы назвали вчера как возможную хозяйку сумочки, как человека, который дал вам валюту для продажи. А сегодня утром Селиванову находят мертвой. В связи с этим должен сказать, что ваши представления о возможном наказании устарели. В записной книжке у Селивановой есть ваш

телефон. Доказано, что вы с Селивановой имели деловые отношения...

— Никогда!

— Что к вам приходил от нее посыльный, передавал коробки с дорогими вещами...

— Ложь!

— Посыльный уже дал показания, он живет с Селивановой в одной квартире.

— Но ведь я был здесь! — Татулин вскочил и с горящими глазами подбежал к Кувакину. — Вы подтвердите, что я был здесь, когда погибла Селиванова. Я никак не мог содействовать ее смерти. Я ни при чем! Я невиновен! И ваши намеки, ваши вопросы говорят об одном...

— О чем же? — спросил Демин.

— О том, что вы хотите навесить на меня это дело по формальным признакам, по косвенным, ничего не значащим, случайным совпадениям. Вот!

— Григорий Сергеевич, сядьте на свое место и постарайтесь спокойно меня выслушать. Не спешите отвечать. Я не раскалываю вас, не строю ловушки, просто предлагаю подумать над положением, в котором вы оказались. Смотрите... Вас задерживают с валютой. Спекуляция, нарушение законов нашей страны. Это грозит годом, поскольку раньше за вами такого не наблюдалось. Не попадались, другими словами. Вы утверждаете, что валюту якобы дала Селиванова, что женская косметическая сумочка, в которой находилась вышеупомянутая валюта, принадлежит Селивановой. И в первую же ночь Селиванову находят мертвой. Здоровая, красивая, ни на что не жалующаяся девушка погибает. В ее записной книжке есть ваш телефон. Там вы названы Гришей, уменьшительно-ласкательным именем, что говорит о неких близких отношениях.

— Это надо доказать!

— Помолчите, ради бога! — попросил Демин. — Далее. Находится человек, который показывает, что он передавал вам коробки от Селивановой. Коробки с магнитофонами и транзисторами знаменитых фирм «Сони», «Грюндиг»... Идем дальше. Во время обыска в вашей квартире найдены снимки. На одном из них та же Селиванова, и не только она, причем в том виде, который позволяет сделать недвусмысленные выводы.

— Они мне их подарили!

— Вам? Эти женщины подарили вам свои снимки, где они сняты в столь недостойном виде? Вы это хотите сказать?

— Да!

— Все они, видимо, были крепко в вас влюблены?

— Не смею отрицать. — Татулин гордо вскинул небритый подбородок.

— В вас?! — Демин смерил глазами его небольшую фигуру, оглянулся на Кувакина и, не сдерживаясь, расхохотался. — Ну, Григорий Сергеевич, с вами не соскучишься! Ладно... Продолжим. Пусть это заявление останется между нами. В протокол

его заносить не станем. А то уж больно оно... смешное. Во время суда зал будет рыдать от хохота, когда это услышит.

— Нет, я настаиваю на своих показаниях, — упрямо сказал Татулин.

— Прекрасно. Мы организуем вам очные ставки с этими женщинами. Мы спросим у них, кто делал эти снимки и действительно ли они дарили их вам в знак горячей любви.

— Да ну вас в самом деле! — спохватился Татулин. — Уже и пошутить нельзя!

— Должен сказать, что время для шуток не очень подходящее, — сказал Демин. — Но продолжим. В вашей квартире найдена также пленка, где эти же снимки в негативном, так сказать, исполнении. Не будете же вы утверждать, что и пленку вам подарили? Нет? И правильно. Не надо. Это такая глупость, что ни в какие ворота не пролезет.

— Мне стыдно, поверьте... Но что делать, приходится хвататься и за соломинку, зная заранее, что она не спасет.

— У меня один вопрос. Но должен предупредить, если ответите сегодня, ответ можно будет истолковать как чистосердечное раскаяние. Если вы ответите на этот вопрос завтра, то раскаяния уже не будет, а для суда это важно. Поэтому оттянув ответ на одну ночь, вы на несколько лет оттянете свое возвращение к людям. К свободным людям. Советую ответить сейчас.

Татулин обхватил лицо руками и сидел несколько минут скорчившись, словно боялся, будто по его лицу можно что-то узнать, о чем-то догадаться. Крупные оттопыренные уши, торчащие между пальцами, время от времени тихонько вздрагивали. Наконец он медленно распрямился, затравленно посмотрел на Демина, на Кувакина...

— Какой вопрос? — спросил чуть слышно.

— Чья сумочка?

И Татулин снова согнулся, положив лицо в маленькие ладони.

— Я понимаю ваши колебания, — сказал Демин. — Не говорите, давно ли у вас эта сумочка, просто скажите, чья она. Хозяйка ведь всегда может заявить, что она ее выбросила...

— Хм, — горько усмехнулся Татулин. — Не в лоб, так по лбу... Какая разница... Что помер Данило, что болячка задавила.

— Итак, ее фамилия?

— Знаете, я чувствую себя предателем... Ужасно неприятное ощущение.

— Селиванова уже ничего не чувствует. И, очевидно, ее ощущения перед смертью были не лучше ваших. Вы один хотите отвечать за ее смерть?

— Что вы?! Просто мне хотелось...

— Фамилия, имя, отчество, — перебил его Демин.

— Ирина Андреевна Равская.

— Валюта тоже ее?

— Да. Понимаете...

— Это ее телефон в вашей записной книжке?

— Да.

— Адрес?

— Видите ли...

— Адрес мы можем узнать в ближайшем справочном бюро. Итак?

— Улица Парковая, двадцать седьмой дом... квартира шестая.

Татулин вдруг тонко захихикал, принялся пожимать плечами, часто перебирал пальцами, расстегивал пуговицы на рубашке, снова застегивал, потом захныкал...

— Чего это он? — удивился Демин.

— Устал, — усмехнулся Кувакин. — Отдохнуть хочет. Он отдохнет и снова будет нормально, верно, Григорий Сергеевич?

— Да... Да... Конечно... Я отдохну... Я очень устал.

Выйдя из здания, Демин и Кувакин невольно замедлили шаг, вдыхая холодный свежий воздух. Машина, занесенная снегом, была почти не видна на фоне серого забора.

— Ну, — проговорил Кувакин. — Что скажешь? Татулин — главарь?

— Непохоже... Суетлив, трусоват... Игрунчик.

— Кто же? Равская?

— Надо посмотреть.

— Значит, к ней?

— Что у нас в активе? — спросил Демин. — Мы готовы разговаривать? Козыри есть?

— Показания Татулина, по-моему, дают основания допросить ее по существу. Спросим, откуда валюта... Да и так ли уж важно, что она скажет? — Кувакин открыл дверцу машины. — Поехали, Валя, не будем терять времени. Вполне обоснованные догадки мы уже можем строить, — сказал он, когда машина выехала из ворот.

— Догадки мы и раньше могли строить сколько угодно. Нам нужны факты, документы, показания, соответствующим образом оформленные и закрепленные юридически, — гнусаво протянул Демин, передразнивая кого-то, кто любил делать такие замечания. Кувакин сразу узнал, кого имел в виду Демин, рассмеялся. — Парковая, Володя, — сказал Демин водителю. — Парковая, двадцать семь.

Они с трудом пробирались в потоке машин, подолгу стояли на перекрестках, ожидая зеленого света. Мокрый снег, покрывающий дорогу, был уже настолько разъезжен, что превратился в жидкую грязно-серую кашицу, и прохожие старались идти подальше от проезжей части.

— Пообедать бы, — обронил шофер, не отрывая взгляда от дороги. — Кушать хочется.

— Да, неплохо бы, — поддакнул Демин, думая о своем. — А знаешь, Коля, не верю я этому Татулину. Уж больно легко он раскололся.

— Легко?! А пять допросов перед этим ты учитываешь? Он измордовал меня до предела. Когда тебе удалось так ярко опи-

сать его будущее, когда он увидел, что оказался замешанным в преступлении, о котором и думать не мог... По-моему, он дрогнул. Хаханьки кончились. То-то его повело так в конце, совсем поплыл мужик.

— И все же, и все же, — с сомнением пробормотал Демин. — Как ты представляешь себе ход его мыслей?

— Очень четко представляю, поскольку мы с ним об этом не один час беседовали. Он попался с валютой и решил все взять на себя. Не из благородства, конечно, не из желания спасти друзей, об этом не может быть и речи, не тот человек. Ему было выгодно никого не впутывать в дело, потому что тогда уже речь шла бы о сознательном, продуманном групповом промысле. А сегодня он понял, что его система защиты лопнула, что отделаться символическим наказанием ему не удастся. Дохнуло серьезной опасностью, скажем так.

— Я вот думаю, не Равская ли звонила сегодня Селивановой... Та назвалась Ириной, Равская тоже Ирина... Голосок у нее был этакий... хозяйский...

— Хочешь проверить? — Кувакин улыбнулся. — Остановимся у первого же телефона-автомата, и ты позвони к ней.

— Предупредить о нашем приезде?

— Спроси — не диспетчерская ли, не гастроном ли, скажи, что ошибся номером, ну?

— А что, можно попробовать. Греха большого в этом нет. Чего не бывает — вдруг повезет.

Через минуту машина вильнула в сторону и остановилась. Демин, подняв воротник, согнувшись под падающим снегом, быстро пробежал к телефонной будке и захлопнул за собой дверь. Кувакин остался в машине, с любопытством глядя, как Демин, сверяясь по блокноту Татулина, набирает номер, ждет соединения, что-то говорит, слушает. Наконец Демин повесил трубку и вернулся в машину.

— Она. У нее голос характерный — низкий, сипловатый. И манера разговора... вызывающая. Будто она заранее знает, что говорит с человеком... малодостойным, во всяком случае, ниже ее по развитию и по положению. Уверен, что она сегодня звонила Селивановой. Значит, и ночью она звонила... Такие дела.

— Много, оказывается, можно узнать по двум словам в телефонной трубке, — иронически обронил водитель.

— Могу еще добавить, что ей около сорока лет, у нее высшее образование и неважное воспитание, — вызывающе добавил Демин.

— А как насчет талии, ножек? — засмеялся водитель.

— Она худощавая, ножки суховаты... Но это смотря на чей вкус. Курит. Пьет. И то и другое — в меру. Правда, иногда не прочь напиться всерьез.

— Ну ты, Валя, даешь! — уже не сдерживаясь, расхохотался водитель.

— Все очень просто, — невозмутимо продолжал Демин. — Низкий сипловатый голос — ясно, что человек курит и выпи-

вает. Тем более если речь идет о женщине. Такой голос почти не бывает у людей полиых, рыхлых. Несмотря на возраст, она явно чувствует себя женщиной в полном смысле слова, нравится себе. Значит, еще нравится другим, это дает ей право на пренебрежительный тон с незнакомым собеседником... И так далее. Она охотно смеется по телефону. Умеет одновременно говорить и в трубку, и рядом сидящему человеку. Следовательно, у нее большой опыт общения с людьми, она привыкла ощущать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось, знает за собой нечто такое, что дает ей на все это право. Причем она не бравирует, этот тон для нее естествен, обычен.

— Слушай, я начинаю опасаться этой дамы, — усмехнулся Кувакин.

— Это неплохо, это даже полезно. Скажи, а эти женщины, которых называл Татулин, что они собой являют?

— Ничего общего с тем, что ты только что нарисовал. Секретарша, парикмахерша, студентка. Они неглупы, но не больше. Вряд ли они способны на что-то значительное, что требует больших усилий. Я вот только сейчас подумал — есть у них что-то общее... Недовольство своим нынешним положением, какая-то бесцеремонность в общении, развязность... Все это есть.

— Красивые? — спросил Демин как бы между прочим.

— Не сказал бы. На них не оглядываются прохожие. Да в ты тоже не оглянешься. Довольно невыразительные особы. Впрочем, в кабинете следователя многие выглядят невыразительно.

— Возраст?

— Дело к тридцати идет.

— Значит, Селиванова самая молодая из них и самая красивая?

— Судя по фотографии — да.

— Володя, — Демин положил руку на плечо водителю, — будь добр, соедини меня с шефом. Прямо сейчас.

Водитель кивнул, не отрывая взгляда от дороги, нащупал нужные тумблеры, и машина наполнилась писком и визгом городского эфира. Пока стояли перед светофором, водитель вызвал дежурного, через него соединился с Рожновым и протянул трубку Демину.

— Иван Константинович? — громко спросил Демин, стараясь говорить отчетливее. — Демин беспокоит. Все в порядке. Татулина отработали. Да, можно и так сказать. Раскололся. А может, и нет. Потом, Иван Константинович, потом. Дело вот в чем — нужен ордер на обыск. Записывайте... Ирина Андреевна Равская. Оснований больше чем достаточно. Прямая нитка от Селивановой. Она звонила ей этой ночью, звонила на квартиру утром... Ее назвал Татулин... Откладывать нельзя. Многое может сорваться. Допросить ее необходимо только сегодня, эта компания ничего не знает пока о смерти Селивановой. А обыск можно и завтра, прямо с утра. Подготовить ребят, чтобы все прошло наилучшим образом. Вы потолкуйте с прокурором, а? Ничего, приеду, и вы

мне его вручите, закон разрешает, когда время не терпит... Ну, все... Что? К черту!

Дом на Парковой, двадцать семь оказался старым и приземистым. К подъезду можно было пройти лишь через гулкие квадратные арки, в которые когда-то, видимо, проезжали конные экипажи.

— Купеческий район, — пробормотал Демин.

— Если будут обедом угощать, не забудьте бутерброд прихватить, — напомнил водитель.

— Боюсь, не тот случай, — усмехнулся Кувакин.

Шестая квартира была на третьем этаже. Еще не позвонив, Демин почувствовал настороженность. Что-то ему не понравилось, заставило подумать о том, что приехали они напрасно. Во всяком случае, нажимая кнопку звонка, он уже знал, что вряд ли кто-нибудь откликнется. Так и случилось. Он хорошо слышал звонок в квартире, но дверь никто не открывал.

— Там никого нет, — сказал Демин.

— Думаешь, успела смотаться?

— Вряд ли... Чего гадать, спросим у соседей, — и Демин, не раздумывая, позвонил в ближайшую дверь. Открыл парень. Тощий, лохматый, в растянутом, обвисшем свитере. Сквозь очки на Демина смотрели насмешливые глаза.

— Простите, ваших соседей нет дома?

— Этих, что ли? — Парень ткнул острым подбородком в сторону шестой квартиры. — Не вовремя пришли. Обычно днем там никого не бывает.

— Только ночевать приходят?

— Если это называется ночевкой.

— Послушай, товарищ дорогой, кроссворды я люблю решать в электричке, когда делать нечего. А сейчас прошу тебя, будь добр, выражайся яснее. Ответь мне для начала — здесь живет Равская?

— Да, эта квартира принадлежит Равской. Но она здесь не живет. Она живет в квартире матери. А мать ее живет в больнице.

— Живет в больнице?

— Хворает потому что. А кто вы, собственно, такие? — Парень прислонился к своей двери и сложил на груди руки.

Демин привычно протянул удостоверение.

— Доигрались, значит, шалуны, — удовлетворенно хмыкнул парень. — Ну что ж, рано или поздно этим должно было все кончиться. Я этого ждал давно и с большим нетерпением. Да, рано или поздно всему приходит конец, — философски заметил парень.

— Что вы имеете в виду?

— Кутежи, пьянки, сомнительные знакомства, разноязычная речь на этой площадке, полуночные песни и пляски, бутылки из окон и не только бутылки...

— А что еще?

— Предметы первой необходимости. Если вас действительно интересует, что именно иногда выпадает из окон етой квартиры, спросите у дворника. Он может говорить об этом долго, подробно и со знанием дела.

— Если я правильно понял, мы можем попасть в эту квартиру только после полуночи?

— Нет, почему же, — улыбнулся парень. — Вот в етой квартире живет бабуля. У нее есть ключ. Но дает она его не всем. Круг доверенных лиц очень ограничен.

— Но хозяйке она дает ключ?

— Конечно.

— Кому еще позволено входить сюда?

— Иногда женщины приходят, из любительниц покутить. Одни, с кавалерами, а бывает — целой компанией. Я, конечно, понимаю, мое любопытство неуместно, но... Может быть, мне позволено знать, чем заинтересовала вас гражданка Равская? — спросил он.

— О, пустяки! — ответил Демин. — Она нам интересна в качестве свидетельницы.

— И только? — Парень был разочарован. — Значит, не подобрались вы еще к ней... Жаль.

— И в чем же она, по-вашему мнению, провинилась перед законом?

— О! — Парень рассмеялся. — Она просто не знает, что это такое — закон. И не хочет знать.

— Это интересно. Я вижу, у вас с соседкой отношения не самые лучшие?

— Да, так можно сказать, не самые лучшие. Попробуйте, может быть, вам удастся бабулю убедить. Я бы тогда, глядишь, и в качестве понятого сгодился, а? И любопытство свое бы ублажил... Ну? Смелее, ребята! Вдруг вас ждет открытие!

— Попробуем, Валя? — спросил Кувакин.

— Где наша не пропадала! — ответил Демин. Он нажал кнопку, за дверью раздался мелодичный перезвон, послышались движение, шаги. Кто-то остановился у самой двери.

— Открывай, бабуля! — крикнул парень. — Здесь свои!

Дверь открылась. Пожилая женщина строго осмотрела всех троих. Холодно кивнув Демину и Кувакину, она остановила взгляд на парне.

— В чем дело, Саша?

— Этим вот товарищам нужна наша соседка, Равская. Я сказал, что, может быть, вы знаете, когда она будет...

— Ирина Андреевна мне не докладывает, — в лице женщины не дрогнула ни одна жилка.

— А когда она бывает? — спросил Кувакин.

— Когда бывает надобность.

— В таком случае я прошу вас ознакомиться с нашими документами. Моя фамилия Демин. Следователь. Нам известно, что у вас ключ от этой квартиры. Прошу открыть.

— Я не могу этого сделать.

— В таком случае мы вызываем слесарей и взламываем дверь. Не думаю, что хозяйка будет благодариа вам за это.

Жеищниа некоторое время сосредоточенно молчала, потом повернулась к Саше, как бы спрашивая его совета.

— Ничего не поделаешь, Клавдия Яковлевна. Придется подчиииться.

— А с Ириикой... случилось чего? — спросила женщииа.

— Насколько мне известио, с нею ничего не случилось, — четко и твердо сказал Демин.

Женщина иедоверчиво посмотрела на всех и, ие закрывая двери, иаправилась в глубиину своей квартиры, к вешалке, где на одном из крючков висел ключ. Выйдя на площадку, оиа не без колебаний протяиула ключ Саше, словио сиимая этим с себя всякую ответственность и заранее желая оградиться от возможных обвинений. Саша тут же передал ключ Демииу.

— Не уходите, — сказал ему Кувакии. — Будете понятым.

— У вас есть телефон? — спросил Демии у жеищииы.

— Есть, а как же.

— Разрешите позвоиить?

— Отчего ж не позвоиить? Звоиите, коли надо.

Демин прошел в передиюю и, увидев на тумбочке телефон, набрал иомер иачальника следствеиного отдела. Чем нравился иачальник Демииу — до него всегда можио было дозвоииться, он всегда был иа месте, понимая, что за своим столом ои полезнее, иежели иа выезде, иа обыске, иа задержании или допросе.

— Иваи Коистантиович, Демии говорит. Мие нужеи адрес квартиры, телефои которой... — Демии назвал телефои Равской, найдеииый в блокиоте у Селиваиовой.

— Записал, — сказал Рожнов. — Еще что-иибудь нужно?

— Как ордер?

— Есть ордер. Но тебе придется самому сходить за ним к прокурору. Ои хочет задать иесколько вопросов.

— Все поиял.

— Машииа еще иужиа? — с надеждой спросил Рожнов.

— Да.

— А может, обойдешься?

— Нет.

— Ну, смотри. Позвони мииут через десять. Постараюсь раздобыть для тебя адрес.

Демии попытался представить, что сейчас квартира расскажет ему о своей хозяйке. Но то, что он увидел, было, пожалуй, самым удивительиым за весь день. Квартира оказалась пустая, иеобжитая, какая-то захламлеиная, безжизиеииая. Грубо прибитая вешалка с алюмиииевыми крючьями, продавлеииый замусолеииый диван, круглый стол, из тех, которые люди выбрасывают, перебираясь на иовые квартиры, иесколько стульев с облезлой обивкой. На подоконнике стояли иемытые рюмки, фужеры с подсохшими остатками питья, газовая плитка, залитая кофе, еще одии

лежак на трех ножках — вместо четвертой пристроили два кирпича... На стенах висело несколько картинок, выдранных из настенных календарей. Загорелые красавицы с распущенными волосами хвастались незатейливыми нарядами, состоящими из одной-двух полосок ткани. Единственно, что было добротным в квартире, — это плотные шторы на окнах.

— Дела... — протянул Демин.

— Вот уж чего я не ожидал, это увидеть такую конюшню, — озадаченно проговорил Саша.

Кувакин лишь языком прищелкнул.

Только Клавдия Яковлевна оставалась невозмутимой, видно, бывала здесь. Она молча взяла стул, поставила его в сторонку, чтобы не мешать, и основательно уселась, как бы говоря — вы можете заниматься чем угодно, а я, с вашего позволения, посижу и посмотрю.

Гулко ступая по несвежему полу, Демин обошел квартиру. Кувакин тем временем с подозрением рассматривал небольшую дверцу, которая вела в кладовочку, выгороженную в самой комнате. Замка на двери не было, но тем не менее она не открывалась. Кувакин подергал за ручку, зачем-то постучал по двери.

— Закрыта, — сказал он. — У вас ничего нет? — спросил у Саши. — Вроде топора, гвоздодера, отвертки, а?

— Минутку. — Саша вышел и через минуту принес небольшой туристский топорик. — Прошу! Рад поработать на ниве правосудия.

— О! — воскликнул Кувакин. — В самый раз! Как ты думаешь, — повернулся он к Демину, — что мы сейчас увидим?

— Ничего, — хмуро сказал Демин.

— Посмотрим, — Кувакин заложил лезвие топора в щель, легонько надавил, и дверь тут же открылась. Она была прихвачена небольшим гвоздем. Кладовочка оказалась пустой. Мусор на полу, какие-то бумажки, некрашеная табуретка. Кувакин присел на корточки и принялся перебирать мусор на полу, внимательно рассматривая каждый клочок бумажки. Его внимание привлекла смятая фольга размером с сигаретную коробку. Он развернул ее, повертел в пальцах, подняв голову, встретился взглядом с Деминым.

— Обертка от фотопленки, — сказал тот.

— Точно, — согласился Кувакин. — Смотри, а вот коробочка, черная бумага... Пленка чувствительностью в двести пятьдесят единиц — наибольшей из всех, которую можно достать в магазинах.

Кувакин распрямился, осмотрел стены кладовочки, слуховое окно, расположенное на высоте вытянутой руки.

— Посмотри, на табуретке есть отпечатки подошв? — сказал Демин.

— Есть. И даже вполне приличные следы... Кто-то, видно, вначале потоптался в этой пыли, а потом на табуретку забрался... Следы, Валя, хоть на экспертизу.

— Будет и экспертиза, — пообещал Демин. — Надеюсь, мамаша у Татулина не столь предусмотрительна, чтобы даже туфли своего сынка из дому снести. Ковры, картины, иконки она, конечно, разнесла родне на случай описи имущества, но туфли — вряд ли.

— Ты думаешь, здесь был Татулин?

— Чего думать, Коля! Это ведь его берлога. Его закрывали здесь, или он сам закрывался, становился на табуретку и через это слуховое окно фотографировал. Посмотри, и диванчик стоит как раз напротив, и обои совпадают... А вот и гвоздь, который ты видел на снимке.

— Еще одна экспертиза? — спросил Кувакин.

— Да. А что? Будет еще одно доказательство. Приведем наших ребят сюда, и они вполне научно докажут, что снимки сделаны именно здесь, в этой квартире, из этой дыры... Осторожней... Не смахни пыль с табуретки. Уверен, что там отпечатки подошв Григория Сергеевича.

— Выходит, мы его офлажковали? — спросил Кувакин.

— Выходит, — согласился Демин. — Мне вот еще что интересно — эту дыру в кладовочку сделали строители или сами жильцы?

— Жильцы сделали, — сказала Клавдия Яковлевна. — Равская как-то попросила меня найти мастера.

— А зачем ей кладовочка, она не говорила?

— Бог ее знает... Значит, надо, коли сделала.

— Елки-палки, — как-то оцепенело проговорил Кувакин. — Это какой же мразью надо быть, чтобы заниматься таким делом... Сидеть в этой конуре с фотоаппаратом наизготовке и ждать, пока люди разденутся... Кошмар. Пошли, Валя, отсюда, вряд ли мы еще здесь что-нибудь найдем.

— Клавдия Яковлевна, — Демин подошел к женщине. — Мы закончили. Благодарим вас. Ключ я забираю. Квартиру опечатываем. Вопросы есть?

— Что мне сказать Равской?

— Мы постараемся избавить вас от объяснений, сами объясним ей все, как есть. Счастливо, Саша, благодарим за содействие. И вам, Клавдия Яковлевна, спасибо. Коля, дай товарищам понятым подписать протокол осмотра, а я тем временем шефу позвоню. Он должен дать еще один адрес мадам Равской.

Середина дня осталась далеко позади, начало темнеть, улицы наполнялись густой вязкой синевой. Снег шел не переставая, машин почти не было видно, только их огни бесшумно проплывали над дорогой. Лишь иногда голоса, смех, звучавшие в снегопаде, напоминали, что жизнь все-таки идет своим чередом. Приоткрыв форточку, Демин с удовольствием вдыхал свежий воздух, врывающийся в машину холодной острой струей.

Ехали по новому адресу Равской, который сообщил Рожнов. И Демин, и Кувакин готовились к разговору, понимая, что это

будет не просто еще одна встреча с еще одним статистом, которого им подсунул изобретательный Татулин. Но были и сомнения — вдруг окажется, что Равская такая же невинная жертва оговора?

— А все-таки неправильно мы делаем, — проговорил Демин. — Надо бы сначала эту Равскую отработать. Выяснить, кто, что, откуда, чем дышит, чем питается, на какие шиши живет. А так мы откроем карты, — сказал Демин задумчиво. — Мы откроемся, Коля. Это нехорошо.

— Если мы откажемся от встречи с гражданкой Равской, то тем самым дадим ей возможность перестроить свои оборонительные порядки. Она подготовится сама, проведет инструктаж с другими...

— А может, прямо с обыском? — предложил Демин.

— А основания? Показаний Татулина недостаточно. Нет, Валя, не будем рисковать и стремиться во что бы то ни стало в дураках оказаться. Вот увидишь, нормально сработаем. Если Равская в самом деле фигура покрупнее предыдущих, если она действительно имеет квартиру для свиданий, скажем так — для свиданий, то она насторожилась, когда задержали Татулина. Так что обыск вряд ли даст что-нибудь. Если же мы отложим встречу, она узнает о смерти Селивановой, и мы лишимся этого козыря. Кстати, Валя, а какие мы вообще имеем козыри?

— Кое-что есть... Смерть Селивановой... Ведь Равская не знает о ней. Дальше... Сумочка. Татулин утверждает, что это ее сумочка. Далее — снимки, которые он делал в ее квартире. Сама квартира...

— А если Равская откажется с нами разговаривать?

— Нет, Коля! Она будет счастлива поговорить с нами, охотно даст все необходимые пояснения, ответит на вопросы. Наше появление в чем-то ей на руку — предоставляется возможность снять с себя вероятные подозрения, не проявляя при этом поспешности, подозрительной навязчивости. Ее спрашивают, она отвечает. Согласись, эта роль очень привлекательна. Кроме того, вопросы нужны ей, чтобы сориентироваться самой. А если она откажется отвечать, это будет неимоверная удача, потому что тогда наши подозрения обретут некую убедительность.

— Приехали, — хмуро сказал водитель.

— Раз приехали, надо выходить, — вздохнул Демин. И по этому вздоху Кувакин понял, что тот волнуется перед разговором, что нет у Демина уверенности, предчувствия победы.

— Ждать? — спросил водитель.

Демин оглянулся, посмотрел в темное ветровое стекло машины, в то место, где должно быть лицо водителя, и опять вздохнул.

— Ну а как ты думаешь, Володя?

— Я думаю, когда еду. Чтоб правила движения не нарушать. А когда стою, мозги мои тоже стоят.

— Обижаешь, Володя, — сказал Демин. — Нехорошо начальство обижать. Ты вроде бы того что заподозрил нас в хамстве... Мол, могли бы и отпустить, да забыли по рассеянности.

— Ладно-ладно, — пробурчал водитель. — Разошелся. Мастак говорить, вижу, что мастак. Ты вон с той бабой пойди поговори... Заждалась небось.

— И с бабой поговорю! — неожиданно зло сказал Демин и, повернувшись, пошел догонять Кувакина. Ему было неприятно, что водитель заметил его неуверенность.

— Валя! Сюда! Здесь они проживают.

— Кто они? — недовольно спросил Демин.

— Как кто? — улыбнулся Кувакин. — Ирина Андреевна.

Они остановились перед дверью, переглянулись. Черный блестящий дерматин, неизменный глазок, сверкающие ряды обивочных гвоздей, львиная морда с медным кольцом в зубах вместо ручки.

— Слушай, — удивился Кувакин. — Никак из музея сперла? — Он показал на львиную морду.

— А! — пренебрежительно махнул рукой Демин. — Ширпотреб. В любой скобяной лавке. За два с полтиной вместе с упаковкой.

Произошла странная вещь — именно львиная морда, как претензия на оригинальность, необычность, вдруг успокоила Демина. Он понял человека, который живет за этой дверью. Человек может быть мужчиной или женщиной, иметь любую профессию, возраст, но все это не имеет значения. Этот человек недалек и самоуверен. Наверняка у него в доме есть еще много занятных безделушек, дающих ему уверенность в себе, а то и чувство превосходства. И Демин решительно нажал кнопку звонка.

Яркая точка глаза потускнела. Кто-то невидимый в упор рассматривал его, и Демин, не сдержавшись, подмигнул неизвестному глазу. И дверь тут же открылась. Лицо, которое он увидел, разочаровало его. Широкие скулы, маленькие глазки, причудливая высокая прическа, и нос, вздернутый так высоко, что прямо на него смотрели черные дырки ноздрей. На женщине почему-то был не очень свежий белый халат с обвисшими карманами.

— Ирина Андреевна?

— Нет... Ирина Андреевна занята... Может быть...

— Да, конечно, не беспокойтесь, — вежливо сказал Демин, широко перешагнув через порог. Затем он пропустил мимо себя Кувакина и запер дверь. — Я с ней разговаривал сегодня по телефону, даже не один раз... Поэтому она, возможно, ждет меня, — сказал он, улыбаясь своей невинной лжи, которую в общем-то и ложью назвать было трудно — он действительно разговаривал с Равской по телефону, и если она его не ждала, то он, право же, в этом не виноват.

— Тогда, конечно, — сразу успокоилась женщина, и с ее лица исчезла настороженность. — Сюда, — показала она на дверь, ведущую в большую комнату. — Ира, это к тебе!

Сняв в прихожей плащ и берет, Демин вошел. Да, теперь он

был уверен — перед ним Ирина Андреевна Равская. Сидя перед большим зеркалом, она рассматривала его, не торопясь повернуться. В руке она держала кисточку для нанесения лака на ногти, прическа Равской являла собой законченное произведение искусства, никак не меньше.

Оглянувшись на женщину в белом халате, Демин увидел в ее руке большую алюминиевую расческу и понял, что это парикмахерша. Нет, алюминиевая расческа не могла быть в доме Равской, это профессиональный инструмент.

— Простите? — вопросительно проговорила Ирина Андреевна, предлагая Демину представиться. Это слово она произнесла в растяжку, словно приглашала подивиться ее произношению. А произношение было вполне достойно львиной морды на двери: «Просцице?»

И только увидев появившегося Кувакина, который спешно приглаживал ладонью взмокшие волосы, она повернулась наконец на вертящемся стульчике лицом к гостям.

— С кем имею честь? — спросила и быстро, мимолетно окинула взглядом следователей. И те как бы вновь увидели, что одеты небрежно, что вид у них довольно помятый, туфли мокрые, потерявшие свою форму, оба поняли, что и она все это заметила, оценила и дала понять — разговаривать с ней на равных они не могут, не имеют права.

Демин прошелся взглядом по комнате, с интересом осматривая чеканки на стенах, ковер, стенку из светлого дерева, усмехнувшись, постучал пальцем по полированной полке.

— Вы ведете себя как оценщики, — усмехнулась Равская. — Правда, те здороваются, когда приходят в дом.

У хозяйки была великоватая челюсть, узкое лицо, правильный нос, а в глазах... нет, он не мог ошибиться... Она играла. В ее взгляде чувствовалась готовность говорить с кем угодно, о чем угодно, каким угодно тоном. Трезвость, цепкость, непритязательность. Вот-вот, удовлетворенно подумал Демин, это человек, которого почти невозможно оскорбить. Она может разыгрывать оскорбленность, но не более. Оскорбиться искренне, глубоко, безоглядно она вряд ли способна.

— Итак, — уже сердясь, сказала Равская. Она, видимо, недавно покрыла ногти ярким, красно-кровавым лаком и пальцы держала врастопырку, чтобы не повредить маникюр. Но Демину почему-то показалось, будто она похожа на человека, который только что драл кого-то в кровь этими вот острыми длинными ногтями.

— Моя фамилия Демин.

— Очень приятно.

— Я работаю следователем.

— Даже так? — Равская удивленно вскинула брови.

— А это мой товарищ. Его фамилия Кувакин. Он тоже следователь.

— Два следователя на одну женщину? — усмехнулась Равская.

— Почему же, — Демин пожал плечами. — По женщине на следователя. Или вы ее не считаете?

— Да нет, что вы... Она... Она ведь здесь не живет. Ты можешь идти, Лариса, — сказала Равская. — Я, наверно, задержусь. У товарищей, как я понимаю, вопросы... Они даже разделись, не ожидая приглашения.

— Мы очень культурные люди, — улыбнулся Кувакин. — Не входить же в плащах, запорошенных снегом, в столь изысканное жилище.

— Понимаю. Вы просто хотели понравиться мне. Итак, Лариса, до встречи.

— Одну минутку, — остановил Демин метнувшуюся к выходу женщину. — Вас зовут Лариса?

— Да... — настороженно ответила та, косясь на Равскую. — Я парикмахер, и Ирина... Ирина Андреевна иногда приглашает меня сделать прическу...

— Не надо, Валя, — сказал Кувакин, рассматривая чеканку, изображавшую красавицу на фоне камней и решеток. — Пусть идет. Ее показания у меня уже есть. Это Тищенко. Одна из подружек Григория Сергеевича.

— Да какая подружка, что вы! — воскликнула женщина возмущенно.

— Вы его тоже причесываете? — спросил Демин.

— Кого? Татулина? — Она хохотнула. — Да там причесывать нечего. Сам справится.

— До свидания, — сказала ей Равская.

— Ирина Андреевна, как вам не терпится отправить человека в ночь, в снегопад, в сырость... А может быть, она тоже хочет побеседовать...

— Нет, что вы, я уже и так засиделась... Мне сына надо из садика забирать... У меня сын в садике, — пояснила она с некоторой гордостью.

— Ну, счастливо, — сказал Демин, усаживаясь в кресло. Он помолчал, ожидая, пока затихнет возня в коридоре, пока захлопнется за Тищенко входная дверь. И только дождавшись полной тишины, повернулся к Равской. — Ирина Андреевна, у нас к вам несколько вопросов. Вы не против?

— Вообще-то я очень тороплюсь... У меня сегодня важная встреча. — Она кивнула на растопыренные пальцы, как бы объясняя, почему она в таком виде.

— О, у нас совсем немного вопросов. Пока лак высохнет, мы и управимся.

— Разве что так, — Равская усмехнулась, взглянула на себя в зеркало и, убедившись, что все в порядке, как-то очень уж поделовому повернулась к Демину.

— Ирина Андреевна, — начал Демин, тщательно подбирая слова и потому говоря медленно, — вы, очевидно, знаете, что недавно при попытке продажи крупной суммы иностранных денег задержан некий Татулин Григорий Сергеевич.

— Да, я слышала об этом.

— Татулин — ваш друг, приятель, знакомый... Не знаю, что из этих определений вы предпочтете?

— Я бы, с вашего позволения, остановилась на последнем.

— Знакомый? Отлично.

— Опять этот Татулин, — досадливо поморщилась Равская. — Вечно он оказывается замешанным в какую-то дурацкую историю, не в одну, так в другую, в третью! Знаете, есть, наверное, люди, призвание которых — доставлять неприятности своим знакомым! Вы часто встречаетесь с разными людьми, скажите мне — есть такая категория?

— Есть, — подтвердил Кувакин. — И довольно многочисленная.

— Вот видите! — непонятно чему обрадовалась Равская. Она поднялась с круглого пуфика, прошла к стенке, взяла пачку сигарет. Демин проводил ее внимательным взглядом, отметив и покрой брюк, и стройность ног, и вполне приличную в ее возрасте талию. Зад, правда, тяжеловат, подумал он и тут же опустил глаза, будто боясь, что она прочтет его мысли. — Закурите? — спросила Равская.

— Спасибо, не курю, — ответил Демин.

— А я не откажусь. — Кувакин взял пачку, не заметив ни английских букв, ни космических объектов на обертке. Он просто вытряхнул сигарету и сунул ее в рот.

— Может быть, кофе? — спросила Равская.

— А вот это с удовольствием! — искренне сказал Демин.

— Знаете, у меня есть прекрасный «Арабика»... Сейчас его достать трудно, все какое-то месиво в банках продают, но мне повезло... Знаете, по нынешним временам даже кофе без нужных людей не достанешь... Но... могу удружить. Так что вы связи со мной не теряйте.

— Не будем, — пообещал Демин.

Равская вышла легкой гарцующей походкой, и тут же на кухне раздался шум передвигаемой посуды, звон чашек, зажурчала вода из крана. Все это должно было, очевидно, говорить о том, что все помыслы и заботы хозяйки — как можно быстрей и лучше угостить нежданных посетителей замечательным кофе.

— Зачем ты отпустил ее? — тихо спросил Кувакин. — Теперь она мозгами пораскинет, что к чему сообразит, а потом лови мышку-норушку.

— А ты обо мне подумал? — спросил Демин. — У меня от голода голова кружится.

В дверях появилась Равская.

— Пока греется вода, я, с вашего позволения, позвоню по телефону...

— По телефону? — рассеянно спросил Кувакин.

— Да, звонок пустяковый, но чтобы не терять времени...

— Если пустяковый, то, право же, не стоит, — беззаботно ответил Демин. — Тем более вы торопитесь. Давайте лучше про-

должим наши беседы — вода и закипит за это время. — И не ожидая ни согласия, ни возражения, он вынул из кармана пиджака косметическую сумочку, с которой был задержан Татулин. — Это ваша сумочка?

— Эта? — Равская подошла, брезгливо взяла двумя пальцами сумочку, повертела ее, вернула Демину. — Откуда она у вас?

— Татулин утверждает, что эта сумочка ваша, — невозмутимо сказал Кувакин, разглядывая узоры ковра под ногами.

— Ну и что из этого? Вы спрашиваете, моя ли это сумочка? Отвечаю — нет. Хотя когда-то у меня была точно такая сумочка. Может быть, даже эта самая...

— Посмотрите внимательней, пожалуйста, — попросил Демин. — Это очень важно.

— Важно?! — Равская возмущенно передернула плечами. — Для кого? Вам, наверно, важно прижать меня, а мне важно сделать так, чтобы этого не случилось.

— Ну, пожалуйста! — протянул Демин. — В конце концов, вы ничем не рискуете, ведь с сумочкой задержали Татулина, а не вас.

— У моей внутри была отпорота подкладка, и я сама подшивала ее, — ответила Равская, помолчав.

Демин открыл сумочку, заглянул внутрь.

— Да, здесь есть самодельный шов. Это ваша сумочка.

— А что случилось? Откуда она у него? Ах, да, ведь я сама дала ему эту сумочку года полтора назад. Вот человек, а! Я тогда купила себе новую, и он выпросил у меня эту... Зачем, не пойму... Ему бы на свалке где-нибудь работать, вечно всякий хлам подбирает! — с искренней ненавистью сказала Равская.

— В этой сумочке у Татулина была валюта, — сказал Кувакин.

— И много?

— Да. Он сказал, что эту валюту дали ему вы. Для продажи. Это так?

— Господи, какая чушь! — Щеки Равской побелели от возмущения. — Это ведь придумать надо! Он что, ошалел у вас там от страха? Вот только что у меня была Лариса, вы застали ее, она рассказала, что и ее он оговорил — сказал, будто валюту ему дала она... А теперь выходит — я? Какая мерзость! — воскликнула Равская. И Демин увидел, как дрогнули и напряглись ее ноздри.

— Таким образом, — проговорил Кувакин, — вы признаете, что сумочка эта ваша, но вы дали ее Татулину года полтора назад без какой бы то ни было цели, так?

— Совершенно верно.

— Начинай, Коля, — сказал Демин.

— Что начинать? — с опаской спросила Равская.

— Я предложил ему начинать писать протокол допроса.

— Допроса?!

— Да. Мы оформим наш разговор как допрос, вы подпишете все свои показания, и они лягут в дело по обвинению граждани-

на Татулина в спекуляции валютой. Вот и все. Вам не о чем беспокоиться. Правда, я должен предупредить, что за свои показания вы несете уголовную ответственность.

— Как это понимать?

— Это надо понимать так: если вы умышленно введете следствие в заблуждение или дадите ложные показания, то будете привлечены к уголовной ответственности.

— И что мне грозит в таком случае? — нервно усмехнулась Равская.

— Не так уж много, — проговорил Кувакин, заполняя исходные данные в бланке протокола допроса. — Два года самое большее.

— Условно? — уточнила Равская.

— Условно — это самое меньшее, — ответил Демин. — Простите, но вода уже должна закипеть.

— Ах да! — воскликнула Равская и убежала на кухню.

— Ну как? — спросил Демин.

— Клиент созрел, — мрачно сказал Кувакин. — Она сейчас пытается кому-то звонить... Уже набирает номер, если я не ошибаюсь...

— Знаю. Я жду, пока она его наберет.

Демин открыл дверь и вышел в коридор.

— Мне Наташу, — услышал он голос Равской. Но в этот момент она увидела его. — Хорошо, я позвоню позже, — сказала Равская неестественным голосом и, положив трубку, ушла на кухню.

— Звонила какой-то Наташе, — сказал Демин, возвращаясь в комнату. — Подозреваю, что Селивановой. Но это всегда можно уточнить... Позвонить в квартиру, где жила Селиванова, и спросить, не было ли странного безответного звонка в шестнадцать часов, — он посмотрел на часы, — сорок пять минут.

Демин медленно прошел вдоль стенки, внимательно рассматривая многочисленные картинки, безделушки, статуэтки, лакированные клочки бумажек с изображениями обнаженных рук, ног, грудей — все это было вырезано из заморских рекламных упаковок. И вдруг остановился, воровато оглянулся на дверь. Прислушался. Быстро отодвинул стекло книжной полки, взял небольшую фотографию хозяйки и, быстро сунув ее в карман, снова задвинул стекло.

— Не помешает, — одобрил Кувакин.

А Демин чуть ли не отпрыгнул от стенки и с размаху упал в кресло, чувствуя, как часто колотится сердце, будто он совершил отчаянно рисковый поступок.

Вошла Равская, держа на вытянутых руках поднос с чашками кофе. На отдельной тарелке были разложены небольшие бутербродики с темно-коричневой сухой колбасой. Размер бутербродов был выдержан очень строго — они говорили о радушии и достатке хозяйки, но в то же время давали понять, что предстоит деловой разговор, а уж никак не банкет.

— Прошу, гости дорогие, — сказала Равская почти беззаботно. — Угощайтесь.

— О, Ирина Андреевиа! — радостно воскликнул Демин, понимая, что у него это получилось лучше, естествеинее, хотя бы потому, что его возглас был вполне нскрениим. — Вы спасли мне жизнь!

— Я сделала это с удовольствием! — быстро ответила Равская. — И надеюсь на взаимность.

В ответ Демин промычал что-то невиятное, поскольку успел сунуть себе два бутерброда в рот одновременно. Потом отхлебнул кофе и застоиал от иаслаждения.

— Нет, это ие кофе, — сказал он твердо. — Это не кофе. Это иектар. Ирина Андреевна, вы должиы дать мие рецепт.

— О чем речь! С большим удовольствнем. Мне нечего скрывать от вас!

— Приятно слышать, — Демин вынул из кармана большой самодельный блокнот, из тех, которые он сам любнл переплетать, отыскал чистую страницу и протянул Равской. — Прошу вас! Количество воды, кофе, сахара, секрет заварки...

— Я вижу, вы ие любите откладывать дело в долгнй ящик... С одной стороиы, это хорошо... — Равская склоннлась над журнальным столиком, ио, увидев, что ручки ей не предложили, пошла в переднюю и через несколько секунд вернулась. Демин видел, что ручку она взяла в своей сумочке. — Так вот, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны... у нас не будет повода для следующей встречи. — Оиа испытующе глянула Демииу в глаза.

— Будет, — благодушно заверил ее Демни. — Это я вам обещаю. А дела действительно не люблю откладывать в долгий ящик. Поэтому я сегодия здесь. Поэтому не вызвал вас повесткой для допроса, поскольку время дорого.

— Что вы имеете в виду? — Равская протянула блокнот. Демин взял его, внимательио прочел написанное, склонил голову иабок, еще раз окииув взглядом всю страницу.

— Что я имею в виду? Все. Например...

— Простите меня, пожалуйста, — перебнла его Равская. — Не могу разговарнвать, когда передо мной стоит немытая посуда.

— Клюнула? — тихо спросил Кувакин, когда Равская вышла.

— Как видишь. Прекрасиый образец почерка. Вот полюбуйся. — Он вынул блокиот и показал страницу, исписанную только что Равской. — Эта красная паста, шариковая ручка, эти остроголовые буквы тебе иичего не напоминают?

— Да ведь запнска на газетном клочке... С перечнслением курса валют... Значит, оиа?! — восторженно прошептал Кувакнн.

— Если эксперты подтвердят, — иевозмутимо ответнл Демнн, пряча блокнот.

Равская еще у дверн внимательио окинула взглядом обоих, но, не заметив ничего подозрительного, легко прошла в комнату и уселась в кресло.

— Ну, молодые люди, — сказала она игриво, — продолжим наши игры. Я вас слушаю. С сумочкой мы все выяснили. Кофе тоже снят с повестки дня. Что вас еще интересует?

— Вы замужем? — спросил Демин невинно.

— Ого! У вас темпы, я скажу...

— У нас очень невысокие темпы. Анкетные данные положено выяснять в самом начале допроса. Но поскольку мы гости, то не решились начать с этого. Закон, надеюсь, нас простит, да и вы тоже, возможно, не будете в обиде... Итак, вы замужем?

— Была. Сейчас — нет.

— Развелись?

— Да, — сказала Равская отчужденно, давая понять, что не ожидала столь бесцеремонных вопросов. — Могу заверить, что данные в моих документах полностью соответствуют реальному положению вещей.

— У вас есть дети?

— Да. Дочь. Она в интернате. Я беру ее на выходные дни.

— Выходит, она с вами не живет?

— Она в интернате, — повторила Равская.

— Есть еще родные? — спросил Кувакин.

— Мать. Она очень больна. Сейчас в больнице. Сердце. Кстати, это ее квартира. Поэтому меня несколько удивляет... и настораживает то обстоятельство, что вы решили искать меня именно здесь.

— Сколько вам лет? — спросил Демин.

Равская помолчала, затянулась сигаретой, выпуская дым вверх, к потолку, к режущей глаза хрустальной люстре. Потом ткнула сигарету в опять же хрустальную пепельницу и жестко, по-мужски раздавила ее.

— Боже, какой приятный разговор был... И вдруг — сколько лет! Сколько бы мне ни было лет, все равно это не является уличающим фактором. В чем бы то ни было. Неужели вы не могли удержаться от столь неприятного вопроса?

— Не мог, — вздохнул Демин. — Товарищу Кувакину, который в данный момент записывает ваши ответы в протокол, положено занести туда и дату вашего рождения, и место работы, и семейное положение... Там, в бланке протокола для всех этих данных специальные графы нарисованы, — терпеливо произнес Демин.

— Мне сорок пять лет, — без выражения сказала Равская.

— Сорок пять?! — удивился Кувакин.

— А сколько бы вы дали?

— Ну... Тридцать пять, — покраснел тот.

— Спасибо, — горделиво улыбнулась Равская и, невольно скосив глаза, посмотрела на себя в зеркало.

— Ваша мама в какой больнице? — спросил Демин.

— Неужели вы и ее будете допрашивать?

— Если позволят врачи, — невозмутимо ответил Демин. — Так в какой она больнице?

— В семнадцатой. Почтового адреса я не знаю.

— Семнадцатая? — переспросил Демин. — Хорошая больница. Но она не в вашем районе?

— Ну и что? — улыбнулась Равская. — Вы сами говорите, что это хорошая больница. Могу заверить — если бы я знала, что где-то есть больница еще лучше, то моя мама лежала бы там. Когда речь идет о родителях, я могу вам сказать без ложной скромности...

— Кто живет в вашей квартире? Простите, что перебил...

— Никто. Она временно пустует. Это ведь не преступление? Мы с мамой собираемся обменять две наши квартиры на одну большей площади, но пока не собрались... То она болеет, то мне некогда...

— Вашей квартирой кто-нибудь пользуется?

Равская некоторое время молчала, удивленно глядя на Демина, как бы совершенно не понимая вопроса.

— Ах, вы об этом, — она вынула из пачки еще одну сигарету, не торопясь прикурила, затянулась, запрокинула голову и опять пустила дым к потолку. — Боюсь, что мне опять придется сказать несколько нехороших слов об этом недоумке... Я имею в виду Татулина. Дело в том, что он как-то попросил у меня ключ от той квартиры. К нему, видите ли, приехали гости, а разместить их негде. Ведь вы знаете, поселиться в гостиницу в наше время — дело невозможное. Не в Европе живем.

— Татулин часто пользовался вашей квартирой?

— Один раз, насколько мне известно. Правда, его родственники жили там около недели... А что, разве он... — Равская не решалась закончить вопрос.

— Он вернул вам ключ?

— Не помню... А знаете, кажется, нет. Да, действительно, вот сейчас припоминаю — ключ он не вернул. Но я так доверяла ему... У него есть своя квартира, совсем неплохая, мне и в голову не приходило...

— У вас настолько близкие отношения с Татулиным, что вы можете дать ему ключ от собственной квартиры, даже не требуя вернуть его обратно?

— Нет, конечно, не настолько близкие... Но этот случай у меня просто выпал из головы.

— Татулин утверждает, что вы дали ему валюту для продажи. Это верно? — спросил Демин.

— Что верно? — засмеялась Равская. — Вполне возможно, что он действительно это утверждает.

— А если всерьез?

— Откуда у меня валюта, товарищи дорогие?! У меня ставка сто сорок рублей.

— Сто сорок? — Демин невольно обвел комнату взглядом.

— Ах, не смотрите на меня с упреком! — воскликнула Равская. — Это все мамины сбережения. Видели бы вы мою квартиру — вы бы знали, как можно обставить ее, получая сто сорок рублей в месяц.

— Мы ее видели, — как бы между прочим сказал Демин.

— Уже?! Господи...

— Вы давно там были, Ирина Андреевна?

— С полгода, наверно, уж, может, и больше...

— Соседи утверждают, что вы были там совсем недавно.

— Ну... Если соседи утверждают. — Равская не смогла скрыть брезгливой гримасы. — Им виднее.

— Они правы?

— Я сказала то, что сказала.

— В таком случае потребуется очная ставка, — сказал Демин больше Кувакину, нежели Равской. — Ты, Коля, отметь это расхождение в показаниях.

— Очная ставка? Боже, сколько формальностей... Знаете, чтобы избавить и себя, и вас от ненужных хлопот, дурацких формальностей, я готова признать... Вернее, готова просто согласиться с тем, что я была в своей квартире недавно. Дожили! Дожили! Приходится отвечать на вопрос о том, когда ты был в собственной квартире, зачем ты приходил в собственную квартиру, чем ты занимался в собственной квартире! — Равская подняла руки кверху, как бы призывая в свидетели высшие силы.

— О том, чем там занимались, мы поговорим позже, — пробормотал Демин. — Скажите, Ирина Андреевна, как давно вы были в своей квартире? Только, пожалуйста, не надо столь близко к сердцу принимать наши вопросы... Так когда же?

— Может быть, с месяц... Хотя, подождите. Я что-то купила недавно... Да, соковыжималку! В моем возрасте, согласитесь, из всех напитков надо отдавать предпочтение сокам. Так вот, эту соковыжималку я и забросила к себе на квартиру. Мне неудобно было с ней по городу таскаться... Надеюсь, этим я не совершила ничего предосудительного?

— При обыске в доме Татулина найдены порнографические снимки.

— И этим он занимался?! — Равская вскочила. — Боже милостивый! Я считала, что он просто дурак. Ведь, между нами, он дурак, вы не могли этого не заметить... Но порнография! Это же грязь!

— Совершенно с вами согласен, — сказал Демин. — По предварительным данным, снимки эти сделаны в вашей квартире. Как вы это объясните?

— Я наказана за свою доверчивость. И поделом. Он приходил сюда, этот прохвост, и... и чуть ли не валялся в ногах. Есть у него лакейская привычка падать на колени, когда просит что-нибудь... У него дрожали руки, в глазах стояли слезы, он просил у меня ключ, и я всерьез испугалась, что если я ему этого ключа не дам, то он покончит с собой здесь, на ковре... А когда я дала ему ключ, то он устроил в моей квартире, простите, бордельеро, как сейчас говорят! Как я его ненавижу! Ведь то, что вы здесь, — это его заслуга, не так ли?

— Он утверждает, что валюту для продажи дали ему вы, — повторил Демин.

Ноздри у Равской трепетали от возмущения, грудь поднималась высоко и часто, сигарету она курила, не выпуская изо рта, по комнате ходила быстро и взволнованно. Но Демин, наблюдая за ней, заметил, как Равская, проходя мимо большого зеркала, не забывала быстро окидывать себя взглядом, как бы проверяя, достаточно ли она взволнована, в меру ли потеряла власть над собой.

— Послушайте! — Равская неожиданно остановилась перед Деминым. — Может быть, вы просто ошибаетесь?! Ведь не может этот кривоногий, пузатый, глупый и тщеславный человек настолько заинтересовать женщину, чтобы она согласилась сфотографироваться... Нет, я не верю в это!

И Равская обессиленно упала в кресло. Пепел от сигареты рассыпался по коленям, но, убедившись, что искры не прожгли материала, она сделала вид, что ничего не заметила.

— Вы знакомы с Селивановой? — спросил Демин, помолчав.

— С кем? — равнодушно и устало проговорила Равская.

— Наташа Селиванова.

— Позвольте-позвольте... Что-то знакомое... Ах, да, вспомнила. Эта девушка учится в институте иностранных языков. Правда, языков она не знает, я не уверена, что она когда-нибудь будет их знать... Хотя кто может сказать наверняка... Иногда я давала ей возможность заработать десятку-другую на переводах. Сама я работаю в рекламе, и мне бывает нужно кое-что перевести из иностранных журналов. Боже, что там переводить! Текст довольно простой — купите, возьмите, закажите... Конечно, после нее приходилось самой доводить, дорабатывать...

— Как вы с ней познакомились?

— Через Ларису. Ту самую, которую вы недавно здесь видели... Парикмахерша. Они живут где-то рядом... Хотя нет, парикмахерская, где работает Лариса, находится рядом с домом, где живет Селиванова. Кажется, так. Когда Лариса обмолвилась, что знакома с девушкой из института иностранных языков, я попросила свести нас... Вот, пожалуй, и все.

— Вы давно видели Селиванову?

— Месяц тому назад, может, больше...

— Зачем вы звонили ей сегодня утром?

— Простите?

— Я спросил, зачем вы звонили Селивановой сегодня утром?

— А вы уверены в том, что я звонила ей сегодня утром? — Равская снисходительно улыбнулась. Она готова была принять вызов, очевидно, уверенная в том, что уж с этой-то стороны ей ничего не грозит.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Вопрос? Какой?

— Я спросил у вас, зачем вы звонили Селивановой сегодня утром. Если вы не можете ответить сразу, подумайте, только не надо больше переспрашивать и тянуть время — это так скучно.

Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, так и скажите — мол, на этот вопрос отвечать отказываюсь.

— Да нет, зачем же... Возможно, я звонила ей, но, честно говоря, не помню. Нет, сегодня утром я с ней не разговаривала. Знаете, как бывает... Садишься к телефону, болтаешь час-второй по десятку номеров — разве потом упомнишь, с кем говорила, с кем только хотела поговорить? Тем более если ничего существенного не сказано...

— Ночью тоже не было сказано ничего существенного? — спросил Демин, уверенный, что сейчас опять последует вопрос — уточнение. Равская все-таки отвечала грамотно, почти неуязвимо, но время после неожиданного вопроса ей требовалось.

— Простите, я не поняла.

— Подумайте. Мы подождем.

— Нет, я действительно не понимаю, о чем вы меня спрашиваете.

— Я согласен с тем, что утром можно поговорить по телефону с десятком знакомых и тут же забыть об этом. Но когда говоришь с человеком в час ночи...

— Ребята, боюсь, что вы зря теряете время. Сегодня ночью я была слегка подшофе, — она улыбнулась, как бы прося прощения за столь непривычное словечко. — Только не спрашивайте у меня, ради бога, где я была, с кем, что пила и что было потом. Звонила ли я Селивановой? Нет, не могу припомнить такого события прошлой ночи.

Кувакин сочувственно посмотрел на Демина и, даже не сдержавшись, щелкнул языком — надо же, выскальзывает, и все тут. Квартира сорвалась, сумочкой тоже из колеи выбить не удалось, ночной звонок к Селивановой, похоже, не произвел никакого впечатления... Что там у Демина осталось?

— Уточним, — спокойно проговорил Демин. — Если я правильно понял, вы не отрицаете, что могли звонить Селивановой ночью и утром... Не отрицаете, но и не помните, так?

— Д...да, приблизительно что-то такое можно сказать.

— Запиши, Коля, эту фразу поточнее.

— Как, он все еще пишет? — удивилась Равская.

— Да, а потом вам под всеми страничками придется поставить свою подпись.

— А если я с чем-то несогласна?

— Со своими же показаниями? Разве вы говорили неправду? Но тогда в конце протокола напишете, с чем именно несогласны и как следует понимать то или иное ваше заявление. — Демин сидел в углу диванчика, и во всей его позе было бесконечное терпение, готовность выслушать все и до конца.

— Простите, я говорила, что тороплюсь и... Если у вас больше нет вопросов...

— Очень сожалею, — виновато улыбнулся Демин. — У меня еще несколько вопросов, весьма незначительных... А завтра, к девяти ноль-ноль вам, Ирина Андреевна, придется прийти в наше управление, — медленно проговорил Демин, прекрасно

понимая, какое впечатление могут произвести эти безобидные слова. — Так вот, дежурный проведет вас в коридор, где расположен следственный отдел, а там вам каждый покажет двенадцатый кабинет, где вы найдете следователя товарища Демина, то есть меня. И мы продолжим наши игры, как вы недавно выразились.

— Задержание этого маразматика, этого подонка Татулина с женским косметическим кошельком у вас считается настолько важным делом, что этим занимается целая бригада следователей? — Равская откинулась в кресле и откровенно расхохоталась. Поскольку ему больше ничего не оставалось, Демин с интересом посмотрел Равской в рот и, убедившись, что две трети зубов у нее золотые, удовлетворенно прикрыл глаза. — Неужели у вас столь значительные успехи в борьбе с преступностью, что вы позволяете себе эту канитель с вызовами, допросами, очными ставками ради дела, которое и выеденного яйца не стоит? — Равская сквозь смех соболезнующе покачала головой.

— Отвечаю на ваш вопрос. Задержание гражданина Татулина для нас не очень важное дело. Говоря о важном деле, я имел в виду смерть Селивановой.

Равская не произнесла ни одного внятного слова. Только хриплый гортанный звук исторгся из ее раззолоченного хохочущего рта, и она судорожно прикрыла его ладонями с ярко-красными ногтями, которые так напоминали падающие капли крови.

— Продолжим, — невозмутимо произнес Демин. Он отклонился от спинки диванчика, наклонился вперед, поставив локти на колени, и опустил голову, так что в поле его зрения остались только узоры ковра да лакированные туфли Равской. А ведь она, должно быть, невысокого роста, подумал он. И повторил: — Продолжим. Во время задержания гражданина Татулина, о котором вы отзываетесь столь неуважительно, в его сумочке, то есть в вашей сумочке, помимо тугриков-шмугриков, нашли написанный от руки курс иностранной валюты. Написан он на клочке газеты. Так вот...

— Ну нет! — вскочила Равская. — Со мной у вас этот номер не пройдет. Я не позволю, чтобы вы испытывали на мне свои профессиональные приемы допроса! Я не могу, вы слышите, не могу, узнав о смерти близкого мне человека, говорить как ни в чем не бывало о посторонних вещах!

— Очень хорошо, — сдержанно сказал Демин. — Вы не можете вспомнить о своих звонках к Селивановой, хотя и не отрицаете, что звонили ей, но в то же время она, оказывается, для вас близкий человек... Учтем. У вас были с ней деловые отношения, денежные отношения, но в то же время вы никак не могли вспомнить, кто же это такая... А узнав о ее смерти, вы вдруг разволновались, настолько прониклись к ней сочувствием, состраданием, что не можете говорить о посторонних вещах... Хорошо. Не будем говорить о посторонних вещах, будем говорить только о том, что имеет, как мне кажется, самое непо-

средственное отношенне к смертн Селнвановой. Вас это устранвает? Отлично. Продолжим. Коля, ты готов?

— Все в порядке, — ответнл Кувакин.

— Поехалн. Так вот, на клочке газеты, как я уже говорил, был напнсан курс нностранной валюты. Франки, доллары, гульдены... Чуть лн не дюжнну различиых валют нашли в сумочке у Татулнна.

— Поздравляю вас, — холодно сказала Равская.

— Спасибо. Скажнте, пожалуйста, Ирина Аидреевна, как по-вашему, зачем человеку, занимающемуся перепродажей валюты, зтот список с указаннем, сколько рублей, к прнмеру, стоит тугрнк, сколько франк, сколько крона?

— Понятня не нмею!

— Я тоже, — улыбиулся Демин. — Остается предположить только одно — Татулни не часто занимался перепродажей, а валюту в таком разнообразии вообще, возможно, первый раз держал в руках. Татулин — опытный комиссионный спекулянт. В определенных кругах известен давно. Валюта — его новая специальность. Он ее только осваивал. И попался.

— Блнже к делу, — сказала Равская. — Я тороплюсь. У меня важиые дела.

— А как же Селиванова? Вы уже забылн о ией? И потом, вряд лн у вас есть дела важнее собственной судьбы, — сказал Кувакни, не поднннмая головы от протокола.

— По-моему, до снх пор мы обсуждали только судьбу Татулниа.

— Только до сих пор, — сказал Демии. — Теперь мы перешли к вашей судьбе. Дело вот в чем — курс валют, о котором мы столько толкуем, написан вашей рукой. Как вы это объясняете?

— Вы уверены, что ои иапнсан имеино моей рукой? — усмехнулась Равская. Но усмешка на этот раз ие получнлась. Только грнмаса искрнвила ее лицо, и тяжелая нижняя челюсть как бы вышла нз повниовения, обнажнв желтоватые от курева зубы.

— Нет, я в этом не уверен, — беззаботно сказал Демин. — Я спросил на всякнй случай, для протокола. Чтобы потом, во время суда, не возннкло недоумення, чтобы всем стало ясно — разговор об этом был, н ответ от вас получеи в самом иачале следствия. Вот и все. Остальиое — мон предположення.

— А вы не злоупотребляете своим положением, вот так легко и бездумно выдвигая обвнннення, которые ровным счетом нн на чем ие держатся, ннчем не обоснованы? Илн это профессиональные шутки?

— Нет, Ирнна Андреевиа, это не шуткн. Курс валют на газетном клочке написан своеобразным почерком — все буквы разной велнчины, какие-то остроголовые, а вся запись сделана грамотио с точкн зреиня машинописн — абзацы, отступлення и так далее. Была в той запнске еще одна особенность — автор не любит переносов и старается во что бы то ни стало втиснуть слово до конца строки. И последнее — запнсь сделаиа шарико-

вой ручкой, красной пастой. Общий вид прнмерио вот такой... — Демин выиул блокиот и показал Равской страиицу, на которой она совсем недавио изложила способ приготовления кофе.

— Боже, в какие руки я попала, — только н проговорила она.

— Продолжим? — спросил Демин. — Итак, повторяю, это только предположеиие. Но завтра в десять иоль-иоль иа моем рабочем столе будет лежать заключение экспертов с печатями, иаучными выкладками, обоснованнями, подробным анализом характериых особеиностей почерка н даже с химнческим аиализом пасты...

— Не утруждайте себя, — перебила Равская. — Все зто я знаю. Но должна вас разочаровать... Не исключено, что тот клочок газеты, который вы нашли у Татулнна, действнтельно иаписан мной... Около полутора лет назад мие как-то позвоиил Татулин и спросил, иет ли у меня под рукой курса валют...

— А почему ои решил, что у вас может быть такой курс?

— Потому что я подписалась на «Известия», где эти даниые публикуются, а он — на «Комсомолку», где эти даииые не публикуются. Татулни обожает молодежные издання, и не только издаиия, как вы успели заметить. Вот и вся разгадка. Я иаписала ему все, что ои просил, на первом попавшемся клочке бумаги. У вас, надеюсь, все?

— Да, пожалуй, все, — сказал Демин, поднимаясь. — Коля, дай, пожалуйста, Ириие Андреевие прочесть протокол.

Надев очки в тяжелой оправе, Равская откииулась в кресле н углубилась в чтеиие. Время от времени она с иитересом взглядывала на Демнна, на Кувакина, хмыкала, видимо, припомииая детали разговора, один раз вообще рассмеялась.

— У вас прекрасиый стиль, — сказала она Кувакииу, закончив читать. — Вы никогда не писали заметок в газету?

— Как же, писал, — охотно ответил Кувакин. — И сейчас иногда пописываю... Когда дело, которое я уже расследовал, рассмотреио судом н вынесен прнговор... Иначе, Ирина Аидреевна, нельзя — чтобы заметками ие давить на судей, на народных заседателей... Поиимаете?

— Вполие, — ответила Равская и жестом попросила у Демина ручку, не обращая вннмання на ту, которую протягивал ей Кувакни. Этим она хотела поставить его, как говорится, на место. Ей ие хотелось подписывать протокол той самой ручкой, которой этот протокол писался, а взять свою, с красной пастой, оиа тоже не решилась. Демин с любопытством ждал, что же будет дальше. Он сонно смотрел на ручку, протяиутую Кувакиным, Равская иетерпеливо смотрела иа Демииа, а Кувакин с улыбкой наблюдал за Равской. Наконец оиа не выдержала. — Ах, простите, — проговорнла она, вспыхиув. И, взяв у Кувакнна дешевую, трндцатнкопеечную ручку, подписала протокол.

— А теперь я прошу вас извинить за доставлеиное беспокойство. — Деми слегка поклонился. — Полагаю, мы еще встретимся.

— Позвольте, но вы ничего не рассказали мне о Селивановой. Что же с ней произошло?
— Она погибла. Обстоятельства только выясняю. — Демин развел руками. — Когда буду все знать... Думаю, к тому времени вы тоже будете все знать. Откровенно говоря, у меня и сейчас такое чувство, будто вы знаете гораздо больше меня.
— О, вы мне льстите, — улыбнулась Равская.
— Ничуть. Это было предупреждение.
— Или угроза?
— Как вам будет угодно. В конце концов, все зависит от вашей роли во всем этом деле.
— Вы хотите сказать...
— Я хочу сказать, что вам виднее, была ли это угроза, предупреждение или невинные слова на прощание. Вам виднее. Всего доброго.

Развернув машину, водитель поджидал их, склонившись на руль и тихонько посапывая. Но едва они расселись на заднем сиденье, он поднял голову.
— Про бутерброд вы, конечно, забыли?
— Знаешь, Володя, забыли. Прости великодушно. Было дело, угостили нас бутербродами, небольшими, правда, но такова мода. Понимаешь, вроде неудобно предложить человеку полновесный ломоть хлеба, приличный кусок колбасы, сытный обед или ужин... Вроде ему больше и поесть негде... Мода. Так что мы не заметили даже, как и съели.
— Ладно. Я от вас ничего и не ждал... Куда ехать-то?
— Постоим, подождем. Отъезжай в конец переулка, под заснеженные деревья и гаси свои сигнальные огни. Посидим минут десять-пятнадцать. Больше, наверно, не придется.
— Думаешь, выскочит? — спросил Кувакин.
— Не усидит.
— Усидит. Ей сейчас, наверно, по десятку телефонов позвонить надо, сигнал опасности передать.
— Не будет звонить. Побоится. Она уж небось думает, что и телефон ее прослушивается, и на пленку все записывается... Человек грамотный, детективов начиталась — две полки детективов, представляешь? Ошалеть можно. Из автомата звонить ей покажется надежнее. А скорее всего лично по друзьям поедет. Натура активная, она не будет сидеть сложа руки. Судя по всему, ей есть кого предупредить, с кем столковаться... Опять же о Селивановой надо все выяснить... По-моему, серьезное дело намечается, а, Коля?
— Похоже на то... Слушай, а с газетой она выскользнула?
— Ничего подобного, — горделиво ответил Демин. — Окончательно влипла. Она писала на верхнем крае газеты, там больше свободного места, но именно там пишется дата выпуска. Собственно, самой даты нет, оборвана, но последняя цифра года есть, именно этого, текущего. А году-то всего второй месяц, по-

нял? Смотри — оттепель, мокрый снег, вот-вот дождь пойдет... Другими словами, самое большее — полтора месяца назад написана эта записочка. А уж никак не полтора года назад, как пыталась уверить нас Равская.

— Валя, а тебе не кажется, что мы напрасно открыли перед ней свои карты?

— А какие карты мы открыли? — удивился Демин. — Про Татулина рассказали? Она и так знала, что он задержан, что ведется следствие. Сумочка? То, что сказала сегодня, она могла сказать и завтра. Хотя, как раз завтра могла и не признаться, что это ее сумочка. Равская наделала кучу ошибок. Коля, она попросту не справилась с информацией, которую мы вывалили ей на голову. Она умеет себя вести, ее голыми руками не возьмешь, но она в панике. Пройдет не более десяти минут, и ты в этом убедишься. Еще какие карты мы открыли? Рассказали о смерти Селивановой? Да. Рассказали. И правильно сделали. Это был наш временный козырь, и хорошо, что мы успели его использовать. Арест Татулина почти не встревожил ее, она настолько чувствовала себя в безопасности, что даже на сегодняшний вечер назначала свидание Селивановой в «Интуристе». А теперь поняла, что сама по уши в трясине... Все правильно, Коля. Сумочка ее, записку писала она, во время очной ставки с жильцами квартиры, где жила Селиванова, она признается, что звонила ночью и утром... Нет, Равская офлажкована. Кстати, не забыть во время ее очной ставки с Татулиным вызвать конвоиров в кабинет, не то они растерзают друг друга. Володя, — обратился Демин к водителю, — свяжись, будь добр, с управлением.

Водитель пощелкал тумблерами, и машина сразу наполнилась таким разноголосьем, что казалось, невозможно не заблудиться, найти нужный голос, нужного человека.

— Говорит «Тайфун», говорит «Тайфун», — зычно сказал в трубку водитель. — Вызываю «Буран».

— «Буран» слушает, «Буран» на приеме, — тут же отозвался голос дежурного.

— Прошу. — Водитель протянул трубку Демину.

— Дежурный? Это ты, Юра? Привет. Демин говорит. Демин. Юра, свяжи меня, будь добр, с шефом, если он еще на месте... Иван Константинович? Опять Демин. Равская позади. Да, проехали. Дала ценные показания. Зря торопились? А разве можно торопиться зря? Ладно, все понял. Меньше слов. Понял. Иван Константинович, надо бы двух оперативников по ее адресу. Только наблюдение. И за ней, и за квартирой. Да, основания есть. Да, серьезные. Прямой выход на Селиванову. Иван Константинович... Если вы не против, я бы хотел несколько продлить сегодня свой рабочий день... Кувакин тоже не торопится домой... Спасибо. Кабинетная работа начнется завтра. Да, прямо с утра. Есть строго следовать закону. Что? К черту!

В машине снова наступила тишина.

— А вот и она, — спокойно проговорил Демин.

Равская выбежала из-под аркн и, огляиувшись, быстро зашагала в сторону ожнвленной, освещеиной улицы — ие глядя на дорогу, по лужам, иаполненным тающим сиегом.

— А вы зиаете, ребята, — обеспокоенно сказал водитель, — она ведь к нам торопится. Разрази меня гром, если ошнбаюсь. Что будем делать?

— Скажи, что занят, и весь разговор. А мы прнгнемся, на заднем сиденье она нас не увндит.

Равская подбежала к машине, распахнула дверь.

— На Северную подброснщь?

— Занят, — леннво оброинл водитель.

— Десяткн хватнт?

— Скукотнща-то какая. — Воднтель зевнул. — Толкуешь людям, толкуешь — все без толку. Не поиимают русского языка.

— Болван! — с явиым иаслажденнем бросила Равская н, захлопнув дверцу, не оглядываясь, быстро пошла к перекрестку.

— Вылазьте, ребята, — добродушно сказал водитель. — Опасность миновала. Ездют тут всякие... Без вас десятку бы уж заработал... Смотрите, такси останавливает. Поехалн, что ли?

— Поехали, — сказал Демни. — Здесь уже иечего делать. Вндншь, Коля, на Севериую собралась, решила проверить, не взяли лн мы ее «иа пушку», сказав, что Селиванова погибла. Эта дама прнвыкла действовать наверняка.

— То есть как «на пушку»? — возмутился Кувакни. — Вроде того, что Селнванова жнва, а мы, значит, в мертвые ее записалн, чтоб Равскую распотешить?

— Меряет на свой аршин. И потом, согласнсь, поступает разумно. Еслн Равская в этом деле замешана, оиа, конечио же, хочет знать, насколько реальна опасность.

Кувакнн напряженно всматрнвался вперед, боясь потерять таксн нз виду. Завндев светофор, он подавался вперед, впиваясь пальцами в спннку передиего сиденья, переводнл дух, но иенадолго. Наконец воднтель не выдержал.

— Ты, Коля, отдохни, — сказал он. — Все будет в порядке. Пока в гостях у нее был ты, нн в чем ие оплошал, нет? И слава богу. А теперь моя очередь.

— Нырнет под красный свет, а потом ищи-свищи, — проворчал Кувакнн.

— Авось, — беззаботио ответнл водитель. — Да и приехали уже. За углом Северная.

Не ожидая полной остаиовки, Равская выскочнла нз такси, иа ходу бросила за собой дверцу и бегом устремилась к тому самому дому, с которого Демни начинал утром расследование.

Таксн оставалось на месте.

— Она попросила его подождать, — сказал водитель.

Демии вышел нз машины н быстро направился к таксн. Подойдя, ои, не говоря ин слова, открыл дверцу и сел на передиее сидеиье.

— Занят, — сказал таксист. — Пассажир сейчас подойдет.

— Знаю. Моя фамилия Демин. Следователь. Вот удостоверение.

— Не надо, на слово поверю. Такими вещами не шутят. На верно, выдумки не хватает, — засмеялся пожилой таксист. — Но я не могу ехать, денег не взял с пассажирки.

— Повезешь ее и дальше. Только вот что... За углом заправочная станция. Задержись там минут на десять, а потом езжай куда она скажет. Добро?

— Попробую. Но, по-моему, она торопится. По дороге все машины выматерила, которые на пути оказывались.

— Значит, договорились. Вон наша машина — серая «Волга»... Мы тоже у заправочной остановимся, только наверху. Как мигнем фарами — можешь ехать.

— Ну что ж, это даже интересно.

— Пока, — сказал Демин, выходя.

Равская пробыла в доме около семи минут. Вышла неторопливо, постояла под окном, видимо, прикидывая высоту. Потом снова направилась в дом, но тут же вернулась. С минуту постояла у такси, будто не решаясь сесть. Потом медленно открыла дверцу и, аккуратно подобрав полы длинной дубленки, села рядом с таксистом.

— Демин идет по следу! — зловеще сказал Демин, выходя из машины. Прыгая через ступеньки, он поднялся на пятый этаж и позвонил. Дверь открыла Вера Афанасьевна. Братья Пересоловы тоже оказались дома. Оба обеспокоенно вышли из своей комнаты.

— Добрый вечер! — приветствовал всех Демин. — Какие новости?

— Какие могут быть новости, — прошептала Сутарихина. — Сидим весь день да в пол смотрим. Вот те и все новости.

— А у тебя, Толя? — спросил Демин у младшего Пересолова.

— Сейчас, — сказал тот и пошел к себе в комнату.

— Вот только что заходила подружка Наташина, — начала рассказывать Сутарихина. — Веселая забежала, щебечет, смеется... А как узнала, побелела вся, если бы Толик не подхватил, тут бы на пол и ахнула... Воды выпила, кой-как с силами собралась и пошла, бедная...

«Это ведь все сыграть надо!» — почти с восхищением подумал Демин.

— Больше никого не было?

— Нет, никого...

— Ты, бабка, чего же вто следствие в заблуждение вводишь? — басом спросил старший Пересолов. — А про парня Наташкиного чего молчишь?

— Ох, и верно, — послушно согласилась Сутарихина. — Приходил парнишка, весь вежливый такой, обходительный, я его раньше и не видела вовсе... Где-то у них с Наташей встреча назначена была, а она не пришла... Вот он и забежал узнать,

в чем дело. ...А как узнал... Ну что говорить, вот так весь день и бьем добрых людей по темечку.

— Звонков не было?

— Никто не звонил, — твердо сказал старший Пересолов. — Селивановой никто не звонил. Я весь день дома был. Толька в магазин, правда, смотался, а я все время здесь, — Василий, поняв, что утром погорячился, явно поддабривался. — Лечились мы с Толькой сегодня.

— Вылечились?

— Ничего, поправились. Хоть снова начинай.

— А этот парнишка... Откуда он?

Анатолий вышел из комнаты и протянул Демину листок.

— Это его адрес и телефон, — сказал Василий. — Вдруг, думаю, пригодится... Вот и велел Тольке все записать.

— Спасибо! — поблагодарил Демин. — За это спасибо. Родина вас не забудет. Толик, а ты завтра заходи в управление. Повестку я тебе оформлю. И освобождение от работы.

— Может, и мне подойти? — спросил Василий.

— Ну что ж, не помешает. Приходите оба.

— Постараюсь, — сказал Анатолий.

— Толик, ты не понял. Не надо стараться. Надо прийти.

— Мал он еще, простоват, — пробасил Василий. — Вы, товарищ следователь, не беспокойтесь. Я ему все объясню. Придет.

— Эта подружка, которая только что забегала, ничего не спрашивала? — повернулся Демин к Сутарихиной.

— Да нет вроде... Только спросила, дома ли Наташа... А я тут же в рев. Толик ей и объяснил... Она глаза подкатила и затылком на стенку пошла. Во как...

— Надо же! — восхитился Демин.

Едва Демин захлопнул за собой дверцу, как машина круто развернулась и понеслась в сторону заправочной станции.

— Все в порядке? — спросил Кувакин.

— Да, вполне. Оказывается, у мадам Равской еще хватило сил дать в квартире маленькую гастроль... В обморок падала, воды просила, глаза подкатывала — целый комплект выдала. Тоже, между прочим, кое-что говорит о человеке. Ведь ее никто не заставлял такие номера откалывать. Не гони, Володя, вниз не надо съезжать, остановись вон там, наверху...

— Стоят, — удовлетворенно сказал Кувакин.

— Вот здесь останавливай. Отлично. Теперь, Володя, приготовься. Как только таксист посмотрит в нашу сторону, мигни ему фарами. Давай! Порядок... Он заметил нас. Ну, теперь пристраивайся к нему в хвост и валяй.

— Рад стараться, — пробурчал водитель.

Судя по всему, Равская не торопилась. Пока таксист заправлял машину, она отошла в сторонку и стояла, глядя на светящиеся в снегопаде окна, проступающие контуры домов, на проносящиеся огни машин. И даже, когда таксист подъехал

к ней и распахнул дверцу, она не торопилась садиться, видно, не решив еще, куда ей следует отправиться.

— Твой прогноз, Валя? — спросил Кувакин.

— Поездка у нее должна быть... сугубо деловая. Предупредить, договориться, устрашить кое-кого... Не одна работала.

Наконец такси выехало на проезжую часть. Водитель несколько раз мигнул подфарниками — мол, помню о вас, ребята, пристраивайтесь.

— А я знаю, куда она едет, — неожиданно сказал Демин. — В ресторан направляется. В тот самый, куда велела Селивановой сегодня приходить. Не исключено, что выпивончик намечается.

— «Интурист»?

— Точно. Смотри, водитель перестраивается в правый ряд, значит, намечается остановка у тротуара... Так и есть.

Вокруг громадного стеклянного здания гостиницы светилось зарево. Выше пятого этажа отдельные окна уже не различались, только смутное сияние уходило высоко в небо. Такси остановилось метрах в пятидесяти от главного подъезда. Остановились и Демин с Кувакиным. Из такси никто не выходил. Прошла минута, вторая, третья...

— Может, мы ее прозевали? — забеспокоился Кувакин.

— Там она, — протянул водитель. — Там, — повторил он, не оборачиваясь.

— Думает, — сказал Демин. — Осторожная баба, эта Равская. Нам с ней еще возиться и возиться. Вот сидит она сейчас, смотрит в ветровое стекло и тасует, тасует, перебирает возможные поступки, решения, людей перебирает, нас с тобой, мы тоже в колоде, и столь презираемый ею Татулин, и уже мертвая Наташа Селиванова...

— Они трогаются, — сказал водитель.

— Подожди, Володя, — остановил его Демин. — Я выхожу. Пойду в ресторан. А ты, Коля, дуй за ней. Связь через дежурного. Докладывай сразу, как только будут новости. С Равской осторожнее. Не упустите. Всего.

Машина сорвалась с места и через секунду скрылась в снегопаде. Демин проводил ее взглядом и решительно направился к входу в ресторан.

Тускло мерцающий вестибюль, отделанный холодным серым мрамором, с низкими креслами, круглыми столиками, стойками всевозможных гостиничных служб, производил внушительное впечатление и напоминал скорее зал крупного аэропорта, а громкий разноязычный говор лишь дополнял это впечатление.

Гардеробщик мимоходом пренебрежительно посмотрел на Демина, его тощий мокрый плащ взял брезгливо, двумя пальцами, номерок бросил на стойку небрежно, не глядя.

— Батя! — Демин поманил гардеробщика пальцем и, наклонившись к самому уху, спросил: — Президент уже здесь?

— Что?! — присел от неожиданности гардеробщик. — Какой... президент?

— А, так ты ие в курсе, — разочарованно протянул Демин. И довольный, ие торопясь, подиялся на второй этаж, где располагался ресторан с иастолько большим залом, что его противоположная стеиа терялась в голубоватой дымке.

— Простите, — неожидаино возник перед Деминым метрдотель, — но у нас сегодня свободных мест, к сожалению, нет.

— С чем я вас и поздравляю, — улыбиулся Демин. Его почему-то привела в хорошее иастроение вежливая иагловатость и какая-то стерильиая опрятность этого полиеющего, лысеющего человека. — Давио здесь работаете?

— Да, — помолчав, ответил метрдотель. Что-то сразу изменилось во всем его облике. Прошла какая-то секунда, н перед Демнным стоял уже вполне нормальиый человек, с которым можно было разговарнвать. Метрдотель после первых же слов Демнна понял, что перед ним не обычный провинциал, от скуки забредший в столь экзотическое место, что с ним лучше вести себя осторожней. — Вам что-нибудь нужно узнать?

— Я следователь. Моя фамнлия Демин. Мы можем поговорить две-трн минуты?

— Две-три можем.

— Как вас зовут?

— Евгенний Федоровнч. Прошу сюда, — метрдотель отдернул неприметиую штору н пропустил Демина в маленькую комиатку, где, кроме стола н двух стульев, ничего не было.

— Ваш кабинет?

— Можно и так сказать.

Демин сел, с силой потер ладонямн лнцо, словио хотел снять усталость, испытующе взглянул на метрдотеля. Потом вынул нз кармана пачку фотографий и положнл нх на стол.

— Евгеиий Федорович, постоянных посетнтелей вы, надеюсь, знаете?

— Точнее сказать — могу узнать. А знать... Я не уверен, что знаю самого себя.

— Посмотрите, иет ли здесь вашнх завсегдатаев? — Демин протянул пачку фотопортретов, средн которых былн н Селиванова, н Равская.

Метрдотель взял сннмки, перебрал нх, внимательно всматрнваясь в каждое лицо, потом уверенио вынул портрет Равской и положил перед Деминым.

— Вот эта дама у нас иногда... бывает.

— Кто оиа?

— Понятия не имею.

— Ну. по вашей оценке — купчиха, выпивоха, деловой человек, потаскушка...

— Последиее, пожалуй, к истние ближе всего, — усмехнулся метрдотель. — Хотя я несколько раз наблюдал и сугубо деловые встречи этой дамы с нашими постояльцами, гостями «Ин-

туриста». И вообще, насколько я заметил, она предпочитает любые дела, вы меня понимаете, иметь с иностранцами.

— Почему?

— Кошелек потолще, это, конечно, самое важное обстоятельство. А кроме того, они ничем не связаны, всегда свободны, на многие вещи смотрят проще, ищут приключений, связей. Там, где наш человек будет совеститься, искать слова, у них все отработано... Знаете, они более раскованны, более уверенны в себе. Это естественно, приезжают в основном люди состоятельные, сделавшие карьеру, обеспечившие себя на годы вперед. Если я не ошибаюсь, именно с такими людьми она чувствует себя легко и просто. У нее с ними одна шкала ценностей, если можно так выразиться.

— Понимаю.

— Кстати, не исключено, что она сегодня будет здесь. Ее подружки, или товарки, не знаю даже как сказать, они уже здесь.

— Даже так... — Демин быстро взглянул на собеседника. Надо было срочно принимать решение. Если в зале собрались люди, которым Равская назначила встречу, значит... Что это значит? Она тоже должна быть здесь, она и приехала сюда десять минут назад, но не решилась войти... Конечно, фактор неожиданности иногда бывает очень важен, но... Но не будет ли оплошностью, если подойти к ним? Допросить их необходимо в любом случае. Лучше сегодня, чем завтра. И самое главное — до того, как с ними побеседует Равская. Да, завтра разговор может оказаться попросту бесполезным. Они будут подготовлены, запуганы, куплены — так ли уж важно, чем она их возьмет. Значит, сегодня? Сейчас? Немедленно?

Демин, все еще не приняв решения, поднял трубку телефона, раздумчиво покачал ее на руке...

— Выход в город через восьмерку, — подсказал метрдотель.

— Ну что ж, попробуем через восьмерку. — Демин набрал номер, подождал несколько секунд и вдруг улыбнулся, услышав знакомый голос. — Иван Константинович, те ребята, которых я просил час назад... еще не выехали? Ах, уже... Нет, все хорошо. Надо бы еще двоих, Иван Константинович... На этот раз в ресторан «Интурист». Нет, ненадолго. Самое большее на час, но немедленно. Чего не бывает... Возможно задержание. Здесь перед входом в ресторан есть такой роскошный предбанник с креслами... Они не будут скучать... Публика интересная, разноязыкая, раскованная... Договорились. Всего. К черту! Идемте,— повернулся Демин к метрдотелю. — Покажите мне этих красоток.

Они вышли из-за шторы и остановились у колонны. Со стороны можно было подумать, что в ресторан пришел еще один посетитель, и метрдотель осматривает зал, подыскивая ему место.

— Видите люстру? Вот сейчас я как раз смотрю на нее... А под ней столик, хорошо освещенный столик, за которым сидят три женщины... Видите? Стол еще не накрыт. Они только

что пришли. Или же пока воздерживаются делать заказ... Скорее всего второе. Они всегда предпочитают, чтобы заказ для них делал кто-нибудь другой.

По мягкой ковровой дорожке Демин прошел в глубину зала. Столик, указанный метрдотелем, оказался небольшой, на четыре человека. За ним сидели три женщины. И еще один стул был приставлен — очевидно, ожидалось пять человек. Да, ведь Селиванова тоже приглашена, подумал Демин. Все правильно. Женщины были в париках, перед ними стояла бутылка сухого вина и какая-то холодная закуска. Оживленного разговора, когда собеседники интересны друг другу, когда им есть что рассказать, такого разговора не было. Чувствовалось, что женщины собрались вовсе не для того, чтобы повидаться.

— Прошу прощения. — Демин тронул спинку стула. — У вас свободно?

— Занято, — не глядя на него, ответила женщина с крупным тяжелым лицом. Она была самая молодая из трех и, чувствовалось, сильнее по характеру.

— Благодарю, — сказал Демин, присаживаясь. Он поудобнее придвинул стул, руки положил на стол. С интересом, благожелательно посмотрел на женщин. Одна из них, та, что сидела справа, показалась ему знакомой, он взглянул на нее пристальнее и с трудом узнал парикмахершу, которую видел в квартире Равской. Она была почти неузнаваема. Седой парик, надменный взгляд, прищуренный, оценивающий взгляд, длинная сигарета во рту... Женщина тоже узнала Демина, сникла и сразу стала похожей на ту, которую он запомнил. Третья была наименее привлекательна — толстые круглые очки, приплюснутый нос, низкий лоб с крупными, почти мужскими морщинами...

— Вы плохо слышите? — спросила женщина с крупным лицом. — Здесь занято.

— Не надо, Зина, — сказала парикмахерша. Демин вспомнил, что ее зовут Лариса. — Этот товарищ по делу.

— Мы здесь все по делу, — улыбнулась третья.

— Галя! — предостерегающе прошептала Лариса. — Возьми себя в руки.

— Я предпочитаю, когда меня берут другие.

— Заткнись уже наконец, — равнодушно сказала Зина и повернулась к Демину. — Ну, молодой человек, какие дела привели тебя в нашу компанию?

— Этот товарищ... следователь, — поспешно вставила Лариса. — Если не ошибаюсь, мы с вами виделись час назад у Ирины Андреевны?

— Ошибаетесь. Мы виделись с вами два часа назад. Но это неважно. Давайте знакомиться... Моя фамилия Демин. Действительно, следователь. Ну а с вами я познакомился, пока вы разговаривали... Зина, Лариса и Галя. Верно? Отлично.

— Вы считаете, что мы вступили в конфликт с уголовным ко-

дексом? — спросила Галя и почему-то привалилась грудью к столу.

— Не знаю, пока не знаю. Пока я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Наташи Селивановой. Я сейчас сижу на ее месте?

Демин решил сразу произнести эти слова, чувствуя, что так будет лучше всего. Если вытягивать какие-то сведения, спрашивать, настаивать на ответах и понимать, что они видят твою игру... А потом сказать о Селивановой... В этом будет что-то нехорошее, нечестное. А так одной фразой он сбил с женщин налет пренебрежительности, деланной усталости, вечерней многообещающей истомы. Они сразу стали самими собой. И чуждыми, нелепыми сделались их наряды, ненужными оказались длинные с диковинной этикеткой сигареты, и вся косметика на лицах стала выглядеть неуместным гримом. Галя еще ниже припала к столу и в упор, неотрывно смотрела на Демина, ожидая от него новых слов, подтверждений, может быть, даже доказательств. Лариса, не шевельнувшись, продолжала сидеть, как сидела, только вдруг лицо ее стало серым. Первой пришла в себя Зина. Она полезла в сумочку, вынула зажигалку, прикурила.

— Это точно? — спросила она.

— Да. Я с утра этим занимаюсь.

— Что с Наташей? — тихо спросила Галя.

— Выбросилась из окна. Сегодня на рассвете. Умерла в «скорой помощи» по дороге в больницу.

— Что же будет, девочки?! — Лицо Гали сморщилось и сделалось совсем приплюснутым. — Как же это, а? Ведь Наташка... Ну, девочки!

— Помолчи! — резко сказала Зина. — Чего же вы хотите от нас, товарищ следователь?

— Я хочу знать, почему она это сделала.

— Вы уверены, что мы знаем?

— Да, я в этом уверен. Глядя на вас, я даже подумал, что вы ожидали чего-то подобного, что-то последнее время зрело, приближалось, становилось чуть ли не неизбежным...

— Мы ничего не знаем! — тонко выкрикнула Галя.

— Не торопитесь так говорить, — сказал Демин тихо. — Так говорить можно только в том случае, — он посмотрел прямо в сверкающие стекла очков Гали, — если вы знаете за собой прямую вину в смерти Селивановой. Если вы довели ее до этого. Понимаете? Я чужой человек в вашей компании, я только сегодня начал знакомиться с вами и то не могу сказать, что ничего не знаю. Я уже знаю много, завтра буду знать еще больше. Следствие только началось. Оно будет тянуться еще неделю, может быть, месяц...

— Нас уже допрашивали! — опять выкрикнула Галя.

— Знаю. Знаю, кто допрашивал, читал ваши показания. Они не очень откровенны, но пусть это остается на вашей совести. Я хочу сказать о другом — когда вас допрашивали, Селиванова была жива. И речь шла не о смерти человека, речь шла о спе-

кулянте Татулине. И только. И ваше, скажем, невинное лукавство во время следствия в конце концов не имело слишком большого значения. Сейчас речь о другом. — Демин посмотрел каждой женщине в глаза, задержал взгляд на бутылке с сухим вином, повертел в пальцах пачку с сигаретами... — Для начала скажу, что уже побывал на запасной квартире гражданки Равской... Этот стульчик ее дожидается? Вряд ли она сегодня придет... Так вот о квартире... Видел ее, знаю, что вы там бываете, знаю с кем, зачем и так далее... Вы меня понимаете?

— Что же вы еще знаете? — поинтересовалась Зина.

— Знаю, например, зачем вы пришли сюда сегодня.

— Интересно! Я, например, понятия не имею! — Зина вызывающе посмотрела Демину в глаза.

— Я бы выразился так... Вы пришли сюда, чтобы забыться. И послушайте, — сказал Демин с горечью, — не мое дело говорить вам правильные слова, которых вы терпеть не можете, так же как и я... Все правильные слова вы сами себе скажете. Не сегодня, так завтра, послезавтра. Через год. Скажете. Не об этом речь... Человек погиб. Человек был доведен до той безнадежности, когда прыжок из окна, когда смерть кажется избавлением... Красивая девушка, вроде все складывается неплохо, а она головой в асфальт. Почему? Неужели вот эта красивая жизнь так ей поперек горла стала? Простите меня, Лариса, Зина, Галя... но вы не кажетесь мне очень счастливыми, и я не стал бы спорить, что у вас никогда не было таких отчаянных мыслей, какая пришла в голову Селивановой сегодня утром... Разговор у нас с вами предварительный, неофициальный разговор.

— Будут и официальные?

— Обязательно. И не один. В ближайший месяц мы с вами очень хорошо познакомимся. Если вы не против, начнем сегодня же... Я вам покажу свой маленький, не очень уютный кабинетик... Покажу ваши фотографии, которые Татулин сделал...

— Как Татулин? — удивилась Зина. — При чем он здесь? Он меня никогда не снимал!

— Снимал, — грустно сказал Демин. — И не один раз, и не только вас. — Он улыбнулся неожиданной рифме. — А снимал на квартире Равской — ведь там вы обычно заканчивали веселые вечера?

— Ну? — сказала Галя. — Что из этого?

— Так вот, пока вы здесь прощальные тосты произносили, на посошок рюмочки опрокидывали с новыми знакомыми, Татулин уже пленку в аппарат заряжал и в каморку прятался. Видели там в комнате маленькую каморку со слуховым окном? Через это окошко он вас и щелкал. Конечно, выбирал самые интересные моменты.

— Боже! — Лариса схватилась за лицо.

— А может, ошибка? Может, все это так... Наговоры? — какая-то затаенная надежда прозвучала в голосе Гали, чуть ли

не мольба, — скажите, мол, ради бога, что все это шутка, недоразумение.

— Снимки найдены при обыске у Татулина, — бесстрастно сказал Демин. — Они сейчас подшиты в деле.

— И там... м-мы? — спросила Галя.

— Да.

— Стыд-то какой, — с трудом проговорила Лариса. — Какой стыд! А ведь нам-то, нам она всегда говорила, что давайте, мол, подружки, повеселимся, давайте, подружки, погуляем... Веселились, гуляли... Потом к ней ехали... Утром на такси давала...

— Много? — спросил Демин.

— Тридцатку.

— Многовато... Вам не кажется?

— Это ведь только говорится так — такси... А на самом деле... — Галя замолчала.

— Боже-боже! — стонала Лариса.

— Да хватит тебе! Противно! — жестко сказала Зина. — Распустила нюни! Все ты знала. Все прекрасно знала. С самого начала. Просто тешилась дурацкой надеждой, что все это вроде шуточки, невинные пьяночки, что никто никогда не назовет эти вещи своими именами. Вот и весь нехитрый расчет. Мол, стыдно, когда люди знают, а когда все в тайне, то и стыдиться нечего. Сама же говорила мне, что тридцать рублей на дороге не валяются... Говорила? Ну отвечай, говорила? Наташка в морге, а ты здесь комедию ломаешь?! А если парнишка твой узнает, ты не выбросишься в окно? Ну? Так и будешь тютю-матютю разыгрывать? Наташка мне рассказывала, как Равская ее обмишулила. — Зина повернулась к Демину. — Подсунула ей какую-то работу бросовую на две-три десятки, потом предложила эти же десятки обмыть. Наташка до того времени никогда не пила, быстро опьянела, к ним подсели какие-то итальянцы с тонкими усиками, заказали шампанского, потом поехали в эту конюшню... Наташка еще там хотела в окно сигануть, когда проснулась утром на заблеванном лежаке...

— А зачем Равской понадобилась Селиванова? — спросил Демин.

— Наташка английский знала неплохо... А в этом ресторане на русском редко с кем можно договориться. И потом она была молодая, красивая, всегда кто-нибудь подсядет.

— А с вами как было?

— Со мной еще проще. Веселье, танцы, машины по ночной Москве, опять эта вонючая конюшня... Ну что сказать — напилась я крепко... Равская ведь не пьет. У нее, видите ли, печень. Ей, видите ли, нельзя. Ей вредно. А нам полезно. Ну, не успели войти, а она мне и бросает... Чего, дескать, стоишь, иди раздевайся!

— Так и сказала?

— Так и сказала. Эти слова до сих пор во мне как заноза торчат. Как осколок. Что, говорит, тридцать рублей не хочешь заработать? А у меня, конечно, веселое настроение, все нипо-

чем, море по колено и так далее. А потом было утро, похмелье, была неделя, когда не знала куда деться...

— Потом все повторилось?

— Повторилось, — кивнула Зина. — Даже сама не знаю как... С парнем встречалась — разругались, нового не было... Самой вот-вот тридцать, а бабе тридцать — это больше, чем мужику сорок. В общем, жизнь показалась конченой, а тут опять Ирусик звонит, это мы так между собой Равскую называем, так вот, звонит и на бабью долю жалуется, давай, говорит, кутнем и всем покажем, пусть, дескать, все они знают... Ну а когда кутнули и я прихожу к ней в соседнюю комнату, она лиры пересчитывает — не обманули ли гости дорогие...

— И тридцатку на такси?

— Да, отвалила она мне тридцать целковых.

— А лиры куда девала?

— У нее же этот прихвостень... Татулин. Он и сбывал... А о снимках я знала. Лариске не говорила, Гале тоже, Наташке вообще... У меня с Ирусиком быстро дело до снимков дошло. Сумасшедший случай — подружилась я с французом... в один из наших вечеров. Причем всерьез, о женитьбе разговоры вели... Он при какой-то комиссии по торговле... Но это неважно. С Ирусиком я встречаться перестала. Ни к чему. И кутежи ее, и пьянки даровые, и ухажеры с лакированными ногтями — все это мне уже было ни к чему. И что вы думаете — находит меня. Издалека начинает, как обычно... Иезуитские манеры. На долю бабью жалуется, дескать, забыться хочется и... с собой кличет. Я отказываюсь. Она настаивает. Я вешаю трубку. Она приезжает. И когда все доводы кончаются, вынимает из сумочки снимочек... Видела я себя. Вы тоже, наверно, видели? Ничего, похожа. Снимок, конечно, я порвала, а она вынимает второй, точно такой же... Тогда и говорит, что давай, девка, наноси штукатурку на физиономию — поехали. А не то через день твой француз получит очень любопытную поздравительную открытку... И я пошла. Пошла. Но если мне сейчас дадут автомат, — голос Зины стал тише, глаза сузились, — а вон к той стенке поставят Ируска и скажут — хочешь стреляй, а хочешь не стреляй... Всю обойму. Вы слышите?! — Она приблизила крупное свое лицо к Демину. — Всю обойму до последнего патрона выпущу. И ни слова не скажу. Нет слов. И от нее ни слова не хочу услышать.

— Зина, почему Селиванова покончила с собой?

— До снимков дело дошло. И вся недолга. Снимочек ей Ирусик показала... Или сказала, что есть такой. Девчонка и есть девчонка... Много ли ей надо... Слишком уж наряды она любила — этим и купила ее Ируска. Наверно, бывает в жизни каждой бабы, когда кажется, что наряды — это очень важно... Вот в это время и повстречала Наташка нашу мадам.

— А что за человек Равская?

— Послушайте, товарищ... Я еще могу вас так называть?

После всего, что мы вам рассказали о ней, спрашивать, что она за человек, — непрофессионально.

— Вообще-то да, — смутился Демин. — Тут вы меня подсекли. Тем более что я имел честь быть у нее дома, беседовали, кофе пили...

— Неужели угостила? — изумилась Лариса.

— Что, на нее непохоже?

— О чем вы говорите! Чтобы она хоть раз за такси заплатила, за троллейбус... Да ни в жизнь! В кафе с ней зайдешь, она же и затащит, выпьешь стакан какой-нибудь бурды с кренделем, Ирусик торопится побыстрее все в себя запихнуть — и шасть в туалет. А ты расплачивайся. Ну, раз сошло, второй раз, а потом даже интересно стало... Ведь речь идет о двадцатитридцати копейках! И вот сидишь, смакуешь этот так называемый кофе и наблюдаешь, как она давится, обжигается, чтоб быстрее закончить...

— Я однажды опыт провела, — улыбнулась Зина не без гордости. — Зашли мы в какую-то кафешку, взяли по стакану уж не помню чего, я вообще пить не стала. Сделала вид, что хочу по своим делам выйти. Так что вы думаете, бедная Ирусик схватила несчастный пряник, сунула его куда-то чуть ли не под мышку и успела все-таки раньше меня в уборную шастануть. Я за ней. Вхожу, а она у зеркала скучает, сигаретку в пальцах мнет... Надо понимать, дожидается, пока я расплачусь... Такой человек наш Ирусик. А вот и она...

По проходу между столами быстро и растревоженно шла Равская в брюках и пушистом свитере с сумочкой под мышкой. Когда она подошла к столику, Демин оказался сидящим к ней спиной, но едва он обернулся, привстал, предлагая ей сесть, Равская отшатнулась от него, как от чего-то совершенно невозможного, кошмарного. Демин просто не мог не заметить, как судорожно дернулась ее рука, прижимая к себе сумочку.

— Садитесь, Ирина Андреевна, прошу вас, — Демин учтиво улыбнулся и так предупредительно подвинул к ней свободный стул, что Равская не могла не сесть. Она уже взяла себя в руки и выглядела как обычно, уверенной, ироничной, снисходительной.

— Я смотрю, вы всерьез заинтересовались... моим окружением? — Она поощрительно улыбнулась, хотела было поставить сумку на стол, но та оказалась слишком велика, и Равская, отодвинув штору у окна, пристроила сумку на подоконник. Прищурившись от сигаретного дыма, она игриво посмотрела на Демина. — Мне кажется, вы хотите что-то сказать?

— Не сидеть же нам молча, уж коли мы встретились столь неожиданно в столь неожиданном месте, — усмехнулся Демин. — Ирина Андреевна, если не ошибаюсь, я сижу как раз на том месте, где должна была сидеть Селиванова?

— Селиванова? Ах, вы об этой бедной девочке... По-моему, она как-то была здесь, Зина, ты не помнишь?

— Кажется, была, — ответила Зина. Демин поразился про-

исшедшей в ней перемене. Рядом с Равской она явно присмирела. Было ясно, что Равская крепко держала их в руках, с каждой из женщин она встретилась взглядом и каждой будто отдала молчаливый приказ — молчите, будьте осторожны, не болтайте лишнего. Только что за столом все были равноправными собеседниками. Даже Галя, которая и обронила-то два-три слова. Теперь же и Зина, и Лариса, и Галя как бы отодвинулись, и за столом остались двое — Равская и Демин. Он понял, что предстоит нелегкая задача подавить властность Равской, показать женщинам ее уязвимость, показать, что за ее уверенностью нет ничего. Демин осторожно посмотрел в сторону выхода и удовлетворенно опустил глаза. Он увидел Кувакина. В глубине вестибюля мелькнула милицейская форма. Значит, все в порядке.

— Я смотрю, вы все никак не соберетесь рассказать нам что-нибудь интересное. — Равская вызывающе посмотрела на Демина. — Тогда я, пожалуй, воспользуюсь этой маленькой заминкой и схожу приведу себя в порядок. С дамами вы уже познакомились, скучать, надеюсь, не будете.

Равская поднялась, одернула свитер, смахнула с него невидимую пылинку, протянула руку к сумке. И мгновенно, за какую-то секунду побледнела, увидев, что сумку взял с подоконника Демин.

— Вы хотите поухаживать за мной? — улыбнулась Равская.— С вашей стороны это очень мило!

Демин не мог не отдать должное ее самообладанию. Совершенно серое под косметикой лицо, серые перламутровые губы, судорожно пульсирующая жилка на шее и непосредственная, может быть, даже обворожительная улыбка.

— Нет, сегодня мне не до ухаживаний, — ответил Демин. — Просто я хочу посмотреть, что у вас в сумочке.

— Вы имеете на это право?

— Да.

— Право сильного?

— Как вам угодно.

— Ну что ж, валяйте, — со вкусом произнесла последнее слово Равская, — благородный потрошитель женских сумочек... Я сейчас.

И, резко поднявшись, она пошла по проходу между столиками. Равская шла чуть быстрее, чем требовалось. Впрочем, это можно было объяснить ее раздраженным состоянием.

— Ирина Андреевна! — Но Равская, лишь обернувшись на секунду, сделала успокаивающий жест. Мол, не беспокойтесь, я через несколько минут вернусь. Она остановилась метра за три до стеклянных дверей — за ними, сложив руки за спиной, стоял Кувакин. Равская несколько мгновений молча, исподлобья рассматривала его улыбающееся лицо, потом повернулась и пошла к столику. Решительно села. Зло посмотрела на Демина.

— Как это понимать? — спросила она.

— Что вы имеете в виду? — вскинул брови Демин.

— Там стоит ваш помощник.

— Коля? Что же вы не позвали его? — Демин поднялся и махнул Кувакину рукой, приглашая подойти. — Коля, — сказал он, когда Кувакин приблизился, — будь добр, скажи метрдотелю, вон тому, пусть подаст нам... несколько листов стандартной бумаги. Будем составлять акт. Ирина Андреевна, это ваша сумочка?

— Какая? Эта? С чего вы взяли? Она стояла на подоконнике... Может быть, кто-то забыл ее?

Демин вынул из сумочки плотный, перевязанный пакет и, отогнув надорванный клочок бумаги, показал Равской пачку денег.

— И вы так легко отказываетесь от всего этого? — спросил он. — Пока вы ходили здороваться с моим другом, я позволил себе полюбопытствовать, что же в вашей сумочке... Вот эти женщины готовы подтвердить, что сумочка это ваша, что пакет лежал в сумочке, что в пакете оказались деньги, причем не наши.

— Зина! — негодующе воскликнула Равская. — Что он говорит?! Он склоняет вас к лжесвидетельству! Принуждает к оговору! Это же преступление! Ну, знаете... — Равская, словно бы не в силах сдержать гнев, оглянулась по сторонам. — Я достаточно наслышана о ваших методах, но чтобы вот так, нагло, бесцеремонно, в полном противоречии с законом, с правами человека...

Зина молчала, и ни одна жилка не дрогнула на ее лице. Она неотрывно смотрела на Равскую, прямо в глаза, может быть, только сейчас поняв ее до конца.

Метрдотель принес несколько листков бумаги, Кувакин взял свободный стул у соседнего столика и присел рядом с Деминым.

— Я протестую! — звеняще сказала Равская, гораздо громче, нежели требовалось. — Я надеюсь, что все происходящее здесь станет известным вашему начальству.

— Безусловно, — негромко ответил Демин, вынимая ручку и придвигая к себе листки бумаги.

— Я хочу предупредить вас, — уже кричала Равская, — что все станет известным не только вашему начальству, но и многим другим людям, над которыми ваше начальство не властно! — Она оглянулась по сторонам, как бы призывая в свидетели разноязычную ресторанную толпу. — Зина! Ты слышишь?!

— Я слышу, Ирусик, я не глухая.

— И ты подпишешь эту заведомую беспардонную ложь?!

— Ну а как же, Ирусик?

— Но ведь тем самым ты подпишешь приговор самой себе! Ты себя в тюрьму сажаешь! И их тоже! — Равская кивнула на притихших Ларису и Галю.

— Нет, Ирусик. Мы вели себя некрасиво, может быть, мы вели себя непорядочно. Но это все. Если судья найдет нужным, он пожурит нас за безнравственность. И, наверно, будет прав. А что касается тюрьмы, то похоже на то, что сядешь ты. И я

очень этому рада, Ирусик. Сумочка принадлежит тебе, мы все ее очень хорошо знаем.

— И вы?! — угрожающе спросила Равская, исподлобья глянув на Ларису и Галю. — И вы подпишете?!

— И мы, — пролепетала Лариса.

— Если вы позволите, я вставлю два слова в вашу оживленную беседу, — сказал Кувакин. — Дело в том, что за ложные показания, за отказ от показаний человек привлекается к уголовной ответственности. А вас, Ирина Андреевна, я прошу вести себя скромнее в общественном месте. Так, как вы ведете себя дома, — позволил себе улыбнуться Кувакин.

— Да, подпишем! — тонко пискнула Галя. — И не смотрите на нас так, Ирина Андреевна! Вмешиваться в ваши дела, отвечать за ваши дела мы не хотим! Знаете, своя рубашка...

— Какая своя рубашка! — оборвала ее Равская. — С каких это пор у тебя появилась своя рубашка?! С тех пор, как я решила помочь тебе, дуре! Ведь ты же мужнины майки донашивала! И они тебе были очень к лицу!

— Да! Мужнины майки! — согласилась Галя, и из ее глаз тут же свободно потекли слезы. — Правильно... Мужнины майки... Но я бы отдала все ваши вонючие рубашки за одну его майку... Потому что... потому что, когда я донашивала майки, у меня был муж... Лучше донашивать его майки, чем ваши рубашки!

— Ложь, обман и наглое попрание прав гражданина, — четко произнесла Равская.

— Вот здесь, пожалуйста, — Демин придвинул к Зине лист бумаги с актом об изъятии валюты у Равской. Зина подписала и протянула акт Ларисе, которая почти с ужасом смотрела на Равскую.

— Лорка! — Зина требовательно посмотрела на подругу. — Возьми ручку. Ты же не будешь пальцем писать!

Последней, морщась и всхлипывая, акт подписала Галя.

— Если позволите, я тоже подпишу, — сказал метрдотель.

— Вы все видели? — спросил Демин.

— Я на работе и обязан все видеть.

— Завтра утром вы свободны? — спросил у него Демин.

— Да. У меня отгул за сегодняшний вечер.

— Тогда подойдите в управление. Обязательно. Вам придется дать подробные показания. Запомните — моя фамилия Демин. А вас всех, — Демин окинул взглядом женщин, — я попрошу одеться и проследовать к машине. Закончим этот вечер у нас, — он улыбнулся. — Я постараюсь быть гостеприимным.

— Как? На ночь глядя?! — воскликнула Равская.

— А что касается вас, Ирина Андреевна, то... вам, по всей видимости, придется не только проследовать в управление, но и на некоторое время задержаться там.

— Надолго, позвольте узнать?

— Пока не закончится следствие.

— А потом?

— Вашу дальнейшую судьбу решит суд.

— В чем же, интересно узнать, я обвиняюсь?

— Валютные операции. Кроме того, вы виновны, и я постараюсь это доказать, в смерти Селивановой. И, наконец, вы склоняли не очень устойчивых в моральном отношении людей к легкомысленному поведению, скажем так.

— Это преступление?

— Да, если вы делали это с целью получить выгоду. И вы ее получали.

— Это надо доказать.

— Буду стараться, Ирина Андреевна, буду стараться. Евгений Федорович, — повернулся Демин к метрдотелю, — вы не сможете нам такси организовать? А то, боюсь, мы все в одну машину не поместимся.

— Нет ничего проще.

Во всем здании было уже пусто. Только дежурный сидел за стеклянной перегородкой, склонившись над пультом с лампочками, кнопками, рычажками. Демин, не останавливаясь, кивнул ему и быстро направился к себе в кабинет, увлекая за собой четырех женщин. Допросить их надо было только сегодня, хотя бы наскоро, записать основные показания. Уточнить, снова вернуться к деталям можно и завтра, послезавтра, через неделю. Потом будут и подробные допросы, и очные ставки друг с другом, с томящимся где-то Татулиным, кто знает, возможно, появятся новые действующие лица, но это все будет потом.

Демин открыл дверь своего кабинетика, распахнул ее пошире, пропустил всех вперед, сам вошел последним.

— Прошу садиться, граждане дорогие. У меня не столь просторно, как в ресторане, но что делать! Да, можете пока раздеться, вешалка за тем шкафом... Она, правда, не рассчитана на такое количество гостей, но ничего, для пользы дела потерпит.

— Вешалка, может быть, и потерпит, — передернула плечами Равская. — Будем ли мы терпеть... Я, например, не намерена. Надеюсь, извинения вам придется принести раньше, чем...

В кабинет вошел Кувакин.

— Валя, там парнишка тебя спрашивает... О Селивановой что-то толкует. Нужен мне, говорит, следователь, который занимается Селивановой.

— Он что, из этой же компании?

— Вряд ли... Непохоже.

— Тащи его сюда. Чего ему там одному скучать.

Через минуту в дверь осторожно протиснулся длинный тощий парень с загнанными, красными глазами. В руках он держал мокрую кроличью шапку, с пальто капала вода — нужно было не один час ходить в такую погоду, чтобы довести его до такого состояния.

— Проходи, парень, — сказал Демин. — Давай знакомить-

ся. Моя фамилия Демин. Мне сказали, ты искал меня. Выкладывай, в чем дело?

— Понимаете... — парень оглянулся, посмотрел на женщин, не решаясь заговорить при них. Встретившись глазами с Равской, он нахмурился, будто вспоминал что-то, потом кивнул, негромко поздоровался. — Простите, я вас сразу не узнал, — добавил он.

— А я тебя и сейчас не узнаю, — ответила Равская.

— Ну как же... Помните, нас Наташа познакомила... Мы случайно на улице встретились... Помните?

— Обознались, молодой человек.

— Позвольте, Ирина Андреевна, — вмешался Демин, — разве вы не знали Наташу?

— Не знаю, о какой Наташе он говорит.

— О Селивановой, — ничего не понимая, сказал парень.

— Не помню столь приятного факта в своей биографии, как знакомство с этим молодым человеком. — Равская отвернулась.

— Ну это уже неважно, — сказал Демин. — Коля, ты заполняй пока бланки, а я с товарищем потолкую в коридоре.

Они вышли, сели на жесткую деревянную скамью недалеко от дежурного. Гулкий пустой коридор, освещенный несколькими маленькими лампочками, казался длинным и угрюмым. Воняло хлоркой, сыростью, мокрыми досками пола — видно, уборщица была совсем недавно.

— Как тебя зовут? — начал Демин.

— Костя. Костя Гладышев. Понимаете... Я был в квартире, где жила Наташа, и мне сказали... В общем, мне все сказали... Там у нее сосед, Анатолием зовут... Он наказал, чтобы я обязательно к вам подошел... Сказал, будто вы расследуете это дело... А раньше я не мог... Не мог, и все.

— Понимаю. Раньше меня здесь и не было. Молодец, что пришел. Как ты думаешь, почему Наташа так поступила?

— Понятия не имею! Никаких причин! Может быть, вы знаете? Скажите, почему именно она?! Мало ли людей, которым просто необходимо покончить с собой, чтобы хоть что-нибудь сделать полезное для людей!

— Ну ты, Костя, даешь! — крякнул Демин. — Спрашиваешь, почему именно она... Видишь ли, дело в том, что не только она... Те дамы, которых ты видел в кабинете, все эти солидные, ухоженные дамы каждый день немного кончали с собой, если можно так выразиться. Все они самоубийцы. Правда, я не уверен, что они знают об этом. Им еще предстоит узнать. И твоя знакомая, с которой ты поздоровался, тоже... Она пошла на самоубийство, надеясь на этом хорошо заработать. Да еще и других с собой потащила. Организовала этакое коллективное мероприятие. А Наташка твоя все приняла слишком всерьез...

— Они продавали себя? — спросил Костя отрешенно.

— Было. А теперь продают друг друга. Конечно, не повстречай они эту мадам, все было бы иначе, они жили бы другой

жизнью. Вряд ли они были бы счастливы, да их и сейчас счастливыми не назовешь, но жизнь у них была бы иной... И Наташка твоя была бы жива... А с другой стороны... они сами виноваты. Клюнуть на такую дешевку! Соблазниться даровой выпивкой, закуской, манерами потасканных заморских кавалеров...

— И Наташка?!

— С ней было иначе. И проще, и сложнее. Ее обманули. Небольшая провокация, немного шантажа... А когда спохватилась, было поздно... Скажи, последнее время она ни на что не жаловалась, ничто не угнетало ее?

— Знаете, что-то было... Говорим, смеемся, а она вдруг сникнет вся, будто вспомнит что-то неприятное... Потом рукой махнет, как отмахнется от чего-то, и опять все нормально... Но, наверно, и про меня такое можно сказать... когда со мной что-то случится, когда я... погибну, к примеру.

— Не торопись, Костя, не надо. Как она тебя познакомила с этой дамой? Когда? Где?

— Месяца три назад мы ее случайно на улице встретили... Я забыл, как ее зовут... Наташа ее Щукой назвала.

— Как?

— Щукой. Я понимаю, это несерьезно...

— Боюсь, что это очень серьезно. Где-то я сегодня слышал это слово... Щука... Надо же — забыл. А разговор был... Скажи, а как именно, с каким выражением она ее щукой назвала?

— Ну, мы шли по улице, Наташа увидела ее метров за тридцать... И говорит... Надо же, говорит, со Щукой встретились... Ей это неприятно было. И положение возникло странное... Она меня никак не представила, ее тоже никак не назвала... Только по имени-отчеству.

— Надо же — Щука, — пробормотал Демин. — Кто же мне сегодня говорил о Щуке... Ну ладно, пошли, я посажу тебя в отдельной комнате, и ты все, не торопясь, изложишь. Опиши встречу с этой дамой, как к ней отнеслась Наташа, как она ее назвала... В общем — все. И как можно подробнее. Заходи сюда. Садись. Вот тебе бумага, ручка — пиши. В конце не забудь указать свои координаты. Кто ты, что ты, где живешь, чем занимаешься, адрес, телефон. Добро? Я зайду через полчаса. Без меня не уходи.

В кабинете царило гнетущее молчание. Демин прошел на свое место, сел, по очереди осмотрел всех, будто проверял наличие явившихся.

— Равскую попрошу остаться, остальным придется выйти в коридор. Там есть скамейка, располагайтесь. Итак, Ирина Андреевна, продолжим наши игры.

— Игры, говорите? — Равская недобро усмехнулась. — Я смотрю, вы привыкли играть человеческими судьбами... Для

вас это, оказывается, игры... А ведь я в суд подам. И вам придется отвечать.

— Хорошо. Отвечу. А сейчас, пожалуйста, ответьте мне...

— И не подумаю. Только в присутствии адвоката.

— Адвоката? Это вы, наверио, в кииo вндели, в зарубежных детективах?

— А у нас такое иевозможио? Только у иих задержанный может требовать адвоката? А здесь, получается, можно хватать людей среди иочи и допрашивать сколько вздумается?

— Мелко гребете, Ирина Аидреевна. Этим вы меня не обидите. Вас задержали не средн иочн, а вечером, вовсе не позднrм вечером. Просто сейчас рано темнеет. Опять же низкие тучи, снегопад, метель... Приятная весенняя метель... Кроме того, это позволяется законом, когда допрос, задержаиие имеют срочный характер, когда требуется предотвратнть дальнейшие преступные действня илн же когда оставление преступнннка на свободе даст ему возможность уничтожить следы своей незаконной деятельности. Видите, я даже статью процнтировал. И не забывайте, что вас задержали с солидиым количеством нностранной валюты. — Демин кнвнул на сумочку. — О чем составлен соответствующий акт. А что касается адвоката — это ваше право. Да, Коля, — обратился он к Кувакину, — тебе ничего не говорнт такое слово — щука?

— Щука? Постой-постой... Насколько мне нзвестно, с некоторых пор появилась на нашем горизонте ловкая валютчнца. Якобы ее кличка Щука. Мы знаем некоторых ее клиеитов, кое-какие приемы... Но сама она пока остается неуловимой.

— Коля, она перестала быть неуловимой.

— Ты хочешь сказать...

— Коля, оиа перед тобой.

— Ирина Андреевиа! — непосредственно воскликнул Кувакнн. — Неужели ои говорнт правду?

— Да, — протянул Демни соболезнующе, — напрасно вы, Ирина Андреевна, не отпустили Селиванову... Конечно, зиание языков в вашем деле было очень полезно, но Селиваиова знала не только языки, оиа знала вашу кличку... Эти вряд лн знают. — Демин кивнул на дверь.

Равская подиялась, суиула рукн в карманы распахнутой дубленки, прошлась в раздумье по кабинету, глядя в пол, постояла у окиа, вериулась к двери и иаконец остановилась перед Деминым. Взгляд у нее был иесколько оцеиивающнй, будто оиа стояла перед прилавком магазина и прикидывала, не слишком ли дорога вещь, которая ей пригляиулась? Не таясь, окииула взглядом одежду ДемиНа, посмотрела на помятый пнджачишко Кувакииа, судя по всему, купленный случайно, по дешевке. И Демин неожиданно для себя втянул ноги под стол, чтобы спрятать свои размокшие, потерявшие форму туфли. Его жест не скрылся от Равской, и она снисходительио улыбнулась.

— По тысяче каждому, — сказала она четко н негромко.

— Не поиял?

— Тогда по две. Каждому. Годится?
— Это вы нам предлагаете? — спросил Демин. — А за что?
— Две вещи, — спокойно сказала Равская. — Первое. Вы должны опустить в унитаз содержимое моей сумочки. Или взять себе. Дело ваше. И второе — вы не слышали этого слова... Щука. В остальном честно выполняйте свой гражданский долг.
— А за снимки? — спросил Демин.
— За снимки пусть отвечает тот, кто их делал. Татулин.
— По две тысячи на брата, — вадумчиво протянул Кувакин. — На двоих — четыре тысячи... Неплохо. Почти годовая зарплата, а, Коля? А если Татулин предложит нам тоже по две тысячи?
— Это уж вам решать, — ответила Равская таким тоном, будто бестактность Кувакина ее оскорбила. — Впрочем, пять тысяч он вам наверняка не предложит... А я... я готова дать показания... и даже доказательства активной роли Татулина во всем этом деле. И снимки пусть остаются, коль они уж приобщены... Мне кажется, они достаточно полно отвечают на вопрос о причине самоубийства Селивановой.
— И за все ответит Татулин? — уточнил Демин.
— А почему бы и нет? Он, бедняга, так устал в ежедневной беготне и суете! Пусть отдохнет годик-второй.
— Годиком-вторым ему не отделаться.
— Зачем нам об этом думать, — пожала плечами Равская. — Пусть решает наш народный, самый справедливый суд.
— Но Татулин тоже не будет молчать, не будет сидеть сложа руки, — заметил Демин. — И снимки он сделал все-таки в вашей квартире.
— Откуда мне знать, чем он занимался в моей квартире! Он выклянчил ключ, я по простоте душевной пошла ему навстречу... Я всегда знала его как приличного человека... Кто же мог подумать, что это развратная личность! Но это все неважно. Мы договорились? Пакетик в сумочке сам по себе стоит не меньше пяти тысяч... Я вам его дарю. А за Щуку пять тысяч.
— Соблазнительно, — покрутил головой Демин. — Видишь, Коля, на какой вредной работе мы с тобой сидим, какие невероятные перегрузки испытываем, в какое тяжелое стрессовое состояние может ввести такое предложение... Нам, Коля, надо за вредность молоко выдавать. Хотя бы по пакетику в день... Как ты думаешь?
— Не меньше. Я бы и от двух не отказался.
— Можно и два, — согласился Демин.
— А если еще шестипроцентного по пятьдесят копеек за пакет, — мечтательно протянул Кувакин, — я бы никакой другой работы не хотел.
— Решайте, мальчики, решайте, — поторопила их Равская.
— Да, надо решать, — с сожалением сказал Демин. — Ирина Андреевна, вы по-прежнему не хотите давать показания без адвоката?

— Как?! Вы отказываетесь? — удивлению Равской не было предела. — Почему? Неужели вам так хочется посадить меня? За что? Что я вам сделала плохого? Ведь мы только сегодня познакомились! Нет, мы можем продолжить... Назовите свою цену! Давайте продолжим...

— Торговлю? — холодно спросил Демин. — Нет, Ирина Андреевна, пошутили и будя. А то сейчас предложите по десять тысяч, и меня от волнения кондрашка хватит. А у меня жена, ребенок... Нет. И не уговаривайте. Я не могу так рисковать.

Равская с минуту смотрела на Демина со смешанным чувством недоумения и досады, потом в ней словно ослабло что-то, плечи опустились, и сразу стали заметны ее возраст, усталость, безнадежность.

— Я, кажется, понимаю, — проговорила она медленно. — Здесь, конечно, дело более, чем личное... Дело не во мне и не в тех безобидных вещах, которыми мне пришлось заняться, чтобы прокормить себя...

— Надеюсь, вы жили не впроголодь? — спросил Демин.

— Еще этого не хватало! — вскинула тяжелый подбородок Равская.

Возвращался Демин предпоследней электричкой. Освещенный желтоватым светом вагон был почти пуст. В одном его конце дремал захмелевший мужичонка в телогрейке, на соседней скамье военный читал газету, с трудом разбирая мелкий текст, а в тамбуре беспрерывно целовались парень с девушкой.

Снег перестал, потеплело, и теперь шел дождь, частый и стремительный. Демин представил себе, как несутся в темноте, в мокрой весенней темноте пустые вагоны электрички с рядами светящихся окон, несутся, как бы раздвигая струи дождя, и грохочут на стыках колеса, и заунывно кричит перед переездами сирена головного вагона. Представил, как затихает металлический грохот и наступает тишина. Такая полная сосредоточенная тишина, что слышен шелест капель в мокрых ветвях елей...

На своей платформе он сошел один и не торопясь направился к дому. Автобусы уже не ходили, прохожих он тоже не увидел. Издали Демин с огорчением отметил, что окна квартиры погашены — значит, не дождались, легли спать.

Дверь он открыл своим ключом, разделся в тесной прихожей, повесил плащ на угол двери, чтобы не намокла одежда на вешалке. А когда, выпив пакет молока, уже шел в спальню, нечаянно наткнулся в темноте на стул и разбудил жену.

— А, это ты, — пробормотала она сонно. — Пельмени в холодильнике. И посади Анку на горшок, а то будет горе и беда...

— Посажу... Не привыкать.

ОБ АВТОРАХ

Наследие мастера

Повторю то, о чем уже писал в «Правде».

Когда уходит из жизни крупный писатель, да еще на бегу, в расцвете сил, с нами остаются не только уже опубликованные романы, повести, рассказы. Остаются еще произведения, которые автор по каким-либо причинам не захотел или не смог издать в свой срок, наброски, этюды, письма, дневниковые записи. Их обнародование не только помогает нам лучше познать мир его творческих исканий, но и обогащает нашу сегодняшнюю духовную жизнь. Ведь раздумья крупного художника неизменно касаются коренных основ жизни, и этот живой дух, живой поиск особым образом тревожит нас, побуждает задуматься над связью времен, над преемственностью надежд, над нашим отношением к свершающемуся вокруг.

Ответная искра, вспыхивающая в наших сердцах, — благодарный отклик на то, что возникало когда-то в душе писателя при его столкновении с действительностью, ее болевыми зонами и ее свершениями, ее накалом событий и ее житейской повседневностью.

Так свет угасших звезд продолжает доходить до нас долгие годы, тревожа, маня, доставляя наслаждение.

Вот и в последние годы мы познакомились с обширным и, надо полагать, далеко не исчерпанным наследием В. Тендрякова — таким обширным, что иному прозаику хватило бы на всю творческую жизнь.

Одно за другим появились новые его произведения — два рассказа о войне, сатирическая повесть

«Чистые воды Китежа», философский роман «Покушение на миражи» и, наконец, еще рассказы. И если бы не горькое извещение каждый раз: «Публикация и подготовка текста Н. Асмоловой-Тендряковой», мы ни на минуту не усомнились бы в том, что все эти произведения созданы не десять-пятнадцать лет назад, а только сейчас, в новой общественной атмосфере.

Объединенные в настоящей книжке «Подвига» под одним заголовком два рассказа о войне, о боях летом 42-го года на дальних подступах к Сталинграду, были отмечены добротной и честной «окопной» правдой, но в самих названиях содержали примечательное обобщение: «День, вытеснивший жизнь» и «День седьмой» — первый день творения фронтовой жизни и последний день, завершивший формирование бойца.

Не думаю, что в замысле было написать некую хронику: день второй, день третий и т. д. Здесь видится лишь внятный каждому намек на библейскую легенду. Так, ведь и в «Покушении на миражи» предстают разные «дни» человеческой истории: Древний Рим, судьба Христа, возрожденческая утопия Кампанеллы, возникновение марксистского материализма, сегодняшний день.

Да и другие рассказы, опубликованные в «Новом мире», построены по сходному принципу: четыре дня страны, ее исторические болевые точки с двадцать девятого по сорок второй год.

Очевидно, автор пробовал разные принципы создания автобиографической книги, все рассказы которой ведутся от имени прозрачно «зашифрованного» героя — Владимира Тенкова. Но уже определился, отстоялся сам принцип изображения: обратиться к болевым точкам, пришедшимся на жизнь его поколения.

«Я родился в воспаленное время», — произнес автор в рассказе «Пара гнедых». Это время сделало из него зоркого и честного художника, автора повестей «Чудотворная», «Суд», «Три мешка сорной пшеницы», «Расплата».

Много разного читали мы в последнее время о событиях 37-го года, о безвинных жертвах и нелепых обвинениях. Но вот совершенно неожиданный поворот — в рассказе «Параня». Поселковая дурочка в поисках защиты от уличных обидчиков называла своим женихом-хранителем то милиционера, то местного хулигана — грозу поселка, а однажды под влиянием несшихся из репродукторов бесчисленных здравиц объявила своим женихом родного и любимого вождя... Все бы ничего, но в следующем повороте своей свихнутой мысли она, наслушавшись все того же радио, стала видеть в поселковых жителях вредителей и шпионов, замышляющих «свирженье-покушенье», и, вдруг вскинувшись, указывала то на случайного встречного, то на продавщицу за прилавком, в руках которой увидела хлебный нож. И всех этих людей вскорости арестовывали. Отчего же? Да оттого, что в тогдашней круговерти репрессий годен был любой повод. А тут возникла видимость логики. Разумеется, поселковая дурочка для органов не авторитет, но ведь после того, как она указывала на кого-нибудь, народная молва, естественно, начинала склонять его имя, а уж на голос масс просто преступно не реагировать.

«Все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается!» Какой поразительный образ-символ сумасшедшей логики репрессий!

И уже по одному этому рассказу можно уловить ценнейшую черту всего цикла: честно воссоздавая время, Тендряков искал общие духовно-нравственные законы, проверял реальной жизнью нравственные максимы.

Трудно сказать, почему повесть «Чистые воды Китежа» не решились опубликовать сразу после ее создания, в конце семидесятых годов. То ли усмотрели в ней непозволительную «надсмешку» над механизмом газетной кампании, над приниженностью и чинопочитанием, так распространившимися в прессе того времени. То ли показалась кощунственной мысль о своеобразной коррозии духовного настроя масс и падения интереса к общественным делам: в гротесково заостренной повести народ вскипает благородным гневом после критической публикации в газете и снова «безмолвствует», едва газета дала задний ход.

Но и сегодня очень даже ко времени пришелся негромкий ироничный голос Тендрякова: «Кто сказал, что славный город Китеж канул в Лету? Он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет высокие обязательства, выпускает газету, сидит по вечерам перед экранами телевизоров, неустанно повышает свой культурный уровень...»

Трудно движется перестройка, и Тендряков прозорливо увидел многие из тех трудностей, которые сегодня тормозят ее ход.

У каждого серьезного писателя есть заветное слово, своего рода волшебный ключик, помогающий проникнуть в глубины художнической мысли. Для Тендрякова это слово — справедливость.

Острее всего авторская мысль пытается познать, как же добиться реального, практического осуществления общих принципов справедливости, как одолеть три главных препятствия: догматизм, коварную спекуляцию высокими истинами, губительную прямолинейность. Всегда писатель ставит нас перед этим расщепом между чаемым и сущим, отсюда и обжигающий драматизм всех его произведений.

Великая справедливость заключена в том, чтобы установить всеобщее равенство, но можно ли воплотить его с той прямолинейностью, с какой это сделал отец Володи Тенкова, распорядившись переселить бедняков в дома крепких хозяев, а тех переместить в бедняцкие избенки? Как легко, казалось, достичь чаемого равенства, утвердить социальную справедливость. Но среди бедняков были и те, кто сроду не умел ни к чему приложить руки; первым делом один из них пропил железную крышу дуриком доставшегося дома.

А в «Покушении на миражи» одним из самых сильных эпизодов оказалось изображение того, во что превратился «Город солнца», осуществленный по благородной, но бестелесной утопии Томмазо Кампанеллы.

Как претворить естественную жажду справедливости не в утопию, не в пустые мечтания, а в реальную жизнь — вот чем был истово и обжигающе озабочен правдоискатель Тендряков.

Каждый из рассказов не казус нам представляет, а выводит на поучительные болевые зоны нашего сегодняшнего бытия.

Разве не об этом рассказ «Донна Анна»? Слепо следуя внушенным лозунгам, ретивый младший лейтенант погубил в бессмысленной атаке целую роту. Потому что не думал о людях, завороженный радужным фильмом «Если завтра война» и ло-

зунгом «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Будет, но какой ценой? И в каждой ли атаке?

Легко видеть, что эти произведения куда более насущны, чем многие повести и романы «из современной жизни». И как же согласиться с теми, кто возглашает, будто посмертные публикации нужно вмещать в собрания сочинений, а не «тащить» в журналы?

Сила настоящего художника не в том, чтобы надувать свой парус попутными дуновениями, а в умении выдерживать свой курс в штормовом море.

Мальчик Володя («Хлеб для собаки») во время голода тридцать третьего был не в силах накормить людей, умиравших в привокзальном скверике. Это были жертвы «во имя государственной целесообразности»: «любой ценой» проскочить за короткий срок десятилетия российской отсталости. Любой ценой — значит и ценой миллионов жизней, ибо жизней много, а валюты на оплату импортной техники нет, за валюту отдавали зерно. Но справедлива ли такая цена? И справедливо ли, что Володя ел пироги, когда возле калитки лежали опухшие от голода люди?

«Володя измучен этой страшной людской бедой, но не в силах накормить всех — да к тому же ему внушали, что это «куркули», справедливо высланные из своих деревень. Опять это «справедливо»! И тогда мальчик решает выносить хлеб умиравшей от голода собаке. «Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть... совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни». А вот начальник станции застрелился, не вынеся зрелища голодных смертей. «Он не догадался найти для себя несчастную собачонку...» То, что способно утешить ребенка, не может успокоить взрослого. И это опять-таки предметный урок иным сегодняшним писателям, подкармливающим, образно говоря, собачонку.

А Тендряков не только усвоил этот урок, но и следовал ему. Оттого и была трудной его жизнь, но зато доходит и сейчас свет его звезды, свет, показывающий, как может сопрягаться современная мысль писателя с историческими уроками, вынесенными из тех лет. Уроками, которые должны научить людей высшему критерию справедливости — благу людей. Ибо в истории далеко не все предрешено, как полагают некоторые. И рассказы, и «Покушение на миражи» снова подводят нас к вопросам: могла ли история Советского государства быть иной или все свершалось исторически оправданно и единственно возможно? И тогда оправданными и единственно возможными были и культ личности, и период застоя? И каковы гарантии необратимости сегодняшних преобразований?

Далеко не на все такого рода вопросы отвечает Тендряков. Но при всем том и роман, и повесть, и рассказы задают нам новые параметры исторического мышления.

А. БОЧАРОВ

Для очистки совести

— Опять про войну! Сколько можно! — Всем нам доводилось слышать такое. И сами, признаемся, говорили или думали так не раз, когда, выбирая программу, чтоб посидеть у телевизо-

ра, попадали на военный фильм, одной сцены которого было достаточно, чтобы понять: еще одна киноштамповка «про войну».

Ну, то, что молодые такого уже не смотрят, понятно. Им теперь главное — музыка и свои, кстати, очень неплохие молодежные телепрограммы. Минувшая война для них — это почти то же, что гражданская — давняя история, которую воочию видели только деды, да и то не все.

И для тех, кому тридцать, сорок и даже пятьдесят лет, Великая Отечественная — тоже история, которую они изучали по учебникам в школе, по ультрапатриотическим книгам и фильмам, на которых воспитывались. Других тогда почти не было. Теперь, когда появилось много другого и всякого, о войне это поколение читает и смотрит мало. Лишь то, что действительно волнует, где читатели и зрители узнают для себя или в себе в связи с рассказом о войне что-то новое.

Даже те, кому за шестьдесят, которые раньше читали про войну все, что попадалось под руку, теперь читают с большим разбором. «Много штампов, — говорят, — стало у современных авторов военной темы, много повторов того, что уже было». И лежат порою ныне на полках книги даже маститых авторов. В том числе даже некоторых из тех, кто были первопроходцами исторического для нашей литературы взрыва «лейтенантской прозы» пятидесятых-шестидесятых годов.

Получив вместе с заслуженным в свое время народным признанием погоны официальных литературных генералов, иные из бывших фронтовых лейтенантов решили, что в новом высоком их чине и звании рамки «окопной правды» им уже тесны. Замахнулись выше, на новые, почти глобальные темы, на новых героев, и прямо скажем, некоторые не подрассчитали свои силы. Другие писатели, хотя и в новом высоком звании мэтров военной прозы остались со своими солдатами в старой военной траншее. И их творчество дарит нас новыми открытиями на литературном поле, перепаханном, казалось бы, уже многократно вдоль и поперек и во всех возможных направлениях.

Среди этих, «других», первым, нам кажется, следует назвать Василя Быкова. Его как начали читать с первых вышедших в свет повестей, так и поныне продолжают читать все. Из тех, конечно, на кого эти книги рассчитаны, — «люди, не утратившие способности видеть, думать и понимать». Именно так определил сам автор тех, для кого пишет.

«В нынешний век стремительного развития так называемой «массовой культуры» с весьма ограниченным стандартным набором апробированных приемов влияния на сознание людей место, занимаемое литературой в жизни общества, не самое значительное, — говорил Василь Быков в одном из интервью. — Ее все больше теснят средства массовой информации (прежде всего телевидение), для восприятия которых требуется минимум усилий и минимум умственных способностей. Однако было бы чудовищным после блестящего расцвета мировой литературы осудить человечество на бездумное потребление стандартных наборов, состоящих из секса, жестокости, пропаганды агрессивности. Гуманистические традиции мирового искусства, — продолжал писатель, — всегда были самой значительной ценностью в духовной сокровищнице человечества, а теперь перед лицом глобальной угрозы ядерной катастрофы значение их возрастает

все более». Свидетельство этого — постоянный успех книг Василя Быкова не только у людей зрелого возраста, но и у молодежи. Характерно, что кино, которое ныне, переходя на подлинный хозяйственный расчет, старательно ловит малейшие изменения интереса публики, и прежде всего молодой ее части, постоянно обращается к экранизации его произведений.

Вот только что вышел на экраны «Круглянский мост» — фильм по одной из первых повестей Василя Быкова, путь которой к читателю, как, впрочем, и почти всех других его произведений, был нелегок и не скор. Не случайно ведь повести Быкова называли и продолжают называть «трудными». В прошлом, конечно, трудностей было неизмеримо больше, но и теперь все еще остается немало людей, и весьма влиятельных, которым жесткая, жестокая быковская правда о минувшей войне очень не нравится.

Горы бумаги были сложены в свое время в баррикады ругательных статей придворных критиков, объявивших решительный бой «окопной правде», принесенной в художественную литературу мучениками и творцами победы, вчерашними безвестными лейтенантами, ставшими вдруг писателями, о которых заговорил весь читающий мир.

Рожденный теми критиками в шумной дискуссии о «Пяди земли» Г. Бакланова термин «окопная правда» стал для молодых тогда литераторов новой волны клеймом, едва ли не столь же опасным, как обвинение в «безродном космополитизме», которым за несколько лет до этого сверхбдительные ультрапатриоты крушили судьбы многих деятелей науки и культуры нашей страны.

В чем только не упрекали молодых писателей, сказавших подлинную правду о прошедшей войне! В голом натурализме и антипатриотизме, в бездумном опасном привнесении на русскую землю «чуждого нам духа Ремарка и Хемингуэя», в принижении величия нашей Победы, в клевете на Советскую Армию и на советского человека в целом. Их обвиняли чуть ли не в антисоветизме и умышленном подрыве устоев советского образа жизни. Не говоря уж, конечно, о том, что творчество «окопников» объявлялось не соответствующим принципам социалистического реализма.

«Соответствующим» и образцом для подражания провозглашались произведения в духе марша «Гром победы раздавайся...» — осовремененные варианты описания подвигов знаменитого Козьмы Крючкова, нанизывавшего якобы в первую мировую войну на свою пику сразу чуть ли не семерых врагов. Подвиги «чудо-богатырей» современности становились под пером особо рьяных мастеров соцреализма еще более чудесными благодаря верховному водительству «вождя всех народов» и «величайшего полководца всех времен».

После окончания Великой Отечественной Сталин не прожил и десяти лет, но сталинщина и особенно сталинисты пережили его на десятилетия. Во всех областях нашей жизни, в том числе и в литературе, где и по сей день немало писателей и критиков, склонных изображать минувшую войну с удивительной легкостью торжества русского оружия и прозорливостью сталинского военного гения. Все в их сочинениях и устных рассказах

о Великой Отечественной так светло и просто, что бывший «окопник», пехотинец, прошедший войну «от звонка до звонка» и ставший впоследствии одним из самых совестливых наших писателей, Виктор Астафьев с удивлением и горечью сказал, что, читая и слушая все это, он думал, что сам он и его фронтовые друзья были в те годы, вероятно, на какой-то совсем другой войне.

Быковская правда о войне изначально не нравилась многим. Не нравится она многим и по сей день. Лишь через восемнадцать лет после первой журнальной публикации смогла выйти отдельной книгой одна из сильнейших его повестей «Атака с ходу». То же было и с повестью «Мертвым не больно». По непонятным причинам не попали эти повести и в четырехтомник писателя, вышедший уже в период перестройки и гласности в 1986 году.

Даже с повестью «Знак беды», удостоенной впоследствии Ленинской премии, у Быкова было при ее издании столько трудностей, что для рассказа об этом, ему, как он сказал журналистам, потребовалось бы исписать бумаги не меньше, чем при создании самой повести.

Иное время ныне на дворе. Быков — лауреат самых престижных литературных премий, Герой Социалистического Труда, народный депутат СССР, народный писатель Белоруссии. Будем надеяться, что все это вместе с обвалом гласности, обнажившей тщательно скрывавшиеся дотоле потаенные, мрачные пласты нашей действительности, в том числе и военных лет, освободило наконец быковские повести от многолетией трудности прохождения в печать.

Другая же, непреходящая «трудность» осталась и останется с Василем Быковым, вероятно, навсегда. Его книги, прошлых лет и те, что продолжают выходить сегодня, — далеко не легкое чтение. Они требуют от читателя емоционального, психологического, морально-нравственного и интеллектуального напряжения. Эти книги, вероятно, и не могут быть иными уже по самой природе становления их автора как писателя. Ведь Быков начал писать по собственному признанию «со злости»» на тех литераторов, которые изображали величайшую военную трагедию нашего народа гладко и красиво, так, чтобы читателю было легко и приятно и победно-радостно, как при исполнении теперь, правда, уж мало кому известного того же марша про «гром победы», где далее слова: «веселися, славный росс...»

Василь Быков, как Г. Бакланов, В. Кондратьев, К. Воробьев, пришли в литературу, чтобы до определенной степени «испортить песню» придворных сладкопевцев. Не то, чтобы они намеренно приносили свои ложки дегтя, но, в общем-то, их правда о той, «другой», не парадной войне, она, как трудно переносимое, но неизбежное лекарство, горька до боли. А сила таланта, если он — настоящий, такова, что его рассказ о боли народа каждый читатель почти физически ощущает как свою собственную боль.

«Я не считаю себя апостолом добра и справедливости, — говорил Василь Быков, — однако, прожив на свете шесть десятков лет, думаю, что кое-что повидал в жизни, кое-что понял. Свое понимание жизни, которое вытекает преимущественно из моего личного опыта, я и хочу донести до людей с одной-един-

ственной целью: чтобы им легче было понять себя, свое прошлое, а возможно, и будущее».

И еще, помнится, говорил о себе Быков: «Я — представитель убитого поколения». Говорил потому, что из каждых ста ушедших на войну его сверстников 1924 года рождения вернулись домой только трое. Но прежде, чем испить до дна страшную чашу всенародного горя Великой Отечественной, то поколение успело хлебнуть страданий начавшейся в тридцатом году и достигшей своей кульминации в тридцать седьмом сталинской войны с народом.

«Детство свое не люблю, — признавался Василь Быков. — Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и надеть. Единственно, что было отрадой, — это природа и книги. Если позволяло время. Ведь надо было работать. И надо, да и заставляли...» Ту «другую правду» о коллективизации, которую мы прочли недавно в быковской повести «Знак беды», юный Василь видел, пережил, выстрадал сам в родной бедняцкой деревне Бычки Витебской области. Не выдумана описанная им в повести та страшная ночь, когда замордованным, насмерть запуганным крестьянам приходится по разнарядке сверху во что бы то ни стало выбрать из одинаково бедняцких семей одну для раскулачивания.

Помнит Василь, как подчистую забирали у крестьян хлеб, обрекая на голод и разорение. Как разбивали мельничные жернова, чтоб не было у крестьян искушения припрятать зерна на прокорм детей. Отец Быкова по ночам собирал осколки мельничного камня, стягивал железными обручами, молол под страхом смерти немного припрятанного зерна. Ровно столько, чтоб не умерли от голода дети, а на рассвете разрезал железо и вновь аккуратно укладывал осколки жерновов в то же самое место в крапиву. Так, чтобы специальные контролеры, которым было поручено наблюдать за разбитостью жерновов, могли докладывать в центр, что отступлений в политике на хлебном фронте не происходит.

Помимо книг с того времени, как он себя помнит, влекло к себе юного Быкова волшебство рисования. Он мечтал стать художником и, закончив школу, поступил в Витебское художественное училище. Но не то, чтоб закончить, но даже хотя бы немного поучиться там ему не удалось. Грянула война, мобилизация, и после донельзя сокращенного курса обучения в училище пехотных командиров Василь Быков попал на фронт. Его первый бой, как и у многих тогда новобранцев, был страшен. «У меня и сейчас стоит перед глазами, — вспоминал Быков, — большое свекольное поле, село в отдалении. Мы видели только крыши, утопавшие в садах. Там был противник. На поле лихо развернулась для атаки спешно переброшенная сюда кавалерийская часть. Судя по всему, она была издалека. Всадники были запылены и экипированы по-походному: с пулеметными сумами у седел, винтовками и шашками, средствами противохимической защиты для себя и лошадей.

Высыпав из балки, они пустили коней в галоп. Мы, сотня наспех вооруженных винтовками новобранцев, прикрывали их фланг. Несколько минут было тихо, а потом навстречу кавалеристам ударили фашистские пулеметы, танковые пушки. Дело довершили внезапно появившиеся «юнкерсы».

Из деталей этого боя больше всего почему-то запомнилась

одиа — толстые гофрироваииые трубки лошадиных протиаогазоа. Вот уж больше сорока лет прошло, а я иикак ие могу забыть эти противогазы...»

Говорят, что искусстао — это прежде асего деталь. Лошадиные противогазы и ася эта самоубийствениая кавалерийско-сабельная атака иа таики — вот оиа, деталь «окопиой праады», которую не выдумать тому, кто такого ие пережил. И не опровергнуть этого никаким самым высоким иаучиым и адмиинистративным авторитетом, пытавшимся и асе еще пытающимся оправдать преступное поаедение Сталииа и его ближайшего окружения, способствоааших разгрому гитлероацами кадровых частей Красной Армии в пераые же недели аойны.

После того, первого страшиого боя был аторой и третий. Были новые поражеиия и тысячи смертей прежде, чем произошел не столь «аеликий», как его потом описыаали придворные писатели, но асе же перелом в ходе Великой Отечестаеиной, после которого продолжались и поражеиия, но успехов стало больше, и а конце концоа пришла Победа. Лейтеиаита Василия Владимироаича Быкова к тому аремени дважды официально объявляли убитым. Мать получила похороику со словами о том, что сын ее «пал на поле боя смертью храбрых». Это уже а предпобедном сорок четаертом году, когда фронт победио катился на аапад, когда в пропаганде пели уже только триумфальные фанфары, а трагедия народа, а том числе и отдельные поражения наших аойск продолжались, такоаа праада, так было до самых последних дней войны.

Одним из немногих оставшись в жиаых, Василь Быков пережил разгром саоего батальона. «По документам, — рассказывал апоследствии писатель, — я был там убит и похоронеи в братской могиле аозле дереаии Большая Сеаериика (на памятнике у братской могилы паашних там и по сей деиь осталось высеченным его имя. — *Б. Г.*). Было это а яиваре. Мы наступали под Кировоградом. Зима. Степь. Была ночь, но было светло от свежевыпавшего сиега. Виезапио вражеские таики атакоаали нас на кукурузиом поле. Огонь был плотным. Я был ранен в иогу. Один таик поаериул иа меия. Я метнул противотанкоаую гранату, ио неудачио. Таик продолжал надвигаться на меия. Я едаа успел подобрать иоги, и он буквальио вдавил в снег полы моей шинели.

Метрах а двадцати от меня лейтеиант Миргород бросил в тот танк свою граиату. Танк не загорелся, ио развернулся и стал.

Мы успели добраться до полевой дороги, там были наши поаозки. Меия приаезли а село, стояашее а лощине. В хате набралось человек пятнадцать ранеиых.

Утром село снова атаковали иемецкие танки, смяли оборону. Я выполз из хаты на дорогу, где меня подобрала последняя уходившая из села поаозка. Один танк остаиовился против нашей хаты и расстрелял ее. Хата загорелась. Очевидно, все это и наблюдал мой комаидир батальона. Ои, конечно, не знал, что за пятнадцать миiут до этого мне удалось выползти на улицу...

Я асегда писал о том, что видел и пережил сам, что пережили мои товарищи. Коиечио, в моих киигах нет буквальиого воспроизведения жизиеииых ситуаций. Но все, о чем я пишу, так или ииаче было...» Поиятио возмущеиие фроитовиков, подобио Быкоау прошедших все круги фроитового ада, когда они читали о аойне то, что писали «лакироащики». Ведь доходило до того,

что в угоду Сталину, а впоследствии его духовным преемникам ухитрялись фальсифицировать даже фотографически точную кинохронику. Вспоминают, например, историю со знаменитым документальным фильмом «Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой». Перед выходом на экран его показали Сталину. Тот выразил недовольство тем, что в небе исторической битвы под Москвой не видно крепнущей мощи советской военной авиации. Возразить вождю или хотя бы просто пояснить, что в то время после сокрушительных поражений советской авиации в первые же дни войны этой мощи просто не было, никто не решился. «Мощь» отсняли отдельно в другом небе и с помощью ножниц и клея создали ее для потомков там, где ее в действительности не было, да и быть в то время не могло.

Ту же самую фальшь Василь Быков видел в большинстве литературных произведений о войне, выходивших в конце сороковых — и в пятидесятых годах. Он в те годы, еще и не помышляя стать писателем, продолжал служить в армии в далеком гарнизоне на Курильских островах.

После демобилизации вернулся в Белоруссию, работал журналистом в Гродно. Там же начал писать первые рассказы, которые пока еще не печатал. Именно в тот период он встретился с писателями Иваном Колесником и Романом Соболенко, оказавшими, как теперь считает Быков, едва ли не решающее влияние на все его творчество.

Это может показаться странным, ибо имена этих писателей широкой читающей публике практически неизвестны. Все мы привыкли к тому, что, отвечая на стандартный вопрос о влиянии на него писателей старшего поколения, интервьюируемый литератор называет обычно всемирно известные имена. Быков же говорил, что согласен с Е. Евтушенко, заявившим когда-то, что в начале творческого пути больше учился у малых поэтов, ибо перенять опыт и навык великих начинающему не под силу. «Элементарные правила ремесла, — писал Быков, — более наглядны у доступных по уровню авторов, в творчестве же классиков иначе — каждый из них сам творит для себя собственные приемы и творит на таком дыхании, которое не всегда доступно начинающему».

Ныне нам трудно сопоставлять уровень мастерства тогдашнего Быкова и названных им малоизвестных, ныне уже покойных писателей, но, судя по тому, что он о них вспоминает, они действительно сыграли в его творчестве важнейшую роль. Первый сказал начинающему Быкову, о чем ему не следует писать, а второй наоборот — указал на то, что у него лучше всего получается. Этому совету Василь Быков неизменно следует всю свою творческую жизнь. И по форме — он пишет практически только повести, и по существу — верности одной теме.

Анализируя творчество Василя Быкова, его друг и земляк Алесь Адамович писал: «Когда-то соборы строили веками. Несколько поколений мастеров сменялись, и все они должны были соотносить свою работу с уже сделанным, будущие формы они прочитывали в уже ранее положенных камнях. И чем дальше продвигалась работа, чем больше было наработано, тем зависимее были мастера от уже существующего. Это ли происходит, произошло с Василем Быковым?

Не думаю, — продолжал Адамович, — что он с самого начала задумывал тот величественный цикл повестей, который со-

стоялся и все еще сохраняет неистраченную энергию продолжения. Но чем больше нарабатывалась, тем сильнее удерживало писателя уже сделанное, творческая фантазия его несла и несет в себе, с одной стороны, строгий расчет, а с другой — одержимость исследователя: раскрыть еще одну грань, еще одну возможность человека, совершенно новую, иную... Каждая повесть живет и сама по себе, но имеет также силу как часть целого цикла».

Быков — военный писатель. Но в книгах его, как это ни странно, практически нет батальных сцен. Главное дело войны — взять или отстоять тот или иной рубеж, будь то в масштабах фронта или отдельного взвода, его практически не интересует. Победа или разгром — все это для Быкова лишь фон для того, чтобы показать крупным, самым крупным планом, что думает, что чувствует, как действует на войне отдельный, чаще всего ничем не приметный самый простой человек. Искусство показать и заставить читателя прочувствовать, что ощущает человек в час смертельной опасности у той черты, за которой вот-вот оборвется нить жизни, обеспечило Быкову особое место в советской литературе. Говоря об особенностях своего творчества, он сам говорил, что «это не красивое описание необычных подвигов бесстрашных богатырей, это несколько будней войны, маленьких капель в необъятном море борьбы, которое до конца было полно тогда и людской крови, и людских слез...».

О творчестве Василя Быкова ныне создана литература более объемная, чем все то, что написал он сам. Подробно исследованы быковская героика и его концепция подвига, которая, по мнению одних, состоит в том, чтобы и на войне оставаться человеком; а для других представляется «преодолением собственных слабостей, поднимающим человека над самим собой и в конечном счете приводящим его к нравственной победе».

Сам Быков высоких слов «героизм» и «подвиг» практически не употребляет. Его герои — люди совсем не героического склада, ни о каком подвиге не помышляют и не видят в своем поведении ничего героического.

Исследовавший творчество Василя Быкова критик А. Овчаренко писал в свое время, что главной и единственной темой писателя является показ того, как и почему негерой, не подозревая об этом, оказывается настоящим героем. «Своеобразие Быкова, — писал А. Овчаренко, — проявилось в том, что он одним из первых в нашей литературе стал исследовать, как испытывается на прочность характер советского человека, поставленного в критическую ситуацию».

«Человек крупным планом» перед всесокрушающей силой бесчеловечно жестоких обстоятельств — такова экспозиция практически всех повестей Василя Быкова. В том числе и только что прочитанного вами «Карьера». При том человек тот не какой-то особый, а самый простой, та самая «капелька» во вздыбленном военной бурей море человеческих страстей. Как ответит герой на извечный вопрос: «быть или не быть?» в самом критическом его обороте: «жить или не жить?» На что способен человек в обстоятельствах, когда, как говорит сам Быков, «возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно».

Хотя в этом писатель, пожалуй, не совсем точен. В чрезвычайных, крайне запутанных обстоятельствах, формирующих не-

изменный внутренний нравственный конфликт всех повестей Быкова, он всегда оставляет герою возможность выжить. До самого конца, до последнего проблеска угасающего сознания. Герою стоит лишь чуть покривить душой, «дать слабину», и он будет жить. Жизнь зависит от ничтожной нравственной уступки, о которой никто и никогда не узнает, которую в самом крайнем случае можно будет взять обратно или объяснить.

Выбор, постоянно встающий перед человеком на протяжении всей его жизни, является, по мнению Быкова, важнейшей из нравственных проблем. «Нередко, — говорил писатель, — от выбора зависит вся суть человека. С наибольшим драматизмом это проявляется на войне. Меня это привлекает потому, что дает возможность... исследовать не саму войну, а возможности человеческого духа, ярче всего проявляющиеся на войне...»

Характерной особенностью быковских повестей является то, что решающее событие нравственного выбора героя чаще всего происходит не на миру, где, как говорится, и смерть красна, не под влиянием каких бы то ни было внешних обстоятельств, а наедине с самим собой, со своею совестью, как бы в условиях чистого нравственного эксперимента.

Именно это, как вы, наверное, заметили, происходит и с героем прочитанной вами повести «Карьер». «Героизм, долг, ответственность, самоотверженность... — писал об этой повести ее автор. — Обычно критика, разбирая мои предыдущие повести, выделяла в них психологическую разработку именно этих, очень важных на войне и, разумеется, не менее существенных в мирной жизни нравственных понятий. В «Карьере» я пытался взглянуть несколько дальше, обратиться к фундаментальным ценностям человеческого бытия».

Раскопки, которые ведет герой повести Агеев в старом карьере и в своей памяти, являются, по сути своей, его нравственным судом над самим собой и над своим прошлым. Его сыну все это кажется стариковской блажью. Он не понимает, для чего отцу нужно это «нравственное самоедство».

«Для очистки совести», — отвечает на вопрос сына Агеев.

Долгие годы этот словесный оборот, как и само слово «совесть», как слова «порядочность», «нравственность», «честь», не имел в нашей жизни своей изначальной наполненности. Они существовали как пустые оболочки, отделенные от своего содержания. Их произносили и толковали формально, кому как вздумается, вернее, как кому удобно. Ныне, когда эти слова наконец-то обретают, вернее, начинают обретать свой истинный смысл, и есть надежда, что вслед за произнесением слов мы и жить научимся по совести, повесть Василя Быкова имеет особую значимость и практическую ценность.

«От умения жить достойно, — говорил Быков, — очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном счете именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком, и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте».

В моральном очищении, которое претерпевает ныне наше общество, огромная роль принадлежит литературе нравственных исканий, развитию которой, оставаясь верным своему герою и своей теме, способствует и писатель Василь Быков.

Борис ГУРНОВ

Жизнь без вранья

У Виктора Пронина есть небольшая повесть, которая иазывается «Ночь без любви». Несмотря на иекоторую пикантиость иазваиия, события в ией происходят довольио суровые — какой-то иевысокого пошиба иачальник, его любовиица и водитель, возвращаясь поздией ночью иа машиие из ресторана, нечаянно сбивают человека. Судя по скорости, по силе удара, можно было предположить, что тот погиб. Вся компания благополучио удирает с места происшествия. Казалось бы, иикто их не видел, никто ие сможет ии в чем уличить. В общем, разбегайтесь, ребята, по домам, постарайтесь быстрее заснуть и забыть о кошмарном случае.

Ан нет! Ночь только иачалась, н повесть только начинается. Все довольно быстро выясняют, что скрыть преступление будет невозможно.

И иачинаются иочные превращения. Печальный случай иа дороге в иеожиданном, пугающе ярком свете показал нм самим их отиошения, казавшиеся до того простыми и ясными. Всемогущий начальник униженно просит водителя взять этот наезд иа себя, хотя сам настоял иа том, чтобы сесть за руль. Водитель, отбросив робость и ложное самолюбие, решается наконец сказать о своей любви девушке, которую долго возил вместе с шефом по злачным местам. И ей, оказывается, есть, в чем признаться — оиа, похоже, не столько любит своего благодетеля, сколько расплачивается с ним.

Но это только первый ряд превращений, иочь продолжается, н мы видим уже иовых людей, в новом облике, они еще иа шаг приблизились к истинной своей сущности. В повести иет милиции, прокурора, следователя, иет погонь и перестрелок, ио читаешь ее с иеослабевающим интересом — идет, как говорится, «разматываиие» человеческих отношеиий. Герои признаются в тех чувствах н желаниях, в которых никогда ие признались бы в обыденной, спокойной жизни. Хорошо зная друг друга, оии ие могут да н не хотят лукавить, нх устоявшиеся взаимоотношения оказываются разрушенными, и мы видим, как иа наших глазах возникают совсем другие люди, нежели те, с которыми мы познакомились иа первых страиицах.

Повесть впервые вышла в журнале «Смена» под иесколько стыдливым и иазидательным иазванием «Ночь без вранья», и поэтому иет надобности пересказывать все ее содержание, ие буду лишать читателя радости первого знакомства с этой вещью. Упомянул я ее лишь потому, что и повесть, и те отношения, которые установились между ее героями, очень характерны для всего творчества Виктора Пронина в этом жанре. В какой бы отчаянный детектив его мы ни вчитались, неожиданно обнаруживается, что главное в нем опять же выяснение отношений между героями. В нем могут быть убийства, следствие, неожиданные загадки н разгадки, ио писатель как бы говорит иам — да, все это так, но вы послушайте, что он ему сказал, послушайте, что тот ответил... Виктор Пронин всегда дает своим героям возможность выговориться, объяснить свой поступок, н всегда в его произведениях присутствует человек, стремящийся жить без вранья. Собственно, мы должны признать,

что именно вранье со всеми своими разновидностями и становится чаще всего причиной преступления.

В романе Виктора Пронина «Ошибка в объекте» убийство происходит только из-за того, что один человек лишает другого ореола исключительности, доказывает его заурядность, ограниченность. Разоблачитель и сам не лучше, и делает это он не по доброте душевной и не из любви к правде. Но это ему не прощается. Злоба и страх человека, лишенного привычного чувства превосходства, столь велики, что он не останавливается перед убийством, а потом для верности еще и топит свою жертву. Роман «Кандибобер» — это подробное, чуть ли не стенографическое описание подготовки преступления — человек решает ограбить сейф. Автор сознательно отказывается от какой бы то ни было таинственности, мы с самого начала знаем, кто преступник, на что он решился, единственное, что нам неизвестно, — удастся ли ему задуманное. Вадиму Анфертьеву все удается, все у него получается, адский замысел ограбить сейф таким образом, чтобы самому остаться вне подозрений, а все обвинения свалились бы на другого человека, осуществляется. Но эта вроде бы победа становится самым сокрушительным поражением в его жизни, заканчивается все так печально, что дальше некуда — убита любовь, предан друг, жизнь наполнилась враньем, притворством и фальшью, деньги... Нет ни возможности, ни желания тратить их. Для наказания преступника, а мы приучены к тому, что преступник в конце оказывается наказанным, писатель отказывается от помощи правоохранительных органов и достигает результата куда более убедительного, нежели арест, суд, заключение. Собственно, я даже детективом назвать этот роман не решаюсь, на мой взгляд, это серьезное психологическое исследование наших нынешних нравов, взглядов, наших устремлений, смятенности душ наших и разума.

Возможно, это кому-то покажется недостатком — в детективах Виктора Пронина нет рискованных погонь, опасных перестрелок, кровавых схваток. Все как-то проще, спокойнее, естественнее. Никто никого не подслушивает, не подкрадывается, каждую секунду рискуя быть разоблаченным, никакие тайны не раскрываются от случайно оброненного слова. Поэтому любители острых ощущений могут быть даже разочарованы обыденностью происходящего, но, с другой стороны, мы должны признать, что с точки зрения литературы все-таки куда интереснее столкновение характеров, судеб, позиций, нежели столкновение автомобилей даже при самой захватывающей гонке. А что касается плотности текста, динамизма повествования, то тут, как мне кажется, вполне можно употребить слово мастерство.

Что же думает о детективе сам автор? В своей статье «Расследование или исследование» он пишет: «На мой взгляд, настоящий детектив — это напряженное повествование о загадочном преступлении, совершенном неизвестным преступником, одержимым ненавистью, алчностью, ревностью, а то и любовью. Раскрыть это преступление должен человек, отличающийся изощренной наблюдательностью, проницательностью, человек, видящий следы злодейства там, где мы, простоватые и простодушные, замечаем лишь милые улыбки и незначащий обмен любезностями. Впрочем, учитывая особенности нашего общества, раскрыть преступление может и коллектив, но во главе его опять

же должен стоять человек из ряда вон. Все мы, конечно, любим детективы, никто не в силах пройти мимо прилавка, на котором лежит книга с соблазнительной обложкой, и мы обостренным изголодавшимся чутьем сразу определяем — детектив. Правда, что-то не припоминается, чтоб в жизни я такой прилавок встретил. Детективы распространяются в народе по каким-то своим законам, таинственным и загадочным, и вскрыть их суть, наверно, было бы не менее интересно, чем распутать самое невероятное преступление. Но тут нас подстерегает другая опасность — используя нашу любовь к детективу, наше неустанное стремление погрузиться хоть ненадолго в мир страшноватых загадок и догадок, в мир сильных личностей и необузданных страстей, нам то и дело подсовывают то протоколы судебных заседаний, то назидательные очерки о том, что такое хорошо, что такое плохо, то бесконечно трогательные рассказы о прекрасных людях при милицейских или прокурорских знаках отличия. А мы, доверчиво отмахав страниц этак сто-двести, вдруг обнаруживаем обман и с горечью понимаем, что, несмотря на жутковатое название, читаем вовсе не детектив, а нечто совершенно ему противоположное.

И еще одно очень важное качество детектива, качество ему попросту необходимое — игра. Давайте согласимся с тем, что детектив — это игра. Он может иметь социальное, нравственное, политическое значение, может нести в себе скрытую или явную информацию о чем угодно, может смело судить об обществе, о его истинных и ложных ценностях, детектив может разоблачать нравы, клеймить преступность, воспевать мужество, но все это не исключает игры. Вспомните одну только тональность повествований о Холмсе, о Пуаро, о Марпл, об отце Брауне, вспомните классиков детективного жанра — все они пишут о своих героях с легкой иронией, как бы посмеиваясь над их выдающимися способностями и над самими собой, которые все это взялись описать с таким уморительно серьезным видом. Возьмите любой роман Агаты Кристи. Может такое быть в жизни? Никогда. Грешно даже спрашивать об этом, поскольку не в этом ценность ее вещей. Мы прощаем ей все — бедный язык, литературные штампы, ходульность персонажей, прощаем за одну только возможность хоть на короткое время окунуться в загадочные и зловещие события».

Не уклонился от такой игры и Виктор Пронин. Цикл рассказов о следователе Зайцеве и журналисте Ксенофонтове заметно отличается и от той детективной литературы, к которой все мы привыкли, и от предыдущих произведений самого автора. Это скорее иронический детектив, где элементы игры, вернее, розыгрыша, присутствуют во всех рассказах. В расследованиях, проводимых героями, нет отпечатков пальцев, доказательств и улик в обычном смысле слова. Виктору Пронину удается создать увлекательные детективы, построенные на точных наблюдениях, психологических анализах, знании человеческой натуры. Зайцев и Ксенофонтов находят преступника по знаку препинания, по телевизионной программе, опубликованной на последней странице газеты, по неоконченной шашечной партии, которую играли накануне убийца и его жертва. Причем это не фантастика, это действительно анализ, точный и убедительный. Четырехкратный чемпион мира по шашкам Анатолий Гантварг, прочитав этот рассказ, был потрясен правильностью, достоверностью про-

ведеииого писателем анализа партии, не в позиционном, а в психологическом плане, тем, что игрок действительно должен быть именно таким, каким его описал Виктор Пронин. Столь авторитетное мнеиие дает нам право и к другим рассказам этого цикла относиться не менее серьезио. Опубликоваиные в различных центральных издаииях, оии привлекли виимаиие читателя своей необычностью, новым взглядом на старый жанр. Кое-кому, правда, показалось неуместиым шутить над следствием, преступлением и обвинеиием, но писатель доказал, что и здесь вполне возможна ироническая улыбка, неожиданный, я бы даже сказал, озорной поворот в теме.

Повесть «С утра до вечера вопросы...», опубликованная в этом томе, знаменательна тем, что в ней, задолго до перестроечной гласности, Виктор Пронин едва ли не впервые в нашей стране заговорил о таком недуге общества, как проституция. Некоторые читатели в самом факте публикации увидели оскорбление, клевету на наш самый справедливый строй, на граждан великой страны, писали гневные письма, требовали привлечь автора к ответу. Тем ие менее все обошлось, автор уцелел, повесть выжила, и сегодня, когда эта деликатная тема никого уже не удивляет, «С утра до вечера вопросы...» выглядит свежо и своеобразно. Но надо сразу сказать, что читатели, которые надеются увидеть здесь красивую жизнь, распутных красавиц, состоятельных заморских кавалеров и ночи, иаполнениые покупным любовиым угаром, ошибутся. Ничего этого в повести нет. Все здесь проще, печальнее, необратимее. Как это и бывает в жизни.

Следователь Валеитии Демии, знакомый иам по романам «Ошибка в объекте» и «И запела свирель человеческим голосом», выезжает раиним утром на место происшествия — во дворе дома обнаружен труп девушки. Похоже, выпала из окна. Или кто-то помог. И весь день, с утра до позднего вечера ездит он по городу, встречается с людьми, задает вопросы, печалится и негодует, и постепенно выясняется суть происшедшего, возникает у нас перед глазами мир, которого мы обычно ие видим, который мало кто знает.

Медлеиный детектив, так бы я его определил. Медлеиио пробирается в весеннем снегопаде машина, медленно ходит следователь, не спеша задает вопросы, звонит по телефону, просто сидит, переживая услышанное. Но следствие движется, неумолимо и безостановочио, раскрываются все новые подробности преступления, и наконец перед нами появляется человек, которого следователь вправе назвать убийцей. Хороший детектив — это не только расследование запутанного преступления, это еще и исследование нравственности, социологическое исследование как всего общества, так и отдельных его представителей. И нередко случается так, что выводы писателя куда глубже и жестче, нежели настоящие социологические исследования. Опубликованная несколько лет назад повесть «С утра до вечера вопросы...» подтверждает своевременность предупреждения, сделанного Виктором Прониным.

И. КОВАЛЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
О. ПОЩЦОВА, Б. ГУРНОВА

Редактор Б. Гурнов
Главный художник Н. Михайлов
Обложка Н. Михайлова
Рисунки Н. Михайлова, И. Данилевич, А. Енина
Оформление А. Шипова
Художественный редактор А. Ким
Технический редактор М. Симонова

Сдано в набор 27.07.89. Подписано к печати 08.09.89. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,52. Уч.-изд. л. 29,1. Тираж 400 000 экз. (200 001—400 000 экз.). Цена 1 р. 60 к. Заказ 251.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ ТОМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

"Подвиг"

«...О'Рейли круто повернулся. Сверкнуло пламя, но короткий зловещий хлопок утонул в грохоте другого выстрела.
О'Рейли выронил пистолет и уставился на Реника мигающими глазами, затем у него подогнулись колени, и он рухнул на пол. Рея забилась в истерике...»

Джеймс Х. Чейз. Что лучше денег

«...— Всем оставаться на местах! — приказал Плаггенмейер.— Никто из класса не выйдет! Это ультиматум. Я даю вам два часа. Если к тому времени убийца моей невесты не явится в полицию, все мы взлетим на воздух. Господин доктор Ентчурек, вы позвоните по телефону и скажете...
Он не договорил.
Взрыв был оглушительным...»

Хорст Бозецки. Инцидент в Браме

1 р. 60 к.
Подвиг